Михаил Бакунин

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И АНАРХИЯ

ЛИБЕРТАРНАЯ БИБЛИОТЕКА

Борьба двух партий в Интернациональном обществе рабочих

ПРЕДИСЛОВИЕ

Интернациональное общество рабочих, едва зародившееся тому назад девять лет, уже успело достигнуть такого влияния на практическое развитие вопросов экономических, социальных и политических в целой Европе, что ни один публицист и ни один государственный человек не могут отныне отказать ему в самом серьезном и нередко тревожном внимании. Официальный, официозный и вообще буржуазный мир, мир счастливых эксплуататоров чернорабочего труда смотрит на него с тем внутренним трепетом, который ощущается при приближении еще неведомой и мало определенной, но уже сильно грозящей опасности, как на чудовище, которое непременно поглотит весь общественный, государственно-экономический строй, если только рядом энергических мер, приведенных в исполнение одновременно во всех странах Европы, не будет положен конец его быстрым успехам.

Известно, что по окончании последней войны, сломившей историческое преобладание государственной Франции в Европе и заместившей его еще более ненавистным и гибельным преобладанием государственного пангерманизма, мероприятия против Интернационала сделались любимою темою междуправительственных переговоров. Явление чрезвычайно естественное. Государства, по существу своему друг другу противные и до конца непримиримые, не могли и не могут найти другой почвы для соединения, как только в дружном порабощении народных масс, составляющих общую основу и цель их существования. Князь Бисмарк, разумеется, был и останется главным возбудителем и двигателем этого нового Священного союза. Но не он первый выступил с своими предложениями на сцену. Он предоставил сомнительную честь подобной инициативы униженному правительству только что разгромленного им французского государства.

Министр иностранных дел псевдонародного правления, неизменный изменник республики, но зато верный друг и защитник ордена иезуитов, верующий в Бога, но презирающий человечество и презираемый, в свою очередь, всеми честными поборниками народного дела, пресловутый ритор Жюль Фавр, уступающий разве только одному г. Гамбетта честь быть прототипом всех адвокатов, с радостью принял на себя роль злостного клеветника и доносчика. Между членами так называемого правительства "Национальной Защиты" он, без сомнения, был один из тех, которые наиболее способствовали обезоружению народной обороны и явно изменнической сдаче Парижа в руки надменного, дерзкого и беспощадного победителя. Князь Бисмарк одурачил его и надругался над ним в виду целого света. И вот, как бы возгордившись двойным позором, и своим собственным, и позором преданной, а может быть, и проданной им Франции, побуждаемый в одно и то же время желанием угодить осрамившему его великому канцлеру победоносной Германской империи, а также и глубокою ненавистью своею к

пролетариату вообще, а в особенности к парижскому рабочему миру, г. Жюль Фавр выступил с формальным доносом против Интернационала, члены которого, стоя во Франции во главе рабочих масс, пытались возбудить восстание всенародное и против немецких завоевателей, и против домашних эксплуататоров, правителей и предателей. Преступление ужасное, за которое Франция официальная или буржуазная должна была наказать с примерною строгостью Францию народную!

Таким образом случилось, что первым словом, произнесенным французским государством на другой день страшного и постыдного поражения, было слово гнуснейшей реакции.

Кто не читал достопамятного циркуляра Жюля Фавра, в котором грубая ложь и еще грубейшее невежество уступают лишь бессильной и яростной злости республиканца-ренегата? Это отчаянный вопль не одного человека, а целой буржуазной цивилизации, истощившей все на свете и осужденной на смерть своим окончательным изнеможением. Чувствуя приближение неминуемого конца, она с злобным отчаянием хватается за все, лишь бы продлить свое зловредное существование, призывая на помощь всех идолов прошедшего, низвергнутых некогда ею же самою, — и Бога, и церковь, и папу, и патриархальное право, а пуще всего как вернейшее средство спасения полицейское покровительство и военную диктатуру, хотя бы даже прусскую, лишь бы она охраняла "честных людей" от ужасной грозы социальной революции.

Циркуляр г. Жюля Фавра нашел отголосок, и где бы вы думали — в Испании! Г. Сагаста, минутный министр минутного испанского короля Амедея, захотел, в свою очередь, угодить князю Бисмарку и обессмертить свое имя. Он также поднял крестовый поход против Интернационала и, не довольствуясь бессильными и бесплодными мероприятиями, вызвавшими только весьма обидный смех испанского пролетариата, также написал фразистый дипломатический циркуляр, за который, однако, с несомненным одобрением князя Бисмарка и его адъюнкта Жюля Фавра получил заслуженную нахлобучку от более осмотрительного и менее свободного правительства Великобритании, а спустя несколько месяцев и свалился.

Кажется, впрочем, что циркуляр г. Сагасты, хотя и говоривший во имя Испании, был задуман, если не сочинен, в Италии под непосредственным руководством многоопытного короля Виктора Эммануила, счастливого отца несчастного Амедея.

В Италии гонение против Интернационала было поднято с трех разных сторон; во-первых, проклял его, как и следовало ожидать, сам папа. Сделал он это самым оригинальным образом, смешав в одном общем проклятии всех членов Интернационала с франкмасонами, с якобинцами, с рационалистами, деистами и либеральными католиками. По определению св. отца, принадлежит к этому отверженному обществу всякий, кто не покоряется слепо его боговдохновенным словоизвержениям. Так точно 26 лет тому назад один прусский генерал определял коммунизм: "Знаете ли вы, — говорил он своим солдатам, — что значит быть коммунистом? Это значит мыслить и действовать наперекор высочайшей мысли и воле его величества короля".

Но не один римско-католический папа проклял Интернациональное общество рабочих. Знаменитый революционер Джюзеппе Маццини, известный гораздо более в России как итальянский патриот, заговорщик и агитатор, чем как метафизик-деист и основатель новой церкви в Италии, да, сам Маццини в 1871 г., на другой день после поражения Парижской Коммуны, в то самое время как зверские исполнители зверских версальских декретов расстреливали тысячами обезоруженных коммунаров, нашел полезным и нужным присоединить к римско-католической анафеме и к полицейско-государственному гонению также и свое, якобы патриотическое и революционное, в

сущности же совершенно буржуазное и вместе с тем богословское проклятие. Он надеялся, что его слова будет достаточно, чтобы убить в Италии все симпатии к Парижской Коммуне и задушить в зародыше только что возникавшие интернациональные секции. Вышло совсем напротив: ничто не способствовало так усилению этих симпатий и умножению интернациональных секций, как его громкое и торжественное проклятие.

Итальянское правительство, враждебное папе, но еще более враждебное Маццини, в свою очередь, не дремало. Сначала оно не поняло опасности, грозящей ему со стороны Интернационала, быстро распространяющегося не только в городах, но даже в селах Италии. Оно думало, что новое общество будет лишь служить противодействием успехам буржуазно-республиканской пропаганды Маццини, и в этом отношении оно не ошиблось; но оно скоро убедилось, что пропаганда принципов социальной революции в среде страстного населения, доведенного им же самим до крайней степени нищеты и угнетения, для него опаснее всех политических агитаций и предприятий Маццини. Смерть великого итальянского патриота, воспоследовавшая скоро после его гневного выступления против Парижской Коммуны и против Интернационала, вполне успокоила с этой стороны итальянское правительство. Обезглавленная партия маццинистов не грозит ему отныне ни малейшею опасностью. В ней начался уже видимый процесс разложения, и так как ее начала и цель, а также и весь состав чисто буржуазные, то она являет несомненные признаки той немощи, которою поражены в наше время все буржуазные начинания.

Другое дело пропаганда и организация Интернационала в Италии. Они обращаются прямо и исключительно к чернорабочей среде, которая в Италии, равно как и во всех других странах Европы, сосредоточивает в себе всю жизнь, силу и будущность современного общества. Из буржуазного мира примыкают к ней только те немногие люди, которые от души возненавидели настоящий порядок, порядок политический, экономический и социальный, повернулись спиною к классу, их породившему, и всецело отдались народному делу. Таких людей немного, но зато они драгоценны, разумеется, только тогда, когда, возненавидев общебуржуазное стремление к господству, задушили в себе последние остатки личного честолюбия; в таком случае, повторю я, они действительно драгоценны. Народ дает им жизнь, элементарную силу и почву; но взамен они приносят ему положительные знания, привычку отвлечения и разобщения и умение организоваться и создавать союзы, которые, в свою очередь, создают ту сознательную боевую силу, без которой немыслима победа.

В Италии, как в России, нашлось довольно значительное количество таких молодых людей, несравненно более, чем в какой-либо другой стране. Но, что несравненно важнее, в Италии существует огромный, от природы чрезвычайно умный, но большею частью безграмотный и поголовно нищенский пролетариат, состоящий из двух-трех миллионов городских и фабричных рабочих и мелких ремесленников и около двадцати миллионов крестьян-несобственников. Как уже сказано выше, вся эта бесчисленная масса людей доведена притеснительным и воровским управлением высших классов под либеральным скипетром короля-освободителя и собирателя итальянских земель до такого отчаянного положения, что самые поборники и заинтересованные участники настоящего управления начинают признаваться и говорить громко как в парламенте, так и в официальных журналах, что далее идти по этому пути невозможно и что необходимо сделать что-нибудь для народа во избежание всеразрушающего народного погрома.

Да, может быть, нигде так не близка социальная революция, как в Италии, нигде, не исключая даже самой Испании, несмотря на то, что в Испании уже существует официальная революция, а в Италии, по-видимому, все тихо. В Италии весь народ ожидает социального переворота и всякий день сознательно стремится к нему. Можно себе представить, как широко, как искренно и как страстно была принята и принимается поныне итальянским пролетариатом программа Интернационала. В Италии не существует, как во многих других странах Европы, особого рабочего слоя, уже отчасти привилегированного благодаря значительному заработку, хвастающегося даже в не которой степени литературным образованием и до того проникнутого буржуазными началами, стремлениями и тщеславием, что принадлежащий к нему рабочий люд отличается от буржуазного люда только положением, отнюдь же не направлением. Особенно в Германии и в Швейцарии таких работников много; в Италии же, напротив, очень мало, так мало, что они теряются в массе без малейшего следа и влияния. В Италии преобладает тот нищенский пролетариат, о котором гг. Маркс и Энгельс, а за ними и вся школа социальных демократов Германии отзываются с глубочайшим презрением, и совершенно напрасно, потому что в нем, и только в нем, отнюдь же не в вышеозначенном буржуазном слое рабочей массы, заключается и весь ум, и вся сила будущей социальной революции.

Об этом мы поговорим ниже пространнее, теперь же ограничимся выводом следующего заключения: именно вследствие этого решительного преобладания нищенского пролетариата в Италии пропаганда и организация Интернационального общества рабочих в этой стране приняли характер самый страстный и истинно народный; и именно вследствие этого, не ограничиваясь городами, они немедленно охватили сельское население.

Итальянское правительство вполне понимает ныне опасность этого движения и всеми силами, но тщетно старается задушить его. Оно не издает громких, фразистых циркуляров, но действует, как подобает полицейской власти, втихомолку, душит без объяснений, без крика. Закрывает наперекор всем законам одно за другим все рабочие общества, исключая только те, почетными членами которых считаются принцы крови, министры, префекты и вообще люди знатные и почтенные. Все же другие рабочие общества оно гонит немилосердно, захватывает их бумаги, их деньги, а членов их держит по целым месяцам без суда и даже без следствия в своих грязных тюрьмах.

Нет сомнения, что, действуя таким образом, итальянское правительство руководствуется не только своею собственною мудростью, но также советами и указаниями великого канцлера Германии, точно так же, как прежде следовало послушно приказаниям Наполеона III. Итальянское государство находится в том странном положении, что по количеству жителей и по объему своих земель оно должно бы быть причислено к великим державам, по своей же действительной силе, разоренное, гнило организованное и, несмотря на все усилия, весьма плохо дисциплинированное, к тому же ненавидимое народными массами и даже мелкой буржуазией, оно еле-еле может быть признано державой второй величины. Поэтому ему необходим покровитель, т.е. повелитель вне Италии, и всякий найдет естественным, что после падения Наполеона III князь Бисмарк заступил место необходимого союзника этой монархии, созданной пьемонтскою интригою на почве, уготованной патриотическими усилиями и подвигами Маццини и Гарибальди.

Впрочем, рука великого канцлера пангерманской империи чувствуется теперь в целой Европе, исключая разве только Англии, которая, однако, не без беспокойства смотрит на это возникающее могущество, да еще Испании, обеспеченной против реакционного

влияния Германии по крайней мере на первое время своею революцией, равно как и своим географическим положением. Влияние новой империи объясняется изумительным торжеством, одержанным ею над Францией; всякий признает, что она по своему положению, по громадным средствам, завоеванным ею, и по своей внутренней организации занимает ныне решительно первое место между европейскими великими державами и в состоянии дать почувствовать каждой из них свое преобладание; а что влияние ее непременно должно быть реакционным, в этом не может быть и сомнения.
Германия в настоящем своем виде, объединенная гениальным и патриотическим мошенничеством[1] князя Бисмарка и опирающаяся, с одной стороны, на примерную организацию и дисциплину своего войска, готового задушить и зарезать все на свете и совершить всевозможные внутренние и внешние преступления по одному мановению своего короля-императора; а с другой — на верноподданнический патриотизм, на национальное безграничное честолюбие и на то древнее историческое, столь же безграничное послушание и богопочитание власти, которыми отличаются поныне немецкое дворянство, немецкое мещанство, немецкая бюрократия, немецкая церковь, весь цех немецких ученых и под их соединенным влиянием нередко — увы! — и сам немецкий народ — Германия, говорю я, гордая деспотически-конституционным могуществом своего единодержавца и властителя, представляет и совмещает в себе всецело один из двух полюсов современного социально-политического движения, а именно полюс государственности, государства, реакции.

Германия — государство по преимуществу, как им была Франция при Людовике XIV и при Наполеоне I, как им не переставала быть Пруссия по настоящее время. Со времени окончательного создания прусского государства Фридрихом II был поднят вопрос: кто кого поглотит, Германия ли Пруссию или Пруссия Германию? Оказывается, что Пруссия съела Германию. Значит, доколе Германия останется государством, несмотря ни на какие мнимо либеральные, конституционные, демократические и даже социально-демократические формы, она будет по необходимости первостепенною и главною представительницею и постоянным источником всех возможных деспотизмов в Европе.
Да, со времени образования новой государственности в истории, с самой половины шестнадцатого века, Германия, причисляя к ней Австрийскую империю, поскольку она немецкая, никогда не переставала быть, в сущности, главным центром всех реакционных движений в Европе, даже не исключая того времени, когда великий коронованный вольнодумец Фридрих II переписывался с Вольтером. Как умный государственный человек, ученик Маккиавеля и учитель Бисмарка, он ругался над всем: над Богом и над людьми, не исключая, разумеется, своих корреспондентов-философов, и верил только в свой "государственный разум", опиравшийся притом, как всегда, на "божественную силу многочисленных баталионов" (Бог всегда на стороне сильных баталионов, говорил он), да еще на экономию и возможное совершенство внутреннего административного управления, разумеется, механического и деспотического. В этом, по его, да также и по нашему мнению, заключается, действительно, вся суть государства. Все же остальное лишь невинная фиоритура, имеющая целью обмануть нежные чувства людей, неспособных вынести сознания суровой истины.
Фридрих II усовершенствовал и окончил государственную машину, построенную его отцом и дедом и подготовленную его предками; и эта машина сделалась в руках достойного преемника его, князя Бисмарка, орудием для завоевания и для возможного пруссогерманизированья Европы.

Германия, сказали мы, со времени реформы не переставала быть главным источником всех реакционных движений в Европе; от половины XVI века до 1815 года инициатива этого движения принадлежала Австрии. От 1815 до 1866 года она разделилась между Австриею и Пруссиею, однако с преобладанием первой, покуда управлял ею старый князь Меттерних, т.е. до 1848 года. С 1815 года приступил к этому святому союзу чисто германской реакции гораздо более в виде охотника, чем дельца, наш татаро-немецкий, всероссийско-императорский кнут.

Побуждаемые естественным желанием снять с себя тяжкую ответственность за все мерзости, учиненные Священным союзом, немцы стараются уверить себя и других, что главным их зачинщиком была Россия. Не мы станем защищать императорскую Россию, потому что именно вследствие нашей глубокой любви к русскому народу, именно потому, что мы страстно желаем ему полнейшего преуспеяния и свободы, мы ненавидим эту поганую всероссийскую империю так, как ни один немец ее ненавидеть не может. В противность немецким социальным демократам, программа которых ставит первою целью основание пангерманского государства, русские социальные революционеры стремятся прежде всего к совершенному разрушению нашего государства, убежденные в том, что пока государственность, в каком бы то виде ни было, будет тяготеть над нашим народом, народ этот будет нищим рабом. Итак, не из желания защищать политику петербургского кабинета, а ради истины, которая всегда и везде полезна, мы ответим немцам следующее.

В самом деле, императорская Россия, в лице двух венценосцев, Александра I и Николая, казалось, весьма деятельно вмешивалась во внутренние дела Европы: Александр рыскал с конца в конец и много хлопотал и шумел; Николай хмурился и грозил. Но тем все и кончилось. Они ничего не сделали, не потому, что не хотели, а потому, что не могли, оттого что им не позволили их же друзья, австрийские и прусские немцы; им предоставлена была лишь почетная роль пугал, действовали же только Австрия, Пруссия и, наконец, под руководством и с позволения той и другой — французские Бурбоны (против Испании).

Империя всероссийская только один раз выступила из своих границ, в 1849 г., и то только для спасения Австрийской империи, обуреваемой венгерским бунтом. В продолжение нынешнего века Россия два раза душила польскую революцию и оба раза с помощью Пруссии, столько же заинтересованной в сохранении польского рабства, как и она сама. Я говорю, разумеется, об императорской России. Россия народная немыслима без польской независимости и свободы.

Что русская империя, по существу своему, не может хотеть другого влияния на Европу, кроме самого зловредного и противусвободного, что всякий новый факт государственной жестокости и торжествующего притеснения, всякое новое потопление народного бунта в народной крови, в какой бы то стране ни было, всегда встретят в ней самые горячие симпатии, кто может в этом сомневаться? Но не в этом дело. Вопрос в том, как велико ее действительное влияние, и занимает ли она по своему уму, могуществу и богатству такое преобладающее положение в Европе, чтобы голос ее был в состоянии решать вопросы? Достаточно вникнуть в историю последнего шестидесятилетия, а также и в самую суть нашей татаро-немецкой империи, чтобы ответить отрицательно. Россия далеко не такая сильная держава, какою любит рисовать ее себе хвастливое воображение наших квасных патриотов, ребяческое воображение западных и юго-восточных панславистов, а также обезумевшее от старости и от испуга воображение рабствующих либералов Европы, готовых преклоняться перед всякою военною диктатурою, домашнею и чужою, лишь бы она их только избавила от ужасной

опасности, грозящей им со стороны собственного пролетариата. Кто, не руководствуясь ни надеждою, ни страхом, смотрит трезво на настоящее положение петербургской империи, тот знает, что на западе и против запада она собственною инициативою, не будучи вызвана к тому какою-либо великою западною державою и не иначе как в самом тесном союзе с нею, никогда ничего не предпринимала и предпринять не может. Вся ее политика состояла искони только в том, чтобы примазаться как-нибудь к чужому начинанию; и со времени хищнического разделения Польши, задуманного, как известно, Фридрихом II, предлагавшим было Екатерине II разделить между собою точно так же и Швецию, Пруссия была именно тою западною державою, которая не переставала оказывать эту услугу всероссийской империи.

В отношении к революционерному движению в Европе Россия в руках прусских государственных людей играла роль пугала, а нередко и ширм, за которыми они очень искусно скрывали свои собственные завоевательные и реакционные предприятия. После же удивительного ряда побед, одержанных прусско-германскими войсками во Франции, после окончательного низложения французской гегемонии в Европе и замещения ее гегемонией пангерманскою, ширм этих стало не нужно, и новая империя, осуществившая заповеднейшие мечты немецкого патриотизма, выступила откровенно во всем блеске своего завоевательного могущества и своей систематически реакционной инициативы.

Да, Берлин стал теперь видимою главою и столицею всей живой и действительной реакции в Европе, князь Бисмарк — ее главным руководителем и первым министром. Я говорю, реакции живой и действительной, а не отжившей. Отжившая или из ума выжившая реакция, по преимуществу римско-католическая, бродит еще как зловещая, но уже бессильная тень в Риме, в Версале, отчасти в Вене и в Брюсселе; другая, кнуто-петербургская, положим, хоть и не тень, но тем не менее, лишенная смысла и будущности, продолжает еще бесчинствовать в пределах всероссийской империи. Но живая, умная, действительно сильная реакция сосредоточена отныне в Берлине и распространяется на все страны Европы из новой Германской империи, управляемой государственным, а по этому самому в высшей степени противународным гением князя Бисмарка.

Эта реакция не что иное, как окончательное осуществление противународной идеи новейшего государства, имеющего единою целью устройство самой широкой эксплуатации народного труда в пользу капитала, сосредоточенного в весьма немногих руках: значит, торжество жидовского царства, банкократии под могущественным покровительством фискально-бюрократической и полицейской власти, главным образом опирающейся на военную силу, а следовательно, по существу своему деспотической, но прикрывающейся вместе с тем парламентскою игрою мнимого конституционализма.

Новейшее капитальное производство и банковые спекуляции для дальнейшего и полнейшего развития своего требуют тех огромных государственных централизации, которые только одни способны подчинить многомиллионные массы чернорабочего народа их эксплуатации. Федеральная организация снизу вверх рабочих ассоциаций, групп, общин, волостей и, наконец, областей и народов это единственное условие настоящей, а не фиктивной свободы, столь же противна их существу, как несовместима с ними никакая экономическая автономия. Зато они уживаются отлично с так называемою представительною демократией; так как эта новейшая государственная форма, основанная на мнимом господстве мнимой народной воли, будто бы выражаемой мнимыми представителями народа в мнимо народных собраниях, соединяет в себе два главные условия, необходимые для их преуспеяния, а именно: государственную

централизацию и действительное подчинение государя-народа интеллектуальному управляющему им, будто бы представляющему его и непременно эксплуатирующему его меньшинству.

Когда мы будем говорить о социально-политической программе марксистов, лассальянцев и вообще немецких социальных демократов, мы будем иметь случай ближе рассмотреть и уяснить эту фактическую истину. Теперь обратим внимание на другую сторону вопроса. Всякая эксплуатация народного труда, какими бы политическими формами мнимого народного господства и мнимой народной свободы она позолочена ни была, горька для народа. Значит, никакой народ, как бы от природы смирен ни был и как бы послушание властям ни обратилось в привычку, охотно ей подчиняться не захочет; для этого необходимо постоянное принуждение, насилие, значит, необходимы полицейский надзор и военная сила.

Новейшее государство по своему существу и цели есть необходимо военное государство, а военное государство с тою же необходимостью становится государством завоевательным; если же оно не завоевывает само, то оно будет завоевано по той простой причине, что где есть сила, там непременно должно быть и обнаружение или действие ее. Из этого опять-таки следует, что новейшее государство непременно должно быть огромным и могучим государством; это есть непременное условие сохранения его.

И точно так же, как капитальное производство и банковая спекуляция, поглощающая в себе под конец даже это самое производство, точно так же, как они под страхом банкротства должны беспрестанно расширять пределы свои в ущерб поедаемым ими небольшим спекуляциям и производствам, должны стремиться стать единственными, универсальными, всемирными; точно так же новейшее государство, по необходимости военное, носит в себе неотвратимое стремление стать государством всемирным; но всемирное государство, разумеется, неосуществимое, могло бы быть во всяком случае только одно; два такие государства, одно подле другого, решительно невозможны.

Гегемония есть только скромное, возможное обнаружение этого неосуществимого стремления, присущего всякому государству; а первое условие гегемонии — это относительное бессилие и подчинение по крайней мере всех окружающих государств. Так, пока существовала гегемония Франции, она была обусловлена государственным бессилием Испании, Италии и Германии, и до сих пор не могут простить французские государственные люди — и между ними г. Тьер, разумеется, первый — Наполеону III-му, что он позволил Италии и Германии объединиться и сплотиться.

Теперь Франция очистила место, и его заняло германское государство, по нашему убеждению, ныне единственное настоящее государство в Европе.

Французскому народу несомненно предстоит еще великая роль в истории, но государственная карьера Франции покончена. Кто сколько-нибудь знает характер французов, тот скажет вместе с нами, что если Франция долго могла быть первенствующею державою, то для нее быть государством второстепенным, даже только равносильным с другими — решительно невозможно. Как государство и пока она будет управляема людьми государственными, все равно, гном ли Тьером, или гном Гамбеттою, или даже Орлеанскими герцогами, она с своим унижением не примирится; она будет готовиться к новой войне и будет стремиться к мести и к восстановлению утраченного первенства.

Может ли она достигнуть его? Решительно нет. На это много причин; упомянем две главные. Последние события доказали, что патриотизм, эта высшая государственная добродетель, эта душа государственной силы, совсем более не существует во Франции. В высших сословиях он проявляется разве только еще в виде национального тщеславия;

но и это тщеславие уже так слабо, уже так подрезано в корне буржуазною необходимостью и привычкою жертвовать интересам реальным всеми идеальными интересами, что во время последней войны оно не могло даже, как делало прежде, превратить хоть на время в самоотверженных героев и патриотов лавочников, дельцов, биржевых спекуляторов, офицеров, генералов, бюрократов, капиталистов, собственников и иезуитами воспитанных дворян. Все струсили, все изменили, все бросились только спасать свое имущество, все пользовались несчастием Франции, чтобы только интриговать против Франции; все старались нахальнейшим образом опередить друг друга в милости беспощадного и надменного победителя, ставшего распорядителем французских судеб; все, единодушно и во что бы то ни стало проповедовали покорение, смирение и молили о мире... Теперь все эти развратные болтуны опять занациональничали, захвастали, но этот смешной и отвратительный крик дешевых героев не в состоянии заглушить чересчур громкого свидетельства их вчерашней подлости.

Несравненно важнее этого то, что ни одной капли патриотизма не оказалось даже в сельском населении Франции. Да, в противность общему ожиданию французский мужик, с тех пор как стал собственником, перестал быть патриотом. Во время Жанны д'Арк он на плечах своих один вынес Францию. В 1792 году и потом он отстоял ее против военной коалиции всей Европы. Ну, тогда было другое дело: благодаря дешевой продаже церковных и дворянских имений он становился собственником земли, которую обрабатывал прежде как раб, и справедливо опасался, что в случае поражения дворянская эмиграция, шедшая вслед за немецким войском, отберет у него назад только что приобретенную собственность; теперь же у него этого страха не было, и он совершенно равнодушно отнесся к постыдному поражению своего милого отечества. За исключением Эльзаса и Лотарингии, где странным образом, как бы на смех немцам, упорствующим видеть в них чисто немецкие провинции, проявились несомненные признаки патриотизма, во всей средней Франции крестьяне гнали французских и иностранных волонтеров, вооружившихся на спасение Франции, отказывая им во всем, нередко даже выдавая их пруссакам и, напротив, самым гостеприимным образом встречали немцев.

Можно сказать с полною истиною, что патриотизм сохранился только в городском пролетариате.

В Париже, равно как и во всех других провинциях и городах Франции, только он один хотел и требовал всенародного вооружения и войны насмерть. И странное явление: за это именно на него обрушилась вся ненависть имущих классов, точно как будто бы им стало обидно, что "младшие братья" (выражение г. Гамбетты) выказывают более добродетели, патриотической преданности, чем старшие.

Впрочем, имущие классы были отчасти правы. То, что двигало пролетариат городской, не было чистым патриотизмом в древнем и тесном смысле этого слова. Настоящий патриотизм, чувство, разумеется, весьма почтенное, но вместе с тем узкое, исключительное, противучеловеческое, нередко просто зверское. Последовательный патриот только тот, кто, любя страстно свое отечество и все свое, также страстно ненавидит все иностранное, ни дать ни взять, как наши славянофилы. Во французском же городском пролетариате не осталось даже и следа такой ненависти. Напротив, в последние десятилетия, можно сказать, с 1848 года и даже гораздо прежде, под влиянием социалистической пропаганды в нем развилось положительно братское отношение к пролетариям всех стран рядом со столь же решительным равнодушием к так называемому величию и к славе Франции. Французские работники были

противниками войны, затеянной последним Наполеоном, и накануне этой войны они манифестом, подписанным парижскими членами Интернационала, громко заявили свое искреннее братское отношение к работникам Германии: и когда немецкие войска вступили во Францию, они стали вооружаться не против народа германского, а против германского военного деспотизма.

Война эта началась ровно шесть лет после первого основания Интернационального общества рабочих, только четыре года спустя после его первого конгресса в Женеве. И в такое короткое время интернациональная пропаганда успела возбудить не только в пролетариате французском, но также и между рабочими многих других стран, особливо латинского племени, мир представлений, воззрений и чувств совершенно новых и чрезвычайно широких, породила одну общую интернациональную страсть, поглотившую почти все предубеждения и узости страстей патриотических или местных.

Это новое миросозерцание высказалось торжественно уже в 1868 году на народном митинге и — где бы вы думали, в какой стране? — в Австрии, в Вене, в ответ на целый ряд политических и патриотических предложений, сделанных венским работникам сообща г-ми бюргерами-демократами южно-германскими и австрийскими и клонившихся к торжественному признанию и провозглашению пангерманского, единого и нераздельного отечества. К ужасу своему, они услышали следующий ответ: "Что вы толкуете нам о немецком отечестве? Мы работники, эксплуатируемые, вечно обманутые и утесненные вами, и все работники, к какой бы стране они ни принадлежали, эксплуатируемые и утесненные пролетарии целого мира — нам братья; все же буржуа, притеснители, правители, опекуны, эксплуататоры — нам враги. Интернациональный лагерь рабочих — вот наше единственное отечество; интернациональный мир эксплуататоров — вот чуждая и враждебная нам страна".

И в доказательство искренности своих слов венские рабочие тут же послали поздравительную телеграмму "к парижским братьям как пионерам всемирно-рабочего освобождения".

Такой ответ венских рабочих, вытекший, помимо всех политических рассуждений, прямо из глубины народного инстинкта, наделал в свое время много шума в Германии, перепугал всех бюргеров-демократов, не исключая почтенного ветерана и предводителя этой партии, доктора Иоганна Якоби, и оскорбил не только их патриотические чувства, но и государственную веру школы Лассаля и Маркса. Вероятно, по совету последнего г. Либкнехт, в настоящее время считающийся одним из глав социальных демократов Германии, но тогда бывший еще сам членом бюргерско-демократической партии (покойной народной партии), тотчас отправился из Лейпцига в Вену для переговоров с венскими работниками, "политическая бестактность" которых дала повод к такому скандалу. Должно отдать ему справедливость, он действовал так успешно, что несколько месяцев спустя, а именно в августе 1868 года, на Нюренбергском конгрессе германских работников все представители австрийского пролетариата без всякого протеста подписали узкую патриотическую программу социально-демократической партии.

Но это самое обнаружило только глубокое различие, существующее между политическим направлением предводителей, более или менее ученых и буржуазных, этой партии и собственным революционным инстинктом германского или по крайней мере австрийского пролетариата. Правда, в Германии и в Австрии этот народный инстинкт, подавляемый и беспрестанно отклоняемый от своей настоящей цели пропагандою партии более политической, чем революционно-социальной, с 1868 года мало развился вперед и не мог перейти в сознание народное; зато в странах латинского племени, в Бельгии, в Испании, в Италии и особенно во Франции, свободный от этого

гнета и от этого систематического развращения, он развился широко, на полной свободе и обратился действительно в революционное сознание городового и фабричного пролетариата[2]

Как мы заметили выше, это сознание универсального характера социальной революции и солидарности пролетариата всех стран, так мало еще существующее между рабочими Англии, уже давно образовалось в среде французского пролетариата. Он знал уже в девяностых годах, что, борясь за свое равенство и за свою свободу, он освобождает все человечество.

Эти великие слова, употребляемые ныне нередко как фразы, но тогда искренно и глубоко прочувствованные, — свобода, равенство и братство всего человеческого рода — встречаются во всех революционных песнях того времени. Они легли в основание новой социальной веры и социально-революционной страсти французских работников, стали, так сказать, их природою и определили, даже помимо их сознания и воли, направление их мыслей, их стремлений и их предприятий. Всякий французский работник, когда делает революцию, вполне убежден, что делает ее не только для себя, но для целого мира, и несравненно больше для мира, чем для себя. Напрасно политические позитивисты и радикалы-республиканцы вроде г. Гамбетты старались и стараются отклонить французский пролетариат от этого космополитического направления и уверить его, что он должен подумать об устройстве своих собственных, исключительно национальных дел, связанных с патриотическою идеею величия, славы и политического преобладания французского государства, обеспечить в нем свою собственную свободу и свое собственное благосостояние, прежде чем мечтать об освобождении всего человечества, целого мира. Усилия их, по-видимому, весьма благоразумны, но тщетны — природы не переделаешь, а эта мечта стала природою французского пролетариата, и она выгнала из его воображения и сердца последние остатки государственного патриотизма.

Происшествия 1870-71 годов доказали это вполне. Да, во всех городах Франции пролетариат требовал поголовного вооружения и ополчения против немцев; и нет сомнения, что он осуществил бы это намерение, если бы не парализовал его, с одной стороны, подлый страх и повсеместная измена большинства буржуазного класса, предпочитавшего тысячу раз покориться пруссакам, чем дать оружие в руки пролетариата; а с другой стороны, систематически реакционное противодействие "правительства народной защиты" в Париже и в провинции, оппозиция, столь же противонародная, диктатора, патриота Гамбетты.

Но, вооружаясь, насколько при таких обстоятельствах это было возможно, против немецких завоевателей, французские работники были твердо убеждены, что будут бороться столько же за свободу и права немецкого пролетария, сколько и за свои собственные. Они заботились не о величии и чести французского государства, а о победе пролетариата над ненавистною военною силою, служащею против них в руках буржуазии орудием порабощения. Они ненавидели немецкие войска не потому, что они немецкие, а потому, что они войска. Войска, употребленные г. Тьером против Парижской Коммуны, были чисто французские; однако они совершили в несколько дней более злодеяний и преступлений, чем немецкие войска во все время войны. Для пролетариата отныне всякое войско, свое или чужое, равно враждебно, и французские работники это знают; поэтому их ополчение отнюдь не было ополчением патриотическим.

Восстание Парижской Коммуны против версальского народного собрания и против спасителя отечества — Тьера, совершенное парижскими работниками в виду немецких войск, еще окружавших Париж, обнаруживает и объясняет вполне ту единственную

страсть, которая ныне двигает французский пролетариат, для которого отныне нет и не может быть другого дела, другой цели и другой войны, кроме революционно-социальных.

Это, с другой стороны, вполне объясняет неистовое исступление, овладевшее сердцами версальских правителей и представителей, а также и неслыханные злодеяния, совершенные под их прямым руководством и благословлением над побежденными коммунарами. И в самом деле, с точки зрения государственного патриотизма, парижские работники совершили ужасное преступление: в виду немецких войск, еще окружавших Париж и только что разгромивших отечество, разбивших в прах его национальное могущество и величие, поразивших в самое сердце национальную честь, они, обуреваемые дикою космополитическою социально-революционною страстью, провозгласили окончательное разрушение французского государства, расторжение государственного единства Франции, несовместного с автономиею французских коммун. Немцы только уменьшили границы и силу их политического отечества, а они захотели совсем убить его, и как бы для обнаружения этой изменнической цели свалили в прах Вандомскую колонну, величественную свидетельницу прошедшей французской славы!

С политически-патриотической точки зрения какое преступление могло сравниться с таким неслыханным святотатством! И вспомните, что парижский пролетариат совершил его не случайно, не под влиянием каких-нибудь демагогов и не в одну из тех минут безумного увлечения, которые нередко встречаются в истории каждого народа, и особенно французского. Нет, в этот раз парижские работники действовали спокойно, сознательно. Это фактическое отрицание государственного патриотизма было, разумеется, выражением сильной народной страсти, но страсти не мимолетной, а глубокой, можно сказать, обдуманной и уже обратившейся в народное сознание, страсти, раскрывшейся вдруг перед испуганным миром, как бездонная пропасть, готовая поглотить весь настоящий строй общества со всеми его учреждениями, удобствами, привилегиями и со всею цивилизациею...

Тут оказалось, с ясностью, столь же ужасною, сколько и несомненною, что отныне между диким, голодным пролетариатом, обуреваемым социально-революционными страстями и стремящимся неотступно к созданию иного мира на основании начал человеческой истины, справедливости, свободы, равенства и братства, — начал, терпимых в порядочном обществе разве только как невинный предмет риторических упражнений, — и между пресыщенным и образованным миром привилегированных классов, отстаивающих с отчаянною энергиею порядок государственный, юридический, метафизический, богословский и военно-полицейский, как последнюю крепость, охраняющую в настоящее время драгоценную привилегию экономической эксплуатации, — что между этими двумя мирами, говорю я, между чернорабочим людом и образованным обществом, соединяющим в себе, как известно, всевозможные достоинства, красоты и добродетели, всякое примирение невозможно.

Война на жизнь и на смерть! И не в одной только Франции, а в целой Европе, и война эта может кончиться только решительною победою одной из сторон, решительным низложением другой. Или буржуазно-образованный мир должен укротить и поработить бунтующую народную стихию, дабы силою штыков, кнута или палки, благословенных, разумеется, каким-нибудь Богом и объясненных разумно наукою, заставить чернорабочие массы работать по-прежнему, что ведет прямо к полнейшему восстановлению государства в его искреннейшей форме, которая одна возможна в настоящее время, т.е. в форме военной диктатуры или императорства; или же рабочие массы сбросят с себя окончательно ненавистное многовековое иго, разрушат в корне

буржуазную эксплуатацию и основанную на ней буржуазную цивилизацию — а это значит торжество социальной революции, сокрушение всего, что называется государством.

Итак, государство, с одной стороны, социальная революция, с другой, — вот два полюса, антагонизм которых составляет самую суть настоящей общественной жизни в целой Европе, но во Франции осязательнее, чем в какой-либо другой стране. Государственный мир, обнимающий всю буржуазию, включая, разумеется, и обмещанившееся дворянство, нашел свое средоточие, последнее убежище и последнюю защиту в Версале. Социальная революция, потерпевшая страшное поражение в Париже, но отнюдь не уничтоженная и даже не побежденная, обнимая теперь, как и всегда, весь городской и фабричный пролетариат, начинает уже захватывать своею неустанною пропагандою и сельское население, по крайней мере, в Южной Франции, где эта пропаганда ведется и распространяется в самых широких размерах. И вот это враждебное противоположение двух отныне непримиримых миров составляет вторую причину, по которой для Франции стало решительно невозможно сделаться вновь первостепенным, преобладающим государством.

Все привилегированные слои французского общества, без сомнения, желали бы поставить свое отечество вновь в это блестящее и внушительное положение; но вместе с тем они до такой степени пропитаны страстью любостяжания, обогащения во что бы то ни стало и антипатриотическим эгоизмом, что для осуществления патриотической цели они готовы, правда, принести в жертву имущество, жизнь, свободу пролетариата, но не откажутся ни от одной из своих выгодных привилегий и скорее подвергнутся чужеземному игу, чем поступятся своею собственностью или согласятся на уравнение состояний и прав.

То, что делается теперь на наших глазах, вполне подтверждает это. Когда правительство г. Тьера официально объявило версальскому собранию о заключении окончательного договора с берлинским кабинетом, в силу чего немецкие войска должны будут очистить в сентябре еще занимаемые ими провинции Франции, большинство собрания, представляющее коалицию привилегированных классов во Франции, опустило головы; французские фонды, представляющие их интересы еще действительнее, живее, — пали, как будто после государственной катастрофы... Оказалось, что ненавистное, насильственное и позорное для Франции присутствие победоносного немецкого воинства для привилегированных французских патриотов, представителей буржуазной доблести и буржуазной цивилизации, было утешением, опорой, спасением и что его предстоящее удаление однозначаще для них с осуждением на смерть.

Значит, странный патриотизм французской буржуазии ищет своего спасения в позорном покорении отечества. Тем же, кто еще может сомневаться в этом, укажем на любой консервативный французский журнал. Известно, до какой степени все оттенки реакционной партии, бонапартисты, легитимисты, орлеанисты, испуганы, взволнованы, взбешены избранием г. Бароде депутатом в Париже. Но кто такой этот Бароде? Один из многочисленных пошляков партии г. Гамбетты, консерватор по положению, по инстинкту и по направлению, только с демократическими и республиканскими фразами, отнюдь не мешающими, а напротив, чрезвычайно помогающими ныне исполнению самых реакционных мер, человек, одним словом, между которым и революцией нет и никогда не было ничего общего и который в 1870 и 1871 годах был одним из самых ревностных поборников буржуазного порядка в Лионе. Но он в настоящее время, как и много других буржуазных патриотов, находит для себя выгодным подвизаться под знаменем, отнюдь не революционным, г. Гамбетты. В этом смысле он был избран Парижем в пику

президенту республики Тьеру и монархическому псевдонародному собранию, царствующему в Версале. И выбора этого ничтожного лица было достаточно, чтобы взбудоражить всю консервативную партию! И знаете ли, какой их главный аргумент? Немцы!

Раскройте любой журнал и вы увидите, как они грозят французскому пролетариату законным гневом князя Бисмарка и его императора, — каков патриотизм! Да они просто зовут немцев на помощь против грозящей им французской социальной революции. В своем дурацком испуге они приняли даже невинного Бароде за революционного социалиста.

Такое настроение французской буржуазии подает мало надежды на восстановление государственного могущества и преобладания Франции посредством патриотизма привилегированных классов.

Патриотизм французского пролетариата также не представляет много надежды. Границы его отечества расширились до того, что обнимают ныне пролетариат целого мира в противоположность всей буржуазии, не исключая, разумеется, и французской. Заявления Парижской Коммуны в этом смысле решительны; а симпатии, высказываемые ныне так ясно французскими работниками к испанской революции, особенно в Южной Франции, где обнаруживается явное стремление пролетариата к братскому соединению с испанским пролетариатом и даже к образованию с ним народной федерации, основанной на освобожденном труде и на коллективной собственности, наперекор всем национальным различиям и государственным границам, — эти симпатии и стремления, говорю я, доказывают, что собственно для французского пролетариата, так же как и для привилегированных классов, время государственного патриотизма прошло.

А при таком отсутствии патриотизма во всех слоях французского общества и при открытой ныне непримиримой войне, существующей между ними, как восстановить сильное государство? Тут все государственное уменье престарелого президента республики пропадет даром, и все ужасные жертвы, принесенные им на алтарь политического отечества, как напр., бесчеловечное избиение многих десятков тысяч парижских коммунаров с женщинами и детьми и столь же бесчеловечные высылки других десятков тысяч в Новую Каледонию, окажутся несомненно бесполезными жертвами.

Напрасно г. Тьер силится восстановить кредит, внутреннее спокойствие, старый порядок и военную силу Франции. Государственное здание, потрясенное и беспрестанно вновь потрясаемое в самой основе антагонизмом пролетариата и буржуазии, трещит, лопается и каждую минуту грозит падением. Где же такому старому, неизлечимо больному государству бороться с юным и до сих пор еще здоровым государством германским.

Отныне, повторяю я, роль Франции как первостепенной державы окончена. Время ее политического могущества прошло так же безвозвратно, как прошло время ее литературного классицизма, монархического и республиканского. Все старые основы государства в ней сгнили, и напрасно силится Тьер построить на них свою консервативную республику, т.е. старое монархическое государство с подновленною мнимо республиканскою вывескою. Но так же напрасно глава нынешней радикальной партии, г. Гамбетта, очевидный наследник г. Тьера, обещает построить новое государство, будто бы искренне республиканское и демократическое, на основаниях будто бы новых, потому что эти основания не существуют и существовать не могут.

В настоящее время серьезное, сильное государство может иметь только одно прочное основание — военную и бюрократическую централизацию. Между монархиею и самою демократическою республикою существует только одно существенное различие: в

первой чиновный мир притесняет и грабит народ для вящей пользы привилегированных, имущих классов, а также и своих собственных карманов, во имя монарха; в республике же он будет точно так же теснить и грабить народ для тех же карманов и классов, только уже во имя народной воли. В республике мнимый народ, народ легальный, будто бы представляемый государством, душит и будет душить народ живой и действительный. Но народу отнюдь не будет легче, если палка, которою его будут бить, будет называться палкою народной.

Социальный вопрос, страсть социальной революции овладела ныне французским пролетариатом. Ее нужно или удовлетворить, или обуздать и смирить; но удовлетвориться она может только тогда, когда рушится государственное насилие, этот последний оплот буржуазных интересов. Значит, никакое государство, как бы демократичны ни были его формы, хотя бы самая красная политическая республика, народная только в смысле лжи, известной под именем народного правительства, не в силах дать народу того, что ему надо, т.е. вольной организации своих собственных интересов снизу вверх, без всякого вмешательства, опеки, насилия сверху, потому что всякое государство, даже самое республиканское и самое демократическое, даже мнимо народное государство, задуманное г. Марксом, в сущности своей не представляет ничего иного, как управление массами сверху вниз, посредством интеллигентного и по этому самому привилегированного меньшинства, будто бы лучше разумеющего настоящие интересы народа, чем сам народ.

Итак, удовлетворение народной страсти и народных требований для классов имущих и управляющих решительно невозможно; поэтому остается одно средство — государственное насилие, одним словом, Государство, потому что Государство именно и значит насилие, господство посредством насилия, замаскированного, если можно, а в крайнем случае бесцеремонного и откровенного. Но г. Гамбетта столько же представитель буржуазных интересов, как и сам г. Тьер; наравне с ним он хочет сильного государства и безусловного господства среднего класса с присоединением, быть может, обуржуазившегося слоя рабочих, составляющего во Франции весьма незначительную часть всего пролетариата. Вся разница между ним и г. Тьером состоит в том, что последний, одержимый предубеждениями и предрассудками своего времени, ищет опоры и спасенья только в чрезвычайно богатой буржуазии и с недоверием смотрит на десятки или даже сотни тысяч новых претендентов на управление из мелкой буржуазии и из вышеупомянутого класса рабочих, стремящихся к буржуазии; в то время как г. Гамбетта, отвергнутый высшими классами, до сих пор исключительно правившими Франциею, стремится основать свое политическое могущество, свою республикански-демократическую диктатуру именно на том огромном и чисто буржуазном большинстве, которое до сих пор оставалось вне выгод и почестей государственного управления.

Он уверен, впрочем, и мы думаем, совершенно справедливо, что лишь только ему удастся с помощью этого большинства овладеть властью, сами богатые классы, банкиры, крупные землевладельцы, купцы и промышленники, одним словом, все значительные спекуляторы, обогащающиеся более других народным трудом, обратятся к нему, признают его, в свою очередь, и будут искать его союза и дружбы, в которых он им, разумеется, не откажет, потому что как настоящий государственный человек он слишком хорошо знает, что никакое государство, и особенно сильное, не может существовать без их союза и дружбы.

Это значит, что гамбеттовское государство будет столь же притеснительно и разорительно для народа, как и все его более откровенные, но не более насильственные предшественники; и именно потому, что оно будет облечено в широкие

демократические формы, оно сильнее и гораздо вернее будет гарантировать хищному и богатому меньшинству спокойную и широкую эксплуатацию народного труда.
Как государственный человек новейшей школы г. Гамбетта нисколько не боится самых широко-демократических форм, ни права поголовного избирательства. Он лучше всякого знает, как мало в них ручательств для народа и как много, напротив, для эксплуатирующих его лиц и классов; он знает, что никогда правительственный деспотизм не бывает так страшен и так силен, как когда опирается на мнимое представительство мнимой народной воли.
Итак, если бы французский пролетариат мог увлечься обещаниями честолюбивого адвоката, если бы г. Гамбетте удалось уложить этот беспокойный пролетариат на прокрустову кровать своей демократической республики, то, нет сомнения, он успел бы восстановить французское государство во всем его прежнем величии и преобладании.
Но в том-то и дело, что эта попытка удаться ему не может. Нет теперь на свете такой силы, нет такого политического или религиозного средства, которое могло бы задушить в пролетариате какой бы то ни было страны, а особенно во французском пролетариате, стремление к экономическому освобождению и к социальному равенству. Что ни делай Гамбетта, грози он штыками, ласкай он словами, ему не справиться с богатырскою силою, скрывающейся ныне в этом стремлении, и никогда не удастся ему запрячь по-прежнему массы чернорабочих в блестящую государственную колесницу. Никакими цветами красноречия не успеет он забросать и сравнять пропасть, отделяющую безвозвратно буржуазию от пролетариата, положить конец отчаянной борьбе между ними. Эта борьба потребует употребления всех государственных средств и сил, так что для удержания за собою внешнего преобладания между европейскими государствами у французского государства не останется ни средств, ни сил. Куда же ему тягаться с империею Бисмарка!
Что ни говори и как ни хвастай французские государственные патриоты, Франция как государство осуждена отныне занимать скромное, весьма второстепенное место; мало того, она должна будет подчиниться верховному руководству, дружески-почтительному влиянию Германской империи, точно так, как до 1870 года итальянское государство подчинялось политике Французской империи.
Положение, пожалуй, довольно выгодное для французских спекуляторов, обретающих значительное утешение на всемирном рынке, но отнюдь не завидное с точки зрения национального тщеславия, которым так преисполнены французские государственные патриоты. До 1870 можно было думать, что это тщеславие так сильно, что оно в состоянии бросить самых тесных и упорных поборников буржуазных привилегий в Социальную Революцию, лишь бы только избавить Францию от позора быть побежденною и покоренною немцами. Но уже после 1870 года этого никто ждать от них не будет; все знают, что они скорее согласятся на всякий позор, даже на подчинение немецкому покровительству, чем откажутся от своего прибыльного господства над своим собственным пролетариатом.
Не ясно ли, что французское государство никогда уже не восстановится в своем прежнем могуществе? Но значит ли это, что всемирная и, легко сказать, передовая роль Франции кончилась? Отнюдь нет; это значит только, что, потеряв безвозвратно свое величие как государство, Франция должна будет искать нового величия в Социальной Революции.
Но если не Франция, то какое другое государство в Европе может состязаться с новою Германскою империею? Разумеется, не Великобритания. Во-первых, Англия никогда, собственно, не была государством в строгом и новейшем смысле этого слова, т.е. в смысле военной, полицейской и бюрократической централизации. Англия представляет

скорее федерацию привилегированных интересов, автономное общество, в котором преобладала сначала поземельная аристократия, а теперь вместе с нею преобладает аристократия денежная, но в котором, точно так же, как во Франции, хотя и в несколько других формах, пролетариат ясно и грозно стремится к уравнению экономического состояния и политических прав.

Разумеется, влияние Англии на политические дела континентальной Европы было всегда велико, но оно основывалось всегда гораздо более на богатстве, чем на организации военной силы. В настоящее время, как всем известно, оно значительно уменьшилось. Еще тридцать лет тому назад оно не перенесло бы так спокойно ни завоевания рейнских провинций немцами, ни восстановления русского преобладания на Черном море, ни похода русских в Хиву. Такая систематическая уступчивость с ее стороны доказывает несомненную и притом с каждым годом все более возрастающую политическую несостоятельность. Главная причина этой несостоятельности все тот же антагонизм чернорабочего мира с миром эксплуатирующей, политически господствующей буржуазии.

В Англии Социальная Революция гораздо ближе, чем думают, и нигде она не будет так ужасна, потому что нигде она не встретит такого отчаянного и так хорошо организованного сопротивления, как именно в ней.

Об Испании и Италии даже и говорить нечего. Никогда не сделаются они грозными, ни даже сильными государствами, не потому, чтобы у них не было материальных средств, а потому, что народный дух как той, так и другой влечет их неотвратимо к совершенно иной цели.

Испания, совращенная с своего нормального пути католическим изуверством и деспотизмом Карла V и Филиппа II и обогатившаяся вдруг не народным трудом, а американским серебром и золотом, в XVI и XVII веках попробовала вынести на своих плечах незавидную честь насильственного основания всемирной монархии. Она дорого поплатилась за это. Время ее могущества было именно началом ее умственного, нравственного и материального обнищания. После короткого и неестественного напряжения всех сил, сделавшего ее страшною и ненавистною для целой Европы и даже успевшего остановить на минуту, но только на одну минуту, прогрессивное движение европейского общества, она как будто вдруг надорвалась и впала в крайнюю степень отупения, расслабления и апатии, в которой и оставалась, окончательно опозоренная чудовищным и идиотским управлением Бурбонов, до тех пор пока Наполеон I своим хищническим вторжением в ее пределы не пробудил ее от двухвекового сна.

Оказалось, что Испания не умерла. Она спаслась от чужеземного ига чисто народным восстанием и доказала, что народные массы, невежественные и безоружные, в состоянии сопротивляться лучшим войскам в мире, если только они одушевлены сильною и единодушною страстью. Она доказала даже больше, а именно, что для сохранения свободы, силы и страсти народной невежество даже предпочтительнее буржуазной цивилизации.

Напрасно немцы кичатся и сравнивают свое национальное, но далеко не народное восстание 1812 и 1813 годов с испанским. Испанцы восстали беззащитные против огромного могущества до тех пор непобедимого завоевателя; немцы же восстали против Наполеона лишь после совершенного поражения, нанесенного ему в России. До тех пор не было примера, чтобы какая-нибудь немецкая деревня или какой немецкий город посмел оказать хотя самое ничтожное сопротивление победоносным французским войскам. Немцы так привыкли к повиновению, этой первой государственной добродетели, что воля победителей становилась для них священна, как скоро они

фактически заменяли волю домашних властей. Сами прусские генералы, сдавая одну за другой крепости, самые крепкие позиции и столицы, повторяли достопамятные и обратившиеся в пословицу слова тогдашнего берлинского коменданта: "Спокойствие есть первая обязанность гражданина".

Только один Тироль составил тогда исключение. В Тироле Наполеон встретил действительно народное сопротивление. Но Тироль, как известно, составляет самую отсталую и необразованную часть Германии, и пример его не нашел подражателей ни в одной из других областей просвещенной Германии.

Народное восстание, по природе своей стихийное, хаотическое и беспощадное, предполагает всегда большую растрату и жертву собственности, своей и чужой. Народные массы на подобные жертвы всегда готовы; они потому и составляют грубую, дикую силу, способную к совершению подвигов и к осуществлению целей, по-видимому, невозможных, что, имея лишь очень мало или не имея вовсе собственности, они не развращены ею. Когда это нужно для обороны или для победы, они не остановятся перед истреблением своих собственных селений и городов, а так как собственность большею частью чужая, то в них обнаруживается нередко положительная страсть к разрушению. Этой отрицательной страсти далеко не достаточно, чтобы подняться на высоту революционного дела; но без нее последнее немыслимо, невозможно, потому что не может быть революции без широкого и страстного разрушения, разрушения спасительного и плодотворного, потому что именно из него и только посредством него зарождаются и возникают новые миры.

Такое разрушение несовместно с буржуазным сознанием, с буржуазною цивилизациею, потому что она вся построена на фанатическом богопочитании собственности. Бюргер или буржуа отдадут скорее жизнь, свободу, честь, но не отступятся от своей собственности; самая мысль о посягательстве на нее, о разрушении ее для какой бы то ни было цели кажется им святотатством; вот почему они никогда не согласятся на уничтожение своих городов и домов, даже когда это потребует защита края; и вот почему французские буржуа в 1870 году и немецкое бюргерство до самого 1813 года так легко поддавались счастливым завоевателям. Мы видели, что обладания собственностью было достаточно, чтобы развратить французское крестьянство и убить в нем последнюю искру патриотизма.

Итак, чтобы сказать последнее слово о так называемом национальном восстаний Германии против Наполеона, повторим, во-первых, что оно воспоследовало только тогда, когда его уничтоженные войска бежали из России и когда прусские и другие немецкие корпуса, незадолго перед тем составлявшие часть наполеоновской армии, перешли на сторону русских; и, во-вторых, что даже и тогда в Германии не было собственно народного поголовного восстания, что города и села оставались спокойны по-прежнему, а образовались только вольные отряды молодых людей, большею частью студентов, которые тотчас же были включены в состав регулярного войска, что совершенно противно методу и духу народных восстаний. Одним словом, в Германии юные граждане или, точнее, верноподданные, возбужденные горячею проповедью своих философов и воспламененные песнями своих поэтов, вооружились для защиты и для восстановления германского государства, потому что именно в это время и пробудилась в Германии мысль о государстве пангерманском. Между тем испанский народ встал поголовно, чтобы отстоять против дерзкого и могучего похитителя свободу родины и самостоятельность народной жизни.

С тех пор Испания не засыпала, но в продолжение 60 лет мучилась, отыскивая себе новые формы для новой жизни. Бедная, чего она не перепробовала! От абсолютной

монархии, два раза восстановляемой, до конституции королевы Изабеллы, от Эспартеро до Нарваэса, от Нарваэса до Прима и от последнего до короля Амедея, Сагасты и Сорильи, она как бы хотела примерить всевозможные видоизменения конституционной монархии, и все оказались для нее тесными, разорительными, невозможными. Также невозможна оказывается теперь консервативная республика, т.е. господство спекуляторов, богатых собственников и банкиров под республиканскими формами. Такою же невозможностью окажется скоро и политическая мелкобуржуазная федерация, вроде швейцарской.

Испаниею овладел не на шутку черт революционного социализма. Андалузские и эстремадурские крестьяне, не спрашиваясь никого и не ожидая ничьих указаний, захватили уже и все далее захватывают земли прежних землевладельцев. Каталония и во главе ее Барселона громко заявляют свою независимость, свою автономию. Мадридский народ провозглашает федеральную республику и не соглашается подчинить революцию будущим указам учредительного собрания. В северных провинциях, находящихся будто бы во власти карлистской реакции, совершается явно Социальная Революция: провозглашаются фуэросы, независимость областей и общин, жгутся все судебные и гражданские акты; войско во всей Испании братается с народом и гонит своих офицеров. Началось всеобщее, публичное и частное, банкротство — первое условие социально-экономической революции.

Одним словом, разгром и распадение окончательное, и все это валится само собою, разбитое или раздробленное своею собственною гнилостью. Нет более ни финансов, ни войска, ни суда, ни полиции; нет государственной силы, нет государства, остается могучий, свежий народ, одержимый ныне единою социально-революционною страстью. Под коллективным руководством Интернационала и Союза Социальных Революционеров он сплочивает и организует свою силу и готовится на развалинах распадающегося государства и буржуазного мира основать собственный мир освобожденного работника-человека.

Италия столь же близка к Социальной Революции, как и сама Испания. В ней также, несмотря на все старания конституционных монархистов и несмотря даже на геройские, но тщетные усилия двух великих вождей, Маццини и Гарибальди, не принялась, да и никогда не примется идея государственности, потому что противна настоящему духу и всем современным инстинктивным стремлениям и материальным требованиям бесчисленного деревенского и городского пролетариата.

Так же как Испания, Италия, утратившая уже очень давно и, главное, безвозвратно централистические, или единодержавные, предания древнего Рима, предания, сохранившиеся в книгах Данте, Макиавелли и в новейшей политической литературе, но отнюдь не в живой памяти народа, — Италия, говорю я, сохранила только одну живую традицию абсолютной автономии даже не областей, а общины. К этому единственному политическому понятию, существующему собственно в народе, присоедините исторически-этнографическую разнородность областей, говорящих на диалектах столь различных, что люди одной области с трудом понимают, а иногда вовсе не понимают людей других областей. Понятно, стало быть, как далека Италия от осуществления новейшего политического идеала государственного единства. Но это отнюдь не значит, чтобы Италия была общественно разъединена. Напротив, несмотря на все различия, существующие в наречиях, обычаях и нравах, есть общий итальянский характер и тип, по которым вы сейчас отличите итальянца от человека всякого другого племени, даже южного.

С другой стороны, действительная солидарность материальных интересов и удивительная тождественность нравственных и умственных стремлений самым тесным образом соединяют и сплочивают все итальянские области между собою. Но замечательно, что все эти интересы, равно как и эти стремления обращены именно против насильственного политического единства и, напротив, клонятся все к установлению единства общественного; так что можно сказать и доказать бесчисленными фактами из настоящей жизни Италии, что насильственно-политическое, или государственное, единство ее имело результатом общественное разъединение и что, вследствие того, разрушение новейшего итальянского государства будет иметь непременно результатом ее вольно-общественное соединение.

Все это относится, разумеется, собственно только к народным массам, потому что в высших слоях итальянской буржуазии, так же как и в других странах, с единством государственным создалось и теперь развивается и расширяется все более и более социальное единство класса привилегированных эксплуататоров народного труда.

Этот класс обозначается теперь в Италии общим именем консортерии. Консортерия обнимает весь официальный мир, бюрократический и военный, полицейский и судебный, весь мир больших собственников, промышленников, купцов и банкиров, всю официальную и официозную адвокатуру и литературу, а также весь парламент, правая сторона которого пользуется ныне всеми выгодами управления, а левая стремится захватить то же самое управление в свои руки.

Итак, в Италии, как и везде, существует единый и нераздельный политический мир хищников, сосущих страну во имя государства и доведших ее, для вящей пользы последнего, до крайней степени нищеты и отчаяния.

Но нищета самая ужасная, даже когда она поражает многомиллионный пролетариат, не есть еще достаточный залог для революции. Человек одарен от природы изумительным и, право, иногда доводящим до отчаяния терпением, и черт знает, чего он не переносит, когда вместе с нищетой, обрекающей его на неслыханные лишения и медленную голодную смерть, он еще награжден тупоумием, тупостью чувств, отсутствием всякого сознания своего права и тем невозмутимым терпением и послушанием, которыми между всеми народами особенно отличаются восточные индейцы и немцы. Такой человек никогда не воспрянет; умрет, но не взбунтуется.

Но когда он доведен до отчаяния, возмущение его становится уже более возможным. Отчаяние — острое, страстное чувство. Оно вызывает его из тупого, полусонного страдания и предполагает уже более или менее ясное сознание возможности лучшего положения, которого он только не надеется достигнуть.

В отчаянии, наконец, долго оставаться не может никто; оно быстро приводит человека или к смерти, или к делу. К какому делу? Разумеется, к делу освобождения и завоевания условий лучшего существования. Даже немец в отчаянии перестает быть резонером; только надо много, очень много всякого рода обид, притеснений, страданий и зла, чтобы довести его до отчаяния.

Но и нищеты с отчаянием мало, чтобы возбудить Социальную Революцию. Они способны произвести личные или, много, местные бунты, но недостаточны, чтобы поднять целые народные массы. Для этого необходим еще общенародный идеал, вырабатывающийся всегда исторически из глубины народного инстинкта, воспитанного, расширенного и освещенного рядом знаменательных происшествий, тяжелых и горьких опытов, — нужно общее представление о своем праве и глубокая, страстная, можно сказать, религиозная вера в это право. Когда такой идеал и такая вера в народе встречаются вместе с

нищетою, доводящею его до отчаяния, тогда Социальная Революция неотвратима, близка, и никакая сила не может ей воспрепятствовать.

Именно в таком положении находится итальянский народ. Нищета и претерпеваемые им всякого рода страдания ужасны и мало уступают нищете и страданиям, удручающим русский народ. Но в то же самое время в итальянском пролетариате гораздо в большей степени, чем в нашем, развилось страстное революционное сознание, определяющееся в нем с каждым днем все яснее и сильнее. От природы умный и страстный, итальянский пролетариат начинает, наконец, понимать, чего ему надо и чего он должен хотеть для всецелого и всеобщего освобождения. В этом отношении пропаганда Интернационала, которая повелась энергично и широко только в последние два года, оказала ему громадную услугу. Она именно дала ему, или, вернее, она возбудила в нем этот идеал, крупно начертанный глубочайшим инстинктом его, без которого, как мы сказали, народное восстание, каковы бы ни были страдания народа, решительно невозможно[3]; она указала ему цель, которую он должен осуществить, и вместе с тем открыла ему пути и средства для организации народной силы.

Этот идеал представляет, разумеется, народу на первом плане конец нужды, конец нищеты и полное удовлетворение всех материальных потребностей посредством коллективного труда, для всех обязательного и для всех равного; потом — конец господам и всякому господству и вольное устройство народной жизни сообразно народным потребностям, не сверху вниз, как в государстве, но снизу вверх, самим народом, помимо всех правительств и парламентов, вольный союз земледельческих и фабричных рабочих товариществ, общин, областей и народов; и наконец, в более отдаленном будущем общечеловеческое братство, торжествующее на развалинах всех государств.

Замечательно, что в Италии, равно как и в Испании, решительно не посчастливилось государственно-коммунистической программе Маркса, а напротив, приняли широко и страстно программу пресловутого Альянса, или Союза Социальных Революционеров, объявившую беспощадную войну всякому господству, правительственной опеке, начальству и авторитету.

При этих условиях народ может освободиться, построить свою собственную жизнь на самой широкой воле всех и каждого, но отнюдь уже не может грозить свободе других народов; поэтому ни со стороны Испании, ни со стороны Италии завоевательной политики ждать нельзя, а, напротив, должно ожидать близкой Социальной Революции.

Маленькие государства, каковы Швейцария, Бельгия, Голландия, Дания и Швеция, также, именно по тем же причинам, но главным образом вследствие своей политической незначительности, никому не грозят, а, напротив, имеют много причин опасаться завоеваний со стороны новой Германской империи.

Остаются Австрия, Россия и прусская Германия. Упоминать об Австрии не значит ли говорить о неизлечимом больном, быстрыми шагами приближающемся к смерти? Эта империя, созданная путем династических связей и военного насилия, состоящая к тому же из четырех противуположных и друг друга мало любящих рас под преобладанием расы немецкой, единодушно ненавидимой тремя другими и числом своим едва равняющейся четвертой части всего населения, наполовину же составленная из славян, требующих автономии и в последнее время распавшихся на два государства, мадьяро-славянское и германо-славянское, — такая империя, говорим мы, могла держаться, пока преобладал в ней военно-полицейский деспотизм. В продолжение последних двадцати пяти лет она претерпела три смертельных удара. Первое поражение было ей нанесено революцией 1848 года, положившей конец старой системе и управлению князя

Меттерниха. С тех пор она поддерживает дряхлое существование свое героическими средствами и самыми разнообразными конфортативами. В 1849 году, спасенная императором Николаем, она под управлением надменного олигарха, князя Шварценберга, и славянофильствующего иезуита, графа Туна, редактора конкордата, бросилась искать спасения в самой отчаянной клерикальной и политической реакции и в водворении полнейшей и беспощаднейшей централизации во всех провинциях своих наперекор всем национальным различиям. Но второе поражение, нанесенное ей Наполеоном III в 1859 г., доказало, что военно-бюрократическая централизация ее спасти не может.

С тех пор она ударилась в либерализм. Вызвала из Саксонии неумелого и несчастного соперника князя (а тогда еще графа) Бисмарка, барона Бейста и стала отчаянно освобождать свои народы, но, освобождая их, хотела вместе с тем спасти и свое государственное единство, т.е. решить задачу просто неразрешимую.

Надо было в одно и то же время удовлетворить четыре главные племени, населяющие империю, — славян, немцев, мадьяр и валахов[4], которые не только чрезвычайно различны по своей природе, по своим языкам, равно как и по различным характерам и степеням культуры, но даже относятся друг к другу большею частью враждебно и поэтому могли и могут быть удержаны в государственной связи только посредством правительственного насилия.

Надо было удовлетворить немцев, большинство которых, стремясь к завоеванию самой либерально-демократической конституции, вместе с тем требуют настоятельно и громко, чтобы за ними было оставлено древнее право на государственное преобладание в австрийской монархии, несмотря на то, что они вместе с евреями составляют только четвертую часть всего ее населения.

Не есть ли это новое доказательство той истины, которую мы неутомимо отстаиваем в убеждении, что от всеобщего уразумения ее зависит скорейшее разрешение всех социальных задач; а именно, что государство, всякое государство, будь оно облечено в самые либеральные и демократические формы, непременно основано на преобладании, на господстве, на насилии, т.е. на деспотизме, скрытом, если хотите, но тем более опасном.

Немцы, государственники и бюрократы, можно сказать, от природы, опирают свои претензии на своем историческом праве, т.е. на праве завоевания и давности, с одной стороны, а с другой, на мнимом превосходстве своей культуры. В конце этого предисловия мы будем иметь случай показать, как далеко простираются их претензии. Теперь ограничимся австрийскими немцами, хотя очень трудно отделить их претензии от общегерманских.

Австрийские немцы в последние годы скрепя сердце поняли, что им надо отказаться, по крайней мере на первое время, от преобладания над мадьярами, за которыми они признали, наконец, право на самостоятельное существование. Из всех племен, населяющих Австрийскую империю, мадьяры после немцев самый государственный народ: несмотря на жесточайшие гонения и на самые крутые меры, которыми в продолжение девяти лет, от 1850 до 1859, австрийское правительство силилось сломать их упорство, они не только не отказались от своей национальной самостоятельности, но отстаивали и отстояли свое право, по их мнению, равно же историческое, на государственное преобладание над всеми другими племенами, населяющими вместе с ними Венгерское королевство, несмотря на то, что сами составляют не много более третьей части всего королевства[5].

Таким образом несчастная Австрийская империя распалась на два государства почти одинаковой силы и соединенные только под одною короною — на государство цислейтанское, или славяно-немецкое, с 20500000 жителей (из которых 7200000 немцев и евреев, 11500000 славян и около 1800 000 итальянцев и других племен) и на государство транслейтанское, венгерское или мадьяро-славяно-румыно-немецкое.

Замечательно то, что ни одно из этих двух государств даже в своем внутреннем составе не представляет никаких залогов ни настоящей, ни даже будущей силы.

В Венгерском королевстве, несмотря на либеральную конституцию и на несомненную ловкость мадьярских правителей, борьба рас, эта коренная болезнь австрийской монархии, нисколько не утихла. Большинство населения, подчиненное мадьярам, не любит их и никогда не согласится добровольно нести их иго, вследствие чего между ним и мадьярами происходит беспрерывная борьба, причем славяне опираются на турецких славян, а румыны на братское население в Валахии, Молдавии, Бессарабии и Буковине; мадьяры, составляющие только одну треть населения, поневоле должны искать опоры и покровительства в Вене; а императорская Вена, которая не может переварить мадьярского отторжения, питает, равно как и все одряхлевшие и падшие династические правительства, тайную надежду на чудесное восстановление утраченного могущества, чрезвычайно рада этим внутренним раздорам, не позволяющим Венгерскому королевству установиться, и втайне разжигает славянские и румынские страсти против мадьяр. Мадьярские правители и политические люди это знают и в отплату, с своей стороны, поддерживают тайное сношение с князем Бисмарком, который, предвидя неизбежную войну против Австрийской империи, обреченной на гибель, заигрывает с мадьярами.

Цислейтанское, или германо-славянское, государство находится в положении ничуть не лучшем. Тут немного больше семи миллионов немцев, включая евреев, заявляют претензию управлять одиннадцатью с половиною миллионами славян.

Претензия эта, разумеется, странная. Можно сказать, что с самых древних времен исторической задачей немцев было завоевывать славянские земли, истреблять, покорять и цивилизовать, т.е. немечить или мещанить славян. Отсюда возникла между обоими племенами глубокая историческая и взаимная ненависть, обусловленная с обеих сторон специальным положением каждой.

Славяне ненавидят немцев, как ненавидят всех победителей народы завоеванные, но не примирившиеся и в душе своей не покорившиеся. Немцы ненавидят славян, как господа ненавидят обыкновенно своих рабов; ненавидят их за ненависть, которую они, немцы, заслужили со стороны славян; ненавидят их за ту невольную и беспрестанную боязнь, которую возбуждают в них неугасимая мысль и надежда славян на освобождение.

Как все завоеватели чужой земли и покорители чужого народа, немцы в одно и то же время совершенно несправедливо и ненавидят, и презирают славян. Мы сказали, за что они их ненавидят, презирают же они их за то, что славяне не умели и не хотели онемечиваться. Замечательно, что прусские немцы самым серьезным образом и горько упрекают австрийских немцев и обвиняют австрийское правительство чуть ли не в измене за то, что они не умели онемечить славян. Это, по их убеждению, да и в самом деле, составляет величайшее преступление против общенемецких патриотических интересов, против пангерманизма.

Угрожаемые, или, вернее, уже теперь отовсюду гонимые, не совсем раздавленные этим ненавистным для них пангерманизмом, австрийские славяне, за исключением поляков, противупоставили ему другую отвратительнейшую нелепость, другой не менее свободопротивный и народоубийственный идеал — панславизм[6].

Мы не утверждаем, чтобы все австрийские славяне, даже помимо поляков, поклонялись этому столь же уродливому, сколько и опасному идеалу, к которому, заметим мимоходом, между турецкими славянами, несмотря на все происки русских агентов, беспрестанно шляющихся между ними, проявляется чрезвычайно мало симпатии. Но тем не менее верно, что чаяние избавления и избавителя от Петербурга довольно сильно распространено между австрийскими славянами. Страшная и, прибавим, совершенно законная ненависть довела их до такой степени безумия, что, позабыв или не зная всех бедствий, претерпеваемых Литвою, Польшею, Малороссией), да и самим великорусским народом под деспотизмом московским и петербургским, они стали ждать спасения от нашего всероссийски-царского кнута!

Что такие нелепые ожидания могли развиться в славянских массах, удивляться не следует. Они не знают истории, не знают также и внутреннего состояния России, они слышали только, что на смех и наперекор немцам образовалась огромная, будто бы чисто славянская империя, до такой степени могущественная, что перед нею дрожат ненавистные немцы. Немцы дрожат, следовательно, славянам надо радоваться; немцы ненавидят, значит, славяне должны любить.

Все это очень естественно. Но странно, грустно и непростительно, что среди образованного класса в австрийско-славянских землях создалась целая партия, во главе которой стоят люди опытные, умные, сведущие и открыто проповедуют панславизм или, по крайней мере, в смысле иных, освобождение славянских племен посредством могучего вмешательства русской империи, а в смысле других — даже создание великого царства славянского под державою русского царя.

Замечательно, до какой степени эта проклятая немецкая цивилизация, по существу своему буржуазная и потому государственная, успела проникнуть в души даже патриотов славянских. Они родились в онемечившемся буржуазном обществе, учились в немецких школах и университетах, привыкли думать, чувствовать, хотеть по-немецки и стали бы совершенными немцами, если бы цель, которую они преследуют, не была антинемецкая: немецкими путями и средствами они хотят, думают освободить славян из-под немецкого ига. Не понимая, по своему немецкому воспитанию, другого способа освобождения, как посредством образования славянских государств или единого могущественного славянского государства, они задаются и целью совершенно немецкою, потому что новейшее государство, централистическое, бюрократическое и полицейско-военное, вроде, например, новой Германской или всероссийской империи, есть создание чисто немецкое; в России оно было прежде с примесью татарского элемента, но за татарскою любезностью, право, и в Германии теперь дела не станет.

По всей природе и по всему существу своему славяне решительно племя не политическое, т.е. не государственное. Напрасно чехи поминают свое великое царство Моравское, а сербы царство Душана. Все это или эфемерные явления, или древние басни. Верно то, что ни одно славянское племя само собой не создало государства.

Польская монархия-республика создалась под двойным влиянием германизма и латинизма после совершенного поражения, нанесенного крестьянскому народу (хлопам), и после рабского покорения его под иго шляхты, которая, по свидетельству и по мнению многих польских историков и писателей (между прочим Мицкевича), не была даже славянского происхождения.

Богемское, или чешское, королевство было слеплено чисто по образу и подобию немецкому, под прямым влиянием немцев, вследствие чего Богемия так рано стала органическим членом, неотрывною частью Германской империи.

Ну, а историю образования всероссийской империи все знают; тут участвовали и татарский кнут, и византийское благословение, и немецкое чиновно-военное и полицейское просвещение. Бедный великорусский народ, а потом и другие народы, малороссийский, литовский и польский, присоединенные к ней, участвовали в ее создании только своею спиною.

Итак, несомненно, что славяне никогда сами собой, своею собственною инициативой государства не слагали. А не слагали они его потому, что никогда не были завоевательным племенем. Только народы завоевательные создают государство и создают его непременно себе в пользу, в ущерб покоренным народам.

Славяне были по преимуществу племенем мирным и земледельческим. Чуждые воинственного духа, которым одушевлялись германские племена, они были по этому самому чужды тем государственным стремлениям, которые с ранних пор проявились в германцах. Живя отдельно и независимо в своих общинах, управляемых по патриархальному обычаю стариками, впрочем, на основании выборного начала и пользуясь все одинаково общинною землею, они не имели и не знали дворянства, не имели даже с собой касты жрецов, были все равны между собою, осуществляя, правда, еще только в патриархальном и, следовательно, в самом несовершенном виде идею человеческого братства. Не было постоянной политической связи между общинами. Но когда угрожала общая опасность, например, нападение чужеземного племени, они временно заключали оборонительный союз, и лишь только опасность миновала, эта тень политического соединения исчезала. Значит, не было и не могло быть славянского государства. Но существовала зато связь общественная, братская между всеми славянскими племенами, в высшей степени гостеприимными.

Естественно, что при такой организации славяне должны были оказаться беззащитными против нападений и захватов воинственных племен, особенно германцев, стремившихся распространить повсюду свое господство... Славяне были отчасти истреблены, большею же частью покорены турками, татарами, мадьярами, а главным образом немцами.

Со второй половины X века начинается мученическая история их рабства, но не только мученическая, а также и героическая. В многовековой, беспрерывной и упорной борьбе против завоевателей они пролили много крови за свою земскую волю. Уже в XI веке мы встречаем два факта: всеобщее восстание славянских язычников, обитавших между Одером, Эльбою и Балтийским морем, против немецких рыцарей и попов и столь же знаменательное возмущение великопольских хлопов против шляхетского господства. Затем до XV века продолжалась борьба мелкая, незаметная, но беспрерывная западных славян против немцев, южных против турок, северо-восточных против татар.

В XV веке мы встречаем великую и на этот раз победоносную, а также чисто народную революцию чешских гуситов. Оставляя в стороне их религиозный принцип, который, однако, заметим мимоходом, был несравненно ближе к началу человеческого братства и народной свободы, чем принцип католический и последовавший за ним протестантский принцип, — мы обратим внимание на чисто социальный и противогосударственный характер этой революции. Это был бунт славянской общины против немецкого государства.

В XVII веке, вследствие целого ряда измен пражского полуонемеченного мещанства, гуситы претерпели окончательное поражение. Почти половина чешского народонаселения была истреблена, и земли отданы колонистам из Германии. Немцы и вместе с ними и иезуиты восторжествовали, и в продолжение двух веков с лишком после этого кровавого поражения западно-славянский мир оставался неподвижен, нем под гнетом католической церкви и восторжествовавшего германизма. В то же самое время

южные славяне влачили рабскую долю под преобладанием мадьярского племени или под игом турецким. Но зато славянский бунт во имя тех же народно-общинных начал воспрянул на северо-востоке.

Не говоря уже об отчаянной борьбе Великого Новгорода, Пскова и других областей против царей московских в XVI веке, ни о союзном ополчении великорусского земства против польского короля, иезуитов, московских бояр и вообще против преобладания Москвы в начале XVII века, вспомним знаменитое восстание малороссийского и литовского населения против польской шляхты, а вслед за ним еще более решительное восстание приволжского крестьянства под предводительством Степана Разина; наконец, сто лет спустя, не менее знаменательный бунт Пугачева. И во всех этих чисто народных движениях, восстаниях и бунтах мы находим ту же ненависть к государству, то же стремление к созданию вольно-общинного крестьянского мира.

Наконец, XIX век может быть назван веком общего пробуждения для славянского племени. О Польше и говорить нечего. Она никогда не засыпала, потому что со времени разбойнического похищения ее свободы, правда, не народной, а шляхетской и государственной, со времени ее разделения между тремя хищническими державами она не переставала бороться, и, что ни делай Муравьевы и Бисмарк, она будет бунтовать, пока не добунтуется до свободы. К несчастью для Польши, руководящие партии ее, до сих еще преимущественно шляхетские, не умели отказаться от своей государственной программы и вместо того чтобы искать освобождения и обновления своей родины в социальной революции, повинуясь древним преданиям, ищут их то в покровительстве какого-нибудь Наполеона, то в союзе с иезуитами и австрийскими феодалами.

Но в нашем веке пробудились также и западные, и южные славяне. Наперекор всем немецким политическим, полицейским и цивилизаторским усилиям, Богемия после трехвекового сна воспрянула вновь как страна чисто славянская и стала естественным средоточием для всего западно-славянского движения. Тем же самым стала турецкая Сербия для движения южно-славянского.

Но вместе с возрождением славянских племен возбуждается вопрос чрезвычайно важный и, можно сказать, роковой.

Каким образом должно совершиться это славянское возрождение? Древним ли путем государственного преобладания или путем действительного освобождения всех народов, по крайней мере европейских, освобождения всего европейского пролетариата от всякого ига, и прежде всего от ига государственного? Должны ли и могут ли славяне избавиться от чужеземного, главным образом от немецкого ига, наиболее для них ненавистного, прибегая, в свою очередь, к немецкому методу завоевания, захвата и принуждения завоеванных народных масс к ненавистному им, прежде немецкому, теперь же славянскому верноподданичеству, или только путем солидарного восстания всего европейского пролетариата, посредством Социальной Революции? Все будущее славян зависит от того, какой из этих двух путей они выберут. На который же из них они должны решиться? По нашему убеждению, поставить этот вопрос — значит разрешить его. Вопреки премудрому изречению царя Соломона, старое никогда не повторяется. Новейшее государство, только вполне осуществившее древнюю идею господства, точно так же, как христианство осуществляет последнюю форму богословского верования или религиозного рабства; государство бюрократическое, военно-полицейское и централистическое, стремящееся по самой необходимости своего внутреннего существа захватывать, покорять, душить все, что вокруг него существует, живет, движется, дышит; это государство, нашедшее последнее выражение свое в

пангерманской империи, отживает ныне свой век. Его дни сочтены, и от падения его все народы ждут своего окончательного избавления.
Неужели славянам суждено повторить человеконенавистный, народоненавистный, уже теперь осужденный историею ответ? И для чего же? Чести нет никакой; напротив — преступление, бесславие, проклятие современников и потомков. Или славянам стало завидно, что немцы заслужили ненависть всех остальных народов Европы? Или им нравится роль всемирного Бога? Черт побери всех славян, со всею их военною будущностью, если после многолетнего рабства, мучения, молчания они должны принести человечеству новые цепи!
А польза для славян какая? Какая может быть польза для славянских народных масс от образования великого славянского государства? В таких государствах есть выгода несомненная, но только не для многомиллионного пролетариата, а для привилегированного меньшинства, поповского, дворянского, буржуазного или, пожалуй, хотя интеллектуального, т.е. такого, которое, во имя своей патентованной учености и своего мнимо умственного превосходства, считает себя призванным заправлять массами; выгода есть для нескольких тысяч притеснителей, палачей и эксплуататоров пролетариата. Для самого пролетариата, для чернорабочих масс чем обширнее государство, тем тяжелее цепи и тем теснее тюрьма.
Мы сказали и доказали выше, что общество не может быть и оставаться государством, если не сделается завоевательным государством. Та самая конкуренция, которая на экономическом поле уничтожает и поглощает небольшие и даже средние капиталы, фабричные заведения, поземельные владения и торговые дома в пользу огромных капиталов, фабрик, имуществ и торговых домов, уничтожает и поглощает маленькие и средние государства в пользу империй. Отныне всякое государство, если оно хочет существовать не на бумаге только и не по милости его соседей, пока им угодно терпеть его существование, но действительно, самостоятельно, независимо, должно непременно быть завоевательным.
Но быть завоевательным государством значит быть вынужденным держать в насильном подчинении много миллионов чужого народа. Для этого необходимо развитие громадной военной силы. А где торжествует военная сила, прощай, свобода! Особенно прощай, воля и благоденствие рабочего народа. Из этого следует, что образование великого славянского государства есть не что иное, как образование громадного славяно-народного рабства. "Но, — ответят нам славянские государственники, — мы не хотим одного великого славянского государства, мы желаем только образования нескольких чисто славянских государств средней величины как необходимого залога для независимости славянских народов". Но это мнение противно логике и историческим фактам, силе вещей; никакое государство средней величины существовать самостоятельно теперь не может. Значит, или славянских государств не будет, или будет одно громадное и всепоглощающее государство панславистское, кнутовое, С. — Петербургское.
Да и может ли славянское государство бороться против громадного могущества новой пангерманской империи, если оно само не будет столь же громадно и столь же могущественно? Рассчитывать на дружное действие многих отдельных государств, связанных одними интересами, никогда не следует; во-первых, потому что соединение разнородных организаций и сил, хотя бы равнялось или даже превышало по числу сил противников, все-таки слабее последних, потому что последние однородны и организация их, повинующаяся одной мысли, одной воле, крепче и проще; во-вторых, потому что никогда не следует рассчитывать на дружное содействие многих держав,

даже и тогда, когда их собственные интересы требуют такого союза. Правители государств, точно так же как и простые смертные, большею частью поражены слепотою, мешающею им видеть за интересом и за страстями минуты существенные требования их собственного положения.

В 1863 прямым интересом Франции, Англии, Швеции и даже Австрии было вступиться за Польшу против России, однако никто не вступился. В 1864 интерес еще более прямой предписывал Англии, Франции, особенно Швеции и даже России вступиться за Данию, угрожаемую прусско-австрийским, в сущности же, прусско-германским завоеванием, и опять никто не вступился. Наконец, в 1870 Англия, Россия и Австрия, не говоря о маленьких северных государствах, должны были в своем очевидном интересе остановить торжественное вторжение прусско-германских войск во Францию до самого Парижа и чуть не до самого юга; но и на этот раз никто не вмешался, а только когда создалось новое, всем грозящее германское могущество, державы поняли, что должны были вмешаться, но было уже поздно.

Значит, на правительственный ум соседних держав рассчитывать не должно, надо рассчитывать на свои собственные силы, и эти силы должны, по крайней мере, равняться силам противника. Стало быть, ни одно славянское государство, взятое отдельно, не будет в состоянии противиться напору пангерманской империи.

Но нельзя ли будет противупоставить пангерманской централизации панславянскую федерацию, т.е. союз самостоятельных славянских государств или штатов, вроде Северо — Американского или Швейцарского? И на этот вопрос мы должны отвечать отрицательно.

Во-первых, чтобы какой-нибудь союз мог состояться, необходимо, чтобы всероссийская империя рушилась, чтобы она распалась на много отдельных и друг от друга независимых и только федеративно друг с другом связанных государств, потому что соблюдение независимости и свободы небольших или даже средних славянских государств в таком федеративном союзе с такою громадною империею просто немыслимо.

Положим даже, что петербургская империя распадется на большее или меньшее число вольных штатов и что организованные, с своей стороны, как самостоятельные государства Польша, Богемия, Сербия, Болгария и т. д. образовали вместе с этими новыми русскими штатами великую славянскую федерацию. И в таком случае, утверждаем мы, эта федерация не будет в состоянии бороться против пангерманской централизации по той простой причине, что военно-государственная сила будет всегда на стороне централизации.

Федерация штатов может до некоторой степени гарантировать буржуазную свободу, но государственно-военной силы создать не может потому именно, что она федерация; государственная сила требует непременно централизации. Нам укажут на пример Швейцарии и Соединенных Штатов Америки. Но Швейцария именно ради увеличения своих военных и государственных сил стремится теперь явным образом к централизации, а федерация остается поныне возможною в Северной Америке потому только, что на американском континенте в соседстве с великою республикою нет ни одного могучего централизованного государства вроде России, Германии или Франции.

Итак, чтобы противодействовать на государственном или политическом поприще торжествующему пангерманизму, остается одно только средство — создать панславянское государство. Средство во всех других: отношениях чрезвычайно невыгодное для славян, потому что оно непременно повлечет за собою общее славянское рабство под всероссийским кнутом. Но верно ли оно, по крайней мере, в

отношении к своей цели, т.е. низложению германского могущества и покорению немцев панславянскому, т.е. петербурго-императорскому игу? Нет, не только не верно, но даже, наверное, недостаточно. Правда, немцев в Европе всего 50 миллионов с половиною (включая, разумеется, 9 миллионов австрийских немцев). Но положим, что мечта немецких патриотов сбылась окончательно и что в состав Германской империи вошли бы вся фламандская часть Бельгии, Голландия, немецкая Швейцария, вся Дания и даже Швеция с Норвегией, что вместе составляет народонаселение немного более 15 миллионов. Ну что же? и тогда немцев будет в Европе много-много 66 миллионов, а славян считается около 90 миллионов. Значит, в количественном отношении славяне сильнее немцев, и несмотря на то, что в количественном отношении славянское население Европы превосходит почти на треть германское, мы все-таки утверждаем, что никогда панславянское государство не сравняется могуществом и настоящею государственно-военною силою с империей пангерманской. Почему? Потому что в немецкой крови, в немецком инстинкте, в немецкой традиции есть страсть государственного порядка и государственной дисциплины, в славянах же не только нет этой страсти, но действуют и живут страсти совершенно противные; поэтому, чтобы дисциплинировать их, надо держать их под палкою, в то время как всякий немец с убеждением свободно съел палку. Его свобода состоит именно в том, что он вымуштрован и охотно преклоняется перед всяким начальством.

Притом немцы народ серьезный и работящий, они учены, бережливы, нарядливы, отчетливы и расчетливы, что не мешает им, когда надо, а именно, когда того хочет начальство, отлично драться. Они доказали это в последних войнах. К тому же их военная и административная организация доведена до наивозможнейшей степени совершенства, степени, которой никакой другой народ никогда не достигнет. Так вообразимо ли, чтоб славяне могли состязаться с ними на поле государственности!

Немцы ищут жизни и свободы в государстве; для славян же государство есть гроб. Славяне должны искать своего освобождения вне государства, не только в борьбе против немецкого государства, но во всенародном бунте против всякого государства, в Социальной Революции.

Славяне могут освободить себя, могут разрушить ненавистное им немецкое государство не тщетными стремлениями подчинить, в свою очередь, немцев своему преобладанию, сделать их рабами своего славянского государства, а только призывом их к общей свободе и к общему человеческому братству на развалинах всех существующих государств. Но государства сами не валятся; их может только повалить всенародная и всеплеменная, интернациональная Социальная Революция.

Организировать народные силы для совершения такой революции — вот единственная задача людей, искренно желающих освобождения славянского племени из-под многолетнего ига. Эти передовые люди должны понять, что то самое, что в прошедшие времена составляло слабость славянских народов, а именно их неспособность образовать государство, в настоящее время составляет их силу, их право на будущность, дает смысл всем их настоящим народным движениям. Несмотря на громадное развитие новейших государств и вследствие этого окончательного развития, доведшего, впрочем, совершенно логически и с неотвратимою необходимостью самый принцип государственности до абсурда, стало ясно, что дни государств и государственности сочтены и что приближаются времена полного освобождения чернорабочих масс и их вольной общественной организации снизу вверх, без всякого правительственного вмешательства из вольных экономических, народных союзов, помимо всех старых государственных границ и всех национальных различий, на одном основании

производительного труда, совершенно очеловеченного и вполне солидарного при всем своем разнообразии.

Передовые славянские люди должны наконец понять, что время невинной игры в славянскую филологию прошло и что нет ничего нелепее и вместе вреднее, народоубийственнее, как ставить идеалом всех народных стремлений мнимый принцип национальности. Национальность не есть общечеловеческое начало, а есть исторический, местный факт, имеющий несомненное право, как все действительные и безвредные факты, на общее признание. Всякий народ или даже народец имеет свой характер, свою особую манеру существовать, говорить, чувствовать, думать и действовать; и этот характер, эта манера, составляющие именно суть национальности, суть результаты всей исторической жизни и всех условий жизни народа.

Всякий народ, точно так же как и всякое лицо, есть поневоле то, что он есть и имеет несомненное право быть самим собою. В этом заключается все так называемое национальное право. Но если народ или лицо существуют в таком виде и не могут существовать в другом, из этого не следует, чтобы они имели право и что для них было бы полезно ставить — одному свою национальность, другому свою индивидуальность как особые начала и чтобы они должны были вечно возиться с ними. Напротив, чем меньше они думают о себе и чем более проникаются общечеловеческим содержанием, тем более оживотворяется и получает смысл национальность одного и индивидуальность другого.

Так точно и славяне. Они останутся чрезвычайно ничтожны и бедны, пока будут продолжать хлопотать о своем узком, эгоистическом и вместе с тем отвлеченном славянизме, постороннем, а по тому самому противном общечеловеческому вопросу и делу, и завоюют они только тогда как славяне свое законное место в истории и свободном братстве народов, когда проникнутся вместе с другими мировым интересом.

Во всех эпохах истории существует интерес общечеловеческий, преобладающий над всеми другими, более частными и исключительно народными интересами, и тот народ или те народы, которые находят в себе призвание, т.е. достаточно понимания, страсти и силы, чтоб предаться ему исключительно, становятся главным образом народами историческими. Интересы, преобладавшие таким образом в разные эпохи истории, были различны. Так, чтобы не идти слишком далеко, был интерес не столько человеческий, сколько божеский, а потому и противный свободе и благоденствию народов, интерес преобладающий и в высшей степени завоевательный, католической веры и католической церкви, а те народы, которые тогда находили в себе наиболее склонности и способности предаться ему, — немцы, французы, испанцы, отчасти поляки, — были именно вследствие того каждый в своем кругу народами первенствующими.

Последовал другой период умственного возрождения и религиозного бунта. Общечеловеческий интерес возрождения вывел на первый план прежде всего итальянцев, потом французов и, в гораздо слабейшей степени, англичан, голландцев и немцев. Но религиозный бунт, еще прежде поднявший Южную Францию, выдвинул на самое видное место в XV веке наших славянских гуситов. Гуситы после вековой геройской борьбы были задавлены, так же как раньше их были задавлены французские альбигойцы. Тогда Реформация оживотворила народы немецкий, французский, английский, голландский, швейцарский и скандинавский. В Германии она очень скоро утратила характер бунта, не свойственный немецкому темпераменту, и приняла вид мирной государственной реформы, послужившей немедленно основанием для самого правильного, систематического, ученого государственного деспотизма. Во Франции после долгой и кровавой борьбы, послужившей немало к развитию свободной мысли в

этой стране, они были раздавлены торжествующим католицизмом. Зато в Голландии, в Англии, а вслед за тем и в Соединенных Штатах Америки они создали новую цивилизацию, по сущности своей антигосударственную, но буржуазно-экономическую и либеральную.

Таким образом, религиозное реформационное движение, обнявшее почти всю Европу в XVI веке, породило в цивилизованном человечестве два главные направления: экономически и либерально-буржуазное, имевшее во главе своей главным образом Англию, а потом Англию и Америку, и деспотически-государственное, по сущности своей также буржуазное и протестантское, хотя смешанное с дворянским католическим элементом, впрочем, вполне подчинившимся государству. Главными представителями этого направления были Франция и Германия — сначала австрийская, потом прусская.

Великая революция, ознаменовавшая конец XVIII века, выдвинула опять на первое, на первенствующее место Францию. Она создала новый общечеловеческий интерес, идеал полнейшей человеческой свободы, но только на исключительно политическом поприще; идеал, заключавший неразрешимое противоречие, а потому и неосуществимый; политическая свобода без экономического равенства и вообще политическая свобода, т.е. свобода в государстве, есть ложь.

Французская революция породила, таким образом, в свою очередь, два главные направления, друг другу противуположные, друг с другом вечно борющиеся и вместе с тем неразрывные, скажем более, сходящиеся непременным образом в одинаковом стремлении к одной и той же цели — систематического эксплуатирования чернорабочего пролетариата в пользу имущего и численно постепенно уменьшающегося, а вместе с тем все более и более обогащающегося меньшинства.

На этой эксплуатации народного труда одна партия хочет построить демократическую республику; другая, более последовательная, стремится основать на ней монархический, т.е. искренний государственный, деспотизм, централистическое, бюрократическое, полицейское государство военною диктатурою, еле-еле замаскированною невинными конституционными формами.

Первая партия под предводительством г-на Гамбетты стремится ныне захватить власть во Франции. Вторая, предводимая князем Бисмарком, уже вполне воцарилась в прусской Германии.

Трудно решить, которое из этих двух направлений полезнее для народа или, говоря точнее, которое из них представляет наименее вреда и зла для народа, для чернорабочих масс, для пролетариата; оба стремятся с одинаково упорною страстью к основанию или к укреплению сильного государства, т.е. полнейшего рабства пролетариата.

Против этих народопритеснительных направлений государственных, республиканских и новомонархических, порожденных великою буржуазною революцией 1789 и 1793, из глубины самого пролетариата, сначала французского и австрийского, а потом и других стран Европы, выработалось наконец направление совершенно новое и прямо идущее к уничтожению всякого эксплуатированья и всякого политического или юридического, равно как и правительственно-административного притеснения, т.е. к уничтожению всех классов посредством экономического уравнения всех состояний и к уничтожению их последней опоры, Государства.

Такова программа Социальной Революции.

Итак, в настоящее время существует для всех стран цивилизованного мира только один всемирный вопрос, один мировой интерес — полнейшее и окончательное освобождение пролетариата от экономической эксплуатации и от государственного

гнета. Очевидно, что этот вопрос без кровавой, ужасной борьбы разрешиться не может и что настоящее положение, право, значение всякого народа будет зависеть от направления, характера и степени участия, которое он примет в этой борьбе.
Не ясно ли, стало быть, что славяне должны искать и могут завоевать свое право и место в истории и в брате ком союзе народов только путем Социальной Революции? Но Социальная Революция не может быть одинокою революциею одного народа; она по существу своему революция интернациональная, значит, славяне, отыскивающие своей свободы и ради своей свободы, должны связать свои стремления и организацию своих народных сил с стремлениями и с организацией народных сил всех других стран; славянский пролетариат должен войти целою массою в Интернациональную ассоциацию рабочих.
Мы уже имели случай упомянуть о великолепном заявлении интернационального братства венскими работниками в 1868, отказавшимися, несмотря на все убеждения австрийских и швабских патриотов, поднять пангерманское знамя, объявив решительно, что рабочие целого мира их братья и что они не признают другого лагеря, кроме интернационально-солидарного пролетариата всех стран; они вместе с тем очень справедливо рассудили и высказали, что именно им, как австрийским работникам, нельзя поднять никакого национального знамени, так как австрийский пролетариат состоит из самых разных племен: мадьяр, итальянцев, румынов, главнейшим образом из славян и немцев; и что поэтому они должны искать практического разрешения своих вопросов вне так называемого национального государства.
Еще несколько шагов в этом направлении, и австрийские работники поняли бы, что освобождение пролетариата невозможно решительно ни в каком государстве и что первое условие его — разрушение всякого государства; а такое разрушение возможно только при дружном содействии пролетариата всех стран, первая организация которого на почве экономической составляет именно предмет Интернациональной ассоциации рабочих.
Поняв это, немецкие работники в Австрии сделались бы инициаторами не только своего собственного освобождения, но вместе с тем и освобождения всех не немецких народных масс в Австрийской империи, включая, разумеется, и всех славян, которых бы мы первые стали уговаривать вступить с ними в союз, имеющий целью разрушение государства, т.е. народной тюрьмы, и основание нового интернационального рабочего мира на начале полнейшего равенства и свободы.
Но австрийские рабочие этих необходимых первых шагов не сделали и не сделали их потому, что были остановлены на первом шагу германо-патриотической пропагандою г-на Либкнехта и других социальных демократов, приехавших вместе с ним в Вену, кажется, в июле 1868 года именно с целью совратить верный социальный инстинкт австрийских работников с пути интернациональной революции и направить его к политической агитации в пользу основания единого государства, называемого ими народным, разумеется, пангерманского — одним словом, для осуществления патриотического идеала князя Бисмарка, только на социально-демократической почве и посредством так называемой легальной народной агитации.
По этому пути не только славянам, но даже и немецким работникам идти не следует по той простой причине, что государство, называйся оно десять раз народным и будь оно разукрашено наидемократичнейшими формами, для пролетариата будет непременно тюрьмою, — славянским же идти по этому направлению еще невозможнее, потому что это значило бы подчиниться охотно немецкому игу, а это противно всякому славянскому сердцу. Вследствие того мы не только не станем уговаривать братьев славян вступить в

ряды социально-демократической партии немецких рабочих, во главе которых стоят прежде всего в виде дуумвирата, облеченного диктаторскою властью, гг. Маркс и Энгельс, а за ними или под ними гг. Бебель, Либкнехт и несколько литераторствующих евреев; мы, напротив, должны употребить все усилия, чтобы отвратить славянский пролетариат от самоубийственного вступления в союз с этою партиею, отнюдь не народною, но по своему направлению, по цели и средствам чисто буржуазною и к тому же исключительно немецкою, т.е. славяноубийственною.

Но чем энергичнее славянский пролетариат ради своего спасения должен отвергать не только союз, но и сближение с этой партией — мы не говорим, с работниками находящимися в ней, но с ее организацией, а главное, с ее начальством везде и всегда буржуазным, — тем теснее, ради того же спасения, должен он сблизиться и связаться с Интернациональным обществом рабочих. Отнюдь не должно смешивать немецкую партию социальных демократов с Интернационалом. Политически-патриотическая программа первой не только не имеет почти ничего общего с программой последнего, но даже совершенно противна ей. Правда, на подтасованном Гаагском конгрессе марксисты попробовали было навязать свою программу всему Интернационалу. Но эта попытка вызвала со стороны Италии, Испании, части Швейцарии, Франции, Бельгии, Голландии, Англии, также отчасти Северных Штатов Америки такой громадный протест, что всему свету стало ясно, что немецкой программы, кроме самих немцев, не хочет никто. Да, без сомнения, придет время, когда и сам немецкий пролетариат, поняв лучше и свои собственные интересы, нераздельные с интересами пролетариата всех других стран, и пагубное направление этой программы, ему навязанной, но далеко не им созданной, откажется от нее и оставит при ней своих буржуазных предводителей, фюреров.

Славянский же пролетариат, повторяем, ради собственного освобождения из-под великого ига должен войти массами в Интернационал, образовать фабричные, ремесленные и земледельческие секции и соединить их в местные федерации, а если окажется нужным, то, пожалуй, и в общеславянскую федерацию. На почве Интернационала, освобождающего всех и каждого от государственного отечества, славянские работники должны и могут без малейшей опасности для своей самостоятельности встретиться братски с немецкими работниками, союз с которыми на другой почве для них решительно невозможен.

Таков единственный путь для освобождения славян. Но путь, по которому идет ныне огромное большинство западно-и юго-славянской молодежи под предводительством своих маститых и более или менее заслуженных патриотов, совершенно противный, исключительно государственный и для народных масс гибельный.

Возьмем для примера турецкую Сербию, и именно Сербское княжество, как единственный пункт вне России, да еще Черногорию, где славянский элемент дошел до политического существования, более или менее самостоятельного.

Сербский народ пролил много крови, чтобы освободиться из-под турецкого ига; но едва освободился он от турок, как его запрягли в новое, на этот раз домашнее, государство под именем княжества Сербского, иго которого в действительности чуть ли не тяжелее турецкого. Едва эта часть сербской земли получила вид, устройство, законы, учреждения более или менее правильного государства, как народная жизнь и народная сила, возбудившие героическую борьбу против турок и одержавшие над ними окончательную победу, как будто вдруг замерли. Народ, правда, невежественный и чрезвычайно бедный, но энергический, страстный и от природы вольнолюбивый, вдруг обратился в

безгласное и как бы неподвижное стадо, отданное на жертву бюрократическому грабежу и деспотизму.

В турецкой Сербии нет ни дворянства, ни очень больших поземельных собственников, нет ни промышленников, ни чрезвычайно богатых купцов — зато образовалась новая бюрократическая аристократия, состоящая из молодых людей, воспитанных большею частью на казенный счет в Одессе, в Москве, в Петербурге, в Вене, в Германии, в Швейцарии, в Париже. Пока они молоды и не успели развратиться в государственной службе, эти молодые люди отличаются большею частью горячим патриотизмом, народолюбием, довольно искренним либерализмом и даже в последнее время демократизмом и социализмом. Но лишь только они поступают на службу, железная логика положения, сила вещей, присущая известным иерархическим и выгодным политическим отношениям, берут свое, и молодые патриоты становятся с ног до головы чиновниками, продолжая, пожалуй, быть и патриотами, и либералами. Но известно ведь, что такое либеральный чиновник; он несравненно хуже простого и откровенного чиновника-палки.

К тому же требования известного положения всегда оказываются сильнее чувств, замыслов и добрых побуждений. Возвратившись домой, молодые сербы, получившие образование за границей, по образованию, а главным образом по обязательствам своим в отношении правительства, на счет которого они, большею частью, содержались за границею, а также и потому, что для них решительно невозможно отыскать другие средства существования, должны идти в чиновники, сделаться членами единственной аристократии, существующей в крае, членами бюрократического класса. Вступив же раз в этот класс, они становятся поневоле врагами народа. Им хотелось бы, может быть, и весьма вероятно, особенно вначале, хотелось бы освободить свой народ или, по крайней мере, улучшить его положение, а они должны его давить и грабить. Достаточно прожить года два-три в таком положении, чтобы с ним освоиться и, наконец, примириться при помощи какой-нибудь либеральной или даже демократически-доктринерной лжи; а такою ложью наше время богато. Раз примирившись с железною необходимостью, против которой они бунтовать не в силах, они становятся уже отъявленными мошенниками, и мошенниками тем более опасными для народа, чем либеральнее и демократичнее их публичные заявления.

Тогда те из них, которые половчее и похитрее, приобретают в микроскопическом правительстве микроскопического княжества преобладающее влияние и, едва успев приобрести его, начинают продавать себя во все стороны: дома — владетельному князю или какому-нибудь претенденту на престол (акт низвержения одного князя для заменения его другим в Сербском княжестве называется революцией); или вместо того, а иногда в то же самое время правительствам великих покровительствующих держав, России, Австрии, Турции, теперь Германии, заступившей на востоке, как и везде, место Франции, и даже нередко всех вместе.

Можно себе представить, как легко и свободно живется народу в таком государстве, а между тем не должно забывать, что Сербское княжество — государство конституционное, где все законы пекутся скупчиною, избираемою народом.

Иные сербы утешают себя мыслью, что это положение, по своему существу переходное, представляет неотвратимое зло в настоящее время, но что оно непременно изменится, как только маленькое княжество, расширив свои границы и приняв в свой состав все сербские, иные даже говорят, все юго-славянские, земли, восстановит во всем его объеме царство Душана. Тогда, говорят они, настанет для народа время полнейшей свободы и самого широкого раздолья.

Да, есть между сербами люди, которые до сих пор пренаивно верят в это!
Да, они воображают, что когда это государство расширит свои пределы и когда число его подданных удвоится, утроится, удесятерится, оно сделается народнее, и его учреждения, все условия его существования, его правительственные действия будут менее противны народным интересам и всем народным инстинктам. Но на чем основывается такая надежда или такое предположение? На теории? Но теоретически, напротив, кажется ясно, что чем обширнее государство, тем многосложнее его организм и тем более чуждо оно народу и, именно вследствие того, тем противнее интересы его интересам народных масс, тем более подавляющим гнетом оно ложится на них и тем невозможнее для народа всякий контроль над ним, тем далее государственное управление от народного самоуправления.
Или основываются их ожидания на практическом опыте других стран? В ответ достаточно указать на Россию, на Австрию, на расширенную Пруссию, на Францию, на Англию, на Италию, даже на Соединенные Штаты Америки, где заправляет всеми делами особый, совершенно буржуазный класс так называемых политиканов, или политических дельцов, а чернорабочим массам живется почти так же тесно и жутко, как и в монархических государствах.
Найдутся, пожалуй, многообразованные сербы, способные возразить, что дело совсем не в народных массах, которые имеют и будут иметь всегда своим назначением материальным грубым трудом кормить, одевать и вообще содержать цвет отечественной цивилизации, настоящей представительницы страны, и что поэтому дело лишь в образованных, более или менее имущих и привилегированных классах.
В том-то и дело, что эти так называемые образованные классы, дворянство, буржуазия, когда-то действительно процветавшие и стоявшие во главе живой и прогрессивной цивилизации в целой Европе, в настоящее время отупели и опошлели от ожирения и от трусости, что если они еще что-нибудь представляют, то разве самые зловредные и подлые свойства человеческой природы. Мы видим, что эти классы в такой высокообразованной стране, как Франция, неспособны были даже отстоять независимость своей родины против немцев. Мы видели и видим, что в самой Германии эти классы способны только к верноподданническому лакейству.
И, наконец, заметим, что в турецкой Сербии эти классы даже совсем не существуют; там существует только класс бюрократический. Итак, сербское государство будет давить сербский народ для того только, чтобы жирнее жилось сербским чиновникам.
Другие, ненавидя от всей души настоящее устройство Сербского княжества, терпят его, однако, смотря на него как на средство или орудие, необходимое для освобождения славян, еще подвластных турецкому или даже австрийскому игу. В известный момент, говорят они, княжество может сделаться основою и точкою отправления для общеславянского бунта. Это еще одно из тех пагубных заблуждений, которые надо непременно разрушить для собственного блага славян.
Их соблазняет пример Пьемонтского королевства, будто бы освободившего и соединившего всю Италию. Италия освободилась сама рядом бесчисленных героических жертв, которые не переставала приносить в продолжение пятидесяти лет. Она обязана своею политическою независимостью главным образом сорокалетним непрерывным и неудержимым усилиям своего великого гражданина, Джузеппе Мадзини, умевшего, можно сказать, воскресить, а потом воспитать итальянскую молодежь в опасном, но доблестном деле патриотической конспирации. Да, благодаря двадцатилетней работе Мадзини, в 1848, когда восставший народ позвал опять на праздник революции весь европейский мир, во всех городах Италии, от самого крайнего юга до крайнего севера,

нашлась кучка смелых молодых людей, поднявших знамя бунта. Вся итальянская буржуазия за ними последовала. А в Ломбардо-Венецианском королевстве, находившемся еще тогда под австрийским владычеством, встал целый народ. И сам народ без всякой военной помощи выгнал австрийские полки из Милана и Венеции.

Что же сделал королевский Пьемонт? Что сделал король Карл Альберт, отец Виктора Эммануила, тот самый, который, будучи еще наследным принцем (1821), выдал австрийским и пьемонтским палачам своих товарищей по заговору в пользу освобождения Италии. Первым делом пьемонтского короля в 1848 было парализовать революцию во всей Италии посредством обещаний, происков и интриг. Ему очень хотелось овладеть Италиею, но он столько же ненавидел революцию, сколько боялся ее. Он действительно парализовал революцию, силу и движение народа в Италии, после чего австрийским войскам нетрудно было справиться с его войском.

Сына его, Виктора Эммануила, называют освободителем и соединителем итальянских земель. Это гнусная клевета на него! Уж если кого называть освободителем Италии, то скорее Людовика Наполеона, императора французов. Но Италия освободилась сама, а главное, она соединилась сама, помимо Виктора Эммануила и против воли Наполеона III.

В 1860, когда Гарибальди предпринял свою знаменитую высадку в Сицилию, в то самое время, когда он отправился из Генуи, граф Кавур, министр Виктора Эммануила, предупредил неаполитанское правительство об угрожавшем ему нападении. Но когда Гарибальди освободил и Сицилию, и все Неаполитанское королевство, Виктор Эммануил принял от него, разумеется, даже без большой благодарности, и то и другое.

И в продолжение тринадцати лет, что сделало его управление с этою несчастною Италией? Он ее разорил, просто ограбил, а теперь, ненавидимый всеми, своим деспотизмом заставляет почти жалеть изгнанных Бурбонов. Так освобождают короли и государства своих соплеменников; и никому не было бы так полезно, как именно сербам, изучить в ее действительных подробностях новейшую историю Италии.

Одно из средств сербского правительства успокоивать патриотическую горячку своей молодежи состоит в периодических обещаниях объявить войну Турции будущею весною, а иногда осенью, по окончании сельских работ, и молодые люди верят, волнуются и всякое лето и всякую зиму готовятся, после чего всегда какое-нибудь непредвиденное препятствие, какая-нибудь нота одной из покровительствующих держав становится поперек обещанного объявления войны; она откладывается на полгода или на год, и таким образом вся жизнь сербских патриотов проходит в томительном и тщетном ожидании никогда не приходящего исполнения.

Сербское княжество не только не в состоянии освободить южно-славянские, сербские и не сербские племена, оно, напротив, своими происками и интригами положительно их разъединяет и обессиливает. Болгары, напр., готовы признать братьями сербов, но и слышать не хотят о сербском Душановском царстве; точно так же и хорваты, так же и черногорцы, и боснийские сербы.

Для всех этих стран спасение одно и путь к соединению один — Социальная Революция, но никак не государственная война, которая может привести только к одному — к покорению всех этих стран или Россией, или Австрией, или, по крайней мере вначале, вернее всего, разделению их между обеими.

Чешская Богемия не успела еще, благодаря небесам, восстановить во всем их древнем величии и славе державу и корону Венцеслава; центральное правительство Вены обходится с Богемиею, как с простою провинциею, не пользующейся даже привилегиями Галиции, а между тем в Богемии столько же политических партий,

сколько их в любом славянском государстве. Да, этот проклятый немецкий дух политиканства и государственности так проник в образование чешского юношества, что оно подвергается серьезной опасности утратить вконец способность понимать свой народ.

Чешский крестьянский народ представляет один из великолепнейших славянских типов. В нем течет гуситская кровь, горячая кровь таборитов, живет память Жижки; и что, по нашему собственному опыту и по воспоминаниям, вынесенным нами из 1848, составляет одно из завиднейших преимуществ чешской учащейся молодежи, это ее родственное, истинно-братское отношение к этому народу. Чешский городской пролетарий не уступает в энергии и в горячей преданности крестьянину; он также доказал это в 1848 году.

Пролетариат и крестьянство до сих пор любят учащуюся молодежь и верят в нее. Но молодые чешские патриоты не должны слишком рассчитывать на эту веру. Она необходимым образом должна будет ослабеть и под конец совсем исчезнуть, если они не обретут в себе достаточно справедливости, широкого чувства равенства, свободы и настоящей любви к народу, чтобы идти вместе с ним. Народ же чешский — а мы под словом народ разумеем всегда главным образом пролетариат, — итак, славянский пролетариат в Богемии стремится естественным и неотвратимым образом туда, куда стремится ныне пролетариат всех стран, к экономическому освобождению, к Социальной Революции.

Он был бы народом чрезвычайно обиженным природою и забитым историею или, говоря откровенно, чрезвычайно глупым и мертвым, если бы оставался чуждым этому стремлению, составляющему единственный существенный мировой вопрос нашего времени. Такого комплимента чешская молодежь не захочет сделать своему народу, а если бы захотела, то народ не оправдает его. Да к тому же мы имеем неопровержимое доказательство живого интереса западно-славянского пролетариата к социальному вопросу. Во всех австрийских городах, где славянское население смешано с немецким, славянские работники принимают самое энергическое участие во всех общих заявлениях пролетариата. Но в этих городах не существует почти других рабочих ассоциаций, кроме тех, которые признали программу социальных демократов Германии, так что выходит на деле, что славянские работники, увлеченные своим социально-революционным инстинктом, вербуются в партию, прямая и громко признанная цель которой — создание пангерманского государства, т.е. огромной немецкой тюрьмы.

Этот факт очень печален, но он столь же естествен. Славянским работникам предстоят два выбора: или, увлекаясь примером немецких работников, своих братьев по социальному положению, по общей судьбе, по голоду, по нужде и по всем притеснениям, вступить в партию, которая им обещает государство, правда, немецкое, но зато вполне народное и со всеми возможными экономическими льготами в ущерб капиталистов и собственников и в пользу пролетариата; или же, увлекаясь патриотической пропагандою своих маститых, знаменитых вождей и своей пылкой, но мало еще смыслящей молодежи, вступить в партию, в рядах и во главе которой они встречают ежедневных эксплуататоров и притеснителей, буржуазов, фабрикантов, купцов, денежных спекуляторов, попов-иезуитов и феодальных владетелей огромных наследственных или благоприобретенных поместий. Эта партия, впрочем, с гораздо большею последовательностью, чем первая, обещает им тюрьму национальную, т.е. славянское государство, восстановление во всем ее древнем блеске короны Венцеслава — точно будто от этого блеска чешским работникам станет легче!

Если бы славянским работникам действительно не было другого исхода, кроме этих двух путей, то, признаемся, мы сами посоветовали бы им избрать первый. Так, по крайней мере, они ошибаются, делят общую судьбу с братьями по труду, по преданиям, по жизни, немцами или не немцами, все равно; здесь же их заставляют называть братьями своих непосредственных палачей, своих кровопийц и принуждают налагать на себя самые тяжелые цепи во имя общеславянского освобождения. Там они обманываются, здесь их продают.

Но существует третий, прямой и спасительный выход — образование и союзная организация рабочих фабричных и земледельческих ассоциаций на основании программы Интернационала; разумеется, не той программы, которая под именем Интернационала проповедуется партиею, почти исключительно патриотическою и политическою, социальных демократов Германии; но той, которая теперь признается всеми вольными федерациями Интернационального общества рабочих, а именно работниками итальянскими, испанскими, юрскими, французскими, бельгийскими, английскими и отчасти американскими, не признается же в сущности одними немцами[7].

Мы убеждены, что этот выход — единственный выход как для чехов, так и для всех других славянских народов, ищущих своего полного освобождения от всякого ига, немецкого и не немецкого; вне его остается только обман, для бесчестных и честолюбивых вожаков и предводителей партий — почести да карманная прибыль, а для чернорабочих масс — рабство.

Вопрос для чешской и вообще для всякой славянской образованной молодежи поставлен теперь очень ясно: хочет ли она эксплуатировать свой народ, обогащаться его трудом и на плечах его удовлетворять подлое честолюбие? Она пойдет с старыми славянофильствующими партиями, с Палацкими, Ригерами, Браунерами и компаниею. Спешим, впрочем, прибавить, что между молодыми приверженцами этих вождей есть и много ослепленных, обманутых, которые для себя собственно ничего не приобретают, но служат в руках искусных людей приманкою для народа. Роль, во всяком случае, весьма незавидная.

Те же, которые хотят искренно и действительно полной эмансипации народных масс, те пойдут с нами путем Социальной Революции, потому что нет другого пути для завоевания народной свободы. До сих пор, однако, во всех западно-славянских странах преобладала политика старая, государственность самая узкая, разыгрывалась просто-напросто немецкая комедия, переведенная только на чешский язык; и даже не одна комедия, а целых две: одна чешская, другая польская. Кто не знает плачевной истории союзов и разрывов, перемежавшихся между государственными людьми Богемии и Галиции, и ряд уморительных представлений, данных чешскими и галицийскими депутатами, то вместе, то порознь, в австрийском рейхсрате? Н основе же всего лежала и лежит иезуитско-феодальная интрига. И такими жалкими, можно сказать, подлыми средствами эти господа надеются освободить своих сограждан! Странные государственные люди, и как, должно быть, потешается, глядя на их игру в государство, их близкий сосед, князь Бисмарк!

Раз, однако, после знаменитого поражения, претерпенного им в Вене, вследствие одной из бесчисленных измен их галицийских союзников, чешский государственный триумвират, Палацкий, Ригер и Браунер, решился сделать смелую демонстрацию. По поводу славянской этнографической выставки, нарочно для этого открытой в Москве в 1867, они отправились сами и увлекли за собой большое количество западных и южных славян на поклонение белому царю, палачу славяно-польского народа. В Варшаве их

встретили русские генералы, русские чиновники и русские чиновные дамы, и в польской столице, при гробовом молчании всего польского населения, эти свободолюбивые славяне целовались, обнимались с этими русскими братоубийцами, пили с ними и кричали "ура!" за славянское братство!

Все знают, какие речи они произносили потом в Москве и Петербурге. Одним словом, более постыдного поклонения дикой и беспощадной власти и более преступной измены и славянскому братству, и истине, и свободе со стороны маститых либералов, демократов и народолюбцев никогда не было видано — и эти господа преспокойно возвратились со всем синклитом своим в Прагу, и никто не сказал им, что они совершили не только подлость, но даже глупость.

Да, глупость совершенно бесполезную, потому что она нисколько им не послужила и не поправила их дел в Вене. Теперь это ясно; короны Венцеслава с ее старой независимостью они не восстановили и дожили до того, что новая парламентская реформа отняла у них и ту последнюю политическую почву, на которой они играли в государственную игру.

После своего поражения в Италии австрийское правительство, принужденное отпустить в известной мере на волю Венгерское королевство, долго думало, как ему устроить свое цислейтанское государство. Его собственные инстинкты и требования немецких либералов и демократов клонили его к централизации; но славяне, особенно Богемия и Галиция, опираясь на феодально-клерикальную партию, громко требовали федеративной системы. Это колебание продолжалось до нынешнего года. Наконец, правительство решилось, к ужасу славян и к величайшей радости немецких либералов и демократов, на все земли, входящие в состав цислейтанского государства, надеть опять старые немецкие бюрократические шапки.

Должно заметить, однако, что от этого Австрийская империя сильнее не сделалась. Она утратила настоящее средоточие. Все немцы и жиды в империи ищут отныне своего центра в Берлине. В то же время часть славян смотрит на Россию; другие, руководимые инстинктом более верным, ищут спасения в образовании народной федерации. От Вены никто более не ждет ничего. Не ясно ли, что Австрийская империя собственно кончилась и что если она хранит еще вид существования, то только благодаря расчетливому долготерпению России и Пруссии, которые медлят и не хотят еще приступить к ее разделу, потому что каждая надеется втайне, что при удобном случае ей удастся захватить львиную часть.

Ясно, стало быть, что Австрия не в состоянии состязаться с новою Пруссо-германскою империею. Посмотрим, в состоянии ли сделать это Россия. Не правда ли, читатель, Россия сделала неслыханные успехи во всех отношениях со времени вступления на престол ныне благополучно царствующего императора Александра II? И в самом деле, если мы захотим измерить успехи, сделанные ею за последние двадцать лет, сравним расстояние, которое во всех отношениях отделяло ее тогда, например, в 1856 г., от Европы, с тем расстоянием, которое существует между ними теперь, то успех окажется удивительный. Россия поднялась, правда, не слишком высоко, но зато Западная Европа, официальная и официозная, бюрократическая и буржуазная, упала значительно, так что расстояние решительно уменьшилось. Какой немец или француз посмеет, например, говорить о русском варварстве и палачестве после ужасов, совершенных немцами во Франции в 1870 г., и французскими войсками против родного Парижа в 1871. Какой француз посмеет толковать о подлости и продажности русских чиновников и государственных людей после всей грязи, выступившей наружу и чуть не затопившей французский бюрократический и политический мир. Нет, решительно, глядя на

французов и немцев, русским подлецам, пошлякам, ворам и палачам не осталось более никакой причины краснеть. В нравственном отношении в целой официальной и официозной Европе установилось скотство или, по крайней мере, скотообразие удивительное.

Другое дело в отношении политического могущества, хотя и тут, по крайней мере в сравнении с французским государством, наши квасные патриоты могут кичиться, потому что в политическом отношении Россия стоит несомненно самостоятельнее и выше, чем Франция. За Россией ухаживает сам Бисмарк, а за Бисмарком ухаживает побежденная Франция. Весь вопрос в том, каково отношение могущества всероссийской империи к могуществу пангерманской империи, несомненно преобладающему, по крайней мере, на континенте Европы? Мы, русские, все до последнего, можно сказать, человека знаем, что такое, с точки зрения внутренней жизни ее, наша любезная всероссийская империя. Для небольшого количества, может быть, для нескольких тысяч людей, во главе которых стоит император со всем августейшим домом и со всею знатною челядью, она — неистощимый источник всех благ, кроме умственных и человечески-нравственных; для более обширного, хотя все еще тесного меньшинства, состоящего из нескольких десятков тысяч людей, высоких военных, гражданских и духовных чиновников, богатых землевладельцев, купцов, капиталистов и паразитов, она — благодушная, благодетельная и снисходительная покровительница законного и весьма прибыльного воровства; для обширнейшей массы мелких служащих, все-таки еще ничтожной в сравнении с народною массою, — скупая кормилица; а для бесчисленных миллионов чернорабочего народа — злодейка-мачеха, безжалостная обирательница и в гроб загоняющая мучительница.

Такою она была до крестьянской реформы, такою осталась теперь и будет всегда. Доказывать это русским нет никакой необходимости. Какой же взрослый русский не знает, может не знать этого? Русское образованное общество разделяется на три категории: на таких, которые, зная это, находят для себя слишком невыгодным признавать эту истину, несомненную точно так же для них, как и для всех; на таких, которые не признают ее, не говорят о ней из боязни; и наконец, на тех, которые за неимением другой смелости, по крайней мере, дерзают ее высказывать. Есть еще четвертая категория, к несчастью слишком малочисленная и состоящая из людей не на шутку преданных народному делу и не довольствующихся высказыванием.

Есть, пожалуй, пятая, даже и не столь малочисленная категория людей, ничего не видящих и ничего не смыслящих. Ну, да с этими и говорить нечего.

Всякий сколько-нибудь мыслящий и добросовестный русский должен понимать, что наша империя не может переменить своего отношения к народу. Всем своим существованием она обречена быть губительницею его, его кровопийцею. Народ инстинктивно ее ненавидит, а она неизбежно его гнетет, так как на народной беде построено все ее существование и сила. Для поддержания внутреннего порядка, для сохранения насильственного единства и для поддержания внешней даже не завоевательной, а только самоохраняющей силы ей нужно огромное войско, а вместе с войском нужна полиция, нужна бесчисленная бюрократия, казенное духовенство... Одним словом, огромнейший официальный мир, содержание которого, не говоря уже о его воровстве, неизбежно давит народ.

Нужно быть ослом, невеждою, сумасшедшим, чтобы вообразить себе, что какая-нибудь конституция, даже самая либеральная и самая демократическая, могла бы изменить к лучшему это отношение государства к народу; ухудшить, сделать его еще более обременительным, разорительным — пожалуй, хотя и трудно, потому что зло доведено

до конца; но освободить народ, улучшить его состояние — это просто нелепость! Пока существует империя, она будет заедать наш народ. Полезная конституция для народа может быть только одна — разрушение империи.

Итак, мы не будем говорить о ее внутреннем состоянии, убежденные, что она не может быть хуже; но посмотрим, достигает ли она действительно той внешней цели, которую дает, разумеется, не человеческий, а политический смысл ее существованию. Ценою огромных и бесчисленных народных жертв, правда, невольных, но тем еще более жестоких, умела ли она создать, по крайней мере, военную силу, способную состязаться с военною силою, например, новой Германской империи? В этом, собственно, в настоящее время состоит весь политический русский вопрос; вопрос же внутренний, мы знаем, остается теперь один — вопрос Социальной Революции. Но мы остановимся теперь на внешнем вопросе и спросим, способна ли Россия бороться против Германии? Взаимные любезности, клятвы, лобызания и слезопролития, расточаемые теперь между двумя императорскими дворами, между берлинским дядею и петербургским племянником, ничего не значат. Известно, что в политике все это не стоит и гроша. Вопрос, затронутый нами, поставлен с неотвратимою необходимостью новым положением Германии, которая за одну ночь выросла в огромное и всесильное государство. Но вся история свидетельствует и самая рациональная логика подтверждает, что два равносильных государства не могут существовать рядом, что это противно их существу, состоящему и выражающемуся неизменно и необходимо в преобладании; но преобладание не терпит равносилия. Одна сила непременно должна быть сломлена, должна покориться другой.

Да, это составляет теперь существенную необходимость для Германии. После долгого, долгого политического унижения она вдруг стала могущественнейшей державою на континенте Европы. Может ли она терпеть, чтобы рядом, так сказать, у самого ее носа стояла держава вполне от нее независимая, ею еще не побежденная и смеющая равняться с нею, говорим мы, как с равною! И какая еще держава, русская, т.е. самая ненавистная!

Мы думаем, что мало русских, которые не знали бы, до какой степени немцы, все немцы, а главным образом немецкие буржуазы, и под их влиянием, увы! и сам немецкий народ ненавидят Россию. Они ненавидят и ненавидели французов, но эта ненависть ничто в сравнении с тою, которую они питают против России. Эта ненависть составляет одну из сильнейших национальных немецких страстей.

Каким образом создалась эта общенациональная страсть? Начало ее было довольно почтенно: это был протест все-таки несравненно более гуманный, хотя и немецкий, цивилизации против нашего татарского варварства. Потом, а именно в двадцатых годах, она приняла характер протеста более определенного политического либерализма против политического деспотизма. Известно, что в двадцатых годах немцы не на шутку называли себя либералами и верили в свой либерализм. Они ненавидели Россию как представительницу деспотизма. Правда, что если бы они могли и хотели быть справедливы, они должны были бы, по крайней мере, разделить эту ненависть поровну между Россией, Пруссией и Австрией. Но это было бы противно их патриотизму, и потому они возложили всю ответственность за политику Священного союза на Россию.

В начале тридцатых годов польская революция возбудила живейшую симпатию в целой Германии, и кровавое усмирение ее усилило негодование немецких либералов против России. Все это было весьма естественно и законно, хотя и тут справедливость требовала бы, чтобы хоть какая-нибудь часть этого негодования пала на Пруссию, которая, очевидно, помогала России в отвратительном деле усмирения поляков; и помогала

совсем не из великодушия, а потому, что того требовал ее собственный интерес, так как освобождение Царства Польского и Литвы имело бы непременным последствием восстание всей Польши прусской, что убило бы в корне возникавшее могущество прусской монархии.

Но во второй половине тридцатых годов возникла новая причина для ненависти немцев против России, придавшая этой ненависти совершенно новый характер, уже не либеральный, а политически-национальный, — поднялся славянский вопрос, и вскоре между австрийскими и турецкими славянами образовалась целая партия, которая стала надеяться и ждать помощи из России. Уже в двадцатых годах тайное общество демократов, а именно южная отрасль этого общества, руководимая Пестелем, Муравьевым-Апостолом и Бестужевым-Рюминым, возымела первую мысль о вольной всеславянской федерации. Император Николай овладел этой мыслью, но переделал ее по-своему. Всеславянская вольная федерация обратилась в его уме в панславистское единое и самодержавное государство, разумеется, под его железным скипетром.

В начале тридцатых и в начале сороковых годов стали отправляться из Петербурга и из Москвы русские агенты в славянские земли, одни официальные, другие добровольные и бесплатные. Последние принадлежат к московскому, далеко не тайному обществу славянофилов. Поднялась между западными и южными славянами панславистическая пропаганда. Появилось много брошюр. Эти брошюры были частью написаны, частью же переведены по-немецки и перепугали пангерманскую публику не на шутку. Поднялся гвалт между немцами.

Мысль, что Богемия, древняя имперская земля, входящая в самое сердце Германии, может отторгнуться, стать самостоятельною славянскою страною или, чего Боже упаси, русскою провинциею, лишила их аппетита и сна, и с тех пор посыпались на Россию проклятия, с тех пор по самый настоящий час ненависть немцев росла против России. Теперь она проявляется в громадных размерах. Русские, с своей стороны, также не очень жалуют немцев; возможно ли, чтобы при существовании такого трогательного взаимного отношения две соседние империи, всероссийская и пангерманская, могли оставаться долго в мире? А между тем побудительных причин для соблюдения мира между ними по самое настоящее время было, да и теперь еще существует достаточно. Первая причина — Польша. Державных хищников, разделивших между собою самым разбойническим образом Польшу, было три — австрийский, прусский и всероссийский. Но и в самый момент деления, и потом, всякий раз, когда поднимался вновь польский вопрос, наименее заинтересованною была и осталась Австрия. Известно, что в самом начале австрийский двор протестовал даже против деления, и только по настоятельному требованию Фридриха II и Екатерины II императрица Мария Терезия согласилась принять долю, выпадавшую на ее часть. Она пролила даже по этому случаю добродетельные слезы, сделавшиеся историческими, но все-таки приняла. И как было не принять? На то она и была венценосной особой, чтобы забирать. Для царей законы не писаны, а аппетитам их границ нет. В своих записках Фридрих II замечает, что, решившись раз принять участие в союзном грабеже, учиненном над Польшею, австрийское правительство, отыскивая какую-то небывалую реку, поспешило занять своими войсками гораздо более земли, чем ей было нужно по договору.

Но все-таки замечательно, что Австрия молилась и плакала, грабя, в то время как Россия и Пруссия совершали разбойничье дело, остря и смеясь. Известно, что Екатерина II и Фридрих II вели в то же самое время преостроумнейшую и самую филантропическую переписку с французскими философами. Еще замечательнее, что потом, даже до нашего времени всякий раз, когда несчастная Польша делала отчаянную попытку освободиться

и восстановиться, российский и прусский дворы приходили в трепет и бешенство и явно или тайно спешили со единить усилия, чтобы раздавить восстание, тогда как Австрия, как бы невольная и увлеченная сообщница, не только не приходила в волнение и не присоединялась к их мероприятиям, но, напротив, при начале всякого нового польского восстания как будто изъявляла готовность помочь полякам и в некоторой степени действительно помогала. Так было в 1831, а еще яснее в 1862, когда Бисмарк открытым образом взял на себя роль русского жандарма; Австрия же, напротив, дозволила полякам перевозить, разумеется секретно, оружие в Польшу.

Каким образом объяснить эту разницу в поведении? Не благородством же, не человеколюбием и не справедливостью Австрии? Нет, просто-напросто ее интересом. Недаром плакала Мария Терезия. Она чувствовала, что, посягая вместе с другими на политическое существование Польши, она рыла гроб Австрийской империи. Что могло быть для нее выгоднее, как соседство на ее северо-восточной границе этого дворянского, правда, не умного, но строго консервативного и вовсе не завоевательного государства; оно не только освобождало ее от неприятного соседства России, но отделяло ее и от Пруссии, служило ей драгоценною охраною против обеих завоевательных держав.

Нужно было иметь всю рутинную глупость, а главное, продажность министров Марии Терезии и потом высокомерное мелкоумие и злостно-реакционное упорство старого Меттерниха, который, впрочем, как известно, также был на пенсии у петербургского и берлинского дворов, надо было быть обреченным на гибель историею, чтобы не понять этого.

Всероссийская империя и Прусское королевство очень хорошо понимали свою обоюдную выгоду. Первое деление Польши давало значение великой европейской державы; второе вступило на путь, по которому ныне дошло до бесспорного преобладания. А вместе с тем, бросив окровавленный кусок растерзанной Польши Австрийской империи, обжорливой от природы, они приготовили эту империю себе на заклание, обрекли ее на позднейшую жертву своему столь же неутомимому аппетиту. Пока они не удовлетворят этому аппетиту, пока не поделят австрийские владения между собою, до тех пор останутся и принуждены оставаться союзниками и друзьями, хотя от всей души ненавидят друг друга. Немудрено, что самый дележ Австрии поссорит их, но до этого ничто в мире не в состоянии поссорить их.

Им невыгодно ссориться. У новой Пруссо-германской империи нет в настоящее время в Европе и в целом мире ни одного союзника, кроме России, да может быть еще при России Соединенные Штаты Америки. Все ее боятся и все ее ненавидят, все будут радоваться ее падению, потому что она давит всех, грабит всех. А между тем ей надо еще совершить много завоеваний, чтобы вполне осуществить план и идею пангерманской империи. Ей надо отобрать у французов не часть, а всю Лотарингию; надо завоевать Бельгию, Голландию, Швейцарию, Данию и весь Скандинавский полуостров; надо также прибрать в свои руки и наши прибалтийские провинции, чтобы одной хозяйничать на Балтийском море. Ну, словом, за исключением Венгерского королевства, которое она оставит мадьярам, и Галиции, которую вместе с австрийскою Буковиною уступит России, она же, повинуясь той же силе вещей, непременно будет стремиться к захвату всей Австрии по самый Триест включительно и, разумеется, включая Богемию, которую петербургский кабинет и не подумает оспаривать у нее.

Мы уверены и положительно знаем, что насчет более или менее отдельного деления Австрийской империи уже давно ведутся тайные переговоры между дворами

петербургским и германским, причем, разумеется, как и всегда бывает в дружеских отношениях двух великих держав, всегда стараются надуть друг друга.
Как ни огромно могущество Пруссо-германской империи, ясно, однако, что она одна не довольно сильна, чтобы осуществить такие огромные предприятия против воли целой Европы. Поэтому союз России составляет и будет еще долго составлять насущную необходимость.
Существует ли такая необходимость для России? Начнем с того, что наша империя более чем всякие другие есть государство по преимуществу не только военное, потому что для образования по возможности огромной военной силы она с самого первого дня своего основания жертвовала и теперь жертвует всем, что составляет жизнь, преуспевание народа. Но, как военное государство, она хочет иметь одну цель, одно дело, дающее смысл ее существованию, — завоевание. Вне этой цели она просто нелепость. Итак, завоевания во все стороны и во что бы то ни стало — вот вам нормальная жизнь нашей империи. Теперь вопрос, в какую сторону должна, захочет направиться эта завоевательная сила? Два пути открываются перед нею: один западный, другой восточный. Западный направлен прямо против Германии. Это путь панславистский и вместе с тем путь союза с Францией против соединенных сил прусской Германии и Австрийской империи, при вероятном нейтралитете Англии и Соединенных Штатов.
Другой путь прямо ведет в восточную Индию, в Персию и в Константинополь. На нем встанут врагами Австрия, Англия и, вероятно, вместе с ними Франция, а союзниками — прусская Германия и Соединенные Штаты. По которому из этих двух путей захочет пойти наша воинственная империя? Говорят, что наследник — страстный панславист, ненавистник немцев, отъявленный друг французов и стоит за первый путь; но зато ныне благополучно царствующий император — друг немцев, любящий племянник своего дяди и стоит за второй. Однако дело не в том, куда влекут чувства того или другого; вопрос в том, куда может идти империя с надеждою на успех и не подвергаясь опасности сломиться.
Может ли она идти первым путем? Правда, что на нем встречается союз с Францией, союз далеко не представляющий теперь тех выгод, той материальной и той нравственной силы, которую он обещал еще за три или четыре года тому назад. Национальное единство Франции рушилось безвозвратно. В пределах так называемой единой Франции существуют теперь три или, пожалуй, даже четыре различные и друг к другу решительно враждебно расположенные Франции: Франция аристократически-клерикальная, состоящая из дворян, из богатой буржуазии и из попов; Франция чисто буржуазная, обнимающая среднюю и мелкую буржуазию; и Франция рабочая, заключающая весь городской и фабричный пролетариат; и, наконец, Франция крестьянская. За исключением двух последних, которые могут сойтись и, например, на юге Франции уже начинают сходиться, между этими классами исчезла всякая возможность единодушия на каком бы то ни было пункте, даже когда дело идет об охране отечества.
Мы видели это на днях. Немцы еще стоят во Франции, занимают Бельфор в ожидании последнего миллиарда. Какие-нибудь три или четыре недели оставались до очищения ими страны. Нет, большинство версальской палаты, состоящее из легитимистов, орлеанистов и бонапартистов, реакционерных до безумия, до бешенства, не захотело выждать этого срока — свалило Тьера, посадило на его место маршала Мак-Магона, который силою штыков обещает восстановить нравственный порядок во Франции... Государственная Франция перестала быть страною жизни, ума, великодушных порывов. Она как будто вдруг переродилась и стала передовою страною грязи, подлости,

продажничества, зверства, измены, пошлости, непроходимой и изумительной глупости. Надо всем же царит невежество, которому нет конца. Она обрекает себя папе, попам, инквизиции, иезуитам, Селестской Божией матери и святому Лавру. Она не на шутку ищет в католической церкви своего возрождения, в защите католических интересов свое назначение. Религиозные процессии покрыли страну и заглушают своими торжественными литаниями протесты и жалобы побежденного пролетариата. Депутаты, министры, префекты, генералы, профессора, судьи парадируют на них со свечами в руках, не краснея, без всякой веры в сердце, а потому только, "что вера нужна для народа". Впрочем, есть и целый сонм верующих дворян ультрамонтанцев и легитимистов, воспитанных иезуитами, которые громко требуют, чтобы Франция торжественно посвятила себя Христу и его непорочной матери. И в то самое время когда народное богатство или, вернее, народный труд, производитель всех богатств, отдан на разграбление биржевых спекулянтов, аферистов, богатых собственников и капиталистов, в то самое время как все государственные люди, министры, депутаты, чиновники всякого рода, гражданские и военные, адвокаты, а главным образом, все эти ханжи-иезуиты самым бессовестным образом набивают свои карманы, вся Франция действительно отдается на управление попов. Попы забрали в руки все просвещение, университеты, гимназии, народные школы; они стали вновь исповедниками и духовными путеводителями храброго французского воинства, которое скоро окончательно потеряет способность драться против внешних врагов, но зато сделается врагом тем более опасным для собственного народа.

Вот настоящее положение государственной Франции! Она в самое короткое время перещеголяла шварценберговскую Австрию (после 1849), а мы знаем, чем кончила эта Австрия — поражением в Испании, поражением в Богемии и всеобщим крушением.

Правда, Франция, несмотря даже на последнее разорение, богата, несомненно богаче Германии, извлекшей в промышленном и торговом отношении немного пользы от пяти миллиардов, уплоченных Франциею. Это богатство позволило французскому народу восстановить в очень короткое время все внешние признаки силы и правительственного устройства. Но не надо даже вглядываться глубоко, достаточно чуть-чуть приподнять лживо-блестящую поверхность, чтобы убедиться, как все внутри гнило, и гнило потому, что во всем этом еще громадном государственном теле не осталось даже искры живой души.

Государственная Франция безвозвратно кончается, и жестоко обманется тот, кто будет рассчитывать на ее союз. Кроме бессилия и страха, он в ней ничего не найдет; она посвящена папе, Христу, Божьей Матери, божественному разуму и человеческому бессмыслию. Она отдана на жертву ворам и попам; и если у нее еще осталась военная сила, то вся она пойдет на укрощение и усмирение своего собственного пролетариата. Какая же может быть польза от ее союза? Но есть чрезвычайно важная причина, которая никогда не позволит нашему правительству, будь во главе его Александр II или Александр III, следовать по пути западного, или панславистического, завоевания. Это путь революционный, в том смысле, что ведет прямо к возмущению народов, по преимуществу славянских, против их законных государей, австрийского и пруссо-германского. Он был предложен князем Паскевичем императору Николаю.

Положение Николая было опасное; он имел против себя две могущественнейшие державы, Англию и Францию. Благодарная Австрия грозила ему. Только одна обиженная им Пруссия оставалась верна, но и эта, уступая натиску трех государств, начинала колебаться и вместе с австрийским правительством делала ему внушительные представления. Николай, полагавший всю свою славу главным образом в том, чтобы

отличаться непреклонностью, должен был или уступить, или умереть. Уступить было стыдно, а умереть, разумеется, не хотелось. И в эту критическую минуту ему было сделано предложение поднять панславистское знамя; мало того, надеть на свою императорскую корону фригийскую шапку и звать не только славян, но и мадьяр, румын, итальянцев[8] на бунт.

Император Николай призадумался, но, должно отдать ему справедливость, колебался не долго; он понял, что ему не следует кончать свое многолетнее поприще, ознаменованное чистейшим деспотизмом, на поприще революционном. Он предпочел умереть.

Он был прав. Нельзя было кичиться своим деспотизмом внутри и поднимать революцию вне своего государства. Особенно невозможно было это для императора Николая, так как на первом шагу, который он сделал бы по этому пути, он встретился бы лицом к лицу с Польшею. Возможно ли было звать славянские и другие народы к восстанию и продолжать душить Польшу! Но что же делать с Польшею? Освободить ее? Но, не говоря уже о том, как это было противно всем инстинктам императора Николая, нельзя не признать, что для всероссийской государственности освобождение Польши решительно невозможно.

Целые века длилась борьба между двумя формами государства. Вопрос шел о том, кто победит, шляхетская ли воля, или царский кнут. Собственно о народе не было речи ни в том, ни в другом лагере; в обоих он был одинаково рабом, тружеником, кормильцем и немым пьедесталом государства. Казалось сначала, что должны победить поляки. На их стороне была образованность, военное искусство и храбрость, и так как войска их состояли по преимуществу из малой шляхты, они дрались как вольные люди, а русские как рабы. Все шансы казались на их стороне. И действительно, в продолжение очень долгого времени они выходили победителями из каждой войны, громили русские области и даже один раз покорили Москву и посадили на царский престол своего королевича.

Сила, выгнавшая их из Москвы, была не царская и даже не боярская, а народная. Пока народные массы не вмешивались в борьбу, полякам счастливилось. Но лишь только сам народ выступил действующим лицом на сцену один раз в 1612 г., другой раз в виде поголовного восстания малороссийского и литовского хлопства под предводительством Богдана Хмельницкого, счастье совершенно оставило их. С тех пор вольно-шляхетское государство стало чахнуть и падать, пока не погибло окончательно.

Русский кнут победил благодаря народу и вместе с тем, разумеется, в великий ущерб народу, который в знак истинной государственной благодарности был отдан в наследственное рабство царским холопам, дворянам-помещикам. Ныне царствующий император Александр II освободил, говорят, крестьян. Мы знаем, каково это освобождение.

А между тем именно на развалинах шляхетски-польского государства основалась всероссийская кнутовая империя. Лишите ее этой основы, отберите области, входившие до 1772 г. в состав польского государства, и всероссийская империя исчезнет.

Она исчезнет, потому что с потерей этих провинций, самых богатых, самых плодородных и самых населенных, богатство ее, и без того не чрезвычайное, и сила уменьшатся наполовину. За этой потерей не замедлит последовать потеря прибалтийского края, а предположив, что восстановляемое польское государство будет восстановлено не только на бумаге, а в действительности и заживет новою, сильною жизнью, империя очень скоро утратит всю Малороссию, которая сделается или польскою областью, или

независимым государством, утратит поэтому также и свою черноморскую границу, будет отрезана со всех сторон от Европы и загнана в Азию.
Иные полагают, что империя может отдать Польше по крайней мере Литву. Нет, не может, по тем же самым причинам. Соединенные Литва и Польша послужили бы непременно и, можно сказать, с неотвратимою необходимостью польскому государственному патриотизму широкою точкою отправления для завоевания прибалтийских провинций и Украины. Довольно освободить только Царство Польское, и того достаточно. Варшава тотчас сойдется с Вильно, с Гродно, с Минском, пожалуй, с Киевом, не говоря уже о Подоле и Волыни.
Как же быть? Поляки такой беспокойный народ, что им нельзя оставить ни одного местечка свободным; сейчас в нем законспирируют и поведут тайные связи со всеми забранными областями с целью восстановления польского государства. В 1841, например, оставался один вольный город Краков, и Краков сделался центром общепольского революционного предприятия.
Не ясно ли, что такая империя может продолжать свое существование только под условием душить Польшу по муравьевской системе. Мы говорим империя, а не народ русский, который, по нашему убеждению, не имеет ничего общего с империей, и интересы, а также и все инстинктивные стремления которого абсолютно противуположны интересам и сознательным стремлениям империи.
Как скоро империя рушится и народы великорусский, малорусский, белорусский и другие восстановят свою свободу, для них не страшны будут честолюбивые замыслы польских государственных патриотов; они могут быть убийственны только для империи.
Вот почему никакой всероссийский император, если он только в своем уме и если его не заставит железная необходимость, никогда не согласится отпустить на волю ни малейшей части Польши. А не освободив поляков, может ли он призвать к бунту славян? Причины, помешавшие ему поднять панславистически-бунтовское знамя, всецело существуют и теперь, с тою разницею, что тогда этот путь обещал более выгод, чем в настоящее время. Тогда можно было еще рассчитывать на восстание мадьяр, Италии, находившихся под ненавистным игом Австрии. Теперь Италия осталась бы без сомнения нейтральною, так как Австрия отдала бы ей, вероятно, без всяких споров, лишь бы от нее отделаться, те немногие остатки итальянской земли, которые она еще удерживает в своем владении. Что касается мадьяр, то можно сказать наверное, что они со всею страстью, внушаемой им их собственным господствующим отношением к славянам, приняли бы сторону немцев против России.
Итак, в случае панславистической войны, которую русский император поднял бы против Германии, он мог бы рассчитывать на содействие более или менее деятельное только славян, и то только австрийских славян, потому что если бы ему вздумалось поднять и турецких, то он вызвал бы против себя нового врага, Англию, эту ревнивую защитницу самостоятельного существования оттоманского государства. Но в Австрии славян считается около 17 миллионов, за вычетом 5 миллионов жителей Галиции, где более или менее симпатизирующие русины были бы парализованы враждебными поляками, останется 12 миллионов, на восстание которых русский император мог бы, может быть, рассчитывать, исключая, разумеется, еще тех, которые завербованы в австрийское войско и которые по обычаю всякого войска стали бы драться против кого начальство прикажет.
Прибавим, что эти 12 миллионов даже не сосредоточены в одном или нескольких пунктах, а разбросаны по всему пространству Австрийской империи, говорят на совершенно разных наречиях и перемешаны то с немцами, то с мадьярами, то с

румынами, то, наконец, с итальянскими населениями. Этого очень много, чтобы держать в постоянной тревоге австрийское правительство и вообще немцев, но слишком мало, чтобы доставить русским войскам серьезную опору против соединенных сил прусской Германии и Австрии.

Увы! русское правительство это знает и всегда очень хорошо понимало и потому никогда не имело и не будет иметь намерения вести панславистическую войну против Австрии, которая необходимо превратилась бы в войну против целой Германии. Но если наше правительство такого намерения не имеет, зачем же оно ведет посредством своих агентов настоящую панславистическую пропаганду в австрийских владениях? По очень простой причине, по той самой, на которую сейчас указали, а именно потому, что русскому правительству очень приятно и полезно иметь такое множество горячих и вместе с тем слепых, чтобы не сказать глупых, приверженцев во всех австрийских областях. Это парализует, связывает, беспокоит австрийское правительство и усиливает влияние России не только на Австрию, но на целую Германию. Императорская Россия возбуждает австрийских славян против мадьяр и немцев, очень хорошо зная, что в конце концов предаст их в руки тех же мадьяр и немцев. Игра подлая, но зато вполне государственная.

Итак, союзников и действительной опоры на западе, в случае панславистической войны против немцев, всероссийская империя найдет немного. Посмотрим теперь, с кем ей придется бороться. Во-первых, со всеми немцами прусскими и австрийскими, во-вторых, с мадьярами, и, в-третьих, с поляками.

Оставляя в стороне поляков и даже мадьяр, спросим, способна ли императорская Россия вести наступательную войну против соединенных сил всей Германии, прусской и австрийской, или хотя даже одной прусской. Мы говорим, войну наступательную, потому что здесь предполагается, что предпримет ее Россия ввиду мнимого освобождения, собственно же, завоевания австрийских славян.

Прежде всего несомненно, что никакая наступательная война в России не будет войною национальною. Это почти общее правило; народы редко принимают живое участие в войнах, предпринимаемых и веденных их правительствами за пределами отечества. Такие войны бывают чаще всего исключительно политическими, если не примешивается интерес или религиозный, или революционный. Таковы были для немцев, французов, голландцев, англичан и даже для шведов в XVI веке войны между реформаторами и католиками. Таковы же были для Франции в конце XVIII века революционные войны. Но в новейшей истории мы знаем только два исключительные примера, когда народные массы относились с действительною симпатиею к политическим войнам, предпринятым их правительствами ввиду расширения пределов государства или ради других исключительно государственных интересов.

Первый пример был дан французским народом при НаполеонеI. Но он еще недостаточно доказателен, потому что императорские войска были непосредственным продолжением и как бы естественным результатом революционных войск, так что французский народ даже после падения Наполеона продолжал смотреть на них как на проявление того же самого революционного интереса.

Гораздо доказательнее второй пример, а именно пример горячего упоения, принятого, можно сказать, всем немецким народом в нелепой громадной войне, предпринятой вновь образовавшимся пруссо-германским государством против второй французской империи. Да, в эту знаменательную, едва прошедшую эпоху весь немецкий народ, все слои немецкого общества, за исключением разве только небольшой кучки работников, были проникнуты исключительно политическим интересом, интересом основания и

расширения пределов пангерманского государства. И теперь еще этот интерес преобладает над всеми другими в уме и сердце всех немцев без различия сословий, и это-то составляет в настоящее время специальную силу Германии.

Для всякого сколько-нибудь знающего и понимающего Россию должно быть ясно, что никакая война наступательная, предпринятая нашим правительством, не будет национальною в России. Во-первых, потому, что наш на род не только чужд всякого государственного интереса, но даже инстинктивно противен ему. Государство — это его тюрьма; какая же ему нужда укреплять свою тюрьму? Во-вторых, между правительством и народом нет никакой связи, ни одной живой нити, которая могла бы соединить их, хотя на одну минуту, в каком бы то ни было деле, нет даже способности, ни возможности взаимного разумения; что для правительства бело, то для народа черно, и обратно, что народу кажется очень бело, что для него жизнь, раздолье, то для правительства смерть.

Спросят, может быть, с Пушкиным: "Иль русского царя уже бессильно слово?" Да, бессильно, когда оно требует от народа, что противно народу. Пусть он только мигнет и кликнет народу: вяжите и режьте помещиков, чиновников и купцов, заберите и разделите между собою их имущество — одного мгновенья будет достаточно, чтобы встал весь русский народ и чтобы на другой день даже и следа купцов, чиновников и помещиков не осталось на русской земле. Но, пока он будет приказывать народу платить подати и давать солдат государству, а на пользу помещиков и купцов работать, народ будет повиноваться, нехотя, под палкою, как теперь, а когда сможет, то и не послушается. Где же тут магическое или чудотворное влияние царского слова? И что же может царь сказать народу такого, что бы могло взволновать его сердце или разгорячить его воображение? В 1828, объявляя войну Оттоманской Порте под предлогом обид, претерпеваемых греческими и славянскими единоверцами нашими в Турции, император Николай попробовал было своим манифестом, прочитанным в церквах, расшевелить в нем религиозный фанатизм. Попытка оказалась вполне неудачною. Если где у нас существует страшная и упорная религиозность, то разве только в раскольниках, менее всех признающих и государство, и даже самого императора. В православной же и казенной церкви царствует мертвый, рутинный церемониал рядом с глубочайшим индифферентизмом.

В начале крымской кампании, когда Англия и Франция объявили войну, Николай еще раз попытался возбудить религиозный фанатизм в народе, и столь же неудачно. Вспомним, что говорилось между народом во время этой войны: "француз требует, чтобы нас отпустили на волю". — Были народные ополчения. Но всем известно, как они были сформированы. Большею частью по царскому приказанию и по начальственному распоряжению. Это была тоже рекрутчина, только в другом виде и срочная. Во многих же местах крестьянам обещали, что по окончании войны их отпустят на волю.

Вот каков государственный интерес нашего крестьянства! В купечестве и дворянстве патриотизм выразился самым оригинальным образом: неумными речами, громкими верноподданническими заявлениями, а главное, обедами да попойками. Когда же надо было одним давать деньги, другим самолично идти на войну во главе своих мужиков, охотников оказалось очень немного. Всякий старался поставить за себя другого. Ополчение наделало много шуму, а пользы не принесло никакой. Но Крымская война была даже не наступательная, а оборонительная, значит, могла, должна была сделаться национальною, и почему же, однако, не сделалась? Потому, что наши высшие классы гнилы, пошлы, подлы, а народ естественный враг государства.

И этот-то народ надеются поднять во имя славянского вопроса! Есть между нашими славянофилами несколько честных людей, которые не на шутку верят, что русский народ горит нетерпением лететь на помощь "братьям славянам", про существование которых он даже не знает. Его чрезвычайно удивили бы, сказав ему, что он сам славянский народ. Г. Духинский с своими польскими и французскими последователями отрицает, конечно, чтобы славянская кровь текла в жилах великорусского народа, греша этим против исторической и этнографической истины. Но г. Духинский, так мало знающий наш народ, вероятно, и не подозревает, что этот народ нисколько не заботится о своем славянском происхождении. До того ли ему, измученному, голодающему и раздавленному под гнетом мнимо славянской, в действительности же татаро-немецкой, империи.

Мы не должны обманывать славян. Те, которые говорят им о каком бы то ни было участии русского народа в славянском вопросе, или сами себя жестоко надувают, или бессовестным образом лгут и, разумеется, лгут с нечистыми целями. И если мы, русские социалисты-революционеры, зовем славянский пролетариат и славянскую молодежь на общее дело, то вовсе не предлагаем им как общую почву для дела наше общее более или менее славянское происхождение. Мы можем признать только одну почву: Социальную Революцию, вне которой мы не видим спасения ни для их народов, ни для нашего, и думаем, что именно на этой почве, вследствие многих одинаковых черт в характере, в исторической судьбе, в прошедших и настоящих стремлениях всех славянских народов, а также и вследствие их одинакового отношения к государственным поползновениям германского племени, они могут братски соединиться, не для того, чтобы создать общее государство, а для того, чтобы разрушить все государства, и не для того, чтобы составить между собою замкнутый мир, а для того, чтобы вместе вступить на всемирное поприще, начиная по необходимости с заключения тесного союза с народами латинского племени, которым, так же как и славянам, угрожает теперь завоевательная политика немцев.

Но и этот союз против немцев должен длиться, только пока немцы, познав собственным опытом, с какими бесчисленными бедами сопряжено собственно для народа существование государства даже мнимо народного, не сбросят с себя государственного ига и не откажутся навсегда от своей несчастной страсти к государственному преобладанию. Тогда и только тогда три главные племени, населяющие Европу, латинское, славянское и германское, организуются в союз свободно, как братья.

Но до тех пор союз славянских народов с народами латинскими против завоевания, грозящего им всем одинаково со стороны немцев, останется горькою необходимостью.

Странное назначение немецкого племени! Возбуждая против себя общие опасения и общую ненависть, они соединяют народы. Таким образом они соединили славян; ибо нет сомнения, что ненависть к немцам, глубоко укорененная в сердце всех славянских народов, гораздо более способствовала успехам панславистической пропаганды, чем все проповеди и интриги московских и петербургских агентов. Теперь же, вероятно, та же ненависть будет привлекать народ славянский к союзу с латинским.

В этом смысле и русский народ вполне славянский народ. Немцев он не любит; но обманывать себя не должно, нелюбовь его к немцам не простирается так далеко, чтобы он собственным движением отправился воевать против них. Она окажется лишь, когда немцы сами придут в Россию и вздумают хозяйничать в ней. Но глубоко ошибается тот, кто будет рассчитывать на какое-либо участие нашего народа в наступательном движении против Германии.

Отсюда следует, что если наше правительство когда-либо вздумает предпринять какое-либо движение, оно должно будет совершить его без всякой помощи народной, одними лишь своими государственными, финансовыми и военными средствами. Но достаточно ли этих средств, чтобы бороться против Германии, мало того, чтобы с успехом вести против нее наступательную войну.

Надо быть чрезвычайно невежественным или слепым квасным патриотом, чтобы не признать, что все наши военные средства и наша пресловутая будто бы бесчисленная армия ничто в сравнении с настоящими средствами и с армией германской.

Русский солдат храбр несомненно, но ведь и немецкие солдаты не трусы; они это доказали в трех кампаниях сряду. Притом в предполагаемой наступательной со стороны России войне немецкие войска будут драться у себя дома и поддержанные патриотическим и на этот раз действительно поголовным восстанием решительно всех классов и всего населения Германии, поддержанные также своим собственным патриотическим фанатизмом, в то время как русские воины будут драться без смысла, без страсти, повинуясь только команде.

Что же касается сравнения русских офицеров с немецкими, то с точки зрения просто человеческой мы отдадим преимущество нашему офицерскому типу, не потому, что он наш, а на основании строгой справедливости. Несмотря на все старания нашего военного министра, г. Милютина, огромная масса нашего офицерства осталась тем же, чем была прежде, грубой, невежественной и почти во всех отношениях вполне бессознательной, — ученье, кутеж, карты, пьянство и когда есть чем поживиться, именно в высших чинах, начиная с ротного или эскадронного или батарейного командира, правильное, чуть ли не узаконенное воровство составляют до сих пор ежедневную поблажку офицерской жизни в России. Это мир чрезвычайно пустой и дикий, даже когда говорят по-французски, но в этом мире, среди грубой и нелепой безалаберщины, его наполняющей, можно найти человеческое сердце, способность инстинктивно полюбить и понять человеческое и при счастливой обстановке, при добром влиянии, способность сделаться совершенно сознательным другом народа.

В немецком офицерском мире нет ничего, кроме формы, военного регламента и отвратительной специально офицерской фанаберии, состоящей из двух элементов: из лакейского повиновения в отношении ко всему, что иерархически выше, и из дерзко-презрительного отношения ко всему, что, по их мнению, стоит ниже, — к народу прежде всего, а потом и ко всему, что не носит военного мундира, за исключением самых высших гражданских чиновников и дворян.

В отношении своего государя, герцога, короля, а теперь к всегерманскому императору немецкий офицер раб по убеждению, по страсти. По мановению его он готов всегда и везде совершить самые ужасные злодеяния, сжечь, истребить и перерезать десятки, сотни городов и селений, не только чужих, но даже своих.

К народу он чувствует не только презрение, но ненависть, потому что, делая ему слишком много чести, предполагает его всегда бунтующим или же готовым взбунтоваться. Впрочем, не один он это предполагает; в настоящее время все привилегированные классы, а немецкий офицер, да и вообще всякий офицер правильного войска может быть назван привилегированною сторожевою собакою привилегированных классов. Весь мир эксплуататоров в Германии и вне Германии смотрит на народ со страхом и недоверием, которые, к несчастью, не всегда оправдываются, но которые тем не менее несомненно доказывают, что в народных массах уже начинает подыматься та сознательная сила, которая разрушит этот мир.

Итак, у немецкого офицера, как у доброй сторожевой собаки, ус становится дыбом при одном воспоминании о народных толпах. Понятия его о правах и обязанностях народа самые патриархальные. По его мнению, народ должен работать, чтобы господа были одеты и сыты, повиноваться, не рассуждая, властям, платить государственные подати и общинные повинности и, в свою очередь, исполнять службу солдата, чистить ему сапоги, подавать лошадь, а когда он закомандует и замахает саблей, стрелять, колоть и рубить всякого встречного и поперечного и когда велят — идти на смерть за кайзера и фатерланд. По истечении же срока действительной службы, если ранен и искалечен, жить милостынею, если же вышел цел и невредим, идти в резерв и служить в нем до самой смерти, всегда повинуясь властям, преклоняясь перед всяким начальством и быть готовым умереть по востребованию.

Всякое явление в народе, противоречащее этому идеалу, способно довести немецкого офицера до бешенства. Нетрудно себе представить, как он должен ненавидеть революционеров; а под этим общим названием он разумеет всех демократов и даже либералов, одним словом, всякого, кто в какой бы то ни было степени и форме осмеливается делать, хотеть, думать противное священной мысли и воле Его Императорского Величества Повелителя всех Германий...

Можно себе представить, с какою специальною ненавистью он должен относиться к революционерам-социалистам или хотя даже к социальным демократам своей родины. Одно воспоминание о них приводит его в бешенство, и он не считает приличным иначе о них говорить, как с пеною у рта. Беда тому из них, кто попадет к нему в руки, — и, к несчастию, должно сказать, что в последнее время много социальных демократов в Германии перешли через офицерские руки. Не имея права их истерзать или немедленно расстрелять, не смея давать воли рукам, он рядом самых оскорбительных мер, придирок, жестов, слов силится выместить свою бешеную, пошлую злобу. Но если бы ему позволили, если бы начальство приказало, с такою неистовою ревностью и, главное, с такою офицерскою гордостью он взял бы на себя роль мучителя, вешателя и палача.

А посмотрите на этого цивилизованного зверя, на этого лакея по убеждению и палача по призванию. Если он молод, вы вместо страшилища с удивлением увидите белокурого юношу, кровь с молоком и с легким пушком на рыльце, скромного, тихого и даже застенчивого, и гордого — фанаберия сквозит, — и непременно сентиментального. Он знает наизусть Шиллера и Гете и вся гуманистическая литература великого прошлого века прошла через его голову, не оставив в ней ни одной человеческой мысли и ни одного человеческого чувства в душе.

Немцам и по преимуществу немецким чиновникам и офицерам было предоставлено решить задачу, кажется, неразрешимую: соединить образование с варварством, ученость с лакейством. Это делает их в общественном отношении отвратительными и в то же время чрезвычайно смешными, в отношении к народным массам злодеями систематическими и беспощадными, но зато людьми драгоценными в отношении к государственной службе.

Немецкие бюргеры это знают и, зная это, патриотически переносят от них всевозможные оскорбления, потому что узнают в них свою собственную природу, а главное, потому что смотрят на этих народных и привилегированных императорских псов, так часто их от скуки кусающих, как на самый верный оплот пангерманского государства.

Для регулярной армии нельзя действительно представить себе ничего лучше немецкого офицера. Человек, соединяющий в себе ученость с хамством, а хамство с храбростью, строгую исполнительность с способностью инициативы, регулярность с зверством и зверство с своеобразною честностью, известную, правда, одностороннюю и даже

худостороннюю экзальтацию с редким повиновением воле начальства; человек, всегда способный перерезать или перекрошить десятки, сотни, тысячи людей по малейшему знаку начальства, — тихий, скромный, смирный, послушный, всегда навытяжку перед старшими и высокомерный, презрительно-холодный, а когда нужно и жестокий в отношении к солдату; человек, которого вся жизнь выражается в двух словах: слушаться и командовать — такой человек незаменим для армии и для государства.

Что касается муштрования солдат, то это дело, одно из главных в организации хорошего войска, доведено в немецкой армии до систематического, глубоко обдуманного и практически испытанного и осуществленного совершенства. Главное начало, положенное в основание всей дисциплины, состоит в следующем афоризме, повторение которого мы не так давно еще слышали от многих прусских, саксонских, баварских и других немецких офицеров, со времен французской кампании прогуливающихся целыми гурьбами по Швейцарии, вероятно, для изучения местности и снимки планов — вперед пригодится, — афоризм этот следующий: "Чтоб овладеть душою солдата, надо прежде всего овладеть его телом".

Как же овладеть его телом? Посредством беспрерывного учения. Вы не думайте, чтобы немецкие офицеры презирали шагистику, ничуть не бывало — они видят в ней одно из лучших средств для того, чтобы выломать члены и для того, чтобы овладеть телом солдата, а потом ружейные приемы, уход за оружием, чистка мундиров; надо, чтобы солдат был с утра до вечера занят и чтобы он не переставал чувствовать над собою и за каждым шагом своим строгое, холодно-магнетизирующее око начальства. Зимою, когда времени остается побольше, солдат гонят в школу, там их доучивают читать, писать, считать, но главное — заставляют твердить наизусть военный устав, проникнутый боготворением императора и презрением к народу: императору делать на караул, а в народ стрелять. Вот квинтэссенция нравственно-политического учения солдат.

Проживя три, четыре года, пять лет в этом омуте, солдат не может иначе выйти из него, как уродом. Но и для офицеров то же самое, хотя и в другой форме. Из солдат хотят сделать палку бессознательную; офицер же должен быть палкою сознательною, палкою по убеждению, по мысли, по интересу, по страсти. Его мир — офицерское общество; из него он ни шагу, и вся офицерская коллективность, проникнутая вышеописанным духом, смотрит за каждым. Беда несчастному, если, увлеченный неопытностью или каким-нибудь человеческим чувством, он позволит себе сдружиться с другим обществом. Если это общество в политическом отношении невинно, то над ним будут только смеяться. Но если оно имеет направление политическое, несогласное с общеофицерским направлением, либеральное, демократическое, не говорю уже о социально-революционном, тогда несчастный пропал. Каждый товарищ сделается для него доносчиком.

Вообще высшее начальство предпочитает, чтобы офицерство бывало больше между собою, и старается оставить им, равно как и солдатам, как можно менее свободного времени. Муштрование солдат и беспрестанный надсмотр за ними уже забирает три четверти дня; остальная четверть должна быть посвящена усовершенствованию в военных науках. Офицер, прежде чем дослужиться до майорского чина, должен выдержать несколько экзаменов; кроме того, им задаются срочные работы по разным вопросам, и по этим работам судят о их способности к повышению.

Как видим, военный мир в Германии, впрочем, точно так же, как и во Франции, составляет совершенно замкнутый мир, и эта замкнутость есть верное ручательство в том, что этот мир будет врагом для народа.

Но немецкий военный мир имеет перед французским, да и перед всеми европейскими огромное преимущество: немецкие офицеры превосходят всех офицеров в мире положительностью и обширностью своих познаний, теоретическим и практическим знанием военного дела, горячею и вполне педантическою преданностью военному ремеслу, точностью, аккуратностью, выдержкою, упорным терпением, а также и относительною честностью.

Вследствие всех этих качеств организация и вооружение немецких армий существует действительно и не на бумаге только, как это было при Наполеоне III во Франции, как это бывает сплошь да рядом у нас. К тому же, благодаря все тем же немецким преимуществам, административный, гражданский и в особенности военный контроль устроен так, что продолжительный обман невозможен. У нас же, напротив, снизу доверху и сверху донизу рука руку моет, вследствие чего дознание истины становится почти невозможным.

Сообразите все это и спросите себя, возможно ли, чтобы русская армия могла надеяться на успех в наступательной войне против Германии? Вы скажете, что Россия может поставить миллион войска. Ну, хорошо организованного и вооруженного войска, пожалуй, не будет миллион; однако, положим, что есть миллион; половину надо будет оставить разбросанною по огромному пространству империи для соблюдения спокойствия в счастливом народе, который, того и гляди, от большого жира может взбеситься. Для одной Украины, Литвы и Польши сколько понадобится войска! Много, много, если вы будете в состоянии выслать против Германии пятисоттысячную армию. Такой армии Россия никогда еще не ставила.

Ну, а в Германии вас встретит действительно миллионная армия, по организации, по вымуштровке, по науке, по духу и по вооружению первая в мире. А за нею будет стоять громадным ополчением весь немецкий народ, который, может быть и даже вероятно, не встал бы против французов, если бы в последней войне победил не Фриц прусский, а Наполеон III, который, повторим еще раз, против русского вторжения встанет поголовно.

Скажете вы, что в случае нужды Россия, т.е. всероссийская империя, в состоянии поставить еще миллион войска; отчего же и не поставить, да только на бумаге. Стоит для этого только предписать указом новый рекрутский набор по столько-то с тысячи. Вот вам и ваш миллион. Да как его собрать? Кто будет его собирать? Ваши резервные генералы, генерал-адъютанты, флигель-адъютанты, командиры резервных и гарнизонных батальонов на бумаге, ваши губернаторы, чиновники. Боже мой, сколько же десятков, а пожалуй, и сотен тысяч уморят они с голоду, прежде чем их соберут. Да где вы, наконец, возьмете достаточное количество офицеров для организации нового миллионного войска и чем вооружите его? Палками? Ведь у вас нет достаточного количества денег для порядочного вооружения одного миллиона, а вы грозитесь вооружить другой миллион. Ни один банкир не даст вам взаймы; ну а если и даст, ведь на вооружение миллиона требуются года.

Сравним вашу бедность и вашу беспомощность с германским богатством и с германскою силою. Германия получила от Франции пять миллиардов, положим, что три миллиарда были потрачены на вознаграждение разных издержек, на вознаграждение принцев, государственных людей, генералов, полковников, офицеров, разумеется, не солдат, а также и на разные внутренние и заграничные поездки. Остаются два миллиарда, которые исключительно употреблены на вооружение Германии, на постройку новых или на укрепление старых бесчисленных крепостей, на заказ новых пушек, ружей и т. д. Да, вся Германия обратилась теперь в грозный, во все стороны щетинящийся арсенал. И вы, обученные и вооруженные кое-как, надеетесь ее победить.

При первом шаге, лишь только сунете нос на немецкую землю, вы будете самым страшным образом разбиты наголову, и ваша наступательная война тотчас же обратится в оборонительную; немецкие войска вступят в пределы всероссийской империи.
Но тогда, по крайней мере, возбудят ли они против себя всеобщее восстание русского народа? Да, если немцы вступят в русские области и пойдут, например, прямо в Москву; но если этой глупости не сделают, а пойдут севером на Петербург, через балтийские провинции, в которых найдут не только между мещанством, протестантскими пасторами и жидами, но и посреди недовольных баронов и их детей, студентов, а через их посредство и в наших бесчисленных остзейских генералах, офицерах, высших и низших чиновниках, наполняющих Петербург и разбросанных по всей России, много, много приятелей; мало того, они подымут против русской империи Польшу и Малороссию.
Правда, что из всех врагов, притеснителей Польши со дня ее разделения Пруссия оказалась самым назойливым, самым систематическим, а потому и самым опасным; Россия действовала, как варвар, как дикая сила, всех резала, вешала, мучила, ссылала в Сибирь и все-таки обрусить доставшейся ей части Польши не умела, да и до сих пор, несмотря на муравьевские рецепты, не умеет; Австрия, с своей стороны, также нисколько не онемечила Галиции, да и не старалась об этом. Пруссия как истый представитель германского духа и великого германского дела, насильственного и искусственного германизирования стран не немецких, сейчас приступила к онемечиванию во что бы то ни стало Данцигской области и Познанского герцогства, не говоря уже о кенигсбергском крае, доставшемся ей гораздо прежде.
Было бы слишком долго говорить о средствах, которые она употребила для достижения этой цели; между ними широкое колонизирование немецких крестьян на польской земле занимало огромное место. Полное освобождение крестьян в 1807 г. с правом выкупа земли и со всеми возможными облегчениями для совершения этого выкупа также много способствовало к популяризированию прусского правительства даже между польскими крестьянами. Потом основались сельские школы, и в них и через них введен был немецкий язык. Вследствие подобных мер оказалось уже в 1848 г., что более трети Познанского герцогства совсем онемечилось. О городах же и говорить нечего. С самого начала польской истории в них говорилось по-немецки благодаря массе немецких бюргеров, ремесленников, а главное, жидов, получивших в них широкое гостеприимство. Известно, что с самых древних времен большинство городов в этой части Польши управлялось так называемым магдебургским правом.
Таким образом Пруссия достигала своей цели в мирное время. Когда же польский патриотизм подымал или силился поднять народное движение, она не останавливалась, разумеется, перед самыми решительными и варварскими мерами. Мы уже имели случай заметить, что в деле укрощения польских бунтов, не только в своих собственных пределах, но также и в Царстве Польском, Пруссия не переставала оказывать неизменную верность и самую горячую готовность на помощь русскому правительству. Прусские жандармы, что говорим, прусские благородные офицеры всякого оружия, гвардейские и армейские, с какою-то особенною страстью охотились на поляков, скрывавшихся в прусских владениях, ловили их и со злостною радостью выдавали русским жандармам, с выражением нередко надежды, что их в России повесят. В этом отношении Муравьев-вешатель не мог довольно нахвалиться Бисмарком.
До вступления в министерство князя Бисмарка Пруссия постоянно делала то же самое, но она делала это стыдливо, втихомолку и, когда было возможно, отпиралась от своих собственных действий. Князь Бисмарк первый сбросил маску. Он цинически, громко не только признался, но хвастался в прусском парламенте и перед европейскою

дипломатией тем, что прусское правительство употребляло все свое влияние на правительство русское, чтобы уговорить его задушить Польшу до конца, не останавливаясь ни перед какими кровавыми мерами, и что в этом отношении Пруссия всегда будет оказывать самую деятельную помощь России.

Наконец, в настоящее время, еще недавно, князь Бисмарк прямо высказал в парламенте неизменное решение правительства искоренить остатки польской национальности в польских областях, наслаждающихся ныне пруссо-германским управлением. К несчастью, как мы это заметили выше, поляки познанские, точно так же, как и поляки галицийские, связали теперь, теснее чем когда-нибудь, свое польско-национальное дело с вопросом о преобладании папской власти. Их адвокатами стали иезуиты, ультрамонтанцы, монашеские ордена и епископы. Не поздоровится полякам от такого союза и от такой дружбы, как не поздоровилось в XVII веке. Но это не наше, а их, польское дело.

Мы упомянули обо всем этом для того только, чтобы показать, что у поляков нет врага опаснее и злее князя Бисмарка. Кажется, что он поставил задачею своей жизни стереть их с лица земли. И все-таки это не помешает ему позвать поляков к бунту против России, когда того потребуют интересы Германии. И, несмотря на то, что поляки ненавидят его и Пруссию, чтобы не сказать всю Германию, в этом поляки не хотели бы сознаться, хотя в глубине их души, не менее, чем у всех других славянских народов, живет та же самая историческая ненависть против немцев, несмотря на то, что они не могут забыть кровных обид, вынесенных ими со стороны прусских немцев, поляки несомненно подымутся на зов Бисмарка.

В Германии и самой Пруссии уже очень давно существует многочисленная и серьезная политическая партия, даже три партии: либерально-прогрессивная, чисто демократическая и социально-демократическая, вместе составляющие несомненное большинство в парламентах германском и прусском и еще более решительное в самом обществе, партии, которые, предвидя и отчасти желая и как бы вызывая войну Германии против России, поняли, что восстание и восстановление Польши в известных пределах будет необходимым условием этой войны.

Разумеется, что ни князь Бисмарк и ни одна из этих партий никогда не согласятся возвратить Польше всех областей, забранных у нее Пруссиею. Не говоря уже о Кенигсберге, они ни за что в мире не отдадут ни Данцига, ни даже ни малейшего клочка западной Пруссии. Даже в Познанском герцогстве они отделят себе значительную часть, будто бы уже совсем онемеченную, и оставят полякам, в сущности, из всей части Польши, доставшейся на долю пруссакам, очень немного. За то, как отдадут им всю Галицию, со Львовом и с Краковом, так как все это принадлежит теперь Австрии, и отдадут им еще охотней столько земли далеко в глубь России, сколько у поляков станет сил захватить и удержать за собою. Вместе с тем она предложит полякам нужные деньги, разумеется, в виде польского займа за поручительством Германии, оружие и военную помощь.

Кто может сомневаться в том, что поляки не только согласятся, но с радостью ухватятся за немецкое предложение; их положение так отчаянно, что если бы им сделали предложение во сто раз хуже, они бы его приняли.

Целый век прошел со времени разделения Польши, и в продолжение этих ста лет не прошло почти ни одного года, в который бы не была пролита мученическая кровь патриотов польских. Сто лет непрерывной борьбы, отчаянных бунтов! Есть ли другой народ, который мог бы похвастаться подобною доблестью? Чего поляки не перепробовали? Шляхетские конспирации, мещанские заговоры, вооруженные банды,

народное восстание, наконец, все ухищрения дипломатии и даже помощь церковную. Все они перепробовали, за все цеплялись и все порвалось, все изменило. Как же им отказаться, когда сама Германия, их опаснейший враг, предлагает им свою помощь на известных условиях? Найдутся, пожалуй, славянофилы, которые упрекнут их за то в измене. В измене чему? Славянскому союзу, славянскому делу? А чем проявился этот союз, в чем состоит это дело? Не проявился ли он в поездке гг. Палацкого и Ригера в Москву на панславистическую выставку и на поклонение царю? Чем и когда, каким именно делом славяне как славяне выразили свою братскую симпатию полякам? Не тем ли, что те же самые гг. Палацкий и Ригер и вся их многочисленная свита западно-и югославянская в Варшаве лобызались с русскими генералами, еле-еле омывшимися от польской крови, пили за славянское братство и за здоровье царя-палача? Поляки мученики и герои, у них в прошедшем великая слава; славяне же еще дети, и все значение их в будущем. Славянский мир, славянский вопрос — это не действительность, а надежда, которая осуществиться может только посредством Социальной Революции; а к этой революции у поляков, говоря, разумеется, о патриотах, принадлежащих большею частью к образованному сословию и по преимуществу к шляхте, до сих пор выказывалось очень немного охоты.

Что же может быть общего между славянским миром, еще не существующим, и патриотически-польским миром, более или менее отжившим? И действительно, за исключением весьма немногих лиц, старающихся создать славянский вопрос в польском духе и на польской почве, поляки вообще нисколько не занимаются этим вопросом, им гораздо понятнее и ближе мадьяры, с которыми они имеют некоторое сходство и много общих исторических воспоминаний, от славян же южных и западных отделяют их главным и, можно сказать, решительным образом симпатии этих народов к России, т.е. к тому из врагов, которого они сами ненавидят более всех.

В Польше и в польской эмиграции, как и во всех странах, политический мир разделялся некогда на много политических партий. Была партия аристократическая, клерикальная и монархически-конституционная; была партия военной диктатуры; партия республиканцев умеренных, поклонников Соединенных Штатов; партия красных республиканцев по французскому образцу; наконец, даже немногочисленная партия демократов социальных, не говоря уже о мистически-сектаторских партиях или, вернее, церковных. В сущности, однако, стоило только проникнуть в каждую из них немного глубже, чтобы убедиться, что основа у всех одна и та же: страстное стремление у всех к восстановлению польского государства в границах 1772 г. Помимо же взаимных противоречий, происходящих от взаимной борьбы начальников партий, главное различие их состояло в том, что каждая была уверена, что эта общая цель, восстановление старой Польши, может быть достигнута только на пути специально рекомендуемым ею.

До 1850 г. можно сказать, что огромное большинство польской эмиграции революционное, именно потому, что большинство было уверено, что восстановление независимой Польши будет непременным результатом торжества революции в Европе. И что же, можно сказать, что в 1848 г. не было ни одного движения в целой Европе, в котором бы не участвовали и даже часто не предводительствовали поляки. Нам помнится, как один саксонский немец выразил на этот счет свое удивление: где только беспорядок, там непременно поляки!

В 1850 г. вследствие повсеместного поражения эта вера в революцию упала, поднялась наполеоновская звезда, и множество, множество польских эмигрантов, огромное большинство сделались отъявленными и страшными бонапартистами. Боже мой, чего не

ждали и не надеялись они от помощи Наполеона III! Даже явная, гнусная измена его в 1862-63 г. не в силах была убить в них этой веры. Она окончилась только в Седане.
После этой катастрофы оставалось для польской надежды только одно убежище, иезуитско-ультрамонтанское. Австрийские и большинство польских патриотов ринулось в Галицию, ринулось туда с отчаяния. Но вообразите себе, что Бисмарк, их отъявленный враг, вынужденный положением Германии, позовет их на восстание против России; покажет им не отдаленную надежду, нет, даст им деньги, оружие и военную помощь. Возможно ли, чтобы они отказались от этого? Правда, что взамен этой помощи от них потребуется формальное отречение от большей части старых польских земель, находящихся теперь во владении Пруссии. Это будет им очень горько, но вынужденные обстоятельствами и ввиду верного торжества над Россиею, утешая себя, наконец, мыслью, что лишь бы только восстановить Польшу, а потом они возвратят свое, они поднимут все несомненно и с своей точки зрения будут десять тысяч раз правы.
Правда, что Польша, восстановляемая с помощью немецкого войска, под покровительством князя Бисмарка, будет странною Польшею. Но лучше странная Польша, чем никакой; да наконец, потом, подумают непременно поляки, можно будет и освободиться от покровительства князя Бисмарка.
Одним словом, поляки на все согласятся, и Польша встанет, Литва встанет, а немного погодя и Малороссия встанет; польские патриоты, правда, плохие социалисты, и у себя дома они не станут заниматься революционно-социалистической пропагандой, а если бы и захотели, то покровитель, князь Бисмарк, не позволил бы — слишком близко к Германии; чего доброго, такая пропаганда могла бы проникнуть и в прусскую Польшу. Но чего нельзя будет делать в Польше, то можно будет делать в России и против России. Чрезвычайно полезно будет и для немцев, и для поляков поднять в России крестьянский бунт, а поднять его будет, правда, не трудно, и подумайте, сколько поляков и немцев рассеяно теперь по России. Большинство, если не все, будут естественными союзниками Бисмарка и поляков. Вообразите себе такое положение: войска наши, разбитые наголову, бегут; за ними вслед на севере к Петербургу идут немцы, а на западе и на юге, на Смоленск и на Малороссию, идут поляки — и в то же самое время, возбужденный внешнею и внутреннею пропагандою, в России, в Малороссии всеобщий крестьянский, торжествующий бунт.
Вот почему можно сказать наверное, что никакое правительство и что ни один русский царь, если он только не сумасшедший, не поднимет панславистического знамени и не пойдет никогда войною против Германии.
Поразив окончательно сначала Австрию, а потом Францию, новая и великая Германская империя низведет безвозвратно на степень второстепенных и от нее зависимых держав не только эти два государства, но позже и нашу всероссийскую империю, которую она навсегда отрезала от Европы. Мы говорим, разумеется, об империи, а не о русском народе, который, когда ему будет нужно, найдет или пробьет себе всюду дорогу.
Но для всероссийской империи ворота Европы отныне заперты; от этих ворот ключи же хранятся у князя Бисмарка, который ни за что в мире не даст их князю Горчакову.
Но если ворота северо-запада заперты для нее навсегда, не останутся ли открытыми, и, может быть, еще тем вернее и шире, ворота южные и юго-восточные: Бухара, Персия и Афганистан до самой восточной Индии и, наконец, последняя цель всех замыслов и стремлений, Константинополь? Уже давно русские политики, горячие ревнители величия и славы нашей любезной империи, обсуждают вопрос, не лучше ли перенести столицу, а с ней вместе и средоточие всех сил, всей жизни империи с севера на юг, от суровых

берегов моря Балтийского на вечно цветущие берега Черного и Средиземного морей, одним словом, из Петербурга в Константинополь.

Есть, правда, до того ненасытные патриоты, что они хотели бы сохранить Петербург и преобладание на Балтийском море и вместе овладеть Константинополем. Но это желание до того неосуществимо, что даже они, несмотря на всю веру во всемогущество всероссийской империи, начинают отказываться от надежды на его исполнение, к тому же за последний год случилось происшествие, которое должно было открыть им глаза. Это происшествие: присоединение Гольштейна, Шлезвига и Ганновера к Прусскому королевству, обратившемуся непосредственно через это в северную морскую державу.

Аксиома всем известная, что не может ни одно государство стать в числе первенствующих держав, если оно не имеет обширных морских границ, обеспечивающих непосредственное сообщение его с целым светом и позволяющих ему принять участие прямое в мировом движении, как материальном, так и общественном, политически-нравственном. Эта истина столь очевидна, что ее доказывать нечего. Предположим государство самое сильное, образованное и самое счастливое — сколько в государстве общее счастье возможно — и вообразим, что какие-нибудь обстоятельства уединили его от остального света. Можете быть уверены, что по прошествии каких-нибудь пятидесяти лет, двух поколений, все в нем придет в застой: сила ослабеет, образованность станет граничить с глупостью, ну а счастье будет издавать запах лимбурского сыра.

Посмотрите на Китай, кажется, был и умен, и учен, и, вероятно, также, по-своему, счастлив; отчего он сделался таким дряблым, что достаточно самых небольших усилий морским европейским державам для того, чтобы подчинить его своему уму и если не своему владычеству, то, по крайней мере, своей воле? Оттого, что в продолжение веков он оставался в застое, а оставался он в нем потому, что в продолжение этих веков он, благодаря отчасти своим внутренним учреждениям, отчасти же тому, что течение мировой жизни происходило так далеко от него, что долго не могло его коснуться.

Есть много разных условий, чтобы народ, замкнутый в государство, мог принять участие в мировом движении; сюда принадлежит природный ум и прирожденная энергия, образованность, способность к производительному труду и самая обширная внутренняя свобода, столь невозможная, впрочем, для масс в государстве. Но к этим условиям также принадлежит непременно морское плавание, морская торговля, потому что морские сообщения по своей относительной дешевизне, скорости, а также и свободе, в том смысле, что море никем не присвоено, превосходят все другие более известные, не исключая, разумеется, и железных дорог. Может быть, воздухоплавание когда-нибудь окажется еще более удобным во всех отношениях и будет особенно важно, так что оно окончательно уравняет условия развития и жизни для всех стран. Но до сих пор о нем говорить нельзя как о средстве серьезном, и мореплавание все-таки остается главным средством для преуспеяния народов.

Будет время, когда не будет более государств, — а к разрушению их стремятся все усилия социально-революционерной партии в Европе, — будет время, когда на развалинах политических государств оснуется совершенно свободно и организуясь снизу вверх, вольный братский союз вольных производительных ассоциаций, общин и областных федераций, обнимающих безразлично, потому что свободно, людей всех языков и народностей, ну, тогда путь к морю будет равно открыт для всех; для береговых жителей непосредственно, а для живущих в отдалении от моря посредством железных дорог, освобожденных вполне от всяких государственных попечении, взимании, пошлин, ограничений, придирок, запрещений, позволений и применений. Но и тогда

даже морские береговые жители будут иметь множество естественных преимуществ, не только материальных, но и умственно-нравственных. Непосредственное прикосновение к мировому рынку и вообще к мировому движению жизни развивает чрезвычайно, и, как ни уравнивайте отношения, все-таки внутренние жители, лишенные этих преимуществ, будут жить и развиваться ленивее и медленнее прибрежных.

Вот почему так важно будет воздухоплавание. Воздушная атмосфера — это океан, проникающий всюду, берег его везде, так что в отношении к нему все люди, даже живущие в самых отдаленных захолустьях, без исключения все — прибрежные жители. Но до тех пор, пока воздухоплавание не заменит мореплавания, прибрежные жители останутся во всех отношениях передовыми и будут составлять род аристократии в человечестве.

Вся история, а главное — большая часть прогресса в истории была сделана народами прибрежными. Первый народ, создатель всей цивилизации, греки — и что же, можно сказать, что вся Греция — не что иное, как берег. Древний Рим сделался государством могучим, мировым только с тех пор, как сделался морским государством. А в новейшей истории, кому обязаны воскресением политической свободы, общественной жизни, торговли, искусств, науки, свободной мысли, одним словом, возрождением человечества? Италии, которая почти вся, как Греция, — берег. После Италии кто унаследовал передовое место в мировом движении? Голландия, Англия, Франция и, наконец, Америка.

Посмотрим же, напротив, на Германию. Почему, несмотря на много несомненных качеств, которыми наделены ее народы, как, напр., чрезвычайное трудолюбие, способности к размышлению и к науке, эстетическое чувство, породившее великих артистов, художников и поэтов, и глубокомысленный трансцендентализм, породивший не менее великих философов, — почему, спрашиваем мы, Германия отстала так далеко от Франции и от Англии во всех других отношениях, кроме одного, в котором опередила всех, в развитии бюрократического, полицейского и военного государственного порядка, почему в торговом отношении она стоит еще теперь ниже Голландии, а в индустриальном ниже Бельгии.

Скажут, потому что у ней никогда не было свободы, любви к свободе, ни требования свободы. Это будет отчасти справедливо, но это не единственная причина. Другая, столь же важная — это отсутствие широкого прибрежья. Еще в XIII веке, именно в эпоху зарождения Ганзы, Германия не терпела недостатка в морском береге, по крайней мере, на западе. Голландия и Бельгия еще принадлежали к ней, а именно в этом столетии торговля Германии, казалось, обещала развитие довольно широкое. Но уже с XIV века нидерландские города, увлеченные своим предприимчивым и смелым духом и своею любовью к свободе, стали видимым образом отделяться от Германии и чуждаться ее. В XVI веке это отделение окончательно совершилось и великая империя, неуклюжая наследница Римской империи, оказалась государством почти совсем средиземным. Осталась у нее только узкая форточка в море между Голландией и Данией, далеко не достаточная для свободного дыхания такой огромной страны. Вследствие этого на Германию и напала сонливость, чрезвычайно похожая на китайский застой.

С тех пор все политическое передовое движение Германии, в смысле образования нового сильного государства, сосредоточилось в небольшом курфюрсте Бранденбургском. И в самом деле, бранденбургские курфюрсты постоянным стремлением своим овладеть берегами Балтийского моря оказали значительную услугу Германии, создали, можно сказать, условия ее настоящего величия, сначала овладели Кенигсбергом, а потом, в эпоху первого деления Польши, взяли Данциг. Но всего этого

было недостаточно, надо было овладеть Килем и вообще всем Шлезвигом и Гольштейном.

Эти новые завоевания были сделаны Пруссиею при рукоплескании целой Германии. Мы все были свидетелями, с какою страстью немцы решительно всех отдельных государственных фатерландов, и северных, и южных, и западных, и восточных, и центральных, следили, с самого 1848 г. за развитием шлезвиг-гольштинского вопроса, и ошибались глубоко те, которые объясняли себе эту страсть в смысле участия к родным братьям, немцам, будто бы задыхающимся под датским деспотизмом. Тут был интерес совсем другой, интерес государственный, пангерманский, интерес завоевания морских границ и морских сообщений, интерес создания могучего немецкого флота. Вопрос о немецком флоте был уже поднят в 1840 или 41 г., и мы помним, с каким энтузиазмом было принято целою Германиею стихотворение Гервега: германский флот.

Немцы, повторяем мы еще раз, народ в высшей степени государственный, эта государственность преобладает в них над всеми другими страстями и решительно подавляет в них инстинкт свободы. Но она-то составляет именно в настоящее время их специальное величие; она служит и будет еще служить некоторое время неизменною и прямою подставкою для всех честолюбивых замыслов берлинского государя. На нее крепкой ногой опирается князь Бисмарк.

Немцы народ ученый и знают, что без прочных морских границ нет и не может быть великого государства. Вот почему они, наперекор исторической, этнографической и географической истине, утверждают еще теперь, что Триест был, есть и будет немецким городом, что весь Дунай — река немецкая. Они рвутся к морю. И если не остановит их социальная революция, можно быть уверенным, что прежде, чем пройдут двадцать, десять лет, а может быть и еще менее, — происшествия ныне идут так быстро друг за другом, — можно быть уверенным, говорим мы, что в короткое время они завоюют всю немецкую Данию, всю немецкую Голландию, всю немецкую Бельгию. Все это лежит, так сказать, в натуральной логике их политического положения и их инстинктивных стремлений.

Один этап на этом пути уже пройден.

Пруссия, нынешнее олицетворение, голова и вместе руки Германии, крепко основалась на Балтийском море, а вместе с тем и на Северном море. Независимость бременская, гамбургская, любекская, мекленбургская и ольденбургская — пустая и невинная шутка. Все это вместе с Гольштейном, Шлезвигом и Ганновером вошло в состав Пруссии, и Пруссия, богатая французскими деньгами, строит два сильных флота: один на Балтике, другой на Северном море, и благодаря судоходному каналу, который ныне копают для соединения двух морей, эти два флота скоро составят один флот. И не много лет надо будет ждать для того, чтобы этот флот, превосходящий уже и датский, и шведский, сделался бы гораздо сильнее русского Балтийского флота. И тогда русское преобладание на море Балтийском канет в... Балтийское море. Прощай Рига, прощай Ревель, прощай Финляндия и прощай Петербург, вместе с своим неприступным Кронштадтом!

Все это для квасных патриотов, привыкших преувеличивать всероссийские силы, покажется бредом, злою сказкою, а между тем это не что иное, как совершенно верное заключение из осуществившихся уже фактов, на основании справедливой оценки характера и способностей немецких и русских, не говоря уже о денежных средствах, о сравнительном количестве добросовестных, преданных и знающих чиновников всякого рода и также не говоря о науке, которая дает решительный перевес всем немецким предприятиям перед русскими.

Немецкая государственная служба дает результаты некрасивые, неприятные, можно сказать, мерзкие, но зато положительные и серьезные.
Русская государственная служба дает результаты столь же неприятные и некрасивые, а по форме нередко еще более дикие и с этим вместе пустые. Возьмем пример: положим, что в одно и то же время в Германии и в России правительства назначили одну и ту же сумму, положим, миллион, на совершение какого-нибудь дела, хоть на постройку нового судна. Что же, вы думаете, в Германии украдут? Украдут, быть может, сто тысяч, положим, двести тысяч, зато уж восемьсот тысяч прямо пойдут на дело, которое совершится с тою аккуратностью и с тем знанием, которым отличаются немцы. Ну, а в России? В России прежде всего половину раскрадут, четверть пропадет вследствие нерадения и невежества, так что много-много, если на остальную четверть состряпают что-нибудь гнилое, годящееся напоказ, но для дела негодное.
Почему же русский флот способен устоять против немецкого, русские приморские укрепления, напр., Кронштадт, выдержать стрельбу немцев, умеющих бросать не только чугунные, но также и золотые снаряды? Прощай господство на Балтийском море! Прощай все политическое значение и сила северной столицы, воздвигнутой Петром на финских болотах! Если наш маститый великий Канцлер князь Горчаков не совсем выжил из ума, он должен был сказать себе это в те дни, когда союзная Пруссия грабила безнаказанно и как бы с нашего согласия столь же нам союзную Данию. Он должен был понять, что с того дня, как Пруссия, опирающаяся теперь на всю Германию и составляющая в неразрывном единстве с последнею сильнейшую континентальную державу, с тех пор, одним словом, как новая Германская империя, создавшаяся под скипетром прусским, заняла на Балтийском море свое настоящее и для всех других прибалтийских держав столь грозное положение, преобладанию петербургской России на этом море был положен конец, уничтожено великое политическое творение Петра, а с ним вместе уничтожено и самое могущество всероссийского государства, если в вознаграждение утраты вольного морского пути на севере не откроется для него новый путь на юге.
Ясно, что на Балтийском море станут теперь господствовать немцы. Правда, что входы в него находятся еще в руках Дании. Но кто не видит, что этому бедному маленькому государству не остается уже теперь почти другого выбора, как сделаться сначала, пожалуй, вольно-федеративным, а вскоре потом и вполне быть поглощенным пангерманской государственной централизацией; а это значит, что Балтийское море в самое короткое время превратится в море исключительно немецкое и что Петербург должен будет утратить всякое политическое значение.
Князь Горчаков должен был знать это, когда соглашался на раздробление Датского королевства и на присоединение Гольштейна и Шлезвига к Пруссии. И силою самых происшествий мы приведены к следующей дилемме: или он изменил России, или взамен пожертвованного им преобладания всероссийского государства на северо-западе он обеспечился формальным обязательством князя Бисмарка содействовать России в завоевании нового могущества на юго-востоке.
Для нас существование такого акта, существование оборонительного и наступающего союза, заключенного между Россиею и Пруссиею чуть ли не сейчас же после парижского мира или, по крайней мере, во время польского восстания, в 1863, когда увлеченные примером Франции и Англии почти все европейские державы, кроме Пруссии, громогласно и официально протестовали против всероссийского варварства; для нас, говорим мы, формальное и для обеих сторон равно обязательное согласие между Пруссиею и Россиею несомненно, только подобным союзом может быть объяснена та

спокойная, можно сказать, беззаботная уверенность, с какою Бисмарк предпринял войну против Австрии и против большей части Германии с опасностью французского вмешательства и еще более решительную войну против Франции. Малейшей враждебной демонстрации со стороны России, напр., движения русских войск к прусской границе, было бы достаточно, чтобы остановить и в"той и в другой войне, особенно в последней, дальнейшие движения победоносного прусского воинства. Вспомним, что в конце последней войны вся Германия, по преимуществу же северная часть ее, была совершенно очищена от войск, что невмешательство Австрии в пользу Франции не имело другой причины, как объявление России, что если Австрия двинет свои войска, то она двинет против них свою армию, и что Италия и Англия только потому не вмешались, что этого не хотела Россия. Не заяви она себя таким решительным союзником пруссо-германского императора, немцы никогда бы не взяли Парижа. Но Бисмарк, видимо, был уверен, что Россия не изменит ему. На чем же была основана такая уверенность? Ужели на родственных связях и на личной дружбе двух императоров? Но Бисмарк человек слишком умный и опытный, чтобы рассчитывать на чувства в политике. Положим даже, что наш император, одаренный, как всем известно, чувствительным сердцем и проливающий слезы чрезвычайно легко, мог увлечься подобными чувствами, не раз высказанными им в царских попойках; вокруг него целое правительство, двор, наследник, ненавидящий будто бы немцев и, наконец, наш маститый государственный патриот князь Горчаков, все вместе, общественное мнение и сама сила вещей напомнила бы ему, что государства руководствуются интересами, а не чувствами.

Не мог же Бисмарк рассчитывать на тождество интересов русских и прусских. Такого тождества нет, да и быть не может, оно существует только в одном пункте, а именно в польском вопросе. Ну да, этот вопрос давно уже порешен, а во всех других отношениях ничто не может быть так противно интересам всероссийского государства, как образование обок его огромной и могущественной всегерманской империи. Существование двух огромных империй друг подле друга влечет за собой войну, которая не может кончиться иначе, как разрушением или одной, или другой.

Война эта, повторяем мы, неизбежна, но она может быть отдалена, если обе империи сознают, что они еще недостаточно укрепились внутри, не довольно расширились для того, чтобы начать друг против друга войну решительную, борьбу на жизнь и на смерть. Тогда, хотя и ненавидя друг друга, они продолжают друг друга поддерживать, обменивать услуги между собою, причем каждая надеется, что она воспользуется лучше другой невольным союзом, приобретет больше силы и средств для будущей, неизбежной борьбы, — таково именно взаимное положение России и прусской Германии.

Германская империя далеко еще не укрепилась ни внутри, ни снаружи. Внутри она представляет странное соединение многих самостоятельных, средних и маленьких государств, правда, обреченных на уничтожение, но еще не уничтоженных и стремящихся во что бы то ни стало спасти остатки своей, видимо, исчезающей самостоятельности. Снаружи хмурится против новой империи униженная, но не окончательно еще сраженная Австрия, побежденная и именно вследствие того непримиримая Франция. К тому же новогерманская империя далеко еще не достаточно округлила свои границы. Повинуясь внутренней необходимости, свойственной военным государствам, она задумывает новые приобретения, новые войны. Поставив себе целью восстановление средневековой империи в первобытных границах, и к этой цели влечет ее неуклонно патриотизм пангерманский, обуявший все немецкое общество, она

мечтает о присоединении всей Австрии, кроме Венгрии, отнюдь не кроме Триеста, но кроме Богемии, всей немецкой Швейцарии, части Бельгии, всей Голландии и Дании, необходимых для основания ее морского могущества, — планы гигантские, осуществление которых возбудит значительную часть западной и южной Европы против нее, и которое поэтому без согласия России решительно невозможно. Значит, для новогерманской империи еще необходим русский союз.

Всероссийская империя, с своей стороны, также не может обойтись без пруссо-германского союза. Отказавшись от всяких новых приобретений и расширений на северо-западе, она должна идти на юго-восток. Уступив Пруссии преобладание на Балтийском море, она должна завоевать и установить свое могущество на Черном море. Иначе она будет отрезана от Европы. Но для того, чтобы владычество ее на Черном море было действительно и полезно, она должна овладеть Константинополем, без которого не только вход в Средиземное море может быть возбранен ей во всякое время, но самый вход в Черное море будет всегда открыт для неприятельских флотов и армий, как это и было во время крымской кампании.

Значит, единая цель, к которой больше чем когда-нибудь стремится завоевательная политика нашего государства, — Константинополь. Осуществлению этой цели противны интересы всей южной Европы, не исключая, разумеется, Франции, противны английские интересы, а также интересы Германии, так как безграничное владычество России на Черном море поставит все дунайское прибрежье в прямую зависимость от России.

И, несмотря на это, нельзя сомневаться в том, что Пруссия, вынужденная опираться на русский союз для исполнения своих завоевательных планов на западе, формально обязалась помогать России в ее юго-восточной политике, так же как нельзя сомневаться и в том, что она воспользуется первою возможностью для того, чтобы изменить обещанию.

Такого нарушения договора нельзя ожидать теперь, в самом начале исполнения его. Мы видели, какую горячую поддержку Пруссо-германская империя оказала империи всероссийской в вопросе об уничтожении условий парижского трактата, стеснительных для России, и нет сомнения, что она так же горячо продолжает ее поддерживать в хивинском вопросе. К тому же для немцев выгодно, чтобы русские удалились как можно глубже на восток.

Но что заставило русское правительство предпринять поход против Хивы? Нельзя же предполагать, чтобы оно предприняло его в защиту интересов русского купечества и русской торговли. Если бы это было так, то можно было бы спросить, почему оно не предпринимает таких же походов внутри России, против самого себя, как, напр., против московского генерал-губернатора и вообще против тех губернаторов и градоначальников, притесняющих и грабящих, как известно, самым наглым манером и всеми возможными способами и русскую торговлю, и русских купцов.

Какая же польза может быть для нашего государства в завоевании песчаной пустыни? Иные, пожалуй, готовы ответить, что правительство наше предприняло этот поход ради исполнения великого призвания России внести цивилизацию Запада на Восток. Но такое объяснение годится, пожалуй, для академических или официальных речей, а также и для доктринерных книг, брошюр и журналов, всегда наполненных возвышенным вздором и говорящих всегда противное тому, что делается и что есть; нас же оно удовлетворить не может. Вообразите себе петербургское правительство, руководимое в своих предприятиях и действиях сознанием цивилизаторского назначения России! Для человека, сколько-нибудь знакомого с природою и с побуждениями наших правителей, одного такого представления достаточно, чтобы уморить его со смеху.

Не станем говорить также об открытии новых торговых путей в Индию. Торговая политика — это политика Англии, она никогда не была русскою. Русское государство по преимуществу и, можно сказать, исключительно — военное государство. В нем все подчинено единому интересу могущества всенасилующей власти. Государь, государство — вот главное; все же остальное — народ, даже сословные интересы, процветание промышленности, торговли и так называемой цивилизации — лишь средства для достижения этой единой цели. Без известной степени цивилизации, без промышленности и торговли никакое государство, и особливо новейшее, существовать не может, потому что так называемое богатство национальное, далеко не народное, а богатство привилегированных сословий, есть сила. В России оно все поглощается государством, которое, в свою очередь, становится кормильцем огромного государственного класса — военного, гражданского и духовного. Казенное повсеместное воровство, казнокрадство и народообирание есть самое верное выражение русской государственной цивилизации.

Поэтому нет ничего мудреного, что между другими и более главными причинами, побудившими русское правительство к предпринятию похода против Хивы, были также и так называемые торговые причины; надо было открыть для умножающегося официального люда, к которому мы причисляем и наше купечество, новое поприще, дать ему новые области на разграбление. Но значительное умножение богатства и силы для государства с этой стороны ждать нельзя. Напротив, можно быть уверенным, что в финансовом отношении предприятие представит гораздо более убытков, чем прибыли.

Зачем же пошли в Хиву? Для того ли, чтобы дать занятие войску? В продолжение многих десятков лет Кавказ служил военною школою, но теперь Кавказ умиротворен, поэтому надо было открыть новую школу; вот и задумали хивинскую кампанию. Такое объяснение также не выдерживает критики, даже если мы предположим, что русское правительство из рук вон неспособно и глупо. Опыт, приобретенный войсками нашими в хивинской пустыне, отнюдь не применим к войне против Запада, а с другой стороны, он слишком дорог, так что приобретенные выгоды далеко не могут сравниться с величиной затрат и издержек.

Но, может быть, русское правительство задумало не на шутку завоевание Индии? Мы не грешим излишнею верою в мудрость наших петербургских правителей, но все-таки не можем допустить, чтобы оно задалось такою нелепою целью. Завоевать Индию! Для кого, зачем и какими средствами? Ведь для этого надобно было бы двинуть по крайней мере четверть, если не целую половину русского населения на восток, и почему именно завоевать Индию, до которой не иначе можно добраться, как покорив сперва воинственное и многочисленное племя Афганистана. Завоевать же Афганистан, вооруженный и отчасти даже дисциплинированный англичанами, было бы по крайней мере в три или четыре раза труднее, чем совладать с Хивою.

Уж если пошло на завоевание, почему бы не начать с Китая? Китай очень богат и во всех отношениях доступнее для нас, чем Индия, так как между ним и Россиею нет никого и ничего. Ступай и возьми, если можешь.

Да, пользуясь неурядицею и междуусобными войнами, ставшими хроническою болезнью Китая, можно было бы распространить очень далеко завоевание в этом крае, и кажется, что русское правительство затевает что-то в этом роде; оно силится явным образом отделить от него Монголию и Манчжурию; пожалуй, в один прекрасный день мы услышим, что русские войска совершили вторжение на западной границе Китая. Дело чрезвычайно опасное, ужасно напоминающее нам пресловутые победы древних

римлян над германскими народами, победы, кончившиеся, как известно, разграблением и покорением Римской империи дикими германскими племенами.
В одном Китае считают одни — четыреста, а другие — около шестисот миллионов жителей, которым видимым образом становится тесно жить в границах империи и которые все большими массами переселяются теперь неотвратимым течением одни в Австралию, некоторые через Тихий океан в Калифорнию; другие массы могут двинуться, наконец, на север и на северо-запад. И тогда? Тогда в одно мгновение ока Сибирь, весь край, простирающийся от Татарского пролива до Уральских гор и до Каспийского моря, перестанет быть русским.
Подумайте, что в этом огромном крае, превосходящем объемом своим (12220000 квадратных километров) более чем в двадцать раз объем Франции (528600 кв. км), считается до сих пор не более 6 миллионов жителей, из которых только около 2 600 000 русских, все же остальные туземцы, татарского или финского происхождения, а численность войска самая ничтожная. Будет ли какая возможность остановить вторжение китайских масс, которые не только наводнят всю Сибирь, включая новые владения наши в Центральной Азии, но перевалят и через Урал, и к самой Волге.
Такова опасность, грозящая нам чуть ли не неизбежно со стороны Востока. Напрасно презирают китайские массы. Они грозны уже одним своим огромным количеством, грозны, потому что чрезмерное умножение делает почти невозможным их дальнейшее существование в границах Китая; грозны также и потому, что о них не должно судить по китайским купцам, с которыми купцы европейские ведут дела в Шанхае, в Кантоне или в Маймачине. Внутри Китая живут массы, гораздо менее изуродованные китайскою цивилизациею, несравненно более энергические, к тому же непременно воинственные, воспитанные в военных привычках нескончаемою междуусобною войною, в которой гибнут десятки и сотни тысяч людей. Надо заметить еще, что в последнее время они стали знакомиться с употреблением новейшего оружия и также с европейскою дисциплиною — этим цветком и последним официальным словом государственной цивилизации Европы. Соедините только эту дисциплину и знакомство с новым оружием и с новою тактикою с первобытным варварством китайских масс, с отсутствием в них всякого понятия о человеческом протесте, всякого инстинкта свободы, с привычкою самого рабского повиновения, а они соединяются именно теперь, под влиянием множества военных авантюристов, американских и европейских, наводнивших Китай после последнего франко-английского похода в эту страну в 1860 году; да примите в соображение чудовищную огромность населения, принужденного искать себе выхода, и вы поймете, как велика опасность, грозящая нам со стороны Востока.
Вот с этою-то опасностью и играет наше русское правительство, невинное, как дитя. Подвигаемое нелепым стремлением расширения своих границ и не принимая в соображение того, что Россия так мало населена, так бедна и так беспомощна, что она до сих пор не в состоянии, да и никогда не сможет населить новоприобретенного Амурского края, в котором на пространстве 2100000 километров (почти в четыре раза более, чем Франция) считается вместе с войском и флотом всего только 65000 жителей. И при таком бессильи, при поголовной нищете всего русского народа, взятого вместе, доведенного отеческим управлением во всех отношениях до положения столь отчаянного, что ему не остается другого выхода и спасения, как только в самом разрушительном бунте, — да, при таких условиях правительство русское надеется водворить свое могущество на всем азиатском Востоке.
Для того, чтобы идти далее, с самыми малыми задатками успеха, оно должно бы было не только повернуть спину Европе и отказаться от всякого вмешательства в дела

европейские — а этого князь Бисмарк только и желает теперь, — оно должно бы было двинуть решительно всю свою военную силу в Сибирь и в Центральную Азию и идти на завоевание Востока, как Тамерлан со всем своим народом. Но за Тамерланом народ его шел, за русским же правительством русский народ не пойдет.

Возвращаемся к Индии. Как оно ни нелепо, русское правительство не может питать надежды на завоевание ее и на укрепление в ней своего могущества. Англия завоевала Индию прежде всего своими торговыми компаниями, у нас же таких компаний нет, а если они кое-где и существуют, так только карманные, для вида. Англия ведет свою громадную эксплуатацию Индии или свою насильственную торговлю с нею морем, посредством огромных флотов, купеческих и военных, у нас таких флотов нет, и вместо моря нас отделяет от Индии нескончаемая пустыня — значит, не может быть и речи о завоевании в Индии.

Но если мы не можем завоевать, то мы можем разрушить или, по крайней мере, сильно поколебать в ней владычество Англии, возбуждая туземные бунты против нее и помогая этим бунтам, поддерживая их даже, когда это станет нужно, военным вмешательством.

Да, можем, хотя это и будет стоить нам, не богатым ни деньгами, ни людьми, огромных трат людей и денег. Но зачем же мы понесем эти траты? Неужели для того только, чтобы доставить себе невинное удовольствие напакостить англичанам без всякой пользы, а, напротив, с положительным ущербом для себя? Нет, потому, что англичане нам мешают. Где же они нам мешают? — В Константинополе. Пока Англия сохранит свою силу, она никогда и ни за что в мире не согласится, чтобы Константинополь в наших руках стал снова столицею уже не одной только всероссийской, ни даже славянской, а восточной империи.

Так вот почему русское правительство предприняло войну в Хиве и почему оно вообще издавна стремится приблизиться к Индии. Оно ищет пункта, где бы можно нанести вред Англии и, не находя другого, грозит ей в Индии. Таким образом оно надеется помирить англичан с мыслью, что Константинополь должен сделаться русским городом, принудить их согласиться на это завоевание, более чем когда-нибудь необходимое для государственной России.

Преобладание ее на море Балтийском утрачено безвозвратно. Не одному всероссийскому государству, сплоченному штыком да кнутом, ненавистному для всех народных масс, в нем заключенных и скованных начиная с народа великорусского, деморализованному, дезорганизованному и разоренному родным самодурствующим произволом, родною глупостью и родным воровством, не его военной силе, существующей больше на бумаге, чем в действительности и только для безоружных, да и то пока только у нас решимости не хватает, не ей бороться против страшного и великолепно организованного могущества вновь возникающей Германской империи. Значит, надо отказаться от Балтийского моря и ожидать того момента, когда вся прибалтийская область сделается немецкой провинцией. Помешать этому может только народная революция. Ну, а такая революция для государства смерть, и не в ней будет наше правительство искать для себя спасения.

Ему не остается другого спасения, как только в союзе с Германиею, потому что принуждено отказаться в пользу немцев от Балтийского моря, оно должно теперь на Черном море искать новой почвы, новой основы для своего величия или просто даже для своего политического существования и смысла, но приобретать ее без позволения и помощи немцев оно не может.

Немцы обещали эту помощь. Да, как мы в этом уверены, они формальным договором, заключенным между князем Бисмарком и князем Горчаковым, обязались оказать ее

российскому государству, но никогда не окажут ее, в этом мы также уверены. Не окажут, потому что не могут отдать на произвол России своего дунайского прибрежья и своей дунайской торговли; а также и потому, что не может быть в их интересах способствовать воздвижению нового русского могущества, великой панславянской империи на юге Европы. Это было бы просто нечто вроде самоубийства со стороны пангерманской империи. — Вот направить и толкнуть русские войска в Центральную Азию, в Хиву, под предлогом, что это самый прямой путь в Константинополь, — это другое дело.

Нам кажется несомненным, что наш маститый государственный патриот и дипломат князь Горчаков и высочайший патрон его государь Александр Николаевич разыграли во всем этом плачевном деле самую глупую роль и что знаменитый немецкий патриот и государственный мошенник князь Бисмарк надул их чуть ли даже не ловчее, чем он надул Наполеона III.

Но дело сделано, его переменить невозможно. Новая Германская империя встала величавая и грозная, смеясь над своими завистниками и врагами. Не русским дряблым силам свалить ее, это может сделать только одна революция, а до тех пор пока революция не восторжествовала в России или в Европе, будет торжествовать и всем повелевать государственная Германия, и русское государство, так же как и все континентальные государства в Европе, будут существовать отныне только с ее позволения и милости.

Это, разумеется, чрезвычайно обидно для всякого русского государственно-патриотического сердца, но грозный факт остается фактом; немцы более чем когда-нибудь стали нашими господами, и недаром все немцы в России так горячо и шумно праздновали победы германских войск во Франции, недаром так торжественно принимали своего нового пангерманского императора все петербургские немцы.

В настоящее время на целом континенте Европы осталось только одно истинно самостоятельное государство — это Германия. Да, между всеми континентальными державами — мы говорим, конечно, только о больших, так как само собою разумеется, что малые и средние обречены сначала на непременную зависимость, а в течение скорого времени и на гибель, — между всеми первостепенными государствами только одна Германская империя представляет все условия полнейшей самостоятельности, все же другие поставлены в зависимость от нее. И это не потому только, что она одержала в течение последних годов блистательные победы над Даниею, над Австриею и над Франциею; что она овладела всем оружием последней и всеми военными запасами; что она заставила ее заплатить себе пять миллиардов; что она присоединением Эльзаса и Лотарингии заняла против нее в оборонительном, так же как и в наступательном отношении великолепную военную позицию; а также и не потому только, что германская армия численностью, вооружением, дисциплиною, организациею, точною исполнительностью и военною наукою не только своих офицеров, но также и своих унтер-офицеров и солдат, не говоря уже о неоспоримом сравнительном совершенстве своих штабов, превосходит ныне решительно все существующие армии в Европе, не потому только, что масса германского народонаселения состоит из людей грамотных, трудолюбивых, производительных, сравнительно весьма образованных, чтобы не сказать ученых, к тому же смирных, послушных властям и закону, и что германская администрация и бюрократия чуть ли не осуществили идеал, к достижению которого тщетно стремятся бюрократия и администрация всех других государств...

Все эти преимущества, разумеется, способствовали и способствуют изумительным успехам нового пангерманского государства, но не в них должно искать главную причину ее настоящей, всеподавляющей силы. Можно даже сказать, что они сами все не более

как проявления общей и более глубокой причины, лежащей в основании всей германской общественной жизни. Эта причина — инстинкт общественности, составляющий характеристическую черту немецкого народа.

Инстинкт этот разлагается на два элемента, по-видимому, противоположные, но всегда неразлучные; рабский инстинкт повиновения во что бы то ни стало, смирного и мудрого подчинения себя торжествующей силе под предлогом послушания так называемым законным властям; а в то же самое время господский инстинкт систематического подчинения себе всего, что слабее, командования, завоевания и систематического притеснения. Оба эти инстинкта достигли значительной степени развития почти в каждом немецком человеке, исключая, разумеется, пролетариат, положение которого исключает возможность удовлетворения по крайней мере второго инстинкта; и всегда не разделяя, дополняя и объясняя друг друга, оба лежат в основании патриотического немецкого общества.

О классическом послушании немцев всех чинов и разрядов властям гласит вся история Германии, а особливо новейшая, которая представляет непрерывный ряд подвигов покорности и терпенья. В немецком сердце выработалось веками истинное богопочитание государственной власти, богопочитание, которое создало постепенно бюрократическую теорию и практику и благодаря стараниям немецких ученых легло потом в основание всей политической науки, проповедуемой поныне в университетах Германии.

О завоевательных и притеснительных стремлениях германского племени, начиная от средневековых германских крестоносцев-рыцарей и баронов до последнего филистера-бюргера новейших времен, также громко гласит история.

И никто не испытал на себе так горько этих стремлений, как славянское племя. Можно сказать, что все историческое назначение немцев, по крайней мере на севере и на востоке, и, разумеется, по немецким понятиям, состояло и чуть ли еще не состоит и теперь именно в истреблении, в порабощении и в насильственном германизировании славянских племен.

Это длинная и печальная история, память о которой глубоко хранится в славянских сердцах и которая, без сомнения, отзовется в последней неизбежной борьбе славян против немцев, если социальная революция не помирит их прежде.

Для верной оценки завоевательных стремлений всего немецкого общества достаточно бросить беглый взгляд на развитие германского патриотизма с 1815 года.

Германия с 1525 года, эпохи кровавого усмирения крестьянского бунта, до второй половины XVIII века, эпохи литературного возрождения ее, оставалась погружена в сон непробудный, иногда прерываемый пушечным выстрелом и грозными сценами и испытаниями беспощадной войны, которой она была большей частью театром и жертвою. Тогда она с ужасом пробуждалась, но скоро вновь опять засыпала, убаюканная лютеранскою проповедью.

В этот период времени, т.е. в продолжение почти двух с половиною столетий, выработался до конца, именно под влиянием этой проповеди, ее послушный и до истинного героизма рабски-терпеливый характер. В это время образовалась и вошла в целую жизнь, в плоть и кровь каждого немца система безусловного повиновения и благословения власти. Вместе с этим развилась наука административная и педантски систематическая, бесчеловечная и безличная бюрократическая практика. Всякий немецкий чиновник сделался жрецом государства, готовый заколоть не ножом, а канцелярским пером любимейшего сына на алтаре государственной службы. В то же самое время немецкое благородное дворянство, не способное ни к чему другому, кроме

лакейской интриги и военной службы, предлагало свою придворную и дипломатическую бессовестность и свою продажную шпагу лучше платящим европейским дворам; и немецкий бюргер, послушный до смерти, терпел, трудился, безропотно платил тяжелые подати, жил бедно и тесно и утешал себя мыслью о бессмертии души. Власть бесчисленных государей, разделявших между собою Германию, была безгранична. Профессора били друг друга по щекам и потом друг на друга доносили начальству. Студенчество, разделявшее свое время между мертвою наукою и пивом, было вполне их достойно. А о чернорабочем народе никто даже не говорил и не подумал.

Таково было положение Германии еще во второй половине XVIII века, когда каким-то чудом, вдруг, из этой бездонной пропасти пошлости и подлости возникла великолепная литература, созданная Лессингом и законченная Гете, Шиллером, Кантом, Фихте и Гегелем. Известно, что эта литература образовалась сначала под прямым влиянием великой французской литературы XVII и XVIII века, сначала классической, а потом философской; но она с первого же раза, в произведениях своего родоначальника Лессинга, приняла характер, содержание и формы совершенно самостоятельные, вытекшие, можно сказать, из самой глубины германской созерцательной жизни.

По нашему мнению, эта литература составляет самую большую и чуть ли не единственную заслугу новейшей Германии. Смелым и вместе широким захватом своим она двинула значительно вперед человеческий ум и открыла новые горизонты для мысли. Главное ее достоинство состоит в том, что, будучи, с одной стороны, вполне национальною, она была вместе с тем литературою в высшей степени гуманною, общечеловеческою, что, впрочем, составляет характеристическую черту вообще всей или почти всей европейской литературы XVIII века.

Но в то самое время, как, напр., французская литература в произведениях Вольтера, Ж. Ж. Руссо, Дидро и других энциклопедистов стремилась перенесть все человеческие вопросы из области теории на практику, германская литература хранила целомудренно и строго свой отвлеченно теоретический и главным образом пантеистический характер. Это была литература гуманизма отвлеченно поэтического и метафизического, с высоты которого посвященные смотрели с презрением на жизнь действительную; с презрением, впрочем, вполне заслуженным, так как немецкая ежедневность была пошла и гадка.

Таким образом, немецкая жизнь разделилась между двумя противуположными и друг друга отрицающими, хоть и дополняющими сферами. Один мир высокой и широкой, но совершенно абстрактной гуманности; другой мир исторически наследственной, верноподданнической пошлости и подлости. В этом раздвоении застала Германию французская революция.

Известно, что эта революция была встречена весьма одобрительно, и, можно сказать, с положительною симпатиею почти всею литературною Германией. Гете немного поморщился и проворчал, что шум неслыханных происшествий помешал, прервал нить его ученых и артистических занятий и его поэтических созерцаний; но большая часть представителей или сторонников новейшей литературы, метафизики и науки приветствовала с радостью революцию, от которой ждала осуществления всех идеалов. Франкмасонство, игравшее еще очень серьезную роль в конце XVIII века и соединявшее невидимым, но довольно действительным братством передовых людей всех стран Европы, установило живую связь между французскими революционерами и благородными мечтателями Германии. Когда республиканские войска после героического отпора, данного Брюнсвигу, обращенному в постыдное бегство, переступили в первый раз через Рейн, они были встречены немцами как избавители.

Это симпатическое отношение немцев к французам продолжалось недолго. Французские солдаты, как подобает французам, были, разумеется, очень любезны, и, как республиканцы, достойны всякой симпатии; но они были все-таки солдаты, т.е. бесцеремонные представители и слуги насилия. Присутствие таких освободителей скоро стало тягостно для немцев, и симпатия их охладилась значительно. К тому же сама революция приняла вслед за тем такой энергический характер, который уже никаким образом не мог совместиться с отвлеченными понятиями и с филистерски-созерцательными нравами немцев. Гейне рассказывает, что под конец в целой Германии только один кенигсбергский философ, Кант, сохранил свои симпатии к революции французской, несмотря на сентябрьскую резню, на казнь Людовика XVI и Марии Антуанетты и несмотря на робеспьеровский террор.

Потом республика заменилась сначала директорией, потом консульством и, наконец, империей; республиканские войска стали слепым и долго победоносным орудием наполеоновского честолюбия, гигантского до безумия, и в конце 1806 г., после Иенского сражения, Германия была порабощена окончательно.

С 1807 г. начинается ее новая жизнь. Кому неизвестна изумительная история быстрого возрождения Прусского королевства, а посредством его и целой Германии. В 1806 г. вся государственная сила, созданная Фридрихом II, его отцом и дедом, была разрушена. Армия, организованная и дисциплинированная великим полководцем, уничтожена. Вся Германия и вся Пруссия, исключая кенигсбергской окраины, была покорена французскими войсками и управлялась в действительности французскими префектами, а политическое существование Прусского королевства пощажено только благодаря просьбам Александра I, императора всероссийского.

В этом критическом положении нашлась группа людей, горячих прусских, или, даже более, германских патриотов, умных, смелых, решительных, которые, наученные уроками и примером французской революции, задумали спасение Пруссии и Германии посредством широких либеральных реформ. В другое время, например, перед Иенским сражением или, пожалуй, даже после 1815 г., когда вступила вновь во все свои права дворянско-бюрократическая реакция, они не поспели бы и подумать о таких реформах. Их задавила бы придворная и военная партия, и добродетельнейший и глупейший король Фридрих Вильгельм III, не знавший ничего, кроме своего безграничного богом постановленного права, засадил бы их в Шпандау, лишь только бы они осмелились пикнуть о них.

Но в 1807 г. положение было совсем иное. Военно-бюрократическая и аристократическая партия была уничтожена, осрамлена и унижена до такой степени, что потеряла голос, а король получил такой урок, от которого и дурак хоть на короткое время мог сделаться умным. Барон Штейн стал первым министром, и смелою рукою он начал ломку старого порядка и устройство новой организации в Пруссии.

Первым делом его было освобождение крестьян от прикрепления к земле не только с правом, но и с действительною возможностью приобретать землю в личную собственность. Вторым делом было уничтожение дворянских привилегий и уравнение всех сословий перед законом в военной и гражданской службе. Третьим делом — устройство провинциальной и муниципальной администрации на основании выборного начала; главным же делом его было совершенное преобразование войска, вернее, обращение целого прусского народа в войско, разделенное на три категории: действующей армии, ландвера и штурмвера. В заключение всего барон Штейн открыл широкий вход и убежище в прусских университетах для всего, что было тогда умного, горячего, живого в Германии, и принял в Берлинский университет знаменитого Фихте,

только что выгнанного из Иены герцогом Веймарским, другом и покровителем Гете, за то, что он проповедовал атеизм.

Фихте начал свои лекции пламенною речью, обращенною главным образом к германской молодежи, но публикованной впоследствии под названием "Речи к немецкой нации", в которой он очень хорошо и ясно предсказал будущее политическое величие Германии и высказал гордое патриотическое убеждение, что германской нации суждено быть высшим представителем, мало того, управителем и как бы венцом человечества; заблуждение, в которое впадали, правда, и прежде немцев другие народы, и с большим правом, например, древние греки, римляне, а в новейшее время французы, но которое, укоренившись глубоко в сознании всякого немца, приняло в настоящее время в Германии размеры чрезмерно уродливые и грубые. У Фихте, по крайней мере, оно носило характер действительно героический. Фихте высказывал его под французским штыком, в то время как Берлин управлялся наполеоновским генералом, а на улицах раздавался французский барабан. К тому же миросозерцание, внесенное идеальным философом в патриотическую гордость, в самом деле дышало гуманностью, тою широкою, отчасти пантеистическою гуманностью, которою запечатлена великая германская литература XVIII века. Но современные немцы, сохранив всю громадность претензии своего философа-патриота, от гуманности его отказались. Они просто не понимают ее и готовы даже над нею смеяться как над выродком абстрактного, отнюдь не практичного мышления. Для них доступнее патриотизм князя Бисмарка или г. Маркса.

Все знают, как немцы, воспользовавшись совершенным поражением Наполеона в России, его несчастным отступлением или, вернее, бегством с кой-какими остатками армии, наконец сами встали; они, разумеется, чрезвычайно славят себя за восстание, и совершенно напрасно. Самостоятельного народного восстания, собственно, никогда не было; но когда разбитый Наполеон перестал быть опасным и страшным, немецкие корпуса, сначала прусский, а потом и австрийский, обратясь прежде против России, теперь обратились против Наполеона и присоединились к русскому победоносному войску, шедшему вслед за Наполеоном. Законный, но доселе несчастный прусский король Фридрих Вильгельм III со слезами умиления и благодарности обнял в Берлине своего избавителя императора всероссийского и вслед за тем издал прокламацию, призывавшую своих верноподданных к законному восстанию против незаконного и дерзкого Наполеона. Послушные голосу своего короля и отца, немецкие, по преимуществу же прусские юноши поднялись и составили легионы, которые были включены в регулярную армию. Не очень ошибся прусский тайный советник и известный шпион, официальный доносчик, когда в брошюре, возбудившей негодование всех патриотов, изданной в 1815 г., он, отрицая всякое самостоятельное действие народа в деле освобождения, сказал, "что прусские граждане взялись за оружие, только когда это им было приказано королем, и что тут не было ничего героического, ни чрезвычайного, а только простое исполнение обязанности всякого верноподданного".

Как бы то ни было, Германия была освобождена от французского ига и по совершенном окончании войны принялась за дело внутреннего преобразования под верховным руководством Австрии и Пруссии. Первым делом было медиатизированье множества маленьких владений, которые таким образом из независимых государств обратились в почетных и богато деньгами (насчет одного миллиарда, взятого у французов) вознагражденных подданных, осталось в Германии всего тридцать девять государств и государей.

Вторым делом было установление взаимных отношений государей с подданными.

В эпоху борьбы, когда над всеми висела еще шпага Наполеона и государи большие и маленькие нуждались в верноподданнической помощи своих народов, они надавали множество обещаний. Прусское правительство, а за ним и все другие обещали конституцию. Теперь же, когда беда миновала, правительства убедились в бесполезности конституции. Австрийское правительство, руководимое князем Меттернихом, прямо заявило решение возвратиться к старым патриархальным порядкам. Добрейший император Франц, пользовавшийся огромною популярностью между венскими бюргерами, прямо выразил это в аудиенции, данной им профессорам лайбахского лицея: "Теперь мода на новые идеи, — сказал он, — я этого похвалить не могу и никогда не похвалю. Держитесь старых понятий, с ними наши предшественники были счастливы, почему же и нам не быть с ними также счастливыми? Мне не нужно ученых, а только честных и послушных граждан. Образование таковых — вот ваша обязанность. Кто мне служит, тот должен учить тому, что я приказываю. Кто не может или не хочет этого делать, тот пусть себе идет, иначе я его удалю..." Император Франц Иосиф сдержал слово. В Австрии до самого 1848 царствовал безграничный произвол. Самым строгим образом была проведена система управления, поставившая главною целью усыпление и оглупление подданных. Мысль спала и оставалась неподвижною в самых университетах. Вместо живой науки там проходили какие-то рутинные зады. Не было литературы, кроме доморощенных романов скандального содержания и весьма плохих стихов; естественные науки были на пятьдесят лет назад от их современного положения в остальной Европе. Политической жизни никакой не было. Земледелие, промышленность и торговля были поражены китайскою неподвижностью. Народ, чернорабочие массы находились в полнейшем порабощении. И если бы не Италия, а отчасти и Венгрия, тревожившие своими крамольными волнениями счастливый сон австрийских верноподданных, можно принять всю эту империю за огромное царство мертвых.

Опираясь на это царство, Меттерних в продолжение тридцати трех лет силился привести всю Европу в такое же положение. Он сделался краеугольным камнем, душою, руководителем европейской реакции, и, разумеется, главною заботою его должно было быть уничтожение всяких либеральных поползновений в Германии.

Более всего его беспокоила Пруссия, государство новое, молодое, вступившее в ряд первостепенных держав только в конце последнего столетия, благодаря гению Фридриха II, благодаря Силезии, отнятой им у Австрии, а потом благодаря разделу Польши, благодаря смелому либерализму барона Штейна, Шарнгорста и других сподвижников прусского возрождения, и поэтому вставшего во главе общегерманского освобождения. Казалось, что все обстоятельства, события, недавно происшедшие, испытания, успех и победы и самый интерес Пруссии должны были побудить ее правительство идти смело по новому пути, оказавшемуся для нее столь счастливым и спасительным. Этого именно так страшно боялся и должен был бояться князь Меттерних.

Уже со времени Фридриха II, когда вся остальная Германия, дошедшая до самой крайней степени умственного и нравственного порабощения, была жертвою бесцеремонного, нахального и цинического управления, интриг и грабительства развратных дворов, в Пруссии был осуществлен идеал порядочной, честной и по возможности справедливой администрации. Там был только один деспот, правда, неумолимый, ужасный — государственный разум или логика государственной пользы, которой решительно все приносилось в жертву и перед которою должно было преклоняться всякое право. Но зато там было гораздо менее личного, развратного произвола, чем во всех других

немецких государствах. Прусский подданный был рабом государства, олицетворившегося в особе короля, но не игрушкою его двора, любовниц или временщиков, как в остальной Германии. Поэтому уже тогда вся Германия смотрела на Пруссию с особенным уважением.
Это уважение увеличилось чрезвычайно и обратилось в положительную симпатию после 1807 г., когда прусское государство, доведенное почти до совершенного уничтожения, стало искать своего спасения и спасения Германии в либеральных реформах и когда после целого ряда счастливых преобразований прусский король позвал не только свой народ, но всю Германию к восстанию против французского завоевателя, причем он обещал по окончании войны дать своим самую широкую либеральную конституцию. Даже был назначен срок, когда это обещание должно было исполниться, а именно 1 сентября 1815. Это торжественное королевское обещание было обнародовано 22 мая 1815 после возвращения Наполеона с острова Эльбы и перед ватерлооским сражением и было только повторением коллективного обещания, данного всеми европейскими государями, собранными на конгрессе в Вене, когда известие о высадке Наполеона поразило их всех паническим страхом. Оно было внесено как один из существеннейших пунктов в акты только что созданного Германского союза.

Некоторые из небольших владетелей Средней и Южной Германии довольно честно сдержали свое обещание. В Северной же Германии, где преобладал решительно военно-бюрократический дворянский элемент, сохранилось старое аристократическое устройство, прямо и сильно покровительствуемое Австриею.
От 1815 до мая 1819 вся Германия надеялась, что в противоположность Австрии, Пруссия примет под свое могучее покровительство общее стремление к либеральным реформам. Все обстоятельства и очевидный интерес прусского правительства, казалось, должны были склонить ее в эту сторону. Не говоря уже о торжественном обещании короля Фридриха Вильгельма III, обнародованном в мае 1815, все испытания, пережитые Пруссиею от 1807, ее изумительное восстановление, которым она была главным образом обязана либерализму своего правительства, должны были укрепить его в этом направлении. Наконец, было соображение еще более важное, которое должно было побудить прусское правительство заявить себя откровенным и решительным покровителем либеральных реформ. Это историческое соперничество юной прусской монархии с древнею Австрийскою империей.

Кто станет во главе Германии Австрия или Пруссия? Таков вопрос, поставленный предыдущими событиями и силою логики их обоюдного положения. Германия, как раба, привыкшая к послушанию, не умеющая и не желающая жить свободно, искала себе господина могущественного, верховного повелителя, которому бы она могла вполне отдаться и который, соединив ее в одно нераздельное государственное тело, дал бы ей почетное положение между сильнейшими державами Европы. Таким господином мог быть или австрийский император, или прусский король. Оба вместе не могли занять этого места, не парализируя друг друга и не обрекая тем самым Германию на прежнюю беспомощность и на бессилие. Австрия должна была естественным образом тянуть Германию назад. Она не могла действовать иначе. Отжившая и дошедшая уже до той степени старческого расслабления, когда всякое движение становится смертельным, а неподвижность — необходимым условием поддержки дряхлого существования, она, ради спасения самой себя, должна была защищать то же начало неподвижности не только в Германии, но в целой Европе. Всякое проявление народной жизни, всякое

стремление вперед в каком бы то ни было угле европейского континента было для нее оскорблением, угрозой. Умирая, она хотела, чтобы все вместе с нею умерло. В политической же жизни, так же как и во всякой другой, идти назад или только оставаться на одном месте значит умирать. Понятно поэтому, что Австрия употребила свои последние и в материальном отношении еще громадные силы, чтобы подавить безжалостно и неуклонно всякое движение в Европе вообще и в Германии в особенности.

Но именно потому, что такова была необходимая политика Австрии, политика Пруссии должна была быть совершенно противоположною. После наполеоновских войн, после Венского конгресса, округлившего ее значительно в ущерб Саксонии, от которой она отобрала целую провинцию, особенно после роковой битвы при Ватерлоо, выигранной соединенными армиями, прусскою под предводительством Блюхера и английскою под предводительством Веллингтона, после торжественного второго вступления прусских войск в Париж Пруссия заняла пятое место между первостепенными державами Европы. Но в отношении действительных сил, государственного богатства, числа ее жителей и даже географического положения она еще далеко не могла сравняться с ними. Штетина, Данцига и Кенигсберга на Балтийском море было слишком недостаточно для образования не только сильного военного флота, но даже значительного торгового. Уродливо растянутая и отделенная от вновь приобретенной Прирейнской провинции чужими владениями, Пруссия представляла в военном отношении чрезвычайно неудобные границы, делающие нападения на нее со стороны Южной Германии, Ганновера, Голландии, Бельгии и Франции очень легкими, а защиту весьма трудною. Наконец, число ее жителей в 1815 еле-еле доходило до 15 миллионов.

Несмотря на такую материальную слабость, еще гораздо большую при Фридрихе II, административному и военному гению великого короля удалось создать политическое значение и военную силу Пруссии. Но создание его было обращено в прах Наполеоном. После Иенского сражения надо было все создавать вновь, и мы видели, что единственно только рядом самых смелых и самых либеральных реформ просвещенные и умные государственные патриоты сумели возвратить Пруссии не только прежнее значение и прежнюю силу, но и значительно их увеличить. И действительно, они увеличили их до такой степени, что Пруссия могла занять не последнее место между великими державами, но недостаточно, однако, чтобы она могла долго удержаться на нем, если бы она не продолжала неуклонно стремиться к увеличению своего политического значения, нравственного влияния, а также к округлению и расширению своих границ.

Для достижения таких результатов перед Пруссией открывались два различные пути. Один, по крайней мере с виду, более народный, другой чисто государственный и военный. Следуя первому пути, Пруссия смело должна была бы встать во главе конституционного движения Германии. Король Фридрих Вильгельм III, следуя великому примеру знаменитого Вильгельма Оранского (1688 г.), должен был бы написать на своем знамени: "За протестантскую веру и за свободу Германии" и таким образом явиться открытым бойцом против австрийского католицизма и деспотизма. На втором же пути, нарушив свое торжественное королевское слово и отказавшись решительно от всяких дальнейших либеральных реформ в Пруссии, он должен был встать столь же открыто на сторону реакции в Германии и вместе с тем сосредоточить все внимание и все усилия на усовершенствования внутренней администрации и войска ввиду будущих возможных завоеваний.

Был еще третий путь, открытый, правда, очень давно, именно еще римскими императорами. Августом и его преемниками, но после них давно затерянный и вновь

открытый лишь в последнее время Наполеоном III и вполне очищенный и улучшенный учеником его, князем Бисмарком. Это путь государственного, военного и политического деспотизма, замаскированного и украшенного самыми широкими и вместе с тем самыми невинными народно-представительными формами.

Но в 1815 году этот путь был еще вполне неизвестен. Тогда никто и не подозревал истины, ставшей ныне известною даже самым глупым деспотам, что так называемые конституционные или народно-представительные формы не мешают государственному, военному, политическому и финансовому деспотизму, но, как бы узаконяя его и давая ему ложный вид народного управления, могут значительно увеличить его внутреннюю крепость и силу.

Тогда этого не знали, да и не могли знать, потому что совершенный разрыв между эксплуатирующим классом и между эксплуатируемым пролетариатом далеко еще не был так ясен ни для буржуазии, ни для самого пролетариата, как в настоящее время. Тогда все правительства, да и сами буржуа, думали, что за буржуазиею стоит сам народ и что ей стоит только пошевелиться, дать знак, чтобы весь народ встал бы вместе с нею против правительства. Теперь совсем другое дело: буржуазия во всех странах Европы пуще всего боится социальной революции и знает, что против этой грозы ей нет другого убежища, как государство, и потому она всегда хочет и требует возможно сильного государства, или, говоря просто, военной диктатуры; а для того чтобы спасти свое тщеславие, а также и для того чтобы легче обмануть народные массы, она желает, чтобы эта диктатура была облечена в народно-представительные формы, которые бы ей позволили эксплуатировать народные массы во имя самого народа.

Но в 1815 году ни этого страха, ни этой ухищренной политики еще не существовало ни в одном из государств Европы. Напротив, буржуазия была везде искренно и наивно либеральна. Она еще верила, что, работая для себя, она работает для всех, и потому не боялась народа, не боялась возбуждать его против правительства, а вследствие чего и все правительства, опираясь, сколько было возможно, на дворянство, относились к буржуазии как к революционерному классу, враждебно.

Нет сомненья, что в 1815 году, как и гораздо позже, было бы достаточно малейшего либерального заявления со стороны Пруссии, достаточно было бы, чтобы прусский король дал тень буржуазной конституции своим подданным, для того чтобы вся Германия признала его своею главою. Тогда еще не успело образоваться в немцах непрусской Германии той сильной нелюбви к Пруссии, которая проявилась гораздо позже и особенно в 1848 году. Напротив, все немецкие страны смотрели на нее с упованием, ожидая именно от нее освободительного слова, и достаточно было бы половины тех либеральных и народно-представительных учреждений, которыми прусское правительство в последнее время без всякого, впрочем, ущерба для деспотической власти так щедро наделило не только прусских, но даже и всех непрусских немцев, исключая австрийских, для того чтобы, по крайней мере, вся неавстрийская Германия признала прусскую гегемонию.

Этого именно чрезвычайно боялась Австрия, потому что этого было бы достаточно, чтобы поставить ее уже тогда в то несчастное и безвыходное положение, в котором она находится теперь. Утратив первое место в Германском союзе, она сама перестала быть державою немецкою. Мы видели, что немцы составляют лишь четвертую часть всего населения Австрийской империи. Пока немецкие области, а также и некоторые славянские области Австрии, как, напр., Богемия, Моравия, Силезия, Штирия, взятые вместе, были одним из членов Германского союза, то австрийские немцы, опираясь на всех остальных многочисленных жителей Германии, могли до некоторой степени

смотреть на всю империю как на немецкую. Но лишь только совершилось бы отделение империи от Германского союза, как оно совершилось в настоящее время, то девятимиллионное, а тогда еще меньшее, немецкое население ее оказалось бы слишком слабым, для того чтобы сохранить в ней свое историческое преобладание; и австрийским немцам ничего более не оставалось бы, как отрешиться от подданства габсбургскому дому и соединиться с остальною Германиею. К этому именно одни сознательно, другие бессознательно стремятся теперь, и это стремление обрекает Австрийскую империю на весьма близкую смерть.

Лишь только бы утвердилась в Германии прусская гегемония, австрийское правительство принуждено было бы исторгнуть свои немецкие области из общего состава Германии, во-первых, потому что, оставив их в Германском союзе, оно фактически подчинило бы их, а через них и себя верховному владычеству короля прусского; и, во-вторых, потому что в таком случае Австрийская империя разделилась бы на две части, на немецкую, признающую прусскую гегемонию, и на всю остальную часть, не признающую ее, что было бы также гибелью для империи.

Было, правда, другое средство, которое хотел испытать в 1850 году князь Шварценберг, но которое ему не удалось, да и не могло бы удаться, а именно: включить целиком, как нераздельное государство, всю империю с Венгриею, с Трансильванией и со всеми ее славянскими и итальянскими провинциями в состав Германского союза. Эта попытка не могла удаться, потому что ей воспротивилась бы отчаянно Пруссия, а вместе с Пруссией и большая часть Германии, воспротивилась бы также, как они это и сделали в 1850 году, и все другие великие державы, особенно же Россия и Франция, и, наконец, возмутились бы три четверти австрийского, германоненавистного населения — славяне, мадьяры, румыны, итальянцы, для которых одна мысль, что они могли бы стать немцами, кажется позором.

Пруссия и вся Германия были бы, естественно, противны попытке, осуществление которой уничтожило бы первую и лишило бы ее специально немецкого характера; последняя же, Германия, перестала бы быть отечеством немцев и превратилась бы в какой-то хаотический и насильственный сбор самых разнообразных народностей. Россия же и Франция не согласились бы потому, что Австрия, подчинившая себе всю Германию, стала бы вдруг самою могущественною державою на континенте Европы.

Оставалось поэтому Австрии одно — не душить Германию своим всецелым вступлением в нее, но вместе с тем и не позволить Пруссии стать во главе Германского союза. Следуя такой политике, она могла рассчитывать на деятельную помощь Франции и России. Политика же последней до самого последнего времени, т.е. до Крымской войны, состояла именно в систематическом поддержании взаимного соперничества между Австрией и Пруссией, так чтобы ни одна из них не могла одержать верх над другой, и в то же самое время в возбуждении недоверия и страха в маленьких и средних государствах Германии и в покровительстве им против Австрии и Пруссии.

Но так как влияние Пруссии на остальную Германию было главным образом нравственного свойства, так как оно было основано больше всего на ожидании, что вот скоро прусское правительство, давшее еще недавно так много доказательств своего патриотического и просвещенно-либерального направления, и теперь, верное своему обещанию, дает конституцию своим подданным и тем самым станет во главе передового движения в целой Германии, то главная забота князя Меттерниха должна была устремиться на то, чтобы прусский король не давал своим подданным конституции и чтобы он вместе с императором австрийским стал во главе реакционного движения в

Германии. В этом стремлении он также нашел самую горячую поддержку и во Франции, управляемой Бурбонами, и в императоре Александре, управляемом Аракчеевым.
Князь Меттерних нашел столь же горячую поддержку и в самой Пруссии, за весьма малым исключением во всем прусском дворянстве и в высшей бюрократии, военной и гражданской, да наконец, и в самом короле.
Король Фридрих Вильгельм III был очень добрый человек, но король, т.е. как следует быть королю, деспот по природе, по своему воспитанию и по привычке. К тому же он был набожный и верующий сын евангелической церкви, а первый догмат этой церкви гласит, что "всякая власть от Бога". Он не на шутку верил в свое богопомазание, в свое право или даже, вернее, в свой долг приказывать и в обязанность каждого подданного слушаться и исполнять без всяких рассуждений. Такое направление ума не могло согласиться с либерализмом. Правда, что в эпоху беды государственной он надавал множество самых либеральных обещаний своим верным подданным. Но он это сделал, повинуясь государственной необходимости, перед которой, как перед высшим законом, обязан преклоняться даже сам государь. Теперь же беда миновала, значит, и обещание, исполнение которого было бы вредно для самого народа, держать было не надо.
Очень хорошо объяснил это в современной проповеди архиепископ Эйлерт: "Король, — говорит он, — поступал как умный отец. В день своего рождения или выздоровления, тронутый любовью своих детей, он им делал разные обещания; потом с должным спокойствием видоизменял их и восстановлял свою натуральную и спасительную власть". Вокруг его весь двор, весь генералитет и вся высшая бюрократия были проникнуты этим же духом. В эпоху беды, вызванной ими на Пруссию, они притихли, молча сносили неотразимые реформы барона Штейна и его главных сподвижников. Теперь же по прошествии беды они заинтриговали и зашумели пуще прежнего.
Они были искренними реакционерами, не менее короля, пожалуй, даже больше, чем сам король. Общегерманского патриотизма они не только что не понимали, но ненавидели от всей души. Германское знамя им было противно и казалось им знаменем бунта. Они знали только свою милую Пруссию, которую, впрочем, готовы были загубить в другой раз, лишь бы только не сделать ни малейшей уступки ненавистным либералам. Мысль о признании за буржуазиею каких бы то ни было политических прав, и особливо права критики и контроля, мысль о возможном сравнении их с ними просто приводила их в ужас и возбуждала к ним неописанное негодование. Они желали, хотели расширения и округления прусских границ, но только путем завоевания. С самого начала их цель была поставлена ясно: в противоположность либеральной партии, которая стремилась к германизированию Пруссии, они всегда хотели пруссофицировать Германию.
К тому же, начиная с их предводителя, королевского друга, князя Витгенштейна, сделавшегося вскоре первым министром, они почти все были на откупу у князя Меттерниха. Против них стояла небольшая группа людей, друзей и сподвижников барона Штейна, получившего уже отставку. Эта кучка государственных патриотов продолжала делать неимоверные усилия, чтобы удержать короля на пути либеральных реформ, и, не находя себе опоры нигде, кроме общественного мнения, равно презираемого королем, двором, бюрократией и армией, она была скоро низвергнута. Золото Меттерниха, самостоятельное реакционное направление высших германских кругов оказались гораздо сильнее.
Поэтому Пруссии для исполнения чисто либеральных планов оставался только один путь: усовершенствование и постепенное увеличение административных и финансовых средств, а также и военной силы ввиду будущих завоеваний в самой Германии. Этот путь

был, впрочем, вполне сообразен преданиям и всему существу прусской монархии, военной, бюрократической, полицейской, одним словом, государственной, т.е. законно-насильственной во всех своих внешних и внутренних проявлениях. С этого времени стал образовываться в германских официальных кругах идеал разумного и просвещенного деспотизма, который и управлял Пруссиею до самого 1848 года. Он был столько же противен либеральным стремлениям пангерманского патриотизма, сколько и деспотический обскурантизм князя Меттерниха.

Против реакции, нашедшей себе такое могущественное выражение во внутренней и во внешней политике Австрии и Пруссии, поднялась, весьма естественно, более или менее в целой Германии, но по преимуществу в южной, борьба со стороны партии либерально-патриотической. Это был род дуэли, длившейся в разных видах, но с результатами почти всегда одинаковыми и всегда чрезвычайно плачевными для немецких либералов, ровно пятьдесят пять лет, от 1815 до 1870 года. Ее можно разделить на несколько периодов:

1. Период либерализма и галлофобии тевтоноромантиков, от 1815 до 1830 года.
2. Период явного подражания французскому либерализму, от 1830 до 1840 года.
3. Период экономического либерализма и радикализма, от 1840 до 1848 года.
4. Период, впрочем, весьма короткий, решительного кризиса, кончившегося смертью германского либерализма, от 1848 до 1850 года и, наконец, -
5. Период, начавшийся упорною и, можно сказать, последнею борьбою умирающего либерализма против государственности в прусском парламенте и окончившийся окончательным торжеством прусской монархии в целой Германии, от 1850 до 1870 года.

Немецкий либерализм первого периода, от 1815 до 1830, не был одиноким явлением. Он был только национальною, правда, весьма своеобразною отраслью общеевропейского либерализма, начавшего почти во всех пунктах Европы, от Мадрида до Петербурга и от Германии до Греции, борьбу весьма энергичную против общеевропейской монархической и аристократически-клерикальной реакции, которая восторжествовала с возвращением Бурбонов на французский, испанский, неаполитанский, пармский и лукский престолы, папы, а вместе с ним и иезуитов в Рим, пьемонтского короля в Турин и с водворением австрийцев в Италии.

Главным и официальным представителем этой истинно интернациональной реакции был святой союз (la sainte alliance), заключенный прежде всего между Россиею, Пруссиею и Австриею, но к которому потом приступили решительно все европейские державы, большие и маленькие, за исключением Англии, Рима и Турции. Начало его было романтическое. Первая мысль о нем созрела в мистическом воображении известной баронессы Криднер, пользовавшейся милостями еще довольно молодого и не совсем отжившего императора-женолюбца АлександраI. Она уверяла его, что он белый ангел, ниспосланный небом для спасения несчастной Европы из когтей черного ангела. Наполеона, и для водворения божественного порядка на земле. Александр Павлович охотно уверовал в такое призвание, вследствие чего предложил Пруссии и Австрии заключение святого союза. Три богопомазанные монарха, призвав, как и следовало, святую троицу в свидетели, поклялись друг другу в безусловном и неразрывном братстве и провозгласили целью союза торжество божьей воли, нравственности, справедливости и мира на земле. Они обещали всегда действовать заодно, помогая друг другу советом и делом во всякой борьбе, которая будет возбуждена против них духом тьмы, т.е. стремлением народов к свободе. В действительности это обещание означало, что они будут вести войну, солидарную и беспощадную, против всех проявлений либерализма в Европе, поддерживая до конца и во что бы то ни стало феодальные учреждения, пораженные и уничтоженные революциею, но восстановленные реставрациею.

Если фразером и мелодраматическим представителем святого союза был Александр, то настоящим руководителем его явился князь Меттерних. Тогда, как во время великой революции и как в настоящее время, Германия была краеугольным камнем европейской реакции.

Благодаря святому союзу реакция стала интернациональною, вследствие чего и самые бунты против нее приняли интернациональный характер. Период между 1815 и 1830 был в Западной Европе последним героическим периодом буржуазии.

Насильственное восстановление абсолютно-монархической власти и феодально-клерикальных учреждений, лишив этот почтенный класс всех выгод, завоеванных им во время революции, естественным образом должно было обратить его снова в класс более или менее революционный. Во Франции, Италии, Испании, Бельгии, Германии образовались буржуазные тайные общества, имевшие целью низвергнуть только что восторжествовавший порядок. В Англии, сообразно обычаям этой страны, единственной, где конституционализм пустил глубокие и живые корни, эта повсеместная борьба буржуазного либерализма против воскресшего феодализма приняла характер легальной агитации и парламентских переворотов. Во Франции, Бельгии, Италии, Испании она должна была принять направление решительно революционное, которое отозвалось даже в России и Польше. Во всех этих странах всякое тайное общество, открытое и уничтоженное правительством, тотчас заменялось другим, и все имели одну цель — восстание с оружием в руках, организацию бунта. Вся история Франции, от 1815 до 1830, была рядом попыток низвергнуть трон Бурбонов, и после многих неудач французы достигли, наконец, своей цели в 1830. Всем известна история революции испанской, неаполитанской, пьемонтской, бельгийской и польской в 1830-31 гг. и декабрьского бунта в России. Во всех этих странах, в одних с успехом, в других без успеха, восстания были чрезвычайно серьезны; много было пролито крови, много было потрачено драгоценных жертв, словом, борьба была серьезная, нередко героическая. Посмотрим теперь, что делалось в это же самое время в Германии.

Во весь первый период, с 1815 до 1830, встречаются только два сколько-нибудь замечательные заявления либерального духа в Германии. Первым было знаменитое вартбургское сходбище в 1817 г. Около Вартбургского замка, служившего некогда тайным убежищем для Лютера, собралось около 500 студентов со всех сторон Германии с национальным германским трехцветным знаменем и с такими же лентами через плечо.

Духовные дети патриотического профессора и певца Арндта, сочинителя известного национального гимна: "Wo ist das deutsche Vaterland", и столь же патриотического отца всех немецких гимназистов Иана, который в четырех словах, "бодрый, набожный, веселый, свободный", выразил идеал немецкого белокурого и длинноволосого юношества, студенты Северной и Южной Германии нашли нужным собраться, чтобы заявить громко перед целою Европою и главным образом перед всеми правительствами Германии требования немецкого народа. В чем же состояли их требования и заявления? Тогда во всей Европе была мода на монархическую конституцию. Далее не шло воображение буржуазной молодежи ни во Франции, ни в Испании, ни даже в самой Италии, ни в Польше. Только в одной России отдел декабристов, известный под именем Южного общества, под предводительством Пестеля и Муравьева-Апостола требовал разрушения русской империи и основания славянской федеральной республики с отдачей всей земли народу.

Немцы ни о чем подобном не мечтали. Они ничего разрушать не хотели. К подобному делу, непременному и первому условию всякой серьезной революции, они имели так же

мало охоты тогда, как и теперь. Они и не думали подымать крамольной, святотатственной руки ни против одного из своих многочисленных отцов-государей. Они только желали, чтобы каждый из этих отцов-государей дал хотя какую-нибудь конституцию. Далее они желали общегерманского парламента, поставленного над частными парламентами, и всегерманского императора, поставленного как представитель национального единства над частными государями. Требование, как видим, чрезвычайно умеренное, да к тому же и в высшей степени нелепое. Они хотели монархической федерации и вместе с тем мечтали о могуществе единогерманского государства, что представляет очевидную нелепость. Однако стоит только подвергнуть немецкую программу ближайшему рассмотрению, чтобы убедиться, что кажущаяся нелепость ее происходит от недоразумения. Недоразумение же состоит в ошибочном предположении, будто немцы вместе с национальным могуществом и единством требовали и свободы.

Немцы никогда не нуждались в свободе. Жизнь для них просто немыслима без правительства, т.е. без верховной воли, верховной мысли и железной руки, ими помыкающей. Чем сильнее эта рука, тем более гордятся они и тем самая жизнь становится для них веселее. Их огорчало не отсутствие свободы, из которой они не сумели бы сделать никакого употребления, а отсутствие единого, нераздельно-национального могущества при действительном существовании множества маленьких тираний. Их затаенная страсть, их единая цель создать огромное пангерманское государство, насильственно-всепоглощающее государство, перед которым бы трепетали все другие народы.

Поэтому весьма естественно, что они никогда не хотели народной революции. В этом отношении немцы оказались чрезвычайно логичны. И в самом деле, государственное могущество не может быть результатом народной революции; оно, пожалуй, может быть результатом победы, одержанной каким-нибудь классом над народным бунтом, как это было во Франции. Но и в самой Франции завершение сильного государства требовало сильной, деспотической руки Наполеона. Германские либералы ненавидели деспотизм Наполеона, но они готовы были обожать государственную силу, прусскую или австрийскую, лишь бы она согласилась обратиться в пангерманскую силу.

Известная песня Арндта: "Wo ist das deutsche Vaterland", оставшаяся и до сих пор национальным гимном Германии, вполне выражает это страстное стремление к созданию могучего государства. Он спрашивает: "Где отечество немца? — Пруссия? — Австрия? — Северная или Южная Германия? — Западная или Восточная?" И затем отвечает: "Нет, нет, отечество его должно быть гораздо шире". Оно распространяется всюду, "где звучит немецкий язык и Богу в небе песни поет".

А так как немцы, один из плодотворнейших народов в мире, высылают свои колонии всюду, наполняют собою все столицы Европы, Америку, даже Сибирь, то выходит, что скоро весь земной шар должен будет покориться власти пангерманского императора.

Таково было настоящее значение вартбургского студенческого сходбища. Они искали и требовали себе пангерманского господина, который, держа их в ежовых рукавицах, сильный их страстным и вольным повиновением, заставлял бы трепетать всю Европу.

Теперь посмотрим, каким образом они заявили свое неудовольствие. На вартбургском празднике сначала пропели известную песнь Лютера: "Сильная крепость наш Бог", потом "Wo ist das deutsche Vaterland". Прокричали vivat некоторым немецким патриотам и проклятие реакционерам; наконец, предали огню несколько реакционных брошюр. Вот и все.

Значительнее были два другие факта, случившиеся в 1819: убийство русского шпиона Коцебу студентом Зандом и попытка убийства маленького государственного сановника нассауского герцогства фон Ибеля, совершенная молодым аптекарем Карлом Ленингом. Оба поступка были чрезвычайно нелепы, так как не могли принести решительно никакой пользы. Но, по крайней мере, в них проявилась искренность страсти, героизм самопожертвования и то единство мысли, слова и дела, без которых революционаризм неминуемо впадает в риторику и становится отвратительною ложью.

Кроме этих двух фактов: политического убийства, совершенного Зандом, и попытки Ленинга, все остальные заявления германского либерализма не выходили из области самой наивной и притом чрезвычайно смешной риторики. Это было время дикого тевтонизма. Дети филистеров и сами будущие филистеры, немецкие студенты вообразили себя германцами древних времен, как их описывают Тацит и Юлий Цезарь, воинственными потомками Арминия, девственными обитателями дремучих лесов. Вследствие чего они возымели глубокое презрение не к своему мещанскому миру, как бы следовало по логике, а к Франции, к французам и вообще ко всему, что носило на себе отпечаток французской цивилизации. Французоедство сделалось повальною болезнью в Германии. Университетское юношество стало рядиться в древнегерманское платье, точь-в-точь как наши славянофилы сороковых и пятидесятых годов, и тушило свой юношеский жар в непомерном количестве пива, причем непрерывные дуэли, кончавшиеся обыкновенно царапинами на лице, проявляли его воинственную доблесть. А патриотизм и мнимый либерализм находили полнейшее выражение и удовлетворение в орании воинственно-патриотических песен, между коими национальный гимн "Где отечество немца?", пророческая песнь ныне совершившейся или совершающейся пангерманской империи, занимал, разумеется, первое место.

Сравнив эти заявления с одновременными заявлениями либерализма в Италии, Испании, Франции, Бельгии, Польше, России, Греции, всякий согласится, что не было ничего невиннее и смешнее немецкого либерализма, который в самых ярых проявлениях своих был проникнут тем хамским чувством послушания и верноподданничества, или, говоря учтивее, тем набожным почитанием властей и начальства, зрелище которого вырвало у Берне болезненное, всем известное и уже приведенное нами восклицание: "Другие народы бывают часто рабами, но мы, немцы, всегда лакеи"[9].

И в самом деле, немецкий либерализм, за исключением весьма немногих лиц и случаев, был только особенным проявлением немецкого лакейства, общенационального лакейского честолюбия. Он был только не одобренным цензурой выражением общего желания чувствовать над собою сильную императорскую руку. Но это верноподданническое требование казалось правительству бунтом и преследовалось как бунт.

Это объясняется соперничеством Австрии и Пруссии. Каждая из них охотно села бы на упраздненный трон Барбарусы, но ни одна не могла согласиться, чтобы этот трон был занят ее соперницей, вследствие чего, поддерживаемые в одно и то же время Россией и Францией, действовали заодно с ними, хотя и по соображениям совершенно различным, и Австрия и Пруссия стали преследовать как проявление самого крайнего либерализма общее стремление всех немцев к созданию единой и могучей пангерманской империи.

Убийство Коцебу было сигналом для самой горячей реакции. Начались съезды и конференции немецких государей, немецких министров, а также и интернациональные конгрессы, на которых участвовали император Александр I и французский посланник. Рядом мер, предписанных Германским союзом, скрутили бедных немецких либералов-

холопов. Запретили им предаваться гимнастическим упражнениям и петь патриотические песни — оставили им только пиво. Установили повсюду цензуру, и что же? Германия вдруг успокоилась, бурши повиновались даже без тени протеста, и в продолжение одиннадцати лет, от 1819 до 1830 года, на всей немецкой земле не было уже ни малейшего проявления какой бы то ни было политической жизни.

Этот факт так поразителен, что немецкий профессор Мюллер, написавший довольно подробную и правдивую историю пятидесятилетия 1816-1865 годов, рассказывая все обстоятельства этого внезапного и действительно чудесного умиротворения, восклицает: "Нужно ли еще других доказательств, что в Германии нет почвы для революции?" Второй период германского либерализма начался 1830 годом и кончился около 1840. Это период почти слепого подражания французам. Немцы перестают пожирать галлов, но зато обращают всю ненависть на Россию.

Немецкий либерализм проснулся после одиннадцатилетнего сна не собственным движением, а благодаря трем июньским дням в Париже, который нанес первый удар святому союзу изгнанием своего законного короля. Вслед, за тем вспыхнула революция в Бельгии и в Польше. Встрепенулась также Италия, но, преданная Людовиком-Филиппом австрийцам, подверглась еще пущему игу. В Испании загорелась междуусобная война между кристиносами и карлистами. При таких обстоятельствах нельзя было не проснуться даже Германии.

Это пробуждение было тем легче, что Июльская революция до смерти перепугала все немецкие правительства, не исключая австрийского и прусского. До самого водворения князя Бисмарка с своим королем-императором на германском престоле все немецкие правительства, несмотря на всю внешнюю обстановку военной, политической и буржуазной силы, в нравственном отношении были чрезвычайно слабы и лишились всякой веры в себя. Этот несомненный факт кажется чрезвычайно странным ввиду наследственной нежности и верноподданничества германского племени. Чего бы, кажется, правительствам беспокоиться и бояться? Правительства чувствовали, знали, что немцы, хотя повинуются им, как следует добрым подданным, однако терпеть их не могут. Что же сделали они, чтобы заглушить ненависть племени, до такой степени расположенного к обожанью своих властей? Какие именно были причины этой ненависти? Их было две: первая состояла в преобладании дворянского элемента в бюрократии и в войне. Июльская революция уничтожила остатки феодального и клерикального преобладания во Франции; в Англии тоже вслед за Июльской революцией восторжествовала либерально-буржуазная реформа. Вообще с 1830 года начинается полное торжество буржуазии в Европе, но только не в Германии. Там до самых последних годов, т.е. до водворения аристократа Бисмарка, продолжала царствовать феодальная партия. Все высшие и большая часть низших правительственных мест как в бюрократии, так и в войске были в ее руках. Всем известно, как презрительно, надменно немецкие аристократы, князья, графы, бароны и даже простые фоны обращаются с бюргером. Известно знаменитое изречение князя Виндишгреца, австрийского генерала, бомбардировавшего в 1848 году Прагу, а в 1849 Вену: "Человек начинается только с барона". Это преобладание дворянства было тем оскорбительнее для немецких бюргеров, что дворянство это во всех отношениях, и с точки зрения богатства, и по своему умственному развитию, стоит несравненно ниже буржуазного класса. И тем не менее оно командовало всеми и везде. Бюргерам предоставлено было только право платить и повиноваться. Это было чрезвычайно неприятно для бюргеров. И несмотря на всю готовность обожать своих законных государей, они не хотели терпеть правительств, находившихся почти исключительно в руках дворянства.

Однако замечательно, что они несколько раз пытались, но никогда не умели свергнуть дворянское иго, которое передоило даже бурные 1848 и 1849 годы и только теперь начинает подвергаться систематическому уничтожению со стороны померанского дворянина, князя Бисмарка.

Другая и самая главная причина нелюбви немцев к правительствам уже объяснена нами. Правительства были противны соединению Германии в сильное государство. Значит, все буржуазные и политические инстинкты немецких патриотов были оскорблены ими. Правительства знали это и потому не доверяли своим подданным и не на шутку боялись их, несмотря на постоянные усилия подданных доказать свою безграничную покорность, полную невинность.

Вследствие этих недоразумений правительства чрезвычайно испугались последствий Июльской революции; так испугались, что достаточно было самого невинного и бескровного уличного шума, путча (Putsch), как выражаются немцы, чтобы заставить королей саксонского и ганноверского и герцогов гессен-дармштадтского и брауншвейгского дать своим подданным конституцию. Далее, Пруссия и Австрия, даже сам князь Меттерних, бывший до тех пор душою реакции в целой Германии, советовали теперь германскому союзу не противиться законным требованиям немецких верноподданных. В парламентах Южной Германии предводители так называемых либеральных партий заговорили очень громко о возобновлении требований общегерманского парламента и о выборе пангерманского императора.

Все зависело от исхода польской революции. Если бы она восторжествовала, прусская монархия, оторванная от своей северо-восточной опоры и принужденная поплатиться если не всеми, то по крайней мере значительной частью своих польских областей, принуждена была бы искать новой точки опоры в самой Германии, и так как она тогда еще не могла приобресть ее путем завоевания, то должна была бы снискивать снисхождение и любовь остальной Германии путем либеральных реформ и смело призвать всех немцев) под императорское знамя... Словом, уже тогда осуществилось бы, хотя и другими путями, то, что сделалось теперь, и осуществилось бы сначала, может быть, в более либеральных формах. Вместо того чтобы Пруссии поглотить Германию, как вышло теперь, тогда могло бы показаться, будто Германия поглощает Пруссию. Но это только казалось бы, потому что на самом деле Германия все-таки была бы порабощена силою прусской государственной организации.

Но поляки, покинутые и преданные всею Европою, несмотря на геройское сопротивление, были, наконец, побеждены. Варшава пала, и с нею пали все надежды германского патриотизма. Король Фридрих Вильгельм III, оказавший столь значительные услуги своему зятю, императору Николаю, ободренный его победою, сбросил маску и пуще прежнего поднял гонение на пангерманских патриотов. Тогда, собрав все свои силы, они сделали последнее торжественное заявление, если не сильное, то по крайней мере чрезвычайно шумное, сохранившееся в новейшей истории Германии под именем Гамбахского празднества в мае 1832.

В Гамбахе, в баварском Пфальце, на этот раз собралось около тридцати тысяч человек, мужчин и женщин. Мужчины с трехцветными лентами через плечо, дамы с трехцветными шарфами, и все, разумеется, под трехцветным германским знаменем. На этом митинге говорилось уже не о федерации германских стран и племен, а о пангерманской централизации. Некоторые ораторы, как, напр., доктор Вирт, произнесли даже имя германской республики и даже европейской федеральной республики, европейских соединенных штатов.

Но все это были только слова, слова гнева, злобы, отчаяния, возбужденных в немецких сердцах явным нежеланием или немощью немецких государей создать пангерманскую империю, слова чрезвычайно красноречивые, но за которыми не было ни воли, ни организации, а поэтому не было и силы.

Однако Гамбахский митинг не прошел совсем бесследно. Мужички баварского Пфальца не удовольствовались словами. Вооружившись косами и вилами, они пошли разрушать дворянские замки, таможни и присутственные места, предавая огню все бумаги, отказываясь платить подати и требуя для себя земли, а на земле полной свободы. Этот мужицкий бунт, чрезвычайно похожий по своим начинаниям на всеобщее восстание германских крестьян в 1525, страшно перепугал не только консерваторов, но даже либералов и самих немецких республиканцев, буржуазный либерализм которых никак не может совмещаться с настоящим народным бунтом. Но, к общему удовольствию, эта возобновленная попытка крестьянского восстания была подавлена баварскими войсками.

Другим последствием Гамбахского празднества было нелепое, хотя и чрезвычайно смелое и с этой точки зрения достойное уважения, нападение семидесяти вооруженных студентов на главный караул, охранявший здание Германского союза во Франкфурте. Нелепо было это предприятие потому, что Германский союз надо было бить не во Франкфурте, а в Берлине или Вене, и потому что семидесяти студентов было далеко не достаточно, чтобы сломить силу реакции в Германии. Они, правда, надеялись, что за ними и с ними встанет все франкфуртское население, не подозревая, что правительство было предупреждено за несколько дней об этой безумной попытке. Правительство же не нашло нужным предупредить ее, а, напротив, дало ей совершиться, чтобы иметь потом хороший предлог для окончательного уничтожения революционеров и революционных стремлений в Германии.

И в самом деле, за франкфуртским атентатом поднялась самая страшная реакция во всех странах Германии. Во Франкфурте была учреждена центральная комиссия, под ведением которой действовали специальные комиссии всех больших и маленьких государств. В центральной комиссии, разумеется, заседали австрийские и прусские государственные инквизиторы. Это был настоящий праздник для немецких чиновников и для бумажных фабрик Германии, потому что было исписано несметное количество бумаги. Во всей Германии было арестовано более 1800 человек, в том числе много людей почтенных, как профессоров, докторов, адвокатов, — словом, весь цвет либеральной Германии. Многие бежали, но многие просидели в крепостях до 1840, иные же до 1848 года.

Мы видели значительную часть этих отчаянных либералов в марте 1848 в фор-парламенте, а потом в Национальном собрании. Все они без исключения оказались отчаянными реакционерами.

Гамбахским праздником, восстанием мужиков в Пфальце, франкфуртским атентатом и воспоследовавшим за ним громадным процессом кончилось всякое политическое движение Германии, настало гробовое спокойствие, которое продолжалось без малейшего перерыва вплоть до 1848 г. Зато движение перенеслось в литературу.

Мы уже сказали, что в противоположность первому периоду (1815-1830), периоду исступленного французоедства, этот второй период немецкого либерализма (1830-1840), а также и третий (до 1848) можно назвать чисто французским, по крайней мере в отношении беллетристической и политической литературы. Во главе этого нового направления стояли два еврея: один гениальный поэт Гейне; другой — замечательный памфлетист Германии Берне. Оба почти в первые дни Июльской революции

переселились в Париж, откуда один стихами, другой "письмами из Парижа" стали проповедовать немцам французские теории, французские учреждения и парижскую жизнь.
Можно сказать, они совершили переворот в германской литературе. Книжные лавки и библиотеки для чтения переполнились переводами и весьма плохими подражаниями французских драм, мелодрам, комедий, повестей, романов. Молодой буржуазный мир стал думать, чувствовать, говорить, причесываться, одеваться по-французски. Впрочем, это не сделало его отнюдь любезнее, а только смешнее.
Но в то же время укоренялось в Берлине направление более серьезное, основательное, а главное, несравненно более свойственное германскому духу. Как часто бывало в истории, смерть Гегеля, последовавшая вскоре после Июльской революции, утвердила в Берлине, в Пруссии, а потом и в целой Германии преобладание его метафизической мысли, царство гегелианизма.
Отказавшись, по крайней мере на первое время и по причинам вышеизложенным, от соединения Германии в одно нераздельное государство путем либеральных реформ, Пруссия не могла и не хотела, однако, совсем отказаться от нравственного и материального преобладания над всеми другими немецкими государствами и странами. Напротив, она постоянно стремилась группировать вокруг себя умственные и экономические интересы целой Германии. Для этого она употребила два средства: развитие Берлинского университета и таможенный союз.
В последние годы царствования Фридриха Вильгельма III министром народного просвещения был государственный человек старой либеральной школы барона Штейна, Вильгельма фон Гумбольдта и др., тайный советник фон Альтенштейн. Сколько было возможно в то реакционное время в противность всем остальным прусским министрам, своим товарищам, в противность Меттерниху, который систематическим тушением всякого умственного света надеялся упрочить царство реакции в Австрии и в целой Германии, Альтенштейн, оставаясь верным старым либеральным преданиям, старался собрать в Берлинском университете всех передовых людей, всех знаменитостей германской науки, так что в то самое время, когда прусское правительство, заодно с Меттернихом и поощряемое императором Николаем, душило во что бы то ни стало либерализм и либералов, Берлин стал средоточием, блестящим фокусом научно-духовной жизни Германии.
Гегель, приглашенный прусским правительством еще в 1818 занять кафедру Фихте, умер в конце 1831 г. Но он оставил после себя в Берлинском, Кенигсбергском и Галльском университетах целую школу молодых профессоров, издателей его сочинений и горячих приверженцев и толкователей его учения. Благодаря их неутомительным стараниям учение это распространилось скоро не только в целой Германии, но во многих других странах Европы, даже во Франции, куда оно было перенесено, совсем изуродованное Виктором Кузеном. Оно приковало к Берлину как к живому источнику нового света, чтобы не сказать нового откровения, множество умов немецких и ненемецких. Кто не жил в то время, тот никогда не поймет, до какой степени было сильно обаяние этой философской системы в тридцатых и сороковых годах. Думали, что вечно искомый абсолют, наконец, найден и понят, и его можно покупать в розницу или оптом в Берлине.
Философия Гегеля в истории развития человеческой мысли была в самом деле явлением значительным. Она была последним и окончательным словом того пантеистического и абстрактно-гуманитарного движения германского духа, которое началось творениями Лессинга и достигло всестороннего развития в творениях Гете; движение, создавшее мир

бесконечно широкий, богатый, высокий и будто бы вполне рациональный, но остававшийся столь же чуждым земле, жизни, действительности, сколько был чужд христианскому, богословскому небу. Вследствие этого этот мир, как фата-моргана, не достигая неба и не касаясь земли, вися между небом и землею, обратил самую жизнь своих приверженцев, своих рефлектирующих и поэтизирующих обитателей в непрерывную вереницу сомнамбулических представлений и опытов, сделал их никуда не годными для жизни или, что еще хуже, осудил их делать в мире действительном совершенно противное тому, что они обожали в поэтическом или метафизическом идеале.

Таким образом объясняется изумительный и довольно общий факт, поражающий нас еще поныне в Германии, что горячие поклонники Лессинга, Шиллера, Гете, Канта, Фихте и Гегеля могли и до сих пор могут служить покорными и даже охотными исполнителями далеко не гуманных и не либеральных мер, предписываемых им правительством. Можно даже сказать вообще, что чем возвышеннее идеальный мир немца, тем уродливее и пошлее его жизнь и его действия в живой действительности.

Окончательным завершением этого высокоидеального мира была философия Гегеля. Она вполне выразила и объяснила его своими метафизическими построениями и категориями и тем самым убила его, придя путем железной логики к окончательному сознанию его и своей собственной бесконечной несостоятельности, недействительности и, говоря проще, пустоты.

Школа Гегеля, как известно, разделилась на две противоположные партии; причем, разумеется, между ними образовалась и третья, средняя партия, о которой, впрочем, здесь говорить нечего. Одна из них, именно консервативная партия, нашла в новой философии оправдание и узаконение всего существующего, ухватившись за известное изречение Гегеля: "Все действительное разумно". Эта партия создала так называемую официальную философию прусской монархии, уже представленной самим Гегелем как идеал политического устройства.

Но противуположная партия так называемых революционных гегельянцев оказалась последовательнее самого Гегеля и несравненно смелее его; она сорвала с его учения консервативную маску и представила во всей наготе беспощадное отрицание, составляющее его настоящую суть. Во главе этой партии встал знаменитый Фейербах, доведший логическую последовательность не только до полнейшего отрицания всего божественного мира, но даже до отрицания самой метафизики. Далее он идти не мог. Сам все-таки метафизик, он должен был уступить место своим законным преемникам, представителям школы материалистов или реалистов, большая часть которых, впрочем, как, напр., гг. Бюхнер, Маркс и другие, не умели и не умеют освободиться от преобладания метафизической абстрактной мысли.

В тридцатых и сороковых годах господствовало мнение, что революция, которая последует за распространением гегелианизма, развитого в смысле полнейшего отрицания, будет несравненно радикальнее, глубже, беспощаднее и шире в своих разрушениях, чем революция 1793 г. Так думали потому, что философская мысль, выработанная Гегелем и доведенная до самых крайних результатов учениками его, действительно была полнее, всестороннее и глубже мысли Вольтера и Руссо, имевших, как известно, самое прямое и далеко не всегда полезное влияние на развитие и, главное, на исход первой французской революции. Так, например, несомненно, что почитателями Вольтера, инстинктивного презирателя народных масс, глупой толпы, были государственные люди вроде Мирабо и что самый фанатический приверженец

Жан Жака Руссо, Максимилиан Робеспьер был восстановителем божественных и реакционно-гражданских порядков во Франции.
В тридцатых и сороковых годах полагали, что когда наступит опять пора для революционного действия, то доктора философии школы Гегеля оставят далеко за собою самых смелых деятелей девяностых годов и удивят мир своим строго логическим, беспощадным революционаризмом. На эту тему поэт Гейне написал много красноречивых слов. "Все ваши революции ничто, — говорил он французам, — перед нашею будущею немецкою революциею. Мы, имевшие дерзость систематически, ученым образом уничтожить весь божественный мир, мы не остановимся ни перед какими кумирами на земле и не успокоимся, пока на развалинах привилегий и власти мы не завоюем для целого мира полнейшего равенства и полнейшей свободы". Почти такими же словами возвещал Гейне французам будущие чудеса германской революции. И многие верили ему. Но увы! опыта 1848 и 1849 годов было достаточно, чтобы разбить в прах эту веру. Германские революционеры не только не превзошли героев первой французской революции, но даже не умели сравниться с французскими революционерами тридцатых годов.
Какая причина этой плачевной несостоятельности? Она объясняется, разумеется, главным образом специальным историческим характером немцев, располагающим их гораздо более к верноподданническому послушанию, чем к бунту, но также и тем абстрактным методом, которым она шла к революции. Сообразно опять-таки своей природе, она шла не от жизни к мысли, но от мысли к жизни. Но кто отправляется от отвлеченной мысли, тот никогда не доберется до жизни, потому что из метафизики в жизнь нет дороги. Они разделены пропастью. А перескочить через эту пропасть, совершитьsalto mortale или то, что сам Гегель назвал квалитативным прыжком (qualitativer Sprung) из мира логики в мир природы, живой действительности, не удалось еще никому, да никогда никому не удастся. Кто опирается на абстракцию, тот и умрет в ней.
Живой, конкретно-разумный ход — это в науке ход от факта действительного к мысли, его обнимающей, выражающей и тем самым объясняющей; а в мире практическом — движение от жизни общественной к возможно разумной организации ее, сообразно указаниям, условиям, запросам и более или менее страстным требованиям этой самой жизни.
Таков широкий народный путь, путь действительного и полнейшего освобождения, доступный для всякого и потому действительно народный, путь анархической социальной революции, возникающей самостоятельно в народной среде, разрушающей все, что противно широкому разливу народной жизни, для того чтобы потом из самой глубины народного существа создать новые формы свободной общественности.
Путь господ метафизиков совсем иной. Метафизиками мы называем не только последователей учения Гегеля, которых уже немного осталось на свете, но также и позитивистов и вообще всех проповедников богини науки в настоящее время; вообще всех тех, кто, создав себе тем или другим путем, хотя бы посредством самого тщательного, впрочем, по необходимости всегда несовершенного изучения прошедшего и настоящего, создал себе идеал социальной организации, в которой, как новый Прокруст, хочет уложить во что бы то ни стало жизнь будущих поколений; всех тех, одним словом, кто не смотрит на мысль, на науку как на одно из необходимых проявлений естественной и общественной жизни, а до того суживает эту бедную жизнь, что видит в ней только практическое проявление своей мысли и своей всегда, конечно, несовершенной науки.

Метафизики или позитивисты, все эти рыцари науки и мысли, во имя которых они считают себя призванными предписывать законы жизни, все они, сознательно или бессознательно, реакционеры. Доказать это чрезвычайно легко.

Не говоря уже о метафизике вообще, которою в эпохи самого блестящего процветания ее занимались только немногие, наука, в более широком смысле этого слова, более серьезная и хотя сколько-нибудь заслуживающая это имя, доступна в настоящее время только весьма незначительному меньшинству. Например, у нас в России на восемьдесят миллионов жителей сколько насчитывается серьезных ученых? Людей, толкующих о науке, можно, пожалуй, насчитать тысячи, но сколько-нибудь знакомых с ней не на шутку вряд ли найдется несколько сотен. Но если наука должна предписывать законы жизни, то огромное большинство, миллионы людей должны быть управляемы одною или двумя сотнями ученых, в сущности, даже гораздо меньшим числом, потому что не всякая наука делает человека способным к управлению обществом, а наука наук, венец всех наук — социология, предполагающая в счастливом ученом предварительное серьезное знакомство со всеми другими науками. А много ли таких ученых не только в России, но и во всей Европе? Может быть, двадцать или тридцать человек! И эти двадцать или тридцать ученых должны управлять целым миром! Можно ли представить себе деспотизм нелепее и отвратительнее этого? Во-первых, вероятнее всего, что эти тридцать ученых перегрызутся между собою, а если соединятся, то это будет на зло всему человечеству. Ученый уже по своему существу склонен ко всякому умственному и нравственному разврату, и главный порок его — это превозвышение своего знания, своего собственного ума и презрение ко всем незнающим. Дайте ему управление, и он сделается самым несносным тираном, потому что ученая гордость отвратительна, оскорбительна и притеснительнее всякой другой. Быть рабами педантов — что за судьба для человечества! Дайте им полную волю, они станут делать над человеческим обществом те же опыты, какие ради пользы науки делают теперь над кроликами, кошками и собаками.

Будем уважать ученых по их заслугам, но для спасения их ума и их нравственности не должно давать им никаких общественных привилегий и не признавать за ними другого права, кроме общего права свободы проповедовать свои убеждения, мысли и знания. Власти им, как никому, давать не следует, потому что кто облечен властью, тот по неизменному социологическому закону непременно сделается притеснителем и эксплуататором общества.

Но, скажут, не всегда же наука будет достоянием только немногих; придет время, когда она будет доступна для всех и для каждого. Ну, время это еще далеко, и много должно совершиться общественных переворотов прежде, чем оно наступит. А до тех пор, кто согласится отдать свою судьбу в руки ученых, в руки попов науки? Зачем тогда вырывать ее из рук христианских попов? Нам кажется, что чрезвычайно ошибаются те, которые воображают, что после социальной революции все будут одинаково учены. Наука как наука, и тогда, как теперь, останется одною из многочисленных общественных специальностей, с тою или иною разницею, что эта специальность, доступная теперь только лицам привилегированных классов, тогда без всякого различия классов, раз и навсегда упраздненных, сделается доступною для всех лиц, имеющих призвание и охоту заниматься ею не в ущерб общему ручному труду, который будет обязателен для всякого.

Общим достоянием сделается только общее научное образование и, главное, знакомство с научным методом, привычка мыслить, т.е. обобщать факты и выводить из них более или менее правильные заключения. Но энциклопедических голов, а потому и

ученых социологов всегда будет очень немного. Горе было бы человечеству, если бы когда-нибудь мысль сделалась источником и единственным руководителем жизни, если бы науки и учение стали во главе общественного управления. Жизнь иссякла бы, а человеческое общество обратилось бы в бессловесное и рабское стадо. Управление жизни наукою не могло бы иметь другого результата, кроме оглупения всего человечества.

Мы, революционеры-анархисты, поборники всенародного образования, освобождения и широкого развития общественной жизни, а потому враги государства и всякого государствования, в противоположность всем метафизикам, позитивистам и всем ученым и неученым поклонникам богини науки, мы утверждаем, что жизнь естественная и общественная всегда предшествует мысли, которая есть только одна из функций ее, но никогда не бывает ее результатом; что она развивается из своей собственной неиссякаемой глубины, рядом различных фактов, а не рядом абстрактных рефлексий, и что последние, всегда производимые ею и никогда ее не производящие, указывают только, как верстовые столбы, на ее направление и на различные фазисы ее самостоятельного и самородного развития.

Сообразно такому убеждению, мы не только не имеем намерения и ни малейшего опыта навязывать нашему или чужому народу какой бы то ни было идеал общественного устройства, вычитанного из книжек или выдуманного нами самими, но в убеждении, что народные массы носят в своих, более или менее развитых историею инстинктах, в своих насущных потребностях и в своих стремлениях, сознательных и бессознательных, все элементы своей будущей нормальной организации, мы ищем этого идеала в самом народе; а так как всякая государственная власть, всякое правительство, по существу своему и по своему положению поставленное вне народа, над ним, непременным образом должно стремиться к подчинению его порядкам и целям ему чуждым, то мы объявляем себя врагами всякой правительственной, государственной власти, врагами государственного устройства вообще и думаем, что народ может быть только тогда счастлив, свободен, когда, организуясь снизу вверх, путем самостоятельных и совершенно свободных соединений и помимо всякой официальной опеки, но не помимо различных и равно свободных влияний лиц и партий, он сам создаст свою жизнь.

Таковы убеждения социальных революционеров, и за это нас называют анархистами. Мы против этого названия не протестуем, потому что мы действительно враги всякой власти, ибо знаем, что власть действует столь же развратительно на тех, кто облечен ею, сколько и на тех, кто принужден ей покоряться. Под тлетворным влиянием ее одни становятся честолюбивыми и корыстолюбивыми деспотами, эксплуататорами общества в свою личную или сословную пользу, другие — рабами.

Идеалисты всякого рода, метафизики, позитивисты, поборники преобладания науки над жизнью, доктринерные революционеры, все вместе, с одинаковым жаром, хотя разными аргументами, отстаивают идею государства и государственной власти, видя в них, совершенно логично, по-своему единое спасение общества. Совершенно логично, потому что, приняв раз за основание положение, по нашему убеждению совершенно ложное, что мысль предшествует жизни, отвлеченная теория общественной практике и что поэтому социологическая наука должна быть исходною точкою для общественных переворотов и перестроек, они необходимым образом приходят к заключению, что так как мысль, теория, наука, по крайней мере в настоящее время, составляют достояние весьма немногих, то эти немногие должны быть руководителями общественной жизни, не только возбудителями, но и управителями всех народных движений, и что на другой

день революции новая общественная организация должна быть создана не свободным соединением народных ассоциаций, общин, волостей, областей снизу вверх, сообразно народным потребностям и инстинктам, а единственно диктаторскою властью этого ученого меньшинства, будто бы выражающего общенародную волю.

На этой фикции мнимого народного представительства и на действительном факте управления народных масс незначительною горстью привилегированных избранных или даже не избранных толпами народа, согнанных для выборов и никогда не знающими, зачем и кого они выбирают; на этом мнимом и отвлеченном выражении воображаемой общенародной мысли и воли, о которых живой и настоящий народ не имеет даже и малейшего представления, основываются одинаковым образом и теория государственности, и теория так называемой революционной диктатуры.

Между революционною диктатурою и государственностью вся разница состоит только во внешней обстановке. В сущности же они представляют обе одно и то же управление большинства меньшинством во имя мнимой глупости первого и мнимого ума последнего. Поэтому они одинаково реакционерны, имея как та, так и другая результатом непосредственным и непременным упрочение политических и экономических привилегий управляющего меньшинства и политического и экономического рабства народных масс.

Теперь ясно, почему доктринерные революционеры, имеющие целью низвержение существующих властей и порядков, чтобы на развалинах их основать свою собственную диктатуру, никогда не были и не будут врагами, а напротив, всегда были и всегда будут самыми горячими поборниками государства. Они только враги настоящих властей, потому что они исключают возможность их диктатуры, но вместе с тем — самые горячие друзья государственной власти, без удержания которой революция, освободив не на шутку народные массы, отняла бы у этого мнимо революционного меньшинства всякую надежду заложить их в новую упряжь и облагодетельствовать их своими правительственными мерами.

И это так справедливо, что в настоящее время, когда в целой Европе торжествует реакция, когда все государства, обуянные самым злобным духом самосохранения и народопритеснения, вооруженные с ног до головы в тройную броню, военную, полицейскую и финансовую, и готовящиеся под верховным предводительством князя Бисмарка к отчаянной борьбе против социальной революции; теперь, когда, казалось бы, все искренние революционеры должны соединиться, чтобы дать отпор отчаянному нападению интернациональной реакции, мы видим, напротив, что доктринерные революционеры под предводительством г. Маркса везде держат сторону государственности и государственников против народной революции.

Во Франции, начиная с 1870 года, они стояли за государственного республиканца-реакционера, Гамбетту, против революционной Лиги Юга (La Ligue du Midi), которая только одна могла спасти Францию и от немецкого порабощения, и от еще более опасной и ныне торжествующей коалиции клерикалов, легитимистов, орлеанистов и бонапартистов. В Италии они кокетничают с Гарибальди и с остатками партии Маццини; в Испании они открыто приняли сторону Кастеляра, Пи-и-Маргаля и мадридской конституанты; наконец, в Германии и вокруг Германии, в Австрии, Швейцарии, Голландии, Дании они служат службу князю Бисмарку, на которого, по собственному признанию, смотрят как на весьма полезного революционного деятеля, помогая ему в деле пангерманизирования всех этих стран.

Теперь ясно, почему господа доктора философии школы Гегеля, несмотря на свой пламенный революционаризм в мире отвлеченных идей, в действительности оказались

в 1848 и 1849 не революционерами, но большею частью реакционерами, и почему в настоящее время большинство их сделалось отъявленными сторонниками князя Бисмарка.

Но в двадцатых и сороковых годах мнимый революционаризм их, еще ничем и никак не испытанный, находил много веры. Они сами верили в него, хотя проявляли его большею частью в сочинениях весьма отвлеченного свойства, так что прусское правительство не обращало на него никакого внимания. Может быть, оно уже и тогда понимало, что они работают для него.

С другой стороны, оно неуклонно стремилось к своей главной цели — основанию сначала прусской гегемонии в Германии, а потом и прямого подчинения целой Германии всему нераздельному владычеству путем, который ему самому казался несравненно выгоднее и удобнее, чем путь либеральных реформ и даже поощрения германской науки, — а именно путем экономическим, причем оно должно было встретить горячие симпатии всей богатой торговой и промышленной буржуазии, всего жидовского финансового мира в Германии, так как процветание как той, так и другого непременно требовало обширной государственной централизации; мы видим этому новый пример в настоящее время в немецкой Швейцарии, где большие промышленные торговцы и банкиры начинают уже явно высказывать свои симпатии теснейшему политическому соединению с обширным германским рынком, т.е. пангерманскою империею, которая оказывает на все окружающие маленькие страны притягательную или засасывающую силу боа-констриктора.

Первая мысль учреждения таможенного союза принадлежит, впрочем, не Пруссии, а Баварии и Виртембергу, заключившим между собою такой союз еще в 1828. Но Пруссия скоро овладела и мыслью, и ее исполнением.

Прежде в Германии было столько же таможен и разнороднейших пошлинных порядков, сколько было в ней государств. Это положение было действительно нестерпимо и обратило всю немецкую торговлю и промышленность в застой. Итак, Пруссия, взявшаяся могучею рукою за таможенное соединение Германии, оказала настоящее благодеяние последней. Уже в 1836 под верховным управлением прусской монархии к союзу принадлежали оба Гессена, Бавария, Виртемберг, Саксония, Тюрингия, Баден, Нассау и вольный город Франкфурт — всего более 27 миллионов жителей. Оставались только Ганновер, Мекленбургские и Ольденбургские герцогства, вольные города Гамбург, Любек и Бремен и, наконец, вся Австрийская империя.

Но именно исключение Австрийской империи из Германского таможенного союза составляло существенный интерес Пруссии; потому что это исключение, вначале только экономическое, должно было повлечь за собою впоследствии и политическое исключение.

В 1840 году начался третий период германского либерализма. Характеризовать его очень трудно. Он чрезвычайно богат многосторонним развитием самых различных направлений, школ, интересов и мыслей, но столько же беден фактами. Он весь наполнен взбалмошною личностью и хаотическими писаниями короля Фридриха Вильгельма IV, севшего на престол своего отца именно в 1840 году.

С ним совершенно изменилось отношение Пруссии к России. В противность своему отцу и своему брату, нынешнему императору Германии, новый король ненавидел императора Николая. Впоследствии он за это дорого поплатился и горько и громко в этом раскаялся — но в начале царствования ему и черт не был страшен. Полуученый, полупоэт, пораженный физиологическою немощью и к тому же пьяница, покровитель и друг странствующих романтиков и пангерманствующих патриотов, он в последние года

жизни отца был надеждою немецких патриотов. Все надеялись, что он даст конституцию.
Первым действием его была полнейшая амнистия. Николай нахмурил брови, но зато вся Германия рукоплескала, и либеральные надежды усилились. Однако конституции он не дал, но зато наговорил столько разного вздора, и политического, и романтического, и древнетевтонского, что даже немцы ничего понять не могли.
А дело было очень просто. Тщеславный, славолюбивый, неусидчивый, беспокойный, но вместе с тем не способный ни к выдержке, ни к делу, Фридрих Вильгельм IV был просто эпикуреец, кутила, романтик или самодур на престоле. Как человек ни к чему действительному не способный, он не сомневался ни в чем. Ему казалось, что королевская власть, в мистическое богопризванье которой он искренно верил, дает ему право и силу делать решительно все что вздумается и наперекор логике, и всем законам природы и общественности совершать самое невозможное, соединять решительно несовместимое.
Таким образом, он хотел, чтобы в Пруссии существовала полнейшая свобода, но чтобы вместе с тем королевская власть осталась неограниченною, его произвол ничем не стесненным. В этом духе он стал декретировать конституции сначала только провинциальные, а в 1847 дал не что вроде общей конституции. Но во всем этом не было ничего серьезного. Было только одно: своими беспрерывными, друг друга дополняющими и друг другу противоречащими попытками он переворотил весь старый порядок и не на шутку расшевелил своих подданных сверху донизу. Все стали ожидать чего-то.
Это что-то была революция 1848 года. Все чувствовали ее приближение не только во Франции, в Италии, но даже в Германии; да, именно в Германии, которая в продолжение этого третьего периода, между 1840 и 1848 годами успела набраться французского крамольного духа. Этому французскому настроению умов нисколько не мешал гегелианизм, который, напротив, очень любил выражать на французском языке, разумеется, с приличною тяжеловесностью и с немецким акцентом, свои отвлеченно-революционерные выводы. Никогда Германия не читала так много французских книг, как в это время. Она, казалось, забыла собственную литературу. Зато литература французская, особенно же революционная, проникла всюду. История жирондистов Ламартина, сочинения Луи Блана и Мишле были переведены на немецкий язык вместе с последними романами. И немцы стали бредить героями великой революции и распределять между собою на будущее время роли: кто воображал себя Дантоном или любезным Камиль-де-Муленом (der liebenswiirdige Camille-Desmoulens!), кто Робеспьером или Сен-Жюстом, кто, наконец, Маратом. Самим же собою почти не был никто, потому что для этого надо быть одаренным действительною природою. У немцев же все есть, и глубокомысленное мышление, и возвышенные чувства, только нет природы, и если есть, то холопская.
Многие немецкие литераторы, следуя примеру Гейне и уже умершего тогда Берне, переселились в Париж. Между ними замечательны были доктор Арнольд Руге, поэт Гервег и К. Маркс. Они хотели сначала издавать вместе журнал, но перессорились. Два последние были уже социалистами.
Германия стала знакомиться с социальными учениями только в сороковых годах. Венский профессор Штейн чуть ли не первый написал немецкую книгу о них. Но первым практическим немецким социалистом или, вернее, коммунистом был, несомненно, портной Вейтлинг, прибывший в начале 1843 в Швейцарию из Парижа, где состоял членом тайного общества французских коммунистов. Он основал много

коммунистических обществ между немцами-ремесленниками в Швейцарии, но в конце 1843 был выдан Пруссии тогдашним правителем цюрихского кантона, г. Блунчли, ныне знаменитым юрисконсультом и профессором права в Германии.
Но главным пропагандистом социализма в Германии, сначала тайно, а вскоре потом публично, был К. Маркс.
Г. Маркс играл и играет слишком важную роль в социалистическом движении немецкого пролетариата, чтобы можно было обойти эту замечательную личность, не постаравшись изобразить ее в нескольких верных чертах.
По происхождению г. Маркс еврей. Он соединяет в себе, можно сказать, все качества и все недостатки этой способной породы. Нервный, как говорят иные, до трусости, он чрезвычайно честолюбив и тщеславен, сварлив, нетерпим и абсолютен, как Иегова, господь Бог его предков, и, как он, мстителен до безумия. Нет такой лжи, клеветы, которой бы он не был способен выдумать и распространить против того, кто имел несчастие возбудить его ревность или, что все равно, его ненависть. И нет такой гнусной интриги, перед которой он остановился бы, если только, по его мнению, впрочем, большею частью ошибочному, эта интрига может служить к усилению его положения, его влияния или к распространению его силы. В этом отношении он совершенно политический человек.
Таковы его отрицательные качества. Но и положительных в нем очень много. Он очень умен и чрезвычайно многосторонне учен. Доктор философии, он еще в Кельне около 1840 был, можно сказать, душою и центром весьма заметных кружков передовых гегельянцев, с которыми начал издавать оппозиционный журнал, вскоре закрытый по министерскому приказанию. К этому кружку принадлежали также братья Бруно Бауер и Эдгар Бауер, Макс Штирнер и потом в Берлине первый кружок немецких нигилистов, который циническою последовательностью своею далеко превзошел самых ярых нигилистов России.
В 1843 или 1844 г. Маркс переселился в Париж. Тут он впервые столкнулся с обществом французских и немецких коммунистов и соотечественником своим, немецким евреем г. Морисом Гессом, который прежде его был ученым экономистом и социалистом и имел в это время значительное влияние на научное развитие г. Маркса.
Редко можно найти человека, который бы так много знал и читал, и читал так умно, как г. Маркс. Исключительным предметом его занятий была уже а это время наука экономическая. С особенным тщанием изучал он английских экономистов, превосходящих всех других и положительностью познаний, и практическим складом ума, воспитанного на английских экономических фактах, и строгою критикою, и добросовестною смелостью выводов. Но ко всему этому г. Маркс прибавил еще два новые элемента: диалектику самую отвлеченную, самую причудливо тонкую, которую он приобрел в школе Гегеля и которую доводит нередко до шалости, до разврата, и точку отправления коммунистическую.
Г. Маркс перечитал, разумеется, всех французских социалистов, от Сент-Симона до Прудона включительно, и последнего, как известно, он ненавидит, и нет сомнения, что в беспощадной критике, направленной им против Прудона, много правды: Прудон, несмотря на все старания стать на почву реальную, остался идеалистом и метафизиком. Его точка отправления — абстрактная идея права; от права он идет к экономическому факту, а г. Маркс в противоположность ему высказал и доказал ту несомненную истину, подтверждаемую всей прошлой и настоящей историей человеческого общества, народов и государств, что экономический факт всегда предшествовал и предшествует

юридическому и политическому праву. В изложении и в доказательстве этой истины состоит именно одна из главных научных заслуг г. Маркса.
Но что замечательнее всего и в чем, разумеется, г. Маркс никогда не признавался, это то, что в отношении политическом г. Маркс прямой ученик Луи Блана. Г. Маркс несравненно умнее и несравненно ученее этого маленького неудавшегося революционера и государственного человека; но как немец, несмотря на свой почтенный рост, он попал в учение к крошечному французу.
Впрочем, эта странность объясняется просто: риторик француз как буржуазный политик и как отъявленный поклонник Робеспьера и ученый немец в своем тройном качестве гегельянца, еврея и немца, оба отчаянные государственники, и оба проповедуют государственный коммунизм, с тою только разницею, что один вместо аргументов довольствуется риторическими декламациями, а другой, как приличествует ученому и тяжеловесному немцу, обстанавливает этот равно им любезный принцип всеми ухищрениями гегелевской диалектики и всем богатством своих многосторонних познаний.
Около 1845 г. Маркс стал во главе немецких коммунистов и вслед за тем, вместе с г. Энгельсом, неизменным своим другом, столь же умным, хотя менее ученым, но зато более практическим и не менее способным к политической клевете, лжи и интриге, основал тайное общество германских коммунистов, или государственных социалистов. Центральный комитет их, которого он, вместе с г. Энгельсом, был, разумеется, главою, по изгнанию их обоих из Парижа в 1846 был перенесен в Брюссель, где оставался до 1848. Впрочем, до самого этого года пропаганда их, хотя распространялась понемногу в целой Германии, но оставалась тайною и потому не выходила наружу.
Социалистический яд несомненно проникал самыми разнообразными путями в Германию. Он выражался даже в религиозных движениях. Кто не слыхал об эфемерном религиозном учении, возникшем в 1844 и потонувшем в 1848 под именем "нового католицизма" (теперь в Германии появилась новая ересь против римской церкви под названием "старого католицизма").

Новый католицизм произошел следующим образом. Как ныне во Франции, так в 1844 в Германии католическому духовенству вздумалось возбудить фанатизм католического населения громадною процессиею в честь нешитого платья Христа, будто бы хранящегося в Трире. Около миллиона пилигримов собралось на этот праздник со всех концов Европы — торжественно понесли святое платье и пели: "Святое платье, моли Бога о нас!" — Это возбудило огромный скандал в Германии и дало повод немецким радикалам выкинуть фарс. В 1848 нам случилось видеть в Бреславле тот пивной кабачок, где вскоре после этой процессии собрались несколько силезских радикалов, между прочим, известный граф Рейхенбах и товарищи его по университету гимназический учитель Штейн и бывший католический священник Иоган Ронге. Под их диктовку Ронге написал открытое письмо, красноречивый протест к епископу трирскому, которого прозвал Тецелем XIX века. Таким образом началась новокатолическая ересь.
Она быстро распространилась по целой Германии, даже в Познанском герцогстве, и под предлогом возвращения древней христианской коммунистической трапезы стали открыто проповедовать коммунизм. Правительство недоумевало и не знало, что делать, так как проповедь носила все-таки религиозный характер и так как в самом протестантском населении образовались свободные общины, обнаруживавшие также, хотя и скромнее, политическое и социалистическое направление.

В 1847 индустриальный кризис, обрекший на голодную смерть десятки тысяч ткачей, еще сильнее возбудил интерес целой Германии к социальным вопросам. Хамелеон-поэт Гейне написал по этому случаю великолепное стихотворение "Ткач", которое пророчило близкую и беспощадную социальную революцию.

Да, все в Германии ждали если не социальной, то по крайней мере политической революции, от которой чаяли воскресения и обновления великого германского отечества, и в этом всеобщем ожидании, в этом хоре надежд и желаний главная нота была патриотическая и государственная. Немцам стало обидно то ироническое удивление, с которым, говоря о них как о народе ученом, глубокомысленном, англичане и французы отрицали в них всякую практическую способность и всякий смысл действительности. Поэтому все их желания и требования были устремлены главным образом к одной цели: к образованию единого и могучего пангерманского государства, в какой бы форме оно ни было, республиканской или монархической, лишь бы это государство было достаточно сильно, чтобы возбудить удивление и страх во всех соседних народах.

В 1848 вместе с общеевропейскою революциею наступил четвертый период, последний кризис германского либерализма, кризис, окончившийся его совершенным банкротством.

Со времени плачевной победы, одержанной в 1525 соединенными силами феодализма, приближавшегося уж, видимо, к своему концу, и новейших государств, только что начинавших образовываться в Германии, над громадным восстанием крестьян, — победы, обрекшей окончательно всю Германию на продолжительное рабство под бюрократическо-государственным игом, в этой стране никогда еще не скоплялось столько горючего материала, столько революционных элементов, как накануне 1848. Неудовольствие, ожидание и желание переворота, за исключением высшей бюрократии и дворянского класса, было всеобщее, и, чего не было в Германии ни после падения Наполеона, ни в двадцатых, ни в тридцатых годах, теперь среди самой буржуазии оказались не десятки, а многие сотни людей, называвших себя революционерами и имевших право называть себя этим именем, потому что, не довольствуясь литературным пустоцветом и риторическим праздноглагольствованием, были действительно готовы положить свою жизнь за свои убеждения.

Мы знали много таких людей. Они, разумеется, не принадлежали к миру богачей или литературно-ученой буржуазии. Среди них было чрезвычайно мало адвокатов, немного больше медиков и, что замечательно, почти ни одного студента, за исключением студентов Венского университета, заявившего в 1848 и 1849 годах довольно серьезное революционное направление, вероятно, потому, что в отношении к науке стоял несравненно ниже всех германских университетов (мы не говорим о Пражском, так как это университет славянский).

Огромное большинство учащейся молодежи в Германии уже тогда держало сторону реакции, разумеется, не феодальной, а консервативно-либеральной; оно было поборником государственного порядка во что бы то ни стало. Можно себе представить, чем эта молодежь сделалась теперь.

Радикальная партия разделялась на две категории. Обе образовались под прямым влиянием французских революционных идей. Но между ними была огромная разница. К первой категории принадлежали люди, составлявшие цвет ученого молодого поколения Германии: доктора разных факультетов, медики, адвокаты, а также и немало чиновников, писатели, журналисты, ораторы; все, разумеется, глубокомысленные политики, нетерпеливо ждавшие революции, которая должна была открыть широкое

поприще для их талантов. Едва началась революция, эти люди стали во главе всей радикальной партии и после многих ученых эволюции, истощивших ее понапрасну и парализовавших в ней последние остатки энергии, дошли до совершенного ничтожества.

Но была другая категория людей, менее блестящих и честолюбивых, но зато более искренних и потому несравненно более серьезных, они состояли из мелких буржуа. В ней было много школьных учителей и бедных приказчиков торговых и индустриальных домов. Были, разумеется, также и адвокаты, и медики, и профессора, и журналисты, и книгопродавцы, и даже чиновники, но в самом незначительном количестве. Эти люди были действительно святыми людьми и самыми серьезными революционерами в смысле безграничной преданности и готовности жертвовать собой до конца и без фраз революционному делу. Нет сомнения, что будь у них другие предводители и будь вообще германское общество способно и расположено к народной революции, они принесли бы драгоценную пользу.

Но эти люди были революционерами и готовы были честно служить революции, не отдавая себе ясного отчета в том, что такое революция и чего должно требовать от нее. У них не было, да и не могло быть ни коллективного инстинкта, ни коллективной воли и мысли. Они были индивидуальными революционерами без всякой почвы под ногами, и, не находя в себе руководящей мысли, они должны были слепо предаться блудному руководству своей старшей, ученой братии, в руках которой сделались орудием для обмана, сознательного или бессознательного, народных масс. По личному инстинкту они хотели всеобщего освобождения, равенства, благоденствия для всех, а их заставляли работать для торжества пангерманского государства.

В Германии существовал тогда, как и теперь, революционный элемент еще более серьезный — это городской пролетариат; он доказал в Берлине, в Вене и во Франкфурте-на-Майне в 1848 и в 1849 в Дрездене, в Ганноверском королевстве и в Баденском герцогстве, что способен и готов к восстанию серьезному, лишь только находил сколько-нибудь толковое и честное предводительство. В Берлине нашелся даже элемент, которым славился до тех пор только один Париж, это уличный мальчишка-гамен, революционер и герой.

В то время городской пролетариат в Германии, по крайней мере его огромное большинство, находился еще почти совсем вне влияния пропаганды Маркса и вне организации его коммунистической партии. Распространена она была главным образом в индустриальных городах прусского Рейна, особенно в Кельне. Существовали также ветви ее в Берлине, в Бреславле и под конец в Вене, но весьма слабые. Разумеется, в германском пролетариате, как и в пролетариате других стран, находились в зародыше как инстинктивный запрос все социалистические стремления, которые более или менее обнаруживались народными массами решительно во всех прошедших революциях, не только политических, но даже религиозных. Но огромная разница между таким инстинктивным заявлением и сознательным, ясно определенным требованием социального переворота или социальных реформ. Такого требования в Германии ни в 1848, ни в 1849 г. решительно не было, хотя известный манифест немецких коммунистов, сочиненный и написанный гг. Марксом и Энгельсом, был уже опубликован в марте 1848 года. Он пронесся над немецким народом почти без следа. Революционный пролетариат всех городов Германии был непосредственно подчинен партии политических радикалов, или крайней демократии, что давало ей огромную силу; но сама, сбитая с толку буржуазно-патриотическою программою, а также и

совершенною несостоятельностью своих вожаков, буржуазная демократия обманула народ.

Наконец, в Германии был еще элемент, которого ныне уже нет, это революционное крестьянство или, по крайней мере, способное сделаться революционным. В то время в большей половине Германии существовал еще остаток старого крепостного права, как оно существует еще поныне в двух герцогствах Мекленбургских. В Австрии крепостное право преобладало вполне. Было несомненно, что немецкое крестьянство способно и готово к восстанию. Как в 1830 в баварском Пфальце, так и в 1848 почти в целой Германии, едва стало известным провозглашение французской республики, все крестьянство зашевелилось и приняло сначала самое горячее, живое, деятельное участие в первых выборах депутатов в многочисленные революционные парламенты. Тогда немецкие мужики еще верили, что парламенты смогут и захотят что-нибудь для них сделать, и посылали в них своими представителями людей самых отчаянных, самых красных — сколько, разумеется, немецкий политический человек может быть отчаянным и красным. Вскоре, увидав, что от парламентов им не дождаться никакой пользы, мужики охладели; но вначале они были готовы на все, даже на поголовный бунт.

В 1848, как и в 1830, немецкие либералы и радикалы больше всего боялись этого бунта; его не любят даже социалисты школы Маркса. Всем известно, что Фердинанд Лассаль, который по собственному сознанию был прямым учеником этого верховного предводителя коммунистической партии в Германии, что не помешало, однако, учителю по смерти Лассаля высказать ревнивое и завистливое неудовольствие против блестящего ученика, оста вившего далеко за собою в практическом отношении учителя; всем известно, говорим мы, что Лассаль несколько раз высказывал мысль, что поражение крестьянского восстания в XVI в. и последовавшее за ним усиление и процветание бюрократического государства в Германии были истинным торжеством для революции.

Для коммунистов или социальных демократов Германии крестьянство, всякое крестьянство, есть реакция; а государство, всякое государство, даже бисмарковское, — революция. Пусть не подумают, что мы клевещем на них. В доказательство того, что они действительно так думают, указываем на их речи, брошюры, журнальные статьи и, наконец, на их письма — все это в свое время будет представлено русской публике. Впрочем, марксисты и думать иначе не могут; государственники во что бы то ни стало, они должны проклинать всякую народную революцию, особенно же крестьянскую, по природе анархическую и идущую прямо к уничтожению государства. Как всепоглощающие пангерманисты, они должны отвергать крестьянскую революцию уже по тому одному, что эта революция специально славянская.

И в этой ненависти к крестьянскому бунту они самым нежным и самым трогательным образом сходятся со всеми слоями и партиями буржуазного германского общества. Мы уже видели, как в 1830 достаточно было крестьянам баварского Пфальца подняться с косами и вилами против господских замков, чтобы охладить внезапно революционный жар, пожиравший тогда южногерманских буршей. В 1848 повторилось то же самое, и решительное противодействие, которое было оказано немецкими радикалами попыткам крестьянского восстания в самом начале революции 1848, чуть ли не было главною причиною печального исхода этой революции.

Она началась неслыханным рядом народных торжеств. В продолжение какого-нибудь месяца после парижских февральских дней были сметены с лица немецкой земли все государственные правительственные учреждения и силы почти без всяких народных усилий. Едва в Париже восторжествовала народная революция, как обезумевшие от

страха и от презрения к себе правители и правительства стали падать в Германии одно за другим. Было, правда, нечто вроде военных сопротивлений в Берлине и в Вене; но они были так ничтожны, что о них и говорить нечего.
Итак, революция победила в Германии почти без всякого кровопролития. Все оковы разбились, все преграды сломились сами собою. Немецкие революционеры могли сделать все. Что же они сделали? Скажут, что не в одной Германии, а в целой Европе революция оказалась несостоятельной. Но во всех других странах революция после долгой, серьезной борьбы была побеждена иноземными силами: в Италии — австрийскими войсками, в Венгрии — соединенными русскими и австрийскими; в Германии же она была сокрушена собственною несостоятельностью революционеров.
Во Франции, может быть, скажут, случилось то же самое; нет, во Франции было совершенно другое. Там поднялся именно в это время страшный революционный вопрос, отбросивший вдруг всех буржуазных политиков, даже красных революционеров, в реакцию. Во Франции в достопамятные июньские дни вторично встретились буржуазия и пролетариат как враги, между которыми примирение невозможно. В первый раз они встретились еще в 1834 году в Лионе.
В Германии, как мы уже заметили, социальный вопрос тогда едва начинал пробиваться подземными путями в сознание пролетариата, и хотя тогда упоминалось о нем, но более теоретически и как о вопросе более французском, чем немецком. Поэтому он еще не мог отделить немецкого пролетариата от демократов, за которыми работники готовы были следовать без рассуждений, лишь бы демократы пожелали вести их на битву.
Но именно уличной битвы не хотели вожаки и политики демократической партии Германии. Они предпочитали бескровные и безопасные битвы в парламентах, которые барон Ислагиш, хорватский бан и одно из орудий габсбурго-австрийской реакции, живописно прозвал "Заведениями для риторических упражнений".

Парламентов и учредительных собраний в Германии было тогда без счета. Между ними первым считалось национальное собрание во Франкфурте, которое должно было создать общую конституцию для целой Германии. Оно состояло приблизительно из 600 депутатов, представителей всей германской земли, выбранных прямо народом. Были также и депутаты собственно немецких областей Австрийской империи; славяне же богемские и моравские отказались послать туда своих депутатов, к большому негодованию немецких патриотов, никак не могущих, а главное, не хотящих понять, что Богемия и Моравия, по крайней мере насколько они населены славянами, — вовсе не немецкие земли. Таким образом, во Франкфурте собрался из всех концов Германии цвет немецкого патриотизма и либерализма, немецкого ума и немецкой учености. Все патриоты и революционеры двадцатых и тридцатых годов, имевшие счастие дожить до этого времени, все либеральные знаменитости сороковых годов встретились в этом верховном, общегерманском парламенте. И вдруг, к общему изумлению, с самых первых дней оказалось, что по крайней мере три четверти депутатов, вышедшие прямо из всеобщего народного избирательства, — реакционеры! И не только реакционеры, но политические шалуны, очень ученые, но чрезвычайно невинные.
Они не на шутку вообразили, что им стоит только извлечь из их мудрых голов конституцию для целой Германии и провозгласить ее во имя народа, чтобы все немецкие правительства тотчас подчинились ей. Они поверили обещаниям и клятвам немецких государей, как будто в продолжение более чем тридцати лет, от 1815 до 1848, не испытали и на самих себе, и на своих товарищах их нахального и систематического вероломства. Глубокомысленные историки и юристы не поняли простой истины,

объяснение и подтверждение которой они могли бы прочесть на каждой странице истории, а именно: чтобы сделать безопасною какую бы то ни было политическую силу, чтобы ее умиротворить, покорить, есть только одно средство — уничтожить ее. Философы не поняли, что против политической силы никаких других гарантий быть не может, кроме совершенного уничтожения, что в политике, как на арене взаимно борющихся сил и фактов, слова, обещания и клятвы ничего не значат, уже по тому одному, что всякая политическая сила, пока остается действительною силою даже помимо и против воли властей и государей, ею заправляющих, по самому существу своему и под опасностью самоуничтожения, должна неуклонно и во что бы то ни стало стремиться к осуществлению своих целей.

Германские правительства в марте 1848 были деморализованы, запуганы, но далеко не уничтожены. Старая государственная, бюрократическая, юридическая, финансовая, политическая и военная организация осталась неповрежденная. Уступая напору времени, они немного распустили удила, но все концы их оставались в руках государей. Огромнейшее большинство чиновников, привыкших к механическому исполнению, вся полиция, вся армия были им преданы по-прежнему, даже пуще прежнего, потому что посреди народной бури, грозившей всему их существованию, только от них могли ждать спасения. Наконец, несмотря на повсеместное торжество революции, взимание и платеж податей производились с прежней аккуратностью.

В начале революции несколько изолированных голосов, правда, требовали, чтобы на всей немецкой земле приостановлены были платежи податей и вообще исполнение всяких повинностей натуральных и денежных, пока не будет водворена и не установлена в ней новая конституция. Но против такого предложения, встретившего много сомнений в самом народе, особливо в крестьянах, поднялся грозный, единодушный хор порицаний со стороны всего буржуазного мира, не только либералов, но и самых красных революционеров и радикалов. Ведь они клонились прямо к государственному банкротству и к разрушению всех государственных учреждений, и это в то самое время, когда все хлопотали о создании нового, еще сильнейшего, единого и нераздельного пангерманского государства! Помилуйте! Разрушение государства! Это было бы, пожалуй, освобождением и праздником для глупой толпы чернорабочего люда, но для порядочных людей, для целой буржуазии, существующей только силой государственности, — беда. И так как франкфуртскому национальному собранию, а вместе с ним и всем радикалам Германии даже и в голову не могла прийти мысль об уничтожении государственной силы, которая находилась в руках немецких государей, так как они, с другой стороны, не умели, да и не хотели организовать народную силу, с нею несовместную, то им ничего более не оставалось сделать, как утешать себя верою в святость обещаний и клятв этих самых государей.

Людям, толкующим о специальном призвании науки и ученых организировать общества и управлять государствами, не худо бы было напоминать почаще о трагикомической судьбе несчастного франкфуртского парламента. Если какое-либо политическое собрание заслужило название ученого, то именно этот пангерманский парламент, в котором заседали знаменитейшие профессора всех немецких университетов и всех факультетов, особенно же юристы, политико-экономисты и историки. И, во-первых, как мы уже заметили выше, это собрание в своем большинстве оказалось страшно реакционерным, до того, что когда Радовиц, друг, постоянный корреспондент и верный слуга короля Фридриха Вильгельма IV, бывший перед тем прусским посланником при Германском союзе, а в мае 1848 сделавшийся депутатом Национального собрания, — когда Радовиц предложил этому собранию торжественно заявить свою симпатию

австрийским войскам, этой немецкой армии, составленной большей частью из мадьяр и хорватов и посланной венским кабинетом против бунтующих итальянцев, огромное большинство, восхищенное его германо-патриотическою речью, встало и рукоплескало австрийцам. Этим оно торжественно заявило, во имя целой Германии, что главная и, можно сказать, едино-серьезная цель немецкой революции была отнюдь не завоевание свободы для немецких народов, а сооружение для них огромной новой патриотической тюрьмы под названием единой и нераздельной пангерманской империи.

Ту же грубую несправедливость собрание оказало и в отношении поляков Познанского герцогства, и вообще ко всем славянам. Все эти племена, ненавидящие немцев, должны были быть поглощены пангерманским государством. Того требовало будущее могущество и величие немецкого отечества.

Первый внутренний вопрос, который представился решению мудрого и патриотического собрания, был: должны ли общегерманские государства быть республикою или монархией? И, разумеется, вопрос был решен в пользу монархии. В этом, однако, господ профессоров-депутатов и законодателей винить не следует. Разумеется, они, как истые и к тому же ученые немцы, т.е. как сознательно убежденные хамы, всею душою стремились к сохранению своих драгоценных государей. Но если бы они даже и не имели таких стремлений, то они все-таки должны бы были решить в пользу монархий, потому что, за исключением немногих сотен искренних революционеров, о которых мы упоминали выше, того хотела вся немецкая буржуазия.

А в доказательство этого приведем слова почтенного патриарха демократической партии, ныне социал-демократа, вышесказанного кенигсбергского патриота доктора Иоганна Якоби. В речи, произнесенной им в 1858 году перед кенигсбергскими избирателями, он сказал следующее: "Теперь, господа, я говорю это из глубины своего полнейшего убеждения, теперь во всей стране нашей, во всей демократической партии нет ни одного человека, который, я не говорю, стремился к другой государственной форме, кроме монархической, но который только мечтал бы о ней". Еще далее он прибавляет: "Если какое-либо время, то именно 1848 показал нам, какие глубокие корни пустил монархический элемент в сердце народа".

Второй вопрос был: какую форму будет иметь Германская империя, централизованную или федеральную? — Первая была бы логичною и несравненно сообразнее цели, образованию единого, нераздельного и могучего германского государства. Но для осуществления ее необходимо бы было лишить власти, престола и выгнать из Германии всех государей, кроме одного, т.е. начать и довести до конца множество частных бунтов. Это было слишком противно немецкому верноподданству, и потому вопрос был решен в пользу федеральной монархии сообразно старому идеалу — множество средних и маленьких государей и столько же парламентов, а во главе всего этого единый общегерманский император и парламент.

Кто же будет императором? Таков был главный вопрос. Ясно было, что на это место возможно было назначить только австрийского императора или прусского короля. Никого другого ни Австрия, ни Пруссия не потерпели бы.

Большинство симпатий в собрании было в пользу австрийского императора. На это было много причин: во-первых, все непрусские немцы ненавидели и ненавидят Пруссию, как в Италии ненавидят Пьемонт. Король же Фридрих Вильгельм IV своим взбалмошным, самодурным поведением перед революцией и после нее совсем утратил все симпатии, приветствовавшие его при вступлении на престол. К тому же вся Южная Германия по

характеру своего населения, большею частью католического, и по историческим преданиям и привычкам склонялась решительно в пользу Австрии.
Но выбор австрийского императора был все-таки невозможен, потому что Австрийская империя, обуреваемая революционными движениями в Италии, Венгрии, Богемии и наконец, в самой Вене, находилась на краю гибели, тогда как Пруссия была вооруженная и готовая, несмотря на волнения в улицах Берлина, Кенигсберга, Позена, Бреславля и Кельна.
Немцы хотели единой, могучей империи несравненно сильнее, чем свободы. Всем ясно было, что только одна Пруссия могла дать Германии серьезного императора. Поэтому, если бы у господ профессоров, составлявших чуть ли не большинство франкфуртского парламента, была хоть капля здравого критического смысла, капля энергии, они должны бы были не задумываясь, не откладывая, а скрепя сердце тотчас же предложить императорскую корону прусскому королю.
В начале революции Фридрих Вильгельм IV непременно бы ее принял. Берлинское восстание, победа народа над войском поразило его в самое сердце; он чувствовал себя униженным и искал какого бы то ни было средства, чтобы спасти, восстановить свою королевскую честь. Не имея другого средства, он собственным движением ухватился за императорскую корону. Уже 21 марта, три дня после своего поражения в Берлине, он издал манифест к немецкой нации, где объявил, что ради спасения Германии он становится во главе общего германского отечества. Написав этот манифест собственноручно, он сел на коня и, окруженный военною свитою, с трехцветным пангерманским знаменем в руке, проехал торжественно по улицам Берлина.
Но франкфуртский парламент не понял или не захотел понять этого совсем нетонкого намека, и вместо того чтобы прямо и просто провозгласить прусского короля императором, они, как это делают близорукие и нерешительные люди, прибегли к средней мере, которая, ничего не решив, была прямым оскорблением прусского короля. Господа профессора не поняли, что прежде выбора германского императора они должны были состряпать общегерманскую конституцию, а еще прежде должны были формулировать "основные права немецкого народа".

Больше полгода употреблено было учеными законодателями на юридическое определение этого права. Практические же дела они передали установленному ими временному правительству, составленному из безответственного правителя государства и из ответственного министерства. Правителем выбрали опять-таки не прусского короля, а в пику ему эрцгерцога австрийского.
Выбрав его, франкфуртское собрание требовало, чтобы все союзные войска присягнули ему. Повиновались только ничтожные войска маленьких государей, прусские же, ганноверские и даже австрийские отказались напрямик. Таким образом, для всех стало ясно, что сила, влияние, значение франкфуртского собрания равны нулю и что судьба Германии решилась не во Франкфурте, а в Берлине и Вене, особенно в первом, так как вторая была слишком озабочена своими собственными, исключительно австрийскими и далеко не немецкими делами, чтобы иметь время заниматься делами Германии.
Что же делала в это время радикальная, или так называемая революционная, партия? Большинство непрусских членов ее находилось во франкфуртском парламенте и составляло меньшинство. Остальные были в частных парламентах и также парализованы, во-первых, потому что влияние этих парламентов на общий ход дел Германии по самой ничтожности их было необходимо ничтожно, а во-вторых, потому что даже парламентство в Берлине, Вене, Франкфурте было смешно и пустословно.

Прусское конституционное собрание, открывшееся в Берлине 22 мая 1848 и заключавшее почти весь цвет радикализма, ясно доказало это. В нем произносились самые пламенные, самые красноречивые и даже революционные речи, но дела не делалось никакого. С первых заседаний оно отвергло проект конституции, представленный правительством и подобно франкфуртскому собранию употребило несколько месяцев на обсуждение своего проекта, причем радикалы заявляли вперегонку, на удивление всему народу, свою революционность.
Вся революционная неспособность, чтобы не сказать непроходимая глупость, немецких демократов и революционеров вышла наружу. Прусские радикалы совершенно ушли в парламентскую игру и потеряли смысл для всего остального. Они серьезно поверили в силу парламентских решений, и самые умные между ними думали, что победы, одерживаемые ими в парламентских прениях, решают судьбы Пруссии и Германии.
Они задали себе неразрешимую задачу: примирение демократического самоуправления и равноправия с монархическими учреждениями. В доказательство приведем речь, произнесенную в июне 1848 одним из главных вожаков этой партии, доктором Иоганном Якоби, перед своими избирателями в Берлине и ясно представляющую всю демократическую программу: "Идея республики есть высшее и чистейшее выражение гражданского самоуправления и равноправия. Но возможно ли осуществление республиканской формы правления при условиях, данных действительностью в известное время и в известной стране, это другой вопрос. Только всеобщая, единодушная воля граждан может решить его. Безумно бы поступило всякое отдельное лицо, если бы оно осмелилось взять на себя ответственность за такое решение. Безумна и даже преступна была бы партия, которая бы вздумала навязать народу эту форму правления. Не только сегодня, но в марте на предварительном собрании во Франкфурте я говорил то же самое баденским депутатам и старался отговорить их, хотя, увы! и тщетно, от республиканского восстания. В целой Германии — исключая одного Бадена — сама революция остановилась почтительно перед непоколебленными тронами и доказала этим, что хотя она и может положить предел произволу своих государей, но отнюдь не намерена прогнать их. Мы должны покориться общественной воле, и потому конституционно-монархическая форма правления есть та единая почва, на которой мы обязаны соорудить новое политическое здание".

Итак, новое устройство монархии на демократических основаниях — вот трудная, прямо невозможная задача, разрешение которой задали себе глубокомысленные, но зато чрезвычайно мало революционные радикалы и красные демократы прусской конституанты, и чем более они углублялись в нее, придумывая новые конституционные цепи, в которые намеревались заковать не только народную волю, но и монарший произвол своего обожаемого, полусумасшедшего государя, тем более они удалялись от настоящего дела.
Как ни огромна была их практическая близорукость, она не могла простираться до того, чтобы не видеть, как монархия, хотя и побежденная в мартовские дни, но не уничтоженная явно, конспирировала и собирала вокруг себя весь старый реакционно-аристократический, военный, полицейский и бюрократический мир, выжидая удобного случая для разогнания демократов и захвата власти, по-прежнему безграничной. Та же речь доктора Якоби доказывает, что прусские радикалы это хорошо видели. "Не будем себя обманывать, — сказал он, — абсолютизм и юнкерство[10] отнюдь не исчезли и не перевелись, они едва считают нужным и дают себе труд притворяться мертвыми. Нужно было быть слепым, чтобы не видеть стремление реакции...".

Итак, прусские радикалы довольно ясно видели грозившую им опасность. Что же они сделали для предупреждения ее? Монархически-феодальная реакция была не теория, а сила, страшная сила, имевшая за собою всю армию, горевшую нетерпением смыть с себя срам мартовского поражения и восстановить омраченную и оскорбленную королевскую власть в народной крови, всю бюрократию, весь государственный организм, располагавший огромными финансовыми средствами. Неужели же радикалы думали, что они в состоянии связать эту грозную силу новыми законами и конституцией, т.е. чисто бумажными средствами? Да, они были бы довольно практичны и мудры, чтобы питать такие надежды. Иначе чем объяснить, что они, вместо принятия ряда практических и действительных мер против висевшей над ними грозы, провели целые месяцы в толках о новой конституции и о новых законах, долженствовавших подчинить всю государственную силу и власть парламенту? Они до того верили в действительность своих парламентских прений и законоположений, что пренебрегли единственным средством, чтобы противоположить силе государственно-реакционной — силу революционно-народную путем организации последней.

Неслыханно легкое торжество народных восстаний над войском почти во всех столицах Европы, ознаменовавшее начало революции 1848, было вредно для революционеров не только Германии, но и всех других стран, потому что оно возбудило в них глупую уверенность, что малейшей народной демонстрации достаточно, чтобы сломить всякое военное сопротивление. Вследствие такого убеждения прусские и вообще германские демократы и революционеры, думая, что от них всегда будет зависеть напугать правительство народным движением, если оно окажется нужным, не видели никакой необходимости ни в организации, ни в направлении, не говоря уже об умножении революционных страстей и сил в народе.

Напротив, как подобает добрым буржуа, самые революционные между ними боялись этих страстей и этой силы, всегда были готовы принять против них сторону государственного и буржуазно-общественного порядка и вообще думали, что чем реже будут прибегать к опасному средству народного бунта, тем лучше. Таким образом, официальные революционеры Германии и Пруссии пренебрегли единственным находящимся у них средством для одержания окончательной и действительной победы над вновь возникавшей реакцией. Они не только не думали об организации народной революции, напротив, старались везде умиротворить и успокоить ее и этим самым ломали единственное серьезное оружие, которым они обладали.

Июньские дни, победа военного диктатора и республиканского генерала Кавеньяка над парижским пролетариатом должны бы были открыть глаза демократам Германии. Июньская катастрофа была не только несчастием для парижских работников, но первым и, можно сказать, решительным поражением для революции в Европе. Реакционеры всех стран скорее и лучше поняли трагическое и столь выгодное для них значение июньских дней, чем революционеры, и в особенности немецкие.

Нужно было видеть, какой восторг возбудило первое известие о них во всех реакционных кругах; оно было принято как весть о спасении. Руководимые совершенно верным инстинктом, они увидели в торжестве Кавеньяка не только победу французской реакции над революцией французской, но победу всемирной или интернациональной реакции над международною революцией. Военные люди, штабы всех стран приветствовали ее как интернациональное искупление военной чести. Известно, офицеры прусских, австрийских, саксонских, ганноверских, баварских и других немецких войск тотчас же послали генералу Кавеньяку, временному правителю французской

республики, поздравительный адрес, разумеется, с разрешения начальства и с одобрения своих государей.
Победа Кавеньяка имела в самом деле громадное историческое значение. С нее начинается новая эпоха в интернациональной борьбе реакции с революцией. Восстание парижских работников, продолжавшееся четыре дня, от 23 до 26 июня, превзошло своею дикою энергией и ожесточением все народные бунты, которых Париж когда-либо был свидетелем. С него, собственно, началась социальная революция, которой он был первым актом, а последнее, еще более отчаянное сопротивление Парижской Коммуны — вторым.
В июньских восстаниях в первый раз встретились без масок, лицом к лицу, дикая народная сила, борющаяся уже не за других, а собственно за себя, никем не руководимая, подымающаяся собственным движением для защиты своих священнейших интересов, и дикая военная сила, не обузданная никакими соображениями уважения к требованиям цивилизации и человечности, общественной учтивости и гражданского права и в опьянении дикой борьбы беспощадно все жгущая, режущая и уничтожающая.
Во всех предшествовавших революциях в борьбе против народа, встречая против себя не только народные массы, но и почтенных граждан, стоящих в их главе, университетское и политехническое юношество и, наконец, национальную гвардию, большею частью состоящую из буржуа, войска как-то скоро деморализовались и, прежде чем были действительно разбиты, уступали и отступали или братались с народом. В самом пылу битвы между борющимися сторонами существовал и соблюдался род договора, не позволявшего самым ярым страстям переступить известные границы, точно как будто обе стороны по общему условию дрались тупым оружием. Ни со стороны народа, ни со стороны войска никому в голову не приходило, что можно безнаказанно разрушать дома, улицы или резать десятки тысяч безоружных людей. Была общая фраза, беспрестанно повторяемая консервативною партиею, когда она отстаивала какую-нибудь реакционную меру и хотела усыпить недоверие противной партии: "Власть, которая для одержания победы над народом вздумала бы бомбардировать Париж, стала бы тотчас же невозможною"[11].
Такое ограничение в употреблении военной силы было чрезвычайно выгодно для революции и объясняет, по чему прежде народ большей частью выходил победителем. Вот этим-то легким победам народа над войском генерал Кавеньяк захотел положить конец.

примечания:

[1] [наверх] В политике, равно как и в высших финансовых сферах, мошенничество считается доблестью

[2] [наверх] Нет сомнения, что усилия английских работников, стремящихся лишь только к собственному освобождению или к улучшению своей собственной участи, непременным образом обращаются в пользу всего человечества; но англичане этого не знают и не ищут; французы же, напротив, знают и ищут, что, по-нашему, составляет огромную разницу в пользу французов и дает действительно всемирный смысл и характер всем их революционным движениям.

[3] [наверх] См. примечания (А) в конце Введения.

[4] [наверх] На 36 миллионов жителей племена эти распределяются так: около 16500000 славян (5 миллион, поляков и русинов; 7250000 других северных славян: чехов, моравов, словаков; и 4250000 южных славян), около 5500000 мадьяр. 2900000 румын, 600000 итальянцев, 9000000 немцев и евреев и около 1500000 других племен.

[5] [наверх] В Венгерском королевстве считается 5500000 мадьяр, 5000000 славян, 2700000 румын, 1800000 евреев и немцев и около 500000 других племен, всего 15500000 жителей.)

[6] [наверх] Мы столько же отъявленные враги панславизма, сколько и пангерманизма, и намереваемся в одной из будущих книжек посвятить этому вопросу, по-нашему, чрезвычайно важному, особую статью; теперь же скажем только, что считаем священною и неотлагаемою обязанностью для русской революционной молодежи противодействовать всеми силами и всевозможными средствами панславистической пропаганде, производимой в России и главным образом в славянских землях правительственными официальными и вольнославянофильствующими или официальными русскими агентами; они стараются уверить несчастных славян, что петербургский славянский царь, проникнутый горячею отеческою любовью к славянским братьям, и подлая народоненавистная и народогубительная всероссийская империя, задушившая Малороссию и Польшу, а последнюю даже продала частью немцам, могут и хотят освободить славянские страны от немецкого ига, и это в то самое время, когда петербургский кабинет явным образом продает и предает всю Богемию с Моравиею князю Бисмарку в вознаграждение за обещанную помощь на Востоке.

[7] [наверх] В Цюрихе образовалась славянская секция, вошедшая в состав Юрской Федерации; мы горячо рекомендуем всем славянам программу этой секции, которую помещаем в конце Введения (см. прим. Б).

[8] [наверх] Мы слышали от самого Маццини, что в это самое время русские официозные агенты в Лондоне просили у него свидания и делали ему предложения.

[9] [наверх] Лакейство есть добровольное рабство. Странная вещь! Кажется, не может быть рабства хуже русских; но никогда между русскими студентами не существовало такого лакейского отношения к профессорам и начальству, какое существует и поныне во всем немецком студенчестве.

[10] [наверх] Так называют в Пруссии дворянское направление и военно-дворянскую партию. Слово "юнкер" употребляется в смысле дворянина.

[11] [наверх] Эти слова были сказаны в палате депутатов Тьером в 1840, когда, будучи министром Людовика Филиппа, он внес в палату проект о фортификации Парижа. Тридцать один год спустя Тьер, президент французской республики, бомбардировал Париж для усмирения Коммуны

Сканировала и составила Нина Дотан (из 4-того тома)

Корректировал Леон Дотан (06. 2001)

ldnleon@yandex.ru ldn-knigi.narod.ru

Взято из 4-того тома :

КЛАССИКИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ МЫСЛИ

ДОМАРКСИСТСКОГО ПЕРИОДА

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ И. А. ТЕОДОРОВИЧА

М. А. БАКУНИН

МОСКВА—1935

М. А. БАКУНИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИИ И ПИСЕМ

1828—1876

ПОД РЕДАКЦИЕЙ И С ПРИМЕЧАНИЯМИ

Ю. М. СТЕКЛОВА

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

В ТЮРЬМАХ И ССЫЛКЕ

1849—1861

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА ПОЛИТКАТОРЖАН И

ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

1935

михаил Бакунин “Исповедь”

Предисловие ----- стр. 2

Исповедь ---------- стр. 22

Комментарии ----- стр. 98

Предисловие

Вскоре после ареста Бакунина в Саксонии начальник австрийских войск в Кракове в июне 1849 года сообщил об этом событии русскому майору, исполнявшему обязанности краковского коменданта, на предмет выдачи Бакунина России.

Но сразу получить Бакунина в свои руки царскому правительству не удалось, несмотря на все его нетерпение и хлопоты. Узнав о предстоящей выдаче Бакунина австрийцам, граф Медем, тогдашний российский посланник в Везде, поспешил переговорить с австрийским премьером кн. Шварценбергом, который обещал по миновании надобности австрийского правительства в Бакунине передать узника России. Условленно было, что Бакунин будет доставлен в Краков и здесь передан русским жандармам. Рассчитывая заполучить Бакунина в свои руки еще весною 1851 г., российские власти в Польше уже в марте направили в Краков жандармский конвой для приемки арестанта и доставления его в уготованное ему место злачное. В души российских жандармов начало даже закрадываться подозрение, что австрийцы вовсе не собираются выдавать им Бакунина. Но страхи эти оказались напрасными.

Бакунин чувствовал, что австрийцы собираются выдать его России. Эта перспектива приводила его в ужас: ее он боялся больше всего, больше смерти. Выражая такое опасение в письме к австрийскому министру внутренних дел Баху, он присовокуплял, что будет всяческими мерами вплоть до самоубийства противиться выполнению этого замысла. Но австрийские власти очень мало считались с такими заявлениями. Они заранее приняли все меры к тому, чтобы немедленно после приговора заключенный был направлен по назначению.

15 мая 1851 года Бакунин был приговорен к смертной казни австрийским военным судом, вечером того же дня он был вывезен из Ольмюца в Краков, куда доставлен вечером 16-го; 17-го был передан русским жан-дармам на границе, а 11 /23 мая, т. е. через 8 дней после вынесения ему приговора, сидел уже в 5-й камере Алексеевского равелина Петропавловской крепости. На докладе Дубельта об этом событии Николай написал:

“Наконец!”. А после полуторамесячной передышки, находя, что узник достаточно оглушен долгим пребыванием в глухом каземате, Николай 25 июня 1851 года приказал приступить к допросу Бакунина.

Подробности и форма этого допроса в точности нам до сих пор не известны. Возможно, что устных формальных допросов не было; но что узнику были поставлены (в письменной форме или иначе) какие-то определенные вопросы, на которые он должен был дать ответ, это весьма вероятно, судя по содержанию “Исповеди” и по ряду оборотов в отдельных местах, которые мы ниже будем специально отмечать. Сопоставляя эти места, можно даже составить себе довольно ясное представление о содержании и характере тех вопросов, которые по приказу Николая были заданы жандармами Бакунину. Дальше мы приблизительно наметим вероятный перечень этих вопросов.

Происхождение этого замечательного исторического документа, известного под названием “Исповеди”, хотя на самом деле не имеющего никакого заголовка, было примерно таково.

Как рассказывает сам Бакунин в письме к Герцену от 8 декабря 1860г. месяца через два по его прибытии в Россию, т. е. в первой половине июля 1851 г., к нему в камеру явился граф Орлов (позже князь, Алексей Федорович, в рассматриваемое время шеф жандармов) и от имени царя потребовал от него составления записки о немецком и славянском движении, причем пояснил, что царь желает, чтобы Бакунин говорил с ним как духовный сын с духовным отцом, т. е. исповедывался, рассказывал все без утайки, дал то, что на языке жандармов называлось “откровенным” и “чистосердечным” показанием.

Что Бакунин, вообще крайне неточный в этом письме, где он единственный раз упоминает об “Исповеди”, неточен и в данном случае, и что царь добивался от него не только академического рассказа о немецком и славянском движении, видно и из самого содержания “Исповеди”. Это в частности показывает тот предполагаемый вопросник, который мы попытаемся набросать на основании текста этого документа. Николая I больше всего интересовал вопрос о русском революционном движении, о замыслах и связях Бакунина, о наличии в стране опасных элементов и т. п., и в первую голову он хотел получить от своего пленника ответ на эти вопросы. Отсюда и требование полной откровенности: ведь не мог же царь подозревать, чтобы Бакунин стал скрывать что-либо существенное из области немецкого или славянского движения.

Вот насчет русского дело обстояло иначе. И в этом отношении Бакунин разочаровал своего духовника: последний ничего важного от него не узнал. Правда, что ничего особенно важного и не было.

Подумав немного, Бакунин решил, что при условиях несколько свободной жизни следовало бы выдержать роль до конца, т. е. не вступать ни в какие компромиссы с врагом, но что в четырех стенах, находясь во власти жестокого деспота, не признающего никаких человеческих прав, можно слегка пренебречь формой, проще сказать — подурачить врага, а потому согласился и втечение месяца написал “в самом деле род исповеди, нечто вроде “Dichtung und Wahrheit” (“Вымысел и правда”, как озаглавлена автобиография Гете), в которой осторожно, но вразумительно заявил царю, что ждать от него предательства не приходится и что имен называть он не станет.

Далее по словам Бакунина он с некоторыми умолчаниями рассказал Николаю всю свою жизнь за границею, прибавив несколько поучительных замечаний насчет его внутренней и внешней политики. Нужно сказать, что при своем положении Бакунин проявил большую смелость, разоблачая перед злобным тираном сущность самодержавной политики, восхваляя парижских революционных пролетариев и т. п. Однако “Исповедь” носит я общем покаянный характер и своим уничиженным тоном перед царем производит неприятное впечатление.

Об “Исповеди” создалась целая литература. Главный спор вертелся вокруг вопроса об искренности “покаяния” Бакунина перед царем. Но с тех пор, как стали известны письма Бакунина из крепости, тайком переданные им в 1854 году своим родным на свидании , для сомнений больше не остается места: Бакунин притворялся, для того чтобы обмануть своих врагов и скорее выйти на свободу с целью снова приняться за революционную деятельность. Допустим ли и в таком случае тот образ действий, какой избрал Бакунин для достижения своей цели, это—другой вопрос, который Вера Фигнер например решает в отрицательном смысле (впрочем для всякого, действительно знающего историю Бакунина, и без этих тюремных писем было ясно, что об искреннем “раскаянии” Бакунина не приходится и говорить, и что если не во всех деталях, то в основном “Исповедь” была образцом притворства, преследовавшего вполне определенную цель).

Оригинал “Исповеди” хранится в Архиве революции в Москве, где имеется и каллиграфическая копия ее, сделанная специально для царя, который не хотел утруждать глаз чтением мелкого и неправильного почерка Бакунина. Рукопись содержит 96 страниц большого писчего формата, исписана с обеих сторон характерным убористым почерком Бакунина и составляет не менее 6 печатных листов по 40000 знаков каждый. Для царя был жандармскими писарями переписан специальный экземпляр “Исповеди”, который, как видно яз пометки Дубельта, был представлен ему 13 августа. Таким образом довольно точно определяется время составления этого исторического документа: между 25 июня, когда Николай велел Бакунина допросить, и между 13 августа или точнее 10 августа (предполагая, что на доставку и переписку рукописи потребовалось 2—3 дня). Так как по словам Бакунина Орлов посетил его через два месяца по привозе его в Петербург, т. е. в первую декаду июля, то и выходит, что Бакунин в общем выдержал выговоренный себе месячный срок, и документ был написан примерно между 10 июля и 10 августа 1851 года.

Николай по-видимому читал рукопись довольно внимательно. Об этом свидетельствует множество пометок, которыми испещрен переписанный для него экземпляр. Все эти пометки мы здесь воспроизводим, стараясь по мере возможности точно соблюсти их место и характер. Эти пометки показывают, что несмотря на удовольствие, доставленное ему покаянным тоном Бакунина и бичеванием “гнилого” Запада, исповедь его не удовлетворила, ибо не дала ему того главного, чего он от нее ожидал, т. е. выдачи имен и фактов, относящихся к русскому оппозиционному движению. После прочтения ее царем она была дана для прочтения во первых наследнику, будущему Александру II (для которого Николай сделал в начале рукописи надпись: “стоит тебе прочесть: весьма любопытно и поучительно”), и во вторых послана для ознакомления наместнику Царства Польского Паскевичу, провидимому для надлежащего использования сообщаемых Бакуниным материалов о польском революционном движении (хотя вследствие сдержанности Бакунина жандармы в этом отношении особенно поживиться не могли).

Последняя надпись царя на рукописи гласит: “На свидание с отцом и сестрой согласен, в присутствии г. Набокова” (коменданта Петропавловской крепости).

Рукопись давалась для прочтения и некоторым другим лицам, которым Николай I мог вполне доверять. Что ее читал и шеф жандармов Орлов и его верный помощник Л. Дубельт, в этом не может быть сомнения. По приказу Николая Орлов давал ее для прочтения и князю А. И. Чернышеву, занимавшему в то время пост председателя Государственного Совета. В ответном письме его Орлову содержится фраза (“мне кажется, что... было бы весьма опасно предоставлять неограниченную свободу” Бакунину), наводящая на предположение, что-Николай запрашивал своих верных слуг, как по их мнению следует поступить с узником.

“Исповедь” публиковалась целиком дважды: в 1921 году Госиздатом в крайне небрежном виде и через два года в первом томе “Материалов для биографии Бакунина” под .ред. В. Полонского тоже с ошибками, из коих некоторые довольно грубые. В настоящем издании мы постарались дать точный текст этого документа, но только в современной транскрипции.

Наш текст отличается от текста оригинала в следующих пунктах.

1. Оригинал естественно написан по старой орфографии и старым алфавитом, наш текст—по новому сокращенному алфавиту и согласно новому правописанию.

2. Иностранные имена, названия и т. п. часто пишутся у Бакунина на иностранных языках; мы пишем их в большинстве случаев по-русски.

3. Неправильное или несвойственное установившимся в нашей литературе образцам начертание многих иностранных имен, названий и терминов у Бакунина вроде Кос[с]ут вместо Кошут, Тьерс

вместо Тьер, мажиары вместо мадьяры, демокрация вместо демократия и т. п. у нас исправлено согласно выработавшейся у нас традиции.

4. Неправильное или несвойственное нашему времени написание Бакуниным некоторых русских слов вроде интригант вместо интриган, учавствовать вместо участвовать и т. д. нами устранено.

5. Обращения к царю, слова “государь”, “величество” и т. п., которые в оригинале согласно обычаям самодержавной России писались прописным” буквами, у нас пишутся просто строчными.

Таким образом те изменения, которые мы в настоящем издании ввели в бакунинский текст, носят характер чисто внешних исправлений и ни в чем не меняют содержания или смысла оригинального текста.

Немецкий перевод “Исповеди” вышел под редакциею Курта Керстена в Берлине в 1926 году с несколькими интересными приложениями документов, взятых из архивов (наиболее важные из них мы используем в настоящем издании). Так как автор в качестве оригинала пользовался текстом, напечатанным в первом томе “Материалов” *В.* Полонского, то он повторяет все ошибки последнего: пояснительные добавления редактора для немецкого издания бедноваты и недостаточны.

Приводим некоторые работы относительно “Исповеди”: Л. Ильинский— “Новые материалы о Бакунине” (“Голос Минувшего” 1920—1921);

И. Гроссман-Рощин— “Сумерки великой души” (“Печать и Революция” 1921, № 3); Б. Козьмин— “Исповедь М. А. Бакунина” (“Вестник Труда” 1921, № 9); А. Корнилов—“Еще о Бакунине и его исповеди Николаю” (“Вестник Литературы” 1921, № 12); В. Н. Фигнер — “Исповедь М. А. Бакунина” (бюллетень книжного магазина “Задруга” 1921, № 1, декабрь, и в дополненном виде “Сочинения”, т. V, стр. 369—373);

М. Неттлау—“Исповедь Бакунина” (“Почин” 1922, №№ 8—9); А. Боровой и Н. Отверженный—“Миф о Бакунине”, Москва, 1925, изд. “Голос Труда”; см. кроме того общие сочинения о Бакунине.

Прежде чем перейти к рассмотрению отзывов об “Исповеди” Бакунина, скажем несколько слов о заметке на эту тему старого сотрудника Бакунина, впрочем разошедшегося с ним уже в 1874 г., именно о статейке М. П. Сажина “Исповедь М. А. Бакунина”, помещенной в сборнике “Unser Bakunin”, выпущенном издательством “Синдикалист” в Берлине в 1926 году. Здесь Сажин сообщает умопомрачительную новость. Если верить ему, Бакунин за границею полностью рассказал ему обо всех обстоятельствах, сопровождавших его освобождение из крепости. “Действительно,—пишет Сажин в 1926 году,—когда я позже (1920 года - *Ю. С.)* в Москве прочел написанный Бакуниным оригинал, я убедился, что он в своем рассказе ни о чем не умолчал и все подробно передал, в том числе и письмо к Александру II”. А Неттлау прибавляет во избежание недоразумения в прямых скобках: “1857”, т. е. покаянное прошение Бакунина.

Надо сказать, что еще до того Сажин в личной беседе сообщил В. Полонскому, что Бакунин рассказал ему полное содержание “Исповеди”. И. В. Полонский, принимая на веру это сообщение, наивно прибавляет: “Са-жин был вероятно единственным человеком, заслужившие такое доверие Бакунина”. Но даже этому доверчивому историку Сажин не говорил, что Бакунин признался ему в подаче покаянного прошения царю. Мне, который часто вел с ним беседы о Бакунине, Сажин ничего подобного не говорил, не говорил и о полной передаче ему Бакуниным содержания “Исповеди”.

Бакунин всю жизнь скрывал отрицательные стороны “Исповеди” (не говоря уже о покаянных прошениях) даже от таких старых и интимных друзей, как Герцен и Огарев. Кто поверит, чтобы он стал откровенничать на эту тему с молодыми людьми, вовлеченными им в революционную работу и

способными на такую откровенность учителя реагировать в совершенно нежелательной форме? Во всяком случае в русской печати, несмотря на появление ряда отрицательных отзывов об “Исповеди”, принадлежащих людям самых различных направлений, в том числе столь высоко стоящим, как В. Фигнер, Сажин не счел нужным поведать о таком сногсшибательном факте, как небывалая откровенность с ним Бакунина, сознавшегося ему якобы в подаче покаянного прошения о помиловании. И надо полагать, что не заикался он об этих вещах в русской печати потому, что был бы немедленно опровергнут.

А в немецком сборнике, предназначенном для заранее убежденных анархистов, можно было рассказывать такие сказки: во первых там самых элементарных фактов не знают (а кто знает, вроде М. Неттлау, тот спорить не станет!), а во-вторых будут поддерживать эти россказни из политических целей, дабы не допустить в лице Бакунина умаления анархистской традиции и анархистской легенды. Вероятно именно по таким политическим мотивам Сажин и пустил в ход этот рассказ в немецком анархистском сборнике. Ибо хотя мы знаем, что особой точностью насчет фактов Сажин никогда не отличался ни в молодости, ни тем паче в старости, мы все же не думаем, чтобы в такую грубую фактическую ошибку он мог впасть вследствие запамятования, а полагаем, что он сочинил это неправдоподобное сообщение для защиты памяти Бакунина. Но точная история не может считаться с выдумками, даже если они подсказаны самыми “похвальными” субъективными намерениями.

В той же заметке Сажин делает другое сообщение, которое мы регистрируем, не будучи и здесь уверены в его точности. А именно он сообщает, что в России Бакунину был оказан человеческий прием. Рассказав о грубом обращении с Бакуниным австрийских жандармов, Сажин якобы со слов Бакунина продолжает: “При передаче на русской границе все обращение с ним сразу изменилось: русский жандармский офицер немедленно приказал снять с него цепи, хорошо накормил его, относились к нему предупредительно... то же самое имело место в Петербурге, в Алексеевском равелине”. Тогда мол у Бакунина и появилась мысль, что Николай не станет обходиться с ним особенно жестоко, и у него явилась надежда на скорое освобождение; так возникла первоначальная идея “Исповеди”, которую Сажин рассматривает как попытку обмануть царя и вырваться на волю для продолжения революционной работы.

Переходим теперь к другим отзывам об “Исповеди”.

Первой заметкой об “Исповеди” была статейка некоего профессора

Л. Ильинского “Исповедь М. А. Бакунина”, напечатанная в № 10 “Вестника Литературы” за 1919 год. Содержание ее примерно такое же как и содержание его же статьи, помещенной в 1921 году в журнале ”Голос Минувшего” (о ней см. ниже).

Автор пишет, что ему “при разборе архива 3-го Отделения удалось найти этот ценный документ”; ему также удалось “заручиться и некоторыми другими документами” (при чем некоторые из них, как письмо Бакунина к царю от 1857 года, он пытался даже присвоить, так что позже его пришлось у него отнимать мерами административными). Заметка в свое время имела некоторое значение в том отношении, что в ней впервые опубликованы были отрывки из “Исповеди”. В этом смысле она встретила отголосок и в иностранной прессе, в частности послужила материалом для статьи Виктора Сержа в берлинском “Форуме” и дала толчок возникшей в связи с нею полемике.

Особенно конечно поражали те выдержки из “Исповеди”, которые были написаны в “верноподданническом” духе и тоне. По поводу этого усвоенного Бакуниным тона Ильинский говорил: “Мысль, что он пишет царю, не оставляет его, и письмовный ритуал почтения выдерживается строго. Это пишет Бакунин-верноподданный, каясь во всем своем прошлом”. Перед Ильинским естественно встает вопрос об искренности этого раскаяния; он дает на него неопределенный ответ, но в общем скорее склоняется к признанию его искренности. “Было ли это

искренне,—пишет Ильинский,— или это была уступка ввиду ясности “моего безвыходного положения”, сказать трудно на основании одной только этой “Исповеди”. Впрочем “впечатление (от знакомства с документами, относящимися к пребыванию Бакунина в крепостях и Сибири) далеко не в пользу Бакунина. Единственное, что может так или иначе смягчить, это — те условия, в которых был Бакунин”.

Далее Ильинский отмечает, что оценки; Бакунина и Николая I по ряду вопросов, не касающихся России, совпали: “анархист и монархист во многом сошлись”, а именно в отрицательных оценках ряда явлений европейской жизни.

Говоря о других документах, относящихся к подневольной жизни Бакунина, Ильинский замечает: “Его прошение Александру II, его прошение о зачислении в Сибири на службу (?)... и другие его письма из Сибири к официальным лицам—все это говорит далеко не в пользу Бакунина-революционера который после скрывал эти оттенки”.

Заметка Ильинского и ознакомление (по его словам) с оригиналом “Исповеди” дали французскому журналисту Виктору Сержу материал для статьи, написанной им в ноябре 1919 года и опубликованной в немецком переводе в берлинском журнале “Форум” (июнь 1921 года, стр. 373—380). Появление этой статьи, из которой европейская читающая публика впервые услыхала об “Исповеди” Бакунина, вызвало настоящую бурю. В то время как марксистские издания перепечатывали ее, используя ее содержание против анархизма, анархистские издания с злобой обрушились на нее и поместили ряд статей в защиту Бакунина и анархизма от невыгодных для последнего толкований его противников. Негодование анархистов против автора статьи было тем более велико, что до Октябрьской революции он под псевдонимом “Кибальчич” выступал в качестве анархиста и борца с его врагами. Ввиду этого Виктор Серж счел нужным напечатать свою статью, по его словам неточно переведенную на немецкий, в точном виде и опубликовал ее под заглавием “La Confession de Bakounine” в № 56 журнала “Bulletin Communiste” от 22 декабря 1921 года с предисловием Б. Суварина, в котором тот рассказал историю появления этой статьи в неверном немецком переводе и брал на себя защиту ее автора от нападок анархистских журналистов.

(Мы должны впрочем признать, что сличение текста обеих статей, немецкой и французской, показывает, что никаких извращений в немецком переводе не имеется)

В том и другом тексте статьи В. Сержа ничего обидного, во всяком случае нарочито оскорбительного для Бакунина и анархизма как такового, не имеется. Недовольство анархистов было очевидно вызвано самим фактом появления в европейской печати этой публикации, могущей быть использованной в неблагоприятном для анархизма смысле, и действительно имевшими место попытками в таком духе. Как и большинство других лиц, писавших об “Исповеди” Бакунина, особенно до опубликования его писем к родным из крепости, в которых он выражал верность старым убеждениям, Виктор Серж готов верить искренности бакунинских заявлений в “Исповеди”; но в этом пожалуй и заключается весь его грех, который он впрочем разделяет с рядом других анархистов, даже сохранивших свои анархистские взгляды неприкосновенными.

Вот впечатление, вынесенное им из ознакомления с “Исповедью” по тем ее отрывкам, которые появились в заметке Ильинского или о которых он узнал из чтения самой “Исповеди”: “Железный человек, непримиримый революционер, бывший втечение нескольких дней диктатором восставшего Дрездена, прикованный затем к стене своей камеры в Ольмюцской крепости, о голове которого спорили два императора, и который должен был вплоть до последнего дня оставаться инициатором и инспиратором цвета протестантов, духовный отец анархизма повидимому пережил страшный моральный кризис и не вышел из него незадетым. Немногого, быть может, нехватало для того, чтобы

дуб был вырван с корнем и пал... Кое-кто — и ведь и теперь, по прошествии 50 лет после его смерти, у него немало врагов — кое-кто станет пожалуй с злорадством говорить о “падении Бакунина"”.

По поводу слов Бакунина в письме к Герцену о том, что он в “Исповеди” позволил себе “смягчить формы”, В. Серж замечает: “Смягчить формы” покажется во всяком случае читателю “Исповеди” и других документов эвфемизмом”. Приводя отрицательные и насмешливые отзывы Бакунина о европейских движениях, в которых ему довелось принимать участие и которые затем изображались им как пустые и жалкие, Серж говорит, что “Бакунин” разочаровался не только в себе одном”. А по поводу сибирских писем Бакунина Серж, ссылаясь на сообщение читавшего их лица, говорит об их угодливом тоне. Но признавая, что Бакунин “несомненно унижался, проявил слабость”, Серж считает нужным подчеркнуть, что во всяком случае он “не предавал”, и что “в Исповеди нет ничего унизительного для его духа”.

Свою статью Серж заключает указанием на то, что непреклонным борцам, не спускавшим свое знамя до конца и погибшим в тюрьмах, а также тем, кто унаследовал их дух, “Исповедь” Бакунина причинит боль. В тот момент своей жизни Бакунин проявил шатание. Он не оказался “сверхчеловеком”. Более энергичный, более порывистый, более пылкий, более проницательный, более изобретательный, чем многие другие, он однако не был человеком непоколебимым. Так или иначе, он господствовал над своим поколением, он господствует и над нашим (писавший эти строки видимо чувствовал себя и в тот момент анархистом.—Ю. С.) , но мы предпочли бы видеть его несгибающимся, дабы впоследствии легенда о нем была более красивой. Ибо он — из тех, кто оставляет по себе легенду. Из недавно открытого нам человеческого документа выясняется, что у него, как и у других людей, были свои часы провала, и что, более крупный, чем большинство, он был сильнее ими изломан”.

Статья В. Сержа дала толчок появлению ряда газетных и журнальных статей, посвященных обсуждению проблемы “Исповеди”, а заодно и анархизма. В частности враждебные Бакунину статьи появились в нью-йоркском Call и в некоторых итальянских журналах. Разумеется анархисты не могли оставить этих статей без ответа. Присяжный бакуниновед М. Неттлау поместил в ответ на статью В. Сержа, напечатанную в “Форуме”, заметку в “Umanita Nova” (октябрь 1921) и в английском анархистском органе “Freedom” (декабрь 1921).

В полемику вмешались и французские газеты: так известная мадам Северин поместила на эту тему статью в “Journal du Peuple” за 1921 год, а В. Серж отвечал ей в той же газете в ноябре того же года. А после опубликования “Исповеди” по-русски в полном виде М. Неттлау поместил в названном “Freedom” (май 1922) другую статью, которая была переведена на русский язык и напечатана в журнале “Почин” (см. об этой статье дальше).

Еще в 1917 г. Л. Ильинский представил копию “Исповеди” в редакцию “Голоса Минувшего”, но кадетская редакции журнала, не желая видимо компрометировать противника марксистов и доставить, как она воображала, радость ненавистным большевикам, не напечатала этого документа, несмотря на его сенсационность. Только после того, как “Исповедь” была опубликована в 1921 г., “Голос Минувшего” поместил ту вводную статью Л. Ильинского “Новые материалы о Бакунине”, которою автор думал сопроводить печатание “Исповеди” в названном журнале, и которая представляет распространенный вариант его статьи, появившейся в “Вестнике Литературы” за 1919 год (см. выше). Автор понятия не имеет ни о биографии Бакунина, ни об относящихся к ней самых элементарных фактах. Но это не мешает ему изрекать истины с уверенным видом знатока. Впрочем в самой оценке ”Исповеди” он довольно сдержан. Он отмечает те униженные выражения по адресу царя, которые “придают некоторый подобострастный характер записке”, но оговаривается, что хотя в этом отношении оправдать Бакунина нельзя, но не приходится говорить и об искренности его в этих выражениях. “В общей массе написанного в “Исповеди” эти места как-то теряются, не влияют на ее

общий тон и характер. Все же остается действительно смелая, не без достоинства речь человека, независимого в своем внутреннем мировоззрении!" Здесь Ильинский имеет в виду отказ Бакунина выдать Николаю своих соучастников, чего тот ждал от узника. "Исповедь" Ильинский считает документом искренности—"искренности, не выходящей за пределы возможного для порядочного человека и честного деятеля". Тем не менее "Исповедь" в случае ее огласки способна была скомпрометировать Бакунина:

"такой материал, как "Исповедь" со всеми ее атрибутами, как обращение к государю, хотя бы в приведенных выражениях, письма Бакунина к официальным лицам, иногда с выражениями неуместными для деятеля революции,— все это было прекрасным материалом для дискредитирования личности и деятельности Бакунина, хотя бы даже в той ее части, где он выступает в резкой оппозиции русскому правительству". И дальше Ильичский сообщает о попытке III Отделения в 1863 г. выпустить брошюру "Михаил Бакунин, сам себя изображающий", составленную на основе "Исповеди" и других обращений Бакунина к властям во время его пленения в России.

Говоря о всеподданнейшем прошении Бакунина от 14 февраля 1857 года, доставившем ему освобождение из Шлиссельбурга, Ильинский, напоминая, что сам Бакунин в своем письме к Герцену об этом прошении умалчивает, прибавляет: "Объяснений, примиряющих в этом отношении нас с Бакуниным, нет. Можно сказать больше. Нет даже обстоятельств, смягчающих его вину". И говоря о дальнейшей его переписке с властями, Ильинский заключает: "Все эти документы являются для Бакунина-революционера уничтожающими. Оторванные от общей его жизни, от оценки их в масштабе всей этой крупной фигуры, они могут создать впечатление какого-то ренегатства или в лучшем смысле сознательной лжи перед властями, так свойственной лицам, спасающим себя, свою шкуру, лжи с нехорошим оттенком умалчивания о ней, подтасовки фактов в сообщениях о своей жизни друзьям... Но такой взгляд, такая оценка возможна лишь при тенденциозности подбора фактов... По вырванным страницам, случайно попавшим в поле зрения, трудно составить впечатление о всей книге. По представленным документам неосторожно было бы судить личность Бакунина. Они вскрывают новую страницу жизни Бакунина, но это—только страница".

Все это писалось до того, как стали известны письма, переданные Бакуниным родным на свидании в крепости в 1854 г. и свидетельствовавшие о верности его старым убеждениям.

А Корнилов в заметке, напечатанной в "Вестнике Литературы", высказывает — неизвестно на каком основании — уверенность, что Бакунин рассказал Герцену (как и Сажину) все содержание "Исповеди". "Поэтому о сокрытии перед друзьями не может быть и речи". Переходя к покаянному тону "Исповеди", Корнилов указывает, что этот тон не всегда выдержан.

Но, прибавляет Корнилов, другой тон в рассматриваемом документе был и невозможен: "можно было не писать исповеди или написать так, как она была написана. Другой тон ее в то время был бы немыслим". Под конец Корнилов утверждает, что "документ этот имеет всемирное литературное значение", не поясняя впрочем, что он хочет этим сказать.

В. Полонский, написавший предисловие к изданию "Исповеди" 1921 года, пустил в ход гипотезу, вполне подходящую этому скорее журналисту, чем историку, но к удивлению позже повторенную гораздо более серьезными людьми. А именно, приняв всерьез все выражения и тон "Исповеди", Полонский признал в ней наличие подлинного раскаяния и объяснил его возвращением Бакунина к юношеским взглядам на разумную действительность. "Романтик, не знавший твердо, чего он хочет, положившись на веру и подавив в себе все сомнения, — когда потерпел кораблекрушение, подверг переоценке свои прежние мысли и настроения и отвергнул их как заблуждения своего незрелого ума и чувства... Все грехи и преступления, как называет свою деятельность Бакунин, произошли по его мнению от ложных понятий. Все замыслы его, столь увлекательные в то время, в каменном уединении Петропавловской крепости... стали казаться ему донкихотским безумием .. (В тюрьме он)

усомнился в истине многих старых мыслей, т. е. тех, которые казались ему истинными на Западе, и вернулся к мыслям, еще более старым, к мыслям московского периода".

В своем восторге перед внезапно открывшейся ему истиной Полонский доходит до признания искренними комплиментов Бакунина Николаю I: "у нас нет никаких оснований не верить ему, когда он признается царю, будто под пеплом политических страстей в нем сохранилось какое-то особенное чувство к венценосцу Николаю". Еще бы, раз гегелевская разумная действительность, проповедником которой Бакунин был в 30-х годах, снова победоносно овладела его сознанием! "Попав за границу, захваченный всеобщим движением, он признал разумным бунт против действительности, потому что ведь самый бунт — тоже действительность. Но потерпев кораблекрушение, оскорбленный подлым подозрением, своим участием в дрезденском восстании хотевший смыть с себя черное пятно клеветы, он в каменном мешке Петропавловки разочаровался в действительности бунта и под диктовку разочарования пришел к заключению, — правда, опять временному, — что и в самом деле все действительное — разумно, что "история имеет свой собственный таинственный ход, что в жизни государств и народов есть много высших условий, законов, не подлежащих обыкновенной мерке", и так далее, словом все то, что читатель прочтет в "Исповеди" и что является чуть ли не повторением мыслей, изложенных в "предисловии" к гимназическим речам Гегеля".

Как увидим ниже, в таком же духе старались объяснить "Исповедь" и некоторые другие писавшие о ней. Всем им пришлось отказаться от этой надуманной, кабинетной гипотезы, как только опубликованы были записки, тайком переданные Бакуниным родным на свидании в феврале 1854 года.

Одного из первых об "Исповеди" высказалась Вера Николаевна Фиг-нер. Человек совершенно иного морального склада, чем Бакунин, В. Фигнер была потрясена как фактом "Исповеди", так и ее тоном. В этом документе по мнению В. Н. автор его "унижает свое прошлое—революционное прошлое 40-х годов". По видимому имея в виду мнение, высказанное мною в первом издании тома I моей книги о Бакунине, Фигнер не соглашается с ним:

"Иные высказывают мнение, — пишет она, — что "Исповедь" была применением правила "цель оправдывает средства", что Бакунин брал на себя личину; что он притворялся и лгал, чтобы вырваться на свободу и вновь отдаться кипучей революционной борьбе. Но это невероятно, противоречит общему тону рассказа, противоречит содержанию его переписки с родными из Шлиссельбургской крепости, противоречит наконец его поведению и образу жизни в Сибири, где он вызывал недоумение тех, кто хотел видеть в нем непреклонного борца за свободу". И дальше Фигнер склоняется к признанию покаяния Бакунина искренним: "Сомненья нет,— говорит она,—Бакунин в "Исповеди" был искренен... Если Бакунин "Исповеди" далек и совершенно чужд Бакунину, которого мы знаем по последнему десятилетию его жизни, то он родственен и близок Бакунину прямухинского периода, периоду перед отъездом в Берлин в 1840 году, когда он увлекался философией Гегеля, находил все существующее разумным и не только не возмущался "гнусной" русской действительностью эпохи Николая I, но находил ее прекрасной и был патриотом своего царя и отечества... В его психологии обнаружился атавизм, возврат к Бакунину 30—40-х годов". И Фигнер заключает:

"Смотря на дело в этой перспективе, можно понять "Исповедь". Можно сказать, что все мы, как почитатели, так и хулители Бакунина, создали мечту, иллюзию о цельности его натуры и его жизни, а "Исповедь" разорвала эту иллюзию на-двое. Иллюзия разорвана на-двое, но величавая фигура Бакунина и любовь к нему остаются. И в этом деле, быть может, всего печальнее, что после "исповеди" перед Николаем I он не сделал исповеди перед своими друзьями и единомышленниками".

Через 4 года Вере Фигнер пришлось отказаться от своей точки зрения. Приведя несколько выдержек из его тайком переданных писем из крепости, в которых выясняется его верность старым

революционным убеждениям, Фигнер пишет: “Эти цитаты заставляют думать, что “Исповедь” Николаю I была приложением правила “цель оправдывает средства”, но это не может удовлетворить и успокоить потрясенного читателя”.

На несколько отличной позиции стоит известный исследователь нашего революционного прошлого Б. П. К о з ь м и н. В своей заметке-рецензии об “Исповеди” он признает покаяние Бакунина непритворным, говоря: “Полонский вполне прав, когда он отвергает мысль о притворстве Бакунина. При чтении “Исповеди” всякие сомнения в искренности ее автора отпадают... Бакунин искренен. Он писал то, что действительно думал, говорил о том, в справедливость чего в то время он верил. Он.... действительно каялся”. Но дальше Козьмин отвергает гипотезу Полонского, будто Бакунин в крепости вернулся к оправданию действительности. По мнению самого Козьмина тон “Исповеди” объясняется тем, что Бакунин разочаровался в государственных формах современной ему Западной Европы, а также в революционном движении 1848 года, носившем чисто политический характер. Отсюда его увлечение славянством (но разве оно не присуще было Бакунину раньше?—Ю. С), мысль о революционной диктатуре и надежда склонить Николая I взять на себя эту революционную диктатуру (?) и освобождение славян.

Это разочарование Бакунина началось не в Петропавловской крепости, а гораздо раньше. Это было разочарование не в целях, а в средствах к их достижению. Разочаровавшись в радикальных средствах, в путях бунтовских, “Бакунин столь же искренно и горячо уверовал в... путь демократического цезаризма”, а “Исповедь” и была выражением этой новой веры. Правильность такого толкования по мнению Б. Козьмина якобы доказывается содержанием брошюры Бакунина “Народное Дело” 1862 года, в которой допускается примирение революционеров с царем, если он согласится стать царем “земским”. А так как в те времена мысль о полной противоположности царизма интересам масс была еще не достаточно ясной, то, по мнению Козьмина Бакунин заслуживает снисхождения.

Далее следует группа отзывов об “Исповеди”, принадлежащих писателям, разделяющим анархистское мировоззрение. Эти люди естественно сильнее других почувствовали удар, ставивший под сомнение революционную честь одного из основоположников их партии, а с другой стороны они опасались использования этого неприятного факта противниками анархизма для скомпрометирования последнего. Поэтому они никогда не договаривают до конца, пытаются обходить острые углы и говорить не на тему, а в сторону от нее и притом выражаться неопределенными фразами, допускающими различное истолкование.

И. Гроссман-Рощин, анархизм которого уже в то время дал изрядную трещину, в заметке “Сумерки великой души” в сущности становится на позицию В. Полонского. “Эта исповедь, — говорит он, — позор и падение, позор великой души, но позор, падение титана, но все-же падение”. Но чем же оно объясняется? Психологическим дуализмом Бакунина. не сумевшего довести до конца материалистическое понимание мира, ввести веру и волю в рамки объективного исторического процесса. “Разочаровавшись во всесилии духа разрушения, увидавши, что и воля не владыка и, не созидательница “обстоятельств”, Бакунин должен был удариться в противоположную крайность и признать всесилие лютого врага своего — объективного хода вещей. Смертельно раненый в неравном бою, Бакунин кается и ищет, напряженно, по донкихотски честно, своего врага, чтобы вручить ему жезл и корону и сказал ему: от имени воли и веры заявляю тебе, Демиург истории, перводвигатель мира, первооснова всех вещей, мы побеждены и каемся в грехах наших, в безумии нашем! Реально и конкретно это поражение воли и веры выразилось в этой исповеди, в этом письме к царю”. Другими словами Гроссман-Рощин признает искренность разочарования и раскаяния Бакунина. Это еще яснее видно из его дальнейших слов: “Бакунин в один момент своего бытия, ослабленный, одинокий, потерпевший поражение за поражением, усомнился в правде движения, революции и воли, страшной правдой показались ему Покой, Объективный ход истории и Классово-Обломовская покорность. В

этот страшный час, в этот тяжкий час на сцену выступил и символ покоя, безволия, покорности ходу вещей, и символом этой духовной Сахары явилось письмо к Николаю I".

Не соглашаясь с тем, что "Исповедь" серьезно роняет Бакунина как революционера, что она разрушила легенду о Бакунине-Прометее, Гроссман-Рощин подчеркивает, что позже Бакунин воскрес и только тогда сделался анархистом.

Характерная анархистская заметка об "Исповеди" появилась без подписи в журнале "Почин" 1921—1922, № 4—5, стр. 14 сл. Несмотря на тенденциозность автора, вдобавок не всегда выражающегося достаточно вразумительно, заметка исходит из правильного отрицания искренности "Исповеди". Автор усматривает в ней "вынужденную неискренность, тактическую ложь по отношению к слепой и грубой силе самодержавия". Аноним (быть может именно потому, что аноним) настолько смел, что отказывается осуждать Бакунина за проявленную им склонность к компромиссу, хотя бы в области форм. По его мнению Бакунину за "Исповедь" "не перед кем каяться: ни перед обществом, к которому он не обращался подобно Белинскому я Некрасову (?), ни перед товарищами, которым он не изменял, к которым он стремился всей душой... Если "Исповедь" Бакунина позорна и унизительна, то не для его мощного исторического облика, а для извращающего начала государственной власти". Далее автор даже высказывает предположение, что нравственный разлад, испытанный Бакуниным при писании "Исповеди" и вследствие принуждения его ко лжи, усилил его отрицательное отношение к государству и толкнул его позже к анархизму. Впрочем приоритет этой оригинальной мысли принадлежит и здесь В. Полонскому, который в цитированном предисловии к "Исповеди" писал: "Можно даже предположить, что необузданность (?!) его анархической деятельности питалась тягостными воспоминаниями о прошлом "падении", которое надо было искупить самой дорогой ценой".

Заметка М. Н е т т л а у, напечатанная в № 8—9 "Почина" за 1921— 1922 гг., стр. 11 сл., представляет перевод его статейки, помещенной в английском анархистском журнале "Freedom" за май 1922 г. Еще до того Неттлау поместил в том же журнале (октябрь 1921 года) статейку в ответ на статью В. Сержа, появившуюся в "Форуме". Текст, напечатанный в "Почине", отличается от текста статьи Неттлау в майском номере "Фри-дома" во-первых тем, что в последней имеется предисловие, которого в "Почине" нет, а во-вторых тем, что в русском переводе опущены некоторые места—не знаем, автором или же редактором русского анархистского журнала. Например там, где Неттлау говорит о национализме, лежащем в основе "исповеди", у него дальше сказано: "Он и позже не был свободен от этих националистских преувеличений, затушевывавших и сковывавших его более тонкие чувствования, вплоть до 1864 года, и даже после того этот демон дремал в нем, сдерживаемый единственно ободряющим зрелищем международного рабочего движения с -момента его возникновения".

Неттлау находит, что хорошая встреча, оказанная Бакунину в России, предрасположила его к откровенности с царем. С другой стороны эта встреча внушила ему надежду, что он будет жить и когда-нибудь снова добьется свободы. Вот каковы были мотивы, руководившие им в течение дальнейших 10 лет и в частности в то время, когда он писал "Исповедь". Последняя показывает, что Бакунин решил добиться свободы "достойными средствами", отказавшись от предательства, и для одурачения царя прибег к "тонкому приему", выражавшемуся в том, что Бакунин "умалял свое собственное значение и вместе с тем брал на себя полную ответственность за то, что он делал и когда-либо намеревался делать". "Покорный тон некоторых мест" тоже "не должен шокировать", ибо царь и не стал бы читать документа, написанного в иной форме. "В общем он хотел провести царя видимою искренностью, говоря правду, но далеко не всю правду".

Таким образом Неттлау в общем дает правильную оценку "Исповеди", хотя явно стремится ослабить теневые ее стороны в интересах реабилитации Бакунина.

Можно ли упрекать Бакунина за “Исповедь”, спрашивает Неттлау и отвечает: “Я думаю, что он был волен делать то, что он считал лучшим, и что только “елейная прямолинейность” найдет его поступок неправильным”.

Переходя к оценке “Исповеди” как документа исторического, Неттлау замечает: “В содержании “Исповеди” не все одинаково ценно в смысле историческом и биографическом”. Умалчивания Бакунина показывают, что “он принимал все меры к тому, чтобы не повредить ни лицам, ни идеям”,

Неттлау правильно отклоняет попытки большинства анархистов отмахнуться от “Исповеди” указанием на то, что в 1851 году Бакунин не был еще дескать законченным анархистом.

Крупным недостатком “Исповеди” является по словам Неттлау проникающий ее национализм. Упомянув о попытке Бакунина в 1848 г. обратиться с письмом к царю, предлагавшим ему стать во главе славянского движения, Неттлау прибавляет: “Это показывает, куда логически ведет национализм даже лучших людей: он привел Бакунина, по крайней мере по духу и намерениям, в объятия Николая I”. А сама “Исповедь” есть “логический вывод националистического мировоззрения”.

В дальнейших компромисных действиях Бакунина Неттлау обвиняет самодержавный режим, вынуждавший дескать на такие действия. Так ответственность за подачу Бакуниным прошения о помиловании Неттлау возлагает на мелочность Александра II. В общем Неттлау видимо смущен открывшейся картиной и не знает, как выпутаться из создавшегося положения. Свою заметку он заканчивает следующей тирадой: “Быть справедливым и рассуждать на основании серьезных исторических данных (В английском тексте сказано: “proper historic khowledge”, т. е. ”собственных знаний по истории”.) — вот все, что требуется, и тогда также и эта исповедь встретит полное понимание, как человеческий документ действительности и фантазии, смелости и хитрости — порождение их середины (В оригинале сказано: “its milieu”, т. е. “его среды”.), что и не могло быть иначе”.

Раз заговорив о Неттлау, мы приведем здесь и другие известные нам отзывы его об “Исповеди”.

В заметке “Жизненное дело Михаила Бакунина”, помещенной в выпущенном в Берлине издательством “Синдикалист” в 1926 г. сборничке “Наш Бакунин”, М. Неттлау говорит, что “Исповедью” Бакунин “очень ловко сумел отделаться от дальнейшего следствия, правда ценою долголетнего тюремного заключения, подорвавшего его здоровье”. И Неттлау прибавляет: “Если бы русские правительства с 1851 по 1917 год могли использовать этот документ против Бакунина, они бы это сделали; одно это должно предохранить от имевшего с 1919 года место злоупотребления этим документом, которое в 1921 году вскоре по опубликовании его прекратилось”.

В том же сборнике Неттлау полемизирует с статейкою К. Керстена, переводчика “Исповеди” на немецкий язык, напечатанной в журнальчике “Die neue Bьcherschau” 1926 (6 Jahr, 4 Folge, erste Schrift, стр. 8 сл.) под заглавием “Поэт революции”. По словам Керстена “хотя эта “Исповедь” представляет автобиографию, но в действительности это—смесь “вымысла и правды”, она свидетельствует о фатальной двойственности деклассированного человека. В мировой литературе нет документа, который мог бы сравниться с этим писанием. Ее можно использовать как исторический источник, но с решительным скептическим подходом, ее можно рассматривать как чисто психологический документ—и будешь сбит с толку, можно усмотреть в ней шедевр политической дипломатии революционера и вместе с тем испытывать отрицательное отношение к методам, к которым прибегает этот политический узник”. Отмечая, что никогда Николай не слыхал ничего подобного тому, что наговорил ему Бакунин в “Исповеди” о самодержавной системе правления, Керстен указывает, что перехитрить царя Бакунину не удалось, и что тот в раскаяние его правильно не поверил.

Но рукопись “Исповеди” осталась в руках правительства страшным оружием против Бакунина, и мысль о возможности опубликования ее всю жизнь висела кошмаром над ее автором, парализуя его энергию в наиболее решительные минуты.

В этой гипотезе и заключается оригинальная сторона заметки Керстена. Напоминая о том, что в разгар выступлений Бакунина на стороне поляков в 1863 году русское правительство собиралось издать брошюру Шведа “Михаил Бакунин в собственном изображении”, содержавшую ряд извлечений из “Исповеди” и других покаянных писаний Бакунина, Керстен именно этим объясняет отъезд Бакунина из Швеции, его разрыв с Герценом (!) и временный отход от революционной работы. “Почему брошюра не была опубликована,—говорит Керстен,—мы не знаем... Твердо установлено только, что Бакунин скоропалительно покидает Швецию, порывает сношения с поляками, вступает в конфликт с Герценом. Все окутано туманом... Не. показали ли ему в Стокгольме рукопись брошюры?” Через семь лет, в разгар революционного брожения во Франции в 1870 г., в котором Бакунин принимает личное участие, снова заговаривают об опубликования вышеназванной брошюры для морального скомпрометирования Бакунина (на самом деле русское правительство хотело нанести Бакунину удар за его активное участие не в французском движении, а в нечаевском деле). Снова брошюра не публикуется, но снова Бакунин быстро сходит со сцены.

Через два года (на самом деле через 3—4 года) во время итальянских волнений “должен был в третий раз вынырнуть призрак. В третий и в последний раз. Теперь Бакунин окончательно отказывается от всякой революционной работы. Над жизнью его тяготело проклятие”.

Против этой гипотезы, свидетельствующей только о плохом знакомстве ее автора с фактами, справедливо возражает Неттлау в своей заметке, напечатанной в упомянутом сборнике и озаглавленной “Бакунин и его “Исповедь”.

Возражение Курту Керстену”, Неттлау напоминает, что о поездке в Италию Бакунин думал еще в 1862 г., т. е. задолго до того, как в Петербурге решили выпустить против него брошюру; что уехав в октябре 1863 г. из Швеции, он снова приехал туда в 1864 г., что сношения его с поляками прервались по причинам, не имевшим никакого отношения к брошюре, и по столь же не от него зависевшим причинам произошла ссора его с сыном Герцена; словом никаких доказательств связи между действиями Бакунина и подготовлением брошюры не существует.

Второе указание Керстена на французские события столь же неосновательно. Существует масса документов, из которых мы узнаем о планах, настроениях и действиях Бакунина за это время. Никакого отношения к плану русского правительства издать названную брошюру они не имеют, и отъезд Бакунина из Лиона, а позже из Марселя объясняется известными фактами, связанными с ходом событий в этих городах и приводившими к мысли о безнадежности местных восстаний в ближайшее время. Брошюра никакого отношения ко всему этому не имела (да впрочем Керстен, чего не замечает Нетглау, и сам не говорит здесь, что Бакунин узнал о возобновлении намерения русского правительства издать против него брошюру).

Наконец третья ссылка Керстена на итальянские события и отход Бакунина от политической деятельности столь же легковесна. Во-первых два года спустя после отъезда Бакунина из Франции никаких волнений в Италии не было, а вспыхнули они только в 1874 году; далее заявление Бакунина об его уходе в частную жизнь связано вовсе не с мифической брошюрою, о которой в то время русское правительство и не помышляло, а с другими, там великолепно известными мотивами (при том, чего здесь не указывает Неттлау, уход этот был в значительной мере фиктивным). Действительный отход Бакунина от участия в революционной работе состоялся только в 1874 г., и опять-таки без всякого отношения к брошюре, а вследствие разочарования и личного разрыва с товарищами по Альянсу. И Неттлау справедливо говорит, что оставив почву фактов, Керстен вступил на почву романа. Но дальше он сам сходит со строго фактической почвы, пытаясь доказать, что не

Бакунин боялся опубликования “Исповеди”, а боялось этого само правительство, опасавшееся, что в случае опубликования брошюры Шведа, Бакунин даст ему такой ответ, который скомпрометирует царизм и разоблачит жестокости, царящие в его застенках. Последнее отчасти верно, но что Бакунину перспектива разоблачения проявленной им слабости не могла быть приятной, в этом тоже сомневаться не приходится, хотя и не следует этого страха преувеличивать: отговориться, в особенности указанием на продолжение им революционной работы, Бакунин всегда сумел бы.

Последний по времени отзыв М. Неттлау об “Исповеди”, данный им в книге “Der Anarchismus von Proudhon zu Kropotkin”, Берлин 1927, стр. 34, гласит: “Это—в высшей степени сложный документ, с помощью которого Бакунин путем уничижения своей личности добился своей цели—избавить себя от действительного инквизиторского следствия относительно польских и других дел, что помогло его делу. Под внешней откровенностью скрывается глубочайшая скрытность. Искренен, только националистический тон, так как мы неоднократно снова встречаем его в ряде писем и манускриптов, написанных в обстановке полнейшей свободы. Форму приходилось приспособить к взятой на себя роли, и как бы отталкивающе и тяжело ни действовал на первый взгляд этот документ, тем не мечее все выясняется, когда к нему подходишь с знанием относящегося сюда богатого материала” (Кроме названных выше М. Неттлау, насколько мне известно, поместил еще заметки об исповеди в “Freie Arbeitsstimme”, “Le Libertaire” и “Rцda Fanor” за 1922 и 1925 годы, но нам не удалось их достать. Впрочем вряд-ли они содержат что-либо новое сверх высказанного в рассмотренных выше отзывах М. Неттлау об этом документе.)

В рецензии на “Исповедь”, помещенной в журнале “Печать и революция” 1921, книга 3, стр. 202 сл., А. Боровой стоит приблизительно на точке зрения Гроссмана-Рощина. Признавая “Исповедь” человеческим документом колоссального исторического и психологического значения, Боровой в отличие от Неттлау готов признать в ней наличие действительного покаяния, хотя и не в том смысле, какой этому термину придавали жандармы.

Отмечая, что “внешних заявлений раскаяния в “Исповеди”—бесчисленное количество”, и что они “производят тяжелое впечатление”, Боровой полагает, что “центр ее — не в этих заявлениях,... что они лишь — невольная дань условиям места, в которых находился Бакунин”.

По мнению Борового <Исповедь” нужна была Бакунину не только для царя, не только для облегчения собственной участи. “Она нужна была ему для его личного покоя как средство отделаться от прошлого, испепелить его гнетущие призраки”. Составляя исповедь, Бакунин переживал период душевного перелома, подлинного раскаяния в прошлой работе и разочарования в предыдущем этапе своего развития. “Исповедь” — этап жизни, кипучей, необычайно сложной, то вдохновенно-пророческой, то богемно-бестолковой, этап, пройденный до конца и принесший Бакунину со святым “духовным пьянством”, “пиром без начала и конца”, восторгами пережитых мгновений глубокую, незаглушимую ничем горечь разочарований, мучительный стыд за ошибки и неудачи. Отсюда ненасытная жажда очищения от налипшей грязи, отсюда жестокая “расправа” над прошлым, не давшим подлинного удовлетворения революционера. Они—естественный продукт обид и неудач этого первого этапа революционной деятельности Бакунина”. И дальше: “Волнуясь и спеша, казнил себя Бакунин. Его “Исповедь” — прежде всего исповедь перед самим собою. В ней излил он свою скорбь, свою усталость, свое отвращение. Кому бы, для кого бы ни писалась “Исповедь”, кто бы ни читал ее,—в ней стояли бы все те же слова, что нашел и царь”.

Об отступничестве Бакунина, как показала вся его дальнейшая жизнь, или о готовности его купить себе облегчение участи ценою отступничества не может быть и речи. По мнению Борового “Исповедь” вообще не может бросить никакой тени на мировоззрение Бакунина. Это был этап, после которого он воскрес для новой, более плодотворной жизни. “И вопреки мнению тех, кто в тревоге за возможное якобы потускнение образа любимого героя, за омрачение его имени скорбит о появлении “Исповеди”, надо наоборот приветствовать документ, с неслыханной силой и искренностью

рисующий образование великой души великого революционера. Немногим дано было видеть тайный рост ее зреющих сил, тюрьма же раскрыла нам настежь двери в самые сокровенные углы ее".

Неудивительно, что другой анархист, Н. Отверженный, выпустивший спустя четыре года совместно с тем же А. Боровым книжку "Миф о Бакунине", не соглашается с точкой зрения своего сопартийца, делающего из нужды добродетель и готового усмотреть в "Исповеди" подлинное покаяние, представляющее на его взгляд не минус, а плюс, подъем на более высокую ступень. Для этого Отверженный не достаточно самоотвержен. Правда в предисловии к названной книжке реванш берет как будто Боровой, судя по следующей фразе: "Многокрасочный его (Бакунина) путь, подчас противоречивый, идущий мимо бездн к высотам творческого самоутверждения, представляется авторам более ценным, чем прямой и безошибочный [путь] безжизненного догматизма". Но судя по дальнейшему содержанию брошюры, в которой Боровой "Исповеди" уже не касается, а избирает менее скользкую тему о возможности сопоставления Бакунина с Став-рогиным в "Бесах" Достоевского, тогда как основная статья сборничка — "Проблема Исповеди" написана Н. Отверженным, отвергающим позицию в этом вопросе Борового, приходится допустить, что в анархистских кругах преобладанием пользуется его точка зрения, совпадающая приблизительно с точкой зрения М. Неттлау.

Никакого подлинного покаяния со стороны Бакунина Отверженный не усматривает, а видит в "Исповеди" сплошное притворство, продукт "Нечаевской" тактики, считавшей все средства дозволенными для достижения благой цели. "Без сомнения "Исповедь" — самая утонченная игра духовного притворства, какую когда-либо приходилось вести величайшему мастеру конспиративных заговоров и организатору тайных революционных обществ, но вместе с тем она—замечательный памятник анархической—неоформленной стихии Бакунина той эпохи". Конечно в "Исповеди" содержится много выражений в духе покаяния, но "необходимо понять, что этот образ является только личиной Бакунина, искусной маской притворства". Не следует впрочем преувеличивать возмущение тоном записки; "перед нами определенный стиль той эпохи смягчения формы", и в доказательство автор приводит выдержки из некоторых обращений А. И. Герцена 1840 и 1842 гг. к начальству, составленные в таком же примерно духе. Так или иначе в "Исповеди" мы имеем дело с документом "нечаевского" стиля, каковой для Бакунина не являлся уже и тогда чем-то новым или неожиданным. Ссылаясь на свидетельства В. Белинского, Т. Грановского и других знакомых Бакунина по 30-м годам, Отверженный приходит к тому выводу, что "еще в годы юности Бакунин порой обнаруживал известное пренебрежение к общепризнанным догматам", что он "еще в детстве | был] глубоко и органически чужд тем нравственным обязательствам, общественным догматам, которые властно тяготели над его современниками" (в пример он приводит отношение Бакунина к денежному вопросу). И "Исповедь" — "в этом смысле дерзкий вызов общепринятым догматам и абсолютной истине". Раз открывалась какая-то возможность добиться свободы, Бакунин не поколебался покривить душой: "Путь единственный к свободе и революционной деятельности был путь трагической Голгофы (какая же для "нечаевца" может быть трагическая Голгофа?—Ю.С.*),* путь нравственного унижения и душевного страдания. На лицо необходимо было надеть позорную маску "отречения". Этот путь был единственный, дающий возможность если не получить свободу, то мечтать о ней, и Бакунин бесстрашно бросил на алтарь революции свою честь, личное мужество и революционную непримиримость".

В прошении о помиловании от 14 февраля 1857 г. Отверженный снова усматривает дальнейшее проявление той же "нечаевской" тактики. "Это письмо, — говорит он, — лучший аргумент того, как "нечаевская стихия", доведенная до пределов логического бесстрашия, могла обезличить даже такую мощную индивидуальность, каким был Бакунин" (за стиль Отверженного мы не отвечаем).

Не вступая в полемику с автором этих строк, можно только спросить его, зачем он применяет к охарактеризованной им тактике эпитет “нечаевской” Ведь Нечаев, попав в крепость, вел себя вовсе не по “нечаевски” в кавычках. Зачем же ему отвечать за других?

В “Записках русского исторического общества в Праге” (книга 2, Прага 1930, стр. 95—124) Б. А. Евреинов поместил статью “Исповедь М. А. Бакунина”, представляющую уникум в литературе, посвященной рассматриваемому вопросу: ни один революционер не отнесся так строго и беспощадно к Бакунину за “Исповедь”, как этот белогвардейский критик. Так как заграничный журнал недоступен широким кругам нашей читающей публики, то мы приведем из названной статьи ряд выдержек.

Прежде всего автор в отличие от Корнилова считает более “осторожным признать, что истинный характер “Исповеди” был скрыт Бакуниным (от друзей.— Ю.С.*)*. Он не утаил лишь самого факта своего обращения к царю из Петропавловской крепости”. И это неудивительно ввиду содержания “Исповеди”, ее характера, “ее льстивого, подобострастного, верноподданнического тона”, которые на первых порах произвели ошеломляющее впечатление, особенно в кругах анархистских. “Те, кто привык смотреть на Бакунина как на учителя и вождя, кто склонен был ставить его на пьедестал и верить в цельность и непреклонную силу его характера, были крайне смущены как самим фактом “покаянного” обращения Бакунина к царю Николаю I, так и в особенности содержанием и тоном этого обращения”. Даже если принять во внимание, что таких фактов в истории русского революционного движения было немало, “документ этот поражает нас неприятно и болезненно и делает естественными и законными недоуменные вопросы”, было ли это искренними заявлениями или хитрым приемом.

“Другие революционеры приходили к покаянному настроению в конце своей революционной карьеры. “Исповедь” Бакунина прорезывает его революционную деятельность в самой середине ее”.

Евреинов думает, что в тюрьме Бакуниным овладело действительное разочарование, что он произвел переоценку ряда своих прежних позиций, и что он сознал свою основную ошибку, заключавшуюся в преувеличении революционной готовности народов славянских и русского.

Таким образом в “Исповеди” перемешаны элементы хитрости с элементами покаяния. “Это произведение Бакунина сложно и интересно не только потому, что в нем причудливо сочетаются два плана: один—униженный, льстивый и покаянный, и другой — твердый, обличительный и агитационный, но также и тем, что оба эти плана органически друг с другом связаны и друг друга дополняют”. В “Исповеди” “далеко не все сводится к желанию “одурачить”. Несомненно, что во многих своих разочарованных словах и мыслях Бакунин был вполне искренен”. И в доказательство своей мысли Евреинов (подобно Б. Козьмину) ссылается на ту же брошюру “Народное Дело”, в которой говорится о “земском царе”. Но необходимо подчеркнуть, что все цитированные выше авторы, допускавшие наличие некоторых элементов покаяния в “Исповеди”, держались этого мнения до тех пор, пока не стали известны записки Бакунина, тайком переданные им родным на свидании в феврале 1854 года, тогда как Евреинов высказал это мнение о действительном раскаянии Бакунина и о подлинном его разочаровании в революции через пять лет после опубликования упомянутых записок.

Далее, те авторы, которые допускали действительность разочарования Бакунина, полагали все же, что для него писание “Исповеди” связано было с душевной мукой, с глубокими нравственными страданиями; иные из них даже говорили о падении Бакунина.

Евреинов ни с чем подобным не согласен—и просто потому, что он держится самого отрицательного взгляда на Бакунина как на моральный тип. Он не согласен с взглядом, что “Бакунин обладал “великой душой”, непреклонным, гордым и благородным характером”. Он тщательно подбирает все личные недостатки Бакунина, его легкомысленное отношение к деньгам, деспотизм, вмешательство в

чужие дела, его поведение в Сибири, даже непочтительное отношение к родителям, у которых он однако не стыдился мол брать деньги (!), приводит отрицательные отзывы о нем Белинского и Герцена, его действия во время экспедиции Лапиньского, причем (возможно просто по невежеству) не удерживается от клеветы, его лукавство, дипломатическую изворотливость, актерство, пасование перед силой (?)—все для того, чтобы "отнести Бакунина к категории людей, моральный уровень которых невысок". А отсюда следует у него естественный вывод: "Я не вижу в "Исповеди" "падения", так как она не вызвала трагедии в душе Бакунина, а пробудила в нем лишь чувство игрока, готового сделать ловкий, ход".

И заключение Евреинова гласит: "Исповедь" и *не* падение, и *не* трагедия; она—плод спокойной мозговой работы человека, с удивительным мастерством сплетающего в один неразрывный клубок Dichtung und Wahrheit" (вымысел и правду).

Из зарубежных отзывов укажем еще на статью Яна Кухаржевского в краковском "Przeglad Wspфlczesny" 1925, №№ 42 и 43. Основываясь на "фактах" из истории русского революционного движения от декабристов до Б. Савинкова, Кухаржевский утверждает, что любовь к покаянию, стремление сжечь то, чему раньше поклонялся, жажда распластаться перед торжествующей силой — все это патологические, темные черты "русской души".

В пример он приводит Кельсиева и Ф. Достоевского. По мнению Кухаржевского Бакунин не был человеком веры в правду и в торжество морали; для него имела значение реальная сила, лишь с нею следовало считаться—все равно, имея ее за себя или против себя. Те же черты, которыми отличается "Исповедь", смесь правды с ловко преподнесенной ложью, встречаются и в других писаниях Бакунина. Уклонение от истины ради вернейшего достижения поставленной себе цели всегда было ему присуще. Создав себе ложное представление о Николае I, Бакунин пытался воздействовать на него в своих целях, в частности панславистских,— и ошибся.

Надежда Яффе в заметке об "Исповеди" в "Ежегоднике культуры и истории славян" ("Jahrbьcher fьr Kultur und Geschichte der Slaven" 1927, N. F., Band III, Heft III, стр. 365 сл.) считает весьма вероятным, что "в крепостном заключении вся его (Бакунина) прошлая деятельность представлялась ему донкихотством". Она допускает, что "некоторая идейная общность между царем и революционером повидимому действительно существовала. Как видно из заметок Николая на полях, он разделял многие мысли Бакунина: его презрение к Западу, его преклонение перед славянами". Яффе думает, что некоторое раскаяние Бакунин серьезно испытывал после неудачи его революционных предприятий: "Разумеется, раскаяние Бакунина не было таким полным, его поклонение Николаю не было таким глубоким, как он старался это выразить, наверно в нем сильна была задняя мысль таким путем добиться своего освобождения". Но все же Николай по ее мнению остался "Исповедью" доволен, в доказательство чего она приводит апокрифические слова его, сообщаемые Герценом, что Бакунин мол— хороший и честный малый, но что его надобно держать взаперти. Касаясь прошения Бакунина о помиловании от 14 февраля 1857 г., Яффе замечает, что это "письмо еще в сильнейшей степени, чем "Исповедь", разрушает легенду о твердости бакунинского характера".

Пометки Николая I - Текст курсивом в скобках, относится к выделенному тексту - смотри предисловие (“….Николай I по-видимому читал рукопись довольно внимательно. Об этом свидетельствует множество пометок, которыми испещрен переписанный для него экземпляр. Все эти пометки мы здесь воспроизводим, стараясь по мере возможности точно соблюсти их место и характер….”)

X [25] – смотри № коментария в конце (ldn-knigi)

И с п о в е д ь

[Июль—начало августа 1851 года. Петропавловская крепость.]

Ваше императорское величество,

всемилостивейший государь!

Когда меня везли из Австрии в Россию, зная строгость русских законов, зная Вашу непреоборимую ненависть ко всему, что только похоже на непослушание, не говоря уже о явном бунте против воли Вашего императорского величества, зная также всю тяжесть моих преступлений, которых не имел ни надежды, ни даже намерения утаить или умалить перед судом, я сказал себе, что мне остается только одно — *терпеть до конца,* и просил у бога Силы для того.

Чтобы выпить достойно и *без* подлой слабости горькую чашу, мною же самим уготованную. Я знал, что, лишенный дворянства тому назад несколько лет приговором правительствующего сената и указом Вашего императорского величества, я мог быть законно подвержен телесному наказанию, и, ожидая худшего, надеялся только на одну смерть как на скорую избавительницу от всех мук и от всех испытаний.

Не могу выразить, государь, как я был поражен, глубоко тронут благородным, человеческим, снисходительным обхождением, встретившим меня при самом моем въезде на русскую границу! Я ожидал другой встречи. Что я увидел, услышал, все, что испытал ”продолжение целой дороги от Царства Польского до Петропавловской крепости, было так противно моим боязненным ожиданиям, стояло в таком противоречии со всем тем, что я сам по слухам и думал и говорил и писал о жестокости русского правительства, что я, в первый раз усумнившись в истине прежних понятий,

спросил себя с изумленьем: не клеветал ли я? Двухмесячное пребывание в Петропавловской крепости окончательно убедило меня в совершенной неосновательности многих старых предубеждений.

(Отчеркнуто карандашом на полях)

Не подумайте впрочем, государь, чтобы я, поощряясь таковым человеколюбивым обхождением, возымел какую-нибудь ложную или суетную надежду. Я очень хорошо понимаю, что строгость законов не исключает человеколюбия точно так же, как и обратно, что человеколюбие не исключает строгого исполнения законов. Я знаю, сколь велики мои преступления, и, потеряв право надеяться, ничего не надеюсь,—и, сказать ли Вам правду, государь, так постарел и отяжелел душою в последние годы, что даже почти ничего не желаю.

Граф Орлов объявил мне от имели Вашего императорского величества, что Вы желаете, государь, чтоб я Вам написал полную_исповедь всех своих прегрешений [1]*. Государь! Я не заслужил такой милости и краснею, вспомнив все, что дерзал говорить и писать о неумолимой строгости Вашего императорского величества.*

Как же я буду писать? Что скажу я страшному русскому царю, грозному блюстителю и ревнителю законов? Исповедь моя Вам как моему государю заключалась бы в следующих немногих словах: государь! я кругом виноват перед Вашим императорским величеством и перед законами отечества. Вы знаете мои преступления, и то, что Вам известно, достаточно для осуждения меня по законам на тягчайшую казнь, существующую в России. Я был в явном бунте против Вас, государь, и против Вашего правительства; дерзал противостать Вам как враг, писал, говорил, возмущал умы против Вас, где и сколько мог. Чего же более? Велите судить и казнить меня, государь; и суд Ваш и казнь Ваша будут законны и справедливы. Что же более мог бы я написать своему государю?

Но граф Орлов сказал мне от имени Вашего императорского величества слово, которое потрясло меня до глубины души и переворотило все сердце мое: "Пишите,—сказал он мне,—пишите к государю, как бы вы говорили с своим духовным отцом".

Да, государь, я буду исповедываться Вам как духовному отцу, от которого человек ожидает не здесь, но для другого мира прощения, и прошу бога, чтобы он мне внушил слова простые, искренние, сердечные, без ухищрения и лести, достойные одним словом найти доступ к сердцу Вашего императорского величества [2] *.*

(Этим уже уничтожает всякое доверие; ежели он чувствует всю тяжесть своих грехов, то одна чистая полная исповедь, а не условная, может почесться исповедью.)

Молю Вас только о двух вещах, государь! Во-первых, не сомневайтесь в истине слов моих: клянусь Вам, что никакая ложь, ниже тысячная часть лжи не вытечет из пера моего. А во-вторых молю Вас, государь, не требуйте от меня, чтобы я Вам исповедывал чужие грехи. Ведь на духу никто не открывает грехи других, только свои. Из совершенного кораблекрушения, постигшего меня, я спас только одно благо: честь и сознание, что для своего спасения или для облегчения своей участи нигде, ни в Саксонии, ни в Австрии, не был предателем. Противное же сознание, что я изменил чьей-нибудь доверенности или даже перенес слово, сказанное при мне, по неосторожности, было бы для меня мучительнее самой пытки. И в Ваших собственных глазах, государь, я хочу быть лучше преступником, заслуживающим жесточайшей казни, чем подлецом.

Итак я начну свою исповедь.

Для того чтобы она была совершенна, я должен сказать несколько слов о своей первой молодости. Я учился три года в Артиллерийском училище, был произведен в офицеры в 19-ом году от рожденья, а в конце четвертого [года] своего ученья, бывши в первом офицерском классе, влюбился, сбился с толку, перестал учиться, выдержал экзамен самым постыдным образом или, лучше оказать, совсем не выдержал его, а за это был отправлен служить в Литву с определением, чтобы в продолжение трех лет меня обходили чином и до подпоручичьего чина ни в отставку, ни в отпуск не отпускали. Таким образом моя служебная карьера испортилась в самом начале моею собственною виною и несмотря на истинно отеческое попечение обо мне Михаила Михайловича Кованьки, бывшего тогда командиром Артиллерийского училища [3] .

Прослужив один год в Литве, я вышел с большим трудом в отставку совершенно против желания отца моего [4]. Оставив же военную службу, выучился по-немецки и бросился с жадностью на изучение германской философии, от которой ждал света и спасения. Одаренный пылким воображеньем и, как говорят французы, d'une grande dose d'exaltation (Значительною дозою экзальтации),.—простите, государь, не нахожу русского выражения, — я причинил много горя своему старику-отцу, в чем теперь от всей души, хотя и поздно, каюсь. Только одно могу сказать в свое оправдание: мои тогдашние глупости, а также и позднейшие грехи и преступления были чужды всем низким, своекорыстным побуждениям; происходили же большею частью от ложных понятий, но еще более от сильной и никогда не удовлетворенной потребности знания, жизни и действия.

В 1840-м году, в двадцать же седьмом от рождения, я с трудом выпросился у своего отца за границу, для того чтобы слушать курс наук в Берлинском университете. В Берлине учился полтора года. В первом году моего пребывания за границею и в начале второго я был еще чужд, равно как и прежде в России, всем политическим вопросам, которые даже презирал, смотря на них с высоты философской абстракции; мое равнодушие к ним простиралось так далеко, что я не хотел даже брать газет в руки[5] .

Занимался же науками, особенно германскою метафизикою, в которую был погружен исключительно, почти до сумасшествия, и день и ночь ничего другого не видя кроме категорий Гегеля. Впрочем сама же Германия излечила меня от преобладавшей в ней философской болезни; познакомившись поближе с метафизическими вопросами, я довольно скоро убедился в ничтожности и суетности всякой метафизики: я искал в ней жизни, а в ней смерть и скука, искал дела, а в ней абсолютное безделье.

Немало к сему открытию способствовало и личное знакомство с немецкими профессорами, ибо что может быть уже, жальче, смешнее немецкого профессора да и немецкого человека вообще! Кто узнает короче немецкую жизнь, тот не может любить немецкую науку; а немецкая философия есть чистое произведение немецкой жизни и занимает между действительными науками то же самое место, какое сами немцы занимают между живыми народами.

(Отчеркнуто карандашом на полях)

Она мне наконец опротивела, я перестал ею заниматься. Таким образом излечившись от германской метафизики, я не излечился однако от жажды нового, от желания и надежды сыскать для себя в Западной Европе благодарный предмет для занятий и широкое поле для действия. Несчастная мысль не возвращаться в Россию уже начинала мелькать в уме моем: я оставил философию и бросился в политику.

Находясь в сем переходном состоянии, я переселился из Берлина в Дрезден; стал читать политические журналы (Т. е. газеты).

Со вступлением на престол ныне царствующего прусского короля[6] Германия приняла новое направление: король своими-речами, обещаниями, нововведениями взволновал, привел в движение не только Пруссию, но и все прочие немецкие земли, так что доктор Руге (Арнольд. Слово "д-р Руге" по-немецки в оригинале.) не без основания прозвал его первым германским революционером, — простите, государь, что я выражаюсь так смело, говоря о венценосной особе. Тогда появилось в Германии множество брошюр, журналов, политических стихотворений, и я читал все с жадностью. В это же время в первый раз услышалось слово о коммунизме; вышла книга: "Die Sozialisten in Frankreich" доктора Штейна (Лоренц. Слово "Штейн" по-немецки в оригинале. Бакунин приводит заглавие его книги неточно; в действительности она озаглавлена была "Der Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreich ("Социализм и коммунизм современной Франции"); вышла в 1842 году в двух томах.), произведшая почти такое же сильное и общее впечатление, как прежде книга доктора Штрауса "Das Leben Jesu" (жизнь Христа, Слово "Штраус" по-немецки в оригинале.) , а мне открывшая новый мир, в который я бросился со всею пылкостью алчущего и жаждущего. Мне казалось, что я слышу возвещение новой благодати, откровение новой религии возвышения, достоинства, счастья, освобождения всего человеческого рода; я стал читать сочинения французских демократов и социалистов и проглотил все, что мог только достать в Дрездене[7]. Познакомившись вскоре с доктором Арнольдом Руге, издававшим тогда "Die Deutsche Jahrbьcher" ("Немецкие Летописи". Слово "Арнольд Руге" по немецки в оригинале.) , журнал, находившийся в это время почти в таком же переходе из философии в политику, я написал для него философски-революционерную статью под заглавием "Die Parteien in Deutschland", под псевдонимом Jules Elyzard ["Партии в Германии" Жюля Элизара (на самом деле заглавие статьи было "Реакция в Германии"; см. том III, стр 126—148).] и так несчастлива и тяжела была рука моя с самого начала, что лишь только появилась эта статья, то и самый журнал запретили [8]. Это было в конце 1842-го года.

Тогда приехал из Швейцарии в Дрезден политический поэт Георг Гервег, носимый на руках целой Германии и принятый с почестью самим прусским королем, изгнавшим его вскоре потом из своих владений [9]. Оставляя в стороне политическое направление Гервега, о котором не смею говорить перед Вашим императорским величеством, я должен сказать, что он — человек чистый, истинно благородный, с душою широкою, что редко бывает у немца, — человек, ищущий истины, а не своей корысти и пользы.

Я с ним познакомился, подружился и остался с ним до конца в дружеской связи. Вышеупомянутая статья в "Deutsche Jahrbьcher", знакомство с Руге и с его кружком, особенно же моя дружеская связь с Гервегом, который громко называл себя республиканцем, впрочем связь еще не политическая, хотя и основанная на сходстве мыслей, потребностей и направлений, — не политическая же потому, что не имела решительно никакой положительной цели,—все это обратило на меня внимание посольства в Дрездене. Я услышал, что будто бы уж начали говорить о необходимости вернуть меня в Россию; но возвращение в Россию мне казалось смертью! В Западной Европе передо мной открывался горизонт бесконечный, я чаял жизни, чудес, широкого раздолья; в России же видел тьму, нравственный холод, оцепенение, бездействие, — и решился оторваться от родины.

Все мои последовавшие грехи и несчастия произошли от этого легкомысленного шага. Гервег должен был оставить Германию, я отправился с ним вместе в Швейцарию, — если бы он ехал в Америку, я и туда поехал бы с ним, — и поселился в Цюрихе, в генваре 1843 года.

Равно как в Берлине я понемногу стал излечаться от своей философской болезни, так в Швейцарии начались мои политические разочарования. Но так как политическая немощь тяжелее, вреднее,

глубже вкореняется в душу, чем философская, то и для излечения от нее требовалось более времени, более горьких опытов;

(NB)

она привела меня в то незавидное положение, в котором [я] ныне обретаюсь, да и теперь еще [я] сам не знаю, выздоровел ли я от нее совершенно.

Я не смею занимать внимание Вашего императорского величества описанием внутренней швейцарской политики; по моему мнению она может быть выражена двумя словами: грязная сплетня. Большая часть швейцарских журналов находится в руках немецких переселенцев [10]*, — я говорю здесь только о немецкой Швейцарии, — а немцы вообще до такой степени лишены общественного такта, что всякая полемика в их руках обыкновенно обращается в грязную брань, в которой мелким и гнусным личностям нет конца.*

В Цюрихе я познакомился с знакомыми и приятелями Гервега, которые мне впрочем так мало понравились, что в продолжение всего времени, проведенного мною в сем городе, я избегал частой встречи с ними и только с одним Гервегом находился в близкой связи. Тогда управлял Цюрихскою республикою статский советник Блюнчли, глава консервативной партии; журнал его "Der Schweizerische Beobachter" вел жестокую брань с органом демократической партии "Der Schweizerische Republikaner", издаваемым Юлиусом Фребель, знакомым и даже приятелем Гервега.

Не смею также говорить о предмете их тогдашнего спора; в нем слишком много грязи. Это не был чисто политический спор, как случается иногда между враждующими партиями в других государствах; в нем участвовали также и религиозные шарлатаны, пророки, мессии, вместе же и благородные рыцари вольного пропитания, просто воры и даже непотребные женщины, которые сидели потом на одной скамье с господином Блюнчли как свидетельницы и как обвиненные в публичном процессе, окончившем сию скандалезную брань.

Блюнчли и его приятели, братья Ромер, один называвший себя мессиею, а другой— пророком, были осуждены и осрамлены вместе с сими дамами. Демократы торжествовали, хотя впрочем и сами вышли из постыдного дела не без стыда; а Блюнчли, для того чтобы отомстить им, а вероятно также повинуясь требованию прусского правительства, изгнал совершенно невинного Гервега из Цюрихского кантона [11].

Я же жил в стороне от всех дрязг, редко кого видя кроме Гервега; не был знаком ни с господином Блюнчли, ни с его приятелями; читал, учился и думал о средствах честным образом снискать себе пропитание, ибо из дому не получал более денег. Но Блюнчли, вероятно узнав о моей дружеской связи с Гервегом,— чего не знают в маленьком городке, — а может быть и для того, чтобы выслужиться перед русским правительством, захотел запутать и меня, к чему ему представился скоро следующий удобный случай.

Гервег, находясь уже в Арговийском кантоне, прислал ко мне с рекомендательною запискою коммуниста портного Вейтлинга, который, отправляясь из Лозанны в Цюрих, на дороге зашел к нему, для того чтобы с ним познакомиться; Гервег же, зная, как меня интересовали тогда социальные вопросы, рекомендовал его мне. Я был рад этому случаю узнать из живого источника о коммунизме, начинавшем тогда уже обращать на себя общее внимание. Вейтлинг мне понравился: он—человек необразованный, но я нашел в нем много природной сметливости, ум быстрый, много энергии,

особенно же много дикого фанатизма, благородной гордости и веры в освобождение и будущность порабощенного большинства. Он впрочем недолго сохранил сии качества, испортившись скоро потом в обществе коммунистов-литераторов; но тогда он пришелся мне очень по сердцу; я так был прикормлен приторною беседою мелкохарактерных немцев-профессоров и литераторов, что рад был встретить человека свежего, простого и необразованного, но энергического и верующего.

Я просил его посещать меня; он приходил ко мне довольно часто, излагая мне свою теорию и рассказывая много о французских коммунистах, о жизни работников вообще, о их трудах, надеждах, увеселениях, а также и о немецких только что начинавшихся коммунистических обществах. Против теории его я спорил, факты же выслушивал с большим любопытством: тем ограничились мои отношения с Вейтлингом. Другой связи у меня ни с ним, ни с другими коммунистами ни в то время, ни потом решительно не было, и я сам никогда не был коммунистом [12].

Я остановлюсь здесь, государь, и войду несколько глубже в этот предмет, зная, что неоднократно был обвинен перед правительством в деятельном сообществе с коммунистами сначала через господина Блюнчли, потом *же* вероятно и другими. Я хочу один раз навсегда очиститься от несправедливых обвинений; на мне уж так много, так много тяжких грехов, зачем же мне брать еще на себя грехи, в которых я решительно не был повинен?

Я знал впоследствии многих французских, немецких, бельгийских и английских социалистов и коммунистов, читал их сочинения, изучал их теории, но сам не принадлежал никогда ни к какой секте, ни к какому обществу и решительно оставался чужд их предприятиям, их пропаганде и действиям. Я следовал с постоянным вниманием за движением социализма, особенно же коммунизма, ибо смотрел на него как на естественный, необходимый, неотвратимый результат экономического и политического развития Западной Европы (“Я говорю только о Западной Европе, потому что на Востоке и ни в одной славянской земле,—разве только кроме Богемии и отчасти Моравии и Шлезии, — коммунизм не имел ни места ни смысла” *(Примечание Бакунина.)*; видел в нем юную, элементарную (Т- е. стихийную),

себя еще не знающую силу, призванную или обновить или разрушить вконец западные государства. Общественный порядок, общественное устройство сгнили на Западе и едва держатся болезненным усилием[13], сим одним могут объясниться и та невероятная слабость и тот панический страх, которые в 1848 году постигли все государства на Западе, исключая Англии; но и ту, кажется, постигнет в скором времени та же самая участь.

(Разительная истина)

> *В Западной Европе, куда ни обернешься, везде видишь дряхлость, слабость, безверие и разврат, разв[р]ат, происходящий от безверия; начиная с самого верху общественной лестницы, ни один человек, ни один привилегированный класс не имеет веры в свое призвание и право; все шарлатанят друг перед другом и ни один другому, ниже себе самому не верит: привилегии, классы и власти едва держатся эгоизмом и привычкою - слабая препона против возрастающей бури!*

Образованность сделалась тождественна с развратом ума и сердца, тождественна с бессильем, и посреди сего всеобщего гниенья один только грубый, непросвещенный народ, называемый чернью, сохранил в себе свежесть и силу, не так впрочем в Германии, как во Франции. Кроме этого все доводы и аргументы, служившие сначала аристократии против монархии, а потом среднему сословию против монархии н аристократии, ныне служат и чуть ли еще не с большею силою народным массам против монархии, аристократии и мещанства. Вот в чем состоит по моему мнению сущность и сила коммунизма, не говоря о возрастающей бедности рабочего класса, естественного последствия умножения пролетариата, умножения, в свою очередь необходимо связанного с развитием фабричной индустрии так, как она существует на Западе. Коммунизм по крайней мере столько же произошел и

происходит сверху, сколько и снизу; внизу, в народных массах, он растет и живет как потребность не ясная, но энергическая, как инстинкт возвышения; в верхних же классах как разврат, как эгоизм, как инстинкт угрожающей заслуженной беды, так неопределенный и беспомощный страх, следствие дряхлости и нечистой совести; и страх сей и беспрестанный крик против коммунизма чуть ли не более способствовали к распространению последнего, чем самая пропаганда коммунистов ("Брошюра Блюнчли, напр., изданная им в 1843 году от имени цюрихского правительства по случаю процесса Вейтлинга, была вместе с упомянутою книгою Штейна одною из главных причин распространения коммунизма в Германии". (Примечание Бакунина.)

(Правда)

> *Мне кажется, что этот неопределенный, невидимый, неосязаемый, но везде присутствующий коммунизм, живущий в том или другом виде во всех без исключения, в тысячу раз опаснее того определенного и приведенного в систему, который проповедуется только в немногих организованных тайных или явных коммунистических обществах.*

Бессилие последних явно оказалось в 1848 году в Англии, во Франции, в Бельгии, а особливо в Германии; и нет ничего легче как отыскать нелепость, противоречие и невозможность в каждой доселе известной социальной теории, так что ни одна не в состоянии выдержать даже трех дней существования.

Простите, государь, сие краткое рассуждение; но мои прегрешения так тесно связаны с моими грешными мыслями, что я не могу исповедывать одних, совершенно не упомянув о других. Я должен был показать, почему я не мог принадлежать ни к одной секте социалистов или коммунистов, как меня в том несправедливо обвиняли.

Разумея причину существования сих сект, я не любил их теорий; не разделяя же последних, не мог быть органом их пропаганды; а наконец и слишком ценил свою независимость для того, чтобы согласиться быть рабом и слепым орудием какого бы то ни было тайного общества, не говоря уж о таком, которого я не мог разделять мнений.

В это же время, т.е. в 1843 году, коммунизм в Швейцарии состоял из малого числа немецких работников: в Лозанне и Женеве явно, в виде обществ для пения, чтения и для общего хозяйства, в Цюрихе же состоял из пяти или шести портных и сапожников. Между швейцар[ц]ами коммунистов не было: природа швейцар[цев] противна всякому коммунизму, а немецкий коммунизм был тогда еще в пеленках. Но для того, чтобы придать себе важность в глазах правителей Европы, отчасти же в тщетной надежде скомпрометировать цюрихских радикалов, Блюнчли составил фантастического страшилу.

Он по собственному признанию знал о приходе Вейтлинга в Цюрих, терпел его присутствие два или три месяца, потом велел схватить его [14], надеясь найти в его бумагах довольно важных документов для того, чтобы замешать цюрихских радикалов, и ничего не нашел кроме глупой переписки и сплетней, ("В доказательство, что все обвинения, заключения, догадки господина Блюнчли и все на них основанное здание были суетны и ложны, я приведу только одно: Вейтлинг был осужден приговором верховного суда на годовое и двухгодовое содержание в тюрьме, и не за коммунизм, а за глупую книгу, напечатанную им незадолго перед тем в Цюрихе. Немедленно по произношения приговора Блюнчла посадил Вейтлинга не в тюрьму, а выдал его прусскому правительству, которое, рассмотрев дело, через месяц выпустило Вейтлинга на свободу". *(Примечание Бакунина)*

а против меня два или три письма, Вейтлинга, в которых он говорит обо мне несколько незначительных слов, извещая в одном своего приятеля, что он познакомился с одним русским, и называя меня по фамилии, в другом же называя меня "Der Russe" (Русский) с прибавлением "Der Russe ist ein guter" или "ein prдchtiger Kerl" ("Этот русский—славный" или "прекрасный парень") и тому подобное.

Вот на чем были основаны обвинения господина Блюнчли против меня: другого же основания и быть не могло, ибо мое знакомство с Вейтлингом ограничилось одним любопытством с моей и охотой рассказывать с его стороны; а кроме Вейтлинга я ни одного коммуниста в Цюрихе не знал. Услышав однакож, не знаю, справедлив ли был этот слух или нет, что Блюнчли имел даже намерение арестовать меня, и опасаясь последствий, я удалился из Цюриха. Жил несколько месяцев в городке Нион на берегу Женевского озера, в совершенном уединении и борясь с нищетою, а потом в Берне, где и узнал в январе или в феврале 1844 года от господина Струве (Аманд Иоаннович), секретаря посольства в Швейцарии, что оное, получив донос против меня от Блюнчли, писало о том в Петербург, откуда и ждало приказаний.

В этом доносе, по сказанию господина Струве, Блюнчли, не довольствуясь обвинением меня в коммунизме, утверждал еще ложно, что будто бы я писал или сбирался писать против русского правительства книгу о России и Польше.

Для обвинения меня в коммунизме была хоть тень правдоподобия: мое знакомство с Вейтлингом; но последнее обвинение было решительно лишено всякого основания и доказало мне ясно злое намерение Блюнчли; ибо не только что у меня еще тогда и в мысли не было писать или печатать что о России, но я старался даже не думать об ней, потому что память о ней меня мучила; ум же мой был исключительно устремлен на Западную Европу. Что же касается до Польши, то могу сказать, что в это время я даже не помнил о ее существовании; в Берлине избегал знакомства с поляками, виделся с некоторыми только в университете; в Дрездене же и в Швейцарии ни одного поляка не видел [15].

До 1844-го года, государь, мои грехи были грехи внутренние, умственные, а не практические: я съел не один, а много плодов от запрещенного древа познания добра и зла, — великий грех, источник и начало всех последовавших преступлений, но еще не определившийся тогда еще ни в какое действие, ни в какое намерение. По мыслям, по направлению я был уж совершенным и отчаянным демократом, а в жизни неопытен, глуп и почти невинен как дитя. Отказавшись ехать в Россию на повелительный зов правительства, я совершил свое первое положительное преступление.

Вследствие этого я оставил Швейцарию и отправился в Бельгию в обществе моего друга Рейхеля [16]. Я должен сказать о нем несколько слов, имя его упоминается довольно часто в обвинительных документах. Адольф Рейхель — прусский подданный, компонист и пианист, чужд всякой политики, а если и слышал об ней, так разве только через меня. Познакомившись с ним в Дрездене я встретившись потом опять в Швейцарии, я с ним сблизился, подружился, он мне был постоянно истинным и единственным другом; я жил с ним неразлучно, иногда даже и на его счет, до самого 1848-го года. Когда я был принужден оставить Швейцарию, — не захотев меня оставить, он поехал со мной в Бельгию.

В Брюсселе я познакомился с Лелевелем (Иоахим).

Тут в первый раз мысль моя обратилась к России и к Польше; бывши тогда уж совершенным демократом, я стал смотреть на них демократическим глазом, хотя еще не ясно и очень неопределенно: национальное чувство, пробудившееся во мне от долгого сна, вследствие трения с польскою национальностью, пришло в борьбу с демократическими понятиями и выводами. С Лелевелем я виделся часто, расспрашивал много о польской революции, о их намерениях, планах в случае победы, о их надеждах на будущее время, и не раз споривал с ним, особенно же насчет Малороссии и Белоруссии, которые по их понятиям должны бы были принадлежать Польше, по моим же, особенно Малороссия, должны были ненавидеть ее как древнюю притеснительницу.

Впрочем из всех поляков, пребывавших тогда в Брюсселе, знал и видел я только одного Лелевеля, да и с ним отношения мои, хоть мы и часто виделись, никогда не выходили из границ простого

знакомства. Правда, что я перевел было на русский язык тот Манифест к русским, за который он был изгнан из Парижа [17], но это было без последствий: перевод остался ненапечатанный в моих бумагах.

Пробыв несколько месяцев в Брюсселе, я отправился с Рейхелем в Париж, от которого, равно как прежде от Берлина и потом от Швейцарии, ждал теперь себе спасения и света. Это было в юле 1844 года [18].

Париж подействовал на меня сначала как ушат холодной воды на горячешного ; нигде я не чувствовал себя до такой степени уединенным, отчужденным, дезориентированным, — простите это выражение, государь, — как в Париже. Общество мое в первое время почти исключительно состояло из немцев-демократов, или изгнанных или самовольно приехавших из Германии, для того чтобы основать здесь демократический французско-немецкий журнал с целью привести в согласие и связь духовные и политические интересы обоих народов. Но так как немецкие литераторы не могут жить между собою без опор, брани и сплетней, то и все предприятие, возвещенное с большим шумом, кануло в воду , окончившись несчастным и подлым еженедельным листом "Vorwdrts" (Вперед), который также прожил недолго, потонув скоро в своей собственной грязи; да и самих немцев выгнали из Парижа к моему немалому, облегчению [20].

(Отчеркнуто карандашом на полях)

> *В это время, то есть в конце осени 1844 года, я в первый раз услышал о приговоре, осудившем меня вместе с Иваном Головиным на лишение Дворянства и на Каторжную работу [21], услышал же не официально, но от знакомого, кажется от самого Головина, который по этому случаю написал и статью в "Gazette des Tribunaux ("Судебная Газета"), о мнимых правах русской аристократии, будто бы оскорбленных и попранных в нашем лице; ему же в ответ и в опровержение я написал другую статью в демократическом журнале "Rŭforme" в виде письма к редактору. Это письмо, первое слово, сказанное мною печатным образом о России, явилось в журнале "Rŭforme" с моею подписью в конце 1844 года, не помню какого месяца, и находится без сомнения в руках правительства в числе обвинительных документов [22].*

По отъезде моем из Брюсселя я не видал ни одного поляка до самого этого времени. Моя статья в "Rŭforme" была поводом, к новому знакомству с некоторыми из них. Во-первых пригласил меня к себе князь Адам Чарторижский [23] через одного из своих приверженцев; я был у него один раз и после этого никогда с ним более не видался.

Потом получил из Лондона поздравительное письмо с комплиментами от польских демократов, с приглашением на траурное торжество, совершаемое ими ежегодно в память Рылеева, Пестеля и проч.[24]

Я отвечал им подобными же комплиментами, благодарил за братскую симпатию, а в Лондон не поехал, ибо не определил еще в своем уме то отношение, в котором я, хоть и демократ, но все-таки русский, должен был стоять к польской эмиграции да и к западной публике вообще; опасался же еще громких, пустых и бесполезных демонстраций и фраз, до которых никогда не был я большой охотник. Тем кончились на этот раз мои отношения с поляками, и до самой весны 1846 года я не виделся более ни с одним, исключая Алоиза Бернацкого (занимавшего место министра финансов во Время польской революции), доброго, почтенного старика[25], с которым я познакомился у Николая Ивановича Тургенева[26] и который, живя вдалеке от всех политических эмиграционных партий, занимался исключительно своею польскою школой. Также видел иногда и Мицкевича [27], которого уважал в прошедшем как великого славянского поэта, но о котором жалел в настоящем как о

полуобманутом, полу-же-обманывающем апостоле и пророке новой нелепой религии и нового мессии. Мицкевич старался обратить меня, потому что по его мнению достаточно было, чтобы один поляк, один русский, один чех, один француз и один жид согласились жить и действовать вместе в духе Товянского [28] для того, чтобы переворотить и спасти мир; поляков у него было довольно, и чехи были, также были и жиды и французы, русского только недоставало; он хотел завербовать меня, но не мог.

Между французами у меня были следующие знакомые[28a]. Из конституционной партии: Шамболь, редактор "Века"[29], Меррюо, редактор "Конституционалиста"[30], Эмиль Жирардэн, редактор "Прессы"[31], Дюрье, редактор "Французского Курьера"[32], экономисты Леон Фоше[33], Фредерик Бастиа[34] и Воловский[35] и пр.

Из партии политических республиканцев: Беранже[36], Ламеннэ[37], Франсуа, Этьен и Эмануэль Араго[38], Марраст[39] и Бастид[40], редакторы "Насионаля"; из партии демократов: покойный Кавеньяк, брат генерала[41], Флокон[42] и Луи Блан[43], редакторы "Реформы"[44], Виктор Консидеран, фурьерист и редактор "Мирной Демократии"[45], Паскаль Дюпра, редактор "Независимого Обозрения"[46], Феликс Пиа[47], негрофил Виктор Шельхер[48], профессора Мишле[49] и Кинэ[50], Прудон, утопист и, несмотря на это, без всякого сомнения один из замечательнейших современных французов[51], наконец Жорж Занд[52] да еще несколько других, менее известных (В оригинале все эти имена и титулы при них написаны по-французски, причем не всегда правильно. Мы приводим их по-русски).

С одними виделся реже, с другими чаще, не находясь ни с одним в близких отношениях. Посетил также несколько раз в самом начале моего пребывания в Париже французских увриеров (Рабочих), общество коммунистов и социалистов, не имея впрочем к тому никакого другого побуждения ни цели кроме любопытства; но скоро перестал ходить к ним, во-первых для того, чтобы не обратить на себя внимание французского правительства и не навлечь на себя напрасного гонения, а главное потому, что не находил в посещении сих обществ ни малейшей для себя пользы[53]. Чаще же всех бывал, — не говоря о Рейхеле, с которым жил безразлучно, — бывал чаще у своего старого приятеля Гервега, переселившегося также в Париж и занимавшегося в это время почти исключительно естественными науками, и у Николая Ивановича Тургенева: последний живет семейно, далеко от всякого политического движения и, можно сказать, от всякого общества и, сколько я мог по крайней мере заметить, ничего так горячо не желает как прощения и позволения возвратиться в Россию, для того чтобы прожить последние годы на родине, о которой вспоминает с любовью, нередко со слезами[54]. У него я встречал иногда итальянца графа Мамиани[55], бывшего потом папским министром в Риме, и неаполитанского генерала Пепе[56] (По-французски в оригинале).

(Отчеркнуто карандашом на полях)

Видел также иногда и русских, приезжавших в Париж[57]. Но молю Вас, государь, не требуйте от меня имен.

Уверяю Вас только, — и вспомните, государь, что в начале письма я Вам клялся, что никакая ложь, ниже тысячная часть лжи не осквернит чистоты моей сердечной исповеди, — и теперь клянусь Вам, что ни с одним русским ни тогда, ни потом я не находился в политических отношениях и не имел ни с одним даже и тени политической связи ни лицом к лицу, ни через третьего человека, ни перепискою. Русские приезжие и я жили в совершенно различных сферах: они—богато, весело, задавая друг другу пиры, завтраки и обеды, кутили, пили, ходили по театрам и балам, avec grisettes et lorettes —

образ жизни, к которому у меня не было ни чрезвычайной склонности, ни еще менее средств.

Я же жил в бедности, в болезненной борьбе с обстоятельствами и с своими внутренними, никогда неудовлетворенными потребностями жизни и действия и не разделял с ними ни их увеселений, ни своих трудов и занятий.

(Отчеркнуто карандашом на полях - NB)

Я не говорю, чтобы я не пробовал никогда, а именно начиная от 1846 года, обратить некоторых к своим мыслям и к тому, что я называл и считал тогда добрым делом; но ни одна попытка моя не имела успеха: они слушали меня с усмешкою, называли меня чудаком, так что после нескольких тщетных усилий я совсем отказался от их обращения. Вся вина некоторых состояла в том, что, видя мою нищету, они мне иногда и то весьма редко помогали.

Я жил большею частью дома, занимаясь отчасти переводами с немецкого для своего пропитания, отчасти же науками: историею, статистикою, политическою экономиею, социально-экономическими системами, спекулятивною политикою, то есть политикою без всякого применения, а также несколько и математикою и естественными науками. Тут должен я сделать одно замечание к своей собственной чести: парижские, а также и немецкие книгопродавцы неоднократно уговаривали меня писать о России, предлагая мне довольно выгодные условия; но я всегда отказывался, не хотя делать из России предмет торгово-литературной сделки; я никогда не писал о России за деньги и не иначе qua mon corps dŭfendant (Неохотно, поневоле), могу сказать с неохотою, почти против воли и всегда под своим собственным именем.

Кроме вышеупомянутой статьи в "Rŭforme", да еще другой статьи в "Constitutionnel", да той несчастной речи, за которую был изгнан из Парижа, я о России не напечатал ни слова. Я не говорю здесь о том, что писал после февраля 1848-го года, находясь уже тогда в определенной политической деятельности. Впрочем и тут мои публикации ограничиваются двумя воззваниями и несколькими журнальными статьями [58].

(Отчеркнуто карандашом на полях)

Тяжело, очень тяжело мне было жить в Париже, государь! Не столько по бедности, которую я переносил довольно равнодушно, как потому, что, пробудившись наконец от юношеского бреда и от юношеских фантастических ожиданий, я обрел себя вдруг на чужой стороне, в холодной нравственной атмосфере, без родных, без семейства, без круга действия, без дела и без всякой надежды на лучшую будущность. Оторвавшись от родины и заградив себе легкомысленно всякий путь к возвращению, я не умел сделаться ни немцем, ни французом;

напротив, чем долее жил за границею, тем глубже чувствовал, что я — русский и что никогда не перестану быть русским. К русской же жизни не мог иначе возвратиться как преступным революционерным путем, в который тогда еще плохо верил, да и впоследствии, если правду сказать, верил только через болезненное, сверхъестественное усилие, через насильственное заглушение внутреннего голоса, беспрестанно шептавшего мне о нелепости моих надежд и моих предприятий. Мне так бывало иногда тяжело, что не раз останавливался я вечером на мосту, по которому

обыкновенно возвращался домой, спрашивая себя, не лучше ли я сделаю, если брошусь в Сену и потоплю в ней безрадостное и бесполезное существование? [59]

К тому же в это время весь мир был погружен в тяжелую летаргию. После короткой суматохи, происшедшей было в Германии по вступлении на прусский престол ныне царствующего короля, и после эфемерного движения, произведенного несколько месяцев позже в целой Европе восточным вопросом в кратковременное министерство Тьера[60], мир, казалось, заснул и заснул так глубоко, что никто, даже самые экс[ц]ентрические демократы, не верили в его скорое пробуждение. Тогда еще никто не предвидел, что эта тишина была тишина перед бурею, французы же, как известно, отлагали все надежды до смертного часу покойного короля Людвига-Филиппа. Правда, что еще в конце 1844 года мне Марраст (Это слово по-французски в оригинале) раз сказал:

"La rйvolution *est* imminente, mais on ne peut jamais prйdire quand et comment se fera une rйvolution franзaise; la France est comme ce chaudron a vapeur toujours prкt a йclater et dont nul ne sait prйvoir l'explosion"

("Революция неизбежна, но нельзя заранее предсказать, когда и как. Произойдет французская революция; Франция подобна тому паровому котлу, который всегда готов взорваться и взрыва которого никто не в силах предусмотреть").

Но и Марраст и его приятели и вообще все демократы ходили еще тогда, повеся нос, и находились в превеликом унынии. Консервативная же партия торжествовала, обещала себе жизнь без конца, а публика от скуки занималась скандалезными электоральными и иезуитическими происшествиями, да еще заморским движением английских freetraders

(Фритредеры, боровшиеся за свободу торговли в Англии)

В середине 1845-го года показались после долгого безветрия — не всем, а только следовавшим за германским развитием — показались, говорю я, первые слабые волны на политическом океане: в Германии появились две новые религиозные секты: die Lichtfreunde und Deutschkatoliken ("Друзья света" и "немецкие католики").

Во Франции иные над ними смеялись, другие же видели в них, и мне кажется не без основания, знаки времени, предзнаменования погоды. Секты сии, ничтожные сами в себе, были важны тем, что они переводили на религиозный, т. е. на народный язык современные понятия и требования. Они не могли иметь большого влияния на образованные классы, но зато действовали на воображение масс, всегда более склонных к религиозному фанатизму. К тому же немецкий католицизм был изобретен и пущен в мир (с целью чисто политическою) демократическою партией в Прусской Шлезии (Силезии); он был действительнее своей старшей протестантской сестры, которая в свою очередь была честнее; между его апостолами и проповедниками было много грязных шарлатанов, но также и много людей даровитых, и можно сказать, что под видом общего причащения, будто бы возобновленного со времен первоначальной церкви, немецкий католицизм явно проповедывал коммунизм [61].

Но весь интерес, пробужденный появленим сих сект, испарился, когда пронесся вдруг слух, что король Фридрих-Вильгельм IV дал государству своему конституцию[62]. Германия опять взволновалась, и Франция как будто бы в первый раз воспрянула от тяжкого сна. За сим последовали скоро и как громовой удар за ударом сначала польское движение, потом швейцарские и итальянские происшествия, а наконец революция 1848-го года. Я остановлюсь на польском восстании, ибо оно составляет эпоху в моей собственной жизни.

До 1846 года я был чужд всем политическим предприятиям. С польскими демократами не был знаком; немцы, кажется, тогда еще решительно ничего не предпринимали; французы же, с которыми я был знаком, мне ничего не говорили. Находясь издавна в тесной связи с польскими демократами, они

без всякого сомнения знали о готовившемся польском восстании, но французы умеют держать тайну, а так как отношения мои с ними ограничивались простым внешним знакомством, то я и не мог узнать от них ничего, так что познанские замыслы, попытка в Царстве Польском, краковское восстание и происшествия в Галиции меня по крайней мере столько же поразили, как и всю прочую публику. Впечатление же, произведенное ими в Париже, было неимоверно: в продолжение двух или трех дней все народонаселение жило на улице; незнакомый говорил с незнакомым, все требовали новостей и все ожидали известий из Польши с трепетным нетерпением[63].

Это внезапное пробуждение, это всеобщее движение страстей и умов охватило также и меня своими волнами, я сам как будто бы проснулся и решился во что бы то ни стало вырваться из своего бездействия и принять деятельное участие в готовящихся происшествиях.

Для этого я должен был вновь обратить на себя внимание поляков, уже успевших позабыть обо мне, и с такою целью написал статью о Польше и о белорусских униатах, о которых была тогда речь во всех западно-европейских журналах. Сия статья, явившаяся в "Constitutionnel" в начале весны 1846 года, находится без сомнения в руках правительства . Когда я отдал ее Merruau, gйrant du "Constitutionnel" (Меррюо, редактору "Конституционалиста"), он мне сказал: "qu'on mette le feu aux quatre coins du monde pourvu que nous sortions de cet йtat honteux et insupportable" ("Пусть мир вспыхнет со всех сторон, лишь бы мы вышли из настоящего постыдного и невыносимого положения!") , - я ему напомнил эти слова в феврале 1848 года, но он уже тогда каялся, испугавшись, как и все либералы династической оппозиции, страшной и вместе странной революции, ими же самими накликанной.

(Неправда, всякого грешника раскаяние, но чистосердечное может спасти)

До 1846-года грехи мои не были грехи намеренные, но более легкомысленные и, как бы сказать, юношеские; возмужав летами, я еще долго оставался неопытным юношею. С этого же времени я стал грешить с сознанием, намеренно и с более или менее определенною целью. Государь! я не буду стараться извинять свои неизвинимые преступления, ни говорить Вам о позднем раскаянии, — раскаяние в моем положении столь же бесполезно, как и раскаяние грешника после смерти, — а буду просто рассказывать факты и не утаю, не умалю ни одного.

Вскоре по появлении вышереченкой статьи, я отправился я Версаль, без всякого зову, собственным движением, для того чтобы познакомиться и, если было бы возможно, сблизиться и согласиться на общее дело с пребывавшими там тогда членами Централизации польского Демократического общества. Я хотел им предложить совокупное действие на русских, обретавшихся в Царстве Польском, в Литве и в Подолии, предполагая, что они имеют в сих провинциях связи достаточные для деятельной и успешной пропаганды. Целью же поставлял русскую революцию и республиканскую федерацию всех славянских земель, — основание единой и нераздельной славянской республики, федеральной только в административном, центральной же в политическом отношении [65].

Попытка моя не имела успеха. Я виделся с польскими демократами несколько раз, но не мог с ними сойтиться: во-первых вследствие разногласия в наших национальных понятиях и чувствах: они мне показались тесны, ограничены, исключительны, ничего не видели кроме Польши, не понимая перемен, происшедших в самой Польше со времени ее совершенного покорения; отчасти же потому, что они мне и не доверяли[66] да и не обещали себе вероятно большой пользы от моего содействия. Так что после нескольких бесплодных свиданий в Версале мы совсем перестали видеться, и движение мое, преступное в цели, не могло иметь на сей раз никакого преступного последствия.

От конца лета 1846-го года до ноября 1847-го я опять оставался в полном бездействии, занимаясь по старому науками, следуя с трепетным вниманием за возраставшим движением Европы и горя нетерпением принять в нем деятельное участие, но не предпринимая еще ничего положительного. С польскими демократами более не виделся, а видел много молодых поляков, бежавших из края в 1846-м году и которые впоследствии почти все обратились в мистицизм Мицкевича.

В ноябре месяце я был болен и сидел дома с выбритою головою, когда ко мне пришли двое из сих молодых людей, предлагая произнести речь на торжестве, совершаемом ежегодно поляками и французами в память революции 1831-го года. Я с радостью ухватился за эту мысль, заказал парик и, приготовив речь в три дня, произнес ее в многолюдном собрании 17-то/29-го ноября 1847 года. Государь!

(NB)

Вы, может быть, знаете эту несчастную речь, начало моих несчастных и преступных похождений. За нее по требованию русского посольства я был изгнан из Парижа и поселился в Брюсселе[67].

(Отчеркнуто карандашом на полях)

> *Там меня встретил Лелевель новым торжеством; я произнес вторую речь, которая была бы напечатана, если бы не помешала февральская революция[68]. В этой речи, бывшей как бы развитием и продолжением первой, я много говорил о России, об ее прошедшем развитии, много о древней вражде и борьбе между Россиею и Польшею; говорил также и о великой будущности славян, призванных обновить гниющий западный мир; потом, сделав обзор тогдашнего положения Европы и предвещая близкую европейскую революцию, страшную бурю, особенно же неминуемое разрушение Австрийской империи, я кончил следующими словами: "prйparons-nous et quand l'heure aura sonnй que chacun de nous fasse son devoir" ("Приготовимся, и, когда пробьет урочный час, пусть каждый исполнит свой долг").*
>
> *Впрочем и в это время, кроме взаимных комплиментов и более или менее симпатичных фраз, несмотря на мое сильное желание сблизиться с поляками, я ни с одним не мог сблизиться. Наши природы, понятия, симпатии находились в слишком резком противоречии для того, чтобы было возможно между нами действительное соединение.*
>
> *К тому же в это самое время поляки, более чем когда-нибудь, стали смотреть на меня с недоверием; к моему удивлению и немалому прискорбью пронесся в первый раз слух, что будто бы я — тайный агент русского правительства. Слышал я потом от поляков, что будто бы русское посольство в Париже "а вопрос министра Гизо обо мне ответило: "c'est un homme qui ne manque pas de talent, nous l'employons, mais aujourd'hui il est allй trop loin" ("Это — человек, не лишенный способностей, мы пользуемся его услугами, но теперь он зашел слишком далеко"), , и что Дюшатель дал знать об этом князю Чарторижскому; слышал также, что министр Дюшатель донес обо мне и бельгийскому правительству, что я — не политический эмигрант, а просто вор, укравший в России значительную сумму, потом бежавший, и за воровство и за бегство осужден на каторжную работу. Как бы то ни было, но эти слухи вместе с другими вышеупомянутыми причинами сделали всякую связь между мною и поляками невозможной [69].*

В Брюсселе меня было ввели в общество соединенных немецких и бельгийских коммунистов и радикалов, с которыми находились в связи и английские шартисты (Чартисты), и французские

демократы, — общество впрочем не тайное, с публичными заседаниями[70], были вероятно и тайные сходбища, но я в них не участвовал, да и публичные-то посетил всего только два раза, потом же перестал ходить, потому что манеры и тон их мне не понравились, а требования их были мне нестерпимы, так что я навлек даже на себя их неудовольствие и, можно оказать, ненависть немецких коммунистов, которые громче других стали кричать о моем мнимом предательстве[71]. Жил же я более в кругу аристократическом; познакомился с генералом Скржинецким[72] и через него с графом Мерод

(По-французски в оригинале), бывшим министром[73], и с французом графом Монталамбер (По-французски в оригинале), зятем последнего[74], то есть жил в самом центре иезуитической пропаганды.

Меня старались обратить в католическую веру, и так как о моем душевном спасении вместе с иезуитами пеклись также и дамы, то мне было в их обществе довольно весело. В то же время я писал статьи для "Constitutionnel" о Бельгии и о бельгийских иезуитах[75], не переставая однако следовать за ускорявшимся ходом политических происшествий в Италии и во Франции.

(Отчеркнуто карандашом на полях)

Наконец грянула февральская революция. Лишь только я узнал, что в Париже дерутся, взяв у знакомого на всякий случай паспорт, отправился обратно во Францию. Но паспорт был ненужен; первое слово, встретившее нас на границе, было: "La, Rйpublique est proclamйe a Paris" ("В Париже провозглашена республика"). У меня мороз пробежал по коже, когда я услышал это известие; в Валансьен (По-французски в оригинале), пришел пешком, потому что железная дорога была сломана; везде толпа, восторженные клики, красные знамена на всех улицах, пла- цах и на всех публичных зданиях. Я должен был ехать объездом, железная дорога была сломана во многих местах, я приехал в Париж 26 февраля, на третий день по объявлении республики.

На дороге мне было весело, что ж скажу Вам, государь, о впечатлении, произведенном на меня Парижем! Этот огромный город, центр европейского просвещения, обратился вдруг в дикий Кавказ: на каждой улице, почти на каждом месте, баррикады, взгроможденные как горы и досягавшие крыш, а на них между каменьями и сломанною мебелью, .как лезгинцы в ущельях,

(NB)

работники в своих живописных блузах, почерневшие от пороху и вооруженные с головы до ног; из окон выглядывали боязливо

толстые лавочники, йpiciers (Бакалейщики, лавочники), с поглупевшими от ужаса лицами; на улицах, на бульварах ни одного экипажа; исчезли все молодые и старые франты, все ненавистные львы с тросточками и лорнетами, а на место их мои благородные увриеры (Рабочие), торжествующими, ликующими толпами, с красными знаменами, с патриотическими песнями, упивающиеся своею победою! И посреди этого безграничного раздолья, этого безумного упоенья все были так незлобивы, сострадательны, человеколюбивы, честны, скромны, учтивы, любезны, остроумны, что только во Франции, да и во Франции только в одном Париже можно увидеть подобную вещь!

Я жил потом с работниками более недели в Caserne des Tournons (Казарма (на улице) Турнои), в двух шагах от Люксембургского дворца; казармы сии были прежде казармами муниципальной гвардии (Городская полицейская стража, нечто вроде жандармерии), в то же время обратились со многими другими в червленно-республиканскую крепость, в казармы для коссидьеровской гвардии (Красная полиция, организованная бывшим членом тайных обществ Коссидьером, захватившим префектуру полиции (парижское градоначальство).

Жил же я в них по приглашению знакомого демократа, командовавшего отделением пятисот работников. Таким образом я имел случай видеть и изучать сих последних с утра до вечера. Государь, уверяю Вас, ни в одном классе, никогда и нигде не нашел я столько благородного самоотвержения,

столько истинно трогательной честности, столько сердечной деликатности в обращении и столько любезной веселости, соединенной с таким героизмом, как в этих простых необразованных людях, которые всегда были и будут в тысячу раз лучше всех своих предводителей! Что в них особенно поразительно, это— глубокий инстинкт дисциплины; в казармах их не могло существовать ни установленного порядка, ни законов, ни принуждения; но дай бог, чтобы любой вымуштрованный солдат умел так точно повиноваться, отгадывать желания своих начальников и так свято соблюдать порядок, как эти вольные люди; они требовали приказаний, требовали начальства, повиновались с педантизмом, со страстью, голодали на тяжкой службе по целым суткам и никогда не унывали, а всегда были веселы и любезны. Если бы эти люди, если бы французские работники вообще нашли себе достойного предводителя, умеющего понимать и любить их, то он сделал бы с ними чудеса.

Государь, я не в состоянии отдать Вам ясного отчета в месяце, проведенном мною в Париже, потому что это был месяц духовного пьянства. Не я один, все были пьяны: одни от безумного страха, другие от безумного восторга, от безумных надежд. Я вставал в пять, в четыре часа поутру и ложился в два; был целый день на ногах, участвовал решительно во всех собраниях, сходбищах, клубах, процессиях, прогулках, демонстрациях[77], одним словом втягивал в себя всеми чувствами, всеми порами упоительную революционную атмосферу.

Это был пир без начала и без конца; тут я видел всех и никого не видел, потому что все терялись в одной гуляющей бесчисленной толпе; говорил со всеми и не помнил, ни что им говорил, ни что мне говорили, потому что на каждом шагу новые предметы, новые приключения, новые известия. К поддержанию и усилению всеобщей горячки немало способствовали также известия, приходившие беспрестанно из прочей Европы; бывало только и слышишь: “On se bat a Berlin; le roi a pris la fuite aprиs avoir prononcй un discours! — On s’est battu a Vienne, Metternich s’est enfui, la Rйpublique est proclamйe! Toute l’Allemagne se soulиve. Les Italiens ont triomphй a Milan, a Venise les autrichiens ont subi une honteuse dйfaite! La Rйpublique y est proclamйe; toute l’Europe devient Rйpublique... Vive la Rйpublique!”...(“В Берлине дерутся, король бежал, произнеся перед этим речь! Дрались в Вене, Меттерних бежал, провозглашена республика! Вся Германия восстает. Итальянцы одержали победу в Милане; в Венеции австрийцы потерпели позорное поражение. Там провозглашена республика. Вся Европа становится республикой. Да здравствует республика!”)

Казалось, что весь мир переворотился; невероятное сделалось обыкновенным, невозможное возможным, возможное же и обыкновенное — бессмысленным. Одним словом ум находился тогда в таком состоянии, что если бы кто пришел и сказал “le bon Dieu vient dktre chassй du ciel, la rйpublique y est proclamйe!” (“Бог прогнан с неба, там провозглашена республика!”), так все бы поверили и никто бы не удивился.

И не одни только демократы находились в таком опьянении; напротив демократы первые отрезвились, потому что должны были приняться за дело и укрепить за собою власть, упавшую в их руки каким-то неожиданным чудом. Консервативная партия и династическая оппозиция, сделавшаяся через день консервативнее самих консерваторов, одним словом люди старого порядка верили во все чудеса и во все невозможности более, чем все демократы; они уже думали, что дважды два перестало быть четыре, и сам Тьер[78] объявил: “il ne nous reste plus qu’une chose, c’est de nous faire oublier” (“Нам осталось только одно; дать о себе забыть”).

Сим одним и объясняются и та поспешность и то единодушие, с которыми все города провинции и классы во Франции признали республику.

(Отчеркнуто карандашом на полях)

Но пора возвратиться мне к своей собственной истории. После двух или трех недель такого пьянства я несколько отрезвился и стал себя спрашивать: что же я теперь буду делать? Не в Париже и не во Франции мое призвание, мое место на русской границе;

туда стремится теперь польская эмиграция, готовясь на войну против России; там должен быть и я, для того чтобы действовать в одно и то же время на русских и на поляков, для того чтобы не дать готовящейся войне сделаться войною Европы против России "pour refouler ce peuple barbare dans les dŭserts de l'Asie" ("Чтобы отбросить этот варварский народ в пустыни Азии"), как они иногда выражались, и стараться, чтобы это не была война онемечившихся поляков против русского народа, но славянская война, война соединенных вольных славян против русского императора[79].

Государь! Я не скажу ии слова о преступности и донкихотском безумии моего предприятия; остановлюсь только здесь для того, чтобы яснее определить свое тогдашнее положение, средства и связи[80]. Я считаю необходимым войти в подробное объяснение на сей счет, ибо знаю, что мой выезд из Парижа был предметом многих ложных обвинений и подозрений.

Во-первых мне известно, что многие меня называли агентом Ледрю-Ролена[81]. Государь! В этой исповеди я не скрыл от Вас ничего, ни одного греха, ни одного преступления; я обнажил перед Вами всю душу; Вы видели мои заблуждения, видели, как я впадал из безумия в безумие, из ошибки в грех, из греха в преступление... Но Вы поверите мне, государь, когда я Вам скажу, что при всем безумии, при всей преступности моих помыслов и моих предприятий я все-таки сохранил слишком много гордости, самостоятельности, чувства достоинства и наконец любви к родине, для того чтобы согласиться быть против нее презренным агентом, слепым и грязным орудием какой бы то ни было партии, какого бы то ни было человека! Я изъяснял неоднократно в моих показаниях, что я с Ледрю-Роленом почти не был знаком, видел его только раз в жизни и едва сказал с ним десять незначительных слов; и теперь повторяю то же, потому что это есть истина. Гораздо ближе был я знаком с Луи-Бланом и Флоконом, а с Альбером[82] познакомился только по моем возвращении из Франции (Описка: следует читать "во Францию"). Впродолжение всего месяца, проведенного мною в Париже, обедал три раза у Луи Блана и был раз у Флокона в доме да еще несколько раз обедал у Коссидьера, ре-волюционерного префекта полиции, у которого несколько раз видел Альбера; с другими членами Провизорного (Временного) правительства я в это время не виделся. Только одно обстоятельство могло подать повод к вышереченному обвинению; но это обстоятельство, кажется, осталось неизвестным моим обвинителям.

Решившись ехать на русскую границу и не имея денег для этой поездки, я долго искал у приятелей ,и у знакомых и, не найдя ничего, скрепя сердце, решился прибегнуть к демократическим членам Провизорного правительства; вследствие этого написал и послал в четырех экземплярах к Флокону, Луи Блану, Альберу и Ледрю-Ролену короткую записку следующего содержания: "Изгнанный из Франции падшим правительством, возвратившись же в нее после февральской революции и теперь намереваясь ехать на русскую границу, в Герцогство Познанское, для того чтобы действовать вместе с польскими патриотами, я нуждаюсь в деньгах и прошу демократических членов Провизорного правительства дать мне 2.000 франков не *даровою помощью, на которую не имею ни желания, ни права, но в виде займа,* обещая возвратить эту сумму, когда будет только возможно".

Получив сию записку, Флокон просил меня к себе и сказал мне, что он и друзья его в Провизорном правительстве готовы мне ссудить сию незначительную сумму и, если я потребую, более, но что прежде он должен переговорить с польскою Централизациею[83], ибо, находясь с нею в обязательных отношениях, он связан ею во всем, что хоть несколько касается Польши. Какого рода были эти переговоры и что польские демократы сказали обо мне Флокону, мне неизвестно; знаю только, что на другой день он мне предлагал гораздо большую сумму, что я взял у него 2.000 франков, и что, прощаясь, он меня просил писать ему для его журнала "Rĭforme" из Германии и Польши. Я писал ему два раза: из Кельна в самом начале, потом из Кэтена в самом конце 1848 года при посылке своего "Воззвания к славянам". От него же не получал ни писем, ни поручений и не имел с ним никаких

других ни прямых, ни косвенных отношений[84]. Денег не отдал, потому что жил в Германии в постоянной бедности.

Во-вторых меня обвиняли или, лучше сказать, подозревали,— для обвинения не нашлось положительных фактов, — подозревали, говорю я, что я, отправляясь из Парижа, находился в тайной связи с польскими демократами, действовал с ними заодно, по их поручению и по прежде составленному плану. Такое подозрение было весьма естественно, но также лишено всякого основания. В эмиграциях должно различать две вещи: толпу шумящую и тайные общества, всегда состоящие из немногих предприимчивых людей, которые ведут толпу невидимою рукою и готовят предприятия в тайных заседаниях[85]. Я знал в это время толпу польских эмигрантов, и она меня знала, знала даже лучше, чем я мог знать каждого, потому что они были без числа, я же только один русский посреди их; слышал, что они говорили: их гасконады, фантазии, надежды, — слышал одним словом, что всякий мог бы слышать, если бы только захотел; но не участвовал в заседаниях и не был поверенным тайн действительных заговорщиков. В это время в Париже существовало только два серьезные польские общества: общество Чарторижского и общество демократов[86].

С партией Чарторижского я никогда не имел сношений, его же видел всего один раз. В 1846 году я хотел было войти в связь с демократическою Централизациею, но попытка моя не имела успеха, а в Париже после февральской революции я не встретил даже ни одного из ее членов, так что я в это время гораздо менее знал о замыслах польских демократов, чем о бельгийских, итальянских, особенно же немецких современных предприятиях. Между итальянцами я знал Мамиани, генерала Пепе, ,не принадлежащих ни [к] каким обществам. Между бельгийцами знал некоторых предводителей, слышал о их намерениях, но не вмешивался в их дела. Ближе же и лучше знал дела немецкие, находясь в дружеской связи с Гервегом, который принимал в них деятельное участие. Я видел начало несчастного похода Гервега в Баден, знал его средства, его помощников, его вооружение, обещания Провизорного правительства и число работников, вписавшихся в его полк, а также и его отношения с баденскими демократами; знал много потому, что был друг Гервегу, но никаким образом не связывал ни себя, ни свои намерения с его намерениями[87].

Для дополнения картины моего тогдашнего положения и для того, чтобы не оставить в ней ни одной ложной тени, я должен наконец сказать несколько слов и о русских[88]. Ведь, назвав их моими знакомыми, я не могу скомпрометировать их более, чем они сами скомпрометировали себя в Париже. Иван Головин, Николай Сазонов, Александр Герцен и, может быть, еще Николай Иванович Тургенев[89] — вот единственные русские, про которых можно бы было с некоторым основанием подумать, что я находился с ними в политических отношениях. Но Головина я не любил, не уважал, всегда держал себя от него в далеком расстоянии, а после февральской революции, кажется, даже ни разу не встретил. Николай Сазонов — человек умный, знающий, даровитый, но самолюбивый и себялюбивый до крайности. Сначала он был мне врагом за то, что я не мог убедиться в самостоятельности русской аристократии, которой он считал себя тогда не последним представителем; потом стал называть меня своим другом. Я в дружбу его не верил, но видел его довольно часто, находя удовольствие в его умной и любезной беседе. По возвращении моем из Бельгии я встретил его несколько раз у Гервега; он на меня дулся и, как я потом услышал, первый стал распространять слух о моей мнимой зависимости от Ледрю-Ролена. Гораздо более лежало у меня сердце к Герцену[90]. Он — человек добрый, благородный, живой, остроумный, несколько болтун и эпикуреец.

Я видел его в Париже летом в 1847 году; тогда он не думал еще эмигрировать и более всех других смеялся над моим политическим направлением, сам же занимался всевозможными вопросами и предметами, особенно литературою. В конце лета 1847-го года он уехал в Италию и возвратился в Париж летом 1848-го, два или три месяца спустя по моем отъезде из оного, так что мы разъехались с

ним, никогда более не видались я не переписывались. Один раз он мне только прислал денег через Рейхеля. Наконец о Н. И. Тургеневе я могу сказать только, что он в это время более чем когда держал себя в стороне от целого мира и, как богатый собственник и “rentier” (Рантье), был таки немало испуган приключившеюся революциею. Я видел его мельком и, как бы сказать, мимоходом.

(Отчеркнуто карандашом на полях)

Одним словом, государь, я имею полное право сказать, что я жил, предпринимал, действовал вне всякого общества, независимо от всякого чуждого побуждения и влияния: безумие, грехи, преступления мои принадлежали и принадлежат исключительно мне. Я много, много виноват, но никогда не унижался до того чтобы быть чужим агентом, рабом чужой мысли.

Наконец есть против меня еще одно гнусное обвинение.

Меня обвиняли, что будто бы я хотел в сообществе двух поляков, которых теперь позабыл и фамилию, что будто бы я намеревался посягнуть на жизнь Вашего императорского величества. Не стану входить в подробности такой клеветы; я подробно отвечал на нее в своих заграничных показаниях и стыжусь говорить много об этом предмете[91].

Одно только скажу, государь: я - преступник перед Вами и перед законом, я знаю великость своих преступлений, но знаю также, что никогда душа моя не была способна ни к злодейству, ни к подлости[92].

Мой политический фанатизм, живший более в воображении, чем в сердце, имел также свои крепко-определенные границы, и никогда ни Брут, ни Равальяк, ни Алибо[93] *не были моими героями. К тому же, государь, в душе моей собственно против Вас никогда не было даже и тени ненависти. Когда я был юнкером в Артиллерийском училище, я, так же как и все товарищи, страстно любил Вас. Бывало, когда Вы приедете в лагерь, одно слово “государь едет” приводило всех в невыразимый восторг, и все стремились к Вам на встречу. В Вашем присутствии мы не знали боязни; напротив возле Вас и под Вашим покровительством искали прибежища от начальства; оно не смело идти за нами в Александрию. Я помню, это было во время холеры*[94]*. Вы были грустны, государь, мы молча окружали Вас, смотрели на Вас с трепетным благоговением, и каждый чувствовал в душе своей Вашу великую грусть, хоть и не мог познать ее причины, и как счастлив был тот, которому Вы скажете бывало слово! Потом, много лет спустя, за границей, когда я сделался уже отчаянным демократом, я стал считать себя обязанным ненавидеть императора Николая; но ненависть моя была в воображении, в мыслях, не в сердце: я ненавидел отвлеченное политическое лицо, олицетворение самодержавной власти в России, притеснителя Польши, а не то живое величественное лицо, которое поразило меня в самом начале жизни ,и запечатлелось в юном сердце моем. Впечатления юности нелегко изглаживаются, государь!*

Да и в самом разгаре моего политического фанатизма безумие мое сохранило известную меру; мои нападки против Вас никогда не выходили из политической сферы: я дерзал называть Вас жестоким, железным, немилосердным деспотом, проповедывал ненависть и бунт против Вашей власти, но никогда не дерзал и не хотел и не мог коснуться святотатственным языком собственно до Вашего лица, государь, и как бы выразить, это, не нахожу слов, хотя и глубоко чувствую различие, — никогда одним словом я не говорил, не писал как подлый лакей, который ругается над своим господином

и хулит и клевещет, потому что знает, что барин или не слышит, или слишком отдален от него для того, чтобы задеть его своею дубинкою.

(Отчеркнуто карандашом на полях)

Наконец, государь, даже и в самое последнее время наперекор всем демократическим понятиям и как бы против воли я глубоко, глубоко почитал Вас! Не я один, множество других, поляков и европейцев вообще, сознавали со мною, что между всеми ныне царствующими венценосцами Вы только один, государь, сохранили веру в свое царское призвание. С такими чувствами, с такими мыслями, несмотря на все политическое безумие, я не мог быть цареубийцею, и Вы поверите, государь, что это обвинение — не что иное как гнусная клевета.

Теперь же возвращусь к своему повествованию.

Взяв деньги у Флокона, я пошел за паспортом к Коссидьеру; взял же у него не один, а два паспорта, на всякий случай, один на свое имя, другой же на мнимое[95]*, желая по возможности скрыть свое присутствие в Германии и в Познанском Герцогстве. Потом, отобедав у Гервега и взяв у него письма и поручения к баденским демократам, сел в дилижанс и поехал, на Страсбург. Если бы меня кто в дилижансе спросил о цели моей поездки, и я бы захотел отвечать ему, то между нами мог бы произойти следующий разговор.*

"Зачем ты едешь?" — Еду бунтовать. — "Против кого?" — Против императора Николая.—"Каким образом?"—Еще сам хорошо не знаю. — "Куда ж ты едешь теперь?" — В Познанское Герцогство.—"Зачем именно туда?"—Потому что слышал от поляков, что теперь там более жизни, более движения, и что оттуда легче действовать на Царство Польское, чем из Галиции. — "Какие у тебя средства?" - 2000 франков.—"А надежды на средства?"—Никаких определенных, но авось найду,—"Есть знакомые и связи в Познанском Герцогстве?" - Исключая некоторых молодых людей, которых встречал довольно часто в Берлинском университете, я там никого не знаю. — "Есть рекомендательные письма?"—Ни одного.—"Как же ты без средств и один хочешь бороться с русским царем?"—Со мной революция, а в Позене надеюсь выйти из своего одиночества. — "Теперь все немцы кричат против России, возносят поляков и с[о]бираются вместе с ними воевать против русского царства. Ты — русский, неужели ты соединишься с ними?"—Сохрани бог! лишь только немцы дерзнут поставить ногу на славянскую землю, я сделаюсь им непримиримым врагом; но я затем-то и еду в Позен, чтоб всеми силами воспротивиться неестественному соединению поляков с немцами против России. — "Но поляки одни не в состоянии бороться с русскою силою?" — Одни нет, но в соединении с другими славянами, особенно же если мне удастся увлечь русских в Царстве Польском... — "На чем основаны твои надежды, есть у тебя с русскими связи?"—Никакой; надеюсь же на пропаганду и на могучий дух революции, овладевший ныне всем миром!

Не говоря о великости преступления, Вам должно быть очень смешно, государь, что я один, безымянный, бессильный, шел на брань против Вас,

великого царя великого царства! Теперь я вижу ясно свое безумие и сам бы смеялся, если бы мне было до смеху, я поневоле вспоминаю одну басню Ивана Андреевича Крылова[96]*... Но тогда ничего не видел, ни о чем не хотел думать, а шел как угорелый на явную гибель. И если что может хоть несколько извинить — не говорю преступность, а нелепость моей выходки, так разве только то, что я ехал из пьяного Парижа, и сам был пьян, да и все вокруг меня были пьяны!*

Приехав во Франкфурт в первых числах апреля, я нашел тут бесчисленное множество немцев, собравшихся из целой Германии на Vor-Parlament (Предварительный парламент)[97]*, познакомился почти со всеми демократами, отдал письма и поручения Гервега и стал наблюдать, стараясь найти смысл в немецком хаосе и хоть зародыш единства в сем новом вавилонском столпотворении. Во Франкфурте я пробыл около недели, был в Майнце, в Мангейме, в Гейдельберге, был свидетелем многих народных вооруженных и невооруженных собраний, посещал немецкие клубы, знал лично главных предводителей баденского восстания и о всех предприятиях, но ни в одном не принимал деятельного участия, хоть и симпатизировал с ними И желал им всякого успеха, оставаясь во всем, что касалось собственно до меня и до моих собственных замыслов, в прежнем совершенном уединеньи. Потом на дороге в Берлин пробыл несколько дней в Кельне, ожидая там свои вещи из Брюсселя. Чем ближе к северу, тем холоднее становилось мне на душе; в Кельне мной овладела тоска невыразимая, как будто бы предчувствие будущей гибели! Но ничто не могло остановить меня. На другой день моего приезда в Берлин я был арестован, сначала был принят за Гервега (Над словом "Гервег" карандашом поставлен значок в виде звездочки), а потом в наказание за то, что я ехал с двумя паспортами. Впрочем меня продержали только день, а потом отпустили, взяв с меня слово, что я не поеду в Познанское Герцогство и не останусь в Берлине, а поеду в Бреславль.*

Президент полиции Минутоли[98] *удержал у себя паспорт, написанный на мое собственное имя, но возвратил мне другой на имя небывалого Леонарда Неглинского, от себя же дал еще другой паспорт на имя Вольфа или Гофмана, не помню, желая вероятно. чтобы я не терял привычки ездить с двумя паспортами. Таким образом, ничего другого почти не увидев в Берлине, кроме полицейского дома, я отправился далее и приехал в Бреславль в конце апреля или в самом начале мая.*

В Бреславле [я] пробыл безвыездно до самого славянского конгресса, т. е. до конца мая, почти месяц. Первым делом моим было знакомство с бреславльскими демократами; вторым же— отыскивать поляков, с которыми бы мог соединиться. Первое было легко, а второе не только что трудно, но оказалось решительно невозможным. В это время в Бреславле съехалось много поляков из Галиции, из Кракова, из Герцогства Познанского, наконец эмигранты из Парижа и Лондона. Это был нечто вроде польского конгресса: конгресс сей, сколько мне по крайней мере известно, не имел важных результатов, я не присутствовал в его заседаниях, но слышал, что было много шуму, сильная распря и разноголосица провинций и партий, вследствие чего все поляки разъехались, не положив ничего существенного[99]*. Мое положение между ними было с*

самого начала тяжелое и странное: все знали меня, были со мной очень любезны, говорили мне тьму комплиментов; но я чувствовал себя между ними чужим; чем слаще были слова их, тем холоднее становилось мне на сердце, и ни я с ними, ни они со мною не могли сойтиться. К тому же в это самое время вторично и сильнее, чем в первый раз, пронесся между ними слух о моем мнимом предательстве; более всех верили этому слуху и распространяли его эмигранты, особенно же члены Демократического Общества[100]. Они потом, гораздо позже, извинялись, складывая всю вину на старого болтуна графа Ледуховского[101], которого будто бы предостерег Ламартин, а он поспешил предостеречь всех польских демократов. Поляки видимо ко мне охладели, и я, потеряв наконец терпение, стал от них удаляться, так что до пражского конгресса не имел с ними никаких сношений, виделся же только с немногими без политической цели.

Чаще бывал зато между немцами, посещал их демократический клуб и пользовался между ними в то время такою популярностью, что единственно только моим старанием Арнольд Руге, мой старый приятель, был избран Бреславлем во Франкфуртское национальное собрание.

Немцы — смешной, но добрый народ, я с ними почти всегда умел ладить, исключая впрочем литераторов-коммунистов. В это время немцы играли в политику " слушали меня как оракула[102]. Заговоров и серьезных предприятий между ними не было, а шуму, песней, потребления пива и хвастливой болтовни много: все делалось и говорилось на улице, явно; не было ни законов, ни начальства: полная свобода и каждый вечер как бы для забавы маленькое возмущенье. Клубы же их были не что иное как упражнение в красноречии или, лучше сказать, в пусторечии.

Впродолжение всего мая я оставался в полном бездействии; скучал, тосковал и ждал удобного часа. К унынию моему немало способствовали также и тогдашние политические обстоятельства: неудачное восстание Познанского Герцогства, хоть и постыдное для прусского войска[103], изгнание поляков (эмигрантов) из Кракова и вскоре потом и из Пруссии[104], совершенное кораблекрушение баденских демократов[105], наконец первое поражение демократов в Париже[106] были явными предзнаменованиями тогда уже начавшегося революционерного отлива.

Немцы этого не видели и не понимали, но я понимал и в первый раз усумнился в успехе. Наконец стали говорить о славянском конгрессе[107]; я решился ехать в Прагу, надеясь найти там архимедовскую точку опоры для действия.

До тех пор, исключая поляков и не говоря уже о русских, я не был знаком ни с одним славянином и также никогда не бывал в австрийских владениях. Знал же о славянах по рассказам некоторых очевидцев да по книгам[108]. Слышал также в Париже о клубе, основанном Киприаном Робером[109], заместившим Мицкевича на кафедре славянских литератур, но не ходил в этот клуб, не желая мешаться с славянами, предводимыми французом.

Поэтому знакомство и сближение с славянами было для меня опытом новым, и я много ждал от пражского конгресса, особенно надеясь с помощью прочих славян победить тесноту польского национального самолюбия.

Ожидания мои, хоть и не сбылись во всей полноте, не совсем были обмануты. Славяне в политическом отношении — дети, но я нашел в них неимоверную свежесть и несравненно более природного ума и энергии, чем в немцах. Трогательно было видеть их встречу, их детский, но глубокий восторг; сказали бы, что члены одного и того же семейства, разбросанные грозною судьбою по целому миру, в первый раз свиделись после долгой и горькой разлуки: они плакали, они смеялись, они обнимались,— и в их слезах, в их радости, в их радушных приветствиях не было ни фраз, ни лжи, ни высокомерной напыщенности; все было просто, искренно, свято[110]*. В Париже я был увлечен демократическою экзальтациею, героизмом народного класса; здесь же увлекся искренностью и теплотою простого, но глубокого славянского чувства.*

Во мне самом пробудилось славянское сердце, так что в первое время я было почти совсем позабыл все демократические симпатии, связывавшие меня с Западною Европою. Поляки смотрели на прочих славян с высоты своего политического значения, держали себя несколько в стороне, слегка улыбаясь[111]*. Я же смешался с ними и жил с ними и делил их радость от всей души, от полного сердца; и потому был ими любим и пользовался почти всеобщим доверием.*

Чувство, преобладающее в славянах, есть ненависть к немцам. Энергическое, хоть и не учтивое выражение "проклятый немец", выговариваемое на всех славянских наречиях почти одинаковым-образом, производит на каждого славянина неимоверное действие; я несколько раз пробовал его силу и видел, как оно побеждало самих поляков.

Достаточно было иногда побранить кстати немцев для того, чтоб они позабыли и польскую исключительность и ненависть к русским и хитрую, хоть и (В переписанном для царя экземпляре вместо "и" сказано "не", но это неверно. Материалы", т. I, стр. 145, повторяют эту ошибку писаря), бесполезную политику, заставляющую их часто кокетничать с немцами, — одним словом для того, чтобы вырвать их совершенно из той тесной. болезненной, искусственно-холодной оболочки, в которой они живут поневоле, вследствие великих национальных несчастий; для того, чтобы пробудить в них живое славянское сердце и заставить их чувствовать заодно со всеми славянами.

В Праге, где поношению немцев не было конца, я, и с самими поляками чувствовал себя ближе. Ненависть к немцам была неистощимым предметом всех разговоров; она служила вместо приветствия между незнакомыми: когда два славянина сходились, то первое слово между ними было почти всегда против немцев, как бы для того, чтобы уверить друг друга, что они оба — истинные, добрые славяне. Ненависть против немцев есть первое основание славянского единства и взаимного уразумения славян; она так сильна, так глубоко врезана в сердце каждого славянина,

что я и теперь уверен, государь, что рано или поздно, одним или другим образом, и как бы ни определились политические отношения Европы, славяне свергнут немецкое иго, и что придет время, когда не будет более ни прусских, ни австрийских, ни турецких славян.

Важность славянского конгресса состояла по моему мнению в том, что это было первое свидание, первое знакомство, первая попытка соединения и уразумения славян между собою. Что же касается до самого конгресса, то он, равно как и все другие современные конгрессы и политические собрания, был решительно пуст и бессмыслен[112]*. О происхождении же славянского конгресса я знаю следующее*[113]*.*

В Праге существовал уже с давних времен ученый литературный круг, имевший целью сохранение, поднятие и развитие чешской литературы, чешских национальных обычаев, а также и славянской национальности вообще, подавляемой, стесняемой, презираемой немцами, равно как и мадьярами. Кружок сей находился в живой и постоянной связи с подобными кружками между словаками, хорватами, словенцами, сербами, даже между лужичанами в Саксонии и Пруссии и был, как бы сказать, их главою. Палацкий, Шафарик, граф Тун, Ганка, Ко[л]лар, Урбан, Людвиг Штур[114] и несколько других были предводителями славянской пропаганды, сначала литературной, потом уже возвысившейся и до политического значения. Австрийское правительство их не любило, но терпело, потому что они противодействовали мадьярам.

В доказательство же и в пример их деятельности я приведу только одно обстоятельство: тому назад десять, много пятнадцать лет в Праге никто, решительно ни одна душа не говорила по-чешски, разве только чернь и работники; все говорили и жили по-немецки; стыдились чешского языка и чешского происхождения; теперь же напротив ни один человек, ни женщины, ни дети не хотят говорить по-немецки, да и сами немцы в Праге выучились понимать и объясняться по-чешски. Я привел в пример только Прагу, но то же самое произошло и во всех других, богемских, моравских, словацких, больших и маленьких городах; села же никогда и не переставали жить и говорить по-славянски.

Вам, государь, известно, сколь глубоки и сильны симпатии славян к могучему русскому царству, от которого они надеялись опоры и помощи, и до какой степени австрийское правительство да и немцы вообще боялись и боятся русского панславизма! В последние годы невинный литературно-ученый кружок расширился, укрепился, охватил и увлек за собою всю молодежь, пустил корни в народные массы, — и литературное движение превратилось вдруг в политическое. Славяне ожидали только случая, чтобы явить себя миру.

В 1848-м году этот случай обрелся. Австрийская империя чуть было не распалась на свои многоразличные, враждебно противоположные, несовместимые элементы, и если на время спаслась, то не своею одряхлевшею силою, только Вашею помощью, государь! Восстали итальянцы, восстали мадьяры и немцы, восстали наконец и славяне. Австрийское или, лучше сказать, Инспрукское правительство, — ибо тогда австрийских правительств было много, по крайней мере два: одно действительное в Инспруке, другое официальное и конституционное в Вене, не говоря уже о третьем, Венгерском, также официально признанном правительстве[115], — итак династическое правительство в Инспруке, покинутое всеми и лишенное почти всяких средств, стало искать спасения в национальном движении славян.

Первая мысль собрать в Праге славянский конгресс принадлежит чехам, а именно Шафарику, Палацкому и графу Туну[116].

В Инспруке ухватились за нее с радостью, потому что надеялись, что славянский конгресс будет служить противоядием конгрессу немцев во Франкфурте. Граф Тун, Палацкий, Браунер создали тогда в Праге нечто вроде провизорного правительства, были признаны Инспруком и относились с ним прямо помимо венских министров, которых не хотели ни признавать, ни слушаться, видя в них враждебных представителей германской национальности[117]. Таким образом составилась полуофициальная чешская партия, полуславянская и полуправительственная: правительственная потому, что она хотела спасти династию, монархическое начало и целость австрийской монархии, однако не безусловно, требуя зато: во-первых конституции, во-вторых перенесения имперской столицы из Вены в Прагу, что им и было действительно обещано, разумеется с твердым намерением не сдержать обещания, и наконец совершенного превращения австрийской монархии из немецкой в славянскую, так что уж не немцы более и не мадьяры притесняли бы славян, но обратно. Все это выразил Палацкий в своей тогда явившейся брошюре следующими словами: “Wir wollen das Kunststsck versuchen, die bis zu ihrem tiefsten Wesen erschьtterte Monarchie auf unserem slavischen Boden und mit unserer slavischen Kraft zu beleben, zu heilen und zu befestigen” (“Мы хотим попытаться совершить кунстштюк — оживить, исцелить и укрепить глубочайшим образом потрясенную австрийскую монархию на нашей славянской почве и с помощью нашей славянской силы”)[118] ,—предприятие невозможное, в котором они должны были быть или обманутыми или обманщиками.

Но чешская партия не довольствовалась сим общим преобладанием славянского элемента в Австрийской империя. Опираясь на свой полуофициальной характер и на льстивые инспрукские обещания, она хотела еще устроить в свою пользу нечто вроде чешской гегемонии и утвердить между самими славянами преобладание чешского языка, чешской национальности. Не говоря уже о Моравии, она намеревалась присоединить еще к Богемии словацкую землю, австрийскую Шлезию (Силезия) и даже Галицию, угрожая полякам в случае непокорения возмущением русинов, — хотели одним словом создать сильное Богемское королевство[119]. Таковы были притязания чешских политиков.

Они, разумеется, встретили сильное сопротивление в словаках, в шлензаках (Силезцы), более же всего в поляках. Последние приехали в Прагу совсем не для того, чтобы покориться чехам, да если правду сказать, так и не вследствие чрезвычайного влечения к славянским братьям и к славянской мысли, а просто в надежде найти тут опору и помощь для своих особенных национальных предприятий.

Таким образом с самых первых дней произошла борьба, не между массами приезжих славян, только между их предводителями, сильнее же всех борьба между поляками и чехами, между поляками и русинами, борьба, кончившаяся ничем, как и весь славянский конгресс. Южные славяне были чужды всем прениям и занимались исключительно приуготовлениями к венгерской войне, уговаривая и прочих славян отложить все внутренние вопросы до совершенного низложения мадьяр, и, как иные говорили, до совершенного изгнания оных из Венгрии.

Поляки ни на то, ни на другое не соглашались, предлагали же свое посредничество, которого ни южные славяне да, сколько я слышал, и сами мадьяры не захотели принять[120]. Одним словом все тянули на свою сторону и все желали сделать себе из других скамью для своего собственного возвышения; более всех чехи, избалованные инспрукокими комплиментами, а потом и поляки, избалованные не судьбою, но комплиментами европейских демократов.

Конгресс[121] состоял из трех отделений: *Северное,* в котором были поляки, русины, шлензаки; *Западное,* состоявшее из чехов, моравов, словаков, и *Южное,* в котором заседали сербы, хорваты, словенцы и далматы. По первоначальному определению Палацкого, главного изобретателя и руководителя славянского конгресса, конгресс сей должен был исключительно состоять из австрийских славян, не-австрийские же должны были присутствовать в нем только как гости; но определение сие было в самом начале отвергнуто: вошли в конгресс не как гости, но как

действительные члены[122] много поляков из Познани, польские эмигранты, несколько турецких сербов и наконец двое русских: я да еще один старообрядческий поп, которого позабыл фамилию,-— ее можно впрочем найти в печатном отчете Шафарика о славянском конгрессе[123], — поп или вернее монах из старообрядческого монастыря, существовавшего в Буковине с своим особенным митрополитом и уничтоженного, кажется, в это же время по требованию русского правительства; он ездил с отставленным митрополитом в Вену, потом, услышав о славянском конгрессе приехал один в Прагу[124].

(Отчеркнуто карандашом на полях)

Я вступил в Северное, то есть в польское отделение и при вступлении произнес короткую речь, в которой сказал, что Россия, отторгнувшись от славянской братии через порабощение Польши, особенно же предав ее в руки немцев, общих и главных врагов всего славянского племени, не может иначе возвратиться к славянскому единству и братству, как через освобождение Польши, и что поэтому мое место на славянском конгрессе должно быть между поляками[126]. Поляки приняли меня с рукоплесканиями и выбрали депутатом в южно-славянское отделение сообразно с моим собственным желанием. Старообрядческий поп вместе со мною вступил в отделение поляков и по моему ходатайству был даже избран ими в Общее собрание, состоявшее из депутатов трех главных групп (В оригинале сказано "групов", в писарской копии "кругов").

Я не скрою от Вас, государь что мне приходило на мысль употребить этого попа на революционерную пропаганду в России. Я знал, что на Руси много старообрядцев и других расколов, и что русский народ склонен к религиозному фанатизму. Поп же мой был человек хитрый, смышленый, настоящий русский плут и пройдоха, бывал в Москве, знал много о старообрядцах да и о расколах вообще в русской империи; да кажется, что и монастырь-то его находился в постоянной связи с русскими старообрядцами[127]. Но я не имел времени заняться им, сомневался отчасти в нравственности такого сообщества, не имел еще определенного плана для действия, ни связей, а главное не имел денег; без денег же с такими людьми и говорить нечего. К тому же я был в это время исключительно занят славянским вопросом, видел его редко, а потом и совсем потерял его из виду.

Дни текли, конгресс не двигался. Поляки занимались регламентом, парламентскими формами да русинским вопросом; вопросы более важные переговаривали не на конгрессе, а в собраниях особенных и не так многочисленных. Я в сих собраниях не участвовал, слышал только, что в них продолжались отчасти бреславские распри и была сильно речь о Кошуте и о мадьярах, с которыми, если не ошибаюсь, поляки уже в то время начинали иметь положительные сношения к великому неудовольствию прочих славян. Чехи были заняты своими честолюбивыми планами, южные славяне предстоявшей войною. Об общем славянском вопросе мало кто думал. Мне опять стало тоскливо, и я начал чувствовать себя в Праге а таком же уединении, в каком был прежде в Париже и в Германии. Я несколько раз говорил в польском, в южно-славянском, а также и в общем собрании; вот главное содержание моих речей:

"Зачем вы съехались в Прагу? Для того ли, чтобы толковать здесь о своих провинциальных интересах, или для того, чтобы слить все частные дела славянских народов, их интересы, требования, вопросы в один нераздельный, великий славянский вопрос? Начните же заниматься им и покорите все частные требования (В оригинале описка "требованью") славянскому делу. Наше собрание есть первое славянское собрание;

мы должны положить здесь начало новой славянской жизни, провозгласить и утвердить единство всех славянских племен, соединенных отныне в одно нераздельное и великое политическое тело.

“И во-первых спросим себя: наше собрание есть-ли только собрание австрийских славян или вообще славянское собрание? Какой смысл выражения “австрийские славяне”? Славяне, живущие в Австрийской империи, не более, а если вы хотите, так пожалуй славяне, порабощенные австрийскими немцами. Если же вы хотите ограничить ваше собрание представителями только австрийских славян, каким правом называете вы его славянским? Вы исключаете всех славян Российской империи, славян-подданных Пруссии, турецких славян; меньшинство исключает огромное большинство и смеет называть себя славянским! Называйте же себя немецкими славянами и конгресс ваш — конгрессом немецких рабов, а не славянским конгрессом.

“Я знаю, многие из вас надеются на опору австрийской династии. Она теперь вам все обещает, она вам льстит, потому что вы ей необходимы; но сдержит ли она свои обещания, и будет ли иметь возможность сдержать их, когда вашею помощью восстановит свою падшую власть? Вы говорите, что сдержит, я же уверен, что нет.

“Первый закон всякого правительства есть закон самосохранения; ему покорены все нравственные законы, и нет еще в истории примера, чтобы какое [либо] правительство сдержало без принуждения обещания, данные им в критическую минуту. Вы увидите, австрийская династия не только что забудет ваши услуги, но будет мстить вам за свою прошедшую постыдную слабость, принуждавшую ее унижаться перед вами и льстить вашим крамольным требованиям. История австрийской династии богаче других такими примерами, и вы, ученые чехи, вы, знающие так хорошо и так подробно прошедшие несчастия своей родины, вы должны бы были понимать лучше других, что не любовь к славянам и не любовь к славянской независимости и к славянскому языку и к славянским нравам и обычаям, но единственно только железная необходимость заставляет ее ныне искать вашей дружбы.

“Наконец, предположив даже невозможное, предположив, что австрийская династия захочет в самом деле и будет в состоянии соблюсти данное слово, какие будут ваши приобретения? Австрия из полунемецкого государства превратится в полуславянское; это значит, что вы из притесняемых превратитесь в притеснителей, из ненавидящих в ненавистных; это значит, что вы, малочисленные австрийские славяне, отторгнетесь от славянского большинства, что вы сами разрушите всякую надежду на соединение славян, на то великое славянское единство, которое по крайней мере в ваших словах есть первый и главный предмет ваших желаний. Славянское единство, славянская свобода, славянское

возрождение не иначе возможны как через совершенное разрушение Австрийской империи.

“Не менее ошибаются и те, которые для восстановления славянской независимости надеются на помощь русского царя. Русский царь заключил новый тесный союз с австрийскою династиею, не за вас, но против вас, не для того чтобы помогать вам, а для того чтобы возвратить вас насильно, вас, равно как и всех прочих бунтующих австрийских подданных, в старое подданство, к старому безусловному повиновению. Император Николай не любит ни народной свободы, ни конституций: вы видели живой пример в Польше. Я знаю, что русское правительство уже с давних времен обрабатывает вас, равно как и турецких славян, своими агентами, которые объезжают

славянские земли, распространяя между вами панславистические мысли, обольщая вас надеждою на скорую помощь, на приближающееся будто бы освобождение всех славян могучею силою русского царства, и не сомневаюсь, что оно видит в далекой, в весьма далекой будущности Момент, когда все славянские земли войдут в состав Российской империи[128].

Но никто из нас не доживет до желанного часа, хотите вы ждать до тех пор? Не вы одни, славянские народы успеют одряхлеть до того времени.

Теперь же вам нет места в недрах русского царства: вы хотите жизни, а там мертвое молчанье, требуете самостоятельности, движенья, а там механическое послушание, желаете воскресенья, возвышенья, просвещенья, освобожденья, а там смерть, темнота и рабская работа.

Войдя в Россию императора Николая, вы вошли бы во гроб всякой народной жизни и всякой свободы. Правда, что без России славянское единство неполно и нет славянской силы; но безумно было бы ждать спасенья и помощи для славян от настоящей России. Что же остается вам? Соединитесь сначала вне России, не исключая ее, но ожидая, надеясь на ее скорое освобождение; и она увлечется вашим примером, и вы будете освободителями российского народа, который в свою очередь будет потом вашею силою и вашим щитом.

(Отчеркнуто карандашом на полях)

"Начните же свое соединение следующим образом: объявите, что вы, славяне, не австрийские, а живущие на славянской земле в так называемой Австрийской империи, сошлись и соединились в Праге для заложения первого основания будущей вольной и великой федерации всех славянских народов, и что в ожидании присоединения славянских братий в русской империи, в прусских владениях, в Турции вы, чехи, моравы, поляки из Галиции и Кракова, русины, шлензаки, словаки, сербы, словенцы, хорваты и далматы, заключили между собою крепкий и неразрывный оборонительный и наступательный союз на следующих основаниях".

Я не стану высчитывать здесь всех пунктов, придуманных мною; скажу только, что проект сей, напечатанный потом, впрочем без моего ведома и только отрывком в одном из чешских журналов, был составлен в демократическом духе[129]; что он оставлял много простору национальным и провинциальным различиям во всем, что касалось административного управления, полагая впрочем и тут некоторые основные определения, общие и обязательные для всех; но что во всем касавшемся внутренней, как и внешней политики власть была перенесена и сосредоточена в руках центрального правительства.

(Отчеркнуто карандашом на полях)

Таким образом и поляки и чехи должны были исчезнуть со всеми своекорыстными и самолюбивыми притязаниями в общем славянском союзе. Я советовал также конгрессу требовать от инспрукского, тогда еще всеуступавшего двора официального признания союза и тех же самых уступок, которые оно незадолго перед тем сделало мадьярам, а посему не могло отказать своим добрым и верным славянам, как-то: особенного славянского министерства, особенного славянского войска с славянскими офицерами и особенных славянских финанс[ов]. Советовал также требовать возвращения хорватских и других славянских полков из Италии; советовал наконец послать поверенного в Венгрию к Кошуту, уже не от имени бана Елачича, но во имя всех соединенных славян, для того чтобы разрешить мирным образом мадьяро-славянский

вопрос и предложить мадьярам равно как и седьмиградским валахам[130] *вступить в славянский или пожалуй в восточно-республиканский союз на правах равных со всеми славянами.*

Признаюсь, государь, что подавая такой проект славянскому конгрессу, я имел в виду совершенное разрушение Австрийской империи, разрушение в обоих случаях: в случае принужденного согласия, а также и в случае отказа, который бы привел династию в гибельную коллизию с славянами.

Другая же и главная цель моя была найти в соединенных славянах точку отправления для широкой революционерной пропаганды в России, для начала борьбы против Вас, государь! Я не мог соединиться с немцами: это была бы война Европы и, что еще хуже, война Германии против России; с поляками также не мог соединиться; они мне плохо верили, да и мне самому, когда я узнал ближе их национальный характер, их неисцелимый, хоть исторически и понятный мне эгоизм, мне самому стало уже совестно и совершенно невозможно мешаться с поляками, действовать с ними заодно против родины. В славянском же союзе я видел напротив отечество еще шире, в котором, лишь бы только Россия к нему присоединилась, и поляки и чехи должны бы были уступить ей первое место.

Я несколько раз употребил выражение "революционерная пропаганда в России": пора же мне наконец объяснить, каким образом я разумел сию пропаганду, какие у меня были на то надежды и средства[131].

Прежде всего, государь, я должен торжественно объявить Вам, что у меня ни прежде, ни в это время, ни потом ,не было не только что связей, но даже ни тени ниже начала сношений с Россиею и с русскими и ни с одним человеком, живущим в пределах Вашей Империи.

От 1842-го года я не получил из России более десяти писем и сам едва написал столько же; в письмах же сих не было даже и воспоминания о политике[132]. В 1848-м году я надеялся было войти в сношения с русскими, живущими на познанской и галицийской границах; для этого мне была необходима помощь поляков, но с поляками, как я уже несколько раз изъяснял, я не мог или не умел сойтиться; сам же не был ни разу ни в Познанском Герцогстве, ни в Кракове, ни в Галиции, а также и не знал ни одного жителя сих провинций, про которого мог бы утвердительно и по совести сказать, что он имел отношения с Царством Польским или с Украиною.

Да и не думаю, чтобы поляки в это время имели частые сношения с пограничными провинциями Российской империи: они жаловались на трудность сообщений, на живую, непроходимую стену, которою она себя окружила. Доходили же только глухие, большею частью бессмысленные слухи: так например пронесся раз слух о бунте в Москве и о будто бы вновь открытом русском заговоре; другой раз, что будто бы русские офицеры заколотили пушки на варшавской цитадели, и тому подобные пустяки, в которые я, несмотря на все безумие, в которое был сам погружен, никогда не верил.

Все мои предприятия остались в мысли не потому, чтоб я тогда не хотел, но потому, что не мог действовать, не имея ни путей, ни средств для пропаганды. Граф Орлов сказал мне, что правительству было донесено, что будто бы я говорил за границею о своих сношениях с Россиею, особенно с Малороссиею. На это я могу сказать только одно: я никогда не любил лгать, а потому и не говорил и не мог говорить о сношениях, которых у меня не было.

Слышал же об Украине от польских помещиков, живущих в Галиции, слышал, что будто бы вследствие освобождения галицийских крестьян в начале 1848-го года и малороссийские крестьяне в

Волыни, в Подолии, равно как и в Киевской губернии, пришли в такое сильное волнение, что многие помещики, опасаясь за жизнь свою, уехали в Одессу[133]. Вот решительно все, что я слышал о Малороссии; очень может быть, что потом я публично говорил о сем известии, потому что хватался решительно за все, что хоть несколько могло поддержать или, лучше сказать, пробудить в европейской, особенно же в славянской публике веру в возможность, в необходимость русской революции. Я должен сделать тут одно замечание.

Обреченный предыдущею жизнью, — понятиями, положением, неудовлетворенною потребностью действия, а также и волею на несчастную революционерную карьеру, я не мог оторвать ни природы, ни сердца, ни мыслей своих от России, вследствие этого не мог иметь другого круга действия кроме России, вследствие этого должен был верить или, лучше сказать, должен был заставлять себя и других верить в русскую революцию. То, что в этом письме я сказал о Мицкевиче, может быть, хотя и не в том размере, применено ко мне самому: я был в то же время обманутым и обманщиком, обольщал себя и других, как бы насильствуя мой собственный ум и здравый смысл моих слушателей. По природе я не шарлатан, государь, напротив ничто так не противно мне, как шарлатанизм, и никогда жажда простой, чистой истины не угасала во мне; но неестественное, несчастное положение, в которое я впрочем сам привел себя, заставляло меня иногда быть шарлатаном против воли.

(Отчеркнуто карандашом на полях)

> *Без связей, без средств, один с своими замыслами посреди чужой толпы, я имел только одну сподвижницу: веру, и говорил себе, что вера переносит горы, разрушает преграды, побеждает непобедимое и творит невозможное, что одна вера есть уже половина успеха, половина победы; совокупленная с сильною волею, она рождает обстоятельства, рождает людей, собирает, соединяет, сливает массы в одну душу и силу; говорил себе, что, веруя сам в русскую революцию и заставив верить в нее других, европейцев, особливо славян, впоследствии же и русских, я сделаю революцию в России возможною, необходимою.*
>
> *Одним словом я хотел верить, хотел, чтобы верили и другие. Не без труда и не без тяжкой борьбы доставалась мне сия ложная, искусственная, насильственная вера; не раз в уединенных минутах находили на меня мучительные сомнения, сомнения я в нравственности, и в возможности моего предприятия; не раз слышался мне внутренний укоряющий голос и не раз повторял я себе слова, сказанные апостолу Павлу, когда он назывался еще Савлом: "Жестоко же есть противу рожна прати". Но все было напрасно: я заглушал в себе совесть и отвергал сомнения как недостойные. Я знал Россию мало, восемь лет жил за границею, а когда жил в России, был так исключительно занят немецкою философиею, что ничего вокруг себя не видел.*

К тому же изучение России без особенной помощи правительства трудно, почти невозможно даже и тем, которые стараются знать ее; а изучение простого народа, крестьян, мне кажется, трудно и самому правительству[134].

> За границею, когда внимание мое устремилось в первый раз на Россию, я стал вспоминать, собирать старые, бессознательные впечатления и отчасти из них, отчасти из разных доходивших до меня слухов создал себе фантастическую Россию, готовую к революции, натягивая или обрезывая на прокрустовской кровати моих демократических желаний каждый факт, каждое обстоятельство. Вот каким образом я обманывал себя и других.

Я никогда не говорил ни о своих связях, ни о своем влиянии в России; это была бы ложь, а ложь была мне противна; но когда вокруг меня предполагали, что я имею влияние, имею положительные связи, я молчал, не противоречил, ибо в этом мнении находил почти единственную опору для своих предприятий. Таким образом должны были произойти многие пустые, ни на чем не основанные слухи, дошедшие вероятно потом и до правительства.

(Отчеркнуто карандашом на полях)

Русской пропаганды не было посему и в зародыше, она существовала только в моей мысли. Но каким образом существовала она в моей мысли? Постараюсь отвечать на этот вопрос со всевозможною искренностью и подробностью. Государь, тяжелы мне будут сии признания! Не то, чтобы я опасался возбудить ими праведный гнев Вашего императорского величества и навлечь на себя казнь жесточайшую; от 1848-го года, особенно же со времени моего заключения, я успел перейти через столько различных положений и впечатлений: ожиданий, горьких опытов и горьких предчувствий, надежд, опасений и страхов, что душа моя наконец скалилась, притупилась, и мне кажется, что и надежда и страх потеряли на нее всякое влияние! Нет, государь, но мне тяжко, совестно, стыдно говорить Вам в глаза о преступлениях, замышленных мною собственно против Вас и против России, хотя преступления сии были только преступления в мысли, в намерении и никогда не переходили в действие.

Если бы я стоял перед Вами, государь, только как перед царем-судьею, я мог бы избавить себя от сей внутренней муки, не входя в бесполезные подробности. Для праведного применения карающих законов довольно бы было, если бы я сказал: "я хотел всеми силами и всеми возможными средствами вдохнуть революцию в Россию; хотел ворваться в Россию и бунтовать против государя и разрушить в конец существующий порядок.

Если же не бунтовал и не начинал пропаганды, то единственно только потому, что не имел на то средств, а не по недостатку воли". Закон был бы удовлетворен, ибо такое признание достаточно для осуждения меня на жесточайшую казнь, существующую в России. Но по чрезвычайной милости Вашей, государь, я стою теперь не так перед царем-судьею, как перед царем-исповедником, и должен показать ему все сокровенные тайники своей мысли. Буду же сам себя исповедывать перед Вами; постараюсь внести свет в хаос своих мыслей и чувств, для того чтобы изложить их в порядке; буду говорить перед Вами, как бы говорил перед самим богом, которого нельзя обмануть ни лестью, ни ложью. Вас же молю, государь, позвольте мне позабыть на минуту, что я стою перед великим и страшным царем, перед которым дрожат миллионы, в присутствии которого никто не дерзает не только произнести, но даже и возыметь противного мнения! Дайте мне подумать, что я теперь говорю только перед своим духовным отцом.

Я хотел революции в России. Первый вопрос: почему я желал оной? Второй вопрос: какого порядка вещей желал я на место существующего порядка?

И наконец третий вопрос: какими средствами и какими путями думал я начать революцию в России?[135].

Когда обойдешь мир, везде найдешь много зла, притеснений, неправды, а в России, может быть, более, чем в других государствах. Не оттого, чтоб в России люди были хуже, чем в Западной Европе; напротив я думаю, что русский человек лучше, добрее, шире душой, чем западный; но на Западе против зла есть лекарства: публичность, общественное мнение, наконец свобода, облагораживающая и возвышающая всякого человека.

Это лекарство не существует в России. Западная Европа потому иногда кажется хуже, что в ней всякое зло выходит наружу, мало что остается тайным. В России же все болезни входят во-внутрь, съедают самый внутренний состав общественного организма. В России главный двигатель—страх, а страх убивает всякую жизнь, всякий ум, всякое благородное движение души. Трудно и тяжело жить в России человеку, любящему правду, человеку, любящему ближнего, уважающему равно во всех людях достоинство и независимость бессмертной души, человеку, терпящему одним словом не только от притеснений, которых он сам бывает жертва, но и от притеснений, падающих на соседа!

Русская общественная жизнь есть цепь взаимных притеснений: высший гнетет низшего; сей терпит, жаловаться не смеет, но зато жмет еще низшего, который также терпит и также мстит на ему подчиненном. Хуже же всех приходится простому народу, бедному русскому мужику, который, находясь на самом низу общественной лестницы, уж никого притеснять не может и должен терпеть притеснения от всех по этой русской же пословице: “Нас только ленивый не бьет!”

Везде воруют и берут взятки и за деньги творят неправду! — и во Франции, и в Англии, и в честной Германии, в России же, я думаю, более, чем в других государствах. На Западе публичный вор редко скрывается, ибо на каждого смотрят тысячи глаз, и каждый может открыть воровство и неправду, и тогда уже никакое министерство не в силах защитить вора.

В России же иногда и все знают о воре, о притеснителе, о творящем неправду за деньги, все знают, но все же и молчат, потому что боятся, и само начальство молчит, зная и за собою грехи, и все заботятся только об одном, чтобы не узнали министр да царь. А до царя далеко, государь, так же как и до бога высоко! В России трудно и почти невозможно чиновнику быть не вором. Во-первых все вокруг него крадут, привычка становится природою, и что прежде приводило в негодование, казалось противным, скоро становится естественным, неизбежным, необходимым; во-вторых потому, что подчиненный должен сам часто в том или другом виде платить подать начальнику, и наконец потому, что если кто и вздумает остаться честным человеком, то и товарищи и начальники его возненавидят; сначала прокричат его чудаком, диким, необщественным человеком, а если не исправится, так пожалуй и либералом, опасным вольнодумцем, а тогда уж не успокоятся, прежде чем его совсем не задавят и не сотрут его с лица земли.

Из низших же чиновников, воспитанных в такой школе, делаются со-временем высшие, которые в свою очередь и тем же самым способом воспитывают вступающую молодежь, — и воровство и неправда и притеснения в России живут и растут, как тысячечленный полип, которого как ни руби и ни режь, он никогда не умирает[136].

Один страх противу сей всепоедающей болезни не действителен. Он приводит в ужас, останавливает на время, но на короткое время. Человек привыкает ко всему, даже и к страху. Везувий окружен селениями, и самое то место, где зарыты Геркулан и Помпея, покрыто живущими; в Швейцарии многолюдные деревни живут иногда под треснувшим утесом, и все знают, что он каждый день, каждый час может повалиться и что в страшном падении он обратит в прах все под ним обретающееся; я никто не двигается с места, утешая себя мыслью, что авось еще долго не упадет.

Так и русские чиновники, государь! Они знают, сколь гнев Ваш бывает ужасен и Ваши наказания строги, когда до Вас доходит известие о какой неправде, о каком воровстве; и все дрожат при одной мысли Вашего гнева и все-таки продолжают и красть и притеснять и творить неправду! Отчасти потому, что трудно отстать от старой, закоренелой привычки; отчасти потому, что каждый затянут, запутан, обязан другими вместе с ним воровавшими и ворующими ворами; более же всего потому, что всякий утешает себя мыслью, что он будет действовать так осторожно и пользуется такою сильною воровскою же протекциею, что никогда его прегрешения не дойдут до Вашего слуха.

Один страх недействителен. Против такого зла необходимы другие лекарства: благородство чувств, самостоятельность мысли, гордая безбоязненность чистой совести, уважение человеческого достоинства в себе и в других, а наконец и публичное презрение ко всем бесчестным, бесчеловечным людям, общественный стыд, общественная совесть! Но эти качества, силы цветут только там, где есть для души вольный простор, [а] не там, где преобладает рабство и страх. Сих добродетелей в России боятся, не потому, чтоб их не любили, но опасаясь, чтобы с ними не завелись и вольные мысли...

Я не смею входить в подробности, государь! Смешно и дерзко было бы, если бы я стал говорить Вам о том, что Вы сами в миллион раз лучше знаете, чем я. Я же мало знаю Россию, и что знал об ней, высказал в своих немногочисленных статьях и брошюрах, а также и в защитительном письме, написанном мною в крепости Кенингштейн.

Я говорил в них часто в выражениях дерзостных и преступных против Вас, государь, в болезненно-горячешном духе и тоне, греша против русской пословицы “из избы сору не выносить”, но сообразно своим тогдашним убеждениям, так что все ложное и неверное в них может быть приписано незнанию России, моему немощному уму, а не сердцу.

Более всего поражало и смущало меня несчастное положение, в котором обретается ныне так называемый черный народ, русский добрый и всеми угнетенный мужик. К нему я чувствовал более симпатии, чем к прочим классам, несравненно более, чем к бесхарактерному и блудному сословию русских дворян. На нем основывал все надежды на возрождение, всю веру в великую будущность России, в нем видел свежесть, широкую душу, ум светлый, не зараженный заморскою порчею, и русскую силу, — и думал, что бы был этот народ, если б ему дали свободу и собственность, если б его выучили читать и писать! и спрашивал, почему нынешнее правительство, самодержавное, вооруженное безграничною властью, неограниченное по закону и в деле никаким чуждым правом, ни единою соперничествующею силою, почему оно не употребит своего всемогущества на освобождение, на возвышение, на просвещение русского народа[137].

И много других вопросов, связанных с сим главным, основным, представлялись душе моей, и вместо того, чтобы отвечать на них, как должен отвечать на подобные сомнения каждый подданный Вашего императорского величества: “Не мое дело рассуждать о сих предметах, знают государь да начальство, мое же дело повиноваться”, вместо другого ответа, также не лишенного основания и служащего основанием первому: правительство смотрит на все вопросы сверху, обнимая все в одно время, я же, смотря на них снизу, не могу видеть всех препятствий, всех трудностей, обстоятельств и современных условий как внутренней, так и внешней политики, поэтому и не могу определить удобного часу для всякого действия,— вместо сих ответов я дерзостно и крамольно отвечал в уме и писаниях своих: “Правительство не освобождает русского народа во-первых потому, что при всем всемогуществе власти, неограниченной по праву, оно в самом деле ограничено множеством обстоятельств, связано невидимыми путами, связано своею развращенною администрациею, связано наконец эгоизмом дворян.

Еще же более потому, что оно действительно не хочет ни свободы, ни просвещения, ни возвышения русского народа, видя в нем только бездушную машину для завоеваний в Европе”! Ответ сей,

совершенно противный коему верноподданническому долгу, не противоречил моим демократическим понятиям[138].

(Отчеркнуто карандашом на полях)

Могли бы опросить меня: как думаешь ты теперь? Государь, трудно мне будет отвечать на этот вопрос![139]

В продолжение более чем двухлетнего одинокого заключения я успел многое передумать и могу сказать, что никогда в жизни так серьезно не думал, как в это время: я был один, далеко от всех обольщений, был научен живым и горьким опытом. Еще более усумнился я в истине многих старых мыслей, когда, въехав в Россию, нашел в ней такую человеколюбивую, благородную, сострадательную встречу вместо ожидаемого жестокого и грубого обхождения. На дороге я услышал многое, чего прежде не знал и чему бы за границей никогда не поверил. Многое, очень многое во мне изменилось; но могу ли сказать по совести, чтобы во мне не осталось также и много, много следов старой болезни?

Одну истину понял я совершенно: что правительственная наука и правительственное дело так велики, так трудны, что мало кто в состоянии постичь их простым умом, не быв к тому приготовлен особенным воспитанием, особенною атмосферою, близким знакомством и постоянным обхождением с ними ; что в жизни государств и народов есть много высших условий, законов, не подлежащих обыкновенной мерке, и что многое, что кажется нам в частной жизни неправедным, тяжким, жестоким, становится в высшей политической области необходимым [140].

Понял, что история имеет свой собственный, таинственный ход, логический, хотя и противоречащий часто логике мира, спасительный, хотя и не всегда соответствующий нашим частным желаниям, и что кроме некоторых исключений, весьма редких в истории, как бы допущенных провидением и освященных признанием потомства, ни один частный человек, как бы искренни, истинны, священны ни казались впрочем его убеждения, не имеет ни призвания, ни права воздвигать крамольную мысль и бессильную руку против неисповедимых высших судеб. Понял одним словом, что мои собственные замыслы и действия были в высшей степени смешны, бессмысленны, дерзостны и преступны; преступны против Вас, моего государя, преступны против России, моего отечества, преступны против всех политических и нравственных, божественных и человеческих законов! Но возвращусь к своим крамольным, демократическим вопросам.

Я спрашивал себя также: “Какая польза России в ее завоеваниях? И если ей покорится полсвета, будет ли она тогда счастливее, вольнее, богаче? Будет даже сильнее? И не распадется ли могучее русское царство, и ныне уже столь пространное, почти необъятное, не распадется ли оно наконец, когда еще далее распространит свои пределы? Где последняя цель его расширения? Что принесет оно порабощенным народам заместо похищенной независимости — о свободе, просвещении и народном благоденствия и говорить нечего, — разве только свою национальность, стесненную рабством!

Но русская или вернее великороссийская национальности должна ли и может ли быть национальностью целого-мира? Может ли Западная Европа когда [либо] сделаться русскою языком, душою и сердцем? Могут ли даже все славянские племена сделаться русскими? Позабыть свой язык,—которого сама Малороссия не могла еще позабыть, —

свою литературу, свое родное просвещение, свой теплый дом, одним словом, для того чтобы совершенно потеряться и "слиться в русском море" по выраженью Пушкина? Что приобретут они, что приобретет сама Россия через такое насильственное смешение? Они—то же, что приобрела Белоруссия вследствие долгого подданства у Польши: совершенное истощение и поглупение народа.

А Россия? Россия должна будет носить на плечах своих всю тяжесть сей необъятной, многосложной, насильственной централизации. Россия сделается ненавистна всем прочим славянам так, как теперь она ненавистна полякам; будет не освободительницею, а притеснительницею родной славянской семьи; их врагом против воли, насчет собственного благоденствия и насчет своей собственной свободы, и кончит наконец тем, что, ненавидимая всеми, сама себя возненавидит, не найдя в своих принужденных победах ничего кроме мучений и рабства. Убьет славян, убьет и себя! Таков ли должен быть конец едва только что начинающейся славянской жизни и славянской истории?"[141]

Государь! Я не старался смягчать выражения! Представил же Вам вопросы, волновавшие тогда мою душу, во всей их сырой наготе, надеясь на Ваше милостивое снисхождение и для того, чтобы хоть несколько объяснить Вашему императорскому величеству, каким образом, идя или, лучше сказать, шатаясь от вопроса к вопросу, от вывода к выводу, я успел отчасти уверить себя в необходимости и нравственности русской революции.

(Отчеркнуто карандашом на полях)

Я довольно сказал, чтобы показать, сколь была велика необузданность моей мысли. Теперь же с опасностью погрешить против логики и связи спешу перескочить через множество подобных вопросов и мыслей, приведших меня к окончательному революционерному заключению. Трудно, государь, и неимоверно как тяжело мне говорить Вам об этих предметах. Трудно потому, что не знаю, каким образом я должен объясняться: если стану смягчать выражения, то Вы можете подумать, что я хочу скрыть или умалить дерзость своих мыслей, и что исповедь моя не искренна, не совершенна; если ж стану повторять выражения, которые употреблял, когда находился в самом разгаре политического безумия, то Вы пожалуй подумаете, государь, что я, от чего сохрани меня бог, хочу еще перед Вами самими щеголять вольнодумством. Кроме этого, высчитывая подробно все старые мысли, я должен бы был различать между теми, которые уж совершенно отбросил, и теми, которые отчасти или вполне сохранил, должен бы был войти в бесконечные объяснения, рассуждения, которые были бы здесь не только что неприличны, но совершенно противны духу и единственной цели сей исповеди, долженствующей содержать только простой и нелицемерный рассказ всех моих прегрешений.

(Напрасно боится, личное на меня всегда прощаю от глубины сердца)

Но не так еще трудно, как тяжело мне, государь, говорить Вам о том, что я дерзал думать о направлении и духе Вашего управления, тяжело во всех отношениях: тяжело по положению, ибо я предстою Вам, моему государю, как осужденный преступник, тяжело моему самолюбию: мне так и слышится, что Вы, государь, говорите: "мальчишка болтает о том, чего не знает!" А более всего тяжело моему сердцу, потому что стою перед Вами как блудный, отчудившийся, развратившийся сын перед оскорбленным и гневным отцом!

Одним словом, государь, я уверил себя, что Россия, для того чтобы спасти свою честь и свою будущность, должна совершить революцию, свергнуть Вашу царскую власть, уничтожить монархическое правление и, освободив себя таким образом от внутреннего рабства, стать во главе славянского движения: обратить оружие свое против императора австрийского, против прусского короля, против турецкого султана и, если нужно будет, также против Германии и против мадьяр, одним словом против целого света, для окончательного освобождения всех славянских племен из-под чужого ига.

Половина прусской Шлезни, большая часть Западной и Восточной Пруссии, одним словом все земли, говорящие по-славянски, по-польски, должны были отделиться от Германии. Мои фантазии простирались и дальше: я думал, я надеялся, что мадьярская нация, принужденная обстоятельствами, уединенным положением среди славянских племен, а также своею более восточною чем западною природою, что все молдавы и валахи, наконец даже и Греция войдут в Славянский Союз, и что таким образом созиждется единое вольное восточное государство и как бы восточный возродившийся мир в противоположность западному, хотя и не во вражде с оным, и что столицею его будет Константинополь.

Вот как далеко простирались мои революционерные ожидания! Впрочем не замыслы моего личного честолюбия, клянусь Вам, государь, и смею надеяться, что Вы сами в том скоро убедитесь. Но прежде я должен отвечать на вопрос: какой формы правления я желал для России?[142].

Мне будет очень трудно отвечать на него, так мысли мои на сей счет были неясны и неопределенны. Прожив восемь лет за границей, я знал, что я Россию не знал, и говорил себе, что не мне, еще же менее вне самой России определять законы и формы для ее нового существования. Я видел, что и в самой Западной Европе, где условия жизни определены уже довольно ясно, где несравненно более самосознания,. чем в России, я видел, что даже и там никто не был в состоянии предугадать не только что постоянных форм будущности, но даже и перемен будущего дня, и говорил себе: теперь Россию никто не знает, ни европейцы, ни русские, потому что Россия молчит; молчит же она не оттого, чтоб ей нечего было говорить, а только потому, что и язык и все движения ее связаны.

Пусть она воспрянет и заговорит, я тогда мы узнаем, и что она думает и чего она хочет; она сама покажет нам, какие формы и какие учреждения ей нужны. Если бы в то время был возле меня хоть один русский, с которым бы я мог говорить о России, то вероятно в уме моем образовались бы — не говорю лучшие и разумнейшие, [но] по крайней мере более определенные понятия. Но я был совершенно один с своими замыслами, тысячи смутных, друг другу противоречащих фантазий толпились в моем уме; я не мог привести их в порядок и, убежденный в невозможности выйти из сего лабиринта своею одинокою силою, отлагал разрешение всех вопросов до вступления на русскую почву.

(Отчеркнуто карандашом на полях)

Я желал республики. Но какой республики? Не парламентской. Представительное правление, конституционные формы, парламентская аристократия и так называемый экилибр (Равновесие) властей, в котором все действующие силы так хитро расположены, что ни одна действовать не может, одним словом весь этот узкий, хитросплетенный и бесхарактерный политический катехизис западных либералов никогда не был

предметом ни моего обожания, ни моего сердечного участия, ни даже моего уважения; а в это время я стал презирать его еще более, видя плоды парламентских форм во Франции, в Германии, даже на славянском конгрессе, особенно же в польском отделении, где поляки так же играли в парламент, как немцы играли в революцию.

К тому же русский парламент да и польский также был бы только составлен из дворян, — в русский могло бы еще войти купечество, — огромная же масса народа, тот настоящий народ, оплот и сила России, в котором заключается се жизнь и вся ее будущность, народ, думал я, остался бы без представителей и был бы притеснен и обижен тем же самым дворянством, которое теснит его ныне.

Я думал, что в России более, чем где [либо], будет необходима сильная диктаторская власть, которая бы исключительно занялась возвышением и просвещением народных масс, — власть свободная по направлению и духу, но без парламентских форм; с печатанием книг свободного содержания, но без свободы книгопечатания; окруженная единомыслящими, освещенная их советом, укрепленная их вольным содействием, но не ограниченная никем и ничем. Я говорил себе, что вся разница между таким диктаторством и между монархическою властью будет состоять в том, что первое по духу своего установления должно стремиться к тому, чтобы сделать свое существование как можно скорее ненужным, имея в виду только свободу, самостоятельность и постепенную возмужалость народа; в то время как монархическая власть должна напротив стараться о том, чтобы существование ее не переставало никогда быть необходимым, и потому должна содержать своих подданных в неизменяемом детстве [143].

Что будет после диктаторства, я не знал да и думал, что этого предугадать теперь никто не может. А кто будет диктатором? Могли бы подумать, что я себя готовил на это высокое место. Но такое предположение было бы решительно несправедливо.

Я должен сказать, государь, что кроме экзальтации иногда фанатической, но фанатической более вследствие обстоятельств и неестественного положения, чем от природы, во мне не было ни тех блестящих качеств, ни тех сильных пороков, которые творят или замечательных политических людей или великих государственных преступников. Во мне и прежде и в это время было так мало честолюбия, что я охотно подчинился бы каждому, лишь бы только увидел в нем способность и средства и твердую волю служить тем началам, в которые я верил тогда как в абсолютную истину; и с радостью последовал бы ему и ревностно стал бы повиноваться, потому что всегда любил и уважал дисциплину, когда она основана на убеждении и вере. Я не говорю, чтобы во мне не было самолюбия, но никогда не было оно во мне преобладающим; напротив я должен был преодолевать себя и шел как бы наперекор своей природе, когда сбирался или говорить публично или даже писать для публики. Не было во мне и тех огромных пороков a la Danton (Вроде Дантона) или a la Mirabeau (Вроде Мирабо), того ненасытного, широкого разврату, который для своего утоления готов поставить вверх дном целый мир.

А если во мне и был эгоизм, то он единственно состоял в потребности движения, в потребности действия. В моей природе был всегда коренной недостаток: это—любовь к фантастическому, к необыкновенным, неслыханным приключениям, к предприятиям, открывающим горизонт безграничный и которых никто не может предвидеть конца. Мне становилось и душно и тошно в обыкновенном спокойном кругу. Люди обыкновенно ищут спокойствия и смотрят на него как на высочайшее благо; меня же оно приводило в отчаяние; душа моя находилась в неусыпном волнении, требуя действия, движения и жизни.

Мне следовало бы родиться где-нибудь в американских лесах, между западными колонистами, там, где цивилизация едва расцветает к где вся жизнь есть беспрестанная борьба против диких людей, против дикой природы, а не в устроенном гражданском обществе. А также, если б судьба захотела сделать меня смолоду моряком, я был бы вероятно и теперь очень порядочным человеком, не думал бы о политике и не искал других приключений и бурь кроме морских.

Но судьба не захотела ми того ни другого, и потребность движения и действия осталась во мне неудовлетворенною. Сия потребность, соединившись впоследствии с демократическою экзальтациею, была почти моим единственным двигателем. Что же касается до последней, то она может быть выражена в немногих словах: любовь к свободе и неотвратимая ненависть ко всякому притеснению, еще более когда оно падало на других, чем на меня самого. Искать своего счастья в чужом счастьи, своего собственного достоинства в достоинстве всех меня окружающих, быть свободным в свободе других — вот вся моя вера, стремление всей моей жизни.

Я считал священным долгом восставать против всякого притеснения, откуда бы оно ни происходило и на кого бы ни падало.

(Отчеркнуто карандашом на полях)

> *Во мне было всегда много дон-кихотства, не только политического, но и в частной жизни; я не мог равнодушно смотреть на несправедливость, не говоря уже о решительном утеснении; вмешивался часто, без всякого призвания и права и не дав себе времени обдумать, в чужие дела и таким образом впродолжение своей много волнуемой, но пустой и бесполезной жизни наделал много глупостей, навлек на себя много неприятностей и приобрел себе несколько врагов, сам почти никого не ненавидя. Вот, государь, истинный ключ ко всем моим бессмысленным поступкам, грехам и преступлениям. Я говорю о том с такою уверенностью и так положительно, потому что в последние два года имел довольно досуга на изучение себя, для того чтоб обдумать всю прошедшую жизнь; а теперь смотрю на себя хладнокровно, как может только смотреть умирающий или даже совершенно умерший.*

С таким направлением мыслей и чувств я не мог думать о своем собственном диктаторстве, не мог питать в душе своей честолюбивых помыслов[144]. Напротив я был так уверен, что погибну в неравной борьбе, что несколько раз даже писал другу Рейхелю, что с ним простился навек; что если я не погибну в Германии, так погибну в Польше, если же не в Польше, так в России. Не раз также говаривал немцам и полякам, когда в моем присутствии они спорили о будущих формах правления: “Мы призваны разрушать, а не строить; строить будут другие, которые и лучше, и умнее, и свежее нас”. Того же самого надеялся и для России; я думал, что из революционерного движения выйдут люди новые, сильные, и что они овладеют им и поведут его к цели.

(Отчеркнуто карандашом на полях)

> *Могли бы спросить меня: как же ты при такой неопределенности мыслей, не зная сам, что выйдет из твоего предприятия, как же ты мог решиться на такую тяжелую вещь, какова русская революция? Разве ты не слыхал о Пугачёвском бунте или не знаешь, до какого варварства, до какой зверской жестокости могут дойти русские взбунтовавшиеся мужики? и не помнишь слов Пушкина: “Избави нас бог о г русского бунта, бессмысленного и беспощадного”?...*
>
> *Государь! на этот вопрос, на этот упрек мне будет тяжелее-отвечать, чем на все предыдущие. Оттого тяжелее, что, хотя пре- ступление мое не выходило из области мысли, я в мысли уже и тогда чувствовал себя преступником и сам содрогался от воз-*

можных последствии моего преступного предприятия, — и не от- казывался от него! Правда, что я старался обманывать себя пу- стою надеждою на возможность остановить, укротить опьянелую ярость разнуздавшейся толпы; но плохо надеялся, оправдывал же себя софизмом, что иногда и страшное зло бывает необходимым, а наконец утешал себя мыслью, что если и будет много жертв, то и я паду вместе с ними... и бог знает! достало ли бы у меня довольно характера, силы и злости, для того чтобы не говорю совершить, но для того чтобы начать преступное дело?

Бог знает! Хочу верить, что нет, а может быть и да. Чего не делает фанатизм! и недаром же говорят, что в злом деле только первый шаг труден. Я много и долго думал об этом предмете, и до сих пор не знаю, что сказать, а благодарю только бога, что он не дал мне сделаться извергом и палачом моих соотечественников! [145]

Насчет средств и путей, которые я думал употребить для пропаганды в России, я также не могу дать определенного ответа

Я не имел и не мог иметь определенных надежд, ибо находился вне всякого прикосновения с Россией; но готов был ухватиться за всякое средство, которое бы мне представилось: заговор в войске, возмущение русских солдат, увлечение русских пленных, если бы такие нашлись, для того чтобы составить из них начаток русского революционерного войска, наконец и возмущение крестьян... одним словом, государь, моему преступлению против Вашей священной власти в мысли и в намерениях не было ни границ, ни меры! и еще раз благодарю провидение, что, остановив меня во-время, оно не дало мне ни совершить, ни даже начать ни одного из моих гибельных предприятий против Вас, моего государя, и против моей родины.

(Повинную голову меч не сечет, прости ему бог!)

Тем не менее я знаю, что не так само действие, как намерение, делает преступника и, оставив в стороне мои немецкие грехи, за которые [я1 был осужден сначала на смерть, потом на вечное заключение в рабочем доме, я вполне и от глубины души сознаю, что более всего я преступник против Вас, государь, преступник против России, и что преступления мои заслуживают казнь жесточайшую!

Самая тяжелая часть моей исповеди кончена. Теперь мне остается исповедывать Вам грехи немецкие, правда более положительные и не ограничившиеся уже одною мыслью, но тем не менее несравненно легче лежащие на моей совести, чем те мысленные против Вас, государь, и против России, которых я окончил подробное и нелицемерное описание. Обращусь опять к своему рассказу.

Я искал в то время точки опоры для действия. Не найдя оной в поляках по всем вышеупомянутым причинам, я стал искать ее в славянах. Убедившись также потом, что и в славянском конгрессе я ничего не найду, я стал собирать людей вне конгресса и составил было тайное общество, первое, в котором я участвовал, общество под названием “Славянских друзей”. В него вошло несколько словаков, моравов, кроатов .и сербов. Позвольте мне, государь, не называть их имен; довольно, что кроме меня в нем не участвовал ни один подданный Вашего императорского величества, и что само общество просуществовало едва несколько дней, быв рассеяно вместе с конгрессом пражским восстанием, победою войск и принужденным выездом всех славян из города Праги.

Оно не успело ни организоваться, ни даже положить первых оснований для своего действия, но рассеялось во все стороны, не условившись ни в сношениях, ни в переписке, так что после этого я не имел и не мог иметь связи ни с одним из его бывших членов, и оно в моих последующих действиях

осталось без всякого влияния. Упомянул же я о нем только для того, чтобы не пропустить ничего в моем подробном отчете [147].

Славянский конгресс в последнее время изменил несколько свое направление; отчасти уступая напору поляков, отчасти же и моим содействием, а также и содействием единомыслящих со мною славян он стал двигаться понемногу в духе более общеславянском, либеральном, не говорю демократическом, и перестал служить особенным видам австрийского правительства[148]. Это было его смертным приговором. Пражское восстание было впрочем произведено не конгрессом, а студентами и партиею так называемых чешских демократов[149].

Последние были тогда еще весьма немногочисленны и, кажется, не имели определенного политического направления, придерживались же бунту, потому что бунт был тогда в общей моде. В это время я был с ними мало знаком, ибо они почти совсем не посещали заседания конгресса, а находились большею частью вне Праги, а окружных деревнях, где возбуждали мужиков к принятию участия в приготовленном ими восстании. Я ничего не знал ни о их планах, ни даже о замышляемом движении и был им столько же поражен, сколько и все прочие члены славянского конгресса. Только вечером накануне назначенного дня, и то неопределенно и смутно, услышал я в первый раз о имевшем быть восстании студентов и рабочего класса и вместе с другими уговаривал студентов отказаться от невозможного предприятия и не давать австрийскому войску случая к легкой победе.

Явно было, что генерал князь Виндишгрец ничего так ревностно не желал, как такого случая для восстановления упавшего духа солдат и ослабевшей воинской дисциплины, для того чтобы после стольких постыдных поражений подать Европе первый пример победы войск над крамольными массами. Он многими мерами как бы хотел раздразнить пражских жителей, явно вызывал их на бунт, а глупые студенты своими неслыханными требованиями, которых ни один генерал не мог бы исполнить, не обесчестившись перед целым войском, подали ему желанный повод к началу военных действий.

Я пробыл в Праге до самой капитуляции, отправляя службу волонтера; ходил с ружьем от одной баррикады к другой, несколько раз стрелял, но был впрочем во всем этом деле более как гость, не ожидая от него больших результатов. Однако напоследок советовал студентам и другим участвовавшим свергнуть ратушу, которая вела тайные переговоры с князем Виндишгрецом, и посадить на ее место военный комитет с диктаторскою властью; моему совету хотели было последовать, но поздно; Прага капитулировала, я же на другой день рано отправился обратно в Бреславль, в котором и пробил сей раз, если не ошибаюсь, до первых чисел июля[150].

Описывая впечатление, произведенное на меня первою встречею с славянами в Праге, я сказал, что во мне пробудилось тогда славянское сердце и новые славянские чувства, заставившие меня почти позабыть весь интерес, связывавший меня с демократическим движением Западной Европы. Еще сильнее подействовал на меня бессмысленный крик немцев против славян, поднявшийся по распущении славянского конгресса со всех концов Германии, а более всего во Франкфуртском народном собрании. Это уже был не демократический крик, а крик немецкого национального эгоизма; немцы хотели свободы для себя, не для других. Собравшись во Франкфурте, они уже в самом деле думали, что сделались единою и сильною нациею, и что им теперь решать судьбы мира! “Das deutsche Vaterland” (“Немецкое отечество”), существовавшее доселе только в их песнях да еще в разговорах за табаком и за пивом, должно было сделаться отечеством половины Европы.

(Превосходно!)

> *Франкфуртское собрание, вышедшее само из бунта, основанное на бунте и существовавшее только бунтом, стало уж называть итальянцев и поляков*

бунтовщиками, смотреть на них как на крамольных и прескупных противников немецкого величия и немецкого всемогущества!

Оно называло немецкую войну за Шлезвиг-Голштейн “stammverwandt und meerumschlungen” (“Соплеменный и морем объятый”) святою войною, а войну итальянцев за свободу Италии и предприятия поляков в Герцогстве Познанском преступными! Но сильнее еще обратилась немецкая национальная ярость против славян австрийских, собравшихся в Праге. Немцы уже с давних времен привыкли смотреть на них как на своих крепостных и не хотели им позволить даже и дохнуть по славянски!

В сей ненависти против славян, в сих славянопожирающих криках участвовали решительно все немецкие партии; уж не одни только консерваторы и либералы, как против Италии и Польши, демократы кричали против славян громче других: в газетах, в брошюрах, в законодательных и в народных собраниях, в клубах, в пивных лавках, на улице... Это был такой гул, такая неистовая буря, что если бы немецкий крик мог кого убить или кому повредить, то славяне уже давно бы все перемерли.

Перед поездкою в Прагу я пользовался между бреславскими демократами большим почетом, но все мое влияние утратилось и обратилось в ничто, когда по возвращении я стал защищать в демократическом клубе право славян; на меня все вдруг закричали и договорить даже не дали, и

(Пора было!)

это была моя последняя попытка красноречия в бреславском клубе да и вообще во всех немецких клубах и публичных собраниях[150a].

Немцы же вдруг опротивели, опротивели до такой степени, что я ни с одним не мог говорить равнодушно, не мог слышать немецкого языка и немецкого голоса, и помню, что когда ко мне раз подошел немецкий нищий мальчишка просить милостыню, я с трудом воздержался от того, чтобы не поколотить его.

Не я один, все славяне, ничуть не исключая поляков, так же чувствовали. Поляки, обманутые французским революционерным правительством, обманутые немцами, оскорбленные немецкими жидами, поляки стали говорить громко, что им остается одно: прибегнуть к покровительству русского императора и просить у него, как милости, присоединения всех польских австрийских и прусских провинций к России.

Таков был общий голос в Познанском Герцогстве, в Галиции и в Кракове; одна только эмиграция противоречила, но эмиграция в то время была почти без влияния. Можно было бы подумать, что поляки лицемерили, хотели только напугать немцев; но они говорили о том не немцам, только между собою, и говорили с такою страстью и в таких выражениях, что я и тогда не мог сомневаться а их искренности, да и теперь еще убежден, что если бы Вы, государь, захотели тогда поднять славянское знамя, то они без условий, без переговоров, но слепо предавая себя Вашей воле, они и всё,

(Не сомневаюсь, т.е. я бы стал в голову революции славянским Мазаниелло, спасибо!)

что только говорит по-славянски в австрийских и прусских владениях, с радостью, с фанатизмом бросились бы под широкие крылья российского орла и устремились бы с яростью не только против ненавистных немцев, но и на всю Западную Европу [151].

(Жаль что не прислал!)

Тогда во мне родилась странная мысль. Я вздумал вдруг писать к Вам, государь, и начал было письмо; оно также содержало род исповеди, более самолюбивой, фразистой чем та, которую теперь пишу, —

я был тогда на свободе и не научен еще опытом,—но впрочем довольно искренней и сердечной: я каялся в своих грехах; молил о прощении; потом, сделав несколько натянутый и напыщенный образ тогдашнего положения славянских народов, молил Вас, государь, во имя всех утесненных славян притти им на помощь, взять их под свое могучее покровительство, быть их спасителем, их отцом и, объявив себя царем всех славян, водрузить наконец славянское знамя в восточной Европе на страх немцам и всем прочим притеснителям и врагам славянского племени!

Письмо было многосложное и длинное, фантастическое, необдуманное, но написанное с жаром и от души; оно заключало в себе много смешного, нелепого, но также и много истинного, одним словом было верным изображением моего душевного беспорядка и тех бесчисленных противоречий, которые волновали тогда мой ум. Я разорвал это письмо и сжег его, не докончив. Я опомнился и подумал, что Вам, государь, покажется необыкновенно как смешно и дерзко, что я, подданный Вашего императорского величества, еще же не простой подданный, а государственный преступник, осмелился писать Вам и писать, не ограничиваясь мольбою о прощении, но дерзая подавать Вам советы, уговаривая Вас на изменение Вашей политики!.. Я сказал себе, что письмо мое, оставшись без всякой пользы, только скомпрометирует меня в глазах демократов, которые неравно могли бы узнать о моей неудачной, странной, совсем не демократической попытке[152]. Но более, чем все другие причины, заставили меня отказаться от сего намерения следующие два обстоятельства, встретившиеся странным образом в одно и то же время.

Во-первых я узнал, могу сказать из официального источника, именно от президента полиции в Бреславле (Его фамилия была Ку (Kuh)), что русское правительство требовало моей выдачи от прусского, основываясь на том, что будто бы я с вышеупомянутыми поляками, — с двумя братьями, фамилии которых я прежде никогда не слыхал, а теперь не помню, — намеревался посягнуть на жизнь Вашего императорского величества[153].

Я уже отвечал на сию клевету и молю Вас, государь, позвольте мне более не упоминать о ней! Во-вторых же слух о моем шпионстве уж не ограничился глупою болтовнёю поляков, но нашел место в немецких журналах.

Д-р Маркс, один из предводителей немецких коммунистов в Брюсселе, возненавидевший меня более других за то, что я не захотел быть принужденным посетителем их обществ и собраний, был в это время редактором “Rheinische Zeitung” (“[Новая] Рейнская Газета”), выходившей в Кельне. Он первый напечатал корреспонденцию из Парижа, в которой меня упрекали, что будто бы я своими доносами погубил много поляков; а так как “Rheinische Zeitung” была любимым чтением немецких демократов, то все вдруг и везде и уже громко говорили о моем мнимом предательстве[154].

С обеих сторон стало мне тесно: в глазах правительств я был злодеем, замышлявшим цареубийство, в глазах же публики — подлым шпионом. Я был тогда убежден, что оба клеветливые слуха происходили из одного и того же источника. Они безвозвратно определили мою участь: я поклялся в душе своей, что не отстану от своих предприятий и не собьюсь с дороги, раз начатой, и пойду вперед, не оглядываясь, и буду идти, пока не погибну, и что погибелью своею докажу полякам и немцам, что я — не предатель.

После нескольких объяснений, отчасти письменных и личных, отчасти же напечатанных в немецких журналах, не находя более никакой пользы

(NB)

ни цели моему пребыванию в Бреславле, я в начале июля отправился в Берлин и пробыл в нем до конца сентября[155].

В Берлине виделся часто с французским посланником Эмануэлем Араго[156], встречал у него турецкого посланника, который неоднократно просил меня посещать его; но я у него не был, не желая, чтобы обо мне говорили, что я каким бы то ни было образом служу турецкой политике против России, в то время как я желал напротив освобождения славян из под турецкой власти и совершенного разрушения последней.

Видал также многих немецких и польских членов прусского законодательного или конститутивного собрания, большею частью демократов, однако держал себя от всех в великом отдалении, даже от тех, с которыми был прежде довольно близок в Бреславле: мне все казалось, что на меня все смотрят как на шпиона, и я готов был каждого за то ненавидеть и от всех удалялся[157].

Никогда, государь, не было мне так тяжело, как в то время; ни прежде, ни потом, ни даже тогда, когда, лишившись свободы, я должен был перейти через все испытания двух криминальных процессов. Тут я понял, сколь тяжко должно быть положение действительного шпиона,, или как подл должен быть шпион для того, чтобы переносить равнодушно свое существование. Мне было очень тяжело, государь!

К тому же горизонт европейский для меня, демократа, видимо помрачался. За революциею везде следовала реакция или при-уготовления к реакции. Июньские парижские происшествия[158] имели тяжкие последствия для всех демократов не только в Париже, во Франции, но в целой Европе. В Германии еще явных реакционерных мер не было, казалось, что все пользовались полной свободою; но те, у которых были глаза, видели, что правительства без шуму готовились, совещевались, собирали силы и ожидали только удобного часу, для того чтобы нанести решительный удар, и что они терпели бестолковую болтовню немецких парламентов единственно только потому, что еще более ожидали себе от них пользы, чем опасались их вредных последствий.

Они не обманулись: немецкие либералы и демократы сами себя убили и сделали им победу весьма легкою. Славянский вопрос также в это время запутался: война бана Елачича в Венгрии казалась славянской войною, была предпринята как будто бы только для того, чтобы защитить словаков и южных славян от нестерпимых притязаний мадьяр; в сущности же эта война была начало австрийской реакции. Я был в сильном сомнении, не знал, с кем симпатизировать. Елачичу решительно не верил, но и Кошут[159] в это время был еще плохим демократом; он кокетничал с Франкфуртским реакционерным собранием и даже был готов помириться с Инспруком и служить ему и против Вены и против поляков и против Италии, если бы только Инспрукский двор захотел согласиться на его особенные венгерские требования.

При всем этом я был пригвожден к Берлину безденежьем. Если бы у меня были деньги, то я, может быть, поехал бы в Венгрию, для того чтобы быть очевидцем, и много листов прибавилось бы тогда к сей уже и без того многолиственной исповеди! Но денег у меня не было, я не мог пошевелиться с места. Также не было и сношений с славянами; исключая одного незначительного письма Людвига Штура, на которое я хотел, но не мог отвечать, ибо не знал его адреса, я не получил из Австрии ни строки и сам ни к кому не писал[160].

Одним словом до самого декабря месяца я оставался в полном бездействии, так что не знаю, что даже и сказать об этом времени, разве только, что я ждал у моря погоды, твердо намереваясь ухватиться за первую возможность для действия. В каком же духе я хотел действовать, Вы уже знаете, государь.

Это было для меня самое тяжелое время. Без денег, без друзей, прокричан как шпион, один посреди многолюдного города, я не знал, что делать, за что приняться, а иногда даже не знал, чем и как буду жить на другой день. Не одним безденежьем был я связан, я был пригвожден к Берлину, к Пруссии и вообще к северной Германии еще и клеветливыми слухами, распространившимися на мой счет; и хотя политические обстоятельства уже видимо изменились и были такого рода, что я почти совсем перестал ожидать и надеяться, однако я не мог и не хотел возвратиться в Париж, единственное прибежище, которое мне оставалось, не доказав сперва на живом деле искренность своих демократических убеждений. Я должен был выдержать до конца, для того чтобы спасти свою запятнанную честь.

(NB)

> *Я сделался зол, нелюдим, сделался фанатиком, был готов на всякое головоломное, только не подлое предприятие и весь как бы превратился в одну революционерную мысль и в страсть разрушения.*
>
> *В конце сентября вероятно по требованию русского посольства, не подав впрочем сам к тому ни малейшего повода, я был принужден оставить Берлин*[161]*. Возвратился [я] в Бреславль, но в начале же октября был принужден оставить Бреславль (В Бреславле, равно как и я Берлине, демократы готовились было к вооруженному отпору против первых реакционерных мер прусского правительства. Никогда, может быть, не была прусская Шлезия так готова к всеобщему народному восстанию, как именно в это время. Я видел сии приуготовления, радовался им, но сам не принимал в них участия, ожидая более решительных обстоятельств". (Примечание М. Бакунина.)*

и вообще все прусские владения с угрозою, что если я возвращусь, то меня выдадут русскому правительству. Я, разумеется, после такой угрозы уж и не пробовал возвращаться. Хотел остановиться в Дрездене, но и оттуда был изгнан — по недоразумению, как сказал потом министр, и на основании древнего требования российского посольства.

(NB)

> *Таким образом гонимый из края в край, я утвердился наконец в Ангальт-Кэтенском царстве, которое странным образом, находясь посреди прусских владений, пользовалось тогда вольнейшею конституциею не только в Германии, но, я думаю, в целом мире и сделалось вследствие того, хоть и ненадолго, убежищем для политических изгнанцев*[162]*.*

Я нашел в Кэтене несколько старых знакомых, с которыми учился вместе в Берлинском университете. Там были также и законодательное и народные собрания и клуб и Stsndchen и Katzenmusik (Серенады и кошачьи концерты), ни в сущности никто почти не занимался политикою, так что до половины ноября я с своими знакомыми не знал почти других занятий кроме охоты на зайцев и на других диких зверей. Это было для меня время отдыха.

Мой отдых продолжался недолго. Судьба готовила мне гробовой отдых в крепостном заключении. Еще в октябре месяце, когда бан Елачич, миновав Пешт (В оригинале "Пест" (Будапешт), пошел прямо на Вену, а генерал князь Виндишгрец оставил с войсками Прагу, я хотел было ехать в сей последний город, желая возбудить чешских демократов к вторичному восстанию. Однако раздумал и остался в Кэтене[163]. Раздумал же потому, что не имел еще сношений с Прагой и не знал, какие перемены могли произойти там после июньских дней и какое было тогда направление умов; с демократами был плохо знаком и не надеялся на успех, ожидал же напротив сильного противодействия со стороны чешско-конституционной партии Палацкого[164].

В Праге, думал я, меня уже давно успели забыть, и отчасти для того, чтобы напомнить о себе пражским жителям, и для того, чтобы дать по возможности славянскому движению направление другое, более сообразное с моими собственными как славянскими, так и демократическими ожиданиями, отчасти же для того, чтобы доказать полякам и немцам, что я — не русский шпион, и проложить себе дорогу к новому сближению с ними, я начал писать воззвание к славянам “Aufruf an die Slaven”, которое и было напечатано потом в Лейпциге[165] .

Оно находится также в числе обвинительных документов[166].

Я писал его долго, более месяца; откладывал, потом опять за него принимался, несколько раз изменял и долго не решался печатать. Я не мог выразить в нем чисто и ясно своей славянской мысли, потому что хотел опять сблизиться с немецкими демократами, считая сближение сие необходимым, и должен был лавировать между славянами и немцами, — род плавания, к которому у меня не было ни большой способности, ни привычки, а еще менее охоты. Я хотел убедить славян в необходимости сближения с германскими, равно как и с мадьярскими демократами. Обстоятельства уже были не те, как в мае: революция ослабла, реакция везде усилилась, и только соединенными силами всех европейских демократий (В оригинале “демокраций”) можно было надеяться победить реакционерный союз правителей.

В ноябре вслед за венскими происшествиями было распущено также насильственным образом Прусское конститутивное собрание[167].

Вследствие сего в Кэтене собралось несколько бывших депутатов и между прочими Гекзамер и Дестер [168], члены центрального комитета всех демократических клубов в Германии. Комитет сей был впрочем не тайный, быв избран незадолго перед тем в публичных заседаниях демократического конгресса в Берлине. Но он стал вскоре основывать тайные общества в целой Германии, и можно сказать, что немецкие тайные общества начались только с этого времени.

Без всякого сомнения существовали и прежде некоторые, а именно коммунистические, но они оставались решительно без всякого влияния. До ноября месяца все делалось публично в Германии: и заговоры и бунты и приуготовления к бунтам, и всякий мог знать о них, кто только хотел.

Избалованные революциею, как бы упавшею с неба без всякого усилия с их стороны, почти без кровопролития, немцы долго не могли убедиться в возраставшей силе правительств и в своем собственном бессилии; они болтали, пели, пили, были ужасны на словах, дети в деле, и думали, что свободе их не будет конца, и что стоило им только немного поморщиться, для того чтобы привести все правительства в трепет. Происшествия в Вене, в Берлине научили их однако противному; тут они поняли, что для удержания легко приобретенной свободы они должны были принять меры более серьезные, и вся Германия стала готовиться тайно к новой революции[168a].

Я Дестера и Гекзамера видел в первый раз в Берлине, но тогда еще был мало с ними знаком, ибо удалялся от них, равно как и от всех прочих людей, немцев и поляков. В Кэтене познакомился с ними ближе; они сначала мне не доверяли, думая в самом деле, что я—шпион; потом однако поверили. Я с ними много говорил и спорил о славянском вопросе; долго не мог убедить их в необходимости для немцев отказаться от всех притязаний на славянские земли; наконец успел убедить их и в этом.

Таким образом начались наши политические сношения — первые положительные сношения с определенною целью, которые я имел с немцами да и вообще с какою бы то ни было действующею политическою партиею. Они мне обещали употребить все свое влияние на немецких демократов, для того чтобы искоренить из оных ненависть и предубеждения против славян; я же им обещал действовать в таком же духе на последних. Сим ограничились на первый раз наши взаимные обязательства. Так как они уже меня не боялись, то я знал об их замыслах, приуготовлениях, об

образовании тайных обществ, слышал также и о только что тогда начинавшихся сношениях с иностранными демократами, но решительно сам не вмешивался в их дела, даже не хотел спрашивать, опасаясь возбудить в них новые подозрения. Сам же спешил окончить “Воззвание к славянам”, которое и напечатал вскоре потом в Лейпциге.

В конце декабря отчасти для того, чтобы быть ближе к Богемии и жить в городе, представляющем более средств для сношений со всеми пунктами, чем Кэтен, отчасти же и потому, что [я] услышал, что прусское правительство намеревалось перехватать всех удалившихся в сей последний, я вместе с Гекзамером и Дестером переселился в Лейпциг[169].

Там случайно познакомился с несколькими молодыми славянами, имена и качества которых подробно изочтены в австрийских обвинительных документах. Между ними находились два брата: Густав и Адольф Страка, чехи, учившиеся тогда богословию в Лейпцигском университете. Они оба — добрые и благородные молодые люди, прежде знакомства со мной не думавшие о политике, хотя были оба — и ревностные славяне, и их погибель, мной одним причиненная, есть великий грех на моей душе. Прежде моего приезда в Лейпциг они были мнения совершенно противного моему, большие почитатели Елачича; к их несчастью я встретился с ними, увлек их, переменил их образ мыслей, оторвал от мирных занятий и уговорил их быть орудиями моих предприятий а Богемии; и теперь, если бы мог облегчить их участь ухудшением моей собственной, я с радостью понес бы на себе их наказание. Но все это поздно! Кроме их впрочем на моей душе не было ни прежде, ни в это время, ни потом ни одного увлеченного. Только за них я должен отвечать богу.

Через них именно я узнал, что мое “Воззвание к славянам” нашло сильный отголосок в Праге[170]; что даже отрывок из него был переведен и напечатан в одном демократическом чешском журнале, редактором которого был д-р Сабина[171]. Это породило во мне мысль созвать некоторых чехов и несколько поляков в Лейпциг на совещание и на уразумение с немцами, с целью положить первое основание для общего революционерного действия. Вследствие сего я послал Густава Страку в Прагу с поручением к Арнольду, также редактору одного демократического чешского листа (Газеты)[172], и к Сабине (“Я должен тут заметить, что я с Густавом Страка послал также и адрес к “Славянской Липе”, чешскому более или менее демократическому клубу[173], но что Сабина удержал оный у себя, найдя его слишком опасным”. *(Примечание М. Бакунина.)* , которых впрочем знал тогда только одни имена, не быв еще знаком с ними лично[174].

Писал также в Герцогство Познанское тем из моих польских знакомых, от которых более чем от других мог надеяться сочувствия и содействия. Но из поляков решительно никто не приехал, даже никто не отвечал мне; из Праги же приехал только один Арнольд, не дозволивший Страже позвать также и Сабину — отчасти потому, что не доверял ему, отчасти же, я думаю, и по мелкой зависти[175]. Все сии обстоятельства, открытые впрочем не мною, по самим Арнольдом и братьями Страка, подробно изложены в австрийских обвинительных актах[176]. Я не буду входить, государь, в мелочные подробности, необходимые в инквизиционном следствии для открытия истины, но ненужные и неуместные в самовольной и простосердечной исповеди. Упомяну же впродолжение сего рассказа только о тех обстоятельствах, которые необходимы для связи, или о тех существенных фактах, которые остались неизвестными обеим следственным комиссиям.

Приступая к описанию последнего акта моей печальной рево-люционерной карьеры, я должен сначала оказать, чего я хотел, потом стану описывать сами действия.

Моя политическая горячка, раздраженная и разгоряченная предыдущими неудачами, нестерпимостью моего странного положения, а наконец и победою реакции в Европе, достигла в то время своего высочайшего пароксизма: я был весь превращен в революционерное желание, в жажду революции и

был, я думаю, между всеми червленными республиканцами и демократами червленнейшим. План мой был следующий.

Немецкие демократы готовили всеобщее повстанье Германии к весне 1849 года. Я желал, чтобы славяне соединились с ними, а равно и с мадьярами, находившимися уже тогда а явном и решительном бунте против императора австрийского [177].

Желал, чтобы они соединились как с теми, так и с другими, не для того чтобы слиться с Германиею или покориться мадьярам, но для того чтобы вместе с торжеством революции в Европе утвердилась также и независимость славянских племен. Время же казалось удобно для такого уразумения; мадьяры и немцы, наученные опытом и нуждаясь в союзниках, были готовы отказаться от прежних притязаний. Я надеялся, что поляки согласятся быть посредниками между Кошутом и славянами венгерскими, и хотел взять на себя посредничество между славянами и немцами. Я желал, чтобы центром и главою сего нового славянского движения была Богемия, а не Польша. Желал того по многим причинам: во-первых потому, что вся Польша была так истощена и деморализована предыдущими поражениями, что я не верил в возможность ее освобождения без чужой помощи, в то время как Богемия, почти еще не тронутая реакциею, пользовалась в то время полною свободою, была сильна, свежа и заключала в себе все нужные средства для успешного революционерного движения.

Кроме этого я не желал, чтобы поляки стали во главе предполагаемой революции, боясь, что они или дадут ей характер тесный, исключительно польский, или даже пожалуй, если им это покажется нужно, предадут прочих славян своим старым союзникам, западно-европейским демократам, а еще легче мадьярам. Наконец я знал, что Прага есть как бы столица, род Москвы для всех австрийских, непольских славян, и надеялся, я думаю, не без основания, что если Прага восстанет, то и все прочие славянские племена последуют ее примеру и увлекутся ее движением — наперекор Елачичу и другим, впрочем не столь многочисленным, приверженцам австрийской династии.

Итак от немцев я ожидал согласия, симпатии, а если нужно будет, так и вооруженной помощи против прусского правительства, которое, увлекшись российским примером и опасаясь заразы, не захотело бы вероятно быть бездейственным зрителем революционерного пожара в Богемии. От поляков ожидал посредничества с мадьярами, участия, офицеров, а более всего денег, которых у меня не было и без которых всякое предприятие становится невозможным. Но мои главные ожидания и надежды сосредоточивались на Богемии.

Я надеялся еще более на богемских, чешских, равно как и немецких крестьян, чем на Прагу, чем на городских жителей вообще [178].

Огромная ошибка немецких да сначала также и французских демократов состояла по моему мнению в том, что пропаганда их ограничивалась городами, не проникала в села; города, как бы сказать, стали аристократами, и вследствие того села не только остались равнодушными зрителями революции, но во многих местах начали даже являть против нее враждебное расположение. А ничего, казалось, не было легче, как возбудить революционерный дух в земледельческом классе,—особливо в Германии, где еще существовало так много остатков древних феодальных постановлений, удручающих землю, не исключая также и самой Пруссии, которая при общей свободе собственности и людей сохранила в некоторых провинциях, напр. в Шлезии (Силезии), следы прежнего подданства (Крепостной зависимости), и в которой возле впрочем довольно многочисленного класса вольных собственников существует класс еще многочисленнейший неимущих крестьян, так называемых Hdusler (Безземельный крестьянин) и даже совсем бездомных людей.

Но нигде земледельческий класс не был так склонен ж революционерному движению, как в Богемии. В Богемии до 1848 года феодализм существовал еще во всей полноте, со всеми его тягостями и притеснениями: господские суды, феодальные налоги и сборы, десятины и другие духовные повинности подавляли собственность имущих крестьян. Класс же неимущих был еще многочисленнее, и положение его тягостнее, чем в самой Германии. К тому же в Богемии есть много фабрик, а вследствие того и много фабричных работников, а фабричные работники как бы судьбою призваны быть рекрутами демократической пропаганды.

В 1848-ом году все притеснения, предметы вечных неудовольствий и жалоб крестьян, все старые налоги, многосложные обязательства и работы остановились; остановились вместе с дряхлою жизнью политического организма австрийской монархии. Но только остановились, не уничтожились. За притеснением последовала анархия. Правительство, испуганное, совсем потерявшееся, хватавшееся решительно за все, чтобы спасти себя от совершенного потопления, вспомнило свою демократическую уловку 1846 года в Галиции и объявило вдруг без всяких предварительных мер неограниченную и безусловную свободу собственности и крестьян.

Агенты его покрыли богемскую землю, проповедуя благость правительства. Но в Богемии отношения совсем не те, как в Галиции. В Богемии притесняющий и ненавидимый класс богатых собственников, дворян, аристократии состоит не из польских заговорщиков, а из немцев, душою и телом преданных австрийской династии, преданных еще более австрийскому старому, столь для них выгодному порядку вещей. Народ перестал ходить на барскую работу, не захотел также и платить других податей кроме государственных да и те платил скрепя сердце, совсем не охотно. Класс собственников, дворяне, аристократия, одним словом все, что составляет собственно австрийскую партию в Богемии, обнищало, обессилело; и при всем том правительство не приобрело ничего, ибо народ, всегда охотно следовавший учению чешских патриотов, не возымел к нему за великий подарок свободы, сделанный не во-время, ни особенной любви, ни благодарности. Напротив [он] не доверял правительству, слыша, что оно находилось под влиянием аристократии, и опасаясь беспрестанно, чтобы оно не вздумало возвратить его вновь к старому подданству. Наконец необыкновенные рекрутские наборы, повторенные несколько раз в продолжение одного года, пробудили в богемском народе всеобщий ропот и совершенное неудовольствие. При таковом расположении легко было подвигнуть его к восстанию.

Я желал в Богемии революции решительной, радикальной, одним словом такой, которая, если бы она и была побеждена впоследствии, однако успела бы все так переворотить и поставить вверх дном, что австрийское правительство после победы не нашло бы ни одной вещи на своем старом месте. Пользуясь тем благоприятным обстоятельством, что все дворянство в Богемии да и вообще весь класс богатых собственников состоит исключительно из немцев, я хотел изгнать всех дворян, все враждебно расположенное духовенство и, конфисковав без разбора все господские имения, отчасти разделить их между неимущими крестьянами для поощрения сих к революции, отчасти же превратить их в источник для чрезвычайных революционерных доходов.

Хотел разрушить все замки, сжечь в целой Богемии решительно все процедуры, все административные, равно как и судебные, как правительственные, так и господские бумаги и документы, и объявить все гипотеки, а также и все другие долги, не превышающие известную сумму, напр. 1000 или 2000 гульденов, заплаченными.

Одним словом революция, замышляемая мною, была ужасна, беспримерна, хоть и обращена более против вещей, чем против людей. Она бы в самом деле все так переворотила, так бы въелась в кровь и в жизнь народа, что, даже победив, австрийское правительство не было бы никогда в силах ее искоренить, не знало бы, что начинать, что делать, не могло бы ни собрать, ни даже найти остатков старого навек разрушенного порядка и никогда бы не могло помириться с богемским народом. Такая

революция, уже не ограничивающаяся одною национальностью, увлекла бы своим примером, своею червленноенною пропагандою не только Моравию и австрийскую Шлезию, но также и прусскую Шлезию да и вообще все пограничные немецкие земли, так что и германская революция, бывшая до тех пор революцией городов, мещан, фабричных работников, литераторов и адвокатов, сама бы превратилась в общенародную.

Но сим не ограничивались мои замыслы. Я хотел превратить всю Богемию в революционерный лагерь, создать в ней силу, способную не только охранять революцию в самом краю, но и действовать наступательно, вне Богемии, возмущая на пути все славянские племена, призывая все народы к бунту, разрушая все, что только носит на себе печать австрийского существования, — идти на помощь мадьярам, полякам, воевать одним словом против Вас самих, государь![179].

Моравия, издавна связанная с Богемиею своими историческими воспоминаниями, обычаями, языком и никогда не перестававшая смотреть на Прагу как на свою столицу, а тогда находившаяся с ней еще и в особенной связи посредством своих клубов, Моравия, думал я, необходимо последует за богемским движением. С нею вместе увлекутся также и словаки и австрийская Шлезия. Таким образом революция обоймет край пространный, богатый средствами, центром которого будет Прага.

В Праге должно заседать революционерное правительство с неограниченною диктаторскою властью. Изгнаны дворянство, все противоборствующее духовенство, уничтожена в прах австрийская администрация, изгнаны все чиновники, и только в Праге сохранены некоторые из главных, из более знающих для совета и как библиотека для статистических справок. Уничтожены также все клубы, журналы, все проявления болтливой анархии, все покорены одной диктаторской власти. Молодежь и все способные люди, разделенные на категории по характеру, способностям и направлению каждого, были бы разосланы по целому краю, для того чтобы дать ему провизорную революционерную и воинскую организацию. Народные массы должны бы были быть разделены на две части: одни, вооруженные, но вооруженные кое-как, оставались бы дома для охранения нового порядка и были бы употреблены на партизанскую войну, если бы такая случилась. Молодые же люди, все неимущие, способные носить оружие, фабричные работники и ремесленники без занятий, а также и большая часть образованной мещанской молодежи, составила бы регулярное войско, не Freischaren

(Волонтерские отряды), но войско, которое должно бы было формировать с помощью старых польских офицеров, а также и посредством отставных австрийских солдат и унтер-офицеров, возвышенных по способностям и по рвению в разные офицерские чины.

Издержки были бы огромные, но я надеялся, что они покроются отчасти конфискованными имениями, чрезвычайными налогами и ассигнациями вроде кошутовских. У меня был на то особенный, более или менее фантастический финансовый проект излагать который здесь было [бы] не у места [180].

Таков был план, придуманный мною для революции в Богемии. Я изложил его в общих чертах, не входя в дальнейшие подробности, ибо он не имел даже и начала осуществления, никому не был известен или известен только весьма малыми, самыми невинными отрывками; существовал же только в моей повинной голове, да и в ней образовался не вдруг, а постепенно, изменяясь и пополняясь сообразно с обстоятельствами. Теперь же, не останавливаясь на политической и нравственной ни на политически-криминальной критике сего плана, я должен Вам показать, государь, какие у меня были средства для приведения в действие таких огромных замыслов [181].

Во-первых я приехал в Лейпциг, не имея [ни] копейки денег, не имел даже довольно для своего собственного бедного пропитания, и если бы мне Рейхель не прислал вскоре малую сумму, то я не знал бы решительно, чем и как жить, ибо для своих предприятий я по совести мог просить и требовать денег у других, но не для себя.

Деньги мне были необходимы. “Sans argent point de suisses!” (“Без денег нет швейцарцев”), говорит старая французская пословица, а я должен был создать решительно все: сношения с Богемиею, сношения с мадьярами, должен был создать в Праге партию, соответствующую моим желаниям, на которую бы я мог потом опереться для дальнейшего действия. Я говорю “создать”, ибо когда я приехал в Лейпциг, не было еще даже и тени начала какого-либо действия, все же существовало только в моей мысли.

От Дестсра и Гекзамера я денег требовать не мог; их средства были весьма ограничены, несмотря на то, что они вдвоем составляли Центральный демократический комитет для целой Германии; они собирали род налога со всех немецких демократов, но он был недостаточен даже для того, чтобы покрыть их собственные политические расходы. Я надеялся на поляков, но поляки на мой зов не приехали. Мои новые отношения с ними, а именно с польскими демократами, начались в Дрездене, и я могу сказать по совести, что до самого марта 1849 года я никогда в жизни не имел политических связей с поляками, да и те, в которые я было вошел с ними в марте месяце, не успели развиться. Итак денег у меня не было, а без денег мог ли я что предпринять? Хотел я было ехать в Париж отчасти за деньгами, отчасти чтобы войти в сношения с французскою и польскою демократиями, а наконец и для того, чтобы познакомиться там с графом Телеки, бывшим посланником или вернее агентом Кошута при французском правительстве, и войти через него в сношения с самим Кошутом; но обдумав, отказался от сей мысли, отказался от нее по следующим причинам. Мне было известно, именно через моего Друга Рейхеля, что вследствие клеветливой корреспонденции в “Rheinische Zeitung” (“[Новая] Рейнская Газета”), французские демократы также усумнились во мне. Когда было напечатано мое “Воззвание к славянам”, я послал один экземпляр Флокону и приложил длинное письмо[182].

В этом письме я ему изложил сообразно моим тогдашним понятиям положение Германии и положение славянского вопроса; извещал его о моем уразумении и полном согласии с центральным обществом немецких демократов, о готовившейся второй революции в Германии и о моих намерениях касательно славян и Вогемии в особенности; уговаривал его прислать в Лейпциг, куда собирался ехать, поверенного французского демократа для приведения в связь предполагаемого германо-славянского движения с французским; наконец упрекал его в том, что он мог поверить клеветливым слухам, и кончал письмо торжественным объявлением, что как единственный русский в лагере европейских демократов я должен хранить свою честь строже, чем всякий другой, и что если он мне теперь не будет отвечать и не докажет положительным действием, что он безусловно верит в мою честность, я почту себя обязанным прервать с ним все отношения.

Флокон мне не ответил и никого не прислал, а вероятно для того, чтобы показать мне свою симпатию, перепечатал все “Воззвание” мое в своем журнале; то же самое сделали и поляки в своем журнале “Demokrata Polski”; но я ни того ни другого в Лейпциге не читал[183], принял же молчание Флокона за оскорбительный знак недоверия, а потому и не мог решиться даже и для цели, которую считал священною, искать с ним, равно как и с его партиею, нового сближения, не говоря уже о польских демократах, которые были если и не первыми изобретателями, то без сомнения главными распространителями моего незаслуженного бесчестия[184].

При таковых отношениях с французами и поляками я не обещал себе также и большой пользы от знакомства с графом Телеки, зная, что он находился в тесной дружбе с польскою эмиграциею. Таким образом, раздумав, я убедился, что поездка в Париж будет только пустою тратою времени; время же было драгоценно, ибо до весны оставалось уже немного месяцев. Итак я должен был отказаться и на сей раз от всякой надежды на связи и на средства широкие, должен был удовольствоваться для всех издержек добровольною помощью бедных лейпцигских, а потом и дрезденских демократов, и не думаю, чтобы в продолжение всего времени от января до мая 1849-го года я издержал более 400,

много 500 талеров. Вот какими денежными средствами я хотел поднять всю Богемию! Теперь же перейду к своим связям и действиям[185].

В заграничных показаниях своих я несколько раз объявлял, что я никаким образом не участвовал в приуготовительных действиях немецких демократов для революции в Германии вообще и Саксонии в особенности. И теперь должен по совести и сообразно с чистою истиною повторить то же самое[186]. Я желал революции в Германии, желал ее всем сердцем; желал как демократ, желал и потому, что в моих предположениях она должна была быть знаком и как бы точкою отправления для революции богемской; но сам решительно никаким образом не способствовал к ее успеху, разве только тем, что ободрял и поощрял к ней словами всех знакомых мне немецких демократов, но не посещал ни их клубы, ни их совещания[187], не спрашивал ни о чем, афектировал равнодушие и не хотел даже и слышать о их приготовлениях, хотя и слышал многое почти поневоле; сам же был исключительно занят пропагандою в Богемии. От немцев я ожидал и требовал только двух вещей.

Во-первых, чтобы они совершенно изменили свои отношения и чувства к славянам, чтобы публично и громко выразили свою симпатию к славянским демократам и в положительных выражениях признали славянскую независимость.

Такая демонстрация мне казалась необходимою, необходимою для того, чтобы связать самих немцев положительным и громко выраженным обязательством; для того, чтобы подействовать сильно на мнение всех прочих европейских демократов и заставить их смотреть на славянское движение глазами другими, более симпатическими; необходимою наконец и для того, чтобы победить закоренелую ненависть славян против немцев и ввести их таким образом как союзников и друзей в общество европейских демократий.

Я должен сказать, что Дестер и Гекзамер сдержали вполне данное ими мне слово, ибо в короткое время и единственно только их старанием почти все немецкие демократические журналы, клубы, конгрессы заговорили вдруг совершенно иным языком и в самых решительных выражениях об отношениях Германии к славянам, признавая вполне и безусловно право последних на независимое существование, призывая их к соединению на общеевропейское революционерное дело, обещая им союз и помощь против франкфуртских притязаний, равно как и против всех других немецких реакционерных партий.

Такая сильная, единодушная и совсем неожиданная демонстрация произвела и на других желаемое действие: не только польские демократы, но [и] французские демократы, французские демократические журналы и даже итальянские демократы в Риме заговорили также о славянах как о возможных и желанных союзниках[188]. Славяне же с своей стороны, и именно чешские демократы, пораженные и обрадованные сею внезапною переменою, в свою очередь также стали выражать в чешских журналах свою симпатию к европейским и даже к немецким и мадьярским демократам. Таким образом первый шаг к сближению был сделан.

Но это было не все; надо было победить ненависть богемских немцев к чехам, не только смягчить их враждебные чувства, но уговорить их соединиться с чехами, на общее революционерное дело. Задача не легкая, ибо ненависть бывает всегда там сильнее и глубже, где она происходит между племенами, живущими близко и находящимися друг с другом в беспрестанном соприкосновении. К тому же ненависть между немцами и чехами в Богемии была ненависть свежая, основанная на животрепещущих воспоминаниях, разъяренная и растравленная неусыпными стараниями австрийского правительства.

Она пробудилась в первый раз в начале революции 1848-го года вследствие двух противоположных, друг друга уничтожавших направлений обеих национальностей. Чехи, составляющие две трети

богемского народонаселения, хотели и с полным правом хотели, говорю я, чтобы Богемия была исключительно страною славянскою в совершенной независимости от Германии; а потому и не хотели посылать депутатов в Франкфуртское собрание. Немцы же напротив, основываясь на том, что Богемия всегда принадлежала к Германскому Союзу и с давних времен составляла интегральную часть древней Германской Империи, требовали ее окончательного соединения, слияния с *вновь возрождавшеюся Германией.* Чехи не хотели и слышать о венском министерстве; немцы кроме венских министров не хотели признавать никакой другой власти. Таким образом произошла распря жестокая, поджигаемая с одной стороны Инспруком, с другой же венским правительством; так что, когда в июне 1848-го года Прага восстала, немцы поднялись со всех сторон немецкой Богемии и ринулись вольными толпами (Freischaren) на помощь австрийским войскам. Впрочем генерал князь Виндишгрец принял их довольно холодно и, поблагодарив, отпустил их домой[189]. С тех пор вражда между чехами и немцами никогда не переставала, и ее победить было нелегко. Гекзамер и Дестер были мне в этом отношении очень полезны, равно как и саксонские демократы: они несколько раз посылали от своего имени агентов в немецкую часть Богемии, на которую действовали постоянно и неусыпно также и посредством демократов, обитавших на всей саксонской границе, так что к маю уже множество немцев в Богемии были обращены в новую веру, и хотя я и не имел с ними непосредственных отношений, знаю однако, что многие готовы были соединиться с чехами для общей революции. Сим ограничились мои отношения с немецкими демократами, в их же собственные дела, повторяю еще раз, я не вмешивался. Теперь обращусь к чехам.

Арнольд приехал один на мой зов в Лейпциг. Впрочем я был рад и тому, быв уж научен довольствоваться немногим. Он пробыл в Лейпциге всего только сутки, несмотря на все мое старание удержать его долее. В такое короткое время я не мог ни расспросить его хорошенько о Богемии и Праге, ни передать ему вполне свои мысли. К тому же три четверти сего времени по крайней мере были употреблены на бесполезные переговоры с Дестером и Гекзамером: они было вздумали созвать в Лейпциге публично славяно-германский конгресс, — даже в это время немцы не могли еще совершенно излечиться от несчастной страсти к конгрессам, — но я решительно воспротивился сему нелепому проекту. На серьезные переговоры глаз на глаз с Арнольдом мне осталось всего четыре, много пять часов; я старался воспользоваться ими, сколько было возможно, для того чтобы уговорить Арнольда быть моим соучастником, действовать со мной заодно, в моем направлении и духе[190].

Опираясь на все вышеупомянутые причины, доводы и аргументы, я старался убедить его в необходимости ускорить революцию в Богемии; а для достижения сей цели, зная, что он имел сильное влияние на чешскую молодежь, на чешское бедное мещанство, особенно же на чешских мужиков, которых он знал хорошо, быв долгое время управляющим имений графа Рогана[191], и для которых теперь писал почти исключительно в своем демократическом, простонародном журнале, я просил его употребить это влияние на революционерную пропаганду. Просил его организовать сначала в Праге, а потом в целой Богемии тайное общество, план для которого, мною одним созданный, был у меня уже готов. План сей в своих главных чертах был следующий.

Общество должно было состоять из трех отдельных, друг от друга независимых и друг о друге не знающих обществ, под разными названьями: одно общество для мещан, другое для молодежи, третье для сел. Каждое было подчинено строгой иерархии и безусловной дисциплине, но каждое в своих подробностях и формах сообразовалось характеру и силе того класса, для которого оно было назначено.

Общества сии должны были ограничиться малым числом людей, включив в себя по возможности всех людей талантливых, знающих, энергичных и влиятельных, которые, повинуясь центральному направлению, в свою очередь и как бы невидимо действовали бы на толпы. Все три общества были бы связаны между собою посредством центрального комитета, который бы состоял из трех, много из

пяти членов: я, Арнольд, остальных следовало бы выбрать[192]. Я надеялся посредством тайного общества ускорить революционерные приуготовления в Богемии; надеялся, что оные будут сделаны во всех пунктах по одному плану. Ожидал, что мое тайное общество, которое не должно было расходиться после революции, но напротив усилиться, распространиться, пополняя себя всеми новыми живыми и действительно сильными элементами, обхватывая постепенно все славянские земли, — я ожидал, говорю я, что оно даст также и людей для различных назначений и мест в революционерной иерархии.

Надеялся наконец, что посредством его я создам и укреплю свое влияние в Богемии, ибо в то самое время, без ведома Арнольда, я поручил одному молодому человеку, немцу из Вены (студенту Оттендорфер, бежавшему после в Америку), организовать по тому же самому плану общество между богемскими немцами[193], в центральном комитете которого я не участвовал бы явно сначала, но был бы его тайным предводителем; так что, если бы проект мой пришел к исполнению, все главные нити движения сосредоточились бы в моих руках, и я мог бы быть уверен, что замышляемая революция в Богемии не собьется с пути, ей мною назначенного.

Насчет же революционерного правительства, из скольких людей и в каких формах оное должно будет состоять, я не имел еще определенных мыслей; хотел прежде познакомиться поближе с самими людьми, равно как и с обстоятельствами; не знал, приму ли я в нем явное участие, но что я буду участвовать в нем и участвовать непосредственно, сильно, в этом я не сомневался. Не самолюбие и не честолюбие, но убеждение, основанное на годовом опыте, убеждение, что никто между знакомыми мне демократами не будет в состоянии так обнять все условия революции и принять тех решительных энергичных мер, которые я считал необходимыми для ее торжества, заставили меня наконец откинуть прежнюю скромность[194].

Наконец я хотел еще овладеть посредством Арнольда и его приверженцев в Праге “Славянскою Липою”, чешским или вернее славянским патриотическим обществом, признанным центром всех славянских обществ и клубов во всей Австрийской империи. Я вообще не придавал большой важности клубам, не любил и презирал их даже, видя в них только сходки для глупого хвастовства, для пустой и даже вредной болтовни. Но “Славянская Липа” была исключением из общего правила; она была основана на практических и живых основаниях умными практическими людьми. Она была усиленным политическим продолжением организации и действия той могучей литературной пропаганды, которая перед революцией 1848-го года пробудила и, можно сказать создала новую славянскую жизнь.

Она и в это время была живым центром всех политических действий австрийских славян и пустила отрасли, имела филиативные общества не только в Богемии, но решительно во всех славянских странах в Австрийской империи, исключая только Галицию, и пользовалась таким всеобщим уважением, что все славянские предводители полагали за честь быть ее членами, и даже сам бан Елачич, приступая к Вене, почел необходимым написать к ней письмо, в котором, как бы извиняя свои поступки, уверял, что он идет против Вены не потому, что Вена совершила новую революцию и следует теперь демократическому направлению, но потому, что она есть центр германской национальной партии[195]. В “Славянской Липе” участвовали безразлично славянские патриоты всех партий; сначала преобладала в ней партия Палацкого, словака Штура и Елачича: но впоследствии, к чему впрочем и моя брошюра “Воззвание к славянам” несколько способствовала, число демократов усилилось в ней заметным образом, и уж стали довольно часто слышаться в ней крики “Елей Кошут!” (“Да здравствует Кошут” (по-венгерски).

А под конец и вся чешская “Ляпа” отклонилась решительно от прежнего направления и, громко объявив свои симпатии к мадьярам, не захотела посылать более денег ни словакам, ни южным славянам, воевавшим против Кошута. Овладеть “Славянскою Липою” было в то время довольно

легко, и она могла сделаться в руках чешских демократов довольно сильным и действительным средством для достижения моих целей.

Арнольд был несколько поражен и как бы смущен смелостью сих последних. Он мне обещал впрочем многое, но неясно, робко, неопределенно, жалуясь то на безденежье, то на свое плохое здоровье, так что, когда он уехал из Лейпцига, во мне осталось впечатление, что я почти ничего не достиг свиданием и переговорами с ним. Прощаясь, он обещал мне однако писать из Праги и позвать меня, когда будет все хоть несколько подготовлено для начала дальнейших, решительнейших действий[196]. Я должен был довольствоваться его неопределенными обещаниями, ибо не имел в то время решительно никаких других средств ни путей для пропаганды. Вспоминая теперь, какими бедными средствами я замышлял совершить революцию в Богемии, мне становится смешно; я сам не понимаю, как я мог надеяться на успех. Но тогда ничто не было в состоянии остановить меня. Я рассуждал таким образом; революция необходима, следовательно возможна. Я был сам не свой, во мне сидел бес разрушения; воля или, лучше сказать, упорство мое росло вместе с трудностями, и бесчисленные препятствия не только что меня не пугали, но разжигали напротив мою революционерную жажду, поджигали меня на лихорадочную, неутомимую деятельность. Я был обречен на погибель и предчувствовал это и с радостью шел на нее. Жизнь мне уже тогда надоела.

Арнольд мне не писал; я опять ничего не знал о Богемии. Тогда, воспользовавшись поездкою одного молодого человека в Вену (Геймбергер[197], сын австрийского чиновника, бежал потом в Америку), которого отчасти также посвятил в свои тайны, просил его на возвратном пути остановиться у Арнольда и писать мне из Праги[198]. Он там остался совсем, впрочем по собственной воле, и сделался моим постоянным корреспондентом. Таким образом я узнал, что хотя Арнольд повидимому и мало и плохо действовал, однако расположение умов в Праге становилось день от дня живее, решительнее, сообразнее моим желаниям. Тогда я решился ехать сам в Прагу и уговорил также и братьев Страка возвратиться в Богемию. Это было в середине или в конце марта, а, может быть, даже и в начале апреля по новому стилю; я перезабыл все числа. Впрочем они подробно определены в обвинительных актах.

В это время в первый раз заговорили о вмешательстве России в венгерскую войну и о вступлении русских войск в Венгрию на помощь австрийским войскам. Известие сие побудило меня написать второе “Воззвание к славянам” (оно было перепечатано потом в “Dresdener Zeitung”) и находится в числе обвинительных актов), в котором, равно как и в первом, но еще с большею энергиею и языком более популярным я призывал славян к революции и к войне против австрийских, а также и против российских, хоть и славянских войск, “so lange diese den verhdngnissvollen Nahmen des Kaisers Nikolai in ihrem Munde fьhren!” (“Пока на устах у них роковое имя царя Николая”).

Воззвание сие было немедленно переведено братьями Страка на чешский язык и напечатано в Лейпциге на обоих наречиях в большом количестве экземпляров. Я поручил чешское издание братьям Страка, а немецкое — саксонским демократам для скорейшего распространения в Богемии[199].

Я поехал в Прагу через Дрезден. В Дрездене остановился [на] несколько дней; познакомился с некоторыми из главных предводителей саксонской демократической партии, впрочем без всякой положительной цели, не имея к ним из Лейпцига ни рекомендательных писем, ни поручений; познакомился с ними, .могу сказать, случайно в демократической кнейпе (Кабачок) через доктора Виттига, знакомого мне еще со времен моего первого пребывания в Дрездене в 1842-м году[200].

Между прочим познакомился также и с демократическим депутатом Реккелем [201], с которым позже вошел в ближайшую связь и который играл впоследствии деятельную роль в революционерной

дрезденской, равно как и пражской попытке. В Дрездене[202] начались также мои новые, уже положительные отношения с поляками[202a]. Это случилось следующим образом.

Я встретил совершенно случайно в Дрездене галицийского эмигранта и весьма деятельного члена Демократического общества Крыжановского[203], с которым я познакомился в первый раз в Брюсселе в 1847-ом году; но тогда я не имел с ним еще никаких политических отношений. Был же он в Дрездене на дороге в Париж из Галиции, из которой, кажется, был принужден бежать от преследований австрийской полиции. Мы встретились с ним как старые знакомства и после первых приветствий я стал делать ему упреки за клевету, распространенную на мой счет польскими демократами [204].

Он мне на это отвечал, что ни он ни Друг его Гельтман, с которым он жил вместе в Галиции, никогда не верили пустым слухам, везде и всегда им противоречили, и что напротив оба желали моего приезда в Галицию, где я мог быть им полезен, и даже сбирались писать ко мне, но не знали моего адреса. В чем и как я мог быть полезен в Галиции, он мне не сказал.

Таким образом после довольно долгого разговора об общих предметах, найдя в его мыслях много сходства с моими и заметив в нем желание со мной сблизиться, я открыл ему свои намерения насчет богемской революции, не входя впрочем ни в какие частности, сказал ему, что у меня есть связи в Богемии и что еду теперь в Прагу для ускорения революционерных приуготовлений, что давно желал соединения с поляками, для того чтобы действовать с ними вместе, но что до сих пор все попытки мои для сближения с ними не только что остались без всякого успеха, но навлекли еще на меня гнусную клевету. Он с жаром вошел в мои славянские мысли и просил у меня позволения переговорить о том как бы сказать официально, от моего имени с Централизациею.

Я был этому рад, и мы согласились с ним в следующих пунктах:

1. Централизация пришлет двух поверенных, которые вместе со мной в Дрездене будут заниматься приготовлениями к богемской революции и которые, когда революция начнется, войдут вместе со мной в Центральный общеславянский комитет, в котором будут участвовать по возможности представители и прочих славянских племен.

2. Централизация возьмет на себя доставку польских офицеров для революции в Богемии, пришлет денег и наконец уговорит также и графа Телеки прислать с своей стороны с достаточными средствами мадьярского агента, для того чтобы действовать с нами на мадьярские полки, стоявшие тогда в Богемии, а также и для постоянных отношений с Телеки и с Ко-шутом.

3. Хотели еще установить в Дрездене германо-славянский комитет для приведения в связь богемских революционерных приготовлений с саксонскими; но сей последний проект остался даже без начала исполнения, ибо особенных саксонских приуготовлений, как я скажу о том после подробнее, не было. Да можно сказать, что и все остальные пункты остались неосуществленными, исключая разве только приезда Гельтмана и Крыжановского от имени Централизации с пустыми руками. Все, что я приобрел на сей раз через встречу с Крыжановским, это был английский паспорт [205], с которым я и поехал в Прагу, простившись с Крыжановским, отправившимся в то же самое время в Париж [206].

В Праге я был поражен самым неприятным образом, не найдя в ней ничего, решительно ничего приготовленным[207]. Тайному обществу не было даже положено и начала, и никто, казалось, и не думал о близкой революции. Я стал делать Арнольду упреки, но он сложил всю вину на свое нездоровье. Впоследствии, кажется, он был гораздо деятельнее; я говорю “кажется”, ибо я до самого конца думал, что он не делает ничего, и только от австрийской следственной комиссии узнал, если это справедливо, что он потом действовал ревностно и сильно, но вместе с тем и так осторожно, что

даже самые близкие люди не подозревали его деятельности. Кроме Арнольда я имел один раз вечером совещание со многими чешскими демократами, пришедшими ко мне по приглашению, но пришедшими к моему великому неудовольствию в числе, превышавшем мои ожидания [208].

Совещание было шумное, бестолковое и оставило во мне впечатление, что пражские демократы — великие болтуны, и что они более склонны к легкому и самолюбивому риторству, чем к опасным предприятиям [209]. Я же, кажется, напугал их резкостью некоторых вырвавшихся у меня выражений[210]. Никто из них, казалось мне, не понимал единственных условий, при которых была возможна богемская революция. Равно как и немцы, от которых впрочем чехи вообще многому научились, несмотря на свою ненависть к ним, все были более или менее заражены страстью к клубам и верою в действительность пустой болтовни. Я убедился и в том, что, оставив широкое поле для их самолюбия и уступив им все внешности власти, мне будет нетрудно овладеть самою властью, когда революция начнется. Я видел потом некоторых глаз на глаз[211], и заметив, что параллельно с моими замыслами шли в то же самое время несколько других предприятий, менее решительных, с видами более отдаленными, но клонящимися однако к одной и той же революционерной цели, я стал думать о средствах воспользоваться ими. Для сего я должен бы был остаться в Праге, но это было решительно невозможно; ибо несмотря на все мое старание сохранить мое присутствие тайным, пражские демократы были так болтливы, что на другой же день не только вся демократическая партия, но все чешские либералы знали, что я находился в Праге; а так как австрийское правительство уже и тогда преследовало меня за мое первое “Воззвание к славянам”, то я был бы без всякого сомнения арестован, если бы не удалился вовремя.

За неимением других средств я должен был положить все свои надежды на братьев Страка, умы которых я успел, так сказать, обработать и напитать своим духом в продолжение более чем двухмесячного ежедневного, ежечасного свидания. Я дал им полные и подробные инструкции касательно всех приуготовлений к революции в Праге и в Богемии вообще; уполномочил их действовать за меня и в мое имя, и хоть и не знаю хорошо и в подробности” что они потом делали, однако должен объявить себя ответственным за их малейшие действия, ответственным и повинным в тысячу раз более, чем они сами.

Кратковременное пребывание в Праге было достаточно, чтобы убедить меня, что я не ошибался, надеясь найти в Богемии все нужные элементы для успешной революции[212]. Богемия находилась тогда в самом деле в полной анархии. Мартовские революционерные новоприобретения (die Mdrzerrungenschaften, любимое выражение того времени - “Мартовские достижения”).

уже подавленные в прочих частях Австрийской империи, в Богемии оставались еще в полном цвете. Австрийское правительство имело еще нужду в славянах. а потому и не хотело, боялось коснуться их реакционерными мерами. Вследствие этого в Праге, равно как и в целой Богемии, царствовала еще безграничная свобода клубов, народных собраний, книгопечатания; эта свобода простиралась так далеко, что венские студенты и другие венские беглецы, которых в Вене в то же самое время расстреливали, в Праге ходили по улицам явно, под своим именем, без малейшего опасения. Весь народ как в городах, так и в селах был вооружен и везде недоволен: недоволен и недоверчив, потому что чувствовал приближение реакции, боялся потери вновь приобретенных прав; в селах боялся грозящей аристократии и восстановления прежнего подданства; недоволен наконец в высшей степени вследствие вновь возвещенного рекрутского набора и в самом деле был везде готов к возмущению.

К тому же в Богемии находилось тогда очень мало войска, и то, что было, состояло большею частью из мадьярских полков, которые чувствовали в себе непреодолимую склонность к бунту. Когда студенты встречали мадьярских солдат на улице и приветствовали их криком “Елей Кошут!”, солдаты отвечали тем же самым криком, не обращая внимания на присутствовавших и слышавших офицеров; когда мадьярских солдат посылали арестовать студента за брань или за драку с полициею, солдаты

соединялись с студентами и били вместе с ними полицейских чиновников. Одним словом расположение мадьярских полков было такое, что лишь только началось революционерное движение в Дрездене, полуэскадрон, стоявший на границе, услышав о том, взбунтовался и прискакал в Саксонию без всякого зова. Более двух лет прошло с тех пор, и австрийское правительство в продолжение сего времени употребило без сомнения все возможные средства, для того чтобы искоренить революционерный, кошутовский дух из мадьярских полков; но дух сей запустил такие глубокие корни в сердце каждого мадьяра, еще более простого, чем образованного, что я убежден, что если даже и теперь начнется война, крик "Елей Кошут" будет достаточен для того, чтобы взбунтовать их и перевести на сторону неприятеля. В то же время это не подлежало ни малейшему сомнению; я был твердо уверен, что они в первый день, в первый час соединятся с богемскою революциею; приобретение важное, ибо таким образом было бы положено крепкое начало революционерному войску в Богемии[213]. Наконец для пополнения картины надо еще прибавить, что австрийские финансы находились в то время в самом плачевном состоянии: в Богемии ходили уже не государственные, а партикулярные бумаги; каждый банкир, каждый купец имел свои ассигнации; были даже деревянные и кожаные монеты, как только бывает у народов, находящихся на самой низкой степени цивилизации.

Революционерных элементов было поэтому много; следовало только овладеть ими, но на это у меня решительно не доставало средств. Однако я все еще не отчаивался. Я поручил братьям Страка[214] завести наскоро тайные общества в Праге, не придерживаясь строго старого плана, для исполнения которого уже недоставало более времени, но сосредоточив главное внимание на Праге для того, чтобы приготовить ее как можно скорее к революционерному движению; особенно просил их завести связь с работниками и составить исподволь из самых верных людей силу, состоящую из 500, 400 или 300 людей, по возможности род рево-люционерного батальона, на который бы я мог безусловно положиться и с помощью которого мог бы овладеть всеми остальными пражскими, менее или совсем не организированными элементами. Овладев же Прагою, я надеялся овладеть и всею Богемиею, ибо намеревался принудить главных предводителей чешской демократии соединиться со мною, принудить их к тому или убеждением, или удовлетворением их самолюбия, предоставив им по вышереченному все почести и все выгоды власти, а если бы ни то, ни другое на них не подействовало, так и силою. Просил наконец их искать знакомства со всеми, однако не высказываться, не болтать, быть скромными, не оскорблять ничьего самолюбия, а наблюдать внимательно за всеми движениями и всеми параллельными предприятиями, опасаясь, чтоб нас не предупредили, и писать мне обо всем со всевозможною подробностью в Дрезден[215], откуда обещал прислать им денег, и когда придет время, приехать и сам с польскими офицерами.

Вскоре по моем возвращении в Дрезден явились туда Кры-жановский и Гельтман, уже от имени демократической Централизации (Они прибыли в Дрезден около середины апреля (возможно 13 апреля) 1849 года.)

Они мне не привезли ничего, ни денег, ни польских офицеров, ни мадьярского агента, а только сердечное участие и множество комплиментов от польских, равно как и от парижских демократов. Насчет денег узнал я, что Централизация сама находилась в неимоверной бедности, равно как и французские демократы, истощенные прошлогодними июньскими днями; что польские офицеры будут и будут в большом количестве из Франции, равно как из Познанского Герцогства, лишь только найдутся деньги, необходимые для их доставки; и наконец, что граф Телеки богат средствами, но что он не решается войти с нами в отношения и располагать мадьярскими деньгами для движения богемского, не получив на то позволения от Кошуга, которому он писал об этом предмете и ждал ответа[216]. Таким образом я не был в состоянии сдержать ни одного из обещаний, данных мною сначала братьям Страка, впоследствии же через них и Арнольду и другим чешским демократам, вошедшим в сношения с ними по моем отъезде из Праги. Я должен был содержать братьев Страка в Праге, а для сего должен был как нищий просить милостыню у всех знакомых, и ни от одного не

получил ни копейки кроме вышеупомянутого депутата Реккеля, неосторожного, болтливого, экс [ц1ентрического, но ревностного демократа, который для того, чтобы доставить мне хоть некоторые средства, продал даже свою мебель[217].

Я познакомился впоследствии с покойником бароном Байер[218], бывшим прежде офицером в австрийской службе, потом же принявшим участие в венгерском восстании; он командовал некоторое время мадьярским отрядом не помню в какой венгерской крепости, был тяжело ранен и, вследствие этого удалившись из Венгрии, сделался не знаю уж каким образом агентом графа Телеки в Дрездене, где, кажется, исключительно занимался вербовкою офицеров для мадьярского войска. Он мне показал письмо графа Телеки, в котором сей расспрашивал его о Богемии; я воспользовался сим случаем и уговорил его написать под моей диктовкою письмо к Телеки, в котором он от моего имени извещал его о готовившейся богемской революции, представляя ему все выгодные результаты, долженствовавшие последовать из оной для самих мадьяр, и требуя наконец присылки поверенного с деньгами. Телеки отвечал, что он приедет сам; и кажется, что он и в самом деле был в Дрездене, но поздно, ибо я уже сидел тогда в заключении. Сим ограничились все сношения мои с мадьярами .

Между тем моя переписка с братьями Страка продолжалась [220]; они требовали денег: я посылал им сколько мог, т. е. очень немного; но утешал их будущими надеждами, уговаривая их крепиться так же, как и я сам крепился в это время, и не Оглядываясь, без остановки, наперекор всем трудностям и препятствиям готовить революцию и позвать меня, когда приблизится время к восстанию. Они были в самом деле очень деятельны, как я узнал впоследствии от следственной комиссии; из писем же их я не мог узнать многого, так были они неотчетливы и темны[221].

Я сказал теперь все[222] касательно моих богемских предприятий и действий, из которых посылка Реккеля в Прагу была последним.

Но скажу прежде (Т. е. прежде описания саксонских дел), какие у меня были отношения к приехавшим полякам, а именно к Гельтману и Крыжановскому[223]. Я могу с полным правом сказать, что не было решительно никаких. Между нами даже и в это время не было совершенной доверенности ни с их ни с моей стороны: они мне никогда ни полслова не сказали о своих польских делах, которыми, как мне казалось, они занимались гораздо более, чем богемскими, что было впрочем нетрудно, ибо последними они совсем не занимались; платя им скрытностью за скрытность, я с своей стороны удержал также многое от них втайне, показывал им только верхи своих собственных замыслов и не допускал их входить в непосредственные отношения в Богемиею. Я один переписывался с Прагою, и все, что они знали, знали они единственно только через меня; когда я получил неблагоприятные известия, я умалчивал их; когда же известия были благоприятные, я старался увеличить оные в глазах их; одним словом я их держал несколько в стороне от всех действительных обстоятельств и приготовлений и считал себя вправе действовать в отношении к ним таким образом, ибо видел ясно, что Централизация, не прислав с ними мне никакой помощи, ни денег, ни офицеров, ни обещанного мадьярского агента, прислала только их двоих, и не для того, чтобы в самом деле соединиться со мной, но для того, чтобы по возможности овладеть богемским движением и употребить оное на достижение своих собственных, мне неизвестных целей, сообразно своему исключительно польскому направлению. Я виделся с Гельтманом и Крыжановским часто, почти всякий день, но более как приятель, чем как соумышленник; мы редко говорили о богемских приготовлениях, они даже редко спрашивали меня о них, или потому, что заметили мою неоткровенность, а может быть и потому, что, перестав ожидать от них больших результатов, интересовались более, другими, мне неизвестными делами. Только в одной мере условились мы положительно, а именно в необходимости установить в Праге общеславянский революционерный комитет когда революция начнется; все же остальное было предоставлено нами будущему вдохновению и обстоятельствам. Они имели вероятно свои замыслы, я же, рассчитывая на преобладающее влияние свое в Праге, имел твердое намерение устранить их,

лишь только они окажутся противниками. Гельтман и Крыжановский имели также и в Дрездене связи, совершенно независимые от моих. Но для окончания моей истории обращусь теперь в последний раз к немцам.

Немцы — решительно странный народ, и, судя по тому, что я видел, живя между ними, не думаю, чтобы судьба им готовила долгое политическое существование. Когда я сказал, что в последнее время немецкие демократы стали централизироваться, то я хотел выразить сим, что они наконец поняли необходимость центрального действия и центральной власти, много и часто о них говорили и делали даже движения, как будто бы централизировались, но действительной централизации, несмотря на существование Центрального демократического комитета, между ними не было.

(Разительная истина!!!)

> *Избрав сей комитет, они думали, что сделали все, и не почли нужным ему повиноваться. Что делает французских демократов опасными и сильными, это — чрезвычайный дух дисциплины; французы различных характеров, состояний и положений, различнейших направлений, даже различных партий умеют соединяться для достижения общей цели, и когда раз соединились, тогда уж никакое самолюбие ни честолюбие, решительно ничего не в состоянии разъединить их, до тех пор пока предположенная цель не достигнута. В немцах напротив преобладает анархия. Плод протестантизма и всей политической истории Германии, анархия есть основная черта немецкого ума, немецкого характера и немецкой жизни: анархия между провинциями; анархия между городами и селами; анархия между жителями одного и того же места, между посетителями одного и того же кружка; анархия наконец в каждом немце, взятом особенно, между его мыслью, сердцем и волею.*

(Неоспоримая истина!!!)

> *"Jeder darf und soll Seine Meinung haben!" ("Каждый вправе и обязан "меть свое мнение") — вот первоначальная заповедь немецкого катехизиса, правило, которым руководствуется каждый немец без исключения; а потому никакое политическое единство между ними не было да и не будет возможным.*

(Правда)

> *Так в это самое время, когда необходимо было теснейшее соединение всех демократов и всех либералов для того, чтобы бороться с некоторым успехом против торжествовавшей реакции, не только демократы с либералами и не только демократы целой Германии, но даже демократы одного и того же немецкого государства не могли, не умели да и не хотели соединиться. Jeder wollte seine Meinung haben ("Каждый хотел иметь свое мнение")*

Все были разъединены мелким, еще более самолюбивым, чем честолюбивым соперничеством. Так ни Бреславль, ни Кельн не хотели покориться Берлину, а в то же время враждовали и между собою. Кенигсберг был сам по себе; прусская Саксония также. Не говорю о Бранденбурге и Померании, державшихся постоянно на стороне монархии; еще менее говорю о Герцогстве Познанском, в котором преобладала в то время глубочайшая ненависть безразлично ко всем носящим только немецкое имя. Вестфалия клонилась более на сторону Кельна. Ганновер составлял вместе с другими приморскими землями особенную группу, приходившую в соприкосновение с прочею Германиею только через Шлезвиг-Голштейнскую войну, в которой впрочем либералы принимали гораздо более участия, чем демократы. Демократы саксонского королевства имели свой собственный Центральный комитет, который был также комитетом и тюрингских демократов. Бавария, исключая [П] фальца и

северной части Франконии, не была почти тронута демократическою пропагандою. Остальная же часть южной Германии, Баден, Вюртемберг, равно как и оба Гессена и прочие небольшие герцогства, внешним образом признавали Центральный комитет. ибо участвовали в его избрании на демократическом конгрессе в Берлине, но в сущности [не] ставили его ни во что, никогда не слушали его приказаний, не посылали ему даже денег, группировались же большею частью вокруг демократов Франкфуртского конститутивного собрания, которые с самого начала соперничествовали и враждовали против северных демократов. Так что в действительности централизации не было, а центральный комитет германских демократов находился в самом бедственном положении.

Он был беден, он был немогуч, он состоял наконец из членов неспособных к этому делу. Трое были выбраны в него: Дестер, Гекзамер да еще граф Рейхенбах[224], но последний удалился из него в самом начале; действовали только Гекзамер и Дестер. Гекзамер — человек молодой, честный, невинный, неглупый, но весьма ограниченный, нескоро понимающий, демократический доктринер и утопист. Дестер, — я не скрою от Вас, государь, что говорю о них так подробно только потому, что знаю, что оба спаслися бегством, — Дестер напротив — человек живой, талантливый, скорорабочущий, скоро, но поверхностно понимающий, несколько плут и пройдоха, впрочем не своекорыстный политический интриган, принадлежит к школе кельнских, т. с. более или менее коммунистических демократов, остроумен, находчив, увертлив, умеет раздразнить министра в парламентском прении, одним словом способный к партизанской политической войне; и мог бы быть немецким Дювержье де Гораном[225] при немецком демократическом Тьере, если бы такой нашелся в Германии, но не имеющий ни довольно обширного ума, ни довольно характера для того, чтобы быть предводителем партии.

Я постоянно остерегал себя от вмешательства в их дела; живя однако с ними впродолжение двух месяцев или немного менее в одном доме, я знал многое и могу сказать с уверенностью и по совести, что Центральный Комитет хлопотал много, но не сделал решительно ничего к успеху предполагаемой революции, несмотря на то что полагал на нее свои последние надежды; ибо сам Дестер мне говорил, что это будет решительная и последняя попытка, и что если она не удастся, то должно будет отложить все революционерные замыслы на долгое, долгое время. И что ж они делали? Вместо того чтобы, оставив в стороне все другие дела, заняться исключительно приготовлениями к ней, они употребляли большую часть времени на предметы второстепенные, незначительные, на вопросы, которые привели их даже в бесчисленные противоречия со многими отделениями демократической партии.

Они смеялись над саксонцами, которые твердо верили в незыблемость своей вновь ими созданной демократической конституции; говорили им, что вторая революция была необходима даже для сохранения тех еще ненарушенных политических прав, остатков революционерных приобретений 1848-го года, до которых реакция тогда еще не дерзала коснуться, говорили, что без второй революции все будет неверно, шатко; а сами действовали, как будто бы не сомневались ни малейшим образом в твердости политического фундамента, на котором они стояли: Дестер гораздо более заботился о своем выборе во второе прусское Законодательное собрание, чем о революционерных приготовлениях; Гекзамер занимался пустою, бесполезною, напыщенно-поздравительною публичною перепискою с французскими, итальянскими и польскими демократами; оба хлопотали об основании в Берлине нового демократического журнала, которого хотели быть редакторами; собирали везде подписку и перессорились по этому случаю со всеми демократами[226], тогда как явно было, что если не будет второй революции, то и существование сего журнала в Берлине будет невозможно, а что если революция удастся, то и все предыдущие хлопоты, ссоры и подписки будут решительно бесполезны. Когда Арнольд приехал в Лейпциг, вместо того чтобы заняться единственною целью его приезда, т. е. соединением движения богемского с германским, или хоть вместо того чтобы расспросить его о Богемии, о которой они оба почти ничего не знали, — они ни о чем другом почти с ним не говорили как о несчастном журнале да еще о вышеупомянутом славяно-германском конгрессе. Других переговоров, условий, общеположенных мер не было: “мы готовим к весне революцию, постарайтесь

и вы приготовиться к этому времени", — вот все, что Арнольд услышал от них [227]. По этому одному можно видеть, каковы были их приготовления и меры для революции в самой Германии.

Я не говорю, чтобы они уж решительно не сделали ничего и совсем не думали о приготовлениях к революции; говорю только, что действия их были незначительны, недостаточны и ни малейшим образом не способствовали к успеху последней; так знаю я напр[имер], что они организировали тайные общества в разных пунктах Германии, но общества сии остались без всякого влияния в майском всеобще-германском повстаньи; не сомневаюсь так же и в том, что они имели связи с некоторыми из главных предводителей демократической партии в разных частях Германии, хотя и не имею о том никаких положительных сведений; но знаю положительно, что они были со многими в ссоре: с Бреславлем, с Центральным комитетом саксонских демократов[228], а наконец и во Франкфурте имели гораздо более врагов, чем Друзей, так что накануне баденской революции[229] южно-германские демократы не только воспротивились их вмешательству, но даже просили их не приезжать к ним. Я узнал об этом обстоятельстве по особенному случаю, о котором скажу после.

Могли бы спросить меня: если Центральный Комитет был в самом деле до такой степени бессилен и бездеятелен, каким образом мог он произвести в целой Германии вышеупомянутую единодушную и сильную демонстрацию в пользу славян, и откуда взялись у него вдруг энергия и деятельность и влияние для той неусыпной пропаганды между богемскими немцами? На это я буду отвечать следующее: ничего не было легче как произвесть такую демонстрацию; для сего у них были и достаточное влияние и все нужные средства; они имели корреспонденцию со всеми демократическими журналами, а кроме сего имели адреса всех главных предводителей комитетов и клубов, на которых действовали часто помимо комитетов, посредством знакомых влиятельных людей; ведь ничего нет легче как уговорить всякого немца по всякому делу, до тех пор пока он мнит себя самостоятельным и не подозревает, что его хотят подчинить какой-нибудь дисциплине. Я сочинял статьи, которые Дестер и Гекзамер посылали в журналы от своего имени[230]; их же заставлял писать в моем присутствии, почти под моею диктовкою, письма, общие для всех клубов, и не давал им покоя, пока они не сделали всего, что мне казалось необходимым. Таким образом во многих журналах вдруг появились статьи симпатические для славян; а клубы, уже приготовленные письмами и объяснениями Центрального Комитета, последовали их примеру и стали сочинять громкие адресы к славянам. Начавшись же раз, движение-сие продолжалось потом уже без всякого внешнего побуждения. Пропаганда в Богемии осталась бы также без всякого исполнения, если бы я не принуждал к ней беспрестанно членов Центрального Комитета, но еще более знакомых мне лейпцигских демократов, которые в свою очередь действовали посредством своих знакомых, живущих на богемской границе[231]. И все это было сделано без особенных мер, заговоров, условий, а так, просто по доброму знакомству.

Еще раз повторяю, общих разговоров о предстоящей революции было в целой Германии много, но общего заговора к ней, общей организации, плана центрального управления и действия решительно не было, несмотря на то, что был избран Центральный Комитет для центрального управления и для центрального действия[232]. Всеобщность германского повстанья в мае 1849-го года была гораздо более плодом единодушного действия немецких правительств, чем согласия немецких демократов. Еще за полгода все знали, что весною будет революция, потому что поняли наконец, что правительства, начавшие раз и с успехом реакционерное движение, не остановятся на половине дороги и не успокоятся до тех пор, пока не восстановят совершенно старого порядка, разрушенного революциею 1848-го года. Все ожидали к весне еще решительнейших реакционерных мер и все готовились отвечать на них революционерным отпором и ждали неотвратимой, всеми предвиденной коллизии Франкфуртского парламента с властителями Германии как общего знака для общего повстания. Другого единодушия кроме сего между германскими демократами не было. Действия же Центрального Комитета ограничились тем, что он всех поощрял к революционерным

приуготовлениям, но он не мог и не умел сделаться центром самих при-уготовлений; все же части Германии готовились сами собою, особенно, каждая сообразно своему характеру, обстоятельствам, положению, независимо от Центрального Комитета, без всякой связи друг с другом; и еще раз говорю, общность приуготовлений состояла только в том, что все знали, что все готовятся, знали не только демократы, но и противная партия, ибо все готовились и организировали даже тайные общества громко.

Все готовились, но мало приготовили. Я впрочем не могу судить о действиях южных демократов, ибо исключая одного раза, о котором упомяну впоследствии, я после весны 1848 года не приходил с ними в соприкосновение. Кажется, что в Бадене существовало нечто вроде действительной организации[233]. Но могу судить о саксонских приуготовлениях, потому что видел их вблизи, хотя никаким образом и не участвовал в них. Я знаю, что у тих не было ни плана, ни организации, ни даже назначенных предводителей для возмущения. Все было предоставлено случаю. Это оказалось явно в дрезденской революционной попытке, которая была так мало предугадана самими руководителями демократической партии, что они хотели было все накануне разъехаться; и никто ни в Дрездене, ни а прочих городах Саксонии не знал, что именно теперь начинается всеми давно пророчествованная революция; и когда она началась, никто не знал, ни что делать, ни куда идти, всякий же следовал своему собственному инстинкту, ибо ничего не было предуставленного. Трудно поверить, но в самом деле было так. Я теперь стараюсь собрать все воспоминания, для того чтобы сказать что-нибудь положительное о приуготовлениях саксонских демократов, и не нахожу решительно ничего; разве только что в некоторых углах саксонской земли существовали микроскопические, игрушечные тайные общества, состоявшие из 5, 6, много из десяти людей, большею частью из работников, или что в некоторых городах, а именно в Дрездене, а Хемнице, а потом и в Лейпциге, были наделаны жестяные ручные гранаты, — детская безвредная игрушка, на которую однако саксонские демократы полагали большую надежду. Оружия и амуниции готовить было не нужно, ибо вся Саксония, равно как и вся Германия, была вооружена предшедшею революциею; а что необходимо было приготовить, это— план для возмущения, план для целой Саксонии, равно как и для каждого города в особенности; должно было избрать людей для предводительства, установить революционерную иерархию;

условиться в первых шагах, в первых мерах предполагаемой революции; должно было перенести революционерную пропаганду из городов в села, уговорить мужиков принять участие в движении, для того чтобы революция была общенародною, сильною, а не уединенно-городскою, легкопобеждаемою[234].

Ничего подобного не было даже и в зачине, все приуготовления ограничились пустяками. Одним словом саксонские демократы сделали довольно для того, чтобы быть осужденными потом как государственные преступники, но не сделали ничего для успеха самой революции. Можно бы было сказать то же самое и обо мне, с тою только разницею, что я был один, а их—много; у них были все средства, а у меня — никаких. Саксонская следственная комиссия долго искала следов заговора, плана, приготовлений к бунту и тайных связей саксонских демократов с прочими германскими демократами и, ничего не найдя, утешила наконец себя мыслью, что заговор существовал в самом деле и заговор страшный, с связями широкими, с планом глубоким, с средствами бесчисленными, но что бежавший Иекель[235], ничтожнейший между тремя весьма малоспособными членами саксонского Демократического Комитета, унес с собою в Лондон все его тайны и нити.

(Отчеркнуто карандашом на полях)

Я говорю "утешила себя" сею мыслью, ибо стыдно должно было быть немецким правительствам, что они так долго могли трепетать перед

немецкими демократами. Впрочем, так как все в мире относительно, то и немецкие демократы могли быть страшны немецким правительствам.

Но пора мне оставить сии общие рассуждения насчет жалкой революционерной деятельности немецких демократов и, возвратившись к себе самому, привести к окончанию (В оригинале описка “онкончанью”) свою не менее жалкую историю. Мне остается теперь немного прибавить.

Я показал, чем ограничились мои отношения с Дестером и Гекзамером, равно как и с лейпцигскими демократами; изъяснил, почему я с уверенностью ожидал и почему желал немецкой революции; прибавил сообразно с истиной, что сам я ни малейшим образом не вмешивался в немецкие дела. То, же самое должен я сказать и о своем пребывании в Дрездене до самого дня выбора Провизорного правительства. Я жил в Дрездене не для Саксонии и не для Германии, единственно только для Богемии, выбрал же его своим местопребыванием как ближайшее место к Праге.

Равно как и прежде в Лейпциге, я не посещал здесь ни клубов, ни демократических совещаний; скрывался напротив, не зная наверное, будет ли дрезденская полиция терпеть мое беспаспортное присутствие в Дрездене или нет. Виделся с немногими; знал многих демократов, но редко встречался с ними; демократа и депутата Чирнера[236], который по моему убеждению был главный, если не единственный, хоть и весьма жалкий приуготовитель саксонской революции, я видел два, много три раза, и не у него, также не у себя на квартире, а в общей демократической кнейпе, был знаком с ним очень поверхностно, даже разговаривал мало[237]. Единственные два немца, с которыми я имел в Дрездене положительные деловые отношения, были д-р Виттиг, редактор дрезденской демократической газеты, и вышеупомянутый демократический депутат Август Реккель. Первый был мне полезен во многих отношениях; редакция его журнала служила мне вместо конторы для моих пражских сношений; а самый журнал во всем, что касалось славянского вопроса, находился под моим исключительным влиянием. Еще ближе был я связан с демократом Реккелем; сей много способствовал к пропаганде в немецкой Богемии посредством своих связей с пограничными саксонскими демократами; искал для меня денег, когда деньги становились мне необходимы, и, как я уж выше заметил, продал даже свою мебель, для того чтобы доставить мне возможность содержать братьев Страка, т. е. мою единственную надежду на революцию, в Праге. Я не скрывал от него своих предприятий, равно как и он ничего не скрывал от меня; но я в его немецкие дела и связи не вмешивался, а когда нужно было, пользовался сими последними для своих целей. Между немецкими демократами, с которыми я был хорошо знаком, не имея с ними никаких положительных, деловых отношений, находился один д-р Эрбе, альтенбургский демократ, депутат и изгнанник, потом же избранный не помню каким саксонским городом во Франкфуртский парламент; я упоминаю об нем потому, что знакомство с ним было поводом к тому единственному и случайному соприкосновению с баденскими демократами, о котором я намекал выше. Кажется, что Эрбе, приехав во Франкфурт, принял деятельное участие в южно-германском движении, и мне сказали, что он удалился потом в Америку. Несколько дней перед дрезденским возмущением явился ко мне приятель Эрбе, также франкфуртский депутат (Шлюттер), приехавший в Дрезден вероятно и за другими, впрочем мне неизвестными, делами. Он просил меня от имени Эрбе, а также и от имени всех баденских демократов, которые мне через него кланялись, просил рекомендательного письма в Париж к польской Централизации: они нуждались в польских офицерах. Я свел его с Гельтманом и Крыжановским и был таким образом косвенною причиною появления генерала Шнайде[238] и других поляков в Баденском герцогстве[239].

Тут увидел я, как сильно было несогласие между северными и южными демократами, и как ничтожно влияние Центрального демократического комитета на последних. Дестер, приехавший в этот самый день в Дрезден, встретил у меня франкфуртского приятеля Эрбе; разговаривали много о предстоящем баденском, и вообще южно-германском движении; и Дестер сказал, что он желает, чтобы все

демократические члены насильственно распущенных немецких парламентов собрались во Франкфурт, для того чтобы вместе с франкфуртскими демократами составить новый демократический германский парламент; приятель Эрбе ответил на сие, что франкфуртские и вообще южно-германские демократы просят господ северных демократов не вмешиваться в их дела и не приезжать к ним, а сидеть дома да заботиться об ускорении революции на севере. Из этого произошел спор, потом ссора, которую здесь рассказывать было бы не у места.

С приближением мая революционерные предзнаменования становились день ото дня яснее и значительнее в целой Германии. Франкфуртский парламент, склонившийся под конец своего существования на сторону демократов, находился уже в явной коллизии с правительствами. Германская конституция была наконец состряпана; некоторые правительства признали ее, как наприм [ер] Вюртембергское, но признали против воли, устрашенные явною угрозой бунта. Прусский король отверг предложенную ему корону; саксонское правительство колебалось. Многие надеялись, что оно покорится необходимости, и что дело обойдется без шума. Другие предвидели коллизию, я принадлежал к числу сих последних и, быв убежден в близости всеобщей германской революции, поощрял письмами братьев Страка усилить деятельность, ускорить приуготовления и приступить к последним, решительным мерам[240]. Но я не мог им послать ни денег и никакой другой помощи кроме советов и поощрений; посылал им по нескольку талеров, отнимая у себя последние средства, так что в это время я не издерживал на себя более пяти-шести зильбергрошей в день. Не было денег, не было и польских офицеров, не было и возможности пошевелиться; я ждал всякий день графа Телеки, ждал также, что меня позовут скоро в Прагу[241], не знал, что делать, как оборотиться, находился одним словом в самом затруднительном положении.

Наконец саксонский демократический парламент был распущен. Это был первый шаг к реакции в Саксонии; так что и те, которые прежде сомневались, стали теперь думать о возможности саксонской революции, которая однако казалась всем еще так отдаленна, что Реккель, опасавшийся преследований, решился удалиться на некоторое время из Дрездена. Я уговорил его ехать в Прагу; дал ему записку к Арнольду и к Сабине, а также и к братьям Страка и поручил ему по возможности ускорить приуготовления к пражскому восстанию[242]. С кем и как он там действовал и вообще, что делалось в Праге по его отъезде из Дрездена, было мне до самого конца неизвестно, и только от австрийской комиссии узнал я потом некоторые обстоятельства[243]. В день его отъезда и еще в его присутствии пришел ко мне убежденный на то моим приятелем и сотрудником Оттендорфером д-р Циммер[244], бывший член распущенного австрийского парламента, ревностный демократ, один из влиятельнейших предводителей немецкой партии в Богемии, а также бывший перед тем и одним из самых отъявленных врагов чешской национальности; после долгого и горячего спора мне удалось перевести его на свою сторону; он простился со мной, обещая ехать немедленно в Прагу и содействовать там к соединению немцев с чехами для революции. Все сии обстоятельства, открытые также не мною, а самим доктором Циммером, подробно изложены в австрийских обвинительных актах. Посылка Реккеля и доктора Циммера были моими последними действиями касательно Богемии.

Я сказал все, государь, и, сколько ни думаю, не нахожу ни одного несколько важного обстоятельства, которое было бы мною здесь пропущено[245]. Теперь мне остается только изъяснить Вам, каким образом, оставаясь доселе чуждым всем немецким делам и ожидая быть призванным каждый день в Прагу, я мог принять участие и еще такое деятельное в дрезденском возмущении.

На другой же день по отъезде Реккеля, т. е. по распущении парламента, начались в Дрездене беспорядки: они продолжались несколько дней, не принимая еще решительного характера, но были уже такого рода, что не могли иначе кончиться как революциею или совершенною реакциею[246]. Революции я не боялся, но боялся реакции, которая необходимо кончилась бы арестом всех

беспаспортных политических беглецов и революционерных волонтеров, в числе которых я занимал не последнее место. Я долго не знал, что делать, долго ни на что не решался: оставаться казалось опасно, но бежать было стыдно, решительно невозможно. Я был главным и единственным зачинщиком пражского, как немецкого, так и чешского заговора, послал братьев Страка в Прагу и подверг в оной многих явной опасности, поэтому не имел права сам избегать опасности. Мне оставалось еще одно средство: удалиться в окрестность и ждать вблизи от Дрездена, чтобы движение приняло более решительный, революционерный характер; но на это были нужны деньги, а у меня, я думаю, не было более двух талеров в кармане. Дрезден же был центр моей корреспонденции; я ждал графа Телеки, ежеминутно мог быть позван в Прагу; я решил остаться и уговорил к тому Крыжановского и Гельтмана, которые было уж совсем собрались уехать. Оставшись же раз, я ни по положению, ни по характеру не мог быть равнодушным и бездейственным зрителем дрезденских происшествий. Воздержался однако от всякого участия до самого дня выбора Провизорного правительства[247].

Я не буду входить в подробности дрезденского возмущения; оно вам, государь, известно и без сомнения известнее во всех объемах, чем мне.

К тому же все обстоятельства, касающиеся также и до меня, подробно изочтены в актах саксонской следственной комиссии. По моему мнению движение было сначала произведено спокойными гражданами, бюргерами, видевшими в нем сперва одну из тех *невинных и законных* парадных демонстраций, которые так уже в это время вошли в германские нравы, что никого более не пугали и не удивляли. Когда же они заметили, что движение становится революциею, они отступили и уступили место демократам, говоря, что когда они клялись “mit Gut und Blut fьr die neu errungene Freiheit zu stehen!” (“Не жалеть для защиты вновь завоеванной свободы ни (имущества, ни крови”), они разумели мирную, бескровную и безопасную протестацию, а не революцию. Революция была сначала конституционная, потом же сделалась демократическою. В Провизорное правительство были избраны два представителя монархическо-конституционной партии, Гейбнер и Тодт (последний был несколько дней перед тем правительственным комиссаром, распустившим парламент от имени короля) и только один демократ Чирнер[248]. Я знал Тодта еще со времени моего самого первого пребывания в Дрездене, потом видел его мимоходом во Франкфурте весною 1848-го года; в Дрездене же встретил опять не прежде дня выбора в Провизорное правительство. Депутата Гейбнера [я] совсем не знал, а чем ограничивались до того мои отношения, мое знакомство с Чирнером, я сказал уже выше.

Когда было собрано Провизорное правительство, я стал надеяться на успех революции. И в самом деле обстоятельства были в тот день самые благоприятные: народа много, а войск мало. Большая часть саксонского и без того не весьма многочисленного войска воевала тогда за германскую свободу и единство в Schleswig-Holstein “stammverwandt und meerumschlungen” (Шлезвиг-Голштейн, “соплеменной и объятой морем”); в Дрездене оставалось, я думаю, не более двух или трех батальонов; прусские войска еще не успели придти на помощь, и ничего не было легче как овладеть всем Дрезденом. Овладев же им и опираясь на Саксонию, которая вся поднялась и поднялась довольно единодушно, только без всякого порядка и плана[248a]; опираясь также на движение прочей Германии, можно бы было поспорить и с прусскими войсками, которые, равно как и саксонцы, не показали великой храбрости в Дрездене; они употребили целых пять дней на дело, которое войсками более решительными могло бы быть покончено в один день, а может быть и скорее; ибо хотя в Дрездене было и много вооруженных демократов, но все были парализирозаны беспутным революционерным начальством.

В день выбора Провизорного правительства деятельность моя ограничилась советами[249]. Это было, кажется, 4 мая по новому стилю. Саксонские войска парламентировали, я советовал Чирнеру (Так Бакунин пишет фамилию Тширнер) не давать себя в обман, ибо явно было, что правительство хотело только

выиграть время, ожидая прусскую помощь. Советовал Чирнеру прекратить пустые переговоры, не терять времени, воспользоваться слабостью войск для того, чтобы овладеть целым Дрезденом; предлагал ему даже собрать знакомых мне поляков, которых было тогда много в Дрездене, и повести вместе с ним народ, требовавший оружия, на оружейную палату.

Целый день был потерян в переговорах; на другой день Чирнер вспомнил о моем совете и о моем предложении, но обстоятельства уже переменились; бюргеры разошлись по домам с своими ружьями, народ охладел; прибывших Freischaaren (Вольных стрелков, партизан) было еще немного, и, кажется, появились уже первые прусские батальоны [250]. Однако, уступив его просьбе, а еще более его обещаниям, я отыскал Гельтмана и Крыжановского и не без труда уговорил их принять вместе со мною участие в дрезденской революции, представляя им, какие выгодные последствия могли произойти из ее успешного хода для самой богемской, ожидаемой нами революции. Они согласились и привели с собой в ратушу, где заседало Провизорное правительство, еще одного впрочем мне незнакомого польского офицера (Голембиовский (из Галиции).

Мы заключили тогда с Чирнером род контракта; он объявил нам во-первых, что если революция пойдет успешно, то он не удовлетворится одним признанием Франкфуртского парламента и франкфуртской конституции, а провозгласит демократическую республику; во-вторых обязался быть нам помощником и верным союзником во всех наших славянских предприятиях; обещал нам денег, оружия, одним словом все, что будет потребно для богемской революции. Просил только не говорить ни о чем Тодту и Гейбнеру, которых называл предателями и реакционерами.

Таким образом мы поселились (Гельтман, Крыжановский, вышеупомянутый польский офицер и я) в комнате Провизорного Правительства за ширмами[251]. Наше положение было престранное: мы составляли род штаба возле Провизорного правительства, которое исполняло беспрекословно все наши требования: но независимо от нас и независимо даже от самого Провизорного правительства действовал и командовал революционерным ополчением обер-лейтенант Гейнце, занявший место начальника национальной гвардии. Он смотрел на нас с явным недоброжелательством, почти с ненавистью, и не только что не исполнил ни одного из наших требований, переходивших ему в виде повелений Провизорного правительства, но действовал нам наперекор, так что все наши старания были напрасны. В продолжение целых суток мы ничего более не требовали, как только пятисот, даже трехсот человек, которых сами хотели вести на оружейную палату, и не могли даже собрать пятидесяти человек, не потому, что их не было, но потому, что Гейнце не допускал к нам никого и разбрасывал всех по целому Дрездену, лишь только прибывали свежие силы[252]. Я был тогда уверен и теперь еще убежден, что Гейнце действовал как изменник, и не понимаю, как он мог быть осужден как государственный преступник. Он способствовал к победе войск гораздо более, чем сами войска, которые, как я уже рассказал, действовали очень-очень робко [253].

На другой день, кажется 6-го мая, мои поляки да и Чирнер с ними исчезли. Это случилось таким образом.

Гейбнер, — я не могу вспомнить об этом человеке без особенной грусти! Я его прежде не знал, но успел узнать в продолжение сих немногих дней: в подобных обстоятельствах люди скоро узнают друг друга. Я редко знал человека чище, благороднее, честнее его; он ни природою, ни направлением, ня понятиями своими не был призван к революционерной деятельности; был нрава мирного, кроткого; только что женился и был страстно влюблен в свою жену и чувствовал в себе гораздо более склонность писать ей сентиментальные стихи, чем занимать место в революционерном правительстве, в которое он, равно как и Тодт, попал как кур во щи. Попал же он в него виною своих конституционных приятелей, которые, пользуясь его самоотвержением и желая парализировать демократические замыслы Чирнера, избрали его. Он же видел в сей революции законную, святую войну за германское единство, которого был пламенным и несколько мечтательным обожателем;

думал, что не имеет права отказаться от опасного поста, и согласился. Согласившись же раз, он захотел честно и до конца выдержать свою роль и принес в самом деле величайшую жертву тому, что он считал правым и истинным[254]. Я не скажу ни слова о Тодте; он был с самого начала деморализирозан противоречием между своим вчерашним и сегодняшним положением и спасался бегством несколько раз. Но должен сказать слово о Чирнере. Чирнер был всеми признанный (В оригинале "признанная") глава демократической партии в Саксонии; был зачинщик, приуготовитель и предводитель революции — и бежал при первой грозящей опасности, бежал испуганный еще к тому неверным, пустым слухом, одним словом показал себя перед всеми, друзьями и врагами, как трус и подлец. Он потом опять явился; но мне было стыдно говорить даже с ним, и я обращался с тех пор более к Гейбнеру, которого полюбил и стал почитать от всей души. Поляки также исчезли; они вероятно думали, что должны сохранить себя для польского отечества. С тех пор я не видался более ни с одним поляком. Это было мое последнее прощание с польскою национальностью[255].

Но я прервал свой рассказ; итак Гейбнер и я пошли на баррикады, отчасти чтоб ободрить дерущихся, отчасти же для того чтобы хоть несколько узнать положение дел, о котором в комнате Провизорного правительства никто не имел ни малейшего известия[256]. Когда мы возвратились, нам оказали, что Чирнер и поляки, испуганные ложною тревогою, почли за нужное удалиться, и советовали нам сделать то же самое[257]. Гейбнер решился остаться, я - также; потом возвратился и Чирнер, потом и Тодт, но последний пробыл недолго, и опять скрылся.

(Отчеркнуто карандашом на полях)

Я остался не потому, чтобы надеялся на успех. Все было так испорчено господами Чирне[ром] и Гейнце, что только чудо могло спасти демократов; не было возможности восстановить порядка, все было до такой степени перемешано, что никто не знал, ни что делать, ни куда ни к кому обратиться. Я ожидал поражения, и остался отчасти потому, что я не мог решиться оставить бедного Гейбнера, который сидел тут как агнец, приведенный на заклание; но еще более потому, что как русский более всех других подвергался подлым подозрениям и, не раз оклеветанный, я считал себя обязанным, равно как и Гейбнер, выдержать до Конца.

Я не могу, государь, отдать Вам подробного отчета в трех или четырех днях, проведенных мною в Дрездене после бегства поляков. Я хлопотал много, давал советы, давал приказания, составлял почти один все Провизорное правительство, делал одним словом все, что мог, чтобы спасти погубленную и видимо погибавшую революцию; не спал, не ел, не пил, даже не курил, сбился со всех сил и не мог отлучиться ни на минуту из комнаты правительства, опасаясь, что Чирнер опять убежит и оставит моего Гейбнера одного.

Собирал несколько раз начальников баррикад, старался восстановить порядок, собрать силу для наступательных действий; но Гейнце разрушал все мои меры в зародыше, так что вся моя напряженная, лихорадочная деятельность была всуе. Некоторые из коммунистических предводителей баррикад вздумали было жечь Дрезден и сожгли уже несколько домов. Я никогда не давал к тому приказаний: впрочем согласился бы и на то, если бы только думал, что пожарами можно спасти саксонскую революцию. Я никогда не мог понять, чтобы о домах и о неодушевленных вещах следовало жалеть более, чем о людях.

Саксонские, равно как и прусские солдаты тешились и стреляли в цель на безвинных женщин, выглядывавших из окон, и никто тому не удивлялся; а когда демократы стали жечь дома для своей собственной обороны, все закричали о варварстве. А надо сказать,

что добрые, нравственные, образованные немецкие солдаты покачали в Дрездене несравненно более варварства, чем демократы. Я сам был свидетелем того негодования, с которым все демократы, простые люди, бросились на одного вздумавшего было ругаться над ранеными прусскими солдатами. Но горе было тому демократу, который попадался в руки солдат! Господа офицеры сами редко показывались, берегли себя с величайшею нежностью, а солдатам приказывали не делать пленных, так что перебили, перекололи и перестреляли в завоеванных домах многих и не думавших даже мешаться в революцию: так был заколот вместе с своим камердинером один молодой Fьrst (Князь), чуть ли еще не родственник одного из небольших германских потентатов, приехавший в Дрезден для того, чтобы лечить свои глаза (Это был принц Шварцбург-Рудольштадтский.)

Я узнал сии обстоятельства не от демократов, но из самого верного источника, а именно от унтер-офицеров, участвовавших деятельным образом в дрезденских событиях, потом же приставленных за моим присмотром. Я находился с некоторыми из них в большой приязни и узнал в крепости Кенигштейн от них многое, что нимало не доказывает ни человеколюбия, ни храбрости, ни ума господ саксонских и прусских офицеров. Но возвращусь к своему рассказу.

Я пожаров не приказывал, но не позволял также, чтобы под предлогом угашения пожаров предали город войскам; когда же стало явно, что в Дрездене уже более держаться нельзя, я предложил Провизорному правительству взорвать себя вместе с ратушею на воздух, на это у меня было пороху довольно; но они не захотели[258]. Чирнер опять бежал, и с тех пор я более не виделся с ним. Гейбнер и я, разослав повсюду приказания ко всеобщему отступлению, выждали еще некоторое время, пока приказания наши были исполнены, потом удалились со всем ополчением, взяв с собою весь порох, всю готовую аммуницию и наших раненых[259]. Я до сих пор не понимаю, как нам удалось, как нас допустили совершить не бегство, но правильное, порядочное отступление, в то время как было так легко уничтожить нас в прах на чистом поле. Я мог бы подумать, что человеколюбие остановило начальников войск, если бы после того, что видел и слышал перед моим заключением и после, мог верить в их человеколюбие; и объясняю сие обстоятельство опять тем же, что в мире все относительно, и что немецкие войска, равно как и немецкие правительства, созданы для борьбы с немецкими демократами.

Однако, хотя ретирада наша была совершена довольно порядочно, войско наше было совсем деморализировано. Прийдя в Фрейберг и желая продолжать войну на границе Богемии, — я все еще надеялся на богемское возмущение, — мы старались ободрить его, установить в нем новый порядок; но не было возможности; все были утомлены, измучены, без всякой веры на успех; да и мы сами держались кое-как, последним усилием, последним болезненным напряжением[260]. В Хемнице вместо ожидаемой помощи мы нашли предательство; реакционерные граждане схватили нас ночью в кроватях и повезли в Альтенбург, для того чтобы предать прусскому войску. Саксонская следственная комиссия удивлялась потом, как я дал себя взять, как не сделал попытки для своего освобождения. И в самом деле можно было вырваться из рук бюргеров; но я был изнеможен, истощен не только телесно, но еще более нравственно и был совершенно равнодушен к тому, что со мною будет[261]. Уничтожил только на дороге свою карманную книгу, а сам надеялся, что по примеру Роберта Блюма[262] в Вене меня через несколько дней расстреляют, и боялся только одного: быть преданным в руки русского правительства. Надежда моя не сбылась, судьба сулила мне жребий другой.

Таким образом окончилась жизнь моя, пустая, бесполезная и преступная; и мне остается только благодарить бога, что он остановил меня еще во-время на широкой дороге ко всем преступлениям.

Исповедь моя кончена, государь! Она облегчила мою душу. Я старался сложить в нее все грехи и не позабыть ничего существенного; если же что позабыл, так ненарочно. Все же, что в показаниях, обвинениях, доносах против меня будет противно мною здесь сказанному, — решительно ложно или ошибочно или клеветливо[263].

Теперь же обращаюсь опять к своему государю и, припадая к стопам Вашего императорского величества, молю Вас:

Государь! я —преступник великий и не заслуживающий помилования! Я это знаю, я если бы мне была суждена смертная казнь, я принял бы ее как наказание достойное, принял бы почти с радостью: она избавила бы меня от существования несносного и нестерпимого. Но граф Орлов сказал мне от имени Вашего императорского величества, что смертная казнь не существует в России. Молю же Вас, государь, если по законам возможно и если просьба преступника может тронуть сердце Вашего императорского величества, государь, не велите мне гнить в вечном крепостном заключении! Не наказывайте меня за немецкие грехи немецким наказанием[264]. Пусть каторжная работа самая тяжкая будет моим жребием, я приму ее с благодарностью, как милость, чем тяжело работа, тем легче я в ней позабудусь! В уединённом же заключении все помнишь и помнишь без пользы; и мысль и память становятся невыразимым мучением, и живешь долго, живешь против воли и, никогда не умирая, всякий день умираешь в бездействии и в тоске. Нигде не было мне так хорошо, ни в крепости Кенигштейн, ни в Австрии, как здесь в Петропавловской крепости, и дай бог всякому свободному человеку найти такого доброго, такого человеколюбивого начальника, какого я нашел здесь, к своему величайшему счастью[265]! И несмотря на то, если-бы мне дали выбрать, мне кажется, что я вечному заключению в крепости предпочел бы не только смерть, но даже телесное наказание.

Другая же просьба, государь! Позвольте мне один и в последний раз увидеться и проститься с семейством[266]; если не со всем, то по крайней мере со старым отцом, с матерью и с одною любимою сестрою, про которую я даже не знаю, жива ли она (Татьяна Александровна).

Окажите мне сии две величайшие милости, всемилостивейший государь, и я благословлю проведение, освободившее меня из рук немцев, для того чтобы предать меня в отеческие руки Вашего императорского величества.

Потеряв право называть себя верноподданным Вашего императорского величества, подписываюсь от искреннего сердца

Кающийся грешник

Михаил Бакунин [267].

КОМЕНТАРИИ

1 Итак по заявлению самого Бакунина царь требовал от него не просто записки о немецких и славянских делах, а полной исповеди всех его прегрешений, т. е. так называемого откровенного и чистосердечного рассказа обо всех планах, предприятиях, связях и пр. Это впрочем подтверждается и самим содержанием Исповеди, как мы сейчас увидим. Дальше Бакунин снова ссылается на свой разговор с Орловым, когда передает слова последнего, что русскому правительству было донесено, будто Бакунин рассказывал за границею о своих сношениях "с Россиею, особенно с Малороссиею" (это кстати показывает, каких сообщений ждал Николай от твоего пленника). Отсюда ясно, что Орлов указал Бакунину, о чем надо писать, что занимает царя и т. п. Что таким образом Бакунину были поставлены устные вопросы, это очевидно. Но весьма .вероятно, что ему были поставлены и письменные вопросы, список которых лежал перед ним, когда он в тюремной камере писал свою "Исповедь". Возможно, что ему предъявлялись и различные документы в качестве улик или с требованием по ним объяснений. В нескольких местах Бакунин прямо говорит об этих "обвинительных документах", к которым он относит свои выступления на собраниях и в печати, статьи, брошюры и т. п. Конечно эти места можно толковать и так, что он просто знал о наличии этих документов в своем "Деле". Но откуда же узник равелина, содержавшийся в строжайшем секрета, мог знать о содержании своего "Дела", если ему его не показывали или по крайней мере о нем не говорили?

Что Бакунину приходилось отвечать, на определенные вопросы, видно из отдельных выражений, попадающихся в "Исповеди", как например: "Но прежде я должен отвечать на вопрос"... или "Я должен сначала сказать, что я хотел: потом стану описывать сама действия", т. е. не только указывались вопросы, на которые нужно было отвечать, но и устанавливался порядок, в каком надлежало давать ответы. При этом Бакунину было указано, что ответы должны быть исчерпывающими и не оставлять ни одного пункта неосвещенным. Это видно из следующих слов его в последней части "Исповеди": "Я сказал все, государь, и сколько ни думаю, не нахожу ни одного несколько важного обстоятельства, которое было бы мною здесь

пропущено" и дальше: "Я старался... не позабыть ничего существенного; если же что позабыл, так ненарочно". Ясно, что список вопросов был.

Что среди них были и вопросы о германских и славянских делах, в этом нет сомнения. Ответы на эти вопросы интересовали Николая не

только с точки зрения определения вины и преступности Бакунина, но и с точки зрения возможного использования их для внешней политики самодержавия. Наличие таких вопросов явствует из слов самого Бакунина, котооый говорит, что должен отвечать на вопрос о событиях в Германии и Богемии, о своем к ним отношении, о своих замыслах, о средствах для осуществления этих замыслов, о своих связях и действиях в Чехии, Саксонии и пр. Специальный вопрос был о дрезденском восстании, относительно которого требовался "подробный отчет", и роли в нем Бакунина, равно как о тайных обществах, в которых он в разное время участвовал в Париже, Германии, Чехии и т. д. Был особый вопрос о сношениях с венграми, которые в то время особенно интересовали Николая, ибо их революция чуть было не занесла искру революционного пожара в саму царскую империю. Был наконец вопрос о связях Бакунина с поляками, вопрос, который наиболее тревожил николаевских жандармов, и по поводу которого Бакунину пришлось давать особенно подробные объяснения, весьма далекие от полноты, "искренности" и "чистосердечия".

Но главные вопросы все-же касались отношения Бакунина к русским оппозиционным течениям, к русским революционным замыслам и предприятиям. Ему предлагалось яснее определить свое положение в момент отъезда из Парижа на русскую границу, указать свои знакомства и связи с русскими в Париже и других местах; в частности ставился вопрос о существовании между ними общества. В особенности следователи интересовались вопросом о том, как он "разумел" "революционерную пропаганду в России", и относительно "русской пропаганды" требовалось от него сообщение всех подробностей. Три относящиеся к этой теме вопроса Бакуниным формулируются так, что ясна их принадлежность Орлову, сиречь Николаю, а именно: первый вопрос: почему он желал революции в России?; второй вопрос: какого порядка вещей желал он на место существующего порядка?; и третий вопрос: какими средствами и какими путями думал он начать революцию

в России?

Этими вопросами и определялось в значительной, если не в главной

мере содержание "Иоповеди".

2 В цитированном письме к Герцену от 8 декабря 1860 года Бакунин писал: "Письмо мое, расчитанное во-первых на ясность моего по-видимому безвыходного положения, с другой же — на энергический нрав Николая, было написано очень твердо и смело — и именно потому ему очень понравилось. За что я ему действительно благодарен, это что он по получении его ни о чем более меня не допрашивал".

3 Бакунин был произведен в офицеры в январе 1833 года, в возрасте 18 лет. Любовь, о которой он здесь говорит, вероятно была тем увлечением его кузиною Марией Воейковой, о котором он сообщал сестрам в письмах, относящихся к 1833 году и напечатанных в томе I настоящего издания. Но это увлечение у Бакунина скоро прошло, и в начале 1834 года он уже вспоминал о своем былом увлечении иронически. Вряд-ли оно было причиною его неуспеха и отправки в "маленький гарнизон". Ведь в училище он пробыл еще год после производства в офицеры. Основанная на семейных и товарищеских рассказах легенда о каком-то столкновении Бакунина с тогдашним главным начальником артиллерийского училища ген. И. О.

Сухозанетом, в результате какового за непочтительный ответ начальнику Бакунин был до окончания офицерских классов переведен в одну из армейских артиллерийских бригад, квартировавших в Западном крае, не находит подтверждения в показаниях других источников, в том числе и самого Бакунина.

4 Весною 1834 года Бакунин был уже в Литве; жил он там в Моло-дечно, Картуз-Березке, Вильне к пр. В июне 1834 он ездил в гости к родным в Прямухино, а в июле возвратился в свой маленький гарнизон; в конце января 1835 г. он еще находился там, как об этом свидетельствует письмо его к Сергею Муравьеву (напечатанное в томе I настоящего издания). Но в апреле того же 1835 года мы видим его снова дома, в Тверской губернии, откуда он обратно в батарею уже не возвращается.

18 октября 1835 года прапорщик Бакунин был уволен от службы "по собственному желанию" — вопреки воле отца, который полагал, что сыновья его, как люди небогатые, должны будут обеспечить себе сытую жизнь службою. Как дворянин он естественно предпочитал военную службу, но на худой конец готов был примириться и со штатской.

5 Бакунин выехал из Петербурга 29 июня 1840 г., а из Кронштадта 30 июня (ст. ст.). 5/17 июля он ступил в Травемюнде на немецкую почву, а 13/25 июля был в Берлине. В конце 1841 года мы видим его уже в Дрездене, куда он окончательно перебирается в начале 1842 года. Таким образом указание его на полуторагодичную учебу в Берлинском университете довольно точно. Довольно точно и его сообщение о слабости в нем политических интересов в это время: его самого и его окружение, в том числе И. С. Тургенева, тогда тоже берлинского студента и приятеля Бакунина, больше интересовали вопросы философские, эстетические, литературные и т. п. Но в деталях его характеристика своего тогдашнего настроения не совсем верна; в частности неверно его сообщение о том, что он в то время не читал газет: оно опровергается его же собственными письмами, напечатанными в томе II настоящего издания, например письмом от 28 августа — 9 сентября 1840 г.; в этом письме, написанном вскоре по поезде его в Берлин, говорится, что он ежедневно ходит в кондитерскую и читает там газеты. Но верно, что в тот момент газеты влекли его в первую голову не политическими событиями, и во всяком случае за политическою хроникою он следил тогда без особого интереса и волнения.

6 Фридрих-Вильгельм IV (1795—1861)—прусский король, вступил на престол в 1840 году, когда несмотря на торжество реакции в Германии начиналось движение либеральной буржуазии к политической свободе и объединению разрозненного отечества. Всемерно сопротивлялся этому движению, но, принужденный скрывать свои истинные стремления реакционного помещика, добивался репутации человека с либеральными тенденциями. Несмотря на все усилия монархии, сдержать нараставшую революцию не удалось. После того как к оппозиционному движению примкнули часть крестьянства и передовая часть пролетариата, революция разразилась в 1848 году. Вынужденная к уступкам прусская монархия скоро взяла их обратно и даже помогла подавить революционное движение в соседних немецких государствах (Саксонии, Бадене и т. п.). Будучи давно неуравновешенным человеком, Фридрих-Вильгельм IV в 1857 г. окончательно помешался, после чего фактическая власть перешла к его брату Вильгельму, позже германскому императору Вильгельму I.

7 В Дрездене Бакунин завел множество знакомств среди саксонских демократов через посредство А. Руге, в то время весьма популярного в демократических кругах. Так он познакомился здесь с Кехли, Л. Витти-гом, О. Вигандом, Тодтом и многими другими. Некоторые из этих знакомств пригодились ему впоследствии, особенно в 1848—1849 годах.

Своих связей с дрезденскими демократическими и либеральными кругами Бакунин и проживавший с ним в конце 1842 рода в Дрездене брат Павел не скрывали: так имена их стоят

в списке членов-учредителей дрезденского литературного общества, которое в качестве центра дрезденской либеральной интеллигенции привлекало к себе внимание местной полиции. Вольное поведение Бакунина на дрезденской променаде описано в воспоминаниях А. Руге. Неудивительно, что братья Бакунины уже тогда обратили на себя внимание полиции: так Б. Николаевский в статье "Бакунин эпохи его первой эмиграции в воспоминаниях немцев-современников" ("Каторга и Ссылка" 1930, № 8/9, стр. 114) приводит выдержку из книги Karl Glossy "Literarische Geheimberichte aus dem Vormdrz" (Вена 1912, стр. 344), из которой видно, что агенты австрийской полиции в своем рапорте из Дрездена от 30 октября 1842 года аттестовали братьев Бакуниных как "ярых либералов". А. Ф. Кюрнбергер в своей цитированной выше статье сообщает — повидимому со слов Бакунина — о предупреждении, полученном в то время братьями от русского посла (вероятно при саксонском дворе), который рекомендовал им во избежание неприятностей воздержаться от общения с оппозиционными элементами. Таким образом не исключена возможность того, что в поле зрения российской полиции Бакунин попал уже с конца 1842 года. Это могло послужить одною из причин, натолкнувших его на мысль об эмиграции.

8 Об авторстве Бакунина скоро стало известно литературным, а затем и полицейским кругам; далее это дошло до сведения российских дипломатических представителей в Германии, а от них до русских жандармов и царя (см. комментарий к тому III). Но Бакунин ошибался, когда приписывал запрещение журнала Руге помещению им статьи Жюля Элизара. Правда это запрещение произошло вскоре после появления этой статьи; возможно даже, что появление ее не осталось без некоторого влияния на судьбу журнала. Но у последнего на взгляд прусского правительства и послушного ему правительства саксонского было достаточно и иных грехов, чтобы подвергнуться указанной участи.

9 Осенью 1842 года Г, Гервег, уже известный как революционный поэт и радикальный демократ, предпринял поездку в Германию для вербовки сотрудников в журнал "Немецкий Вестник из Швейцарии", который решено было превратить из выходившей дважды в неделю под редакцией Карла Фребеля (см. комментарий к тому 3) газеты в ежемесячник под редакциею Г. Гервега. Эта поездка превратилась в триумфальное шествие. Гервег посетил Кельн, где познакомился и сдру-жился с К..-Марксом, затем двинулся в Дрезден к А. Руге, где познакомился и быстро сошелся с Бакуниным и И. Тургеневым, у которых поселился на квартире, оттуда поехал с Руге в Берлин, где у него установились нехорошие отношения с кружком "Свободных" (Бауеры, Мейен, Штирнер и пр.) вследствие его обручения с дочерью негоцианта Эммою Зигмунд и согласия на аудиенцию у короля Фридриха-Вильгельма IV, что безусловно было политическою бестактностью. После обмена лицемерными кисло-сладкими любезностями у короля Гервег направился в Кенигсберг, где узнал о том, что правительство этого якобы "либерального" монарха запретило проектировавшийся журнал. Тогда Гервег написал открытое письмо королю, которое попало в руки редактора "Лейпцигской всеобщей газеты" и было там опубликовано. Газета была закрыта, Гервег выслан из Пруссии, а цензурные гонения усилены. Когда Гервег, считая свое дальнейшее пребывание в Германии небезопас- ным, решил уехать обратно в Швейцарию, Бакунин последовал за ним. При этом им руководили мотивы двоякого рода: с одной стороны и он стал опасаться за свою безопасность, зная, что на него вследствие его связей уже обратила внимание немецкая полиция, а через нее и российские дипломатические агенты в Германии, а с другой—сильно ухудшившееся к этому моменту материальное его положение, в частности невозможность расплатиться с кредиторами и безнадежность дальнейших займов, заставляли его, как мы предполагаем, склоняться к мысли о перемене местожительства.

Во всяком случае было бы неверно утверждать, что "этот легкомысленный шаг", как называет Бакунин свое решение последовать в Швейцарию за Гервегом, во-первых был неожиданным, а

во-вторых сыграл решающую роль в его судьбе. Как мы уже знаем из материалов, напечатанных нами в томе III настоящего издания, особенно из писем к родным начиная с лета 1842 года и специально в письме от 9 октября 1842 года к брату Николаю, видно, что Бакунин и до того решил экспатриироваться и в Россию не возвращаться.

10 Т. е. выходцев из Германии. Бакунин обобщает здесь свой кратковременный цюрихский опыт. Он имеет в виду тот круг, в который попал по приезде в Цюрих, где литературная деятельность немецких уроженцев была в то время весьма оживленною вследствие цензурного гнета на родине. Фребели, Фоллены, Гервег и пр. в Цюрихе, Фохты в Берне были умственными центрами для немцев, попавших в Швейцарию. Кроме "Немецкого Вестника" им принадлежала еще цюрихская газета "Швейцарский Республиканец", в которой появилась статья Бакунина о коммунизме (см. том III настоящего издания). Но они издавали много и для самой Германии, отчасти используя для этого освобождение книг свыше 20 печатных листов от цензуры.

11 О братьях Фребель, Юлии и Карле, о братьях Ромерах, о Блюнчли см. комментарий к тому 3 настоящего издания.

Когда цюрихские реакционеры, стоявшие у власти, добились высылки Гервега из цюрихского кантона, правительство кантона Базель даровало ему право гражданства. Впрочем он вскоре после того уехал в Париж, где поселился после свадебного путешествия по Италии, Франции и Бельгии. Одно время Гервег увлекался коммунизмом и сближался с немецкими ремесленниками в Швейцарии: через него Бакунин и познакомился с В. Вейтлингом. После провала мысли о превращении "Немецкого Вестника" в толстый журнал немецких радикалов Гервег вместе с Руге и Марксом задумали издавать в Париже "Немецко-французские Ежегодники". Вышла в 1844 году, как известно, только одна двойная книжка этого журнала, прекратившегося вследствие ссоры Маркса с Руге, имевшей в основе серьезные политические расхождения, но с личной стороны вызванной различным отношением их к Гервегу, вольный образ жизни которого в Париже весьма резко порицался педантичным Руге.

12 Это утверждение в общем совершенно верно: ни тогда, ни до того ни позже Бакунин коммунистом не был. Нам известно только одно заяв-ление его, которое можно истолковать в смысле призвания своей солидарности с коммунистическими идеями (в письме к Р. Зольгеру от октября 1844 года, напечатанном в томе III настоящего издания). В рассматриваемое время он был демократом с весьма туманными политическими взглядами; позже в его мировоззрение проникают анархистские элементы, присущие впрочем всякому "крестьянскому социализму", а на позиции последнего Бакунин и стоял в расцвет своей политической деятельности, в конце 40-х годов и в 60—70-е годы. И во все эти периоды взгляды его окрашены были более или менее сильным налетом революционного панславизма (у него тоже одна из разновидностей крестьянского социализма).

13 Эти рассуждения о "гниении" Запада вообще не были присущи Бакунину, который в отличие от Герцена в этом пункте резко расходился с московскими славянофилами. В его речах и сочинениях мы подобных заявлений, столь обычных в произведениях Герцена, не встретим. В "Исповеди" же, где он лицемерит, где он приспособляется к миропониманию Николая I и к казенно-российской философии истории, он позволил себе такие рассуждения, над которыми в глубине души сам смеялся.

14 Вейтлинг был арестован в *Цюрихе* 8 июля 1843 года в связи с выходом печатного проспекта его подготовлявшейся к изданию книги "Евангелие бедного грешника". За богохульство и тайную коммунистическую пропаганду он был приговорен к 10 месяцам тюремного

заключения, а затем в мае 1844 г. выдан прусскому правительству, которое впрочем скоро отпустило его на свободу. Вейтлинг уехал в Лондон, затем в Брюссель и наконец, в Америку.

15 Зная, что в глазах Николая I сношения с поляками представляют особенно тяжкое преступление, Бакунин в тех местах своей "Исповеди", где ему приходится касаться этого щекотливого предмета, старается всячески смягчить свое изложение, затушевать и обойти компрометирующие факты и т. д. В данном случае он невидимому прямо говорит неправду. Как мы знаем по третьему тому настоящего издания, Бакунину предлагали в рассматриваемое время писать книгу о России, относительно же брошюры о Польше в то время вряд ли могла идти речь. Но чтобы он вообще не имел в тот период польских знакомых или не встречал поляков в Дрездене, в этом позволительно усомниться.

16 Бакунин уехал с А. Рейхелем из Швейцарии в Бельгию 9—10 февраля 1844 года, как видно из письма его к Луизе Фохт, напечатанного в томе III настоящего издания.

17 Воззвание к россиянам, выпущенное в 1832 году лелевелевским комитетом в Париже, предлагающее революционную солидарность русскому народу против царизма и содержащее некоторые принципы революционного панславизма, было для реакционного французского правительства только предлогом к расправе с польскою эмиграциею. Лелевелевский комитет был распущен, а членам его предложено оставить Париж и не подъезжать к нему ближе 50 километров. А после лионских апрельских волнений 1834 года полякам, подозреваемым в близости к французским революционерам, предложено было выехать из Франции. Этой участи подверглись Лелевель, Ворцель и другие.

18 Здесь Бакунин не совсем точен. Как теперь установлено, он побывал в Париже уже в марте 1844 года: об этом ясно говорится в письме Руге к Кехли из Парижа от 24 марта 1844 г. (письмо хранится в Институте Маркса, Энгельса и Ленина и пока не опубликовано). В этом письме рассказывается о собрании эмигрантов с французскими оппозиционерами, причем упоминается и Бакунин: "Вчера, мы, немцы, русские и французы, собрались совместно на обед, чтобы поближе рассмотреть и обсудить наши дела: русские Бакунин, Боткин, Толстой (rйfugiйs dйmocrates communistes), Маркс, Рибентроп, я и Бернайс, французы Леру, Луи Блан, Феликс Пиа и Шельхер. В общем мы прекрасно столковались". В этом письме все замечательно: и то, что трусливый обыватель В. П. Боткин попал в разряд революционных эмигрантов-коммунистов; и то, что в эту категорию попал Г. М. Толстой, о котором здесь несомненно говорится и которого тоже коммунистом назвать было трудно; и то, что коммунистом объявлен Бакунин, таковым не бывший (но слова, эти наводят на предположение, что втечение некоторого времени в 1844 году он так себя называл или таковым себя считал); и то, что сумели быстро столковаться люди столь различных направлений, как перечисленные в письме. Но особенно замечательна быстрота, с которою Бакунин сумел проникнуть в руководящие демократические круги того исторического периода (насколько нам известно, из названных французов он до того знал лишь П. Леру, которому писал или собирался писать еще в начале 1843 года; см. том III). Надо полагать, что в этом отношении ему оказал большую помощь А. Руге, который и ввел его в эти круги и в частности вероятно познакомил его с Марксом. Но помощь в этом отношении мог оказать ему и Г. Гервег. Так или иначе Бакунину повезло, и он очень быстро завязал много знакомств среди влиятельнейших политических деятелей того времени.

19 Речь идет о "Немецко-французских Ежегодниках", журнале, который должен был объединить немецких и французских демократов и послужить пунктом идейной концентрации для левого крыла немецкой демократии. После выхода единственного двойного номера журнал закрылся как по материальным причинам, так и вследствие политических разногласий,

вызванных расхождением пролетарского и мелкобуржуазного крыльев немецкого демократизма.

20 Здесь Бакунин путает два разные периода в жизни этого листка. "Форвертс" (Вперед) начал выходить в начале 1844 года в Париже; издавал его некий Генрих Бернштейн, литературный гешефтмахер, на субсидию известного композитора Д. Мейербера, весьма падкого на рекламу. В редакторы газетки, выходившей на немецком языке дважды в неделю, приглашен был бывший прусский офицер А. фон Борнштедт, впоследствии оказавшийся полицейским агентом, а в рассматриваемое время разыгрывавший за границею роль радикала и даже коммуниста. Вначале листок носил беспартийный и обывательский характер и даже поругивал радикалов, в частности враждебно встретил выход "Немецко-французских Ежегодников". Но когда, несмотря на это, газета была в Пруссии запрещена, Бернштейн решил придать ей прогрессивный характер в надежде таким путем доставить ей большее распространение.

В редакторы вместо отказавшегося Борнштедта приглашен был Бернайс, в сотрудники — Г. Гейне и т. п. В газете появились статьи Руге, Маркса и пр. Близко к редакции стоял и Бакунин, одно время проживавший даже в ее помещении (см. комментарий ж тому III). После появления в газете статьи по поводу покушения бургомистра Чеха на Фридриха-Вильгельма IV французское правительство по жалобе прусского приняло ряд репрессивных мар против "Форвертса" (в частности высылку Маркса), что привело к закрытию этой газеты. Самому Бернштейну удалось отделаться от высылки. Если верно, что Бакунин торжествовал по поводу высылки немцев, преимущественно Маркса (потому что пострадал главным образом он), то это показывает, насколько он уже тогда ненавидел Маркса. Впрочем надо полагать, что мы имеем здесь дело с одною из неискренних выходов Бакунина, направленных к снисканию благоволения Николая I.

21 Точный текст "Мнения государственного совета" по делу Бакунина опубликован В. Богучарским в "Голосе .минувшего" 1913, № 1, стр.. 182— 184. Приводим его оттуда.

"Государственный совет в департаменте гражданских и духовных дел, рассмотрев всеподданнейший доклад правительствующего сената 5 департамента об отставном прапорщике (у Богучарского напечатано: "отставке прапорщика", но это — явная ошибка. — *Ю С.)* Михаиле Бакунине и признавая его по обстоятельствам дела виновным в преступных за границею сношениях с обществом злонамеренных людей и в ослушании вызову правительства и высочайшей воле о возвращении в Россию, мнением положил: подсудимого сего согласно с приговором сената, лишив чина и дворянства, сослать, в случае явки в Россию, в Сибирь в каторжную работу, а затем и в остальной части дела об имении его утвердить заключение правительствующего сената. — Председатель Государственного Совета князь И. Васильчиков"
(Васильчиков, Илларион Васильевич, князь (1777—1847)—русский военный и государственный деятель. На военную службу поступил в 1792 г., а в 1801 г. был уже генерал-адъютантом. Участвовал в наполеоновских войнах 1807—1814. С 1817 по 1822 был командующим отдельного гвардейского корпуса. С 1823 член Гос. Совета, с 1838 председатель

Гос. Совета и Комитета министров. В 1839 возведен в княжеское достоинство.)

К этому "мнению" приложена "Краткая записка ко всеподданнейшему докладу правительствующего сената 5-го департамента 1-го отделения об отставном прапорщике Михаиле Бакунине, преданном суду по высочайшему повелению за невозвращение из-за границы вопреки высочайшей воле" следующего содержания:

"В октябре 1843 года генерал-адъютантом графом Бенкендорфом получено было сведшие что отправившийся в 1840 году по паспорту за границу сын помещика Тверской губернии отставной прапорщик Михаила Бакунин, находясь в Цюрихе, входил в сношение с обществом злонамеренных людей и по принятии швейцарским правительством к обнаружению замыслов сего общества [мер]

скрылся из Цюриха и переезжал из места в место под разными именами. Граф Бенкендорф, обязав отца упомянутого офицера, отставного коллежского советника Бакунина, чтобы он потребовал сына своего из-за границы и ни под каким предлогом не посылал к нему денег, доколе он не возвратится в Россию, отношением к вице-канцлеру графу Нессельроде просил об объявлении через наше посольство и миссию прапорщику Бакунину, чтобы он немедленно возвращался в Россию.

“На это вице-канцлер уведомил графа Бенкендорфа, что наш поверенный в делах [в] Швейцарии, коллежский советник Струве, лично объявил в Берне 25 января означенное приказание прапорщику Бакунину; но сей последний хотя и обещал представить паспорт свой для промена оного другим на возвращение в Россию, но, не исполнив сего, уехал из Берна в Германию (?) и письмом уведомил Струве, что он, Бакунин, по важным для него делам необходимо должен отправиться в Лондон.

“Граф Нессельроде вследствие сего сообщил посольству нашему в Лондоне, чтобы вразумить Бакунина, какой ответственности он подвергает себя неисполнением требований правительства, и подтвердить приказание возвратиться в Россию; после чего доставил к графу новое сведение, полученное из Цюриха, что Бакунин во время пребывания в Швейцарии был в связях со всеми главными лицами, злоумышляющими об изменении настоящего порядка вещей в государствах.

“Об обстоятельствах сих граф Бенкендорф всеподданнейше доводит до сведения государя императора, и как с одной стороны прапорщик Бакунин упорствует в исполнении приказаний правительства, а с другой — офицер сей обнаружил весьма вредные качества, то его величество высочайше повелеть соизволил: поступить с Бакуниным таким же образом, как в недавнем времени повелено поступить с дворянином Головиным, т. е. подвергнуть его ответственности по силе законов.

“Из формулярного списка подсудимого видно, что он - 28 лет, из дворян, за родителями его 500 душ крестьян в Тверской губернии, вступил в службу фейерверкером 1829 года декабря... (пропуск а оригинале) в Артиллерийское училище, переименован в юнкера 1830 апреля 30, в оном же училище по высочайшему приказу произведен по экзамену Прапорщиком 1833 января 22, высочайшим приказом 18 декабря 1835 года уволен от службы за болезнью.

“С.-Петербургский надворный уголовный суд мнением 27 апреля и палата уголовного суда решением 13-го июня 1844 года присудили Бакунина за вышеупомянутое преступление к лишению всех прав состояния и

ссылке в Сибирь в каторжную работу с тем, чтобы имение его было взято в секвестр.

“С решением сим, пропущенным губернским прокурором без протеста, согласился и с.-петербургский гражданский губернатор, представивший дело это в правительствующий сенат 21 июля.

“Правительствующий сенат обращал оный при указе от 14-го августе в уголовную палату для учинения подсудимому вновь вызова к суду; но 16-го октября объявлено было исправляющим должность товарища министра юстиции высочайшее повеление о том, что государь император, принимая в соображение, что после безуспешности сделанных Бакунину высочайшим именем письменных вызовов через посредство посольства и словесных внушений об ответственности, которой он должен подвергнуться за преслушание, новый вызов послужил бы токмо к напрасному промедлению дела, высочайше повелеть изволил: ныне же приступить к рассмотрению дела о Бакунине для поступления с виновным по законам, не делая новых вызовов, а правительствующему сенату заметить неосновательность его действий по сему делу, в котором, если бы было сомнение, то следовало испросить высочайшее его императорского величества разрешение.

“По выслушании сего предложения 18 октября сенат принял высочайшее замечание к исполнению в подобных случаях, паче чаяния впредь встречаться могущих, а вместе с тем предписал 19 числа с.-

петербургской уголовной палате о немедленном представлении дела о Бакунине на его рассмотрение, прекратив всякое по оному производство.

“А 26 октября уголовная палата, истребовав настоящее дело из надворного уголовного суда, представила оное в правительствующий сенат.

“Правительствующий сенат, рассмотрев это дело 26 октября, решительным определением заключил: отставного прапорщика Михаила Александрова Бакунина согласно с решением судебных мест первой и второй инстанций, лишив чина, дворянского достоинства и всех прав состояния, в случае явки в Россию сослать в Сибирь в каторжную работу, а имение его, какое окажется где-либо собственно ему принадлежащим, взять на основании 271 ст. 15 тома Св[ода] зак[онов] угол[овных] теперь же в сек-

вестр.

“О таковом постановлении сената по силе 1308 ст. 15 т[ома] подвести его императорскому величеству всеподданнейший доклад и просить в разрешении высочайшего указа.

“Исправляющий должность обер-секретаря (подпись неразборчива). В

должности секретаря Зыбин”.

22 Письмо Бакунина в редакцию парижской радикальной газеты *“Реформа”* было напечатано в номере от 27 января 1845 года. Русский перевод его напечатан в томе III настоящего издания под № 481. См. там же и комментарий к письму.

23 Чарторижский или Чарторыйский, Адам, князь (1770— 1861)—польский государственный деятель, умеренно-либеральный аристократ; будучи в молодости заложником в Петербурге, сблизился с Александром I и тщетно пытался использовать эту близость в интересах Польши. С 1804 по 1807 был министром иностранных дел. Постепенно разошелся с Александром, когда убедился, что при всех своих лицемерных либеральных фразах царь проводит интересы российского дворянства. В 1815 после образования Царства Польского принимал участие в его устройстве, но не играл руководящей роли, будучи несогласен с политикою царя, нагло нарушавшего им же “дарованную” конституцию. До, во время и после восстания 1831 года, в котором принимал участие, выступал в качестве представителя аристократической партии, высказывался против резких мер, против демократических начинаний и стоял за примирение с царизмом, если бы последний захотел хотя бы отчасти пойти навстречу притязаниям польской аристократии. В эмиграции разыгрывал роль некоронованного польского короля, и здесь оставаясь представителем самой консервативной части эмиграции, стоя в стороне от живого демократического движения, отстаивая политику соглашения с иностранной дипломатией и европейскими правительствами, с помощью которых он и его партия надеялись добиться реформ для Польши, и относясь отрицательно к революционным течениям в среде польской эмиграции вплоть до своей кончины.

24 Речь идет о письма Штольцмана, о котором мы говорили в комментарии к № 481 в томе III настоящего издания. Оригинал его находится в Прямухинском архиве, хранящемся в б. Пушкинском Доме Академии Наук СССР.

Штольцман, Карл Богумил (1793—1854)—польский политический деятель демократического направления. Артиллерийский поручик б. войск польских, он принимал активное участие в польской революции 1831 года. После разгрома ее уехал во Францию, где много работал по организации демократической части эмиграции. В 1833 году основал карбонарскую венту в Безансоне; был одним из создателей “Молодой Польши” в 1834 году и избран в ее Центральный

Комитет. Переехав в Бельгию, снова избран был в ЦК “Молодой Польши”. Позже проживал в Англии, продолжая принимать активное участие в деятельности левого крыла демократической эмиграции. Много писал по военным вопросам, в частности выпустил нашумевшую брошюру “Партизанщина” (“Partyzantka”), где высказывался за организацию партизанской войны против царизма.

25 Об Алоизии Бернацком см. том III, стр. 493.

26 О Н.И.Тургеневе см. том. III, стр. 552.

27 Об Адаме Мицкевиче см. том III, стр. 474.

28 Об Андрее Товянском см. том III, стр. 493.

28а Перечисление знакомых представляет явный ответ на вопрос.

29 Шамболь, Франсуа Адольф (1802—1883)—французский политический деятель и журналист умеренно-либерального направления, сотрудничал в “Французском Курьере”, “Насионале”, “Веке”, “Порядке” и п.р. В 1838 году был избран депутатом, а в 1848 году народным представителем, заседая в рядах умеренных либералов и столь же умеренных трехцветных республиканцев. После государственного переворота Луи Бонапарта был на короткое время выслан из Франции, после чего совершенно отошел от политической деятельности.

“Век” (“Siicle”) — ежедневная парижская умеренно-либеральная газета, основанная в 1836 году группою, в которую входили А. Дютак, Лед-рю-Ролен и пр.; особенно хороша была ее литературная часть. Была органом династической оппозиции (Одилон Барро и т. п.). Появление более передовых демократических газет нанесло ей удар. Газета начала расти с 1840 года, когда во главе ее стал Луи Перре. В 1848 г. сделалась органом умеренных республиканцев. Но особенно процветала она при Второй Империи, когда была одним из главных органов оппозиции. Среди ее сотрудников числились тогда Жюль Симон, Журд, Франсуа Делонкль и т. п. Хотя и подвергалась преследованиям, но благодаря приспособлению к подлости сохранялась и при режиме Бонапарта. В 90-х годах редактором ее был Ив Гюйо, вместе с которым она приняла активное участие в деле Дрейфуса. Затем влияние ее, как и всей радикальной прессы, стало падать, и в начале XX века она постепенно сошла на нет.

30 Меррюо, Шарль (1807—?)—французский общественный деятель и журналист. Сначала занимался педагогическою деятельностью, .а затем перешел в журналистику, был редактором “Temps” (“Время”) и “Constitutionnel” (“Конституционалист”). Когда доктор Верон приобрел, в 1844 году “Constitutionnel”, он по совету А. Тьера пригласил в главные редакторы Меррюо, верного исполнителя предначертаний Тьера и проводника его политики. На этом посту Меррюо оставался до 1849 года, а затем, перешел в администрацию и служил по сенскому градоначальству.

О газете “Конституционалист” см. том III, стр. 476.

31 Жирарден, Эмиль де (1806—1881)—французский политический деятель и журналист; был чиновником, банковским служащим, затем занялся журналистикой и создал несколько ходких изданий. В 1836 произвел переворот в области периодической печати, основав первую дешевую ежедневную политическую газету “Пресса” (“La Presse”), вдвое дешевле остальных газет. Сначала был монархистом и убил на дуэли республиканца Армана Карреля, но постепенно эволюционировал к умеренному республиканизму. Политически неустойчивый, как и выдвинувшая его мелкая буржуазия, ринулся в объятия бонапартизма, способствовал

избранию Луи Бонапарта в президенты республики, а в Законодательном собрании голосовал с левою и был после государственного переворота выслан на время из Франции. Редактировал кроме “Прессы” ряд других газет, обнаруживая и в прессе и в парламенте, куда неоднократно избирался, все тот же беспринципный оппортунизм и погоню за минутным успехом.

“Пресса” — парижская ежедневная политическая газета, основанная 1 июля 1836 года Э. Жирарденом. Подписная цена ее была назначена всего в 40 франков, в то время как абонемент на остальные газеты стоил тогда не меньше 80 франков. Расходы по газете покрывались объявлениями и рекламою, занявшими а новой прессе значительное место. Газета сделалась более живой, легкой, занимательной, доступной массам, которые привлекались хроникой, романом-фельетоном и другими приемами, впоследствии характерными для так наз. бульварной прессы. Все это способствовало распространению газеты и проникновению ее в массы, хотя вместе с тем и порождало все те отрицательные черты, которыми характеризуется современная буржуазная печать. “Пресса” была родоначальницею прессы в одно су (2 коп.). Сначала орлеанистская, “Пресса” вместе с своим редактором сделалась ”последствии умеренно-либеральною, затем бонапартистскою, позже умеренно-республиканскою и т. д. Постепенно линяя и вытесняемая новыми газетами, “Пресса” за последние десятилетия превратилась в вечерний листок националистического и реакционного направления, выходящий в 18—20 часов и предназначенный для бульварных гуляк и ресторанных завсегдатаев.

32 Дюрье, Ксавье (1817—1868) — французский журналист и поли-тический деятель. В 1838 г. вошел в редакцию “Siecle”, в 1841 г. стал главным редактором умеренно-либерального “Temps” (просуществовавшего с 1829 по 1842 г. и, в 1830 г. имевшего сотрудником Гизо), сотрудничал в журналах “Revue de Paris” и “Revue des deux Mondes”; порвав с династической оппозицией, к которой примыкал раньше, примкнул к радикально-демократической оппозиции. В 1845 г. взял на себя редакцию радикального органа “Le Courrier Fransais”. В 1848 г. вместе с О. Бланки основал Центральный Республиканский Клуб, но скоро вышел оттуда. В Учредительном собрании сидел на Горе. Не попав в Законодательное собрание, вернулся к журналистике. После государственного переворота был арестован и изгнан. Уехал в Англию, затем в Испанию, где и умер.

.“Le Courrier, Fransais” (“Французский Курьер”) — Парижская ежедневная политическая газета, основанная в 1819 году и просуществовавшая до 1868 года. Газета была одним из самых влиятельных органов либеральной партии при Реставрации и Июльской монархии. Периодом ее расцвета были годы 1820—1842. Среди ее сотрудников в разное время числились весьма видные представители французского либерализма, как Бенжамен Констан, Корменен, Минье, Леон Фоше и т. п. В 1845 г. переменил направление и стал радикальным под редакцией К. Дюрье. Не выходил с февраля по 1 июля 1848 г., а через несколько месяцев и совсем прекратился.

33 Фоше, Леон (18.04—1854) — французский политический деятель, журналист и экономист умеренно-либерального, скорее консервативного направления, ярый сторонник свободы торговли. Монархист по убеждениям, он признал в 1848 году республику, будучи в числе тех буржуазных политиканов, которые тем вернее стремились задушить и извратить ее. После избрания Луи Бонапарта в президенты Фоше, будучи членом Учредительного собрания, был назначен министром общественных работ, а затем внутренних дел. Отличился реакционными мероприятиями и избирательными плутнями, в результате которых принужден был выйти в отставку в 1849 году. Переизбранный в Законодательное собрание, он на короткое время снова получил портфель внутренних дел, но вскоре отказался от него. После государственного переворота 2 декабря 1851 года вернулся в частную жизнь, отдался занятиям экономическими

вопросами и вместе с своим шурином Воловским основал банк “Поземельного Кредита”. Ему принадлежат

между прочим “Очерки Англии” (1844).

34 Бастиа, Фредерик (1801—1850)—французский экономист, типичный представитель школы “вульгарных экономистов”. Происходя сам из богатой буржуазной семьи, Бастиа был решительным защитником буржуазного строя, бесстрашно доводя до логического конца его принципы, проповедуя свободную игру экономических сил, из которой в результате должна дескать неизбежно проистечь социальная гармония и удовлетворение всех интересов. Ожесточенный враг социализма, Бастиа посвятил главные свои сочинения, весьма легковесные по содержанию, но изложенные в живой литературной форме, борьбе с социализмом и с малейшими проявлениями критики капитализма. В 1848 году он выпустил несколько памфлетов против Луи Блана, Консидерана и Прудона, в которых полемизировал с их системами. Главное сочинение его, в котором он пытался в связной форме изложить свою апологию капитализма, “Экономические гармонии”, появившиеся в 1850 году, осталось незаконченным. Буржуазия наградила своего адвоката славою, депутатским местом и пр., но сочинения его вследствие своей полной не научности давно забыты.

35 Воловский, Луи Франсуа Мишель Раймон (1810—1876)—французский экономист и политический деятель, польского происхождения. Приняв активное участие в польской революции 1830 года, бежал после ее подавления в Францию, где в 1836 году натурализовался. Будучи профессором в Консерватории искусств и ремесел, он в своих лекциях, а также многочисленных писаниях, в том числе журнальных статьях, защищал идеи вульгарной политической экономии и вел энергичную кампанию в пользу свободы торговли и труда, т. е. за неограниченное господство капитала. Соединяя теоретическое служение капиталу с практическим, был одним из основателей банка “Поземельного Кредита”. Будучи избран в 1848 году в Учредительное собрание, он заседал среди умеренных республиканцев и способствовал избранию Луи Бонапарта в президенты республики. В Законодательном собрании вместе с Леоном Фоше примкнул к консерваторам, но был враждебен государственному перевороту 2 декабря, после которого вернулся *к* частной жизни. В 1871 году, будучи членом Национального собрания, поддерживал политику А. Тьера и в 1875 году избран в несменяемые сенаторы. Автор множества работ по экономическим, преимущественно финансовым вопросам.

36 О Пьере Жане Беранже см. том III, стр. 494.

37 О Фелисите Робере Ламеннэ см. том III, стр. 433.

38 Араго Франсуа (1786—1 853) — французский ученый, физик и астроном, с 1830 года директор Парижской обсерватории. В 1831 году избран депутатом в палату, где примкнул к левой. Во время революции 1848 года был членом Временного правительства, в котором занимал посты министра морского, а затем военного, Национальное собрание назначило его членом Исполнительной комиссии, подавшей в отставку в июньские дни, во время которых он выступал против пролетариата. Был членом разогнанного Луи Бонапартом Законодательного собрания, отказался признать государственный переворот и принести присягу Империи, однако остался директором обсерватория. Представитель старого буржуазного демократизма, не понимающего задач и значения рабочего движения.

Араго Эмануэль (1812—1896)—старший сын Франсуа Араго, французский политический деятель, умеренный республиканец. При Июльской монархии составил себе имя в качестве адвоката по политическим процессам, принимал активное участие в революции 1848 года, был комиссаром Временного правительства в Лионе, затем членом Учредительного собрания, а в

мае 1848 года отправлен в качестве французского посла в Берлин (где встречался с Бакуниным) . После избрания Луи Бонапарта в президенты республики вышел в отставку, а после государственного переворота 2 декабря 1851 года ушел в частную жизнь. В 1867 году защищал на суде поляка Березовского, стрелявшего в Париже в Александра II. В 1869 вернулся к политической деятельности и после падения Второй Империи был членом правительства Национальной Обороны. В Национальном собрании поддерживал Тьера. В 1876 был избран сенатором. С 1880 по 1894 г. был посланником в Берне.

Араго, Этьен (1803—1892)—французский литератор и политический деятель, брат Франсуа Араго. Сначала занимался химией, а затем стал драматургом и журналистом, причем впоследствии участвовал в основании радикальной газеты "Реформа". Активный деятель республиканского движения, он лично участвовал в тайных обществах, дрался на баррикадах во время июльской революции и восстаний первого периода Июльской монархии. Приняв активное участие и в революции 1848 года, он сделался министром почт во Временном правительстве, но вышел в отставку после избрания Луи Бонапарта в президенты и занял место на крайней левой Национального собрания. За участие в мелкобуржуазном выступлении 13 июня 1849 года принужден был бежать в Бельгию. Вернулся во Францию для участия в вооруженной борьбе с захватчиком власти Луи Бонапартом, но после неудачи снова бежал за границу, откуда вернулся только после амнистии 1859 года. После низвержения Второй Империи был в 1870 году назначен мером города Парижа, но уволен в отставку за снисходительное отношение к инсургентам 31 октября (блан-кистам). после чего отошел от политической деятельности.

39 Марраст, Арман (1801—1 852) — французский политический деятель и журналист. Педагог по профессии, выдвинулся в 30-х годах как один из лидеров умеренной республиканской фракции, выражавшей интересы средней буржуазии и высококвалифицированной интеллигенции. С 1832 по 1835 год был редактором радикальной газеты "Трибуна" (выходил! с 1829 по 1835), принужден был на время бежать .в Англию, по возвращении сделался редактором "Насионаля", на каковом посту его застала февральская революция 1848 года. Мэр города Парижа и член Временного правительства, он представлял в последнем интересы буржуазии, войдя в соглашение с консерваторами против пролетариата и радикальной мелкой буржуазии: был вице-председателем, а затем президентом Учредительного собрания, проявив особенную суровость по отношению к июньским инсургентам и еще раньше к участникам демонстрации 15 мая 1848 года, в частности к Луи Блану, что отчасти повредило его популярности среди прогрессивных элементов мелкой буржуазии. В Законодательное собрание Марраст уже не попал.

40 Бастид, Жюль (1800—1 879) — французский журналист и политический деятель, один из основателей французской республиканской партии. Примыкая к тайным кружкам еще во время Реставрации, принимал активное участие в революции 1830 года; затем боролся против Июльской монархии и за участие в вооруженном выступлении во время похорон генерала Ламарка в 1832 году был заочно приговорен к смертной казни, но бежал в Англию, вернулся оттуда в 1834 году и новым судом был оправдан. Одно время редактировал "Насиональ", но в 1836 году вышел из него вместе с Бюше и в 1847 году основал журнал "Национальное Обозрение", в котором развивал идеи христианского социализма, сторонником которого он был. Во время революции 1848 года был секретарем министерства иностранных дел, а с мая по декабрь министром. В социальной области голосовал с реакционерами против социалистов, показывая этим цену "христианского социализма". Будучи решительным врагом революционного пролетариата, высказался в июне 1848 года за введение осадного положения в

Париже и предоставление генералу Э. Кавеньяку диктаторской власти. После государственного переворота 2 декабря 1851 года ушел в частную жизнь.

О газете “Насиональ” см. том III, стр. 465.

41 Кавеньяк, Годфруа (1801—1845) — французский политический деятель, сын члена Конвента Жана-Батиста Кавеньяка и брат усмирителя июньских инсургентов Эжена Кавеньяка. Посвятив некоторое время занятию адвокатурой и литературой, он всецело предался политике я был одним из создателей и руководителей республиканской партии. Он принимал активное участие в революции 1830 года и был назначен капитаном артиллерии национальной гвардии. Но принципиальный противник монархии, он не прекращал борьбы против правительства Луи Филиппа, основывал тайные общества и подготовлял вооруженное восстание против королевской власти. Привлеченный к суду b 1830 и 1832 гг., он был оправдан. После восстания 1834 года был арестован, но бежал из тюрьмы и в 1835 уехал в Англию. Вернувшись в 1841 г. во Францию, сотрудничал в “Реформе”, а в 1843 году был президентом “Общества прав человека”. Был одним из современников и товарищей Огюста Бланки. Бакунин мог знать его очень недолго, так как через год после приезда его в Париж Кавеньяк умер.

42 Флокон, Фердинанд (1800—1866)—французский журналист и политический деятель, активный член республиканской партии во время Июльской монархии и редактор радикальной газеты “Реформа” (в которой появилась первая статья Бакунина во Франции). В качестве представителя радикальной мелкой буржуазии вошел в состав Временного правительства в 1848 году и одно время был министром земледелия и торговли. Хотя и будучи в Учредительном собрании членом Горы, он решительно высказывался против пролетарского движения и во время июньского восстания поддерживал диктатуру генерала Э. Кавеньяка. После того как реакция подняла голову, вместе с другими мелкобуржуазными идеологами спохватился и пытался противопоставить торжествующей реакции сговор рабочих и мелкой буржуазии в виде “социал-демократической партии”. Выступал резко против Луи Бонапарта. После государственного переворота 2 декабря 1851 года был изгнан из Франции, поселился в Швейцарии, умер в изгнании, отказавшись воспользоваться амнистиею 1859 года. В бытность свою членом Временного правительства использовал свои былые связи с революционною эмиграциею разных наций и способствовал выезду эмигрантов из Франции: так он помогал экспедиции Гервега, дал деньги на поездку Бакунина в Познань и пр.

43 Блан Луи (1811—1882) - французский писатель и политический деятель, представитель соглашательского социализма. Будучи сотрудником радикальной печати, выдвинулся своей работой “Организация труда” (1839), в которой выдвигал систему обеспечения рабочим “права на труд” и мирного преобразования капиталистического общества путем учреждения производительных ассоциаций с государственной помощью. Популяризации идей социализма и классовой борьбы способствовала также его работа “История десяти лет” (1830—1840), вышедшая в начале 40-х годов и оказавшая большое влияние на первых русских социалистов, в том числе на Н. Чернышевского, отчасти использовавшего ее в своих работах “Борьба партий во Франции” и “Июльская монархия”. Во время революции 1848 года в качестве представителя рабочего класса вошел в состав Временного правительства вопреки сопротивлению остальных его членов, но своею соглашательскою политикою ослабил энергию рабочих, усыпил их утопическими проектами социального преобразования, дал буржуазии время вооружиться и раздавить пролетариат во время июньской битвы на баррикадах. Восторжествовавшая буржуазия обратилась тогда и против умеренных реформаторов, и Луи Блан, обвиненный в прикосновенности к выступлению 15 мая 1848 г., принужден был бежать в Англию. Здесь он написал ряд исторических работ, в том числе “Историю французской революции” в 12 томах, которая при всех своих недостатках была одною из первых работ,

пытавшихся стать на социалистическую точку зрения при анализе событий конца XVIII века. По возвращении во Францию в 1871 году уже не играл особой роли. Будучи членом Национального собрания, выступал против Коммуны, но позже боролся за амнистию коммунарам. С 1876 года был членом палаты депутатов, но уже в качестве не социалиста, а буржуазного демократа.

44 О "Реформе" см. том III, стр. 469.

45 Консидеран, Виктор (1808—1893)—французский писатель и политический деятель, представитель мирного утопического социализма; излагал фурьеристские идеи в "Фаланге", "Фаланстере" и пр. Его сочинения, в которых в зародышевой форме развивается теория классовой борьбы, особенно книга "La Destinйe sociale" (1834—1838), оказали большое влияние и в России, в частности на Чернышевского. В 1843 году основал журнал "Мирная Демократия" для популяризации фурьеризма. После революции 1848 года, во время которой он пропагандировал свои утопические теории в клубах, он был избран в Учредительное собрание, где заседал на крайней левой, но не принял участия в июньском восстании пролетариата. Переизбранный в Законодательное собрание, он принял участие в буржуазно-демократическом выступлении 13 июня 1849 года, был приговорен заочно к ссылке, но бежал в Бельгию, затем уехал в Америку, где основал в Техасе фурьеристскую колонию, скоро распавшуюся. В 1869 году вернулся во Францию, но уже не играл политической роли и умер забытым.

"Мирная Демократия" ("La Dйmocratie Pacifique")—ежедневная политическая газета, орган фурьеристской школы, выходила с 1 августа 1843 г. по 13 июня 1849 г. в Париже под редакцией Виктора Конси-дерана. Развивала идею мирного социального преобразования без насильственных потрясений и переворотов. Обращалась преимущественно не к трудящимся массам, а к образованным и состоятельным классам, к цензовой интеллигенции. После высылки своего главного редактора В. Консидерана, принявшего участие в протесте 13 июня 1849 г. против незаконных действий правительства, газета прекратилась.

46 Дюпра, Паскаль (1815—1885)—французский журналист и политический деятель; оставил профессуру, чтобы заняться редактированием журнала "Независимое Обозрение". Принял деятельное участие в февральской революции и был избран в Учредительное, а затем и в Законодательное собрание, где заседал на Горе. После государственного переворота 2 декабря 1851 года подвергся изгнанию и уехал сначала в Бельгию, а затем в Швейцарию, где занимал кафедру в Лозанне. После падения Империи вернулся во Францию, был несколько раз избираем в депутаты, оставаясь левым демократом, и служил по дипломатической части.

"Независимое Обозрение" ("La Revue Indйpendante")— французский политический журнал, основанный в 1841 году и просуществовавший до 1848 г. Созданный группою прогрессивных литераторов, в которую входили Пьер Леру, Луи Виардо и Жорж Занд, журнал был органом левого крыла демократической партии, близкого к умеренному социализму.

47 Пиа, Феликс (1810—1889)—французский писатель и политический деятель. Оставив адвокатуру, сделался драматургом (из пьес его особенно известна мелодрама "Парижский ветошник") и ринулся в радикальную журналистику. Во время революции 1848 года был правительственным комиссаром, затем членом Учредительного и Законодательного собраний, где заседал на Горе. В июне 1849 г. подписал вместе с Ледрю-Роленом призыв к оружию против римской экспедиции, после чего принужден был бежать за границу. Оставался в Англии до амнистии 1869 года. По возвращении на родину участвовал в газете "Rappel", провозгласил на банкете тост за пулю, которая поразит императора, был приговорен за это к 5 годам заключения, снова бежал за границу. Вернулся после падения Империи, издавал газету "Combat" сумбурно бунтарского направления, был избран членом Национального собрания, а

затем Коммуны, где примыкал к бланкистскому большинству. Приговоренный заочно к смерти, снова укрылся в Англии, где интриговал против Интернационала. Вернулся во Францию после амнистии 1880 года. Был избран в депутаты в качестве “революционного социалиста”.

48 Шельхер или Шельше, Виктор (1804—1893) — французский политический деятель. Сын фабриканта, смолоду работал в либеральной печати, а после поездки в Америку увлекся делом защиты негров и боролся за уничтожение невольничества. После революции 1848 г. был назначен заведующим колониями и издал 27 апреля знаменитый декрет, отменявший рабство во французских колониях. Был членом Горы в Учредительном собрании. Переизбранный в Законодательное собрание, вместе

с Бодемом примял участие в баррикадном бою против государственного переворота Луи Бонапарта и был изгнан из Франции. Вернувшись из Англии после падения Империи, был членом Национального собрания, противился провозглашению Коммуны и тщетно пытался примирить ее с правительством. В 1875 году избран несменяемым сенатором.

49 Мишле, Жюль (1798—1874)—французский историк, демократ, с 1833 г. заместил Гизо на кафедре истории в Сорбонне, но в 1850 г. был реакциею лишен места за демократические воззрения и с той поры предался исключительно писанию исторических сочинений, из которых наиболее известны “История Франции” в 18 томах, “История революции” в 6 томах и “История XIX века” в 3 томах. Имел связи среди демократов различных наций, в том числе среди русских, знал Бакунина, судьбою которого всегда живо интересовался, был близок с А. Герценом, который писал для него биографические очерки Бакунина (мы их цитируем в наших комментариях), и пр.

50 Кинэ, Эдгар (1803—1875)—французский поэт, историк и политический деятель либерального направления, но весьма путанных взглядов. Будучи профессором литературы, навлек на себя со стороны Гизо запрещение курса за резкое выступление против иезуитов, однако принципиально не только не был противником религии, но даже был убежденным деистом и объяснял неудачу французской революции отсутствием у нее религиозного духа. После революции 1848 года был членом Учредительного собрания, где примыкал к левой, а после государственного переворота Луи Бонапарта был изгнан из Франции. За границею написал множество сочинений, в том числе “Историю французской революции” антиреволюционного и идеалистического характера. После падения Империи вернулся во Францию, где был избран членом Национального собрания.

51 О П. Ж. Прудоне см. том III, стр. 513.

52 Жорж Занд (1804—1876)—псевдоним французской писательницы Авроры Дюдеван, выражавшей в своих многочисленных романах идеи утопического социализма и эмансипации женщины; пользовалась огромною популярностью в 40-е годы, особенно в России, где за отсутствием политической публицистики ее романы играли роль орудия прогрессивной пропаганды. В 40-х годах завела широкие знакомства среди передовых людей Франции и других стран, особенно политических эмигрантов, собравшихся в Париже. Бакунин познакомился с нею в 1844 году, но знал ее сочинения и поклонялся ей как писательнице еще раньше. Для него Жорж Занд была не просто поэтом, а пророком, приносящим откровение, как он выражался в письмах к родным от 1843 года. С своей стороны и Жорж Занд хорошо относилась к Бакунину и выступила в его защиту, когда в 1848 году возникла известная сплетня на его счет в связи с ее именем. Свое отношение к Жорж Занд Бакунин изменил лишь в

50—60-х годах. когда она не проявила достаточно гражданских чувств в отношении к Второй Империи и ее деятелям.

53 Какие именно рабочие клубы посещал в Париже Бакунин, трудно установить с точностью. Но судя по его преимущественно немецким связям в то время, можно предполагать, что речь идет о немецких ремесленных кружках, которых тогда в Париже было несколько. В один из них Бакунин ввел даже... Ф. Энгельса, как видно из письма последнего от сентября 1844 г., напечатанного в томе II "Сочинений Маркса и Энгельса", стр. 417 и гласящего: "В Париже по дороге на родину я посетил один коммунистический клуб. Меня ввел туда русский, который прекрасно говорит по-французски и очень искусно развивал взгляды Фейербаха". В том же письме Энгельс относит Бакунина, правда не называя его, к коммунистам, говоря о нем и его соотечественниках: "мы делаем большие успехи среди живущих в Париже русских. Тут имеется трое или четверо русских дворян и помещиков, которые являются радикальными коммунистами и атеистами". Как мы уже указывали выше, говоря о знакомстве Бакунина с Марксом (том III, стр. 463, и том IV. стр. 437). Бакунин одно время, летом — осенью 1844 года, считал или объявлял себя коммунистом. Другими русскими, о которых упоминает Энгельс, могли быть: В. Боткин, который в цитированном письме А. Руге также фигурирует в качестве коммуниста, П М. Толстой, Н. Сазонов.

Что касается указания Бакунина на то, что скоро он утратил интерес к посещению рабочих клубов, то оно для него в высшей степени характерно: оно показывает, что он был демократом, которого общество интеллигентов (иногда, как мы знаем, и общество аристократическое) больше привлекало и удовлетворяло, чем общество пролетариев. Исторического призвания рабочего класса он в отличие от Маркса и Энгельса тогда вовсе не понимал. Только через много лет он, как мы увидим из дальнейших томов, несколько изменился в этом отношении.

54 Бакунин совершенно правильно охарактеризовал настроение старого Н. Тургенева в рассматриваемое время. Как показало открытие архивов после низвержения царизма, Н. Тургенев неоднократно ходатайствовал перед правительством о разрешении вернуться на родину, но не добился удовлетворения своей просьбы.

55 Мамиани делла Ровере, Теренций, граф (1799—1885) — итальянский писатель и государственный деятель либерального направления. Член временного правительства 1831 года в Болонье, он принужден был эмигрировать во Францию. После амнистия 1846 года он вернулся в Рим, где папа в 1848 году пригласил его на пост председателя совета министров. Лавирование между реакционными кругами, возглавляемыми лицемерным папою, я демократиею не могло долго продолжаться, и Мамиани ушел в отставку. После короткого возвращения к власти он ввиду окончательного торжества реакции принужден был удалиться в Пьемонт. Здесь он был сотрудником Кавура, был депутатом, министром народного просвещения, сенатором, профессором философии.

56 Пепе, Гуильельмо (1783—1855)—итальянский политический деятель, неаполитанский генерал, начавший свою военную карьеру при владычестве французов. После поражения Наполеона I и восстановления неаполитанского короля остался на службе .и участвовал в организации карбонарского движения. Во время революции 1820 года примкнул к революционерам, будучи главнокомандующим неаполитанских войск, и отстаивал с ними конституцию. Когда Священный Союз двинул против революционного Неаполя австрийские войска, Пепе потерпел поражение и принужден был бежать во Францию. Здесь он оставался до революции 1848 года. По возвращении на родину участвовал в борьбе против Австрии.

57 С какими русскими встречался в Париже Бакунин, также трудно с точностью установить. Кроме названных выше В. П. Боткина, Г. М. Толстого, Н. И. Сазонова сюда надлежит

прибавить И. Головина, Н. Г. Фролова я его жену, которых Бакунин знал еще по Берлину, Н. А. Мельгунова, С. К. Мельгунову, И. И. Панаева и его жену А. Я. Головачову-Пачаеву, приезжавших в Париж осенью 1844 года, А. П. Полуденского и жену его М. И. Полуденскую, урожденную Сазонову, старого знакомца по Москве Н. М. Сатина, бывавшего в Париже в 1844 и 1845 годах, возможно Н. П. Огарева, прожившего конец 1845 года в Париже, П. В. Анненкова, приехавшего в Париж весною 1846 года, А. И. и Н. А. Герцен, приехавших туда в 1847 году, В. Белинского, также посетившего Париж в том же году, приехавшую с Герценами Марью Федоровну Корш и М. .К. Эрн, вышедшую через три года за А. Рейхеля, И. С. Тургенева. Возможно, что были и другие знакомства с приезжавшими в Париж погулять русскими, но они не имели серьезного значения.

58 В общем Бакунин верно указывает размер своей литературной продукции за рассматриваемый период. Все эти документы (статьи-письма в редакции "Реформы" и "Конституционалиста", речь на польском банкете 1847 года, два воззвания к славянам, статьи в "Дрезденской Газете", составившие брошюру "Русские дела") напечатаны в третьем томе настоящего издания. Сюда же относятся "Основы славянской политики", о которых Бакунин упоминает дальше.

59 Трудно судить, насколько Бакунин здесь верно передает свое дей-

ствительное настроение в данное время. Правда, Герцен в статье "М. Бакунин. (Письмо к Мишле)" также сообщает, что Бакунин в 1847 году чувствовал усталость и был печальнее, чем в России, но был весьма далек от отчаяния и неверия в революцию. О вере Бакунина в близость революционной грозы говорят и письма Бакунина к Гервету того времени, напечатанные нами в томе III настоящего издания. Поэтому дозволительно предполагать, что в данном месте Бакунин, быть может, сгустил краски по каким-то тактическим соображениям. Но категорически настаивать на своем предположении мы не решаемся.

60 В начале 40-х годов Германия переживала период подготовления революции, что вызывало во всей стране состояние лихорадочного волнения и смутных ожиданий. Выражением этого состояния явилось поведение вступившего в 1840 году на прусский престол Фридриха-Вильгельма IV, вдобавок человека душевно неуравновешенного. Его неустойчивость, колебания, порывы от мнимого либерализма к действительной реакции, двусмысленные посулы, не могшие быть исполненными, и попытки то мягкостью, то нахрапом парализовать назревавшие потрясения — все это волновало общество, возбуждало умы и разжигало страсти. Это состояние, которое Бакунин мог отчасти наблюдать в Германия собственными глазами в 1840—1843 годах, он и имеет здесь в виду, характеризуя его словом "суматоха".

Второе его указание касается следующих событий. Протеже Франции, стремившейся занять руководящее место на Ближнем Востоке вместо Англии, египетский паша Мехмет-Али, несколько раз разбив войска турецкого султана, захватил значительную часть его азиатских владений и сделался хозяином дорог в Аравию, Мессопотамию и Индию. Этого не мота стерпеть Англия и с помощью других держав пыталась поддержать султана и устранить Францию от решения восточного вопроса. После тайных предварительных переговоров с Николаем I Англия заключила в начале 1840 года соглашение с Россией, к которому присоединились Австрия и Пруссия и которое фактически совершенно изолировало Францию в Европе. Тьер, ставший в марте 1840 г. главою правительства вместо Сульта, решил поддерживать Мехмета-Али против коалиции, выступившей в защиту султана. 15 июля четыре названные державы, не уведомляя о том Францию, заключили в Лондоне договор, по которому они явно намеревались решить египетский вопрос без Франции и вопреки ей. Известие об исключении Франции из европейского концерта вызвало в ней такое негодование, что одно

время европейская война казалась неизбежной. Но французская буржуазия не решилась на войну со всей Европою при невыгодных для себя условиях. Тьер принужден был выйти в отставку. Война в Европе была избегнута, а Мехмету-Али пришлось отказаться от всех своих завоеваний вне Египта. После того, как по соглашению великих держав египетский вопрос признан был разрешенным, и был гарантирован нейтралитет проливов (Босфорского и Дарданельского), кризис разрешился, и угроза европейской войны, способной поколебать порядок, установленный Венским конгрессом, рассеялась, а революция была отсрочена на несколько лет.

61 "Друзья света" — возникшая в 40-х годах XIX века рационалистическая секта в протестантизме, отвергавшая все символы. Она использовала немецко-католическое движение для распространения своего учения в Саксонии и Силезии. Lichtfreunde (Друзья света) или, как они сами себя называли, Протестантские друзья — свободомыслящая секта, возникшая в недрах лютеранской церкви в виде протеста против ортодоксального протестантского пиетизма. Толчок к движению дали репрессии, принятые в Магдебурге по отношению к проповеднику Зинтенису, высказавшемуся против поклонения Христу. В Гнадау 29 июля 1841 г. собралась Конференция, состоявшая из Ульриха и 15 других проповедников и основавшая свободную религиозную общину, стоявшую за "разумное" и "практичное" христианство. Началась агитация на народных собраниях. К движению примкнули бывшие гегелианцы. Пошла критика "священного писания" как устарелого и не могущего более служить нормою поведения, как утверждал публично в 1844 г. проповедник Вислициниус. В 1846 г. последний лишен был места за антихристианские воззрения, что вызвало протесты по всей Германии и подачу петиции королю, в которой требовалась полная свобода исследования. На многочисленных народных собраниях, созываемых сторонниками нового направления, к вопросам религиозным начали примешиваться вопросы политические, что возбудило опасения во всех немецких правительствах, и постепенно собрания были запрещены. Свободные протестантские общины возникли тем временем во многих городах, и королевским патентом 30 марта 1847 *г.* им была даровала полная свобода. Во время революции 1848 г. число этих общин возросло до 40, а часть их руководителей попала во Франкфуртский парламент. С наступлением реакции движение еще усилилось, так как к нему примкнуло много демократов. Начались репрессии; к ним присоединились внутренние раздоры и движение потеряло свой боевой характер. В 1859г. 54 общины объединились в Союз свободно-религиозных общин, который продолжал свое существование и позже.

Общее брожение, господствовавшее во всех областях германской жизни в первой половине XIX века, не осталось без влияния и на католиков. В 40-х годах среди них возникло движение "немецких католиков", находившихся под влиянием протестантских принципов и стремившихся приспособить католическую церковь к духу времени. В патере Иоанне Ронге (1813—1887) и возбужденном им "ронгианизме" это движение нашло свое выражение. Протест Ронге против выставления в Трире "священного" хитона в 1844 году дал толчок к отколу либеральных католиков от католической церкви. "Немецкие католики" требовали, чтобы, богослужение совершалось на народном языке, чтобы церковные обряды приноровлены были к духу времени, чтобы священникам разрешено было вступать в брак, чтобы национальные церкви были независимы от Рима. Это движение поддерживалось немецкими правительствами и имело некоторый успех, главным образом в южной Германии, но с конца 40-х годов пришло в упадок. Вопреки мнению Бакунина в этом движении не было никаких элементов коммунизма, но оно было извращенным в поповских головах отражением глубокого волнения, охватившего массы накануне революции, и выражало стремление части буржуазии а духовенства спасти религию, отбросив некоторые наиболее отрицательные ее черты, нашедшие выражение в средневековых суевериях католицизма. Впрочем здесь Бакунин видимо находится под влиянием мыслей, в свое время высказывавшихся А. Бек-кером в редактируемой им

лозаннской газете “Die frцhliche Botschaft” за 1845 год. Беккер, еще усиливший свойственное Вейтлингу заигрывание с каким-то “первобытным” христианством, решил, что нео-католическое движение может быть использовано в интересах коммунизма, к которому оно будто бы близко стоит. В одном письме к Роберту Блюму он даже предлагал коммунистам вступать в немецко-католическую церковь, если немецкие католики выскажутся за коммунизм (см. Калер — “В. Вейт-лийг”, 1918, стр. 117—118).

62 Сопротивляясь до пределов возможного дарованию конституции, которой требовало большинство населения, Фридрих-Вильгельм IV вте-чение нескольких лет оттягивал решение вопроса в различных комиссиях, посла чего появился рескрипт от 3 февраля 1847 года, вызвавший всеобщее разочарование: на основании этого рескрипта учреждалось не народное представительство, а созывался соединенный ландтаг, который являлся собственно соединением в Берлине отдельных провинциальных (земских) чинов, т. е. сословных представителей, с преобладанием дворянства. Компетенция этого ублюдочного учреждения сводилась по существу к голосованию новых налогов и к подаче петиций, причем оно имело только совещательный голос. Соединенный ландтаг, открывшийся 11 апреля, разошелся в июне безрезультатно, но брожение в Пруссии только усилилось и привело через несколько месяцев к революции.

63 Задуманное польскою демократическою эмиграциею на 1846 год восстание во всех трех “заборах”, на которые была разделена Польша, не удалось. В Пруссии оно было преждевременно раскрыто и дало повод к процессу Мерославского и товарищей в 1847 году; в Царстве Польском, сдавленном системою российского белого террора, оно совсем не проявилось, в Галиции выразилось в неглубоком волнении, а в свободной Краковской республике, последнем остатке былого польского государства, привело к кратковременному восстанию передовой части шляхты, выдвинувшей весьма прогрессивную и демократическую программу, но не имевшей сил поддержать ее. Движение закончилось ужасною резнёю шляхты в Галиции, произведенною темным крестьянством по подстрекательству агентов австрийского правительства, занятием Кракова австрийскими и русскими войсками и уничтожением последней свободной польской территории, переданной Австрии. Вся европейская демократия сочувствовала прогрессивным полякам и клеймила их палачей. Злодеяния австрийского и российского правительств, противозаконное присоединение вольного Кракова к Австрии, процесс-монстр против поляков в Пруссии, радикальная программа, выставленная инициаторами движения — все это снова выдвинуло польский вопрос в порядок дня и повсюду усилило демократическое брожение. Германская демократия также сочувствовала полякам и в то время высказывалась даже за освобождение Познани и восстановление Польши, в которой вздели оплот против царизма. Неудивительно, что французская демократия, которая в то время стояла в первых рядах, особенно горячо отнеслась к судьбам польской нации.

Известие о краковской революции было получено в Париже 4 марта 1846 года и вызвало огромное возбуждение, ничуть не преувеличенное в рассказе Бакунина. Повсюду, в театрах, в салонах, в мастерских, на собраниях, говорили о польских делах. Вся французская печать за исключением реакционной “Франции” и продажной “Прессы” высказывалась в пользу Польши, и газеты открыли подписку в пользу поляков. В обеих палатах сделаны были сочувственные Польше выступления, причем в верхней палате произнесли речи католик Монталамбер и Виктор Гюго. Правящие французские группы были задеты присоединением Кракова к Австрии, против чего резко протестовал даже Гизо, но демократия протестовала во имя идейных мотивов и из классовой солидарности. Как известно, и коммунисты высказались в пользу польских демократов против их угнетателей, я в “Манифесте коммунистической партии” явно выражена симпатия авторов делу польского демократического возрождения.

64 Имеется в виду письмо в редакцию “Конституционалиста” о преследовании католицизма в Литве и в Белоруссии от 6 февраля 1846 года, напечатанное в томе III настоящего издания под № 486.

65 Это первое у Бакунина проявление идей революционного панславизма вообще не было чем-то неслыханным и абсолютно новым для польской эмиграции. Напротив подобные мысли давно уже зародились в польской демократической среде. Между прочим именно благодаря польскому влиянию панславистские идеи проникли в среду южно-русских революционеров, составлявших самое крайнее левое крыло декабристского движения и образовавших “Общество соединенных славян” (традиции которого вообще продолжал Бакунин в своем радикализме). В 30-х годах часть поляков продолжала мечтать о чем-то вроде польско-славянского мессианизма, направленного в их представлении против России. В начале мая 1837 года начал выходить в Париже журнал “Поляк”, выражавший глубокую веру в великое будущее славянских народов и указывавший Польше на ее славянское призвание. От Эльбы до Дона, писал журнал в № 2, от Невы до Адриатического моря живут многочисленные племена единого славянского корня. Эти славянские племена, полные братских чувств, смелости, юные, здоровые, проникнутые энергией, призваны к совершению великих дел: будущее принадлежит им. Они возродят Европу, как не раз уже восток возрождал эгоистичный, торгашеский запад. Славяне свяжут Европу с Азиею. Но для того, чтобы приобрести способность к таким великим деяниям, они должны объединиться, централизоваться. Польша, являющаяся передовым отрядом славянства, выполнит эту задачу. Она скажет своим славянским братьям демократическое слово, и, став в их главе, понесет Европе освобождение.

Вообще панславизм, в том числе и революционный, имеет западнославянское, в частности польско-чешское происхождение, что впрочем вполне понятно, так как именно названные два славянские племени были наиболее развитыми в политическом, экономическом и умственном отношении и выдвинули свою дворянскую или буржуазную интеллигенцию, которая уже из-за одной борьбы своей с немецким мещанством естественно склонялась ж идее славянской солидарности, означавшей в хозяйственном отношении создание свободного от немецкого засилья рынка, а в политическом отношении — сплочение разрозненных сил для сопротивления немецкому наступлению на славянский восток. Когда после закрытия университетов варшавского и виленского польско-литовская молодежь хлынула для продолжения своего образования в Германию, она начала создавать кружки в университетах берлинском и бреславском. В последнем поляки сближались с студентами, принадлежавшими к другим славянским племенам, и в 1843 году там возникло Литературное славянское общество, ведшее свои занятия на польском языке, но руководимое профессором-чехом Яном Пуркинье .

(Пуркинье, Ян Евангелист (1787—1869) — чешский ученый, физиолог, врач и писатель; с молодых лет интересовался чешскою литературою и языком. С 1819 профессор анатомии и физиологии в Пражском университете, а с 1823 профессор физиологии в Бреславле; с 1848 снова в Праге, сначала по кафедре философии, а затем с 1849 по кафедре физиологии. С 1861 депутат чешского сейма. Принимал участие в чешской национальной пропаганде, в частности в Бреславле, где собрал вокруг себя кружок студентов, на которых старался влиять в панславистском духе. Ему принадлежит ряд трудов по физиологии и медицине. Перевел на чешский язык “Освобожденный Иерусалим.” Т. Тассо и лирические произведения Шиллера.)

Позже носителями идеи панславизма сделались преимущественно чехи, но в основе своей мысль эта, особенно в ее революционной разновидности, была польского происхождения, и именно в противность идущему из казенных российских сфер реакционному панславизму, как орудию проникновения царизма в Европу, родилась среди поляков, особенно демократов, идея революционного панславизма — идеал будущей вольной славянской федерации освобожденных народов. Возможно, что у Бакунина эта идея сложилась именно под влиянием польской эмиграции (ведь и в Берлине, и в Дрездене, и в Брюсселе, и в Париже он встречался с поляками и жил в круге их идей), но и среди русских революционеров эта идея имела некоторую традицию: ведь о своего рода

революционном панславизме речь шла и у декабристов, которые также мечтали о будущей славянской вольной федерации и даже вели в таком духе переговоры с поляками.

66 Итак, несмотря на резкое выступление Бакунина в защиту поляков, угнетаемых царизмом, польские демократические эмигранты отнеслись к нему с недоверием. Но почему бы поляки могли не доверять Бакунину уже в 1846 году? Ясно: не потому, что это был Бакунин, вообще в то время мало кому известный кроме небольшой группы международных демократов, а потому, что это был русский. В то время русский революционер, да еще открыто солидаризующийся с делом Польши, был такою редкостью, что невольно возбуждал подозрение в скрытых целях, в задних мыслях, просто-напросто в служении царизму, в провокаторстве. Бакунину могло повредить еще то обстоятельство, что он сам взял на себя инициативу сближения с польскими эмигрантами, вместо того чтобы обратиться к посредничеству других эмигрантов или французских демократов, находившихся в сношениях с поляками и пользовавшихся их доверием. Во всяком случае с этого именно момента начинаются те недоразумения, которые в течение многих лет преследовали Бакунина и порождали политические сплетни на его счет, причем совершенно ясно, что немецкие коммунисты не имели абсолютно никакого отношения к этому недоразумению и в то время о нем даже и не подозревали.

67 Речь Бакунина, произнесенная на польском собрании 17/29 ноября 1847 года, в русском переводе напечатана в томе III настоящего издания под № 492. Собственно Бакунин ее не произнес, а прочитал по писаному (как явствует из письма Г. Гервега к жене от 6 декрбря 1847 г., напечатанного в книге "1848", стр. 325).

Председательствовал на собрании французский депутат Вавен; в бюро находился между прочим генерал Дворницкий.

Речь выдержана в духе революционного панславизма, в частности в духе солидарности интересов польской и русской революции. Кроме тех предшественников этой идеи, которых мы оказывали в комментарии 65 (см. выше), Бакунин в данном случае имел более близких и непосредственных предшественников, а именно деятелей "Кирилло-Мефодиевского общества" в Киеве, незадолго до того (в марте 1847 г.) разгромленных царскою жандармериею. В программе этого общества (а Бакунин, как мы знаем из тома III настоящего издания, был в курсе того, что делалось на родине) говорится о создании славянской федерации, в состав которой на началах равноправия должны были войти Россия, Украина, Польша, Чехия, Сербия, Болгария. Принадлежавший к этому обществу Тарас Шевченко, очутившись в ссылке вместе с ссыльными поляками, написал известное стихотворение, в котором вспоминал о прошлой совместной жизни Польши и Украины и обвинял панов и ксендзов в том, что они нарушили братское согласие народов. Кончалось стихотворение словами:

Подай же руку козакови

И сердце щирое подай.

И именем христовым знову

Возобновим наш тихий рай.

68 Собрание, на котором выступал Бакунин, состоялось в Брюсселе 14 февраля 1848 года. Поляки хотели объединить в одном торжестве чествование памяти великого польского патриота Симона Конарского, казненного в Вильне 15/27 февраля 1839 года, и памяти павших русских революционеров. Главными ораторами на вечере были Бакунин и Лелевель. Обращаясь к Бакунину, Лелевель сказал: "Будущность наша темна и неясна во многих

отношениях. Оставим это грядущее, не станем заботиться о нем: не от нас зависит устранение преград к нему и решение судьбы народов. Прежде всего уничтожим угнетающего нас тирана, душащую нас тиранию, поставим вопрос о народе, поднимем его демократический дух, и все устроится и уладится согласно обоюдной воле добившихся народоправства обеих наций... Да, не может быть разделения между теми поляками и русскими, которые любят свободу. Братья спешат на спасение братьев. Не оставляй, Бакунин, начатого тобою дела, доведи до конца, держись крепко против ожидающих тебя препятствий... Друг Бакунин, подай нам братскую руку и обнимемся сердечно!"

Речь Бакунина известна нам только по той ее сокращенной передаче, какая приводится в "Исповеди".

69 Инцидент с клеветою, пущенною Н. Д. Киселевым против Бакунина через услужливое посредство французских министров, освещен нами в комментарии к тому III настоящего издания, где мы говорили об обстоятельствах, сопровождавших высылку Бакунина из Франции, и напечатали открытое письмо его к графу Дюшателю от 7 февраля 1848 г., помещенное в "Реформе" от 10 февраля того же года. Во всяком случае ясно, что часть польской эмиграции поверила этой клевете на Бакунина. Но поверили не все. Это видно из встречи, оказанной Бакунину Лелевелем, и из его выступления на торжестве 14 февраля, т. е. за 10 дней до отъезда его из Бельгии обратно во Францию. Однако клевета исподволь делала свое дело. Она преследовала Бакунина по пятам и при удобном случае (как в июле 1848 года, в разгар его революционной работы в Германии) снова высунула свое ядовитое жало.

70 Среди стоящих в аппозиции к Марксу и Энгельсу членов немецкого Рабочего союза, существовавшего в Брюсселе, возникла в сентябре 1847 года мысль организовать нечто вроде интернационального союза, в который входили бы и местные бельгийские демократы, и эмигранты различных наций, наподобие существовавшего в Англии общества "Братских демократов", состоявшего из чартистов и политических эмигрантов разных национальностей. Окончательно организовалось это "Демократическое общество для объединения всех стран" в ноябре 1847 года, причем почетным его председателем состоял генерал Мелинэ, фактическим председателем бельгийский адвокат Жоттран, вице-председателями француз Эмбер и немец Карл Маркс (см. комментарий в томе III, стр. 491). Общество ставило себе задачей "единение и братство всех народов" и старалось завязать сношения с демократами различных стран. В одном из своих воззваний оно поздравляло швейцарский народ с победою над реакционными кантонами в 1847 г., обратилось с приветствием к родственному британскому обществу "Братских демократов" и отправило туда своего члена К. Маркса, после февральской революции обратилось с приветствием к Временному правительству и пр. В общем оно носило такой характер, что Бакунин должен был бы чувствовать себя в нем хорошо. Оно вовсе не было коммунистическим или даже определенно социалистическим, так что слова Бакунина о несимпатичных манерах и тоне членов общества, о предъявленных к нему нестерпимых требованиях и т. п. представляются совершенно непонятными, как непонятен и неожиданный переход к немецким коммунистам. Это тем более непонятно, что в письме к Гервегу от декабря 1847 года, напечатанном в томе III под № 494, прямо говорится, что из "Демократического общества" может получиться нечто действительно хорошее, и Гервегу рекомендуется познакомиться с Жоттраном как человеком дельным, умным и практичным, причем обещается в дальнейшем много писать об этом Обществе, хотя и с оговоркою, что впечатления будут иногда противоречивы. О немецких же коммунистах здесь говорится в крайне отрицательных выражениях. Это наводит на мысль, что "Демократическое общество" и коммунистический ремесленный союз в уме Бакунина были как-то неразрывно связаны, и что, когда он писал свою "Исповедь", он ошибочно спутал обе эти организации: некогда симпатичное ему "Демократическое общество" (в котором он все же видимо редко бывал,

предпочитая другое общество) и немецкий коммунистический союз, к которому он и тогда и позже относился отрицательно.

71 Выходит, что якобы члены "Демократического общества", а особенно немецкие коммунисты уже в конце 1847 и начале 1848 года кричали о "предательстве" Бакунина. В такой общей и безусловной форме это утверждение Бакунина является или ошибкою памяти (ибо известная заметка в "Новой Рейнской Газете" появилась только в июле 1848 года) или сознательно неясною формулировкою какого-то действительного факта. От кого же могло идти тогда заподозривание политической честности Бакунина? Из всего предыдущего содержания наших комментариев, основанных на собственных заявлениях Бакунина, видно, что подобные подозрения на его счет существовали лишь в среде польской эмиграции. В Брюсселе Бакунин встречался с польскими эмигрантами как консервативного, так и демократического направления (с одной стороны генерал Скржинецкий, В. Тышкевич и пр., а с другой— Лелевель, Люблинер и т. п.). Про одного из них он выражается в цитированном письме к Гервегу с особенною враждебностью, а именно про Люблинера. Правда в этом отрицательном отзыве о Люблинере (о нем см. том III, стр. 493) сильно звучит уже тогда присущая Бакунину антисемитская нотка, но кроме обвинения Люблинера в том, что он — "еврей, выдающий себя за поляка", имеется и характеристика его как самого несносного существа в мире. И вот у нас возникает предположение, что Люблинер мог быть одним из тех польских эмигрантов, которые в то время с подозрением посматривали на Бакунина

и на его сближение с поляками, причем не стеснялись при случае высказывать свои подозрения более или менее открыто. А так как упомянутый Люблинер стоял близко к Лелевелю и был активным деятелем "Демократического общества" (о чем Бакунин в письме ж Гервегу также упоминает), то не он ли был причиною того, что Бакунин, побывав раза два в симпатичном ему "Демократическом обществе", вскоре перестал туда ходить? Тогда легко объяснялась бы и его ненависть к Люблинеру.

72 О Я.С. Скржинецком см. там III, стр. 493.

73 Мерод, Филипп Феликс, граф (1791—1857)—бельгийский государственный деятель. Долго жил во Франции и примкнул к либеральным воззрениям своего дяди по свойству Лафайета. После бельгийской революции 1830 года, в которой он принимал активное участие, был членом временного правительства, а при короле Леопольде I, личным другом которого он был, занимал в начале 30-х годов ряд министерских постов; с 1839 года был недолго посланником во Франции.

74 Монталамбер, Шарль, граф (1810—1870) - французский писатель и политический деятель, вождь католической партии. Сначала был представителем "либерального католицизма" и сотрудником Ламеннэ, но затем покорился римской курии, вступил членом в верхнюю палату и вплоть до революции 1848 года защищал там доктрины ультрамонтанства против галликанства и либерализма. Он выступал и в защиту угнетенных национальностей, но лишь в том случае, если они принадлежали к католицизму, а их владыки *к* другой религии (пример Польши и русского царя). В 1848 году подал католикам сигнал признать республику для того, чтобы тем вернее овладеть ею и заставить ее служить целям политической и духовной реакции. Будучи членом Учредительного и Законодательного собраний, провел в 1850 году закон о "свободе обучения", отдавший на десятки лет французскую народную школу в руки католического духовенства, и способствовал походу французской армии на Рим в защиту папы от республиканцев. После государственного переворота примкнул было к правительству Бонапарта, но затем начал выступать против него, благодаря чему в 1857 году потерял свой парламентский мандат. Стоя на позиции либерального католицизма, выступил против

провозглашения папской непогрешимости во время Ватиканского собора. Был членом французской Академии.

75 Это указание Бакунина заслуживает самого серьезного внимания. Следовало бы предупредить соответствующие поиски в газете "Constitu-tionnel" и выяснить, имеются ли там статьи Бакунина и какие именно.

76 Коссидьер, Марк (1808—1861)—французский политический деятель, республиканец, принимал участие в тайных обществах 30-х годов в 1834 г. участвовал в лионском восстании, за что приговорен к 20-летнему заключению. Выйдя из тюрьмы по амнистии 1837 г., продолжал работу в тайных обществах, стоял близко к бланкистам. Геркулесовское сложение и ораторский талант способствовали его популярности. Бакунин познакомился с ним до революции 1848 года. В последней Коссидьер принял активное участие, дрался на баррикадах, прямо с баррикад с ружьем в руках отправился в префектуру полиции, занял ее, объявил себя префектом и с помощью бывших членов тайных обществ организовал новую демократическую полицию ("монтаньяров"). В одной из казарм этих монтаньяров и проживал Бакунин в феврале—марте 1848 г. в Париже. Во время демонстрации 15 мая занимал выжидательное положение. Обвиненный на другой день в Учредительном собрании в заигрывании с бунтом, подал в отставку. После июньских дней против него возбуждено было преследование за солидарность с инсургентами. Коссидьер бежал сначала в Англию, а затем в Америку, где снова занялся своим старым ремеслом (маклера по продаже вина). Амнистиею 1859 года он воспользовался не сразу и вернулся на родину накануне смерти. Ему приписывается известное выражение о Бакунине: "В первый день революции это - неоценимый человек, а на второй его надобно расстрелять". Если Коссидьер и сказал что-либо подобное, то наверное в то время, когда был префектом полиции и по его словам "устанавливал порядок с помощью элементов беспорядка", а Бакунин ночевал среди его монтаньяров и подстрекал их к участию в революционных демонстрациях.

77 И. Головин в своих записках рассказывает, что Бакунин предводительствовал большою манифестациею рабочих против национальной гвардии. Он имеет в виду манифестацию 17 марта 1848 года, которая состоялась на следующий день после манифестации реакционных батальонов национальной гвардии ("медвежьих шапок") и которая вместо того, чтобы навязать правительству более революционную программу, привела лишь к его упрочению. Другие источники, повествующие об этом дне, не упоминают об участии в нем Бакунина. Таким образом приходится предположить, что если он и участвовал в указанной демонстрации, в которой выступало около 150 000 человек, то лишь в виде рядового манифестанта, но никак не в качестве предводителя. В книге "Революция 1848 г. во Франции" (Донесения Я. Толстого), изд. Центроархива, Москва 1926, стр. 17, рассказывается, что Бакунин вместе с тремя другими русскими (Н. Тургеневым, И. Головиным и бывшим священником при русском посольстве Лавровым) участвовал в польской делегации к Временному правительству, возглавляемой ген. Дворницким.

78 Тьер, Адольф (1797—1877)—французский писатель и политический деятель, идеолог крупной консервативной буржуазии. Уроженец юга, этот карьерист в 1821 году перебрался в Париж, примкнул здесь к умеренно-либеральной партии, сделался сотрудником "Конституционалиста", выпустил большую работу по истории французской революции;

вместе с Арманом Каррелем и Минье создал оппозиционную газету "На-сиональ", в которой защищал принцип парламентарной монархии. Сыграл крупную роль во время революции 1830 года, помешав учреждению республики и обеспечив избрание Луи-Филиппа на престол. В 30-е и 40-е годы неоднократно был министром, все более правея и становясь все более агрессивным по

отношению к рабочему классу, движения которого он подавлял с неслыханною жестокостью. В 40-х годах, движимый завистью к своему сопернику Гизо, был главою буржуазной оппозиции против правительства. После революции 1848 г. признал республику, по его мнению наиболее обеспечивающую власть буржуазии вообще. Во время Второй Империи не играл особенной политической роли, хотя стоял в оппозиции к крайнему бонапартизму и требовал либеральных мер. Снова выдвинулся на первый план во время франко-прусской войны, когда объезжал иностранные дворы, ища союзников для Франции. Буржуазия подняла своего старого слугу на щит. Национальное собрание избрало его главою исполнительной власти, в каковом качестве он кровавыми мерами усмирил им же спровоцированное восстание парижского пролетариата (Коммуну), после чего был избран в президенты Третьей Республики. В 1873 г. вышел в отставку, а затем выступал против нового президента Мак-Магона, подготовлявшего восстановление монархии. Кроме работы о революции ему принадлежит еще обширная "История консульства и империи".

79 Уже во время процесса Мерославского в конце 1847 года в Гер-мании в либеральных и особенно демократических кругах раздавались голоса сочувствия польским патриотам. Указывалось, что восстание, задуманное польскою эмиграциею, направлялось главным острием против русского царизма, который является врагом всего прогрессивного и свободного в Европе и угрожает всем западным государствам. Существовали даже проекты (например Бюлова-Куммерова, опубликованный в 1845 г.) восстановления независимой Польши как ограды против варварской России. Известие о краковском восстании встречено было в разных местах Германии с энтузиазмом; в Рейнской области появились даже волонтеры, собиравшиеся вступить в польские войска. С своей стороны соединенный прусский ландтаг принял сочувственную полякам резолюцию и требовал амнистии для привлеченных по процессу Мерославского, В основе этой волны симпатий к Польше лежала мысль о том, что освобожденная Польша вступит в союз с Пруссиею против России.

После мартовской революции симпатии немецкой демократии к полякам еще возросли. Дело в том, что в тот момент существовало опасение российской интервенции против свободы и в защиту поколебленных тронов (как известно, интервенция эта осуществилась только годом позже). Поляки же считались естественным союзником в борьбе против царизма. Интересы европейской демократии и освобождения Польши совпадали. Вот почему в первые дни после революции польские революционеры пользовались в Германии большого популярностью. Особая депутация потребовала от прусского короля освобождения заключенных поляков; последние встречены были овациями; их торжественно привели ко дворцу, и вышедший на балкон король принужден был кричать: "Да здравствует Польша!". Демократия гласно требовала объявления войны России как главному врагу германского единства. Король уже готов был открыто высказаться за объединение Германии и за войну с Россией. Манифест немецких демократов, проживавших в Париже, подписанный от их имени Г. Гервегом, подчеркивал, что объединение и свобода Германии немыслимы без восстановления сильной, свободной и демократической Польши, стоящей между немцами и восточным абсолютизмом: "ибо до тех пор, пока хотя единственная пядь польской земли останется п р у с с к о ю, Пруссия останется м о с к о в с к о ю, а до тех пор, пока Пруссия не перестанет быть московскою, не будет единства и братства между северными и южными немцами". Эти мысли и даже выражения настолько напоминают мысли и слова Бакунина, высказанные в его писаниях 1848—1849 гг. (см. томы III и IV настоящего издания), что невольно на ум приходит предположение о том, что Бакунин принимал участие в составлении цитированного манифеста или по крайней мере тех его мест, которые касаются польского вопроса. Не забудем, что в этот момент Бакунин встречался с Гервегом в Париже, поддерживал его план вторжения в Германию во главе "демократического легиона" и наверно обсуждал с ним содержание манифеста.

В марте 1848 года вся Европа ожидала восстания Польши против царизма и сочувствовала полякам. Британскому "Таймсу" уже мерещились победные польские знамена на берегах Вислы, Немана, Двины и Днепра. Прусский посол в Лондоне Бунзен говорил об освобождении Польши как о вещи несомненной. В Берлине говорили о войне с Россиею как о деле решенном. В Вене также поговаривали о войне с Россией. Эрцгерцог Иоанн, позже блюститель империи, принимая 2 апреля польскую депутацию, признал раздел Польши историческим преступлением и выразил уверенность в неминуемом восстановлении независимой Польши тем или иным способом. А 6 апреля правительственная "Венская Газета" прямо писала: "свободная Австрия принесет свободу Польше, а сильная союзом с Польшей и симпатиею Европы, не отступит для такой великой цели от борьбы с Россией". Наконец собравшийся во Франкфурте предварительный парламент в начале апреля объявил раздел Польши позорным беззаконием, признал священною обязанностью немецкого народа содействие восстановлению Польши и требовал от немецких правительств оказания помощи возвращающимся без оружия полякам. Немало повредило польскому делу молчание Царства Польского.

Мы видим таким образом, что слова Бакунина об угрожавшей России войне—только не "онемечившихся поляков", как он говорит, а поляков в союзе с немцами—не являются плодом разгоряченной фантазии, а основаны на действительном положении вещей в первые недели после февральской революции.

80 Совершенно очевидно, что здесь Бакунин приступает к ответу на заданный ему вопрос (см. выше прим. I к "Исповеди).

81 Ледрю-Ролен, Александр Август (1807—1874)—французский политический деятель. Адвокат по профессии, он примкнул к республиканскому движению, в котором занял выдающееся место. И в палате, куда он избран был в 1841 г., и в журналистике, особенно в радикальной "Реформе", он проводил демократические взгляды, выражавшие настроение левой мелкой буржуазии. Он играл крупную роль во время банкетной кампании и борьбы за расширение избирательного права, и после революции 1848 года сделался влиятельным членом Временного Правительства. В течение всей революции обнаружил бесхарактерность и колебания, свойственные представляемому им классу, занимая подобно последнему промежуточную и колеблющуюся позицию между крупным капиталом и пролетариатом. Будучи министром внутренних дел, разослал по стране своих комиссаров, которые должны были бороться с элементами реакции и способствовать победе республики; но и эти комиссары действовали так же нерешительно, как и их шеф, фактически сдававший все позиции умеренным республиканцам и скрытым монархистам. Но в те времена и он считался в консервативных кругах страшным революционером и потрясателем основ, так что обвинение в принадлежности к "агентам Ледрю-Ролена", особенно в устах николаевских жандармов, было далеко не шуточным. Позже Ледрю-Ролен был избран в исполнительную комиссию, заменившую Временное Правительство. Во время революционной манифестации 15 мая выступал против демонстрантов и способствовал провалу выступления. Будучи членом Учредительного собрания, не нашел своего места в июньские дни 1848 г. и не выступал против диктатуры Кавеньяка. Выставленный кандидатом в президенты от партии мелкобуржуазной демократии, собрал всего 400.000 голосов. В Законодательном собрании был руководителем мелкобуржуазной Горы. Поняв, что поражение пролетариата угрожает самому существованию республики, способствовал тому соглашению между социалистами и радикалами, которое получило тогда название "социал-демократической партии". Но было уже поздно. Выступление 13 июня 1849 года, предпринятое Горою для защиты основ республиканской конституции, нагло попираемой восторжествовавшею реакциею, закончилось поражением, и Ледрю-Ролену пришлось бежать в Англию, где он прожил до 1870 года. Вернувшись во Францию, он дважды избирался в Национальное собрание и в палату депутатов, но уже не играл заметной

политической роли. Вместе с своею социальною группою он не находил себе прочного места в современном обществе, раздираемом борьбою классов на два стана, не допускающих примирения, а если и находил временами, то в лагере врагов пролетариата.

82 Альбер, настоящая фамилия Мартэн, Александр (1815—1895)— французский политический деятель. Рабочий металлист, он принимал деятельное участие в тайных обществах во время Июльской монархии, участвовал в лионском восстании 1834 года; в 1840 г. способствовал основанию рабочего журнала "Мастерская". После февральской революции 1848 года был избран сначала секретарем, а затем членом Временного правительства, в составе которого не сумел проводить пролетарской линии. Попав под влияние Луи Блана, был вице-председателем Люксембургской комиссии. Избранный в Учредительное собрание, выказал сочувствие демонстрации 15 мая и был внесен демонстрантами в список нового революционного правительства; за это был арестован и в 1849 г. приговорен военным судом в Бурже к ссылке. Просидев 10 лет в различных тюрьмах, был освобожден по амнистии 1859 г., но крупной политической роли уже не играл, хотя не раз выставлялся кандидатом на выборах. Служил в газовом обществе.

83 "Централизация" — выборный руководящий центр, Центральный Комитет "Польского Демократического Товарищества", самой крупной и влиятельной организации среди польской эмиграции 30—40-х годов XIX века, объединявшей левую демократическую часть дворянской и буржуазной интеллигенции, бежавшей из Польши от преследований правительств после революции 1831 г. и последовавших за нею заговоров и восстаний. Польское Демократическое Товарищество было основано в 1832 г. во Франции, Централизация же создана была в 1835 году. К этому времени Товарищество насчитывало около 1500 членов, а к концу 40-х годов около 2000. Товарищество издавало "Польский Демократ" (см. том III, стр. 537) и "Журнал П. Д. Т-ва". Именно оно подготовило восстание 1846 года, которое по замыслу инициаторов должно было охватить все три польские "забора", но ограничилось выступлением в Кракове, закончившимся Тарновскою резнёю. Однако влияние Товарищества от этой неудачи не ослабело. Сначала Централизация находилась в Пуатье, затем перебралась в Версаль (именно сюда, как мы знаем, Бакунин ездил столь неуспешно в 1846 году для установления связи с нею), а в 1848 г. переехала в Париж. Члены ее сыграли крупную роль в революционных событиях 1848—1849 гг. в разных странах. После июньского поражения парижского пролетариата и начала реакции во Франции Централизация принуждена была переехать в Лондон. В 50-х годах влияние Дем. Т-ва сильно упало, и к началу 60-х годов она прекратила свое самостоятельное существование, подчинившись варшавскому подпольному национальному правительству.

84 На это указание Бакунина также следует обратить серьезное внимание. Правда Бакунин прямо не говорит, что он написал какие-либо корреспонденции в "Реформу", но его слова не исключают я такого допущения.

В своем показании перед саксонской следственной комиссией 14 мая 1849 г. Бакунин говорит, что писал корреспонденции в "Реформу" и "На-сиональ", и что в связи с этим посещал французского посла в Берлине Э. Араго ("Дело" дрезденского архива, 1285а, том Ia). В Москве мы не могли найти ни "Реформы", за 1849 г., ни "Насионалй" вообще, а потому не могли проверить указания Бакунина. Но в "Реформе" 1848 года кроме перепечатанной оттуда статьи Бакунина о февральской революции (см. том III, № 497) мы никаких следов его сотрудничества не нашли.

85 Эти слова Бакунина весьма характерны. Итак уже в то время он в области тактики держался тех принципов, какие впоследствии применил в своей тайной анархистской организации "Альянс социальных революционеров". В 30-е и 40-е годы XIX века, эпоху тайных обществ и заговоров, такие организационные принципы, почерпнутые из практики карбонарских вент, были впрочем естественны и понятны. Но они уже начали становиться неприменимыми в (конце 40-х годов, когда на сцену выступили массы, и стали еще более устарелыми в 60-х и 70-х годах XIX века, в эпоху появления широкого рабочего движения во время I Интернационала. Принцип же этот: "толпа шумит, а невидимо ведут ее немногие предприимчивые люди, намечающие пути и цели в тайных заседаниях", встретится нам в писаниях и делах Бакунина в его анархистский период.

86 Общество Чарторижского это — правая часть польской эмиграции, аристократическая; общество демократов это—"Польское Демократическое Общество (или Товарищество)", о котором мы говорим в комментарии 83.

87 Речь идет о вторжении "демократического легиона" во главе с Гер-вегом в Германию из Франции, закончившемся самым плачевным образом (см. об этом том III, стр. 499). Бакунин сочувствовал попытке Гервега и на этой почве несколько позже повздорил с Марксом, который считал авантюру Гервега пагубною для дела.

88 И здесь мы усматриваем явный ответ Бакунина на поставленный ему вопрос.

89 Об И. Г. Головине см. том III, стр. 470.

О Н. И. Сазонове см. том III, стр. 480.

О Н. И. Тургеневе см. том III, стр. 552.

90 Герцен, Александр Иванович, псевдоним Искандер (1812—1870)— русский писатель и политический деятель, с 1847 г. эмигрант, основатель и издатель (вместе с Н. П. Огаревым) "Колокола" и "Полярной Звезды", первых довольно широко распространенных органов подпольной печати, один из основателей мирного народничества, один из самых блестящих русских литераторов. С Бакуниным знаком с конца 1839 года. Сначала полемизировал с ним, будучи в России левее его, но в эмигрантскую пору занял гораздо более правую позицию. Утратив после разгрома революции 1848—49 гг. веру в революционные пути, выражал в литературе взгляды прогрессивного умеренно-реформаторского либерального дворянства, все более расходясь с Бакуниным, по мере того как последний все определеннее становился на позицию крестьянского социализма, а затем и революционного анархизма. Даже в то время, когда их пути как будто скрестились, в начале 60-х годов, в эпоху либеральной агитации (см. том V настоящего издания), они в сущности расходились и в целях, и в путях, и в средствах.

91 В письме к Ф. Отто от 17 марта 1850 г. (см. выше, № 541) Бакунин также решительно отвергает это обвинение.

92 Бакунин никогда не был сторонником индивидуального террора, и даже а террористических брошюрах нечаевской поры он имеет в виду массовый красный террор революционеров против партии контр-революции. Но как революционер он не мог разумеется усматривать в террористических посягательствах на тиранов "злодейство и подлость". Такие термины он употребил здесь для своего коронованного духовника. В действительности же он думал на этот счет несколько иначе, и когда Герцен назвал Березовского, стрелявшего в Париже в Александра II, фанатиком, Бакунин отвечал ему: "Березовский—мститель и самый законный мститель за все преступления, муки и кровавые оскорбления, вынесенные Польшею и

поляками. Неужели ты этого не понимаешь? Да ведь если бы не было таких взрывов негодования, можно бы было отчаяться в людях" (Письмо от 23 июня 1867 года).

93 Б р у т, Марк Юний (85—42 до Р. Х.) — римский республиканец, участник заговора, который закончился убийством Цезаря, стремившегося к престолу. Классический образец тираноубийцы.

Алибо, Луи (1810—1836)—бывший конторщик, служил в армии, вышел в отставку с чином каптенармуса; решительный республиканец, прибыл в Париж с целью убить короля за зверскую расправу с рабочими;

25 июня 1835 года произвел из обреза выстрел в Луи-Филиппа, но промахнулся. Подвергнут квалифицированной казни отцеубийц 11 июля.

Равальяк, Франсуа (1579—1610) — католический фанатик, убивший 14 мая 1610 года французского короля Генриха IV. Казнен после мучительных пыток.

94 Холера охватила в 1831 году значительную часть России и вызвала народные волнения в разных местах страны, в том числе в столицах. Существует даже легенда об усмирении холерного бунта в Петербурге посредством появления самого царя на Сенной площади, где увидевшие его бунтовщики сразу усмирились и пали на колени. "Грусть" Николая I объясняется его страхом перед народными волнениями.

95 Второй паспорт был на имя Леонарда Неглинского. Он был отобран у Бакунина в Берлине, но возвращен ему.

96 Ясно, что речь идет о басне "Лягушка и вол".

97 "Предварительный парламент" открылся во Франкфурте-на-Майне 31 марта 1848 г. и продолжался до 3 апреля. В нем участвовало 511 представителей от разных германских государств. И уже в нем сказалось бессилие немецкого либерализма. Слова Бакунина о том, что он застал еще во Франкфурте заседания предварительного парламента, доказывают, что он действительно приехал туда в начале апреля.

98 О Минутоли см. том III, стр. 502.

Сколько времени этот "либерал-полициант" продержал Бакунина в полицейском участке, трудно установить с точностью. В "Исповеди" Бакунин говорит, что его выпустили на другой день, т. е. продержали в полиции целые сутки, ибо арестован он был в полдень 21 апреля. В полицейском протоколе сказано, что он был освобожден 21-го вечером,

т. е. все же просидел несколько часов. Согласно же показанию, данному Бакуниным в Праге 15 июня 1850 года, он был задержан лишь на час. Последнее впрочем сомнительно. Если допрос, снятый с него 22 апреля и напечатанный в томе III под № 499, был учинен ему до освобождения, то и выйдет, что он просидел в участке сутки. Но, кажется, допрос происходил после освобождения его из полиции. См. статью проф. Пфицнера — "Бакунин в Пруссии в 1848 голу", напечатанную в немецком "Ежегоднике культуры и истории славян" 1931, том VII, выпуск III, стр. 241.

99 О польском съезде или точнее конференции в Бреславле известно очень немного; немногочисленная литература о нем указана в статье Пфицнера о пребывании Бакунина в Пруссии (стр. 247). Ввиду того, что разыгрывавшиеся в Европе события требовали внесения единства в польские ряды находившийся в эмиграции польский генерал Дембинский по

соглашению с несколькими видными польскими деятелями Познани и Галиции задумал созвать нечто вроде совещания влиятельных представителей польской общественности Пруссии и Австрии (участие представителей из Царства Польского вследствие строгой охраны российских границ с самого начала считалось исключенным) для выработки общей программы действий и избрания какого-либо центрального руководящего органа или временного правительства. Характерно, что на эту конференцию приглашены были преимущественно мирные местные люди, почвенники, а эмигранты, более революционно и демократически настроенные, приглашения на съезд не получили. Приглашено было 80 человек, а прибыло около 60-ти. Несмотря на небольшое число собравшихся и на принадлежность большинства их в общем к одному политическому направлению (умеренного постепеновства), сговориться им не удалось, и ни к каким существенным практическим постановлениям они не пришли. В этом отношении Бакунин совершенно прав в своей характеристике бреславльского съезда, состоявшегося между 5 и 7 мая 1848 года на квартире ген. Дембинского. Съезд выпустил велеречивый манифест, в котором говорилось о праве наций на самоопределение, о федерации народов и о всеобщем разоружения Европы, а также обратился к полякам с призывом принять по возможности более широкое участие в подготовлявшемся славянском конгрессе в Праге.

В Бреславле Бакунин расширил свои знакомства среди поляков. Кроме местных поляков сюда наехало много эмигрантов, высланных из Кракова, а также множество беглецов из русской Польши, спасавшихся от белого террора царского сатрапа Паскевича. В частности он познакомился здесь с графом Александром Велепольским, незадолго до того выпустившим "Открытое письмо польского дворянина к князю Меттерниху", в котором проповедывал примирение поляков с царизмом, — позиция, которую Бакунин решительно отвергал. Здесь же он познакомился с графом Илиодором Скуржевским и его братом Арно. Разумеется, не отказываясь от знакомства с представителями аристократии, он завел еще больше знакомств среди демократов, но последнему мешали позорящие его слухи, распространившиеся среди части польской демократической эмиграции.

Цибульский, приезжавший на бреславльскую конференцию, познакомил Бакунина с Челякозским, который дал Бакунину рекомендательное письмо к своему зятю Сташеку в Прагу; это должно было облегчить задачу Бакунина, собиравшегося на славянский конгресс, в котором он расчитывал найти опору для своих революционных предприятий.

100 Это место также заслуживает особенного внимания. Здесь Бакунин в который уже раз снова устанавливает источник порочащих слухов, распространявшихся на его счет: они шли из кругов польской эмиграции и в частности из ее демократического крыла. Почему демократического, это ясно само собой; демократы были более активны, имели больше связей в Царстве Польском, затевали разные революционные дела в границах царской империи, сильнее рисковали и потому особенно осторожно относились ко всем лицам, способным возбудить малейшее подозрение в политическом отношении. Почему дурные слухи о Бакунине в рассматриваемое время усилились? Опять-таки понятно: Бакунин очутился в Бреславле, ближе к российской границе, здесь происходил созванный на 5 мая 1848 года польский съезд, вероятно велись разного рода опасные разговоры, замышлялись выступления; между тем Бакунин естественно встречался с поляками, выражал интерес к их делам, при всей своей осторожности наверно расспрашивал про польские замыслы и людей и т. п. Неудивительно, что в такой напряженной атмосфере и в такой накаленной обстановке чувства были более обостренными, чем обычно, подозрительность сильнее, чем в обыкновенное время, присутствие русского Бакунина могло многим казаться странным, во всяком случае оно было необычным, ибо русский революционер в те времена вообще был белою вороною, а еще интересующийся польскими делами и выражающий солидарность с поляками против своего правительства был чем-то совсем непонятным и чудным. Немудрено, что слухи о Бакунине в это время еще

усилились. Но повторяем, немецкие коммунисты были здесь ровно ни при чем. Они тогда вероятно даже не знали, где находится Бакунин, и не думали о нем.

101 Ледуховский, Ян, граф (1791—1864)—польский политический деятель, националист и консерватор, противник освобождения крестьян. Вступив в войска княжества Варшавского, был адъютантом кн. Понятовского, был ранен и взят в плен австрийцами. По освобождении принял участие в походе Наполеона 1812 года. Был депутатом в сеймах 1825, 1830 и революционном 1830—1831 гг. Активно участвовал в революции как в области политической, так и военной. За границею принимал деятельное участие в делах польской демократической эмиграции, которой помогал и материально. Был членом "Польского национального комитета" под председательством ген. Дворницкого. Высланный из Франции, уехал в Англию. По возвращении в Париж принадлежал к "Демократическому Товариществу" и в качестве последнего председателя распустил его в 1862 году незадолго до начала восстания. Поддерживал делом и деньгами польскую военную школу в Батиньоле (под Парижем), первый пожертвовав на нее 30000 франков.

102 Это место надо считать преувеличением со стороны Бакунина. Правда высылка его из Парижа в 1847 году окружила его имя известным ореолом. С другой стороны, как правильно указывает Пфицнер, перед бреславльскими провинциалами он выступал в виде мирового демократа, явившегося из Парижа и запросто знакомого с самыми знаменитыми французскими революционерами. Однако в то время он был еще слишком мало известен немцам за исключением узкого круга старых знакомых по Берлину и Дрездену 1840—1842 годов. Да и те вряд ли смотрели на него как на "оракула", особенно в немецких делах, в которых он плохо разбирался. Позже, после его выступлений на пражском съезде и выхода его "Воззвания к славянам" популярность его возросла, но и тогда, как видно по воспоминаниям современников, даже такие приятели его, как А. Реккель, Р. Вагнер, и пр., при всем обаянии его личности, вовсе не смотрели на него как на оракула, хотя любили и уважали его и во многом прислушивались к его словам, далеко однако не принимая их без критики.

Что его влияние на бреславльских демократов было впрочем немалым, видно из того, что ему удалось убедить их выставить вместо намеченного во Франкфуртский сейм Энгельмана кандидатуру саксонца А. Руге. Несмотря на то, что против кандидатуры Руге высказывались как умеренные либералы, так и коммунисты, он был избран в депутаты. Об этом говорит один бреславльский демократ, цитируемый Пфицнером: "И так могло случиться, что благодаря вмешательству русского Бакунина, инкогнито проживавшего в Бреславле, Руге был тогда выставлен кандидатом во Франкфуртский сейм" (стр. 252). Сам Руге пытался впоследствии и своих воспоминаниях замазать этот факт.

Замечательно, что с коммунистами, которыми в Бреславле руководил тогда Вильгельм Вольф ("верный защитник пролетариев", которому посвящен первый том "Капитала"), Бакунин и здесь не сошелся.

103 Расхождение интересов живших в Познанском герцогстве поляков и немцев довело национальные страсти в этой области до белого каления. Когда прусское правительство 22 апреля 1848 г. постановило разделить герцогство на две части, из которых большую включило в состав Германского Союза, полями начали восстание. Польские волонтерские отряды, составленные в большинстве из крестьян и батраков, проявили чудеса мужества м, вооруженные косами, нанесли несколько поражений прекрасно вооруженным и обученным прусским войскам, как например 30 апреля при Милославле, где Мерославский разбил генерала фон Блюмена. Но в конце концов повстанцы были разбиты, и к середине .мая восстание закончилось.

104 После подавления генералом Кастильоне восстания в Кракове, вызванного его провокационным приказом от 19 апреля не пропускать через границу польских эмигрантов, городом после бомбардировки 25 апреля подписана была 27 апреля капитуляция, в силу которой все эмигранты высылались из австрийских пределов. Позже аналогичная мера была принята и прусским правительством.

105 Восстание баденских республиканцев под предводительством Ф. К. Геккера и Густава Струве началось 13 апреля 1848 г. Позже на помощь к ним поспешил "демократический легион" под предводительством Г. Гервега. К 25 апреля восстание, не поддержанное массами, было подавлено с невероятною жестокостью. В сущности этот разгром можно рассматривать как начало поражения германской революции.

106 Речь идет о демонстрации 15 мая, затеянной левыми клубами в целях разгона реакционного Учредительного собрания и установления нового Временного правительства, проводящего действительно революционную программу. Движение закончилось полною неудачею и только усилило реакционную партию, которая с этого дня перешла в открытое наступление на пролетариат и спровоцировала июньское восстание, приведшее к окончательному разгрому авангарда рабочего класса.

107 По мысли своих инициаторов славянский съезд также входил в общий план заговора реакции против революции. Еще в начале апреля хорватский ,бан Елачич, бывший тогда одним из самых активных деятелей австрийской контр-революции, виделся в Вене с Шафариком и другими представителями славянского движения. На этих совещаниях сложилась та мысль, что немецкому парламенту во Франкфурте и венгерскому сейму необходимо противопоставить славянский съезд в Праге. Таким образом национальные стремления славян, естественно пробужденные революциею, использовались как орудие борьбы с этой революцией. Так как инициаторы этой идеи все стояли на почве сохранения Австрийской империи (Елачич, Шафарик, Палацкий, И. М. Тун и пр.), то весьма вероятно, что у колыбели этой идеи стояло само австрийское императорское правительство (быть может, в лице того же Елачича). Славяне, руководимые своим дворянством и реакционной буржуазией, должны были составить базу сплочения всех охранительных сил против революционных выступлений немцев, сепаратизма мадьяр и стремления итальянских провинций Австрии к отделению от нее.

Вслед за этим предварительным совещанием хорватский патриот и писатель И. Кукулевич выступил в газете "Славянский Юг" с призывом созвать славянский съезд, с призывом, который был быстро подхвачен всеми другими славянскими органами. В конце апреля в Вене образовался комитет из представителей всех живущих в Австрии славян, а 1 мая появилось извещение, что славянский съезд созывается на 31 мая в Праге. Призыв обращен был только к славянам Австрийской империи, причем заявлялось, что славяне из других стран будут с радостью приняты на конгрессе как гости. Съезд по мысля своих инициаторов должен был отстоять целость Австрийской империи, дать отпор революционным и сепаратистским стремлениям других народностей империи и этим доставить славянам, в частности чехам (т. е. их господствующим классам), преобладающее место в восстановленной монархии.

108 Как указывает В. Чейхан (цит. соч., стр. 15 сл.), если Бакунин до 1848 года не знал чехов, то это не значит, что чехи не знали его. В немецкой газете "Богемия" 25 апреля 1848 года появилась заметка такого содержания: "Бакунин, Головин и Тургенев, известные своею судьбою и писаниями, выехали из Берлина в Краков". Разумеется само по себе содержание заметки неверно: Бакунин не ездил в Краков, а Головин и Тургенев (Возможно впрочем, что здесь

речь идет не о Н. И. Тургеневе (и тем более не о И. С. Тургеневе), а о А. И. Тургеневе, брате Николая Ивановиче, разъезжавшем по Европе) в тот момент сидели в Париже и из него никуда не выезжали, но она показывает, что во всяком случае о существовании Бакунина кое-кто в Чехии знал. Как видно из переписки *Ф.* Л. Челяковского, тогда профессора славяноведения в Бреславльском университете, Бакунин до своей поездки в Прагу познакомился там с этим представителем чешской интеллигенции (Челяковский также присутствовал на пражском съезде). Последний передал заботы о нем своему зятю Вацлаву Станеку, прося его познакомить Бакунина с другими чехами. О предстоящем участии Бакунина в славянском съезде известно стало уже 19 мая, когда в газете "Narodni Noviny" ("Национальные Известия") появилось следующее сообщение: "Профессор славяноведения в Берлине Цыбульский привезет с собою русского эмигранта Бакунина". А во время пребывания Бакунина в Праге, куда он приехал 29 мая, местные газеты писали о нем как о знаменитости. Так упомянутая "Богемии" говорила 1 июня 1848 г.: "Одним из светил славянского конгресса является русский М. Бакунин". В тот же день "Пражский вечерний Листок" писал: "Бакунин, прославившийся своею судьбою русский писатель, находится здесь".

Станек, Вацлав (1804—1871)—чешский врач и писатель; изучал в Пражском университете филологию и медицину. Занимался врачебною практикою. В 1848 году принял деятельное участие в общественном движении, был депутатом в чешском и обще-австрийском сеймах. С начала 50-х годов отдался филологическим изысканиям и участию в Чешской Матице. Был в приятельских отношениях с И. Фричем, Ф. Л. Челяковским и другими, с которыми у него были литературные связи и которые вовлекли его в чешское национальное движение.

О Челяковском, Ф. Л. см. том III, стр. 502.

О Цыбульском, Адальберте см. том III, стр. 502.

Как видим, Бакунин сумел быстро завязать нужные знакомства в Берлине и Бреславле. Возможно, что адреса некоторых своих новых знакомых он получил от парижских поляков.

109 Робер, Киприан (Cyprien Robert)—французский писатель; родился в 1807 г., изучал языки и литературы различных народов, в частности славянских. В 1842 г. вошел в редакцию журнала "Revue des deux Mondes" и сделался одним из самых активных его сотрудников. С 1845 по 1852 гг. занимал кафедру славянских языков и литератур в Collige de France после оставления этой кафедры А. Мицкевичем. Написал несколько работ по славяноведению.

110 Бакунин имеет в виду сцены, происходившие при открытии съезда. Как передают современники, съезд открылся чрезвычайно торжественно. Говорили Палацкий, Шафарик, затем последовали речи на всех славянских наречиях, причем ораторы выступали в национальных костюмах. Юго-славяне, готовившиеся к войне с венграми, гремели саблями, все под наплывом горячего чувства бросались друг другу в объятия, вообще произошла одна из редких сцен одушевления и энтузиазма.

111 Собственно говоря, мысль чешских патриотов о превращении Австрийской империи из немецкой в славянскую нашла немало сторонников и среди польских патриотов, особенно в консервативном лагере. Во главе этого охранительно-славянского направления, которое можно назвать австрийским панславизмом, стали такие видные польские деятели, как Адам Потоцкий, Юрий Любомирский (позже член пражского съезда), Здзислав Замойский и пр. Они стояли на той точке зрения, что если немецкая централистическая и бюрократическая Австрия была вредна для польского дела, то славянско-федеративная могла бы быть для него полезна. В

этом пункте они сходились с многочисленными сторонниками славянского единения в Галиции. Франтишек Смолка развивал ту мысль, что Австрия .может иметь будущее только как федеративное государство, построенное на полной самостоятельности населяющих ее народов. С своей стороны познанские поляки, задетые разделом герцогства Познанского в пользу немцев, готовы были искать в славянском единстве орудия борьбы с немецким засильем. Андрей Морачевский первый подал мысль о славянском съезде.

В пражском съезде, созванном чешскими националистами, поляки приняли довольно деятельное участие. Польских делегатов было несколько десятков. Среди них назовем А. Морачевского, К. Либельта, Адальберта Цыбульского, прибывших из Познани, Юрия Любомирского и Леслава Лукашевича из Кракова; далее Лукиана Семеньского и Константина Залеского присутствовал также А. Велепольский, впоследствии сыгравший такую пагубную роль в начале 60-х годов, а тогда уже довольно известный благодаря своему открытому письму к Меттерниху, написанному в дружелюбном царизму духе (см. выше, стр. 409). Поляк Юрий Любомирский был избран в товарищи председателя съезда.

Отмеченное Бакуниным ироническое отношение польских делегатов объяснялось как их сравнительно более высоким политическим развитием, чем у остальных делегатов, так и их несочувствием тем по существу реакционным целям, которые более или менее сознательно ставили себе инициаторы и вдохновители съезда.

112 В "Воззвании к славянам" Бакунин, еще веривший в возможность нового революционного взрыва и в частности в близкое восстание Богемии, выражается о пражском съезде несколько иначе; там он называет этот съезд "полным жизни", утверждает, что он провозгласил эру славянской свободы и братства, а про себя говорит, что свое участие в этом съезде "считает за величайшую честь в своей жизни".

113 Славянский съезд в Праге явился результатом стремлений чешской буржуазии вытеснить и заменить буржуазию немецкую, составлявшую меньшинство в Австрийской империи, но тем не менее занимавшую главенствующее положение как в экономической, так и в политической и культурной области. Будучи наиболее развитою частью славянских национальностей, составлявших большинство в империи, чехи, в случае, если бы им удалось объединить и возглавить движение славян, могли рассчитывать занять преобладающее положение в австрийском государстве, а опираясь на обширный рынок, представляемый славянским населением Австрии, дать материальное удовлетворение чешской промышленной, торговой и интеллигентской буржуазии. Среди славянских народов Австрии, в подавляющем большинстве крестьянских, чехи единственные имели сравнительно развитое мещанство и сумели выработать собственную интеллигенцию, не бывшую в состоянии найти полное применение своим силам в результате неравноправия славян. Отсюда ее панславистские стремления, являвшиеся естественным выражением ее социального положения.

Революция 1848 года, развязавшая все до того задавленные порывы угнетенных народов и национальностей, выдвинула на первый план все политические, экономические и национальные стремления, до тех пор насильственно загоняемые внутрь. И сами события этого бурного времени, в течение которого наряду с громкими фразами о всеобщей свободе и равенстве проявились недвусмысленные классовые вожделения, дали добавочный толчок ранее тлевшему в порах общества панславизму. Стремясь к осуществлению своих политических программ, немецкая буржуазия и венгерская аристократия попутно лишний раз задели самолюбие и интересы славянства, что сейчас же использовано было славянским и особенно чешским мещанством для своих целей. Три события в особенности толкнули славян к сопротивлению: это — 1) попытка германской буржуазии инкорпорировать в будущую единую

Германию чисто славянские земли, выразившаяся в стремлении заставить эти славянские области Пруссии и Австрии посылать своих депутатов в общегерманское национальное собрание во Франкфурте и в присоединении большей части Познанского герцогства к Германскому Союзу по приказу прусского короля; 2) систематическое нарушение интересов и самолюбия славянских народов правительствами и господствующими классами после революции; 3) попытки венгерского посреволюционного правительства продолжать старую политику денационализации и подавления входивших в состав венгерского королевства славянских народов. Этими действиями славяне толкались в лагерь контр-революции, которая сумела хорошо использовать создавшееся положение.

Когда австрийский министр Пиллерсдорф приказал произвести выборы в Франкфуртское национальное собрание от всех земель Австрийской империи, в том числе от Чехии, Моравии и Силезии, чешский национальный комитет (составившийся после мартовской революции преимущественно из представителей буржуазии) решительно отказался от выборов во Франкфурт, усматривая в этом проявление германизации. По этому поводу П. Ровинский замечает: "В этом эпизоде со всею яркостию выразился характер чешского движения, в котором самый строгий судья не мог бы отыскать революционных элементов. Напротив движение чехов было чисто консервативное. Только один какой-нибудь момент было неопределенное волнение, в котором было что-то похожее на социально-политическое направление; но вскоре обозначился чисто консервативный характер, и он определился еще яснее с того времени, как Прагу посетили франкфуртские депутаты. С этого момента чехи становятся в совершенно иные отношения к Вене (революционной. —*Ю. С.).* Они видят в ней элемент, разрушающий единство империи, и всеми силами противодействуют всем ее действиям, чтоб только спасти целость и независимость Австрии" ("Чехи в 1848 и 1849 годах". "Вестник Европы" 1870, № 1, стр. 100).

"Четвертый раздел Польши", произведенный прусским правительством, присоединившим большую часть герцогства Познанского, в том числе и числе и польские местности к Германскому Союзу, заставил многих поляков, которые до того косо посматривали на всякие панславистские поползновения, усматривая в них руку Москвы, на этот раз прислушаться к призывам об объединении славянских народов для сопротивления попыткам их денационализации и порабощения. Вот почему поляки и особенно познанские приняли в пражском съезде довольно видное участие.

Что касается венгерских славян, то они первые подняли оружие против мадьяр. Объективные основания для этого конечно были, и всесторонняя эксплуатация, которой венгерские магнаты веками подвергали словенцев, словаков, хорватов, сербов и пр., населявших области Венгрии, была разумеется основною причиною ненависти этих по преимуществу крестьянских народов к мадьярам, в коих они видели своих политических, экономических и идейных поработителей. Но здесь дело не обошлось и без провокации со стороны австрийской камарильи, которая в этом деле натравливания одного народа на другой обладала старым и огромным опытом. Будучи бессильна против мадьяр и принужденная уступать их домогательствам, в частности требованию отдельного самостоятельного министерства, австрийская камарилья рекомендовала населению Славонии и Кроации не повиноваться распоряжениям венгерского правительства, обещая им за это в будущем богатые милости и открыто подкупая таких авантюристических представителей южного славянства, как Елачич. Но выставляя перед этими темными славянскими народами венгерцев в виде бунтовщиков против престола, камарилья одновременно советовала венгерскому министерству примерно расправиться с славянскими бунтовщиками. Венгерские правители не нуждались в таких советах, и по воле австрийского реакционного правительства скоро повсюду вспыхнуло восстание славян против

венгров, но восстание это носило характер не революционный, а реакционный и лило воду на мельницу контр-революции.

В такой обстановке появилась мысль о славянском съезде и велась

его подготовка. Первым высказал мысль о славянском съезде хорватский писатель Иван Кукулевич в загребских "Иллирийских Новинах". Местом

съезда единогласно избрана была Прага как центральный пункт для всех славян. 30 апреля состоялось первое собрание инициаторов, главным образом чехов и поляков, избран был организационный комитет под председательством графа И. М. Туна, а 1 мая появилось на нескольких славянских языках первое воззвание о съезде (оно напечатано по-чешски полностью в "Справке о славянском съезде", помещенной во втором томе "Casopis Ceskйho Museum" за 1848 год и вышедшей тогда же отдельною брошюрою, стр. 17—18, а оттуда перепечатано в брошюре "Славянский съезд в Праге в 1848 году" М. И. К—ина, С.-Петербург 1860, стр. 24—25, и в статье А. Р., т. е. А. Пыпина, "Два месяца в Праге", помещенной в "Современнике" 1859, том LXXIV, стр. 324—325). Указывая на то, что революция толкает народы, в частности немецкий, к объединению, воззвание призывало и славян "сговориться и слиться мыслью воедино", а потому приглашало "всех мужей, пользующихся доверием славянских народов Австрийской империи", собраться к 31 мая в Праге для общего обсуждения выгодной для австрийских славян программы и тактики (причем авторы обращения заранее высказывались против нарушения австрийского единства). "А если,—прибавляло в конце воззвание,—захотят и прочие славяне, живущие вне пределов нашего государства, почтить нас своим присутствием, они будут нашими гостями; мы будем им душевно рады". 5 мая появилось обращение к неславянским народам Австрийской империи, которое должно было их успокоить насчет намерений инициаторов славянского съезда, возбуждавшего различные опасения. Здесь подчеркивались мирные цели съезда и выставлялся на вид лоялизм его инициаторов, "объявлявших гласно и подтверждавших клятвою ненарушимо и верно хранить к царствующему над нами на конституционных началах наследственному дому габсбурго-лотарингскому нашу старую верность и всеми нам доступными средствами охранять целость и самостоятельность австрийской империи".

Таким образом цели инициаторов съезда, по крайней мере чешских, бывших действительными его хозяевами, ясны: в них не было ничего крамольного, и только революционный романтизм Бакунина мог приписывать этому съезду какие-то революционные задачи. Каких "гостей" из среды славянства других государств ждали к себе чешские заправилы съезда, видно из тех приглашений, какие они послали в николаевскую Россию. Два из них опубликованы в заметке В.А. Францева "Приглашение русских на славянский сьезд в Праге в 1848 г.", напечатанной в "Голосе Минувшего" 1914, № 5, стр. 238 сл.

Это—два письма В. Ганки своим приятелям генералу А. Стороженко (он же тайный советник и сенатор в Варшаве) и д- ру Федору Цыцурину, профессору Киевского университета, позже президенту Медико-хирургической академии в Варшаве. Оба адресата Ганки поспешили представить полученные ими письма по начальству; а тогдашнее российское начальство вроде кн. Паскевича смотрело и на верноподданных чехов как на "бунтовщиков" против своего монарха. Переписка по этому вопросу восходила до самого Николая 1, который приказал не отвечать Ганке. Такие же приглашения получили и другие лица в России: вероятно они принадлежали к тому же чиновному и сановному кругу. Никто из них разумеется в Прагу не поехал. Россия была представлена на пражском съезде двумя делегатами, приезда которых Ганка и Шафарик наверное не ожидали, а именно М. Бакуниным и раскольничьим попом А. Милорадовым.

114 О Палацком см. том III, стр. 541.

Шафарик, Павел Иосиф (1795—1861)—известный славист, родом словак, писавший по-чешски и по-немецки, один из основателей славяноведения. Был учителем гимназии в Сербии, с 1833 г. переселился в Чехию; благодаря ему Прага сделались центром славяноведения, куда приезжали учиться ученые из разных стран, в том числе и из России; автор множества трудов, из которых главный — "Славянские древности". В политической области примыкал к тому консервативному течению в чешском мещанстве, которое делало чешскую буржуазию орудием дворянства австрийского двора, на пражском съезде играл такую же роль, как и Палацкий, причем оказались вместе с массою чешской и славянской интеллигенции пособниками реакции против революции, но вместо ожидаемой от австрийской камарильи благодарности получили в результате лишь усиление немецкой централизации.

Тун, Иосиф Матвей, граф (1794—1868)—австрийский и чешский общественный деятель из известного аристократического чешского рода, богатый помещик; участвовал б войне 1813—1815 гг, после чего оставил военную службу и отдался управлению своими имениями, одновременно интересуясь научными делами. Был членом чешского научного общества, приятелем Палацкого и Шафарика; изучал чешскую филологию и литературу, перевел на немецкий язык много, чешских произведений, в том числе "Краледворскую рукопись". Выступал с брошюрами в защиту славянства и его прав на самостоятельность. Хотя и умеренный либерал, он был в богемском сейме одним из вождей оппозиции против власти. После революции 1848 г. был членом чешского национального комитета. Вначале был председателем организационного комитета по созыву славянского съезда, но вскоре сложил с себя это звание вследствие болезни, которая заставила его вовсе отойти от общественной жизни.

Ганка, Вацлав (1791—1861)—чешский поэт и ученый, выдающийся деятель чешского национального возрождения. Написал и перевел с других языков много славянских песен, издал ряд древних памятников чешского и других славянских языков, в том числе сомнительную по подлинности "Краледворскую рукопись", автор ряда историко-политических сочинений, написанных в панславистском и даже русофильском духе. Был профессором чешского языка и литературы в Пражском университете. Типичный представитель правого, реакционного панславизма, используемого российским царизмом в своих целях.

Коллар, Ян (1793—1852)—чешский писатель, родом словак, деятель славянского возрождения. С 1819 года священник евангелической церкви. Коллар вернулся из Венгрии на родину и к негодованию венгерских националистов горячо принялся за пробуждение национального сознания среди словаков. В 1848 году активно выступал как панславист, был членом пражского съезда; в том же году назначен профессором Венского университета. Представитель правого, реакционного панславизма.

Урбан (Hurban), иначе Гурбан, Иосиф Милослав (1817—1888)— выдающийся словакский писатель и общественный деятель. С 1830 года учился в Пресбурге, где Людвиг Штур пробудил в нем национальное чувство. С 1842 г. был капелланом, а с 1843 г. до смерти приходским священником в Глубоком. До 1848 года писал по беллетристике, критике и богословию, основал несколько периодических изданий для насаждения просвещения среди словаков. В 1848—1849 гг. поднял деятельное участие в политическом и военном движении, направленном против венгров, и был одним из вождей восстания словаков, имевшего целью поддержать войска австрийского императора, боровшиеся против революционной мадьярской армии. Таким образом подобно другим славянским деятелям того времени сыграл в высшей степени

пагубную роль орудия и агента реакции против революции. После разгрома революции вернулся к литературной работе

О. Л. Штуре см. том III, стр. 517.

115 Три правительства, о которых говорит Бакунин, были следующие:

1) первое ответственное министерство Австрии, образовавшееся после

мартовской революции, под председательством графа Коловрата, замененного затем Фикельмоном (русским агентом), но фактически находившееся под руководством министра внутренних дел Пиллерсдорфа, старого "либерального" бюрократа. Это официальное правительство, в действительности не имевшее власти, создано было только для обмана общественного мнения: оно должно было служить прикрытием для камарильи, собиравшей в тиши силы для подавления революции;

2) тайное правительство, камарилья, державшая в руках императора, а главное армию, предоставлявшая венским министрам говорить либеральные речи, а сама готовившая силы, ведшая войну с революционными элементами во всех частях империи, громившая итальянцев, чехов, венгров. поляков, бомбардировавшая города и т. п. Ввиду усиленного брожения в Вене, где учащаяся молодежь вместе с мелкобуржуазными демократами и рабочими все усиливала свой напор на министерство, камарилья решила вывезти императора из бунтовской столицы, и 17 мая 1848 г. император, даже не предупредив свое министерство, удрал из Вены в Тироль, населенный диким и реакционным крестьянством, и основался в Инсбруке, где вокруг него составилось второе неофициальное правительство из самых отъявленных реакционеров, не желавших делать никаких уступок революции и стремившихся к полному восстановлению дореволюционных порядков. С этим именно незаконным, но фактически располагавшим властью правительством и вступили в сношения чешские заправилы помимо венских министров;

3) первое венгерское конституционное министерство во главе с Ба-тиани, в котором руководящую роль уже начинал играть министр финансов Кошут, будущий диктатор.

116 В. Чейхан (цит. соч., стр. 18 и 74), указывает, что Бакунин ошибается, приписывая инициативу пражского съезда Палацкому, Шафарику и И. М. Туну; при этом Чейхан объясняет эту ошибку тем, что Бакунин делал свой вывод на основании той роли, какую названные лица играли на съезде; Палацкий был его старостой, т. е. председателем, Шафарик председателем важнейшей секции съезда—чешско-словакской, а гр. Иосиф Матвей Тун был председателем подготовительного (организационного) комитета. Бакунин, по словам Чейхана, не знал, что Палацкий, Шафарик и Тун склонились к мысли, о созыве съезда только после того, как уже сорганизовался комитет по его подготовке.

По мнению Чейхана вообще трудно установить, кому принадлежит здесь приоритет. Тоболка в своей книге "Slovansky sjezd v Praze Г. 1848" ("Славянский съезд в Праге 1848 года"), Прага 1901, стр. 47 сл., признает этот приоритет за Ив. Кукулевичем, т. е. за хорватом; чехи же явились только выполнителями этой мысли. Иосиф Шкультетый в рецензии на книгу Тоболки (в "Slovenske Pohledy" 1901) считает отцом этой мысли Людвига Штура, тоже словака (впоследствии приятеля Бакунина, о котором см. в томе III, стр. 517). П. Ровински и в своей работе "Чехи в 1848 и 1849 годах" ("Вестник Европы" 1870, №№ 1 и 2) приписывает эту инициативу южным славянам. Выше мы видели, что подобная мысль бродила и в некоторых

польских головах, в частности в Познани, как показывает пример историка А. Морачевского. Но многие историки приписывают мысль о славянском съезде чехам.

Кукулевич, Иван (1816—1889) — хорватский историк, опубликовавший множество источников и документов по хорватской истории и литературе. Принимал участие в движении славянского возрождения в 30-х и 40-х годах. Согласно некоторым указаниям первый подал в 1848 году мысль о желательности созыва общеславянского съезда для борьбы с немцами и венграми, стремившимися удержать славян в подчиненном положении.

117 Назначенный взамен гр. Стадиона наместником Чехии чешский аристократ и реакционер гр. Лео Тун (1811—1888) стремился использовать националистические тенденции чешского мещанства для борьбы с венскими революционерами. С этою целью он вступил в соглашение с чешским национальным комитетом и предложил ему выделить делегацию, которая составляла бы при нем нечто вроде совещательного комитета. Этот совет, состоявший из 7 человек (Палацкий, Ригер, Боррош, гр. Альберт Ностиц, Браунер, гр. Вильгельм Вурмбранд, Штробах), образовал нечто вроде временного правительства, которое постановило помимо венского министерства войти в непосредственные сношения с императорским двором, бежавшим от революции в Инспрук. С этою целью в Инспрук посланы были Ригер и Ностиц, весьма милостиво принятые императором. Решено было назначить Франца-Иосифа наместником Чехии, созвать чешский сейм и т. п. Так составился заговор чешской буржуазии с австрийской камарильей против революции.

118 В. Чейхан (стр. 74) не знает, о какой брошюре Палацкого Бакунин в данном случае говорит, и даже высказывает предположение, что Бакунин ошибается в имени автора. Нам тоже не удалось найти среди статей Палацкого, относящихся к рассматриваемому времени, приведенной Бакуниным фразы, но все же мы не решаемся утверждать, что он в данном случае ошибся.

119 Тот же Чейхан (стр. 20 и 74) отказывается вслед за Бакуниным приписывать тогдашней политике чешских руководящих деятелей “им-периалистические”, как он выражается, цели. Обвинение в стремлении к превращению Австрийской империи из немецкой в славянскую с преобладанием чехов, говорит Чейхан, выдвигалось с немецкой стороны, возмущенной отказом чехов от участия в выборах в Франкфуртский сейм и испуганной созывом пражского съезда (кстати несомненную связь обоих этих моментов, вытекающую даже из тогдашних славянских источников В. Чейхан тоже готов объявить выдумкою немцев). Но Бакунин в данном случае совершенно прав. Сама логика положения толкала тогдашних славян Австрии и в первую голову руководивших ими чехов в сторону использования своего большинства для превращения империи в славянскую (иначе какой смысл имело охранять ее от немцев, якобы желавших растворить ее в Германии, и от венгров, стремившихся к ее раздроблению?). А чтобы добиться этого, необходимо было создать крепкий и обширный центр славянского сплочения на место разрозненных племен, бессильных против более сплоченных и культурных немцев и венгров. Кто же кроме чехов мог создать в Австрии такой центр? Естественно, что и с этой общеславянской точки зрения чешская буржуазия должна была стремиться к инкорпорированию моравов, шлензаков, словаков и пр. Вспомним, с какою опаскою, чтобы не сказать враждою, относились лидеры чешского национального движения к попыткам моравов и словаков создать собственную литературу и выработать свой литературный язык: на этой почве они готовы были даже таких заслуженных панславистов, как Л. Штур и Урбан, предать анафеме.

120 Поляки естественно сочувствовали венгерцам, а не их врагам— австрийской камарилье и союзным с нею славянским аристократам и мещанам. Они прекрасно понимали, что победа

венгров нанесет удар не только австрийскому, но и российскому абсолютизму. В венгерских войсках было много поляков, в том числе на самых высоких постах; с расширением военных действий участие поляков в венгерской армии все усиливалось. С своей стороны венгры понимали солидарность своих интересов с интересами Польши и обещали в случае успеха обратить свое оружие против царизма в целях восстановления польской независимости. Неудивительно, что поляки, особенно польские демократы, стояли в то время примерно на той точке зрения, на которую стал позже Бакунин в своем "Воззвании к славянам", т. е. считали необходимым в интересах борьбы за освобождение угнетенных народов как-нибудь столковаться с венгерскими революционерами и выступить с ними общим фронтом против сторонников дореволюционного режима. Польские демократы стояли тогда на той правильной позиции, что главным врагом мировой свободы являются российский царизм и его пособники, и что против них должны быть в первую очередь направлены усилия партизанов освобождения. Понятно, что они не могли симпатизировать ни позиции южных славян, с оружием в руках выступивших против венгров и служивших в тот момент вольно или невольно прямым орудием реакции, ни позиции чехов, считавших первой своей задачей охрану австрийской монархии и выступавших враждебно против немецкой демократии и венгерских революционеров.

121 На съезд собралось 340 человек (в списке, приложенном к исторической справке о пражском съезде, стр. 57—66, перечислено 328 делегатов). 31 мая члены съезда записывались в него и в секции, на которые он по уставу разделялся. Этих секций было три: 1) словенцев, хорватов, сербов и далматинцев; 2) чехов, моравов, шлензаков и словаков; 3) поляков и русин. Сюда присоединялись и шлензаки, говорящие по-польски. Первая секция избрала своим председателем священника Павла Стаматовича; вторая—П. И. Шафарика; третья—Карла Либельта; каждая секция избрала также свое бюро (все эти бюро вместе составляли бюро съезда — "великий выбор"). Секции в полном составе собрались 1 июня в Чешском Музее и заняли отведенные им места. В тот же день бюро съезда в полном составе отправилось к наместнику графу Лео Туну и командиру городской стражи Праги кн. Иосифу Лобковичу, чтобы объявить им о предстоящем через день открытии съезда. Затем бюро избрало председателем (старостою) съезда Палацкого, а подстаростами, т. е. товарищами председателя, Станко-Враза от юго-славянской секции и кн. Юрия Любомирского от польско-русинской.

3 июня после церковного богослужения состоялось торжественное открытие съезда и его первое публичное заседание на Софийском острове. В зале заседаний посреди гербов и знамен всех славянских народов Австрийской империи гордо развевалось черножелтое императорское знамя. На первом собрании после речи Палацкого, содержавшей общие места, оглашен был список членов съезда, причем оказалось, что в юго-славянской секции их было 42, в польско-русинской — 61, а в чешско-словацкой—237, всего 340.

Первоначальный порядок дня съезда, состоявший из 5 пунктов, был по предложению Либельта заменен более коротким из трех пунктов:

1) манифест к европейским народам с разъяснением целей съезда; 2) адрес или петиция императору Фердинанду с изложением пожеланий славянских народов Австрии; 3) образование славянской федерации, установление ее цели и определение средств к ее сохранению. Выработка манифеста поручена была "дипломатической комиссии", избранной еще до того для составления необходимых документов от имени съезда. Петиция императору составлена была только в проекте, которого съезд не успел утвердить. По третьему пункту программы мнения особенно разошлись. Заправилы съезда хотели составить проект объединения славянских народов одной Австрии (на эту тему представлено было несколько проектов). Но другие члены съезда, смотревшие более широко, мечтали о федерации всех славянских народов, в каковом

духе и представлен был проект Либельтом (возможно, что в выработке его принимал участие и Бакунин, особенно горячо носившийся с этою мыслью, стоявший тогда близко к Либельту, редактировавший вместе с ним проект манифеста к европейским народам и набросавший "Основы новой славянской политики", прямо относившиеся к третьему пункту порядка дня съезда, предложенному Либельтом).

Протоколов съезда в собственном смысле не велось. Отдельные члены брали на себя задачи вести протокол заседаний, хода съезда и его комиссий и пр. На основе этого первоначального материала особая комиссия должна была составлять протокольные отчеты. События 12 июня помешали довести это дело до конца.

122 Как ни старались руководители съезда, но полностью уберечь его от проникновения революционных элементов им не удалось. На съезд собрался "цвет" австро-славянской буржуазной интеллигенции. "Но, — как замечает с прискорбием Иосиф Иречек в своей биографии Шафарика, — одновременно с этими отборными людьми австрийского славянства прибыла многочисленная стая тех буревестников, которые всегда предвещают близость сильной грозы. Это были гладенькие с виду люди, которые держались как вообще поляки и, придравшись к добавлению в конце воззвания (т. е. .к пункту о "гостях".—Ю. М. *)* явились на славянский конгресс, несмотря на то что их никто не знал и не мог указать, какое собственно призвание они могут здесь выполнить. Русский Бакунин и познанский поляк Карл Либельт были их вожаками".

Присутствие этих посторонних "гостей", не посвященных в тайные замыслы инициаторов съезда, беспокоило не только последних, но и высшую администрацию. Так, когда руководящий комитет съезда представлялся 1 июня наместнику Л. Туну, последний, приветствуя комитет, сделал ему серьезное предостережение насчет этих посторонних гостей. По той же причине, как говорили, еще до того гр. Иосиф Матвей Тун сложил с себя звание председателя комитета по созыву конгресса, хотя отказ мотивировался его болезнью (он действительно был болен).

Когда именно состоялось формальное постановление съезда об уравнении действительных членов и гостей, мы не знаем, равно как не знаем, было ли вообще вынесено такое постановление. Во всяком случае очевидно, что фактически сложилось сразу именно такое положение, о котором говорит Бакунин. По крайней мере в цитированной "Исторической справке", принадлежащей кажется Томеку или кому-либо другому из сторонников Палацкого и напечатанной в "Часопису (Временнике) Чешского Музея", т. е. в источнике сугубо официозном, чтобы не сказать официальном, никакого разделения на действительных членов и гостей не видно, все означаются как члены съезда и вперемешку разнесены по секциям, комиссиям и пр. И если позже Палацкий, задетый брошюрою Бакунина, пытался отрицать за своим оппонентом право на звание члена славянского съезда на том основании, что он не был австрийцем, то это только свидетельствовало об озлоблении разоблаченного политического лицедея и об отсутствии у него более серьезных аргументов (см. ниже).

123 Отчет о съезде составил не Шафарик, как думал Бакунин, а То-мек. Это — та "Историческая справка", которую мы не раз цитировали и которая появилась в печати, сначала во "Временнике Чешского Музея", а затем отдельной брошюрой, когда Бакунин находился еще на свободе в

1848 году.

Томек, Вацлав Владивой (1818—1905)—чешский историк; изучал в Праге философию, затем право и историю, которой и посвятил свои силы. Написал ряд исторических сочинений, в том

числе историю Праги, Яна Жижки и пр. Ему принадлежит также “Историческая справка о славянском съезде”, напечатанная в “Временнике Чешского Музея” и тогда же (1848) изданная отдельно, которую мы использовали в комментарии к томам III и IV. и в приложении к которой даны официальные акты пражского конгресса. В 1848—49 был членом австрийского рейхстага, с 1861 до 1895 членом чешского ландтага, а с 1885 назначен пожизненным членом палаты господ.

124 Милорадов, Алимпий—поп из Белой Криницы, в Буковине, где находилась митрополичья кафедра раскольничьего архиерея, поставлявшего священников для поповского согласия в Россию. Эта расколь-ничья иерархия создана была крупной русской буржуазией, державшейся, “старой веры”, в 40-х годах XIX века после разорения Николаем I иргиз-

ских старообрядческих монастырей и запрещения староверам принимать “перемазанных” беглых попов. С разрешения австрийского правительства эта раскольничья иерархия была водворена в Белой Кринице, где давно уже существовала российская эмигрантская колония из беглых старообрядцев. Эта колония поддерживала постоянные сношения с единомышленниками в России. Но ничего революционного в этих колонистах и их попах, равно как в поддерживавшей их богатой купецкой буржуазии, не было. Не было его и в Алимпии Милорадове, на которого Бакунин в силу присущего прежним русским революционерам неправильного воззрения на раскол напрасно возлагал некоторые надежды не только в 1848 г., но и в 1862 г., когда снова встретился с ним в Лондоне.

125 Так как Бакунин и Милорадов были единственными русскими представителями, то им ничего другого не оставалось как вступить в одну из трех существовавших секций, и естественно, что они избрали польско-русинскую, к которой только и могли примкнуть. В списке чешской “Справки” Михаил Бакунин указан как депутат от польско-русинской секции в юго-славянскую секцию (разумеется в русской брошюре М. И. К.— на, представляющей в большей своей части просто перевод с чешского оригинала, имя Бакунина всюду выпущено: ведь в это время он находился в сибирской ссылке, и имя его было опальным). Милорадов же указан там как член “великого выбора” (общего собрания делегатов от секций) от польской секции. О том и другом упоминает и Бакунин.

126 Через полгода после пражского съезда Палацкий пытался утверждать, что Бакунин действительным членом его не был и выступал на нем не в таком духе, в каком говорил в своем воззвании к славянам конца 1848 года.

Брошюра Бакунина “Воззвание к славянам” сильно задела Палацкого

как своим революционным направлением, которому он не сочувствовал, так и резкими нападками на него и подобных ему чешских деятелей, служивших австрийской монархии. Она задевала его еще и с другой стороны:

немецкие реакционеры использовали временное сотрудничество Палацкого с Бакуниным на пражском славянском съезда для того, чтобы выставить” самого Палацкого в виде скрытого бунтовщика, подготовлявшего подрыв всех основ дунайской монархии. В таком духе и написана была статья, появившаяся в официальной немецкой газете “Prager Zeitung” от 19 января 1849. Такое обвинение было для Палацкого еще более неприятным, чем все остальные. И он счел себя вынужденным нарушить молчание и отозваться на брошюру Бакунина главным образом для того, чтобы снять с себя тяжелое обвинение в революционности и в нелояльности по отношению к австрийскому правительству. Это он и сделал в статье “Вынужденное объяснение”, напечатанной в приложении к названной “Пражской Газете” от 26 января 1849

года и впоследствии перепечатанной в сборнике его мелких статей и речей на немецком и чешском языках.

Брошюру Бакунина Палацкий прочел вскоре после ее выхода, на рождество 1848 года. По его словам он не боялся ее пагубного влияния на чешский народ, на который подобная "политическая галиматья" никак не могла де подействовать. В доказательство нелепости бакунинской брошюры Палацкий приводит призывы Бакунина к чехам объединиться с немцами и мадьярами, которых сам же он дескать называет заклятыми врагами славянства, и способствовать разрушению австрийской монархии. "Я спрашиваю, — победоносно заключает этот жалкий мещанин, — что это: политическая мудрость или глупость?"

Указывая на то, что Бакунин подписывает свою брошюру "член славянского конгресса" и участие в нем считает за величайшую честь в своей жизни, Палацкий ехидно бросает замечание, что "членом съезда он в собственном смысле не был". Формально Палацкий пожалуй прав, ибо по-уставу съезда членами его могли быть только австрийские славяне, другие же—только гостями. Но фактически съезд не считался с подобными замыслами его инициаторов, желавших быть и остаться лояльными подданными австрийского императора. Гораздо важнее другое указание Палацкого:

он утверждает, что Бакунин пражского съезда и Бакунин брошюры — политически не одно и то же лицо, что в Праге он выступал далеко не в том духе, в каком высказывается в воззвании к славянам.

"Я знал Бакунина во время славянского конгресса в Праге как гуманного и свободомыслящего человека. Однако содержание упомянутой брошюры убеждает меня в том, что он или не высказал тогда полностью свой образ мыслей, или с тех пор изменил его. Тогда казалось, что он думает лишь о любви к людям и о человеческом счастье, о свободе и о праве; теперь он думает только о революции и притом только ради революции, а не ради свободы. Понимание последней он по-видимому утратил совершенно, так как сам отрицает ее возможность на том основании, что мы, австрийские славяне, по его мысли не имеем якобы иного выбора как быть или угнетателями, или угнетенными".

Палацкий решительно выступает против основной мысли Бакунина о необходимости разрушения Австрийской империи в интересах освобождения порабощенных ею народов, мысли, которую Бакунин к негодованию Палацкого связывает с пражским съездом. Палацкий утверждает, что Бакунин совершенно не понял цели и смысла этого съезда, который (Палацкий хочет сказать: инициаторы которого) ставил себе вовсе не те цели, какие вычитывал в нем и приписывал ему Бакунин. И нам кажется, что здесь Палацкий прав, ибо идеализм и абстрактный революционный энтузиазм Бакунина действительно заставляли его зачастую закрывать глаза на реальные отношения и смотреть на них сквозь призму своих индивидуальных стремлений и оценок. Пражский славянский съезд по словам Палацкого (а он был одним из его инициаторов и руководителей и знал его закулисную историю, которая для Бакунина оставалась книгою за семью печатями), "как известно, не имел более важной и настоятельной задачи, чем предотвращение угрожавшей тогда преимущественно вследствие франк-фуртско-мадьярских происков гибели Австрии путем объединения всех славянских племен империи. История этого съезда пока еще окутана отчасти густым туманом, развеять который сможет только будущее; однако его

цели и стремления с самого начала не были тайною ни для кого, а все его дебаты и решения становились общеизвестными через прессу. И кто следил за событиями 1848 года внимательно и с пониманием, от того не укроется, насколько мысли, вкорененные в умах славянских народов этим конгрессом, способствовали в критические моменты последнего года сохранению Австрии

как великой державы. Конечно члены славянского конгресса уже тогда, как и теперь, имели в виду новую, справедливую, неискусственную Австрию, союз свободных и равноправных народов под властью наследственного сильного императора, а не очаг старого абсолютизма, гнездо реакции, рай для бюрократии. Что г. Бакунин на съезде ни разу не выступал с возражениями против подобных стремлений, может быть в случае надобности доказано документально и даже его собственными сохранившимися записками. Если бы он в то время выражался так, как ныне, то я могу удостоверить, что он у всех членов съезда, не исключая поляков (?), пожал бы только возмущение"

(Pa1acky—"Spisy drobnй", Прага, 1898, том I, стр. 90—92; по-немецки в "Gedenkblatter", Прага,, 1874, стр. 181—183).

Статья в "Prager Zeitung", пытавшаяся на основании брошюры Бакунина скомпрометировать все чешские партии, в том числе и благонамеренные, дала толчок к полемике, охватившей все чешские газеты, а также вовлекшей в спор выходившие в Праге немецкие газеты, венскую, юго-славянскую и германско-немецкую прессу. Перечисление газет, принявших участие в этой схватке, можно найти у Пфицнера, в цит. книге, стр. 85. Чешскими буржуазными депутатами был даже внесен запрос в рейхстаг по поводу вновь возбужденного Бакуниным вопроса о пражском славянском съезде.

127 Первые русские революционеры и Бакунин в том числе думали найти в раскольниках, а особенно среди сектантов, удобную почву для пропаганды революционных и даже социалистических идей. Как мы знаем, мысли в таком духе Бакунин высказывал в своих первых же литературных работах, в частности в брошюре "Русские дела" (см. том III). Практическую попытку применения этих идей он сделал в начале

60-х годов, когда после бегства из Сибири одно время стоял довольно близко к кружку Герцена. Об этом см. во втором томе нашей работы

"М. А. Бакунин. Его жизнь и деятельность".

128 Снова отмечаем, что Бакунин всегда протестовал против казенно-государственных форм панславизма, выгодного тому или иному захватническому правительству и им пропагандируемого, в частности против австрийского панславизма, выразителями которого были чешские заправилы пражского съезда, и против российского панславизма, проповедуемого славянофилами всяких оттенков и лившего воду на мельницу царизма. Сам же он сочувствовал в то время и позже так называемому революционному панславизму, бывшему одним из проявлений его крестьянского социализма. То, что в определенной исторической обстановке и революционный панславизм мог играть реакционную роль, это — другой вопрос, который был уже отмечен в статье Энгельса против Бакунина в "Новой Рейнской Газете" от 15 и 16 февраля 1849 года (см. "Демократический панславизм" в собрании сочинений Маркса и Энгельса, том VII,, стр. 203—220, и первый том моей книги о Бакунине, стр. 325 ел.).

129 Речь идет об "Основах новой славянской политики", напечатанных в томе III настоящего издания, стр. 300—305. Подчеркиваем, что по словам-Бакунина это — только отрывок, что впрочем сразу бросается в глаза при ознакомлении с этим документом. К сожалению в более полном виде он нам не известен. В документе этом развивается план крестьянской утопии, рисуется проект федерации с неограниченным земельным фондом, из которого каждый член федерации, каждый славянин может свободно получать надел для самостоятельного хозяйства, откуда исключены классовые деления и противоречия и т. п., тогда как заправилы съезда рисовали себе желательную им федерацию или в виде реформированной австрийской монархии или в лучшем случае в виде славянского буржуазного государства с несколько более

расширенной основой. С этой точки зрения Чейхан пожалуй прав, когда говорит, что Бакунин не понял ни программы, ни целей пражского съезда. Он подошел к съезду с точки зрения революционного романтизма и крестьянского социализма, тогда как действительные руководители и вдохновители съезда преследовали определенные практические задачи, охарактеризованные нами в предыдущих комментариях.

130 Т. е. румынам, населявшим Трансильванию, входившую тогда в состав Венгрии. По поводу взглядов Бакунина на этот вопрос см. его отрывок "Восстание валахов и русская интервенция" (том III, № 526).

131 Здесь мы опять-таки имеем дело с явным ответом на поставленный Бакунину вопрос, и притом вопрос, наиболее интересовавший российских жандармов: естественно, что Бакунин, прекрасно понимавший это, был в ответах на этот вопрос особенно сдержан и осторожен. Впрочем все, что он говорит об отсутствии у него революционных связей и сношений с Россией, представляет совершенную правду. Для революционных конспирации в России до 1848 года не было подходящих элементов, во всяком случае в той среде, с которою тогда общался Бакунин.

Варнгаген фон Энзе, любовно собиравший всякие слухи о Бакунине во время сидения его в тюрьмах, сообщает в своих дневниках (том VIII, стр. 385, запись от 19 октября 1851 г.), будто в русской армии существовал союз "Друзей Бакунина". На чем основано это утверждение, решительно неизвестно. Это — один из многочисленных неосновательных слухов, возникавших вокруг имени Бакунина, но не имевших под собою фактической почвы.

132 И здесь Бакунин довольно точен: с начала 1843 года и до его ареста он написал родным в Россию всего 12 писем (по крайней мере больше в Прямухинском архиве не сохранилось, а там они подобраны довольно тщательно), причем из Парижа не более трех. Сколько писем получил из России Бакунин, мы с точностью не можем установить, но, судя по его жалобам на молчание и трусость родных (а от других вряд ли он мог получать тогда письма), он получил их меньше, чем послал сам.

133 Во всеподданнейшем отчете шефа жандармов за 1848 год указывается, что из 70 случаев неповиновения крестьян по всей Империи за этот год 5 произошло в "малороссийских" и 35 в западных губерниях и преимущественно в Киевской. Вызваны были эти случаи главным образом введением "инвентарных правил", подававших повод к недоразумениям. Конкретно названо только одно волнение в Чигиринском уезде Киевской губернии в имении пом. Трипольского, закончившееся преданием крестьян по приказу царя военному суду, прогнанием зачинщиков сквозь строй и ссылкою их в каторжные работы ("Крестьянское движение 1837—1869 годов". Изд. Центроархива. Москва 1931, выпуск I, стр. 85).

134 Здесь мы имеем дело с одною из тех выходок Бакунина по адресу царизма в "Исповеди", которые он позволял себе после вынужденных "покаянных" заявлений. Поговорив о "безнравственности" и "бессовестности" своих революционных замыслов, он тут же отводит душу уколом врагу, ибо трудно яснее выразиться насчет того, что самодержавное правительство не допускает ознакомления других с действительным положением народа, и что оно само тоже не имеет понятия об этом действительном положении.

135 Весь контекст этого абзаца показывает, что и в данном случае Бакунин отвечает на вопрос или точнее вопросы, определенно ему поставленные. Судя по точности и порядку расположения вопросов, можно думать, что они были зафиксированы в письменной форме, и что бумажка с ними лежала перед Бакуниным, когда он писал свою "Исповедь". Вопросы — типично жандармские, причем последний особенно интересовал следователей.

Отвечая на эти вопросы, Бакунин никакого материала, нужного сыщикам, не дал, но зато представил такую критику самодержавных порядков, какой Николай I вероятно не слыхал никогда в жизни, особенно от "арестанта", обвиняемого в "тягчайших преступлениях" и якобы полностью в них "раскаявшегося".

136 Это место почти буквально повторяет то, что сказано у Бакунина в главе IV брошюры "Русские дела", напечатанной в томе III настоящего издания (стр. 399—426)

137 Здесь Бакунин совершенно правильно подчеркивает свой крестьянский демократизм, свой "крестьянский социализм". Впрочем в эпоху, когда крестьянство являлось главным производительным классом в России, когда вопрос об его раскрепощении составлял основной вопрос русской жизни и необходимое условие ее движения вперед, развития ее производительных сил, подъема ее культурного уровня и т. д., всякий последовательный демократизм неизбежно превращался в крестьянский демократизм, который в свою очередь при данной исторической обстановке превращался в крестьянский социализм (и представляющий особую форму крестьянского демократизма). Во всяком случае подчеркиваем крестьянско-демократический характер выставляемой им здесь программы: дать народу свободу, -собственность и грамотность (на самом деле Бакунин, как мы знаем, шел гораздо дальше).

138 Последние два абзаца представляют явную насмешку над царем, лицемерно пожелавшим сделаться исповедником своего узника. Чего стоит один намек в начале первого абзаца, что царь в тысячу раз лучше его, Бакунина, знает про все безобразия и подлости, чинимые в самодержавном государстве, где все делается шито-крыто при полном отсутствии гласности, в условиях убиения гражданского чувства и т. д ! Или мнимое покаяние в том, что он, Бакунин, разоблачая злодеяния царизма перед общественным мнением Западной Европы, повинен лишь в том, что нарушал мудрое правило "не выносить сора из избы". Или то место, где он якобы смиренно подписывается под основным лозунгом самодержавия, что не дело подданных - рассуждать о политических предметах. Николай I несомненно почувствовал насмешку во всей этой части "Исповеди": во всяком случае в этих местах его цензорский карандаш остался без употребления, и ни одной "высочайшей" пометки в этих местах бакунинской рукописи не имеется.

139 Для узника, сидевшего в Петропавловской крепости во власти беспощадного тирана, безжалостно расправлявшегося со своими жертвами, ответ положительно недурной, решительно противоречивший маске смирения и раскаяния, напяленной на себя автором "Исповеди", но временами им озорнически с себя срываемой.

И здесь невидимому Бакунин отвечает на поставленный ему вопрос. Это был в известном смысле центральный в его положении вопрос: раскаивается ли он в своих заблуждениях и отказывается ли от них? Поставленный вплотную перед этим вопросом, Бакунин иногда отвечал на него положительно, но нередко (как например в данном случае) в нем заговаривала революционная гордость, и он давал на него ответ настолько неопределенный, двусмысленный, что он мог почитаться и прямо отрицательным. Таких мест в "Исповеди" немало, и это делает ее зачастую мало похожей на подлинные "покаянные" документы из области тюремной литературы.

140 И здесь мы усматриваем явную насмешку узника над коронованным палачом.

141 Уже и в то время Бакунин высказывался против политики завоеваний, территориальных захватов и национального угнетения и признавал право наций на полное самоопределение.

Впоследствии, в 60-х годах, он отчетливо сформулировал свою национальную программу в своих речах на Бернском конгрессе Лиги мира и свободы (1868 г.).

142 Здесь прямо устанавливается, что Бакунин должен бы л ответить на данный вопрос, а это лишний раз подтверждает наше предположение, что ему поставлены были определенные вопросы, и может быть даже в письменной Форме, причем список этих вопросов лежал перед ним во время писания "Исповеди".

143 Здесь Бакунин отвергает буржуазный парламентаризм и политику либерализма с точки зрения крестьянского революционера. Но делает ли он это во имя анархизма? Как видим, в данном месте нет: он предлагает вместо буржуазного либерализма с его разделением властей, обессиливающим и обезоруживающим революцию, не анархизм, как он это делал в письмах к Г. Гервегу от августа и декабря 1848 года (см. том III. №№ 507 и 521), а революционную диктатуру, программу которой он подробно развивает ниже, когда рассказывает о задуманном им восстании в Чехии весною 1849 года. Но здесь нет противоречия по существу: мелкобуржуазный, в частности крестьянский демократизм в своем логическом развитии может в зависимости от конкретных исторических условий облекаться в форму то анархизма (вспомним мечты Бакунина об анархической крестьянской революции в Германии, о которой он говорит в декабрьском письме к Гервегу 1848 года), то революционной диктатуры для политической и экономической экспроприации помещиков, а отчасти и финансистов, ростовщиков и спекулянтов, таких же врагов крестьянства и городского мещанства, и для отпора контр-революции в случае ее сопротивления (как он это предполагал в своем плане радикальной революции в Чехии 1849 года и как фактически делали французские якобинцы в 1 793—1794 годах).

Это кстати показывает, что несмотря на попадающиеся в то время у Бакунина отдельные анархистские декларации, он в общем еще не стоял. тогда твердо и определенно на анархистской точке зрения, а напротив склонялся к предпочтению революционной диктатуры для осуществления глубокого разрыва с старым полуфеодальным обществом и монархическим режимом. Заявлений в пользу диктатуры у него встречается в данный период больше, чем в пользу анархии, и сверх того у него имелся целый довольно разработанный план диктатуры, проводящей радикальную программу преобразований политического и социального характера.

144 Конечно и это место "Исповеди" нельзя принимать всерьез: Бакунин в своих планах именно себе отводил роль главного диктатора. Уже в относящемся к ноябрю 1842 года письме брату Павлу и И. С. Тургеневу (том III, стр. 163) он говорил: "я чувствую и беспрестанно более и более убежден, что здесь мое место, что здесь я яснее всех вижу, чувствую и знаю что нужно". Относительно плана чешской революции

1849 года он прямо говорит, что строил всю организацию так, чтобы "все главные нити движения сосредоточились в его руках" (см. подробно ниже). И хотя в центральном комитете, который должен был объединять три задуманные им общества и руководить всем движением, он отводил себе скромно второе место, на первое же ставил Арнольда, но совершенно очевидно, что действительно первое место он предназначал себе. Да иначе и быть не могло, ибо в его окружении не было равного ему человека.

145 Все это место конечно ничего общего с действительностью и с подлинными чувствами Бакунина не имело и было написано специально для Николая I.

146 Явный ответ на вопрос, ему поставленный (об этом мы уже говорили выше).

147 И. Фрич в журнале “Чех” также упоминает об этом обществе, причем называет его “Братством славянской будущности”. Кто участвовал в этом “Братстве”, трудно установить, но можно предполагать, что в него кроме И. Фрича входил вероятно Л. Штур, может быть Урбан, Янечек, Блудек и т. п. Судя по письму Л. Штура Бакунину от 12. IX 1848 г. и письму Бакунина к неизвестному от 2/X того же года (см. том III, стр. 516 и 324), в этом “Братстве” во время пражского съезда говорилось о выступлении против венгров. И если верно, что, как предполагает В. Ч е й х а н (op. cit., стр. 35) на основании названных двух документов, что это “Братство” послужило одним из исходных пунктов юго-славянского выступления против венгров, сыгравшего столь печальную роль в судьбах революции 1848—1849 годов и оказавшего столь существенную помощь мировой реакции, то это лишний раз показывает, какие неожиданные для их инициаторов последствия могут иметь иногда действия исторических деятелей” направленные к одной цели, но нередко приводящие к прямо противоположным результатам, а особенно такие двусмысленные действия, как насаждение и пропаганда панславизма, т. е. течения, таящего в себе самые неожиданные выводы и следствия. Бакунин очутился в положении курицы, высидевшей утят, когда близкие ему славянские деятели взялись за оружие якобы во имя национального освобождения, а на деле оказались орудиями в руках злейшего врага всякой национальной свободы, а именно австрийской камарильи.

148 Действительно вопреки замыслу своих инициаторов и надеждам инспрукского правительства пражский съезд начал постепенно принимать Другой характер. Это выразилось в принятии съездом порядка дня, предложенного К. Либельтом, в выработке манифеста съезда к европейским народам (куда Либельт и Бакунин включили революционные абзацы), в уравнении гостей с делегатами от австрийских славян и т. п. Съезд таким образом начал приобретать либеральный, подчас даже радикальный характер, он становился всеславянским, поляки начинали играть на нем все более видную роль, оттесняя на задний план чешских лакеев австрийской камарильи. он таким образом переставал служить специальным видам австрийского двора и угрожал из орудия контрреволюции превратиться в орудие революции. Разумеется камарилья не могла этого стерпеть, и ее агент Виндишгрец, этот австрийский Паскевич, решил положить ему конец.

В “Исповеди” Бакунин ни словом не упоминает о своем участии в составлении съездовского “Манифеста”. Между тем это участие несомненно и подтверждается рядом источников. В “Исторической справке”, стр. 11, сказано: “Манифест к европейским народам был выработан после ряда совещаний дипломатическою комиссиею и именно Палацким на основе проектов, представленных Цахом, Либельтом и Бакуниным” (само собою разумеется, что в русском переводе этого места в брошюре М. И. К—ина, стр. 19, имя Бакунина выпущено). А. Р., т. е. А. Пыпин, в своей цитированной нами статье (стр. 326), перечисляя названных лиц, обозначает Бакунина буквою Б. Наконец сам Бакунин в показании перед саксонскою следственною комиссиею выражается на этот счет довольно определенно:

“Прошлогодний славянский съезд в Праге решил опубликовать к Европе манифест, составление которого было поручено Палацкому, членам же конгресса предложено было принять участие в его составлении. Составленный мною на французском языке проект был использован, и весь манифест был напечатан в одной неизвестной мне пражской газете” (“Пролетарская революция” 1926, № 7, стр. 207; “Материалы .для биография М. А. Бакунина”, том II, стр. 142). Бакунин только ошибается насчет газеты: манифест был напечатан в числе приложений к цитированной нами “Исторической справке”, помещенной в “Временнике Чешского Музея” за 1848 год и в отдельном оттиске из него.

Сам Палацкий, перепечатывая частично этот манифест в третьем томе сборника своих статей под заглавием "Radhost", стр. 34—37, сопроводил его примечанием, в котором говорит, что приводит только те места, которые вышли из-под его пера и соответствуют его мыслям, дабы не быть обвиненным в присвоении чужих мыслей (вернее, что сей хитроумный дипломат просто хотел лишний раз проявить свою австрийскую лояльность). М. Драгоманов, напечатавший в приложении к изданной им переписке Бакунина русский перевод манифеста (и весьма неудачный, прибавим мы), не успел закончить перевода и дал его без конца, причем места, сознательно опущенные Палацким и им, Драгомановым, восстановленные, заключил в прямые скобки.

М. И. К—ин также дал в приложении к своей брошюре русский перевод манифеста, но во-первых и его перевод далеко не точен и не полон, а во-вторых он не делает и того различения отдельных частей текста, которое вслед за Палацким делает Драгоманов, по той причине, что он взял манифест не из книги Палацкого, а из чешской "Исторической справки", которая опубликовала манифест как единый документ, каким он и вышел из обсуждений съезда (он был принят съездом на утреннем заседании 12 июня). Таким образом полного и точного русского перевода этого важного исторического документа, в составлении которого несомненно принимал участие Бакунин (по его словам один из проектов даже принадлежал ему), не существует, а поэтому мы даем его здесь. Вот этот манифест (места, от которых Палацкий отрекся, но которые он в свое время все-же подписал, мы приводим в прямых скобках) :

"Славянский съезд в Праге есть явление новое как для Европы, так и для самих славян. Впервые с тех пор, как о нас упоминает история, сошлись мы, разрозненные члены великого племени, в большем числе из далеких краев, дабы, сознав в себе братьев, мирно обсудить свои общие дела. И мы поняли друг друга не только нашим прекрасным языкам, на котором говорят восемьдесят миллионов, но и созвучным биением сердец наших и сходством наших душевных стремлений. Правда и прямота, руководившие всеми нашими действиями, побудили нас высказать перед богом и перед. людьми то, чего мы хотели и какими .принципами руководствовались в наших действиях.

"Народы романские и германские, некогда прославившиеся в Европе как могучие завоеватели, тысячу лет тому назад силою меча не только добились своей политической независимости, но и сумели всемерно обеспечить свое господство. Их государственное искусство, основывавшееся преимущественно на праве сильного, предоставляло свободу только высшим сословиям, управляло посредством привилегий, народу же оставляло одни лишь обязанности. Только в новейшее время силе общественного мнения, носящегося подобно духу Божию над всеми землями, удалось разорвать все оковы феодализма и снова вернуть людям неотъемлемые права человека и гражданина. Напротив среди славян, у которых любовь к свободе искони была тем горячее, чем слабее проявлялась у них охота к господству и завоеваниям, у которых тяга к независимости всегда препятствовала образованию высшей центральной власти, одно племя за другим с течением времени попадало в состояние зависимости. С помощью политики, давно уже осужденной по заслугам в глазах всего света, напоследок лишен был и героический польский народ, наши благородные братья, своего государственного существования. Казалось, что весь великий славянский мир всюду очутился в порабощении, добровольные холопы которого не преминули отрицать за ним даже способность к свободе. Однако эта нелепая выдумка в конечном счете исчезает перед словом Божиим, говорящим сердцу каждого из нас в глубоких переворотах нашего времени. Дух наконец добился победы; чары старого заклятия разрушены; тысячелетнее здание, установленное и поддерживаемое грубою силою в союзе с хитростью и коварством, рассыпается в прах на наших глазах; свежий дух жизни, веющий по широким нивам, творит новый мир; свободное слово и свободное дело стали наконец реальностью. Теперь поднял голову и долго притеснявшийся славянин, он сбрасывает с себя

иго насилия и мощным голосом требует своего старого достояния—свободы. Сильный численностью, еще более сильный своею волею и ново обретенным братским единомыслием своих племен, он тем не менее остается верен своим прирожденным свойствам и заветам своих отцов, он не ищет ни господства ни захватов, но требует свободы как для себя, так и для каждого, требует, чтобы она была повсюду без изъятия признана священнейшим правом человека. Поэтому мы, славяне, отвергаем и ненавидим всякое господство грубой силы нарушающей законы; отвергаем всякие привилегии и преимущества, а также политические разделения сословий; желаем безусловного равенства перед законом и равной меры прав и обязанности для каждого: там, где между мильонами родится хоть один порабощенный, действительная свобода еще не существует. Итак свобода, равенство и братство всех граждан государства остается как тысячу лет назад, так и теперь нашим девизом.

“Однако мы возвышаем свой голос и выставляем свои требования не только в пользу отдельных личностей в государстве. Не в меньшей степени, чем человек с его прирожденным правом, священна для нас нация (narod) с совокупностью ее духовных потребностей и достижений. Жизнь и история судили некоторым народам более совершенное человеческое развитие сравнительно с другими, но вместе с тем они свидетельствуют о том, что способность этих последних народов к развитию ни в каком случае не может почитаться более ограниченною. Природа, сама по себе не зная благородных и неблагородных народов, не призвала ни одного из них к господству над другими и не предназначила никакой народ к тому, чтобы служить другому средством к достижению собственных целей этого последнего. Равное право всех на благороднейшую человечность есть закон божий, преступить который ни один из них не смеет безнаказанно. К сожалению и в наши дни этот закон повидимому еще не признан и не соблюдается, как должно, даже у наиболее цивилизованных народов. То, от чего они уже добровольно отказались по отношению к отдельным личностям, а именно владычество и опекунство, они еще повсюду присваивают себе по отношению к отдельным народам: присваивают себе господство во имя свободы, как бы не умея отделять ее от себя. Так свободный британец отказывается признать ирландца вполне равным себе; так немец угрожает насилием многим племенам славянским, если они не пожелают способствовать созданию политического величия Германии; так мадьяр не стесняется присваивать себе одному право национальности в Венгрии. Мы, славяне, решительно клеймим все подобные притязания и отвергаем их тем энергичнее, чем неправильные они прикрываются именем свободы. Однако, верные своим прирожденным склонностям и отстраняя от себя чувство мести за былую кривду, мы протягиваем братскую руку всем соседним народам, готовым вместе с нами признать и на деле отстаивать полную равноправность всех народностей независимо от их политического могущества и величины.

[“Равным образом мы отвергаем и клеймим ту политику, которая позволяет себе обращаться с территориями и народами как с вещью, подчиненною государственной власти, брать, менять и делить их по усмотрению и по произволу, не считаясь с племенною принадлежностью, языком, нравами и наклонностями народов, не обращая внимания на их естественную связь, на их права на самостоятельность. Суровая сила меча одна решала участь побежденных народов, часто не успевавших даже вступить в бой; от них обычно и не требовали ничего другого кроме солдат и денег для увековечения насильнической власти и выражения внешнего угодничества перед насильниками.]

“Основываясь на убеждении, что могучее духовное движение настоящего времени требует нового политического творчества, и что государство должно перестроиться если не в новых границах, то во всяком случае на новых основах, мы представили австрийскому императору, под конституционною властью которого мы в большинстве живем, проект преобразования его империи в союз равноправных народов, отдельным потребностям которых должно уделяться

не меньше внимания, чем единству государства. В таком союзе мы усматриваем спасение не только для нас самих, но и для свободы, просвещения и вообще гражданственности и верим в готовность образованной Европы придти нам на помощь в деле его осуществления. Во всяком случае мы решились добиваться в Австрии всеми доступными нам способами полного признания за нашими народностями таких же прав в государстве, какими уже пользуются нация немецкая и мадьярская, полагаясь при этом на мощную поддержку, которая найдется для правого дела в каждом истинно-свободном сердце.

[“Врагам нашей народности удалось напугать Европу страшилищем политического панславизма, угрожающим якобы гибелью всем достижениям свободы, просвещения и гражданственности. Но мы знаем одно волшебное слово, которого одного достаточно для того, чтобы заклясть это пугало, и мы в интересах свободы, просвещения и гражданственности не хотим утаить его от народов, и без того встревоженных угрызениями собственной совести: это слово—справедливость, справедливость и к славянской народности вообще и к угнетенным ее ветвям в частности. Немец хвалится, что он преимущественно пред другими нациями способен и склонен уважать и правильно оценивать все своеобразные особенности иных народов.

Допустим и пожелаем лишь, чтобы слухи о положении славян не доказали лживости этого утверждения. Возвысим решительно голоса наши за несчастных братьев наших поляков, которые низким насилием лишены своей самостоятельности; взываем к правительствам, чтобы они наконец смыли этот старый грех, это наследственно тяготеющее проклятие кабинетской их политики; мы полагаемся в том на сочувствие целой Европы. Протестуем также против произвольного отторжения земель, подобного тому, какое в настоящее время замышляется в Познани; ожидаем от правительств прусского и саксонского, что они наконец откажутся от систематической денационализации славян в Лужицах, Познани, Восточной и Западной Пруссии. Требуем от венгерского министерства, чтобы оно безотлагательно перестало прибегать к тем бесчеловечным, насильственным средствам, которые оно употребляет против славянских народов в Венгрии, против сербов, хорватов, словаков и русин, и чтобы как можно скорее вполне обеспечены были принадлежащие им национальные права. Надеемся наконец, что бесчувственная политика недолго будет препятствовать нашим славянским братьям в Турции полностью отстаивать свою национальность и попутно развивать свои природные дарования. Заявляя здесь решительный протест против столь недостойных поступков, мы делаем это как раз из уверенности в благодетельном действии свободы. Свобода внушит больше справедливости народам, которые до сих пор были господствующими, и заставит их понять, что неправда и своеволие приносят стыд не тому, кто принужден их терпеть, а тому, кто их применяет.

“Выступая снова на политическое поприще Европы как самые младшие, но отнюдь не слабейшие, мы тут же выдвигаем проект созыва всеобщего европейского конгресса народов для разрешения всех международных вопросов, и мы глубоко убеждены в том, что свободные народы легче столкуются, чем состоящие на жаловании дипломаты. О если бы этот проект привлек к себе внимание прежде, чем реакционная политика отдельных дворов снова приведет к тому, что охваченные злобою и ненавистью народы сами начнут губить друг друга.]

“Во имя свободы, равенства и братства всех народов.

Франтишек Палацкий,

староста славянского съезда”.

Как видим, наиболее боевые и демократические места манифеста, кое-где проникнутые даже интернационалистским духом, принадлежат не Палацкому. Они вышли из-под пера Либельта и

Бакунина, а может быть и одного Бакунина, соответствующие писания которого той поры они живо напоминают.

Либельт. Карл (1807—1875) — польский писатель и политический деятель, родился в Познани; с отличием участвовал в революции 1831 г. и получил при этом чин поручика; в молодости готовился к научной карьере, но увлекся политической борьбой, за участие .в которой сидел некоторое время в тюрьме. В середине 40-х годов принял участие в националистическом заговоре и был намечен членом будущего революционного правительства в Кракове. 2 февраля 1846 г. был арестован и по процессу 1847г. приговорен к смертной казни, замененной ему 20-летним заключением в крепости. Освобожденный мартовскою революциею, стал во главе польского комитета в Берлине, избранного для руководства предстоявшими событиями. Вскоре вызван был в Познань, где вошел в Национальный комитет; здесь старался завязать связи с немецкими демократами, за солидарные действия с которыми стоял; был участником военных действий против пруссаков. Участвовал в польской конференции с галичанами, в польском съезде в Бреславле 5 мая 1848 г. и в пражском славянском съезде, везде занимая демократическую позицию. Стоя в этом отношении близко к взглядам Бакунина, участвовал вместе с ним в дополнении составленного Палацким проекта манифеста к народам Европы. Выступал в защиту польского национального дела в Берлине и во Франкфурте на Майне. Вернувшись в Познань, основал в июне 1849 г. демократический "Dziennik Polski", запрещенный в 1850 году. Был депутатом прусского ландтага и председателем польского Коло. Его 20-летний сын погиб во время польского восстания 1863 года.

149 В среде самой чешской нации естественно не было солидарности. и действовали классовые противоречия. Несмотря на национальную борьбу между богемскими немцами и чехами, умеренные элементы обеих наций были согласны в сочувствии консервативной партии и во вражде к демократии. Напротив чешские радикалы сочувствовали немецким прогрессистам, особенно венским революционерам. Вот как выражается П. Ровинский (цит. ст., стр. 113) относительно тогдашних настроений в Праге: "Реакционную партию составляло дворянство; но здесь оно имело больше значения и больше успеха. Оно с самого начала успело завладеть народною гвардиею, в которой дворянством была занята большая часть офицерских постов. Дворянство здесь втерлось и в народный (т. е. национальный.—*Ю. С.)* комитет и произвело там раздвоение сил. Оно привлекло на свою сторону главных деятелей из мещанства и, что всего важнее, успело отделить от народа тех людей, на которых он рассчитывал как на своих предводителей. Самая юная молодежь, студенты, молодые литераторы, мелкие мещане и разного рода рабочие — вот что составляло в Праге партию движения. Видя, что народный комитет действует в духе исключительно дворянских интересов, партия эта отделилась и составила свой отдельный комитет, который держал совещания в Каролинуме (так называется одно из университетских зданий). В этих совещаниях участвовали также польские эмигранты, Бакунин и представители Вены, с которою с этого времени партия эта вступила в самые тесные отношения. С этого времени собственно настает в Праге революционное брожение".

В то время как национальный комитет, в котором господствовали представители дворянства и реакционной буржуазии во главе с Ф. Палацким, послал императору адрес с выпадами против демократической Вены, студенчество после майских событий отправило венцам адрес с выражением революционной солидарности. Часть пражского мещанства, не попавшая под влияние реакционеров, также выражала свою солидарность с студентами. Несмотря на наступление каникулярного времени, часть студенчества не разъезжалась из Праги в ожидании событий. Население было раздражено вызывающим поведением солдатчины, особенно усилившимся с назначением Виндишгреца главнокомандующим. Убранные по требованию народа с площадей пушки были поставлены на Вышеграде, угрожая городу. Студенты и мещане отправили к Виндишгрецу депутацию с требованием снять с Вышеграда пушки и

выдать им то оружие, которое они могли получить согласно министерскому распоряжению. Но Виндишгрец отверг все их требования. прибавив, что он подчиняется распоряжениям не министерства, а императора, с которым непосредственно сносится.

Это и послужило поводом к столкновению, которого сознательно искали камарилья и реакционеры. После неожиданного нападения гренадеров на манифестантов, проходивших мимо дворца главнокомандующего, начались 12 июня в Духов день уличные столкновения. На баррикадах сражались против войск студенты, рабочие, и подскальцы (ремесленное население предместья Подскалье). Правительственные войска особенно старательно стреляли картечью по музею, где в тот момент находились не успевшие разъехаться члены славянского конгресса. Кое-где сельское население, прослышав про бомбардировку Праги войсками, двинулось было на помощь городу но не успело дойти до него, как восстание было разбито. Мещанство и гвардия разных городов, спешившие на помощь пражанам, были остановлены войсками, причем кое-где дело дошло до кровавых столкновений.

В письме к наместнику Богемии графу Лео Туну от начала июля 1848 года Палацкий приписывает июньские волнения влиянию таинственных венских радикальных агитаторов, стремившихся дескать сорвать консервативный и дружественный монархии славянский съезд. "Лично я,— пишет он, — склоняюсь к тому взгляду, что остающиеся еще пока неизвестными (венские) зачинщики этих достойных сожаления беспорядков по существу стремились также к насильственному роспуску конгресса, хотя я наперед должен сознаться, что в подтверждение этого взгляда я могу сослаться только на моральное убеждение, но не могу привести никаких положительных фактов" (F. Palacky—"Gedenkbldtter". Прага 1874, стр. 168).

Наряду с инсинуациями о венских "зачинщиках" и "агитаторах", исходившими из консервативных славянских кругов a la Палацкий, пользовались распространением в известных бюрократических и консервативно-немецких кругах разговоры о широко разветвленном "славянском заговоре". Так от имени военного суда, наряженного кн. Виндишгрецом в Градчине, какой-то старший аудитор Эрнст выпустил брошюру "Die Prager Juni-Ereignisse in der Pfingstwoche des Jahres 1848, nach den Ergebnissen der hierьber gepflogenen Untersuchung" ("Пражские июньские события в Троицыны дни 1848 года по данным произведенного по этому поводу расследования"), 2-е издание. Вена 1849, в которой на основании "чистосердечных показаний" некоего М. Т. сообщаются невероятнейшие небылицы на этот счет. Но означенный М. Т. был не кто иной как шпион и провокатор Марцел Туранский, словак по происхождению, подосланный венграми специально для компрометации славянского съезда и записавшийся в его члены. С другой стороны какой-то венгерский корреспондент "Всеобщей Аугсбургской Газеты" поместил в № 181 от 29 июня 1848 сообщение, в котором говорил: "Все больше выясняется, что пражское возмущение было результатом — хотя, и слишком рано вспыхнувшего — панславистского заговора, нити которого далеко протянулись во все славянские страны. Палацкий, Либельт и Бакунин были заранее назначены членами директории, которая должна была руководить революциею в Богемии, Польше и Венгрии. Одновременно с чехами должны была восстать райцы в Венгрии и граничары в Кроации под .начальством Елачича и Гая" (F. Palacky—"Radhost", Прага 1873, том III, стр. 284—285). Достаточно сопоставления этих трех имен (Палацкий, Либельт, Бакунин), чтобы понять нелепость этой версии (в основу коей мог лечь тот факт, что эти три лица столь различных воззрений и целеустремленности редактировали манифест славянского съезда). Но современникам да еще классово-заинтересованным, вдобавок не знавшим основных фактов, выяснившихся впоследствии, и подобные глупости могли казаться чем-то правдоподобным. О показаниях же М. Туранского, выставлявшего смиренномудрого пискаря

Палацкого главою ужасного революционного заговора, вообще распространяться не приходится.

Палацкий приписывал восстание влиянию каких-то таинственных венских агитаторов, полицейские провокаторы приписывали его влиянию самого Палацкого; в действительности оно было повидимому вызвано, спровоцировано самою камарильею, ее пражскими представителями Виндишгрецом и Лео Туном, которых в этом деле поддерживали все реакционные элементы как среди чехов, так и среди немцев. Славянский съезд пошел или точней обнаружил стремление пойти не по тому пути, по которому он должен был идти согласно видам австрийской камарильи; ее агенты в лице Палацкого, Шафарика и пр. не сумели держать его как следует в руках, и потому он подлежал роспуску. Средством для этого явилось спровоцированное восстание демократической молодежи. Таким образом камарилья сразу убивала двух зайцев: избавлялась от начавшего становиться неудобным съезда и вместе с тем разбивала центр демократического сплочения среди чехов, одновременно подготовляя психологическую почву для аналогичной расправы с демократическими элементами других национальностей.

150 Реакционные и немецко-патриотические элементы, объяснявшие пражское восстание обширным панславистским заговором, направленным к разрушению Австрийской империи, обыкновенно связывают это объяснение с приписыванием Бакунину руководящей роли как в мнимом славянском заговоре, так и в самом восстании. Впрочем такие нелепые слухи распространяли не только немцы, но и консервативные чехи. Так писатель и государственный деятель чех Иосиф Иречек (1825—1888) уверял, что "тайное правительство восстания заседало в Клементинуме: там сидел Бакунин со своей компанией около стола, на котором лежали планы Праги, и оттуда давал приказания о продолжении сопротивления" (сообщено у Yakub Ma1y—"Nase znovurozeni", II, стр. 81). Чейхан в примечании 115 своей книги сообщает, что в рукописном отделе библиотеки чешского Народного музея имеется письмо Константина Иречека, сына вышеназванного, датированное 27 января 1896 из Вены, и в этом письме передаются слова его отца о том, что тот однажды застал во время славянского съезда у швейцара Клементинума за большою картою Бакунина и Цаха (Франьо, мораванин, тоже член съезда, из Сербии, впоследствии сербский генерал), причем оба они о чем-то горячо спорили (Цах, Франц (1807—188?)—сербский генерал; родом из Ольмюца (чех или мораванин), он изучал право в Брюнне и Вене, служил в суде. Желая принять участие в польской революции, он в 1832 перебрался через австрийскую границу в Краков, но опоздал; после того вернулся в Моравию; опасаясь отдачи под суд, бежал во Францию, где занимался военными вопросами. Был библиотекарем во дворце Фонтенебли, а затем был прикомандирован к французскому посольству в Константинополе, откуда в качестве драгомана перешел во вновь открытое французское консульство в Белграде. В 1848 участвовал в славянском конгрессе в Праге, где выступал активно. По возвращении в Белград был назначен директором вновь учрежденной сербской Академии и произведен в полковники сербской армии, а позже в генералы. Избрав Сербию своею второю родиною, много работал над созданием сербской армии.)

Но если даже допустить (как предполагает Чейхан), что К. Иречек описался, и что нужно читать не "во время съезда", а "после съезда", то что же это доказывает? Вот на основании таких росказней таких господ, как И. Иречек, и создавались легенды о панславистском заговоре и о руководящей роля Бакунина в восстании. На самом деле рассказу Бакунина о его скромном участии в восстании, которое явилось для него полною неожиданностью, можно вполне верить. Он был рядовым участником восстания, и только под конец подал инсургентам дельный совет относительно ареста соглашателей, парализовавших восстание своими переговорами с Виндишгрецом, и об установления военно-революционного комитета с диктаторскою властью. Этому совету не последовали, возможно потому, что он, как говорит Бакунин, был подан очень поздно.

Между прочим в своих показаниях перед австрийскою следственною комиссиею Бакунин 15 июля 1849 года показал, что не принимал никакого участия в боевых действиях, если не считать того, что "невооруженный находился на баррикадах, присматриваясь к сражению" (Чейхан, цит. соч., стр. 30 и

77). В “Исповеди” же он говорит, что ходил с ружьем и даже несколько раз стрелял. Надо полагать, что последнее заявление вернее.

И. Фрич, который в июньские дни был комендантом Клементинума и который возможно тогда и познакомился с Бакуниным, в своих воспоминаниях (“Pameti, т. 3, стр. 278 сл.) так рассказывает об участии Бакунина в этих событиях: Бакунин предложил повстанцам в Клементинуме свои услуги вместе с Блудеком, Штуром и Пахом (это происходило видимо 15 июня). Цах и Блудек преподали бойцам военные советы, Бакунин же обратился к выстроившимся в ряды бойцам с речью, в которой стремился поднять их дух и заставил их дать обещание, что они будут драться до последней капли крови, и что враги сумеют пройти только по их трупам- “Так, — прибавляет Фрич, — обстояло дело с грозной таинственной властью”, придуманной Я. Малым и Иречеком. Прибавим кстати, что по рассказу Фрича Карл Сабина 16 июня один стоял за решительное сопротивление, когда другие предлагали сложить оружие (стр. 286).

Так как капитуляция Праги произошла 17 июня, то выходит, что Бакунин выехал оттуда 18 июня, следовательно в Бреславль (вероятно через Дрезден) попал обратно 19 или 20 июня. Выехал он из Праги с проходным свидетельством от 16 июня, факсимиле которого напечатано у Керстена на стр. 50.

150а Бакунин имеет здесь в виду свое выступление 26 июня 1848 года

в бреславльском центральном демократическом клубе в защиту своего предложения об издании манифеста в пользу свободы и независимости славян Так как его речь затянулась, то ввиду позднего времени собравшиеся громко требовали отложить продолжение прений до следующего раза. Этот шум и крики по словам Пфицнера Бакунин и принял за нежелание дать ему договорить (цит. статья, стр. 266). Но Бакунин прав в том отношении, что настроение немецкой и в частности бреславльской демократии к славянскому вопросу и к нему как выразителю демократического панславизма в рассматриваемое время резко изменилось. И он не мог этого не почувствовать. Вероятно эта неудача была одной из причин его переезда в Берлин через насколько дней (см. комментарий 3 *к №* 528 в томе III настоящего издания).

Так как письмо его в редакцию “Всеобщей Одерской Газеты” (том III, № 501) датировано “9 июля 1848 г., Бреславль”, то ясно, что в Берлин он уехал после этого числа. А так как 15 июля газеты отмечают его пребывание уже в Берлине, то очевидно, что он прибыл сюда между 11 и 14 числом этого месяца.

151 О руссофильских настроениях части поляков в 1848—1849 годах см. выше в комментарии 45 к № 542 (защитительной записке Бакунина).

152 Рассказ Бакунина об этом не посланном письме к царю производит впечатление выдумки. В то время он был еще полон революционных надежд и не дошел до такого упадка духа, при котором мыслима была бы подобная затея. Зачем же ему была нужна эта выдумка? Для того, чтобы внушить Николаю I ту мысль, что если бы он стал во главе славянского движения, то мог бы привлечь к себе даже симпатии революционеров. Думал ли таким образом Бакунин послужить общеславянскому делу или облегчить собственное положение? Мы думаем, что второе вернее.

153 Об этом обвинении мы говорили выше :в комментарии 5 к № 541 (письмо к адвокату Отто).

154 Подробно об этом инциденте см. в комментарии, 1—3 к № 500 в томе III.

155 В начале июля Бакунин находился еще в Бреславле, как видно из его письма в редакцию "Всеобщей Одерской Газеты", датированного 9 июля 1848 (напечатано в томе III, № 501). Следовательно он мог попасть в Берлин не раньше второй декады июля; во всяком случае 15 он там уже находился.

156 Как мы знаем, с Эманюэлем Араго Бакунин был знаком еще в Париже; в Берлине он встречался с ним между прочим у Беттины фон Арним (Варнгаген, т. V, стр. 120). Араго имел обширные знакомства среди польской демократической эмиграции и сочувствовал программе восстановления Польши. Демонстрация 15 мая, показавшая недовольство демократических масс политикою Ламартина и их симпатии к Польше, хотя в общем и закончилась неудачею, но произвела некоторое впечатление, по крайней мере со стороны своих внешнеполитических требований, ибо более энергичной внешней политики требовал не только пролетариат, но и значительная часть мелкой буржуазии. В циркуляре, посланном французским послам в Берлине, Вене и Петербурге 23 мая 1848 г., Ламартин уже высказывался в пользу Польши и поручал своим представителям заявить названным дворам, что французское правительство желает мира с ними и будет стремиться мирно договориться с ними на основе применения принципа справедливости к слабым народам, но что первым условием этого мира и его прочности является то, "чтобы между вами и нами не стала Польша, подвергшаяся захвату, угнетению, преследуемая в национальном отношении, лишенная политической и религиозной самостоятельности". Замена прежнего посла Сиркура старым республиканцем Э. Араго также знаменовала уступку требованиям масс, хотя и формальную. Араго много сделал для освобождения арестованных поляков, в частности Мерославского. Позже, в июле, французское правительство протестовало в Берлине против раздела Познанского герцогства.

Симпатии Э. Араго делу демократической Польши также могли быть

одним из мотивов, сближавших его с Бакуниным, который стоял на той

же позиции.

Сиркур, Адольф, граф (1801—1879) — французский журналист и политический деятель; легитимист, выступавший в печати в пользу ста- рейшей линии Бурбонов. На государственную службу вступил в 1822 г., сначала в мин. внутренних дел, а затем в мин. иностранных дел. В 1830 г. после июльской революции, которую он в качестве убежденного монархиста считал бунтом, вышел в отставку. Женился на русской, Анастасьи Хлюстиной, совершил путешествие по ряду стран, в том числе и России. Вернулся в Париж в 1837 г., здесь его жена открыла монархический салон, посещавшийся многими тогдашними знаменитостями политического и литературного мира, в том числе и Ламартином, с которым Сиркур сошелся. После февральской революции 1848 г. Ламартин не нашел ничего лучшего как послать этого убежденного реакционера представителем французской республики при берлинском дворе. Здесь этот "республиканец", сочувствовавший монархии вообще и царизму в частности, ненавидевший революцию, социализм и всякое проявление свободы (поляков, стремившихся к национальному освобождению, он называл "сектою"), пробыл до 5 июня, когда был заменен Араго. Его воспоминания о посольстве в Пруссии вышли в 1908—09 гг. в двух томах в Париже под заглавием Adolphe de Circourt—"Souvenirs d'une mission a Berlin en 1848". Через жену был хорошо знаком с Мейендорфом, российским послом в Берлине, и от него почерпал сведения о Бакунине, которые отсылал в Париж. К Бакунину относился весьма враждебно. См. комментарий к № 499 в третьем томе настоящего издания.

157 Бакунин в Берлине встречался с рядом писателей, общественных деятелей и пр., немцами, поляками и т. д. Известно о встречах его с анархистом Максом Штирнером (которого он впрочем мог знать еще по прежнему проживанию в Берлине, в 1841 г.), с старым знакомым по

Швейцарии Юлием Фребелем, с А. Руге, с Оппенгеймом, Якоби, Дестером, Гек-замером, Рейхенбахом, Ю. Штейном, Липским, С. Борном, с Варнгагеном фон Энзе, записавшим в своем дневнике (т. V, стр. 130) о своей встрече 22 июля с Бакуниным, которого он нашел веселым, бодрым, здоровым, полным мужества и радужных надежд, что несколько противоречит заявлениям Бакунина в "Исповеди". Возможно впрочем, что перед посторонними Бакунин притворялся, не желая обнаружить перед ними свое действительное настроение. "Живет он здесь,—пишет Варнгаген,—под именем Жюля (воспоминание об эпохе Жюля Элизара.—Ю.С.), министры Кюль- веттер и Мильде об этом знают, граф Рейхенбах — его друг. Он работает над одним произведением (вероятно "Воззвание к славянам". — Ю. С.) и держится замкнуто. От меня он пошел к Араго, с которым хорошо знаком со времени своего пребывания в Париже". Только в словах о том что Бакунин держался замкнуто, можно усмотреть подтверждение рассказа Бакунина о его тогдашнем настроении в "Исповеди" (хотя сам Варнгаген повидимому связывает замкнутый образ жизни Бакунина с его работою над своею брошюрою).

Встретился там Бакунин и с К. Марксом, причем по его словам друзья заставили их обняться после объяснения, в котором Маркс представил резоны, побудившие его опубликовать известную заметку в "Новой Рейнской Газете"; Бакунин в рукописи "Мои личные отношения с К.Марксом", которая будет опубликована в одном из последующих томов настоящего издания, сообщает, что после этого объяснения они помирились и даже расцеловались. Встречался он и с радикальным кружком Г. Мюллера-Стрюбинга, которого хорошо знал еще с 1840 г. и у которого теперь проживал. Наконец особенно часто встречался он с членами прусского национального собрания, особенно с поляками, как К. Либельт, А. Пешковский, Лукашевич (Лукашевич, Леслав (1811—1855)—польский литератор и политический деятель, уроженец Галиции. Принадлежа к "Stowarzyszenie Ludu Polskiego" в Кракове, был в 1845 г. по процессу о заговоре приговорен к смертной казни, но подобно другим сопроцессникам выпущен на свободу с зачетом предварительного заключения. Был активным участником краковских событий в 1848 году. Принимал участие в пражском славянском съезде, где сошелся с Бакуниным, к направлению которого стоял близко Арестованный в 1850 г., он умер в крепости. Подобно своему брату, тоже журналисту и демократу, очень хорошо относился к Бакунину и помогал ему по мере сил.) **и пр., преимущественно конечно с демократами, но иногда и с либералами и даже консерваторами. Следом и свидетельством этих встреч является тот листок из дневника Бакунина от 11 сентября 1848 года, который был отобран у него при обыске и напечатан в томе III настоящего издания (№ 508).**

В это время берлинские демократические лидеры, видевшие наступление реакции и готовые бороться с нею активными средствами, почти беспрерывно заседали в отеле Милиуса, обсуждая между прочим и планы вооруженных выступлений как в самом Берлине, так и в провинции. Бакунин участвовал в этих заседаниях и был во многое посвящен. При этом он естественно остерегался выдвигаться на первый план, хотя никаких следов недоверия к нему как со стороны немецких демократов, так и польских в то время не было заметно. Впоследствии, когда Бакунин уже сидел в Дрездене, берлинский следователь счел возможным на основании полицейских донесений выдвинуть против него следующее обвинение: "Во время своего пребывания в Берлине в 1848 году Бакунин находился в интимнейшем общении с Дестером, Рейхенбахом, Шраммом[1] , Иоганном Якоби, Вальдеком[2] и привлекался к самым секретным совещаниям крайних левых, очень часто встречался с известным Липским, помогал при организации Центрального комитета демократической партии и вообще был душою революционных стремлений, назревавших тогда в Берлине" (см. цит. статью Пфицнера, стр. 280—281).

Конечно здесь много преувеличений (Вальдек в частности позже отрекался от близости к Бакунину и был прав), но что Бакунин среди немецких и польских демократов в Берлине занимал видное место как человек дела, видно не только из донесений Мейендорфа, сообщавших, что берлинская полиция считает Бакунина кандидатом на роль предводителя

эвентуального вооруженного выступления, но и из того факта, что когда в ноябре в Берлине начали поговаривать о необходимости вооруженного отпора наглеющей реакции, то при намечении кандидатов на место командира революционных сил наряду с именем Мерославского упоминали и имя Бакунина, а так как их обоих в тот момент в Берлине не было, то с предложением занять этот пост обратились к его приятелю, польскому демократу В. Липскому (цит. воспоминания Г. Шумана, стр. 177). Конечно "душою" всех берлинских революционных предприятий он не был и не мог быть, но участником совещаний и вероятно советником по некоторым вопросам он наверное был.

Но нигде мы не встретили указаний на то, чтобы заметка в "Новой Рейнской Газете" оказала какое-либо влияние на отношение к Бакунину его старых или новых знакомых. Напротив, судя по разнообразию тех кругов, в которых вращался тогда Бакунин, можно сделать заключение. что никакого особого вреда заметка Бакунину не причинила. Более того, когда в сентябре 1848 г. "Реформа" Руге была официально признана органом демократической партии (и "левой Национального Собрания"), а среди редакторов газеты оказался ряд приятелей Бакунина, начиная с Якоби к кончая Зигмундом, то в список сотрудников газеты наряду с Рейхенбахом, Ю. Фребелем, Гервегом, Фрейлигратом, Либельтом и... словаком Шафариком попал и Бакунин. Это несомненно было для него моральной реабилитацией. Это впрочем не мешало тому, чтобы сам Бакунин чувствовал себя в то время прескверно и чтобы в нем развилась естественная подозрительность, как у всякого человека, против которого выдвинуто столь тяжкое порочащее обвинение.

В Берлине Бакунин встретился тогда между прочим с Тучковыми.

Когда Тучковы, отец и дочь (Алексей Алексеевич и Наталья Алексеевна, позже жена Н. П. Огарева, а еще позже А. И. Герцена), проезжали в конце лета 1848 года из Парижа через Берлин в Россию, Бакунин пришел к ним познакомиться. Он много расспрашивал их о парижских друзьях (особенно о Герценах) и, прощаясь,, крепко жал им руки, говоря: "До свидания в славянской республике". "Все,—спешит прибавить в своих "Воспоминаниях" Тучкова-Огарева,—смеялись его выходке" (изд. 1903, стр. 57; изд. 1929, стр. 93—94).

(1) Здесь очевидно имеется в виду не умеренный демократ Рудольф Шрамм (1813—1882), бывший в 1848 году председателем демократического клуба в Берлине и членом прусского национального собрания, а "демагог" Карл Шрамм.

Шрамм, Карл (1810—1888)—немецкий поэт и политический деятель демократического направления, уроженец Рейнской провинции, сын врача. С 1828 г. изучал богословие и философию в Галле и Иене, с 1830—1831 г. в Бреславле, где проживали тогда его родители, а затем снова в Иене; здесь примкнул к студенческому союзу "Германия". По окончании учения сделался викарным священником, но осенью 1833 года был арестован за демагогические происки, приговорен к смертной казни путем отсечения головы, замененной 30-летним заключением в крепости. Сидел до 1840 года сначала в Грауденце, а затем в Зильберберге в Силе-зии. По освобождении занялся педагогическою деятельностью. Революционному движению 1848 года отдался всей душой; избранный членом прусского национального собрания, а затем в 1849 году членом второй палаты, он занял место на крайней левой; позже принимал участие в южногерманском революционном восстании; после его подавления бежал а Швейцарию, а оттуда в Соединенные Штаты, где был проповедником в свободных протестантских общинах, по временам редактируя республиканские газеты. В 1879 г. вернулся в Европу, но уже не принимал участия в общественной жизни.

(2) Вальдек, Бенедикт (1802—1870)—прусский юрист и государственный деятель либерального направления, сын профессора; учился в Геттингенском университете, служил по судебному

ведомству, с 1846 года был членом верховного суда. Принял участие в революции 1848 года; был членом прусского национального собрания от Берлина; будучи сторонником однопалатной системы, вместе с тем развивал программу "демократической монархии". В национальном собрании был вождем левой, был председателем конституционной комиссии и отстаивал конституционные принципы против правительства и контр-революционеров. 26 октября был избран в вице-президенты палаты; требовал выступления в защиту революционной Вены. Когда с переходом реакции в наступление национальное собрание было разогнано, Вальдек решительно высказывался за последовательное проведение тактики пассивного сопротивления, в частности отказа от платежа налогов. Избранный в новый ландтаг в 1849 г., Вальдек провел там резолюцию о незаконности осадного положения, что вызвало роспуск ландтага. Арестованный по ложному обвинению в заговоре, он был оправдан присяжными. После опубликования октроированной конституции с трехчленной системой выборов демократическая партия решила не участвовать в выборах, и Вальдек на несколько лет сошел с политической сцены. В 1860 г. он был снова избран в прусский ландтаг, примкнул там к прогрессистской партии и боролся против Бисмарка.

158 Восстание рабочих национальных мастерских в июне 1848 года, *к* которым присоединились другие рабочие Парижа. Было подавлено после трехдневного сражения на баррикадах что послужило сигналом к общеевропейской реакции.

159 О Елачиче см. том III, стр. 536. О Кошуте см. том III, стр. 536.

160 Это письмо Л Штура и ответ на него Бакунина напечатаны у мае в т. III, стр. 156 и 324.

161 Бакунин был арестован и выслан из Берлина в конце сентября и. ст., о чем сообщает в своей депеше от 17/29 сентября российский посол при прусском дворе Мейендорф: "Бакунин,- пробывший около двух недель (на самом деле свыше двух месяцев.— Ю. С.*)* в Берлине, на днях

выехал обратно в Бреславль. Арест, которому он подвергся, не имел другой цели как ознакомление с его бумагами, рассмотрение коих не указало никаких следов его связей с Россией, но показало очень тесные его сно-щения как с польской эмиграцией, так и с республиканцами этой страны (т. е. Германии.— Ю. С.) Полагают, что Бакунин как человек действия принял бы командование над баррикадами в случае конфликта, и его считают более опасным для спокойствия Германии, чем России. Поэтому он безотлагательно будет выслан из Пруссии, а Австрии доставлены будут необходимые сведения, дабы он не мог долго оставаться в ней. Если бы здесь произошли народные движения, он одним из первых был бы арестован и заключен в крепость". На этой депеше Дубельт сделал следующую надпись: "Если бы прусское правительство действовало твердо, то оно выдало бы нам этого мошенника" ("Дело" о М. Бакунине).

Как мы видим, предположение Бакунина, что высылка его произведена по проискам русского правительства (кстати это же заявление Бакунин повторил на допросе в австрийской комиссии), до известной степени подтверждается. Во всяком случае ясно, что прусская полиция действовала по соглашению с российским послом, а может быть и по его инициативе:- ведь он сам признает, что прусская полиция искала в бумагах Бакунина доказательств его связей с Россией и вероятно сообщала взятые у него бумаги Мейендорфу. Из депеши также вытекает, что все три монархические полиции, российская, прусская и австрийская, работали в полном согласии и оказывали друг другу посильную помощь, осведомляя одна другую об опасных личностях, к каковым уже тогда отнесен был Бакунин.

В своем показании перед саксонскою следственною комиссией от 19 сентября 1849 года Бакунин сообщает, что этот приказ, содержавший угрозу о выдаче его России в случае

возвращения в прусские пределы, был подписан фон Путкамером (1800—1874), берлинским полицей-президентом, занимавшим в 1848 г. пост директора министерства внутренних дел ("Красный Архив", том 27, стр. 172; "Материалы для биографии", т. II. стр. 51).

Кстати, чешские демократы интересовались тогда судьбою Бакунина. В газете ".Ceskв Vce1a" от 27 сентября 1848 года появилась такая заметка: "Известный русский писатель Бакунин, проживавший в качестве эмигранта в чужих странах, был недавно арестован в Берлине. Неужели прусское вероломство отправит его в Петербург?" (Чейхан, прим. 133).

162 Ангальт-Кэтен, б. самостоятельная часть герцогства Ангальт до 1863 года, когда она слилась с другою его частью, Ангальт-Бернбургом. Герцогство Ангальт расположено посреди прусских владений и со всех сторон окружено прусскими провинциями — саксонской, бранденбург-ской и брауншвейгской. Вся поверхность герцогства Ангальт около 2 300 кв. км., а населения было в 1848 г. около 100000 чел.

Ангальт-кэтанскяе демократы издавна поддерживали сношения с берлинскими радикалами. Берлинские "свободные" неоднократно приглашались в Ангальт-Кэтен, в котором существовал кружок свободомыслящих людей, оказавших Бакунину дружеский прием во время его пребывания в этой стране.

В полигическом отношении Ангальт в 1848 году представлял исключение среди соседних провинций. Здесь царили демократические нравы,-демократическое устройство и господствовала демократическая партия. Консерваторы были в загоне и начали поднимать голову лишь в 1849 году, когда торжество реакции в остальной Германии уже стало ясным. Во главе правительства стоял Габихт (Habicht), остававшийся министром с 1848 г. по июль 1849 г.; другим демократическим министром был Кеппе (Kцppe), и оба они были в дружеских отношениях с Бакуниным, которому позже помогали, когда он сидел в саксонских тюрьмах. В Кэтене у Бакунина имелись старые однокашники по Берлинскому университету, как напр. губернский стряпчий Бранигк. Проживая в июле—сентябре в Берлине, Бакунин среди других немецких демократов встречался там с Энмо Зандером, молодым радикальным депутатом дессауского ландтага (возможно, что он был с ним знаком уже в начале 40-х годов). Вероятно от Зандера он и получил те сведения о положении вещей в Ангальте, которые побудили его избрать этот уголок для временного отдыха вдали от прусской и саксонской полиции. В Берлине их сближению мешали слухи о Бакунине, повторенные "Новою Рейнскою Газетою", но в Кэтене они сошлись довольно близко. В общем они очень друг к другу подходили по своим нигилистическим приемам, богемным ухваткам и темпераменту. Среди местных провинциальных деятелей Бакунин естественно выделялся и скоро занял видное положение. Вокруг него собрался круг дружески к нему расположенных и демократически настроенных людей: сюда кроме выше названных вошел доктор Альфред Бер, которого Бакунин знал еще по предварительному парламенту в Франкфурте, и у которого он жил в Кэтене. Имел он также убежище в Дессау, а одно время, скрываясь от розысков прусской полиции, проживал в уединенном лесном домике вблизи Тринума. В Ангальте в приятельском кругу, в симпатичной ему атмосфере долгих бесед за стаканом вина, в покойной духовной обстановке, дававшей возможность сосредоточиться и работать, Бакунин прожил 2,5 месяца в плодотворной умственной работе, плодом которой между прочим явилось воззвание к славянам, сразу выдвинувшее его на политическую авансцену.

163 6 октября в Вене произошло выступление демократических элементов, сопровождавшееся убийством военного министра Латура. пославшего войска против Венгрии, и приведшее к переходу власти в руки революционеров. Против Вены были мобилизованы оставшиеся верными бежавшему в Ольмюц императору войска; в первую голову славянская армия

Елачича, отступавшая перед венграми, а теперь спешившая разыграть роль спасительницы монархии и уже 7 октября двинувшаяся на Вену, а также стоявшие в Богемии войска под начальством Виндишгреца, которые получили приказ о выступлении 8 октября. 11 октября уже начались стычки под Веной, 24 октября Вена была совершенно окружена, а 31 -го взята разъяренной солдатчиной.

Бакунин действительно подумывал в то время о поездке в Прагу для объединения тамошних демократов и для отрыва их от партии соглашателей Палацкого и др. Но с одной стороны он не был уверен в характере ожидающего его там приема, а с другой кэтенские друзья решительно отсоветовали ему столь рискованный шаг. В частности Энно Зандер писал ему на своем грубоватом языке из Берлина: "Милый, ты собираешься в Прагу? Не будь ослом! Что ты там теперь будешь делать? Дать себя арестовать или добиться провозглашения осадного положения? Оставайся в Кэтене, я приеду еще на этой неделе; ибо если и сейчас не дойдет до конфликта, то никогда не дойдет" (цит. книга Пфицнера, стр. 75).

164 Из брошюры "Воззвание к славянам" и из второй прокламации к славянам от марта 1849 года (обе напечатаны у нас в томе 3) мы знаем, как отрицательно относился Бакунин к партии Палацкого, этому сброду реакционных лакеев австрийской династии, этой представительнице казенного австрийского панславизма (который эта партия при нужде готова была сменить на казенный панславизм российский, как ни парадоксально это звучит на первый взгляд). В ней он правильно усматривал одну из главных помех к революции и в частности к освобождению славянства. В показании перед саксонскою следственного комиссией) 11 октября 1849г. он между прочим заявил: "Я должен заметить, что ортодоксальная фракция славян на пражском конгрессе — назову здесь имена: Палацкий — проявляла больше симпатии к России, чем к Австрии, и с графом Туном во главе она стояла за славянскую Австрию с резиденцией императора в Праге, ,а потому она не столько стремилась войти в соглашение с австрийским правительством, сколько непосредственно с самим императором". И ниже он поясняет; "Я хотел сказать, что ортодоксальная, т. е. легальная партия главным образом преследовала интересы славянской Австрии, в том числе и Палацкий. Однако среди них были и такие члены партии, которые скорее склонялись на сторону России, чем Австрии, и готовы были симпатизировать интересам первой, но я не говорил, что Палацкий и Браунер преследовали русские интересы" ("Пролетарская революция" 1926, № 7, стр. 203; мы внесли сюда некоторые исправления, ибо у В. Полонского напечатано вместо "ортодоксальная" "православная" и вместо Браунер "Бруна", что впрочем является у него обычным; во 2-м томе "Материалов", стр. 138, православная исправлена на ортодоксальную, но Бруна остался).

Очень резкая характеристика Палацкого и Ригера дана Бакуниным в письме его к И. Фричу от 12 мая 1862 г. (будет напечатано у нас в следующем томе этого издания). Там он говорит о них как о людях, предавших по глупости славянское дело, как о политических интриганах, дурных пастырях, обманувших и сбивших с толку чешскую молодежь, и т. п.

165 На допросе в Австрии (Чейхан, прим. 136) Бакунин показал, что начал писать брошюру в то время, когда Елачич двигался на Вену, в октябре 1848 г., а закончил ее после взятия Вены, т. е. в ноябре, и напечатал ее в конце декабря 1848 г. Издал ее по немецкие и по польски (в переводе Ю. Андржейковича) лейпцигский издатель Кейль ("Пролетарская Революция", цит. м., стр. 196 —197); напечатал же ее типограф Александр Виде.

166 Судя по тому, что в "Исповеди" подобные заявления встречаются несколько раз, можно предполагать, что Бакунину предъявлялись и обвинительные документы, или что его тем или иным способом ставили о них в известность. Можно также допустить, что он знал о присылке их из Австрии вместе с ним, но и об этим он мог знать только от жандармов.

167 Прусское национальное собрание, которое Бакунин называет “конститутивным”, повидимому имея в виду его учредительный характер, было 9 ноября 1848 г. по приказу короля переведено в городок Бранденбург, причем временно распущено до 27 ноября, а когда палата депутатов отказалась подчиниться этому произвольному распоряжению и начала собираться в разных местах Берлина, то ее собрание было 16 ноября разогнано воинским отрядом, а 5 декабря она была окончательно распущена уже после переезда в Бранденбург. После этого король октроировал конституцию совершенно олигархического типа, которая с небольшими изменениями просуществовала до революции 1918 года.

168 Гекзамер, Адольф — немецкий журналист и политический деятель демократического направления; принимал активное участие в революции 1848 года, был избран в Центральный комитет союза немецких демократических обществ на берлинском съезде этих обществ в октябре

1848 г. и был членом редакции органа, этих обществ. Был членом прусского национального собрания.

Дестер, Карл Людвиг Иоанн (1811—1859)—германский политический деятель, врач по профессии, кельнский демократ, затем коммунист, друг Маркса, член “Союза коммунистов”, играл активную роль во время революции 1848 года; с февраля 1849 г. был членом прусского национального собрания, где сидел на левой; был членом Центрального комитета немецких демократических обществ, избранного на октябрьском демократическом съезде в Берлине, был редактором центральной демократической газеты, участвовал в демократическом восстании в южной Германии в 1849 г. После подавления революции принужден был эмигрировать в Швейцарию, где и умер. Бакунин познакомился с ”им еще в 1847 году в Брюсселе.

168а Мы уже указывали, что с августа среди немецких и в частности берлинских демократов началось оживление. Они стали готовиться к вооруженному отпору наступавшей реакции. Избранный на съезде демократической партии Центральный комитет старался завязывать повсюду связи, налаживать организацию демократических сил в провинции, вести радикальную агитацию и т. п. Дестер, Якоби и Штейн, три немецких радикала, находившихся в хороших отношениях к Бакунину, должны были составить революционный комитет для руководства подготовлявшимся выступлением, привлечь на его сторону армию, припасти оружие и средства. Так как Силезия считалась наиболее передовою провинциею Пруссии, то предполагалось именно ее избрать центром восстания, опорным пунктом которого должен был служить город Бреславль (где Бакунин, как мы знаем, имел довольно широкие связи). Совершенно очевидно, что Бакунин был посвящен в эти планы если не в деталях, добиваться которых он сам вероятно избегал, то в общих очертаниях: это между прочим видно и из его письма к неизвестному поляку от 2 октября 1848 года, напечатанного нами в томе III настоящего издания; и столь же очевидно, что в Кэтене, где он в частности сблизился с Дестером, с которым в Берлине не был близок, и с Гекзамером, двумя членами ЦК демократической партии, он узнал еще больше о революционных подготовлениях немецких радикалов. Так же хорошо Бакунин был посвящен в революционные замыслы поляков, с своей стороны готовивших новое восстание в Познани, в Галиции и, если удастся, в Царстве Польском; но о польских делах он в исповеди перед Николаем разумеется избегал упоминать. Именно в связи с подготовлявшимся выступлением немецких демократов в Пруссии поговаривали о Бакунине как об одном из кандидатов в военоначальники наряду с Мерославским и Липским (см. выше комментарий 157).

О планах и настроениях прусских демократов Бакунин мог узнавать между прочим от Мюллера-Стрюбинга, который старался держать своего друга в курсе событий, и от Энно

Зандера, связанного с берлинскими демократами и часто совершавшего поездки в Берлин. С Бреславлем он связан был между прочим через своего приятеля, демократического купца Штальшмидта, который наезжал в Кэтен и там встречался с Бакуниным (об этом свидетельствует записка Штальшмидта от 29 октября 1848 г. из Кэтена, найденная у Бакунина при аресте и напечатанная в цит. книге Пфицнера, стр. 75). Еще более интересна другая записка того же Штальшмидта из Бреславля от 15 декабря 1848 г., в которой он сообщает, что состоит членом комиссии безопасности, управляющей городом, что в Бреславле все готово к восстанию, которое вспыхнет на следующий день, если из Берлина будет дан сигнал, и просит Бакунина постараться, чтобы Берлин поднялся (ib., стр. 77). Дестер и Гекзамер, перебравшиеся с середины января 1849 г. в Лейпциг, основали там "Центральный комитет для вооруженной защиты немецкой народной свободы", который вероятно находился также в связи с Бакуниным, но о деятельности этой новой организации почти ничего не известно.

169 В Лейпциг Бакунин приехал 30 декабря 1848 года. Здесь он между прочим познакомился с прогрессивным издателем Эрнстом Кейлем, выпустившим в свет его воззвание к славянам. О впечатлении, произведенном Бакуниным на Кейля (а вероятно и на других лейпцигских демократов), свидетельствуют следующие воспоминания Кейля, извлеченные из его статьи о пострадавших за революцию сотрудниках его журнала "Маяк", которая была помещена в сентябрьском номере журнала за 1849 год, т. е. когда Бакунин уже сидел в саксонской тюрьме. Итак вот что пишет Кейль.

"Это было в конце 1848 года, в воскресное утро. Снег ослепительно сверкал на полях, которые были видны из окна моей комнаты. Люди молились. А я сидел за столом и работал. Вдруг мне сообщили, что пришел гость. Я знал имя этого человека, хотевшего со мной говорить; знал, что он сын богатых родителей, из преданности идее отказался от блестящей карьеры и совершенно без средств эмигрировал во Францию; я знал его знаменитую парижскую речь на польском банкете, которая в бесчисленных (?) переводах обошла всю Европу; знал также и его дальнейшую судьбу, как Гизо в своем раболепии перед русским царем выслал его из Франции, как бежал он в Брюссель, как еще недавно только чудом спасся от выдачи черно-красно-золотой Пруссией, и как, почти до смерти замученный всеми этими преследованиями, он нашел наконец приют в маленьком Дессау. Этот человек, затравленный власть имущими, был безусловно хорошим человеком.

"Это был Бакунин.

"О чем мы с ним в то утро говорили, как я ловил каждое слово этого восторженного апостола свободы, как он рассказывал обо всех своих надеждах, о своей любви к России, о ненависти к царю,—все это я не буду сейчас повторять. Во время нашей беседы я просил его написать несколько статей, и он мне это обещал. Я предложил ему за них приличное вознаграждение. Но он сказал серьезно: "Милостивый государь",—его высокая, гордая фигура поднялась с дивана, — "за деньги я не пишу". И этот человек был в это время беден, так беден!

"С этого времени мы с ним часто встречались. Я видел, как он в пылу захватывающего вдохновения громовым голосом на ломаном немецком языке произносил свои воспевающие свободу речи. Все его могучее тело при этом дрожало от пламенного гнева и лихорадочного возбуждения. Битком набитые собрания, состоявшие преимущественно из видных людей, как бы охваченные священным порывом, не смели даже дышать, захваченные этим великаном духа. В этом бледном, черном (?) человеке все дышало силой, энергией и решимостью. Потом я видел его снова, как он, дитя с детьми, ласкал белокурую четырехлетнюю дочку одного друга и играл с ней, как он при этом рассказывал о своих братьях м сестрах в России, о своей молодости. Слушатели были тронуты до слез. Как часто уходил он из трактира голодный,

потому что роздал на улице свои последние деньги нищим или купил цветы своей любимице! И вот этого человека, столь великого и решительного в своей восторженности, столь мягкого в своей любви, они осмеливались называть “подлой натурой”.

“Сейчас не время говорить о политической деятельности Бакунина. Его “Воззвание к славянам”, которое он опубликовал незадолго до приезда в Лейпциг, известно. Все, что сочиняют о нем в последнее время официальные лакейские газеты, будто он стоял во главе большого заговора, проект организации и планы которого найдены в его бумагах, все это ложь и клевета (?). Одно только верно, что он, случайно вовлеченный в дрезденскую революцию, вскоре стал во главе ее и честно и стойко боролся там за свои идеалы. Какова будет его судьба —смерть ли, выдача ли России, или пожизненное тюремное заключение,—этого мы не знаем, и нам приходится больше бояться за него, чем на что-нибудь надеяться. Теперь его судьба —

каземат в Кенигштейне!”

(Б. Николаевский—“Бакунин эпохи его первой эмиграции в воспоминаниях немцев-современников”. “Каторга и Ссылка” 1930, № 8/9, стр. 111—112).

Содержащиеся в последнем абзаце слова Кейля относительно заговора следует понимать так, что Кейль имел в виду заговор, направленный к возбуждению революции в Германии: такого плана у Бакунина действительно в бумагах найти не могли. Но поскольку речь шла о заговоре против Австрии, то, как мы знаем, таковой был Бакуниным задуман.

Следивший за каждым шагом Бакунина русский посол в Пруссии Мейендорф в письме к Нессельроде от 3/15 января 1849 г. уверяет, что Бакунин является советчиком саксонских демократов и подает им мудрые советы: так он якобы убедил их выступать внешне умеренно, дабы таким путем увлечь за собою массы, и эта именно тактика помогла мол им получить чисто республиканскую палату (P. Meyendorff — “Politischer und privater Briefwechsel”, том II, стр. 144). Враги явно преувеличивали значение Бакунина, но они его боялись и тщательно за ним следили.

В Лейпциге, как сообщает Бакунин в показаниях на австрийском допросе, он проживал без прописки в полиции, но с ведома какого-то члена правительства, имени которого он не называет, сначала в гостинице “Золотой петух” (хозяином которой был демократ “папаша Вернер”, у которого Бакунин одно время находил приют), а позднее для укрытия от глаз полиции он жил у своего знакомого книготорговца Шрека; одно же время жил вместе с братьями Страка, которые вскоре сделались его ярыми приверженцами. С Густавом Страка Бакунин, как выясняется из его допроса в Саксонии, был знаком еще по Праге (поэтому показание Г. Страка, что он познакомился с Бакуниным 31 декабря 1848 г. в Лейпциге, приходится считать неверным); он встретил его в Лейпциге в гостинице “Золотой петух”, а затем познакомился и с его братом (Чейхан, стр. 39—40 и 80, а также “Прол. Рев.”, цит. место, стр. 201 сл.). Возможно, что через них он проник в студенческие кружки в Лейпциге, состоявшие из славянской учащееся молодежи; в эти кружки начали захаживать и немецкие студенты. Здесь Бакунин, резко выступая против националистических предрассудков, горячо развивал идеи своего “Воззвания к славянам”, доказывая своим слушателям общность революционных интересов демократов славянских и немецких. Постепенно вокруг него образовался кружок преданных ему юношей, проникнутых энтузиазмом и готовых по его указанию ринуться в самые рискованные предприятия. Из них братья Страка были особенно ему преданы.

170 О впечатлении, произведенном брошюрою Бакунина, см. в комментарии к № 520 в томе III, стр. 532 сл., а. также в этом томе выше (стр. 472 сл., ответ Палацкого на брошюру).

171 О Карле Сабине и Эмануиле Арнольде см. том III, стр. 546—547. Газета, которую тогда редактировал Сабина, называлась "Известиями Славянской Липы", и была гораздо радикальнее, чем само общество, от имени которого она издавалась. В ней и появился в январе 1849 г. перевод части брошюры Бакунина, причем все нападки на императора Фердинанда были выброшены. Но ответа Бакунина на "Вынужденное объяснение" Палацкого Савина уже не поместил.

Повидимому Бакунин просто воспользовался ответом Палацкого на "Воззвание к славянам" для того, чтобы завязать более тесные связи с обществом "Славянская Липа" и заставили говорить о себе более молодых и революционно настроенных его членов. По словам самого Бакунина он, посылая в конце января 1849 г. в Прагу Густава Страку, дал ему два поручения: пригласить к нему в Лейпциг для переговоров Э. Арнольда, а во-вторых поручил Страке вручить К. Сабине письмо для передачи "Славянской Липе", орган которой Сабина редактировал: его письмо, являясь дальнейшим развитием идеи, изложенной в кэтенской брошюре, содержало призыв к славянам объединиться с немецкими демократами и венгерскими повстанцами для совместной борьбы против реакции; оно должно было по расчетам Бакунина привлечь к нему симпатии левого крыла "Славянской Лапы". От самого Сабины Бакунин не получил ответа на свое предложение, а от Страки узнал, что Сабина письмо принял, но заявил, что при господствующем настроении невозможно передать его "Славянской Липе". На допросе Сабина пояснил, что Г. Страка действительно привез ему пакет, состоявший из 8 листков, с надписью "Комитету Славянской Липы" и подписью "Бакунин, член славянского конгресса". Существо рукописи сводилось к тому, что славянство под влиянием ученых доктринеров пошло по неправильному пути. Ссылаясь на свое "Воззвание к славянам", Бакунин предлагал идти по пути, указанному в этой брошюре, т. е. по пути солидарного выступления славян с немецкими демократами, польскими и венгерскими революционерами в целях разрушения австрийской монархии и создания на ее развалинах вольной славянской федерации. По словам Сабины он не решился дать этому обращению дальнейшего хода и сжег рукопись.

172 Э. Арнольд, который был радикалом еще до революции 1848 г. и за свои резкие статьи сидел даже в тюрьме, начал издавать с конца 1848 г. демократический популярный журнал "Obcanskй Noviny" ("Гражданские Известия"), имевший целью пропаганду демократических идей в городе и деревне. Этим он естественно привлекал внимание Бакунина, который уже тогда задумывал демократическую революцию в Богемии и потому стремился сгруппировать вокруг себя влиятельные радикальные элементы чешского общества.

173 "Славянская Липа"— чешское политическое общество с разветвлениями по всем чешским землям, а затем и по всем славянским землям Австрийской империи, основанное 30 апреля 1848 года а Праге, называвшее себя демократическим, но в сущности бывшее вначале умеренно-либеральным, а подчас даже прямо реакционным и находившееся под тлетворным влиянием партии Палацкого, проводившей и здесь ту же политику прислуживания австрийской монархии, что на пражском съезде. В своем цитированном выше ответе Бакунину Палацкий ("Gedenkblдtter", стр. 183—184) сам признает, что в "Славянской Липе" представлены были разнородные элементы: консервативные, которым он сочувствует, и радикальные, ему антипатичные. Он протестует против попытки характеризовать всю "Липу" на основании одного поведения редакторов ее органа и считает перепечатку (частичную) ими брошюры Бакунина "свидетельством не столько их извращенного мировоззрения, сколько их радикальной бестактности". Сам Бакунин в своих саксонских показаниях (стр. 183) говорит,

что общество ”сначала защищало славянские интересы от немцев, а впоследствии распалось на три фракции: на консервативную, во главе которой стоял Палацкий, на либеральную... и на демократическую, членом которой был Сабина”. Целью общества объявлена была охрана основ конституции и их широчайшее распространение в Австрийской империи, полное равноправие чешского языка с немецким во всех областях государственной и общественной жизни, отстаивание самостоятельности чешской короны от всех покушений Германского Союза и Франкфуртского парламента. В первом комитете общества членами состояли граф И. М. Тун (председатель), Ганка, Иордан, Палацкий, Ригер, Миковец, (Миковец, Фердинанд Братислав (1826—1862) — чешский археолог, драматург и общественный деятель. Получил немецкое воспитание и только на 16-м году жизни начал под влиянием растущего чешского национализма учиться по-чешски. С 1842 переселился в Прагу и занялся литературой, причем сначала писал по-немецки, а с 1846 и по-чешски. Принял участие в событиях 1848 г.; в качестве офицера участвовал в боях сербов с венграми в Бандте. Вернувшись в 1851 на родину, он в целях борьбы с баховской реакцией, не пощадившей и чешских предателей революции, основал журнал “Люмир”, вокруг которого группировалась чешская писательская молодежь. Собрал много материала по истории Чехии и в 1858—61 выпустил свою главную работу “Древности и памятники чешской земли” (по-чешски и немецки).

т. е. заведомо правые националисты, известные по своей роли на славянском съезде. Впрочем, когда задевались интересы националистов, общество пыталось обороняться. Так комитет протестовал против поведения властей во время июньских волнений и обратился в австрийский сейм с жалобою на насилия военщины. Намекая на то, что волнения вызваны были провокациею властей, общество заявило: “До сих пор исследовали одну сторону дела: не было ли заговора против законного порядка? Теперь следует взять другую сторону: не было ли заговора против свободы?” Это не помешало обществу солидаризироваться с выступлениями южных славян против революционных венгров по наущению тех же властей и австрийской камарильи. 11 сентября 1848 года “Славянская Липа” выпустила воззвание к чешскому народу с приглашением оказывать движению южных славян материальную помощь и моральную поддержку. И даже во время наступления бана Елачича, этого наемного кондотьера австрийского абсолютизма, на революционную Вену, движения, возбуждавшего некоторые опасения даже среди умеренных либералов своим явным реакционным характером, “Славянская Липа” под действием националистического дурмана и под растлевающим влиянием таких политических вождей, как Палацкие, Ригеры и т. п., приветствовала армию абсолютизма, желая ей победы над революционной демократией.

Когда бан Елачич, объявленный революционною Веною бунтовщиком и изменником, был камарильею назначен главнокомандующим венгерскими войсками, “Славянская Липа” приняла сторону реакции и писала: “Наконец атмосфера начинает проясняться. Правительство наше, до сих пор не решавшееся, к какой стороне примкнуть, втайне строившее нам (т. е. славянам. — *Ю. С.)* разные козни, силою обстоятельств вынужденное принять определенное направление, стало во главе славянского движения”. Когда во время наступления Елачича и Виндишгреца на Вену в октябре 1848 года общество “Славянской Липы” совещалось о том, какую занять в данном случае позицию, большинство отвергло предложение К. Гавличка, вице-президента общества и ярого немцееда, о нейтралитете и высказалось за правительство против революции. Ригер выразил настроение этого большинства в следующих словах, в которых он старался выставить камарилью сторонницею равноправия наций, а венских революционеров—его противниками: “Мы убеждены в том, что это - бой народный из-за равноправности всех народностей, и потому бой этот должен быть доведен до конца. Та сторона, которая вызвала на бой, должна быть сломлена; в противном случае мы очутимся в том же загоне, в каком были до этого. Войско должно победить, чтобы обезоружить не студенческие легионы, а толпы бунтовщиков, состоящие из рабочих, которых должно выгнать из Вены. Наше спасение связано с выгодами династии, и потому мы не станем протестовать против того, что она употребляет войско для достижения своих целей... Наконец мы видим склонность династии к дарованию свободы; по крайней мере без этого она не в состоянии удержать власть”.

Когда Вена была осаждена, а императорский двор переехал в богемский городок Ольмюц (Оломоуц), чешская буржуазия торжествовала, думая, что пришел ее час. “Славянская Липа” призывала ту

счастливую минуту, когда “королевская Прага дождется той славы и радости, чтобы действительно иметь в лоне своем короля и конечно с целым рыцарством”. Дальше выражалась надежда, что не двор онемечит Прагу, а скорее она ославянит его, “так как наконец славянство добилось признания своих прав, хотя бы это было вследствие того только, что по недостаточной неразвитости славян на них лучше можно опереться”. Дальше с удовлетворением предсказывается, что славянские войска покорят “дикого мадьяра”, в Вене мещанство и пролетариат перебьют друг друга, а студенты будут разоружены, Пешт будет обращен в пепел, — и все это в интересах славянской свободы: “Мы желаем успеха войску против Венгрии, желаем нравственного покорения Вены, потому что тогда только возможно свободное славянство”. Такова была тогда позиция Палацких, Ригеров и подобных, в которой не знаешь чего больше — глупости или растления.

22 октября 1848 года бан Елачич писал из своего лагеря “Славному обществу Славянской Липы в золотой Праге” следующее: “Моя победа в Пеште была бы неполна, и положение врагов наших в Вене было бы еще-прочнее, если бы я не подступил с войском к самой Вене, чтобы смирить врага славянства в столице Австрии. Поэтому не могу выразить мою радость, когда я узнал, что братья-чехи по одинаковому с нами побуждению, что доказывает отозвание чешских депутатов из венского сейма, развернули свои победоносные знамена перед Веной, подавая мне и войску моему братскую руку с геройскою решимостью победить или пасть со славой. Идя против Вены, я воодушевлен одною мыслью, что иду против врага славянства, и утешаюсь надеждою, что вы мои действия не только оцените, но и поддержите”.

В ответ на эту лицемерную выходку наемного кондотьера австрийской реакции “Славянская Липа” выразила ему свое полное доверие и симпатию, благодарила его за то, что он соблаговолил объяснить ей цель своих действий, и соглашалась с мыслью, что “если бы не было Австрии, то славяне должны были бы создать ее”. Но она не сочла нужным указать на то, что герои-чехи, развернувшие свои знамена перед Веной, были просто запросто мобилизованные солдаты, дравшиеся по приказу начальства и -толь же охотно усмирявшие бунтовщиков в Вене, как и в Праге.

Когда после октябрьских событий в Вене и роспуска австрийского сейма создалась удушливая политическая атмосфера, комитет “Славянской Липы” созвал 26 октября народное собрание, в котором решено было подать австрийскому императору петицию с требованием выдачи оружия, пушек и снарядов. При этом высказывались такие соображения, что вооружение это необходимо чехам для того, чтобы не сделаться добычею военного деспотизма в случае удачи похода его на Вену (ясно, что эту мысль выражали не те элементы “Славянской Липы”, которые приветствовали поход Елачича на Вену). Открыты были даже сборы денег на оружие. На 28 декабря созван был в Праге съезд всех отделов “Славянской Липы”, который постановил объединить все общества и созывать ежегодные съезды. С октября начала выходить газета “Славянская Липа” под редакцией) доктора Подлипского

(Подлипский, Иосиф (1816—1867)—чешский общественный деятель, врач по профессии. Учился в Праге, рано примкнул к патриотическому движению и сблизился с Колларом. В Вене организовывал кружки среди интеллигенции и состоял под полицейским надзором. В 1845 вернулся в Прагу. Был членом славянского съезда в 1848, а с октября по декабрь был вместе с Ваврою редактором “Известий Славянской Липы”. В 1861 г. был избран депутатом в чешский сейм.)

и В. Вавры, а с начала 1849 года она приняла название “Известий Славянской Липы” и стала выходить под редакцией В. Вавры и К. Сабины. Газета приняла радикальное направление, несимпатичное заправилам общества, и К. Гавличек резко выступил против нее в “Национальных Известиях” (“Narodni Noviny”). Проникая в демократические круги, общество постепенно левело, радикальное крыло его начало даже сотрудничать с “Немецких союзом” в Праге, но наступившая реакция не дозволила развиться этой тенденции, и скоро положила конец “Славянской Липе”.

Управляющим делами “Славянской Липы” был демократически настроенный Вильгельм Гауч, впоследствии прикосновенный к бакунинскому заговору.

Это именно общество и задумал завоевать Бакунин, рассчитывая сделать его одним из рычагов замышленной революции.

174 Здесь Бакунину явно изменила память, ибо не можем же мы предположить, чтобы он стал скрывать от Николая I то, что не побоялся сказать на допросах за границей. С Сабиною Бакунин познакомился еще на славянском съезде в Праге в 1848 г., после того с ним переписывался, послал ему свое “Воззвание к славянам”, которое Сабина перепечатал почти полностью в редактируемой им газете, и пр. Вот что он показал 3 августа 1849 г. в Саксонии: “Я познакомился с Сабиною только мимоходом на прошлогоднем конгрессе в Праге; я как-то обменялся несколькими письмами с Сабиной, но ознакомился с ним более по его газете “Славянская Липа”, чем из устного обмена мнений. Однако Сабина знает меня по моей общеизвестной деятельности в пользу славянского дела и даже напечатал часть моего появившегося в Кэтене воззвания к славянам в своей газете... В январе этого года я послал почтой из Лейпцига (на самом деле через Г. Страку - Ю. С.) обращение к “Славянской Липе” в Праге, которое содержало защиту моей кэтенской брошюры от открытого нападения на нее со стороны пражца Палацкого в издаваемой [К.] Гавличком газете “Народни Новины”. Однако я ни ответа от Сабины не получил, ни вообще не узнал ничего о судьбе этого обращения, которое я сначала хотел напечатать, но затем оставил эту мысль. Я никогда не получал газеты Сабины. Сабина, которого я знал из его писаний за человека свободомыслящего, внушал мне доверие, и на этом основании я и послал ему упомянутое выше обращение, а также написал Сабине то рекомендательное письмо, которое Реккель просил для Праги”. И дальше: “Кроме упомянутого выше, предназначавшегося для общества “Славянская Липа” обращения, я не приходил ни в какое соприкосновение с этим обществом и кроме Сабины не знаком ни с кем из членов „Славянской Липы'"” (“Прол. Рев.”, цит. м., стр. 173 — 174; “Материалы для биографии М. А. Бакунина”, т. II, стр. 114). Согласно показанию в Австрии, где Бакунин уже не мог отрицать посреднической роли Г. Стража, он от последнего по его возвращении в Лейпциге узнал, что Сабина принял возражение Бакунина, но при этом заметил, что при данной ситуации напечатать его невозможно.

Гавличек, Карл (1821—1856)—чешский публицист и политический деятель консервативного направления. Учился в пражской семинарии;

уехал в Москву, где был несколько лет гувернером в доме С. Шевырева. В 1845 г. вернулся в Прагу под сильным влиянием славянофильства и писал о России в славянофильском духе, но руссофилом не был. В 1846 г. редактировал “Пражские Новины” и выходившую при них “Пчелу”. Принял деятельное участие в событиях 1848—1849 гг., был членом чешского национального комитета, участвовал в “Сворности” (чешская национальная гвардия в Праге), был членом славянского съезда, австрийского сейма в Вене и Кремзире, вице-президентом “Славянской Липы”. Был одним из виднейших представителей чешского национально-консервативного движения, вступившего в сделку с австрийской монархией против немецкой демократии (партия Палацкого). Вскоре после мартовской революции начал издавать ”Народные Новины”, получившие огромное влияние на консервативные круги чешского общества. Увидев, что вся политика его партии привела лишь к восстановлению старого режима и обману чешских националистов, перешел в оппозицию, правда очень робкую. За критику октябрьской конституции был предан суду, но оправдан присяжными. За нападки на реакцию подвергался преследованиям, газета его закрывалась, а в январе 1850 г. была окончательно запрещена, после чего он начал издавать журнал “Слова“”. В марте 1851 г. ему

был запрещен въезд в Прагу; через некоторое время журнал его также был закрыт, а сам он сослан в Тироль, после чего вскоре умер.

Его не следует смешивать с Францем Гавличком, демократом.

175 В показаниях перед австрийской комиссией Бакунин говорит по этому поводу: "Что между ними существовало какое-то соперничество,... я заметил из нескольких обстоятельств, в частности из того, что когда я все же добивался приезда Сабины ко мне в Дрезден (обмолвка вместо "Лейпциг".—*Ю. С.).* Арнольд, насколько я припоминаю, тому воспротивился" (Чейхан, прим. 157).

176 Как показывал впоследствии Бакунин на допросах в Австрии, он вызывал Сабину и Арнольда в Лейпциг для того, чтобы показать немецким демократам, что не все чехи настроены консервативно и лакейски, и что среди них есть радикальные элементы, свободные от национальной ограниченности и готовые выступать солидарно с немецкою демократией), а с другой стороны показать Сабине и Арнольду, что не все немцы готовы пожрать славян, что немецкие демократы готовы признать национальные права славянства и вместе с славянами бороться против контр-революции, словом с целью ускорить соглашение чешской и немецкой демократий для общей борьбы с наступлением реакции. Надо полагать, что вызывал он их не только для этого, а что он хотел с их помощью связаться с радикальными чешскими элементами для подготовки демократического переворота в Босемии.

177 Здесь Бакунин несколько путает даты. Венгры очутились в явном восстании против императора еще осенью 1848 года: 11 сентября Кошут был избран диктатором, 27-го генерал Ламберг был убит на улицах Пешта, а 3 октября 1848 г. Венгрия была объявлена на военном положении, и главнокомандующим венгерских войск, а также наместником императора был назначен Елачич. Это был формальный разрыв, который был вскоре завершен лишением Габсбургов венгерской короны по постановлению венгерского сейма. Что же касается германских демократов, то они замыслили вооруженное восстание гораздо позже, а именно после того как ряд немецких монархов отказался признать имперскую конституцию, выработанную Франкфуртским парламентом. Это случилось только в апреле 1849 года, а восстания вспыхнули в мае, в том числе и дрезденское, в котором Бакунину пришлось принять личное участие.

178 Здесь лишний раз сказывается "крестьянский социализм" Бакунина, которому движения революционного крестьянства были понятнее, ближе и симпатичнее, чем движения городской демократии и особенно рабочего класса.

179 Перед тем как перейти к обсуждению изложенного Бакуниным плана, необходимо отметить, что мы не знаем, насколько точно он излагает этот план в "Исповеди". В других местах он не выражен, и, как ниже говорит сам Бакунин, "никому не был известен или известен только весьма малыми, самыми невинными отрывками; существовал же только в его повинной голове". Приходится предположить, что он изложен в "Исповеди" точно.

Объясняя на допросе в Австрии, как он пришел к своему плану богемской революции, Бакунин говорил, что при составлении "Воззвания к славянам" в Кэтене он рассуждал теоретически, не помышляя еще о практическом осуществлении высказанных там мыслей. Только после переезда из Кэтена в Лейпциг у него возникла мысль о возможности вызвать восстание в Богемии, и эта мысль постепенно стала облекаться в конкретные формы. На Богемию он обратил внимание потому, что из всех славянских стран она казалась ему тогда единственною

кроме Галиции славянскою страною, в которой благодаря ее политическому положению можно было-расчитывать на активное выступление.

Нужно признать, что сравнительно с другими демократическо-революционными планами того времени он является действительно решительным и радикальным. В этом отношении он уступает только плану, развитому в "Манифесте Коммунистической партии", который идет еще дальше его, поскольку, не ограничиваясь радикально-демократическими мероприятиями,. намечает и ряд мер, залегающих основы коммунистического строя, как отмена права наследования (которую по иронии судьбы Бакунин в 60-х и 70-х годах стал выдвигать против коммунистов), централизация кредита и транспорта в руках государства (против чего Бакунин тогда впрочем не стал бы возражать и что вполне, согласимо с его планом), соединение земледелия с промышленностью, индустриализация страны, введение плана в сельское хозяйство, создание промышленных армий для земледелия, что предполагает коллективное крупное сельское хозяйство, и пр. В других, чисто демократических, как политических, так и социальных, мероприятиях обе программы в общем совпадают, причем в смысле резкости формулировок бакунинская ничуть не уступает другой. Сюда относится конфискация всех помещичьих имений, раздел, части этой земли между неимущими крестьянами, дабы привязать их к революции, и обращение другой части в источник финансовых средств для государства по образцу Великой французской революции конца XVIII века (ср. пункт 1 коммунистической программы: "экспроприация земельной собственности и обращение земельной ренты на покрытие государственных расходов"); изгнание всех дворян, чиновников и духовенства (такого пункта нет в коммунистической программе, где в пункте 4 говорится только о конфискации имущества всех эмигрантов; и бунтовщиков) ; отмена всех долгов, не превышающих 2 000 гульденов,— мера, сильнее способная заинтересовать задолженных мелких буржуа города и деревни, чем пролетариев, которым никто таких сумм не доверяет (эта-мера в коммунистической программе прямо не выражена, хотя ее можно предполагать включенною в пункт 5, трактующий о централизации кредита в руках государства посредством монопольного национального банка); наконец сожжение всех административных, судебных, нотариальных, государственных и частных бумаг и документов, владенных грамат и т. п. — мера, излюбленная бунтующими крестьянами и входящая составною частью в крестьянские революции (естественно, что в коммунистическом манифесте, предполагающем заложение основ социалистического строя, такая мера не предлагается за ненадобностью). Бакунин был уверен, что таким путем старый порядок будет навеки уничтожен, но он не замечал, что крестьянская демократия не гарантирует от восстановления крупной собственности и классового угнетения.

Из последних строк кстати ясно, что Бакунин придавал задуманной им революции интернациональный, точнее среднеевропейский, а затем и общеевропейский характер, Он полагал (и быть может не без основания), что пример захвата и раздела помещичьих земель, уничтожение прав собственнести и повинностей, отмена задолженности мелких владельцев и -т. п. увлекут за собою крестьян, повсюду и придадут городскому революционному движению могучего сотрудника и пособника в лице взбунтовавшейся деревни.

180 Итак, несмотря на отдельные анархистские декларации (в письмах к Гервегу), Бакунин, как только дело дошло до выставления более или менее конкретного и практического революционного плана, рекомендует в интересах обеспечения революционных завоеваний и отражения контр-революции не анархию, а революционную диктатуру. Совершенно очевидно, что при выработке социальной стороны своего плана он имел в виду пример якобинской революции 1793—1794 гг. Естественно, что он заимствовал из нее не только содержание некоторых своих экономических мероприятий (в частности и мысль о сожжении всех владенных грамат как средстве провести непроходимую грань между старым и новым строем

подсказана ему тогдашними действиями французских крестьян), но и форму политического устройства, ту временную политическую форму, которая дает революции возможность сосредоточить свою энергию и обезоружить своих врагов, а именно революционную диктатуру. При этом он правильно, что делает честь его революционному инстинкту, предполагает полностью разрушить старый государственный аппарат и создать свой новый, приспособленный к целям и задачам революции. И он доходит даже до мысли об использовании специалистов, применения их навыков и знаний в интересах нового режима впредь до выработки нового аппарата из представителей пришедших к власти трудящихся масс. Для обороны революции он намечает сформирование взамен старой разбитой армии новой армии, навербованной из пролетарских и полупролетарских элементов и снабженной своим собственным командным составом. Как видим, Бакунин и здесь использует опыт французской революции, но в проведении революционно-демократических принципов идет гораздо дальше ее и обнаруживает больше последовательности. Из демократических программ того времени программа Бакунина была наиболее крайнею и по содержанию, и по целям, и по формам осуществления, и по методам проведения.

Кое-что из этого плана, например сожжение бумаг и владенных грамат как средство радикального разрыва с прошлым и препятствия к восстановлению прежних имущественных отношений, вошло впоследствии в его анархистскую программу, которая была новою формулировкою его крестьянского социализма.

181 Опять-таки явный ответ на заданный вопрос.

182 Это письмо до сих пор остается неизвестным: искать его надлежит во французских архивах.

183 Итак в Лейпциге Бакунин не знал об этих фактах (ср. комментарий к тому III, стр. 537). Но в Петропавловской крепости он уже знал о перепечатке своей брошюры как Флоконом, так и "Демократом Польским". Спрашивается: где и когда он об этом узнал? Мы думаем, что в Дрездене, и притом от Виттига; но он мог получить эти сведения и от знакомых поляков, особенно связанных с Парижем, а такими были Гельтман и Крыжановский, с которыми он встречался в Дрездене.

184 Итак Бакунин и здесь, в "Исповеди", как раньше в других документах, определенно признает польских эмигрантов, в частности демократов, "главными распространителями" позорящих слухов на его счет, причем о "немецких коммунистах" даже не упоминает (в отличие от того, что он говорил 70-х годах в разгар борьбы в Интернационале). Но кого же он имел в виду, отделяя польских эмигрантов от "первых изобретателей" клеветы? Может быть, он разумел под этими первыми изобретателями "немецких коммунистов"? Ясно, что нет. Бакунин говорит здесь о российских дипломатических агентах за границею вроде русского посланника в Париже Н. Киселева и французских государственных деятелей вроде графа Дюшателя, которые в качестве более или менее бескорыстных слуг царизма поспешили поддержать эту клевету и распространяли ее как с парламентской трибуны, так и в частных беседах, между прочим и с польскими эмигрантами, от них-то и получившими первые компрометирующие Бакунина сведения.

В свете уже известных нам фактов представляется чрезвычайно странным утверждение Бакунина (повторяющего здесь сообщение из письма А. Рейхеля) в "Исповеди", что французские демократы также усумнились в нем вследствие заметки в "Новой Рейнской Газете". Вряд-ли французские демократы (если даже допустить, что они вообще читали кельнскую газету, что само по себе сомнительно) нуждались в этой заметке, чтобы составить себе то или иное мнение о Бакунине: ведь как раз из Парижа и шли компрометирующие Бакунина слухи (Киселев, Дюшатель, Гизо, Ла-мартин, польские эмигранты), в тем числе и

инкриминируемая заметка ”Новой Рейнской Газеты”. Связи польской эмиграции с французскими демократами, в частности с Флоконом и другими членами Временного правительства, были так стары и тесны, что ее недоверчивое отношение к Бакунину естественно передавалось этим французам без всякого посредствующего влияния немецких газетных заметок, о которых они вероятно и не подозревали.

185 Опять-таки явный ответ на заданный вопрос.

186 В своих показаниях перед саксонской следственной комиссией Бакунин несколько раз повторяет то же самое. Отрицая свое участие в саксонских политических делах, он отмечает, что “не присоединился ни к какому политическому сообществу в качестве члена его и не посещал никаких обществ, в том числе и “Патриотического общества”... Я категорически отрицаю, что работал для водворения республиканского образа правления в Саксонии, а также, что знал о каком-либо заговоре для установления республики в Саксонии. Вся моя политическая деятельность посвящена была соглашению славянства с либералами Германии”. И далее: “Я вообще не принадлежал ни к какому политическому клубу в Германии, потому что не интересовался частными делами Германии, а также потому, что в качестве русского я не мог бы пользоваться особым доверием, особенно с тех пор, как... “Новая Рейнская Газета” напечатала статью из Парижа, правда потом опровергнутую, согласно которой... Жорж Занд имела будто бы в своем распоряжении письмо, доказывающее, что я — шпион, купленный и оплачиваемый русским правительством”. И наконец: “Я вообще отрицаю свою принадлежность к какой-нибудь дрезденской, саксонской или немецкой революционной или демократической радикальной фракции: как я уже сказал, я не занимался такими частными вопросами и все время имел перед собой лишь вышеописанный план” сближения славянства с немецкими демократами (“Красный Архив”, том 27, стр. 163, 169, 171; “Материалы для биографии”, том II, стр. 41, 47, 49).

То же самое Бакунин заявляет в письме к Ф. Отто и в “Исповеди”. Для него германские дела сами по себе не представляли особого интереса: они связывались у него с задачею освобождения славянства и в частности русского народа.

187 Это конечно не совсем верно. Мы знаем, что и в Лейпциге, и в Берлине, и в Бреславле, и в Дрездене Бакунин посещал немецкие собрания, встречался с немецкими политическими деятелями, собирал некоторых из них у себя, даже выступал на немецких собраниях, как например летом 1848 г., когда он произнес на собрании демократической партии в Бреславле речь - (Это повидимому не та речь, о которой упоминает в своей “Истории Бреславля”, стр. 213, Ю. Штейн, ибо там он говорит о выступлении в один вечер в “Демократическом клубе” трех небреславльцев: Руге, Либельта и Бакунина. Надо полагать, что здесь говорится об избирательном собрании, на котором обсуждались демократические кандидатуры и в частности кандидатура Руге в Франкфуртский парламент, которую энергично поддерживал Бакунин. Отсюда следует, что Бакунин выступал в Бреславле не раз.)

“в целях защиты славянской расы и в особенности для опровержения утверждаемой писателем Бертольдом Ауэрбахом дилеммы между немцами и славянами, из которой вытекало, что между этими двумя расами возможна и полезна только борьба, а отнюдь не единение” (“Кр. Архив”, 1. с., стр. 169). Но в основном он все же прав: немецкие партии и собрания интересовали его преимущественно в связи с его славянскими чаяниями и предприятиями.

188 В № 50 прудоновской газеты “Le Peuple” (“Народ”) от 7 января 1850 г. напечатана была статья под заглавием “Панславизм”, написанная как видно из текста, на основании письма Бакунина или под его влиянием. Приводим эту статью, характерную для тогдашних настроений, в переводе М. А. Брагинского.

ПАНСЛАВИЗМ.

События после февраля развиваются с стремительной быстротой, не давая публицисту времени собраться с мыслями. Народы, партии, доктрины сталкиваются между собою и то торжествуют, то терпят поражения; кажется, всякий провиденциальный смысл истории теряется в этом революционном хаосе.

Потому-то мы так нерешительны в наших предположениях, высказываемых нами ежедневно о событиях, происходящих вдали от нас. Люди так быстро истощаются, рассказы, доходящие до нас, написаны так пристрастно, что мы постоянно боимся впасть в ошибку, повинуясь своим симпатиям и руководствуясь своим личным доверием.

Особенно трудно было следить за неясными волнениями и темными в своей сложности восстаниями в славянских землях, которые по языку, нравам к всем своим традициям стоят в стороне от европейского движения.

Однако мы должны поздравить себя с тем, что с первого же дня объяснили разницу в целях, преследуемых славянами-демократами и славянами-абсолютистами: первые опираются на Польшу, вторые же продались царю.

Письмо нашего друга Бакунина, русского дворянина (изгнанного и ограбленного указами Николая), подтверждает наше мнение о славянском конгрессе, созванном в Праге чешским дворянством в июне месяце, и об истинных интересах славянских наций. (Можно было бы подумать, что дальше идет письмо Бакунина, но все дальнейшее содержание статьи и стиль ее показывают, что это не так. Однако ясно, что автор статьи использует какое-то сообщение Бакунина или корреспонденцию его, посланную в газету Прудона.)

Агенты царя и австрийского императора пытались овладеть этим конгрессом, состоявшим из русских, поляков, литовцев, словаков, чехов, кроатов и сербов—народов, по своему происхождению принадлежащих к великой славянской семье.

Демократы разбили династические интриги; феодалы-дворяне и феодалы промышленности были заклеймены, осуждены конгрессом, предложившим свой союз мадьярам, немцам, итальянцам, если бы эти народы хотели с своей стороны помочь им в деле восстановления их национальной независимости.

Монархи не могли допустить этой братской пропаганды. Появился Виндишгрец. Прага подверглась бомбардировке и была покорена после пятидневной резни; члены конгресса были разогнаны, демократические ассоциации и студенческие легионы распущены. Богемия должна была подчиниться императору и потерять всякую надежду на восстановление своей независимости. Этот удар, нанесенный немцами независимости Богемии, восстановил всех славян против Германии и был на руку русским и австрийским агентам.

Кроаты, поднятые Еллчичем, боролись против мадьяр, несмотря на их братскую уступчивость. Агенты царя подняли придунайских сербов против Венгрии.

Австрийский император, желая порвать с Германией, тревожившей его своими демократическими тенденциями, стал вдруг заискивать перед панславизмом, незадолго до того раздавленным им в Праге. Правда, он опирался на славянскую аристократию, прекрасно служившую ему. Вся феодальная партия собралась под императорским знаменем. Германская Вена напрасно водрузила знамя независимости народов. Славяне ринулись на Вену, разграбили, обезлюдили ее; они идут теперь под

начальством своего палача Виндишгреца против венгерских демократов. Русское золото и русские агенты разнуздали национальные страсти.

Славяне и императорская солдатчина объединились против Венгрии и Италии. Венгрия борется геройски. Он может сопротивляться долго. Но если она падет, то Россия не замедлит поглотить славян-победителей. И эти недальновидные дипломаты, мечтающие об основании славянской империи в Австрии, несмотря на царящие там национальные раздоры, поймут, когда уже будет слишком поздно, что они работали для царя и открыли ему ворота Милана, где расположен его кроатский авангард.

Русский панславизм торжествует теперь на трупах славянских, немецких, венгерских и итальянских демократов.

Но славянские патриоты протестуют против этого фальшивого панславизма, и поляки, верные своему традиционному знамени, борются вместе с венгерцами за независимость народов. Здесь находятся все истинные друзья славян, здесь все наши симпатии.

Приветствуя успехи венгерцев, мы приветствуем усилия благородной нации освободить Варшаву, отомстить за Вену и Львов и спасти славян и всю Европу от вторжения казаков. Г. Ламартин сказал недавно одной мадьярской депутации: “у Венгрии и во Франции столько друзей, сколько имеется французских граждан”. Г-н Ламартин хорошо бы сделал, если бы повторил с трибуны эти слова, произнесенные им в городской думе. Он доказал бы Польше и Италии, что обещания Франции забыты не всеми французами, а демократический панславизм приветствовал бы конечно его заявление, потому что он выдвинул в нем принцип национальной независимости.

Вообще три большие партии стремятся овладеть славянскими народами:

русская держится как будто в стороне и покровительствует Елачичу: кроаты хотят превратить Австрийскую империю в славянскую империю, к которой присоединились бы некоторые дунайские провинции; польские демократы и их друзья надеются образовать славянскую конфедерацию между Германией и Россией.

До сих пор торжествует австрийская партия, и царь этим доволен. Франция, традиционный союзник Польши, взирает равнодушно... P. S. — Мы только что узнали, что в Праге собирается новый конгресс, состоящий под австрийским влиянием. Однако прежде чем осудить его, мы подождем, чтобы его действия поставили его безвозвратно в разряд тех реакционных собраний, которые фальсифицируют революции в пользу какой-либо касты или династии (Последнее сообщение неверно.)

189 Конечно национальные мотивы играли в событиях 1848 г. в Боге-мии колоссальную роль, однако не исключительную. Среди чехов также не было единодушного отношения к этим событиям, и в зависимости от классовых интересов отдельные группы чешского общества реагировали на них по разному. Если среди усмирителей чешской демократии Виндишгрец был немцем, то Лео Тун и подобные ему были чехами. А с другой стороны, если среди немцев имелось много противников июньских повстанцев (и их вероятно было относительно больше, чем среди чехов), то среди них имелись и активные их сторонники, и мы знаем, что на пражских баррикадах против немецко-чешско-польско-венгерских войск австрийского императора сражались бок-о-бок чешские и немецкие рабочие, пражские и венские студенты.

190 В своих показаниях пред австрийской следственной комиссией

Э. Арнольд говорил, что во время этой беседы Бакунин старался склонить

его на сторону социализма и убедить его помочь делу социалистической пропаганды в Чехии. Бакунин на допросе в Австрии категорически отрицал показание Арнольда, уверяя, что о социализме у них вообще не шло речи, причем ссылался на отсутствие какой-либо бесспорной социалистической системы, способной выдержать испытание практики (это же приблизительно он говорит и в "Исповеди", стр. 108). Арнольд мол его не понял: он, Бакунин, указывал на то, что при политической агитации нельзя избегать социалистических заявлений. Говорил же он с Арнольдом о необходимости организовать демократическую пропаганду в кругах "Славянской Липы", имевшей тогда разветвления по всей Чехии и собравшей в своих рядах много энергичной молодежи, доступной демократическим идеям. Главное же содержание переговоров между ним (а также Дестером и Гекзамером) и Арнольдом сводилось к необходимости подготовки одновременного революционного выступления в Германии и Богемии (Чейхан, стр. 41—42). Впрочем Г. Страка на допросе также утверждал, что в беседах с ним Бакунин развивал социалистические воззрения и в частности характеризовал желательный строй как "социально-демократическую республику"; форму ее Бакунин не определял более точно, говоря, что она образуется сама собой.

191 Роган, Шарль-Ален-Габриель, князь Геменейский, герцог Монба-зонский (1764—1836)— французский военный и политический деятель; во время революции эмигрировал вместе с своим отцом из Франции, поступил на австрийскую службу, воевал против своего отечества и дослужился до чина фельдмаршала. В 1805 году был разбит французскими войсками в Тироле. В 1809 г. отказался вернуться на родину по требованию французского правительства и был заочно приговорен к смерти. Под Ваграмом был ранен в сражении с своими соотечественниками. При Реставрации был возведен в пэры, но не заседал в верхней палате и вообще жил во Франции лишь наездами. Окончательно покинул Францию в 1830 г. и умер в Чехии, где нажил большие имения.

192 Этот организационный план был невидимому заимствован Бакуниным из деятельности карбонарских вент и тайных обществ, с которыми он мог познакомиться за границей через своих итальянских (Пескантини), французских (Г. Кавеньяк, Коссидьер и пр.), немецких (Вейтлииг и пр) и особенно польских знакомых демократов и заговорщиков. Впрочем образцом для него в данном случаи послужили скорее не тайные общества французских рабочих и немецких ремесленников, не знавшие подразделений по классовым категориям, а карбонарские тайные союзы, в частности маццинистские, о которых он мог узнать от Пескантини, бывшего маццинистом, от генерала Пепе, с которым был знаком, и от других итальянцев, которых наверно встречал у Пепе и т. п. Последние тоже делились на союзы контрабандистов, рыбаков, ремесленников, интеллигентов, офицеров, учащихся и т. д. У Бакунина мы встречаем только три основные деления, приспособленные к чешским общественным отношениям: организации мещанская, крестьянская и студенческая. Что в этой организации не было ничего анархистского, не приходится доказывать.

Между прочим на допросе в Праге Иосиф Фрич, взявший на себя организацию студенчества в Чехии и впоследствии давший откровенные показания, сообщил, что вся организация эта должна была строиться по тройкам, так что "например он, Фрич должен был подобрать себе трех товарищей, из которых лишь один состоял бы в непосредственных с ним сношениях; из этих трех каждый должен был подобрать себе еще трех, с соблюдением тех же условий, следующие тройки набирают дальнейшие тройки и т. д.". Инструкцию по этой организации Фрич по его словам также получил от Бакунина ("Прол. Рев." 1. с., стр. 221 ; "Материалы для биографии", т. II, стр. 179). На следующем допросе Фрич заявил, что не помнит, должна ли была организация строиться по тройкам или пятеркам (Чейхан, стр. 86). Это доказывает, что он в

сущности и не приступал к организации по бакунинскому плану, иначе он не мог бы забыть самого принципа организации.

193 Арнольд должен был заняться чешскою организациею, организация же немецкая поручена была Бакуниным (тайком от Арнольда) Оттендорферу.

Оттендорфер, Освальд (род. 1825)—уроженец не Вены, как можно было бы подумать по словам Бакунина, а Цвиттау (в немецкой части Мо-равии); венский студент, участвовал в марте в революции, сражаясь на баррикадах; затем из немецкого патриотизма принял участие добровольцем в кампании за Шлезвиг-Голштинию. Бакунин познакомился с ним в мае 1848 года в Бреславле, куда Оттендорфер заехал по дороге из Шлезвиг-Голштинии в Вену (сам Бакунин собирался тогда на пражский съезд). Оттендорфер в Вене принял участие в октябрьских выступлениях, по разгроме резолюции бежал в Германию, здесь встретился с Бакуниным в Лейпциге и тесно с ним сблизился. В его лице Бакунин нашел преданного последователя, который в Праге действовал по его указаниям (хотя нам неизвестно, каких результатов ему удалось добиться среди богемских немцев). После раскрытия подготовки к майскому выступлению в Богемии Оттендорфер принял участие в баденском восстании, после чего бежал в Америку.

194 Здесь Бакунин открыто признает, что на роль диктатора в случае радикальной революции он предназначал себя—и правильно, ибо другого

человека, способного на это, в его окружении не было. Ср. выше комментарий 144.

195 О письме Елачича см. комментарий 173, где рассказывается о “Славянской Липе”.

196 Письма Бакунину писались на адреса разных лиц; от него же письма шли купцу Фишеру в Праге с надписью “г. Николандеру”. Письма нередко зашифровывались.

197 Геймбергер, прозывавшийся также Лассогурским, сын австрийского чиновника, с которым он жил не в ладах, был учеником Лейпцигской консерватории. Бакунин познакомился с ним на одной из многочисленных студенческих сходок, на которые он собирал как славянскую, так и немецкую демократическую молодежь. Вскоре после посещения Лейпцига Арнольдом Геймбергер уехал в Вену для примирения с отцом. Бакунин воспользовался этою поездкою Геймбергера. Посвятив его отчасти в свои планы, он предложил ему на обратном пути заехать в Прагу к Арнольду и написать о тамошних делах. В Праге Геймбергер осел и сделался бакунинским постоянным корреспондентом. Он сообщал ему как о том, что наблюдал собственными глазами, так и о том, что передавал ему Арнольд. Самостоятельных поручений Бакунин ему не давал, считая его к выполнению их неспособным. Но австрийская следственная комиссия утверждала, что Бакунин поручил ему организовать студенчество по системе пятерок; Бакунин однако это отрицал. Бакунин сначала ничего не хотел говорить о Геймбергере, но когда комиссия познакомила его с показаниями Страка относительно того, что Геймбергер был прислан в Прагу в качестве пропагандиста и агитатора, Бакунин признал только то, что приведено в начале настоящего абзаца. Именно письма Геймбгргера и побудили его поехать вторично в Прагу.

198 На допросах в Саксонии Бакунин отрицал свою вторую поездку в Прагу (“Пр. Рев.”, 1. с., стр. 195). Судя по его показанию от 16 октября 1849 г.. и по письму к Илиодору Скуржевскому, напечатанному в томе 3 под № 523, он задумал поездку в Прагу еще в январе того года; но тогда поездка не состоялась. “Цель поездки, как показывал Бакунин, была по мере сил воспрепятствовать тому, чтобы славяне под предводительством Виндишгреца и Елачича и под покровительством России объединились против мадьяр и немцев” (1, с., стр. 206—207;

“Материалы для биографии”, том II, стр. 142). На допросе в Австрии Бакунин признал, что побывал вторично в Праге весною 1849 года (Чейхан, стр. 83; “Материалы для биографии”, том II, стр. 418).

199 Это второе воззвание Бакунина к славянам по поводу вступления. русских войск в Трансильванию напечатано нами в томе 3 под № 525. Листовка эта была выпущена в Лейпциге издательством Гохсфельд. Один экземпляр брошюры на немецком языке имеется в архиве министерства внутренних дел в Праге, откуда его заимствовал Чейхан, напечатавший его в приложении к своей книге (оттуда мы его и взяли). В ИМЭЛ имеется фотокопия номера “Дрезденской Газеты”, в котором это воззвание было помещено. На допросе в Австрии Бакунин признал себя автором этого воззвания.

200 На допросе в Австрии Бакунин показал, что в конце февраля или в начале марта 1849 г. он переехал из Лейпцига в Дрезден во-первых потому, что опасался оставаться в Лейпциге из-за своих брошюр, а во-вторых потому, что в Дрездене не только рассчитывал на большую безопасность благодаря тамошним друзьям, но и мог оттуда лучше следить за положением вещей в Богемии, Венгрии, Польше и России. В частности “он решил поселиться в Дрездене для того, чтобы быть поближе к Богемии, в которой успел уже завязать революционные связи. Пфицнер (цит. кн., стр. 115) говорит, что Бакунин переехал в Дрезден около середины марта 1849 г.

О. Л. Виттиге см. том III, стр. 548.

201 Об А. Реккеле см. том III, стр. 547. В жизни Реккеля Бакунин сыграл решающую роль. Вот как Реккель в своих воспоминаниях о каторжной тюрьме рассказывает о своем знакомстве с великим агитатором: “Я познакомился с Бакуниным несколькими месяцами раньше, когда он из Лейпцига тайком прибыл в Дрезден и несколько дней скрывался у меня. Как человеку редкой силы духа и твердости характера, соединенных с импонирующей внешностью и увлекательным красноречием, ему везде легко удавалось поднимать настроение молодежи до энтузиазма и увлекать за собою даже более зрелых людей, тем более что его воззрения, свободные от национальной ограниченности, проникнуты были благороднейшим и широчайшим гуманизмом. Но именно его пылкая фантазия в соединении с бессознательным честолюбием богато одаренной натуры, чувствовавшей себя призванною к тому, чтобы руководить и повелевать, часто толкала его к самообману насчет действительного положения вещей. Его ближайшим стремлением было объединение славянской и немецкой демократии против русского царизма, тогдашней главной опоры абсолютизма; а его многочисленные личные связи с единомышленниками во всех областях Австрии, равно как в Польше и России, заставляли его считать достижение этой цели гораздо более близким, чем оно является и по сей день” (August Rцckel—“Sachsens Erhebung und das Zuchthaus zu Waldheim” Франкфурт 1865,, стр. 143).

В саксонских показаниях Бакунин говорит о Реккеле следующее:

“Вскоре после моего прибытия в Дрезден, кажется в начале марта этого (1849) года, я познакомился с заведующим музыкальной частью Реккелем через Виттига в каком-то общественном месте, кафе или ресторане. Реккель понравился мне, и я стал поэтому искать его знакомства. Так как Реккель разделял мои политические взгляды, в частности мое мнение о славянском вопросе, то вскоре после моего знакомства с Реккелем у нас завязались дружеские отношения... Реккель симпатизировал славянам постольку, поскольку он разделял мое убеждение, что славяне настроены не исключительно в национальном славянском духе, но чутки и к идее свободы” (“Пр. Рев.”, 1. с., стр. 172—174: “Материалы для биографии”, т. II, стр.

113). Кроме того Реккель издавал демократический листок и был интересен Бакунину и с этой стороны.

Еще до переезда в Дрезден Бакунин по-видимому посредством переписки из Кэтена и через общих знакомых сумел оказать известное воздействие на "Дрезденскую Газету", которая в славянском вопросе начала все яснее становиться на его позицию признания солидарности славянской и немецкой (также мадьярской) демократии. Перебравшись в

Дрезден, он скоро сумел в этом вопросе сильно подчинить редакцию газеты своему влиянию. Постепенно прежний корреспондент газеты из Праги, стоявший на античешской точке зрения, был вытеснен другим, который признавал наличие славянской демократии, готовой работать рука об руку с демократиею немецкою. В газете стали появляться редакционные статьи и заметки, окрашенные новым духом, причем возможно, что некоторые из этих статей если и не целиком написаны Бакуниным, то им продиктованы, внушены, набросаны вчерне и т. п. Такова например передовая статья № 64 от 16 марта 1849 года под заглавием "Чешская демократия". Ввиду того, что не исключена возможность принадлежности этой статьи Бакунину (перепечатавший ее в своей книге И. Пфицнер высказывает на стр. 116 предположение, что она составлена по наброску Бакунина), мы приводим ее целиком.

"Изречение старого Пиллерсдорфа, гласящее, что ни один министр не положил в большей мере секиру у подножия трона, чем Вессенберг, в еще более полной степени осуществлено его преемником Стадионом: безумные мероприятия камарильи нанесли сборной Австрийской монархии весьма глубокие раны, и нанести ей смертельный удар предназначено по-видимому именно тому народу, от которого она ожидала своего спасения, который не раз предлагал ей свои услуги в качестве спасителя, тешил себя этою мечтою, — чешскому. Несмотря на последние газетные сообщения из Праги (см. корреспонденции оттуда), это удивит наших читателей, однако это именно так, как мы ниже попытаемся вкратце доказать для понимания нашего времени.

"Когда во время прошлогоднего расцвета всеобщей свободы народов собрался в Праге славянский конгресс, подавший повод к стольким недоразумениям, раздорам и враждебным выступлениям, среди чехов существовали две партии с прямо противоположными принципами: одна демократическая, а другая — государственническая, кокетничавшая либерализмом. Последняя, во главе которой стояли чешские Валькеры, Бассерманы и К°, все эти Палацкие, Штробахи, Браунеры и т. д., считала себя застрахованной на всякие случаи, так как ее действительная цель заключалась в основании национально-чешского королевства и, лишь в случае невозможности такового, в завоевании для славян руководящего значения в объединенном австрийском государстве. Ее противники, демократы, стремились лишь к освобождению славянских племен, они хотели дружественного братского союза с немцами, но не желали больше быть безвольными орудиями австрийского объединенного государства. Их лозунгом была свобода для всех племен согласно своему истинному народному волеизъявлению присоединяться к более крупным соседним племенам, немецким, мадьярским, славянским; целью же их была федеративная республика. К сожалению эта партия потерпела поражение вследствие жалкого отступничества лицемерно заигрывавших с чешством черно-желтых аристократов вроде Лео Туна, Ауэрсперга и т. п., вследствие измены государственных мужей, которые, сообразив собственную выгоду, склонились на сторону Габсбургов, ничтоже сумняшеся объявили истинно народную партию государственными изменниками и побудили Виндишгреца засыпать ее бомбами и ракетами. Но они потерпели поражение также вследствие злосчастных национальных раздоров, при чем немцы видели для себя опасность в чехах, последние усматривали опасность для себя в немецких народных восстаниях вне Богемии, хотя истинные демократы всех наций солидарно выступали на баррикадах против "отеческого

привета" императора Фердинанда. К этому присоединилось опасение прихода немецких имперских войск для усмирения "чешских бунтовщиков", оправдывавшееся благодарственным адресом Вуттке поджигателю Виндишгрецу. Но одновременно этой, становившейся все более односторонней национальной антипатии способствовало еще одно обстоятельство: события в Венгрии. Мы не можем входить здесь в запутанный спор между кроатами, сербами и мадьярами, мы хотим просто указать на то, что славянское национальное чувство столь же естественно толкало чехов на сторону южных славян, как немцев на сторону шлезвиг-голштинцев. Эти южные славяне избрали своим вождем Елачича, несмотря на то что в тот момент он был в опале у двора; но прошло немного времени, и чехи по инстинкту свободы поняли, что этот придворный дурачил их лощеными фразами, обманывал кроатов в интересах придворной партии и таким образом предал совокупную демократию славянских народов.

"Елачич двинулся на Вену, и здесь начинается третья стадия, через которую в истекшем году прошли чехи. Из Вены, этого центра империи. из этого стока всех ее национальностей, вышел в марте мятеж, плоды которого были одинаково радостно приветствуемы на турецкой границе, как и в Богемии. Было прекрасно известно, что славяне, немцы и венгерцы братски выступали там за одинаковую цель, падение старой системы. Но старой габсбургской политике удалось разорвать еще столь слабые, хотя и чреватые такою опасностью для нее нити народного братания и представить последствия мартовских достижений как опасные для государства, а их сторонников как смутьянов и врагов царствующего дома. Трусливые чешские беглецы из рейхстага, как Палацкий, Штробах, Браунер, Ригер, Троян, Гавличек и т. д., довели до конца то, что начато было правительством.

Чтобы прикрасить свое бегство, они рассказывали изумленной чешской молодежи о личной опасности, коей они подвергались в качестве чехов, и рисовали восстание 6 октября как немецко-славяноедское. Сомнение насчет того, не является ли Елачич изменником делу свободы, потонуло в потоке высокопарных фраз, которыми эти герои старались прикрыть отсутствие у них энергии, в потоке национальной болтовни, которою они пытались замаскировать свою политическую слепоту и свою измену. Выдвинутое в рейхстаге в столь безусловной форме требование послать во Франкфурт также представителей от чехов — такова была тема, которая, видоизменяясь на тысячу ладов, в конце концов сбила с толку чешскую молодежь, снова заставив ее поставить национальность выше демократии. Таким образом не только дали Вене пасть, но и допустили чешских депутатов в официальном заседании рейхстага надругаться над борцами за свободу. Но хуже всего было то, что Гавличек, ограниченный человек и верный пес черножелтого кабинетного героя Палацкого, был избран в Комитет Славянской Липы. Благодаря ему этот прежде демократический союз стал колебаться в своих убеждениях и дал себя использовать в качестве орудия правительственной партии. Однако в сердцах тысяч людей продолжал шевелиться грызущий червь, и когда Елачич с кроатами двинулся на Венгрию, дабы и там уничтожить последние остатки свобод 1848 года, когда реакционная партия снова высоко подняла голову, тогда повязка упала с глаз еще большего числа людей, и оставшиеся верными, столь долго вынужденные молчать демократы получили возможность снова выступить открыто. Это прежде всего сказалось в прессе, и здесь как раз уместно поподробнее поговорить о последней.

"Мнимо конституционные, а на деле иезуитски черножелтые газеты "Конституционный Богемский Листок" ("Das Constitutionelle Blatt aus Bцhmen"), и "Всеобщая Конституционная Богемская Газета" ("Die Allge-meine Constitutionelle Zeitung fьr Bцhmen"), равно как орган Палацкого. редактируемые Гавличком "Славянские Известия" ("Slovanskй Noviny")

(В действительности она называлась "Narodni Novini" ("Национальные Известия").

и славянский “Центральный Листок” (“Slavische Bldtter”) Иордана с чешской стороны, “Газета Немецкого Союза” (“Die Deutsche Vereinszeitung”),

чисто буржуазный листок, с немецкой стороны, несмотря на случайные

национально-оппозиционные выступления против отдельных мероприятии правительства, действовали в смысле и в интересах кнутобойного объединенного австрийского государства в ущерб демократии. Последняя располагает лишь двумя газетами: “Славянской Липой” Сабины, органом Союза, и особенно чисто демократически-социальной газетой автора книжки против иезуитов Арнольда “Obeanske Noviny” (“Гражданские Известия”), которая своими краткими, энергичными статьями особенно способствовала воспитанию и просвещению крестьян. Но значительный толчок перемене политического настроения среди чехов, более правильному пониманию венгерских военных дел и камарильи дало воззвание русского Бакунина к славянам, где в горячей образной речи изображена была общая опасность, которою угрожает свободе всех народов Австрии победа придворной партии. Так только можем мы объяснить себе советы Слав[янской] Л[ипы] подать массовый адрес рейхстагу против министерства Стадиона, удаление портрета Елачича из зала Славянской Липы, виваты в честь Кошута и немцев, предание огню октроированной при роспуске рейхстага конституции. Но такое понимание вещей проявилось не только на чешской почве; оно пустило также глубокие и широко разветвленные корни среди южных славян, особенно среди сербов; вражда к Венгрии стала утихать с тех пор, как в этом народе усмотрели последний оплот общей свободы. Из Праги может быть подан сигнал всем славянским племенам, и мы надеемся, что так и произойдет, как этого по-видимому уже начинает бояться правительство, ибо оно собирается распустить Славянскую Липу и при первом удобном случае провозгласить в богемской столице осадное положение.

“Если на основании этих признаков мы вправе рассчитывать на энергическое выступление чехов, то на нас, как на немецких демократов, ложится еще священная обязанность настоятельно призвать наших братьев в Богемии к совместным действиям в этой борьбе. Но для этого необходимо, чтобы они отказались от национального соперничества и отделались от страха перед чехами. Солидарный союз в борьбе не позволит уже борцам разойтись после победы. К сожалению это недоверие, независимо от разных условий, питалось и поддерживалось особенно также тем, что большинство существующих немецких ферейнов являются порождением наших саксонских немецких ферейнов и в качестве таковых оказываются социально-реакционными. Но в них имеются еще демократические элементы, и их надлежит связать как между собою, так и с чешскими для общей победоносной борьбы с общим врагом. Только таким путем может быть разрешен старый разлад, до сих пор разделявший демократов обеих национальностей, ибо чехи пойдут вперед, не поддаваясь декламации Палацкого и его приверженцев, оглушенных языком “совершившихся фактов”, которым камарилья устами Стадиона — Баха разговаривает с одураченными народами. В добрый час!”.

Приходится признать, что как стиль этой статьи, так и общий ход мыслей и отдельные замечания, содержащиеся в ней, сильно напоминают другие произведения Бакунина на ту же тему и того же периода, как например оба воззвания к славянам, его письма того времени, защитительную записку перед саксонским судом и т. п., так что авторство Бакунина представляется здесь весьма правдоподобным. Но в виду более тяжелого слога, чем обычный бакунинский, проходится допустить и соавторство другого журналиста—вероятнее всего немца (быть может Виттига).

В завязавшейся по вопросу о чешской демократии полемике принял участие новый корреспондент “Дрезденской Газеты” из Праги, подписывавшийся Г., под каковою подписью мог скрываться по предположению Пфицнера демократически настроенный управделами Славянской Липы Вильгельм Гауч (впоследствии прикосновенный к заговору Бакунина). В № 84 “Дрезденской Газеты” от 8 апреля 1849 г. появилась его корреспонденция, в которой жестоко критиковалась позиция Палацкого, его

оруженосца Карла Гавличка и т. п., и им противопоставлялась позиция чешской демократической партии, руководимой Сабиною, Арнольдом и в последнее время Францем Гавличком (его не следует смешивать с его однофамильцем Карлом Гавличком, реакционером). В частности Сабину корреспондент хвалит за то, что он возвысился в качестве редактора органа Славянской Липы до точки зрения социальной демократии. К этой корреспонденции редакция газеты присоединила примечание, в котором говорилось: "С радостью опубликовали мы настоящее письмо и при сем заявляем, что хотя мы нередко отчетливо выставляем на вид антидемократическое поведение чехов, эта борьба не направляется против чехов как нации. Демократическому чешству мы протягиваем братскую руку" (корреспонденция эта перепечатана у Пфиц-нера, цит. книга, стр. 125 ел.).

Гауч, Вильгельм—чешский политический деятель, демократ; принял участие в революции 1848 года; сначала шел за Палацким, но затем (от-

части под влиянием Бакунина) стал леветь. Он был управляющим делами Славянской Липы и вместе с этим обществом проделал эволюцию от соглашательства Палацкого и реакционного немцеедства К. Гавличка и Елачича к революционному демократизму и к готовности работать рука-об-руку с прогрессивными немцами против австрийской камарильи и собственной чешской реакции. Позже принял участие в организованном Бакуниным революционном заговоре, был арестован и судим, но отделался сравнительно легко, получив всего шесть лет тюремного заключения.

202 В это время, т, е. накануне отъезда Бакунина в Прагу, прибыл в Дрезден Густав Страка. Бакунин поручил ему вместе с Виттигом, Реккелем и почтовым чиновником Мартином (активный дрезденский демократ, член "Комитета по восстановлению Польши"; впоследствии арестован в Хемнице вместе с Бакуниным) составить международный комитет для установления смычки между чехами и немцами. Бакунин отрицал это показание Страка, уверяя, что рекомендовал ему только поддерживать литературную связь с "Дрезденской Газетой" Виттига, дабы проводить а, ней бакунинскую точку зрения насчет чешсхо-немецкого соглашения.

202а Утверждение Бакунина о том, что до марта 1849 года у него не было никаких политических отношений с поляками, в такой безусловной форме конечно не точно. Попытки к установлению таких отношений он, как мы знаем, начал делать уже в 1846 году. В 1847 году у него были уже знакомые поляки, с которыми он обсуждал вопрос о грядущих взаимоотношениях Польши и России и т. п. Среди поляков он тогда был уже настолько известною фигурою, что они пригласили его на свой ежегодный митинг, на котором он и произнес свою знаменитую речь. После высылки его за эту речь из Франции он в Брюсселе еще ближе сошелся с поляками, в том числе с И. Лелевелем, и вторично выступил с речью на февральском собрании польских эмигрантов в 1848 г. В Берлине первые встречи его это — встречи с поляками, в том числе с Цыбульским (вероятно и с другими), то же—в Бреславле, где он завязывает среди поляков многочисленные знакомства, естественно окрашенные политическим духом. Вряд ли эти знакомства, о которых нам к сожалению известно очень мало, носили чисто личный или академический характер: это не было свойственно Бакунину да и тому времени вообще. Конечно с поляками Бакунин обсуждал шансы на восстание Польши, особенно так наз. "русского забора", т. е. Царства Польского, и в связи с этим разумеется на восстание в России. Для этого Бакунин входил в сношения со всеми польскими партиями (что между прочим польским демократам не нравилось) и с поляками из всех трех частей Польши, — познанцами, галичанами, особенно из Кракова, и эмигрантами из русской Польши. Среди них Бакунин нашел много друзей и единомышленников. Поэтому трудно принять без возражений заявление Бакунина, что до встречи с Гельтманом и Крыжановским он не имел с поляками никаких положительных, т. е. конкретных политических сношений. Такое заявление можно понять только как проявление его упорного стремления скрыть в "Исповеди"

по возможности все свои отношения с поляками кроме тех, о которых русской полиции и без того было известно (а об участниках дрезденского восстания Гельтмане и Крыжановском знали все). Но замечательно, что и здесь Бакунин постарался умолчать об имени третьего польского офицера, участвовавшего в восстании, Голембиовского, о котором полицианты не знали,

Во время второго посещения Берлина в июле—сентябре 1848 г. Бакунин расширил и укрепил свои связи с поляками. Помимо того, что он встречался с некоторыми из них на общих демократических совещаниях, он был близок к кругам, группировавшимся вокруг Польской Национальной Лиги, основанной по инициативе А. Цешковского в июле 1848 года в Берлине и ставившей себе целью мирными и законными путями способствовать осуществлению польских национальных стремлений. В этой по существу культуртрегерской и преимущественно познанской организации было свое левое крыло, представленное такими людьми, как Липский, К. Либельт, знакомый Бакунину еще по пражскому съезду, В. Косцельский и т. д. В славянском кружке, который Бакунин сформировал вокруг себя в Лейпциге и где чехи были представлены братьями Страка, польский элемент был представлен Романом Фогелем, сотрудником иордановских "Jahrbьcher" и служащим книжной торговли Буссениуса, Геймбергером, известным также под полонизированной фамилией Лассогурский, венцем по происхождению и учеником лейпцигской консерватории (позже одним из его пражских агентов) , и эмигрантом Завишей, впрочем вскоре отстраненным Бакуниным от дел за легкомыслие и болтливость. Правда обращение Бакунина, затеявшего свой план восстания в Богемии, к своим знакомым познанским полякам осталось бесплодным, но из Дрездена к нему приехал в Лейпциг Ю. Андржейкович, его преданный сторонник, переводивший на польский язык его воззвание к славянам.

В Дрездене, куда Бакунин перебрался в середине марта 1849 г., он продолжал поддерживать и расширять свои связи с поляками. Он даже сразу заехал на квартиру к польскому эмигранту Тадеушу Дембиньскому. агенту Централизации Польского Демократического Товарищества, с которым он вероятно познакомился во время своего пребывания в Бреславле. Здесь Бакунин встречался все время с поляками, собиравшимися в определенных кафе и ресторанах, в частности с Карлом Б[р]жозовским и Иосифом Аккортом, из которых последний сделался одним из его пражских агентов по делу военной подготовки восстания. 17 марта в Дрезден прибыл и старый знакомый Бакунина В. Липский. Избегая вообще частых и бесплодных встреч с поляками, Бакунин несомненно встречался с демократическими их представителями, с которыми обсуждал планы дальнейших революционных выступлений, особенно в Польше и России. С наиболее близкими говорил о своем плане восстания в Богемии.

Кроме того Бакунин, верный своим прежним привычкам, старался иметь и светские знакомства: здесь можно было отдохнуть и приятно провести время, а при случае попользовать их в революционных целях для добывания средств, адресов и т. п. Такими знакомыми его в Дрездене были теперь графы Скуржевские, у которых здесь имелся дворец, и графиня Чесновская, у которой он часто обедал.

Б[р]жозовский, Карл (1821—1904)—польский писатель и общественный деятель; родился в Варшаве; в 1842 г. выехал за границу; участвовал в познанском движении 1848 года. После того был в Турции, объехал Курдистан и Анатолию; в 1855г. поселился в Азиатской Турции, женившись на дочери французского консула в Латаке (Сирия). Был на турецкой службе в качестве военного инженера, по оставлении которой был испанским консулом в Латаке. В 1883 г. переехал во Львов для воспитания дочерей. Произведения его относятся преимущественно к лирическому жанру; много переводил.

203 Об Александре Крыжановском см. том III, стр. 548. В рассматриваемый момент Крыжановский ехал в Париж, куда уже раньше уехал В. Гельтман. Они бежали от преследований австрийской полиции из Галиции, где работали с осени 1848 года над подготовкою восстания, которое в сотрудничестве с венграми должно было нанести тяжкий удар Австрии и одновременно угрожать России; предполагалось, что это восстание встретит отклик в Познани и в Царстве Польском. Как видно из показания Бакунина перед саксонской следственной комиссией, Крыжановский носил тогда кличку Бутилье; вероятно имел французский паспорт на это имя, так как ехал в Париж (см. "Красный Архив", 1. с., стр. 171). Чейхан (примечание 178) сообщает, что в протоколах (видимо австрийской комиссии) везде пишется не Kr[z]yzanowski, а Kranowski, а Керстен (цит. кн., стр. 116) уверяет, что это имя пишется Krzyzarawski, но это что-то маловероятно. В показаниях перед саксонской комиссией (стр. 198) Бакунин сообщает, что с Крыжановским он раньше познакомился в Брюсселе, а с Гельтманом в Париже. Встретились они в Дрездене по-видимому около середины марта (так как это происходило накануне поездки Бакунина в. Прагу, а туда он поехал во второй половине марта 1849 года).

В Центральной военной библиотеке в Варшаве (б. Раперсвильский Музей) под № 1173 хранится доклад В. Гельтмана и А. Крыжановского заграничной Централизации, содержащий отчет о выполнении ими возложенной на них миссии по поездке в центральную Европу. Часть этого доклада, касающаяся их пребывания в Богемии и Саксонии в апреле и мае 1849 года, опубликована на польском языке в цитированной книге проф Пфицнера (стр. 159—168). Хотя в некоторых местах авторы доклада приписывают себе деяния, которые по рассказу Бакунина принадлежат ему, а в других местах как бы преуменьшают его роль в подготовлявшихся и разыгравшихся в Чехии и Саксонии событиях, тем не менее этот документ в существенном подтверждает рассказ Бакунина, а кое-где дает еще важные дополнения и разъяснения бакунинского рассказа. Из этого доклада мы между прочим узнаем, что кроме них двоих в генеральном штабе дрезденского восстания участвовал еще третий поляк, некий Голембиовский из Галиции. Там же сообщаются некоторые любопытные подробности о сношениях с немецкими демократами, о которых Бакунин, явно не желавший давать Николаю и его жандармам лишнего материала, совершенно умалчивает. Их повесть о самом дрезденском восстании в основных чертах не только не расходится с тем, что говорит об этом предмете Бакунин в <Исповеди", но напротив совпадает с последним в главном и в деталях.

Тот приезд их в Дрезден, о котором они говорят в своем докладе. был очевидно уже вторым, и относится к началу апреля, судя по тому, что они говорят о недавнем возвращении Бакунина из Праги (а он был там во второй половине марта) и обнаруживают к этому моменту уже детальное знакомство с подготовительными мерами по восстанию в Богемии и Германии вообще. Кстати их доклад показывает, что вопреки отмечаемому ниже месту в "Исповеди" они были Бакуниным или другими участниками дела посвящены в него гораздо интимнее и подробнее, чем можно было бы заключить из рассказа Бакунина. В некоторых случаях выходит даже, что они играли в заговоре более решающую и направляющую роль, чем Бакунин. Мы считаем впрочем подобные места в докладе Гельтмана и Крыжановского неубедительными. Само собою разумеется, что так как они представляли довольно влиятельную и широкую организацию ("Демократическое Товарищество") в отличие от Бакунина, который в конце концов был только одиночкой, и политически были опытнее его, особенно в военных и организационных вопросах, то неудивительно, что в ряде случаев их голос имел перевес; но что душою богемского заговора был Бакунин, что они были привлечены к этому делу Бакуниным, что молодежь, участвовавшая в нем, признавала своим вождем Бакунина, это не подлежит сомнению и вытекает из показаний всех привлеченных к делу о заговоре в Чехии лиц. Надо при этом указать, что Гельтман и Крыжановский подходили к

вопросу с точки зрения интересов Польши, Бакунин же с точки зрения международных интересов революции.

204 Здесь Бакунин снова приписывает инициативу клеветы на него не полякам вообще, а специально польским демократам (выше мы объясняли, почему это могло произойти). Свое сближение с Крыжановским и Гельтманом в рассматриваемое время он прямо объясняет их недоверчивым отношением к этой сплетне: "С обоими я сблизился потому, что они мне заявили, что не разделяют взгляда своих соотечественников на меня, будто я— русский шпион" (допрос в Саксонии, 1. с.. стр. 198; "Материалы для биографии", т. II, стр. 134). И дальше Бакунин дает новую версию насчет происхождения этой клеветы: "Такой взгляд на меня возник на почве моего Заявления, что я как русский намерен держаться нейтралитета в польских делах и не желаю высказываться ни в пользу польской аристократии, ни в пользу польской демократии". Это объяснение представляется нам весьма сомнительным. Понимать его надо невидимому в том смысле, что Бакунин таким заявлением оставлял себе открытым путь к сношению с обоими лагерями польской эмиграции, и этим мог возбудить ее подозрения. Но прежде мы слышали от Бакунина объяснение в прямо противоположном смысле, когда он связывал возникновение первого подозрения против него с своею поездкою 1846 года в Версаль для завязания связей с Централизацией Польского Демократического Товарищества. Значит подозрение возбудил не нейтралитет, а как раз желание его войти в непосредственную связь с демократическим крылом эмиграции.

205 Паспорт был на имя Андерсена. На допросе в австрийской комиссии Бакунин признал факт приезда с фальшивым паспортом, но не мог припомнить, на чье имя он был выдан. Комиссия помогла его запамятованию и установила имя.

206 Вскоре после отъезда в Чехию Адольфа Страка, который увез с собою экземпляры первого и второго воззваний Бакунина к славянам на немецком и чешском языках, получено было от Геймбергера новое письмо, в котором он яркими красками описывал то влияние, какое доставило Бакунину среди чешской молодежи ознакомление с его кэтенской брошюрой. Геймбергер писал, что среди студенчества и членов "Славянской Ляпы" господствует благоприятное отношение к позиции Бакунина, и кончал свое письмо приглашением к Бакунину лично приехать в Прагу и убедиться в настроении публики. Это именно письмо и побудило Бакунина не откладывать свой отъезд в Прагу. Он так спешил, что приехал в Прагу раньше Адольфа Страка. Происходило это во второй половине марта 1849 года. Только Геймбергер и Арнольд знали о его приезде. Они отвели его к химику-красильщику Франтишку Паулю. Бакунин не чувствовал себя здесь в безопасности, особенно же ему не нравилось отсутствие чистоты. Пауль проявил к Бакунину большой интерес, что показалось тому весьма подозрительным. В тот же день он был переведен в центр города и помещен у отставного судейского чиновника Карла Прейса, у которого переночевал. На другой день был снова отведен к Паулю, где провел ночь, а на следующий день был устроен у жестяника Менцеля в Карлине (Каролиненталь — фабричная часть Праги), где оставался до отъезда из Праги. По словам Бакунина на допросе в Австрии Менцель, вообще человек совершенно пассивный, не знал о цели его пребывания и не интересовался этим, а играл по отношению к нему просто роль хозяина квартиры (Чейхан, стр. 46 и 83;

"Материалы для биографии", т. II, стр. 437—441), В Праге Бакунин пробыл четыре дня.

207 По возвращении в Дрезден Бакунин по-видимому не скрыл своего разочарования от своих приятелей. По крайней мере Р. Вагнер в своих "Мемуарах" рассказывает об этой поездке Бакунина следующее: "Когда ему показалось, что час восстания настал, он однажды вечером начал готовиться к небезопасному для него переезду в Прагу, раздобыв паспорт английского

купца. Ему пришлось остричь и обрить свои великолепные кудри и бороду и придать себе филистерски-культурный вид. Так как пригласить парикмахера нельзя было, Реккель принял дело на себя. Операция эта была произведена в присутствия небольшого кружка знакомых тупой бритвой, причинявшей величайшие муки. Пациент сохранял невозмутимое спокойствие. Отпустили мы Бакунина в полной уверенности, что живым больше его не увидим. Но через неделю он вернулся обратно, убедившись на месте, как легкомысленны были доставленные ему сведения о положении дел в Праге: там к его услугам оказалась кучка полувзрослых студентов. Реккель добродушно подсмеивался над ним, и отныне он стяжал у нас славу революционера, погруженного в конспирации только с теоретической стороны" (т. II, стр. 175).

208 Зная, что австрийское правительство возбудило против него дело за первое воззвание к славянам, Бакунин хотел сохранить свое пребывание в Праге в полной тайне и встречаться с елико возможно меньшим числом людей. Но ему это не вполне удалось. Первое собрание с чешскими демократами, о котором рассказывает Бакунин, состоялось у Прейса. Кроме Сабины на него пришло много людей, которых Бакунин не ожидал, и которые явились прямо с собрания "Славянской Липы". Кроме названных Бакуниным на допросе и без него известных полиции Сабины, Арнольда, Прейса, Гаймбергера и какого-то неназванного квартиранта Прейса, на этом совещании, как установила комиссия, присутствовали Вильгельм Гауч, журналист Винцент Вавра (соредактор Сабины по "Известиям Славянской Липы"), журналист Ян Кнедльганс-Либлинский, редактор "Вечернего Листка", и депутат австрийского рейхстага Франтишек Гавличек (о последних четырех Бакунин отозвался запамятованием).

Кнедльтанс, Ян, (псевдоним Либлинский (1823—1889) — чешский писатель и политический деятель радикального направления. По окончании гимназии переехал в Прагу, где примкнул к движению молодых литераторов. В 1847 издал "Чешские пословицы и поговорки", в 1848 редактировал радикальный "Вечерний Пражский Листок", был членом Славянской Липы, где принадлежал к левому крылу и резко полемизировал с правыми и особенно с К. Гавличком. В мае 1849 "Вечерний Листок" был приостановлен, а сам Кнедльганс арестован. Привлеченный к делу Бакунина о заговоре, он был в 1851 военным судом приговорен к бессрочной каторге. По выходе из тюрьмы в 1860 году занялся журналистикой.

Вавра, Винцент, псевдоним Гастальский (1824—1877)—чешский писатель, журналист и общественный деятель; с 1843 г. участвовал в организация ремесленных кружков, ставивших себе целью развитие духовной и национальной самостоятельности масс; участвовал в тайном радикально-демократическом обществе "Рипиль". в 1848 г. был членом "Сворности" и членом демократического крыла "Славянской Липы" вплоть до роспуска ее в мае 1849 года. Арестованный после святодуховских волнений, был освобожден и возвратился в Прагу, где занялся журналистикою. Был первым сотрудником радикального "Пражского Вечернего Листка", основанного Кнедльгансом, с октября

1848г. вместе с д-ром Подлипским редактировал политический еженедельник "Славянской Липы", с января 1849 г. редактировал вместе с Сабиною, а с апреля единолично "Известия Славянской Липы". В ночь на 1 сентября 1850 г. был арестован и посажен в Градчин за участие вместе с Либлинским и Прейсом в тайной сходке, созванной Бакуниным. Осужден за это на 5 лет каторжных работ. Амнистированный в апреле 1854 г., вернулся в Прагу, где был отдан под тайный надзор полиции. Лишенный возможности писать, поступил в адвокатскую канцелярию. Материально нуждаясь, занялся переводами. С 1860 г. вернулся к публицистической деятельности, был редактором газеты "Глас", затем "Narodny Listy". Позже был депутатом чешского сейма.

209 То же Бакунин заявил на допросе в Австрии: “люди, с которыми я встречался, склонны к болтовне, к лишним разговорам, к обсуждению мировых событий в “Славянской Липе” и просто неспособны к серьезным предприятиям; более того, я так и не заметил в них до конца и воли к этому. С таким впечатлением я и уехал из Праги” (Чейхан, прим. 195; “Материалы для биографии, том II, стр. 438). Если допустить, что на допросах в Австрии Бакунин стремился выгородить своих собеседников, представив их в виде невинных болтунов на политические темы, то зачем бы он стал прибегать к такой тактике перед Николаем I? Отсюда мы вправе заключить, что встреченные им чешские демократы произвели на него именно такое отрицательное впечатление.

210 На собрании Бакунин произнес речь, в которой после общей вводной части перешел к рассмотрению задач текущего момента в Чехии и в частности к возможности проведения восстания. Он старался убедить присутствующих в необходимости для чехов отказаться от своей ограниченной политики и приобщиться к общеевропейскому демократическому движению, в данный момент — к движению мадьяр, немцев и поляков. Дальше он доказывал, что пора оставить отвлеченные разговоры и начать активные действия против австрийского правительства, т. е. поднять восстание. Затем он начал выспрашивать мнения отдельных присутствовавших. Речь его своим радикализмом одних удивила, других прямо испугала: ведь многие пришли на это собрание, не зная еще, в чем дело. С своей стороны Бакунин был неприятно поражен характером открывшихся после его речи дебатов:

они показали ему, что в Праге никакой положительной работы в его духе не велось, и что в “Славянской Липе” вопрос о восстании даже не ставился. Бакунину (как он впоследствии сам показывал в Австрии) много воз-

ражали, даже выражали недовольство его речью (которое он готов был отчасти рассматривать как недоверие к его личности), указывали, что народ в Богемии еще не подготовлен к подобным выступлениям; но он твердо стоял на своем и пытался опровергнуть сделанные ему возражения; однако в конце собрания у него получилось впечатление, что ему не удалось привлечь присутствующих на свою сторону. Он пришел к выводу, что в данный момент ему в Праге нечего делать, и отказался от второй подобной, сходки, признавая ее при сложившихся обстоятельствах нецелесообразною.

Австрийская следственная комиссия пыталась установить, что Бакунин говорил как социалист и стремился в своей речи провести социалистические тенденции. Против подобного утверждения Бакунин решительно протестовал. Никогда он не помышлял-де о проведении какой-либо социалистической системы, так как он не знает ни одной, могущей быть осуществленной на практике. Он не отрицал того, что говорил о применении социалистических мероприятий в интересах восстания, которому они могут способствовать, как например отмена гипотек, выгодная для крестьянства, (То, что Бакунин считал отмену гипотек социалистическою мерою, характерно как для его эпохи, так и для его “крестьянского социализма”). Напомним кстати, что Э. Арнольд при свидании с Бакуниным в Лейпциге понял его предложения в социалистическом духе (см. ком. 190).

Сабина, присутствовавший на этом собрании, показал, что по существу речь Бакунина сводилась к тому, чтобы не медлить, а решительно. приниматься за дело. На него Бакунин произвел впечатление “выкованного из стали демагога”, который идет прямиком к своей цели, не зная препятствий и не считаясь ни с какими возражениями. Что же касается программы Бакунина на случай успеха революции, то в его речах по словам Сабины не было никакого намека на демократический строй, завоевание лучшей конституции или что-либо подобное. Бакунин определенно высказывался в том смысле, что не следует придавать значения

разглагольствованиям о рейхстаге или о другой лучшей конституции (незадолго до того монархия октроировала Австрии неудовлетворительную конституцию, и разговоры о замене ее лучшею Бакунин очевидно и имел в виду): все это—глупости. "Словом он желал только, чтобы дело поскорей началось, и не высказывался относительно своих целей. Но когда разговор перешел в область теорий, то он, Сабина, понял, что Бакунин желал провести в жизнь то, что говорилось с философской точки зрения о социальных отношениях". Хотя это и плохо выражено, но ясно, что Сабина приписывает Бакунину приверженность к какой-то социалистической системе. Сопоставляя эти слова с другими известными нам заявлениями Бакунина и с сообщениями разных лиц,. надо полагать, что он развивал тогда прудонистские взгляды, но в более-радикальной, чем у основателя системы, формулировке. Ниже мы приведем выдержку из мемуаров Вагнера, который сообщает нечто близкое к показанию Сабины: по словам Вагнера Бакунин, не выдвигая определенных демократических требований, высказывался в общей форме за разрушение старого (в духе Жюля Элизара).

211 Многие посещали Бакунина просто из любопытства и из желания осведомиться об его отношении к текущим событиям. К таким посещениям он относил визит доктора Рупперта и Франтишка Гавличка. Беседа с Руппертом была совершенно бессодержательна, и Бакунин о ней не помнил. С, Гавличком он вел чисто теоретический разговор о социализме; с такой же чисто теоретической точки зрения беседовали они о Палацком: Гавличек был сторонником последнего и защищал его от резких нападок Бакунина.

Гавличек, Франтишек (1817—1871)—чешский политический деятель; учился в пражской гимназии, затем изучал булочное ремесло, далее служил писцом в адвокатских канцеляриях. В 1848 году принял активное участие в революционном движении. За свои публичные выступления в демократическом духе неоднократно избирался товарищем председателя и. представителем "Славянской Липы". 28 ноября 1848 г. был избран депутатом имперского сейма в Кремзире, где занял место на правой. Человек настроения и путанных политических взглядов, он оказался прикосновенным к делу Бакунина, был арестовав, предан суду и просидел 2,5 года в тюрьме. После выхода из тюрьмы отошел от политики.

В Карлине (Каролинеталь) Бакунина навещали Пауль, Геймбергер, Арнольд и Адольф Страка, прибывший в Прагу за день до отъезда оттуда Бакунина. И с ними по словам Бакунина разговоры велись на общие темы; но это, конечно, было не так, ибо комиссия установила, что разговоры велись при закрытых дверях и тихим голосом. С другой стороны Бакунин признал, что во время этих разговоров он пытался склонить Э. Арнольда к более активным революционным действиям.

212 По возвращении в Дрезден Бакунин не скрывал своего недовольства результатами своей поездки в Прагу, однако не переставал выражать твердую надежду на неминуемость чешского восстания. Так показывал Г. Страка, встретившийся с Бакуниным сейчас же по приезде его из Праги. Бакунин объяснил, что выражал тогда больше веры в неизбежность восстания, чем сам имел, для поддержания духа в людях, с которыми вел дела. При этом он исходил из мысли, что вера способна двигать горами и придавать людям огромную энергию (эту же мысль он высказывает и в "Исповеди"). Вдобавок Богемия казалась ему тогда единственною славянскою страною, способною к революции (см. Чейхан, стр. 49—51 и 84; "Материалы для биографии", т. II, стр. 443).

В частности Бакунин поддерживал настроение своих молодых славянских товарищей намеками на близость радикальной революции в России. и хотя ничего не говорил им о своих связях с отечеством, но из бесед с ним они выносили впечатление, что такие связи существуют. Так Густав Страка показал, что в Лейпциге Бакунин все более настойчиво выступал с

революционными планами, которые в общем клонились к тому, чтобы вызвать революцию в Германии и Богемии одновременно, и чтобы она распространилась через Польшу в Россию. “Бакунин никогда и никому не сообщал о своих сношениях с Россией, согласно своему принципу никого не называть и не говорить ничего кроме самого необходимого. Однако он вероятно состоял в сношениях с Россией через Польшу, так как он с уверенностью рассчитывал на то, что при распространении революции в Богемии, Германии и Польше разразится революция также и в России. Бакунин сам говорил ему, что в России существуют великолепные предпосылки для революции и как раз в социальном смысле” (мы знаем это и по писаниям Бакунина, помещенным как в третьем, так и в настоящем томе нашего издания). Австрийские следователи, вероятно не без внушения российского посла, заинтересовались вопросом о связях Бакунина с Россиею, составлявшей тогда оплот европейской реакции и незадолго до того спасшей габсбургскую монархию. На предъявленный ему вопрос об ожидавшейся им поддержке революции из России Бакунин ответил, что это — вздор, но признал, что он вообще старался вкоренить особенно у чехов ту мысль, что в России имеется очень много революционных элементов. Он делал это как для поддержки духа среди своих приверженцев, так и для противодействия реакционной панславистской партии, возлагавшей надежды на царскую Россию (Бакунин здесь имеет в виду партию Палацкого). Для характеристики своих взглядов на судьбы России Бакунин сослался на свое “Воззвание к славянам”. Он заявил, что считает революцию в России делом далекого будущего, причем остается при своем убеждении, что этой революции безусловно должно предшествовать восстановление Польши (возможно, что в данном пункте доклад австрийского аудитора не совсем точно передает мысли Бакунина).

Мейендорф в письме к Паскевичу от 8/20 декабря 1848 г. уверяет, что Бакунин вместе с поляками распространял слухи о революционных вспышках в России, чтобы придать себе больше важности (P. Meyendorff— “Politischer und privater Briefwechsel”, Берлин и Лейпциг, 1923, том II, стр. 131—132).

213 В связи с планом восстания в Богемии Бакунин проявил величайший интерес к настроению расположенных там венгерских войск. Об этом можно судить по вопросам, которые ставились Бакунину в саксонской следственной комиссии на основании откровенных показаний И. Фрича, граничивших с предательством: “По словам Иосифа Фрича во время его пребывания у вас в Дрездене вы его расспрашивали о расположенных в Праге мадьярских войсках, на что он вам сообщил, что часть таковых уже выступила оттуда. При этом он заключил из ваших слов, что вы должны были получить известные обещания относительно этих воинских частей, и что вы смотрите на все предприятие как на заранее подготовленное, ибо вы пришли в негодование от того, что эти войска были уведены из Праги” (“Прол. Рев.”, 1. с., стр. 221; “Материалы для биографии”, том II, стр. 179). В Саксонии Бакунин отрицал справедливость этого показания Фрича, в австрийской же комиссии объяснил, что слышал о взаимных симпатиях между пражским студенчеством и венгерскими военными и потому был огорчен сообщением об уводе мадьярских войск (Чейхан, прим. 228; Материалы”, т. II, стр. 452—453).

214 Почему-то ни здесь, ни вообще в “Исповеди” Бакунин ни словом не упоминает еще об одном из своих агентов в Праге, а именно о Иосифе Аккорте, поляке из Кракова, знакомом с военным делом, а потому получившем от Бакунина поручение заняться устройством военной стороны предприятия. Этого Аккорта выдал И. Фрич. Бакунин в Саксонии отрицал всякое с мим знакомство, а Австрии был принужден признать его, но утверждал, что Аккорт приехал в Прагу против его воли. Бакунину также неприятно было совместное посещение его Аккортом и Фричем в Дрездене (см. ниже), так как ему было известно, что Аккорт посещал польское общество в Дрездене и там хвалился своею деятельностью в Праге, не имевшей по словам

Бакунина никакого значения. Напротив Фрича он, Бакунин ценил по той причине, что тот проявил большую энергию в Праге в 1848 году. Согласно показаниям Фрича он встретился с Аккортом еще в марте в редакционном помещении Э. Арнольда. При этом Аккорт сообщал ему, что приехал в Прагу для принятия деятельного участия в предполагающейся революции и что послан в Прагу по просьбе Арнольда Бакуниным для организации этой революции. От Аккорта же Фрич узнал о том, что Бакунин находится в Дрездене, где занят подготовкою революционного выступления в Богемии. Далее Фрич сообщил, что Аккорт свел его на квартире Э. Арнольда с Адольфом Страка, что затем состоялось на квартире Томашека собрание с участием А. Страка, Мауна, приведенного Фричем, самого Фрича и Аккорта, на котором Страка изложил революционный план Бакунина. По ознакомлении с последним Фрич решил переговорить о нем с самим Бакуниным, для чего 12 апреля поехал в Дрезден вместе с Аккортом. Узнав от Виттига новый адрес Бакунина, Фрич рассказал Бакунину, что в Праге Арнольдом и другими ничего не делается, и что потому на Богемию рассчитывать в смысле революции не приходится. Бакунин был крайне этим недоволен. Он выразил особенное негодование на вступление русских войск в австрийские пределы, усматривая в этом поступательно движение реакции, Бакунин настаивал на скорейшем прекращении национальных распрей между немцами и чехами и на объединении усилий демократических элементов обеих наций... Он рекомендовал Фричу, заявлявшему о своих обширных связях среди студенчества, приступить к революционной организации молодежи. На возражение Фрича, что Богемия сама по себе слишком слаба для совершения революции, Бакунин ответил ему, что таковая будет доведена до конца присоединением новых сил, например когда она вспыхнет в Германии и затем перекинется на Богемию, а оттуда вместе с саксонскою революцией общим валом перекатится в Венгрию. Как на цель революции, которая должна была начаться в Богемии, но затем распространиться далее, Бакунин указал "на восстановление Польши, разгром России и независимость Богемии. Каким образом эта цель должна была быть в дальнейшем достигнута, в частности какие формы правления должны были быть введены, это должно было зависеть от состояния и хода революции и от характера отдельных наций, конечной же целью являлся союз всех свободных народов". Согласно дальнейшим показаниям Фрича Бакунин "смотрел на Богемию как на наиболее подходящее место для революции и как на важную для последней в стратегическом отношении страну, в которой следует поднять революционное движение, ибо оттуда оно должно было естественным путем перекинуться в Польшу и затем распространиться на Россию" (В своей книге "Pamйti", т. IV, Прага 1887, глава V "Правда о майском заговоре", стр. 158 сл., И. Фрич приводит слова Бакунина о том, что если революционеры двинутся из Праги к польским границам, то там сразу поднимется 30.000 человек под начальством ген. Дембинского или Высоцкого.

Там же он передает свое заявление Бакунину, что на подготовку вос-стания в Чехии потребуется три месяца и денежные средства. Вечером Бакунин сводил Фрача в кружок немецких радикалов.)

Бакунин по существу эту часть показания Фрича подтвердил, указав, что все эти мысли открыто высказаны им, Бакуниным, в своих писаниях; что же касается "разгрома России", то он имел в виду разгром русского правительства, а не русского народа (Чейхам, .прим. 224; "Материалы для биографии", т. II, стр. 173—176 и 452—455).

Согласившись взять на себя обязанности, предложенные ему Бакуниным, Фрич указал, что для выполнения их требуется привлечение новых сил сверх уже завербованных; сам де он слишком юн и слаб, и хотя он знает, что Арнольд и Сабина сочувствуют этому делу, тем не менее ему одному с ним не оправиться. Тут же он сам предложил привлечь следующих лиц: Руперта, Гауча, Сладковского, Франца Гавличка и доктора Под-липского (в публикациях В. Полонского эти и другие имена часто приводятся в искаженном виде и требуют проверки). Далее Фрич показал, что данное ему Бакуниным поручение относительно организации студентов и использования их сводилось (?) к тому, что "студенты должны были образовать нечто вроде личной охраны того, кому предстояло руководить

революцией" (ясно, что это — гнусное искажение сыщиками какого-то показания Фрича в целях дискредитирования Бакунина, хотя а заботах о целости руководителя революции ничего дурного по существу нет). Наконец Фрич дал подробные сведения об Аккорте, сводящиеся к следующему. По его убеждению Бакунин послал Аккорта в Прагу потому, что был убежден в близости революционной вспышки, так как по его словам Аккорт был военный специалист, некогда служивший уланским капитаном в войсках Мерославского. При отъезде Фрича из Дрездена Аккорт по распоряжению Бакунина также выехал вместе с первым обратно в Прагу, дабы продолжать свою работу по подготовке революции. В разговоре с Фричем о необходимости посылки кого-либо в Венгрию и об условиях такой поездки в связи с трудностью перехода моравской границы Бакунин указал на Аккорта как на того человека, которого он думает в свое время туда послать.

Так как к тому времени Бакунин уже потерял веру в Арнольда, то он просил Фрича передать Сабине приглашение приехать к нему, Бакунину, в Дрезден для переговоров. Передал ли Фрич, вернувшийся с Аккортом в Прагу 14 апреля, это приглашение, неизвестно. Во всяком случае ни Арнольд, ни Сабина в Дрезден не поехали ("Прол. Рев.", 1. с., стр. 214— 224; "Материалы для биографии", т. II, стр. 172—182; Чейхан, стр. 55 сл.).

Таким образом устанавливаются следующие агенты Бакунина в Праге;

братья А. и Г. Страка, Оттендорфер, Геймбергер, Аккорт, И. Фрич, отчасти Сабина и Арнольд. По словам же Густава Страка на австрийском дознании, в Праге существовал революционный комитет, состоявший из него, брата его Адольфа, Иосифа Фрича, Венцля, Павла Клейнерта, Франца Гиргля и некоторых других лиц. О деятельности этого комитета Г. Страка по его словам делал Бакунину периодические сообщения.

Сам Фрич в своих воспоминаниях (цит. соч., стр. 168) сообщает, что кроме тайного комитета бакунистов существовали еще два:

1) гражданский, в который входили Гауч, Фр. Гавличек, В. Вавра, Штефан, Прейс, Кампелик и из горожан домовладелец Арбейтер, Меяцль и пр.; к ним примыкал и Янечек (временно подвергшийся аресту, но вскоре выпущенный);

2) группировка преимущественно интеллигентская (врачи, профессора, журналисты и пр.): Бруна, Циммер, Сладковский, Патрубан. В члены Временного правительства намечались Гауч, Ярош (зять Гавличка), д-р Подлипский и Сладковский.

215 На допросах в Австрии Бакунин признал, что "вообще говорил всем, с кем имел смешения, чтобы они никогда особенно не выдвигались и не делали этого также из тщеславия там, где выдвигаются другие, а наоборот еще более выдвигали таких людей, ибо это — лучшее средство оставаться самому незаметным".

Все эти приемы, как оказывается уже свойственные ему в 1848 году, Бакунин впоследствии применял в своем тайном анархистском Альянсе: в том отношении особенно характерны его письма к Альберу Ришару, которые будут нами опубликованы в одном из последующих томов. Там развивается целая система обеспечения диктаторской власти за законспирированной группой вожаков путем выдвигания на передний план второстепенных, но тщеславных людей, падких до внешних знаков почета и влияния. В 1848 году Бакунин применял также и некоторые внешние приемы конспирации, которые он впоследствии широко развил в Альянсе и которые, как видно по хронологии, он заимствовал из практики тайных обществ (французских, польских, немецких и итальянских), какие ему приходилось наблюдать в 30-е и 40-е годы XIX века. В частности он, как видим, уже тогда охотно прибегал к шифру, тайным словарям и т. п. Так по его собственному признанию перед австрийской следственной

комиссией он дал Густаву Страка словарик для тайной переписки ("список букв и слогов, необходимых для обозначения в корреспонденции находившихся в Праге лиц и для других сообщений"); а по показанию Г. Страка Бакунин "условился с ним относительно корреспонденции особыми письменными знаками" (см. доклад аудитора Франца австрийскому военному суду в "Материалах", том I, стр. 69 и 77). Впрочем словарик был составлен так плохо или Страка так неумело им пользовался, что Бакунин не мог разобрать его пражских сообщений, — несчастье, иногда случавшееся с ним и впоследствии. Характерная мелочь, также напоминающая приемы Бакунина и других революционеров 70-х годов в России: согласно показанию Г. Страка Бакунин вызвал его весною 1849 года в Дрезден и там уговаривал его бросить университет и посвятить себя всецело пропаганде. И в том и в другом случае действовала глубокая вера в близость революции.

216 Ожидавшиеся из Парижа Бакуниным деньги получены не были. На допросе в Саксонии он уверял, будто это — деньги частные, но в австрийской комиссии (как и в "Исповеди") признал, что ждал их от поляков.

217 Недостаток денег мешал работе. Адольф Страка и Аккорт взялись горячо за порученное им Бакуниным дело, но нуждались в деньгах. С настоятельною просьбою в деньгах послан был из Праги к Бакунину Гейм-бергер. Как выяснилось позже на дознании, таким путем Аккорт или А. Страка хотели отделаться от Геймбергера, которому впрочем в это время Бакунин уже перестал доверять (Чейхан, прим. 219; "Материалы", том II, стр. 444).

218 Байер, Фридрих, барон, псевдоним Рупертус (1810—1850)—венгерский офицер и писатель, родился в Пруссии; служил в драгунском, а затем в кирасирском полку австрийской армии; женившись на венгерке, баронессе Байш, занялся сельским хозяйством. В 1848 году вступил в венгерскую армию капитаном; затем был комендантом крепости Леопольдштадт, был ранен и скоро вышел в отставку; при наступлении императорских войск бежал за границу. Бакунин познакомился с ним за 14 дней дрезденского восстания через Виттига, который представил ему больного Байера у него же на квартире. Из обмена мнениями Бакунин убедился, что Байер разделяет его взгляд на соединенную деятельность славян и мадьяр, но мало верит в возможность практического его осуществления. Из Дрездена Байер по словам Бакунина уехал в день избрания Временного правительства ("Красный Архив", I с., стр. 172; "Материалы", т. II, стр. 51—52).

219 Повидимому ответ на вопрос.

220 Переписка была отчасти шифрованная; упоминавшиеся лица и места обозначались условными буквами (например Фрич обозначался буквами C. Z.); кроме старого адреса на имя Арнольда заведен был новый на имя священника Бенеша с припискою "для г-на Адольфа" (Страка); письма, адресованные Бакунину, направлялись на имя Виттига и т. д. Густаву Страке в частности поручено было выяснить настроение и образ мыслей ряда активных чешских деятелей, как например Рупперта, Ф. Гавличка, Гауча, д-ра Подлипского, Сабины и Сладковского (как мы знаем из комментария 214, все эти лица кроме Сабины были предложены Фричем). Ему было также поручено справиться об отношении Палацкого, Браунера и Штробаха к роспуску австрийского сейма. Страка выполнил поручения Бакунина неудовлетворительно. Бакунин отверг это показание Страка: он де ничего не знал о задуманном привлечении названных лиц: Штробахом и Подлипским совершенно не интересовался, а Подлипского до конца не знал даже по имени. По словам Страки Бакунин велел ему также узнать, много ли в Праге поляков и чем они занимаются, в частности там ли находится генерал Дембинский. Бакунин признал, что интересовался проживавшими в Праге поляками, но расспрашивал не о Дембинском, а о Дверницком, о приезде которого в Прагу

слышал от многих людей, в том числе и от приехавшего оттуда Геймбергера; но Страка ничего толком ему не сообщил. Страка должен был кроме того войти в сношения с вождем словаков Янечком и убедить его примириться с мадьярами. Бакунина по словам Страки равным образом занимало настроение других словацких вождей: Штура, Урбана и Блудека. Бакунин не отрицал, что дал Страке такое поручение, однако прибавил, что никаких сведений от него на этот счет не получил. В саксонской комиссии на вопрос, знал ли он Бернарда Янечека, известного под кличкою "Жижка", Бакунин дал уклончивый ответ, что где-то слышал или прочитал это имя, но никогда с ним не встречался и не имел никаких сношений. Догадывался, что Янечек вместе со Штуром и Елачичем сражается против мадьяр (Чейхан, стр. 57 и прим. 242—245; "Материалы для биографии", т. II, стр. 447—448 и 203).

Сладковский, Карл (1823—1880)—чешский политический деятель; учился в Пражском и Венском университетах, в 1846 г. занялся судейской практикой в венском Нейштадте; в 1848 г. вернулся в Прагу, проникнутый демократическими идеями, и стал одним из вождей чешского радикализма. Играл активную роль в майских и июньских выступлениях против Виндишгреца во главе студентов; во время святодуховского восстания дрался на баррикадах. В газете "Вечерний Лист" выступал против умеренного течения Палацкого и Ригера. В начале 1849 г. был одним из руководителей "Славянской Липы", примкнул к заговору Бакунина, арестован 10 мая 1849 г., 20 августа 1850г. приговорен к смерти, замененной 20-летним заключением; в 1857г. помилован, после чего вернулся в Прагу, активно участвовал в журналистике; оставаясь мелкобуржуазным демократом, примкнул к младочехам в 1874 г.

Янечек, Бернард, прозванный Жижка — видный вождь словацких волонтеров; в 1848 г. вместе с Блудеком собирал добровольческие отряды в Словакии, а затем двинулся из Моравии в Нитравский комитат. Силы его беспрестанно росли, и весною 1849 г. он оказывал значительное содействие австрийским регулярным войскам, боровшимся с Венгриею. Заподозренный в связях с революционерами, был одно время арестован, но освобожден. После революции был скромным чиновником.

Блудек, Бедрих—мораванин; в 1848 г. организовал добровольческие отряды против венгров в Словакии, а при отступлении Виндишгреца перед мадьярскими войсками в 1849 г. спас главные запасы его армии; за эту заслугу произведен в капитаны. Умер в чине подполковника в начале 1875 года.

Дембинский, Генрих (1791—1864)—польский генерал и политический деятель; служил в польских войсках Наполеона I, затем жил в вое-водстве Краковском; во время польской революции 1831 г. был назначен

полковником, получил бригаду на Литве, после падения Варшавы ушел в Пруссию, затем во Францию. В 1838 г. одно время служил в египетских войсках Мехмета-Али. После февральской революции 1848 г. участвовал в славянских съездах в Бреславле и Праге, стараясь примирить славян и венгров для общей борьбы против Австрии, Затем вступил в венгерскую революционную армию, главнокомандующим которой был назначен 5 февраля 1849 г. Но вследствие зависти Гергея действовал неудачно и вынужден был подать в отставку. В июне снова получил главное начальство над северной венгерской армией, но когда был отвергнут его план вторжения в Галицию, остался только начальником главного штаба. После поражения венгерской революции бежал с Кошутом в Турцию, а затем уехал в Париж. Во французской армии участвовал в походах в Италию и Россию (во время Крымской войны).

Дверницкий, Иосиф (1779—1857)—польский генерал, участвовал в походах польских легионов Домбровского в Италии и Наполеона I в 1812—1814 гг. Играл выдающуюся роль во время польской революции 1831 г., в начале которой несколько раз разбил отряды русских генералов;

затем двинулся на Волынь и Подолию, чтобы поднять их против России, но, не встретив сочувствия местного населения и окруженный русскими войсками, принужден был отступить в Галицию, где был разоружен австрийцами. В 1832 г. переехал во Францию, а в 1840 г. уехал в Англию. В эмиграции примыкал к правому крылу Демократического Товарищества и между прочим был членом президиума на том парижском собрании в ноябре 1847 г., на котором выступил с своей знаменитой речью Бакунин.

О Дворницком Бакунин осведомлялся потому, что не считал ген. Шнайде, кандидатуру которого выдвигал А. Крыжановский, подходящим человеком для занятия поста главнокомандующего военными силами предстоявшего в Богемии восстания, а предпочитал доверить этот пост ген. Дверницкому. В это время Дверницкий проживал в Праге с паспортом на имя домашнего учителя Крашевского и читал в Славянской Липе лекции о польской драме, чего по-видимому пражские агенты Бакунина не знали.

Штробах, Антонин (1814—1856)—чешский юрист и писатель умеренного направления; участвовал в чешском национальном движении правого крыла; в 1848 примыкал к консервативному течению Палацкого, был сотником национальной гвардии, с 9 апреля до 10 мая был пражским бургомистром; был активным членом чешского национального комитета, этой организации чешского мещанства. Был избран депутатом в австрийский сейм, где одно время был председателем; вместе с другими чешскими депутатами играл в сейме роль пособника реакции и агента абсолютизма; после октябрьского восстания бежал в Прагу, где с Гавличком, Палацким и другими предателями революции старался восстановить чешских демократов против венских революционеров, изображая их как врагов славянства, а самое восстание как направленное к порабощению славян немцами. Служил по судебному ведомству, но в 1853 вышел в отставку и занялся адвокатурою.

221 Теперь, во второй половине апреля 1849 г., у Бакунина составилась в Праге группа преданных ему людей, готовых работать в его духе и проявлявших немалую энергию. Они образовали в Праге тайный кружок, повели пропаганду между немецкими и чешскими студентами и ремесленниками. На сходках этого кружка говорили о революция и ее подготовке, распределяли даже между собою определенные задания, в частности направленные к скорейшему захвату в нужный момент важнейших стратегических пунктов в городе. На основании некоторых указаний, например в воспоминаниях Фрича, Чейхан полагает, что кружок действовал не столько по указаниям Бакунина, сколько по собственному вдохновению. “Исповедь” Бакунина и допросы не дают возможности составить себе точное и полное представление о действиях кружка.

222 Повидимому ответ на вопрос.

Действительно посылка Реккеля была последним актом со стороны Бакунина, если не считать его короткого письма от 4 мая 1849 г. к своим

пражским агентам, напечатанного нами в томе III настоящего издания (под № 532) и рекомендовавшего им, если возможно, поддержать пражской восстание мятежом в Праге.

Как рассказывает Фрич в своих воспоминаниях, к нему и обратился “посол Бакунина” (так он называет Реккеля) с распоряжением “ускорить приготовления”. А тут подоспело известие, что 3 мая в Дрездене провоз--глашена республика с диктатором Бакуниным во главе. Тогда и

пражане решились действовать: постановлено было 11 мая собраться, распределены были роли, намечены аресты заложников (Палацкий и т. п.) и пр. Но полиция предупредила заговорщиков: утром 10 мая прямо с постелей взяты были Фрич, Сладковский, Гауч, Сабина и др., всего 8—10 руководящих лиц. Кроме них аресту подверглись и более умеренные элементы вроде Ф. Гавличка, Арбейтера и т. п. Эти аресты конечно нанесли движению сильный удар. Но и без них по мнению Фрича дело до восстания в Чехии не дошло бы (цит. соч., стр. 171—184).

В дальнейшем один из агентов Бакунина,, а именно Аккорт, оказался героем ряда событий, которые привносят несколько новых и неизвестных штрихов в это и без того далеко не во всех деталях выясненное дело. Как рассказывает Пфицнер (цит. кн., стр. 146 ел.), 9 мая Аккорт явился Арнольду и Сабине и сообщил им, что оружие уже находится в пути, и что он должен немедленно выехать в Бреславль. При этом Аккорт передал им письмо от Лешака Дунина-Борковского, польского демократического депутата в венском и кремзирском рейхстаге, невидимому посвященного в план Бакунина (если все это сообщение не является выдумкою от начала до конца, а на нас оно производит именно такое впечатление). В первой части этого письма описывалась фантастическая организация европейской демократии, главные нити которой держали в своих руках якобы Бакунин, Мерославский, Ледрю Ролен, Маццини и Руге (достаточно этого смешения имен, чтобы признать весь этот рассказ апокрифом). Во второй части письма излагался план чешско-польской демократической Лиги и предлагался ряд улучшений в системе Бакунина: она говорила преимущественно о будущей богемской конституции и предназначалась для будущего временного правительства. Зашифрованная часть письма содержала имена польских офицеров, готовых вступить в чешскую армию и находиться в распоряжении ген. Дворницкого. (Таким образом выходит, что наряду с Бакуниным велась параллельная подготовка, и притом поляками). Аккорт и Сабина должны были признать, что Борковский хорошо знаком с богемскими делами. Дверницкий, как оказалось, уже знал о том, что в Бреславле имеется оружие. Из разговора с ним вытекало, что и он посвящен в план восстания о Богемии, которое по словам зашифрованной части письма Борковского должно было совпасть с восстанием во Львове, которое через Силезию, связалось бы с Прагой. Он советовал Сабине безотлагательно ехать в Дрезден, где его якобы ждет Телеки, так как соглашение с Венгрией важнее всего. Но произошедшие в ночь с 9 на 10 аресты и объявленное в Праге осадное положение сорвали все эти предприятия.

Аккорт успел бежать. Он уехал в Венгрию и добрался до Кошута, у которого собирался просить субсидии в 150.000 флоринов, обещая взамен устроить так, чтобы оружие из пражского арсенала попало в руки венгров, и чтобы Богемия и Моравия охвачены были восстанием. Каковы были результаты этих переговоров, ставших впрочем к этому моменту уже беспредметными вследствие разгрома пражских демократов, мы не знаем.

223 Тоже повидимому ответ на заданный вопрос.

Конечно Гельтман и Крыжановский приехали в Дрезден не только по делам, занимавшим Бакунина: у них, как у поляков, имевших повсюду связи и интересы в Европе, были более широкие задачи. Но Бакунин прав в том отношении, что ко всем вопросам они подходили под углом зрения борьбы за освобождение Польши. Однако чешским восстанием они интересовались очень сильно. По их мнению это восстание, вспыхнув в момент ожесточенной схватки между австрийским правительством и революционной Венгрией, могло нанести смертельный удар австрийской империи и этим косвенно дать толчок революционному движению в Германии. К моменту их приезда в Дрезден в начале апреля там находились Г. Стража и Фрич, которые независимо от Бакунина и дрезденских демократов уверяли их в готовности чехов к бунту. Во время собеседования с Бакуниным Крыжановский и Гельтмаи по их словам указали ему на сложность, а потому и непрактичность задуманного им

организационного плана и предложила его изменить (к сожалению в их докладе не указывается, в каком именно направлении); вместе с тем было условлено, что впредь инструкции эмиссарам. будут ограничиваться задачами пропаганды, причем молодежь будет удерживаться от преждевременных выступлений. По словам доклада Гельтман и Крыжановский настаивали также на непременном приезде в Дрезден Сабины и Арнольда, двух людей, которых они считали наиболее влиятельными среди чешских демократов.

224 О Дестере и Гекзамере см. выше, стр. 490; о Рейхенбахе см. том. III, стр. 499.

В докладе Гельтмана и Крыжановского рассказывается, что немецкие демократы готовы были на совместное выступление с ними, ожидая только вспышки в Богемии для того, чтобы подняться в Тюрингии, Саксонии и Силезии. А тем временем из Праги приходили самые утешительные вести о возросшем до крайности брожении, о близком прибытии Арнольда и Сабины и пр. В связи с этими известиями у Гельтмана и Крыжановского возникла по их словам мысль послать в Прагу Реккеля, для того чтобы тот лично проверил точность получаемых оттуда сообщений, познакомился на месте с революционными элементами и ускорил созыв совещания с названными деятелями. Если верить этому заявлению Гельтмана и Крыжановского, то последующая поездка Реккеля в Прагу вовсе не была случайной и состоялась не только по воле Бакунина или по инициативе самого Реккеля. Кроме вестей из Чехии получались также сведения о растущем брожении в Пруссии. 1 мая в Дрезден прибыли Дестер и депутат франкфуртского сейма Шлюттер, приехавший по его словам вербовать польских офицеров для предполагаемого восстания в южной Германии: он заявил об этом на собрании, на котором присутствовали Дестер, Гельтман, Крыжановский, Бакунин, Виттиг; при этом он уверял, что пославшая его демократическая фракция сейма стоит на почве права наций, в том числе поляков, венгров, славян, на самоопределение. На следующий день Дестер и Шлюттер уехали, не предвидя того, что через день в Дрездене начнется восстание.

225 Дювержье де Горан, Проспер (1798—1881)—французский журналист и политический деятель .консервативно-либерального направления; сотрудничал в умеренно-либеральных газетах “Глобус”, “Конституционалист”, “Век”; в 1831 г. был избран депутатом, примыкал к доктринерам, но после разрыва между Гизо и Тьером примкнул к последнему, войдя в “левый центр”. Был одним из вдохновителей банкетной кампания, приведшей к революции 1848 г., но, испуганный ею, занял в Учредительном собрании место на правой стороне. Его выступления в Законодательвом собрании против Луи Бонапарта привели к его кратковременному аресту после государственного переворота и к высылке из Франции, куда он вернулся в 1852 г. Признав Третью Республику, он был сторонником консервативной политики Тьера. Был избран в Академию, но уже не играл политической роли.

226 Возможно, что в этих неприязненных отзывах Бакунина о предполагавшемся центральном органе германских демократов сказывается влияние А. Руге (хотя мы не знаем, переписывались ли бывшие приятели в это время). Дело в том, что в. марте 1849 г. в немецкой прессе началась неприятная полемика по поводу того, какой орган следует считать центральной газетой демократической партии — “Реформу”, выходившую до того в Берлине и имевшую в числе своих редакторов А. Руге, или же ту газзу, о предстоявшем выходе которой объявил в печати новый Центральный Комитет демократической партии, избранный на берлинском съезде и состоявший из Дестера, Гекзамера и Рейхенбаха. Руге был этим объявлением страшно оскорблен. Бакунин в данном месте как будто выражает настроение Руге (см. заметку “Арнольд Руге” в “Сочинениях” Маркса и Энгельса, том 7, стр. 297—298).

227 Согласно показаниям Г. Страка и Э. Арнольда перед австрийской

следственной комиссией Арнольд во время своей февральской поездки в Лейпциг к Бакунину беседовал с бывшими у него Дестаром и Гекзамером и в конце переговоров получил от Бакунина и Дестера поручение позаботиться о том, чтобы при возникновении революции в Германии началась также революция и в Богемии, а если это невозможно, то по крайней мере начались бы демонстрации в Богемии, чтобы помешать использованию австрийских войск в Германии. Недовольство Бакунина не вполне понятно; он видимо был недоволен тем, что Дестер и Гекзамер не давали Арнольду конкретных указаний, но это они естественно предоставляли Бакунину, имевшему с чехами более давние и тесные связи.

228 И в этих словах можно усмотреть влияние А. Руге, бреславльского демократа, находившегося в явной ссоре с ЦК Дестера и Гекзамера.

229 Т. е. восстание демократов и солдат Бадена под руководством Аманда Гегга 13 мая 1 849 года.

230 Интересно было бы произвести поиски в тогдашних немецких демократических газетах, получавших информацию от Дестера и Гекзамера: тогда можно было бы открыть несколько неизвестных до сих пор статей Бакунина, написанных вероятно преимущественно на темы о славянстве, о международной политике в смысле солидарности всех угнетенных народов против монархий, в частности о задачах австрийских, германских и славянских демократов и т. п.

231 На допросах австрийские следователи естественно интересовались вопросом о демократической пропаганде среди немецкого населения Австрии. Бакунин заявил, что слыхал о такой пропаганде, но не пожелал указать источника своих сведений. Одновременно он признал, что сам вел такую пропаганду, где только мог и где встречал подходящих людей. Так, когда его знакомые направлялись из Саксонии в Богемию или в пограничные местности, или когда кто-нибудь возвращался из пограничных местностей в Дрезден, он старался убедить их вести пропаганду в Богемии, для того чтобы, когда разразится восстание в Праге, богемские немцы не противодействовали ему, как это было в 1848 году. Впрочем он получал неблагоприятные и притом крайне редкие известия об этой пропаганде в немецких кругах, и первым человеком, сообщившим ему положительные вести об этом деле, был упомянутый выше венгерский агент Байер: при случайном свидании во время дрезденского восстания Байер сообщил ему, что он только что приехал из Тешена, и что там царит сильное возбуждение.

Демократическая пропаганда среди богемских немцев велась главным образом из соседней Саксонии, особенно эмиссарами "Отечественных союзов". Так имеются сведения, что такою пропагандою занимались Киндерман, основатель социального клуба в Лейпциге и руководитель тамошнего гимнастического общества. Карл Бидерман, товарищ Виттига по редакции "Дрезденской Газеты" Линдеман и член ЦК саксонской демократической партии Иеккель, которые в 1849 г. разъезжали по Богемии и устраивали там собрания. Киндерман даже чуть не подвергся аресту в городке Комотау, являвшемся тогда местным демократическим центром. Политика австрийского правительства, направленная к подавлению свободы во всех частях империи, налагала слишком большие тяготы на все население. Раздражаемое налогами, рекрутскими наборами, непрекращающимися войнами то с итальянцами, то с мадьярами, то с внутренними врагами, немецкое население Богемии было так же недовольно, как и другие национальности. Особенно глубокое брожение возбудил среди него новый рекрутский набор весною 1849 г. В таком же направлении действовал роспуск кремзирского рейхстага. Некоторые из левых депутатов, как д-р Карл Циммер, Ганс Кудлих и т. д., принуждены были скрываться от ареста; таким образом всюду в Германии, в частности в

Саксонии, появились австрийские эмигранты, которыми разумеется спешили воспользоваться для постановки агитации среди австрийской демократии и в частности среди богемских немцев (см. в комментарии 244 рассказ о встрече Бакунина с Циммером в Дрездене). Начало назревать новое стремление: забыть прежние национальные распри и объединить свои усилия для совместной борьбы с наступающим абсолютизмом. В Комотау, в Теплице и в других северобогемских городках, населенных преимущественно немцами, начало проявляться оппозиционное настроение, подготовлявшее почву для саксонских демократических эмиссаров (его использовал и Реккель при своей майской поездке в Прагу).

Естественно, что Бакунин не мог упустить столь удобного случая для установления связей с демократически настроенными богемскими немцами, совместное выступление коих с чехами представлялось одним из основных условий успеха задуманной им революции. В этом отношении помощником ему служил Оттендорфер, который, сам будучи немцем, мог легче проникать в немецкую демократическую среду .

(Одним из помощников Бакунина по демократической агитации среди немцев и сближению их с славянскими революционерами был невидимому журналист Гефнер, бежавший из Вены после ее разгрома и поселившийся в Дрездене. В своей цитированной статье Б. Николаевский (стр. 109), не указывая впрочем источника своего осведомления, называет его одним “из ближайших помощников Бакунина по его революционной работе для Чехии” и одним из членов созданного Бакуниным “немецкого центра” (о котором: у нас также нет точных сведений). С другой стороны лично знавшая его Эмма Гервег в письме, которое мы ниже будем цитировать, называет Гефнера “правою рукою Бакунина в дрезденской истории” (Переписка Г. Гервега, стр. 288).

Оттендорфер помог и Г. Страке завязать связи с пражскими демократическими студентами из немцев. Наряду с чисто немецкими и чисто чешскими клубами, объединить которые не удалось даже в разгар реакции, начали возникать смешанные студенческие чешско-немецкие организации. Но и среди чисто национальных организаций стали выделяться такие, которые видели свою основную задачу не в культурной, а в политической работе: из немецких союзов таким была “Маркомания”, а из чешских — “Чешско-моравское братство”. Здесь-то и действовали бакунинские агенты и вербовщики. “Маркомания”, основанная в мае 1848 г. и усиленная весною 1849 г. вступлением в ее состав закрывшейся “Монтании”, приняла под влиянием новых пришельцев, а главным. образом под влиянием недовольства наступившей реакцией, радикальный, можно сказать республикански-революционный характер. Во главе ее стал Ганс Риттиг, и скоро Бакунин в лице этого землячества нашел ту немецкую радикальную группу, о которой он до тех тор только мечтал. Одновременно с этим И. Фрич побудил чешское умеренное землячество “Славия”, которое также было основано а 1848 г., и во главе которого он стоял, преобразоваться в “Чешско-моравское братство” и сделать своим лозунгом “демократию и братство”. Через посредство Фрича новая организация оказалась связанною с пражскими агентами Бакунина Геймбергером и Аккортом. Аккорт посвятил Фрича в план Бакунина, поехал с ним в Дрезден, и здесь Фрич стал агентом Бакунина в Чехии и примкнул к его заговору (см. комментарий 214). Поездка Фрича к Бакунину привела к организации в апреле 1849 года революционного комитета в Праге, состоявшего большею частью из студентов; в состав его привлечены были а качестве представителей немецкого элемента Риттиг, староста “Маркомании” и Оргельмейстер, староста “Вингольфии” (В своих цит. воспоминаниях Фрич (стр. 168), рассказывая о “Чешско-моравском братстве”, говорит, что членами его были морав Бедрих, Бидерман, сам Фрич, медик Подлипский и пр. Все носили громкие клички, как например Мерославский, Робеспьер, Марат, Гарибальди, Кошут, Костюшко, Гусе, Жижка, Кромвель. Это был типичный студенческий кружок, в котором выпивали, распевали песни, были одушевлены наилучшими намерениями, но абсолютно не знали правил конспирации. Неудивительно, что полиция, вдобавок наверно имевшая в братстве своих агентов, была прекрасно осведомлена обо всех делах и замыслах его участников.).

Впрочем немцы привлекались к участию в задуманном движении не только Фричем, но и непосредственно Г. Стракою и Оттендорфером, который, как мы знаем, специально был отправлен Бакуниным в Прагу для основания революционного комитета из богемских немцев. С помощью за вербованного Риттига ему удалось привлечь ряд участников землячества ”Маркомания”, состоявшего из представителей различных районов немецкой Богемии, и эти прозелиты объявили себя вполне

солидарными с задуманной Бакуниным революциею, хотя отдельных деталей его плана они не знали. “Маркоманы” взяли на себя важную задачу — штурм ратуши и овладение ею; они на собственные средства накупили пороху и готовили патроны. Кроме студенчества Бакунин старался привлечь на свою сторону и представителей более широких слоев немецкой либеральной буржуазии в Богемии: с этою целью Оттендорфер и устроил ему свидание с Циммером, о котором говорится в “Исповеди” (см. ком. 244). Это ему также удалось, хотя Циммер, убедившись в слабости заговорщиков, поспешил (11 мая) уехать из Праги. Молодежь проявила больше решимости. Она не бросила дела и назначила выступление на 12, а затем на 14 мая (хотя Реккель настаивал на 6 мая). До выступления устроена была вечеринка, на которой заговорщики должны были подсчитать свои силы и принести клятву перед решительным шагом (она состоялась 8 мая и прошла очень оживленно). Накануне получено было письмо Бакунина от 4 мая, в котором он призывал пражан не медлить с выступлением, а на следующий день 9 мая начались в Праге аресты, разгромившие участников заговора. К суду привлечено было 22 немецких студента, многие из которых наряду с Циммером и Бакуниным приговорены были к смерти, замененной каторжными работами, и даже дававшие откровенные показания получили по 10—12 лет тюремного заключения. Гансу Кудлиху и Оттендорферу удалось бежать в Америку.

Как рассказывает Фрич в своих воспоминаниях (цит, соч., стр. 215— 233), 31 декабря 1850 года на дворе Урсулинских казарм прочитан был приговор 24 членам немецких землячеств “Маркомания и “Прага” и их соучастникам, из коих 7 приговорены к смертной казни (замененной 15 — 20-летним заключением в каторжной тюрьме) — за участие в заговоре направленном к насильственному ниспровержению государственного строя в Австрии и к учреждению республики под руководством Михаила Бакунина и его эмиссара Августа Реккеля; другие были присуждены к 10—16 годам тяжких работ. Через неделю, а именно 7 января 1851 года, во дворе тех же казарм прочитан был приговор другой группе подсудимых по делу о заговор; причем 5 человек, в том числе Фрич, привлекший студентов к участию в деле, были присуждены к смертной казни через повешение, замененной им 15 —20 годами каторги, а Фричу — 18 годами. Другие подсудимые по этому делу получили по 10—12 лет тюрьмы.

Риттиг успел бежать сначала в Швейцарию, а затем в Америку, где он позже вместе с Оттендорфером издавал газету “Staatszeitung”.

232 Приблизительно то же Бакунин заявил и перед австрийской следственной комиссией. Его слова об объединении саксонской резолюции с чешской не должны де пониматься в том смысле, будто существовал какой-либо установленный план саксонской или вообще германской революции, будто назначен был срок выступления, намечены его места и т. п. Имелись лишь всюду революционные элементы, и вообще ожидалось, что рано или поздно революция вспыхнет. О революции говорилось везде, но ничего определенного, конкретного не было. Когда он побуждал своих сторонников готовить революцию, он имел в виду придать им больше энергии (Чейхан, прим. 225; “Материалы для биографии”, т. II, стр. 451).

233 В то время как созданные под покровительством реакционного министра Бекка “патриотические союзы” не могли получить широкого развития, основанные демократами во главе с Р. Блюмом “народные союзы” (точнее “отечественные”) скоро достигли цифры 400 и покрыли всю страну сетью организации, сыгравшей большую роль в майской революции 1849 года. В рабочих и горных районах они носили отчасти социалистический характер. Даже часть армии попала под влияние демократической организации. Вообще же по всей Германии демократические союзы насчитывали не менее 72.000 записанных членов, а гимнастические общества — 62.000 членов. (См. также B. Hirschel — “Sachsens jьngste Vergangenheit”, Freiberg, 1849).

234 Здесь снова крестьянский социализм Бакунина подсказывал ему верную революционную тактику, имеющую целью для торжества революции вырвать деревню или точнее ее революционные элементы из-под влияния реакции и подчинить их революционному руководству городов, движений которых, предоставленное самому себе и не связанное с крестьянством, обречено на поражение.

235 Иекель (Jaeckel)—немецкий писатель и политический деятель;

саксонский демократ, член саксонской палаты депутатов; был вместе с Элькером вождем республиканского течения в "отечественных союзах". Рядом с "Отечественным союзом" они основали в Лейпциге особый республиканский клуб, который скоро соединился с дрезденским республиканским клубом. Иекель стал во главе ЦК "отечественных союзов", где резко боролся с умеренным направлением, возглавлявшимся Вуттке. Бакунин познакомился с ним в гостинице "Золотой петух", где собирались обыкновенно члены лейпцигского "Патриотического общества" (демократического). Бакунин продолжал встречаться с ним в Дрездене. Через него он между прочим проводил свою политику сближения славянских демократов с немецкими. Так через него, Реккеля и Шрека он предложил "Патриотическому обществу" в Дрездене выпустить воззвание с выраженим симпатии славянам, что и было сделано. Впоследствии Иекель за активное участие в майской революции принужден был бежать за границу.

В. Полонский прочитал здесь вместо <Иекель" "Реккель". Как могла произойти такая ошибка, непонятно. Всякий исследователь, знающий, что Бакунин был другом Реккеля и прекрасно к нему относился, обратил бы внимание на странность этого резкого отзыва о человеке, о котором в той же "Исповеди" несколькими страницами выше говорится совершенно иначе. Наконец всякий историк должен был бы удивиться тому, что Бакунин называет бежавшим человека, который был арестован даже раньше его остался в тюрьме (сначала Кенигштейнской, а затем Вальдгеймской) после увоза Бакунина в Австрию. Если бы В. Полонский хоть на минуту задумался над этою несообразностью, то от снова заглянул бы в оригинал "Исповеди" и увидал бы, что там ясно написано "Иекель" (по немецки). К сожалению он ввел таким образом в заблуждение немецкого переводчика "Исповеди" К. Керстена, который доверял Полонскому, и таким образом. ошибка В. Полонского стала теперь интернациональною. Но так как немецкий переводчик все-таки оказался внимательнее своего российского коллеги, то он сразу обратил внимание на несообразность этого отрицательного отзыва Бакунина о Реккеле, столь расходящегося с обычным отношением его к своему приятелю. И вот бедняга Керстен силится в огромном примечании 115 к своему переводу "Исповеди" (стр. 112) как-нибудь объяснить эту странность. Он объясняет резкий отзыв Бакунина якобы о Реккеле тем, что последний дал откровенные показания на допросах. Но если бы это было так, то почему в других местах той же "Исповеди" о Реккеле говорится в самом дружеском и теплом тоне? Но в конце Керстен, видимо не очень твердо стоящий на своей позиции, меланхолически замечает: "Как может Бакунин говорить о бегстве Реккеля в Лондон, это — загадка. Возможно, что здесь он спутан с Чирнером, или же мы имеем дело с простой опиской". Да, с опиской, только не Бакунина, а его биографа, беззаботного насчет фактов и не знающего сомнений.

236 Чирнер (Тширнер), Самуил Эрдман (1812—1870) — немецкий юрист (адвокат из Бауцена) и политический деятель; принимал участие в революции 1848 г. в качестве одного из наиболее популярных ораторов-

левой; был избран членом и вице-председателем 2-й саксонской палаты; во время майского восстания в Дрездене был избран во Временное правительство. После поражения дрезденского

восстания уехал в Баден, где участвовал в майском революционном восстании. Бежал за границу, но позже вернулся в Германию. Умер в Лейпциге.

237 В показании от 19 сентября 1849 г. Бакунин перечисляет следующих своих знакомых в Дрездене: поляки Т. Дембиньский, А. Крыжановский, В. Гельтман, Ю. Андржейкович (всех их он знал еще по Парижу), далее румын из Валахии Василий Гика, проживавший тогда в Дрездене с женой, познакомившийся с Бакуниным через Андржейковича и собиравшийся уехать в Мальту (В "Деле против Бакунина" ("Acta wider den Literat Bakunin"), оригинал которого находится в дрезденском архиве, а фотокопия (частичная) имеется в ИМЭЛ, в томе la сообщаются следующие полицейские сведения о Василии Гике: это был молодой боярин, в 1835 г. проживавший в Вене; в августе 1848 г. он снова находился в австрийской столице. Он вошел в соглашение с бывшим валашским господарем князем Александром Гикой. [Этот Александр Гика (1795—1862) был в 1834—1842 господарем Валахии, которую стремился освободить от русского и турецкого влияния, но вследствие своей двойственной политики лишился опоры в массах и был в 1842 г. смещен султаном, после чего жил в Италии]. Василий Гика рисуется в полицейских донесениях как оппозиционер, горячая голова, богатый человек; после октябрьской революции он уехал из Вены. В Дрездене он невидимому вращался среди демократов. Познакомился и с Бакуниным, взглядам которого на будущность валашской нации не мог не сочувствовать. После начавшихся в Дрездене волнений он уехал через Мюнхен и Швейцарию в Марсель (справка венской городской комендатуры от 19 июля 1849 г.). Том la "Дела", стр. 70—73.

Л. Виттиг, и А. Реккель, капельмейстер и композитор Рихард Вагнер, депутаты саксонского ландтага Иекель из Лейпцига и Бетхер (Бетхер, Федер Карл (1815—1849)—саксонский политический деятель, демократ, по профессии адвокат в Лейпциге. Принимал активное участие в революционном движении 1848—1849 гг., в частности в сентябрьском возмущении в Хемнице и в майском восстании в Дрездене. Он был депутатом Франкфуртского парламента, в который избран был от Хемница. Во время баррикадных боев в мае 1849 г. в Дрездене был убит.)

из Хемница. Кроме того он поверхностно знаком был с Чирнером и в день революции встретил Тодта (в действительности он знал Тодта еще с 1842 года). Среди своих "салонных" знакомых он называет графиню Чесновскую (Если эта Чесновская тождественна с тою Чесновскою, которая была близка к Шопену, посвятившему ей даже несколько своих произведений, и была вхожа к Жорж Занд, переписывавшейся с нею, то Бакунин легко мог знать ее еще по Парижу, где мог встречать ее или в окружении Жорж Занд или в польской колонии. Но установить это с точностью на основании источников, имевшихся в нашем распоряжении, нам не удалось. Поэтому мы высказываем это лишь в виде предположения, нуждающегося в дальнейшей проверке.)

Все названные им знакомые бывали у него на квартире кроме Иекеля, которого Бакунин посещал у него на дому. С Гикою по словам Бакунина, политической связи у него не было. Бакунин конечно называет здесь не всех, например венгерца Байера (см. выше). Относительно Р. Вагнера он дает следующий отзыв: "Что касается Вагнера, я сразу признал в нем фантазера, и хотя с ним беседовал много о политике, но никогда с ним не связывался для совместных действий" ("Красный Архив",, 1. с., стр. 170—171; "Материалы", т. II, стр. 50).

Ввиду заявления Бакунина, что он много беседовал с Вагнером о политике, приобретают немалый интерес воспоминания Вагнера о знаменитом агитаторе. Разумеется к этим воспоминаниям нужно отнестись критически, так как Вагнер в политических и общественных вопросах плохо разбирался, был человеком чувства, а не мысли, в революцию и вообще политику попал, как большинство тогдашних обывателей, случайно и ненадолго; многое, что видел и слышал, понимал превратно и наверное передает слова Бакунина в многих случаях неточно. Тем не менее его сообщения при известном критическом подходе к ним представляют все же значительный интерес для характеристики тогдашних взглядов и настроений Бакунина. Во всяком случае эти сообщения свидетельствуют о том, какое впечатление Бакунин производил в то время на окружающих и как они оценивали его заявления и действия, а значит отчасти характеризуют ту среду, в которой ему приходилось действовать.

Рихард Вагнер познакомился с Бакуниным весною 1849 года во время репетиция 9-й симфонии Бетховена дрезденскою придворною капеллою под управлением Вагнера. "На генеральной репетиции, — рассказывает Вагнер, — тайно от полиции присутствовал Михаил Бакунин. По

скончании концерта он безбоязненно прошел ко мне в оркестр и громко заявил, что если бы при ожидаемом великом мировом пожаре предстояло погибнуть всей музыке, мы должны были бы с опасностью для жизни соединиться, чтобы отстоять эту симфонию". Дальше Вагнер рассказывает о впечатлении, произведенном на него "этим необыкновенным человеком", которым он заинтересовался со времени его парижской речи 1847 года и о котором ему рассказывал Г. Гервег. Но когда Вагнер переходит к изложению мыслей Бакунина, мы не можем отделаться от впечатления, что автор "Мемуаров", писавший их примерно лет через 20 после событий бурного года, невольно привносит в свое изложение воспоминания, навеянные ему последующею деятельностью анархиста Бакунина 60—70-их годов. Во всяком случае "Мемуары" Вагнера подтверждают, что среди тогдашних демократов Бакунин был одним из самых последовательных и крайних, хотя бы в качестве решительного крестьянского революционера.

Что Бакунин оказывал большое влияние на Вагнера (тогда и позже), это общеизвестно. Новейший русский биограф Р. Вагнера утверждает, что "влияние Бакунина на убеждения, мысли и жизненное поведение Вагнера несомненно" (А. Сидоров—"Р. Вагнер". Москва 1934, стр. 136).

Познакомил Вагнера с Бакуниным А. Рекель, к тому времени по словам Вагнера "совершенно одичавший", т. е. горячо увлекшийся революциею. "Когда я впервые увидел Бакунина у Рекеля,— рассказывает Вагнер,— в ненадежной для него обстановке, меня поразила необыкновенная импозантная внешность этого человека, находившегося тогда в расцвете тридцатилетнего возраста. Все в нем было колоссально, все веяло первобытной свежестью... В спорах Бакунин любил держаться метода Сократа. Видимо он чувствовал себя прекрасно, когда, растянувшись на жестком диване у гостеприимного хозяина, мог диспутировать с людьми различнейших оттенков о задачах революции. В этих спорах он всегда оставался победителем. С радикализмом его аргументов, не останавливавшихся ни перед какими затруднениями, выражаемых притом с необычайною уверенностью, справиться было невозможно". По словам Вагнера Бакунин отличался необыкновенною общительностью и в первый же вечер рассказал ему свою автобиографию. Из нее мы заимствуем только указание Бакунина на глубокое впечатление, произведенное на него сочинениями Ж.-Ж. Руссо. Ответственность за это несколько неожиданное сообщение приходится целиком возложить на Р. Вагнера.

Указав далее на то, что Бакунин считал славянский мир наименее испорченным цивилизациею и ждал от него возрождения человечества, Вагнер продолжает: "Свои надежды он основывал на русском национальном характере, в котором ярче всего сказался славянский тип. Основной чертой его он считал свойственное русскому народу наивное чувство братства. Рассчитывал он и на инстинкт животного, преследуемого человеком (ясно, что речь идет о классовом чувстве.—*Ю. С.)*—на ненависть русского мужика к его мучителям-дворянам. В русском народе по его словам живет не то детская, не то демонская любовь к огню, и уже Ростопчин построил на этом свой план защиты Москвы при нашествии Наполеона. В мужике цельнее всего сохранилась незлобивость натуры, удрученной обстоятельствами.

Его легко убедить, что предать огню замки господ со всеми их богатствами — дело справедливое и богоугодное. Охватив Россию, пожар перекинется на весь мир. Тут подлежит уничтожению все то что, освещенное в глубину с высоты философской мысли, с высоты современной европейской цивилизации, является источником одних лишь страданий человечества. Привести в движение разрушительную силу — вот цель, единственно достойная разумного человека". И дальше: "Разрушение современной цивилизации—идеал, который наполнял его энтузиазмом. Он говорил лишь об одном: как для этой цели использовать все рычаги политического движения, и его планы нередко вызывали у окружающих веселые иронические замечания. К нему приходили революционеры всевозможных оттенков. Ближе всего ему конечно были славяне, так как их он считал наиболее пригодными для борьбы с русским деспотизмом. Французов, несмотря на их

республику и прудо-новский социализм, он не ставил ни во что. О немцах он со мной никогда не разговаривал. К демократии, к республике, ко всему подобному он относился безразлично как к вещам несерьезным. Когда говорили о перестройке существующих социальных основ, он обрушивался на возражающих с .уничтожающей критикой... Устроители нового мирового порядка найдутся сами собой, говорил он нам в утешение. Теперь необходимо думать только о том, как отыскать силу, готовую все разрушить... Тем, кто заявлял о своей готовности пожертвовать собой, он отвечал возражением, производившим сенсацию, что не в тиранах дело, что все зло — в благодушных филистерах". Дальше Р. Вагнер, который сам был в политике законченным типом такого филистера (что видно и из его рассказа о Бакунине), подчеркивает, что несмотря на свои страшные речи Бакунин отличался "тонкою и нежною чуткостью", и что в нем "антикультурная дикость" сочеталась с "чистейшим идеализмом человечности". Пропуская его рассуждения на эту тему, мы отметим только одно его указание на политическую непрактичность Бакунина и на его беспочвенность в этой области. "Можно было подумать, что Бакунин является центром универсальной конспирации. Но вот выяснилось, что его практическая задача сводится лишь к замыслу вызвать новое революционное брожение в Праге, при чем вся надежда в этом отношении возлагалась на организацию нескольких студентов" (т. II, стр. 170—175). На самом деле, как известно, задачи Бакунина были тогда гораздо шире, но Вагнер, вообще стоявший в стороне от политики, об этом не знал. Рассказ Вагнера о второй поездке Бакунина в Прагу мы привели в комментарии 207.

238 Шнайде (настоящая фамилия Шнейдер), Францишек (1790— 1850)—польский военный и политический деятель; в молодости вступил в армию Царства Польского, в 1830 г. был майором в полку конных егерей, во время революционной войны 1831 г. командовал конным полком и был произведен в генералы; по взятии Варшавы уехал а Париж, где принял активное участие в делах эмиграции. Имел отношение к подготовке восстания в Познани, и в 1847 г. был принят в члены Централизации Демократического Товарищества. В 1848 г. находился в Бреславле и Зальцбрунне; не принятый Дембинским в венгерскую армию, уехал в баварский Палатинат, где в мае 1849 г. был главным начальником над повстанческими отрядами и вследствие промедления был одним из виновников поражения, понесенного Мерославским 21 июня 1849 г., после чего уехал в Париж, где скоро умер.

239 В южно-германских повстанческих войсках участвовало много поляков и притом на командных постах. После Шнайде главнокомандующим революционных войск был Л. Мерославский; рейнско-гессенским корпусом волонтеров командовал поляк Руперт или Рауперт; начальником генерального штаба Раштаттской крепости был Корвин Вержбицкий, впоследствии осужденный на долголетнюю каторгу (просидел до 1855 г.); на неккарской линии отличились польские полковники Тобиан и Оборский; поляк Теофил Мневский, командовавший большим отрядом, был расстрелян пруссаками в Раштатте. Существовал особый немецко-польский легион во главе с Фрейндом.

240 Бакунин, как мы знаем, все время торопил своих пражских агентов ускорить приготовления к выступлению. С началом движения в пользу имперской конституции в Вюртемберге его настояния усилились. На допросе в Австрии он признал, что когда в Вюртемберге началось движение за признание имперской конституции, он послал Г. Страке письмо, в котором требовал от него ускорения подготовительных мероприятий, "ввиду того, что в Вюртемберге и Бадене все вплоть до войск готово к восстанию" (Чейхан, прим. 247; "Материалы для биографии", т. II, стр. 455).

241 О настроении в Праге Бакунин знал по письмам своих приверженцев. Он верил в близость революционного взрыва. На допросе в Саксонии Бакунин показал, что из газет и частных писем ему стало известно о публичном проявлении симпатий к мадьярам (крики "да здравствует Кошут!" при проходе венгерского полка), что предстоит государственное

банкротство, что крестьянство недовольно, а рекрутский набор вызывает всеобщее негодование, что мадьяры одерживают победы над австрийскими войсками, а вступление русских в австрийские пределы должно вызвать всеобщее неудовольствие. “Из этих данных,— резюмирует он,—я заключал о близком восстании в Чехии, тем более что предвиделось примирение между богемскими немцами и чехами” (“Прол. Рев.”, I. с., стр. 178; “Материалы”, том II, стр. 117).

242 Бакунин дал Рекелю письмо к Сабине и Арнольду, а также записку к Фричу и братьям Страка (то и другое напечатаны у нас в томе III, стр. 397 и 398). По словам Бакунина Рекель хотел на время выехать из Дрездена, так как предвиделось, что с роспуском сейма правительство начнет применять репрессии, а Рекель был под судом за революционное воззвание к солдатам. Но поехать именно в Прагу наверное убедил его Бакунин, как это впрочем и вытекает из слов “Исповеди”. На допросе в Саксонии Бакунин показал: “Так как главное мое стремление направлено к тому, чтобы объединить славян и немцев с мадьярами и, когда они объединятся, победить с помощью их австрийскую и русскую армии, освободить Польшу и разрушить Австрию, разложив ее на отдельные самостоятельные национальности, которые сами изберут себе подходящее государственное устройство, то поездка Рекеля в Прагу явилась как нельзя более кстати, давая мне возможность при посредстве Рекеля столковаться по поводу моих планов с Сабиной и неназванным (т. е. Арнольдом, которого Бакунин не хотел тогда еще называть. — *Ю. С.),* ибо я имел основания надеяться, что Сабина и неназванный будут преследовать одинаковые со мною тенденции”. По дальнейшим словам Бакунина Рекель должен был рассеять недоразумения между немецкими и чешскими демократами и разъяснить, что немецкая демократия в отличие от 1848 года будет солидарна с революционным выступлением чехов против австрийского правительства. Давая Рекелю рекомендательные письма, Бакунин хотел помочь выполнению его давнишнего желания: лично удостовериться в основательности расчетов на близость движения в Богемии и попытаться в интересах этого движения привести к согласию и совместному действию немецкую и чешскую демократию (“Прол. Рев.”, I. с., стр. 172—183; “Материалы”, том II, стр. 114—123). Сам Рекель в своих воспоминаниях рассказывает об этой своей поездке следующее:

“Во время своего тайного проживания в Лейпциге он (Бакунин—*Ю. С.)* собрал вокруг себя кружок по большей части чешских студентов, которые: с полным самоотречением взирали на него как на своего учителя и беспрекословно следовали его словам. С их помощью он задумал вырвать Богемию из того состояния уныния и спячки, в которое она впала после злополучных и совершенно лишенных плана июньских боев истекшего года. Но его нетерпение заставляло его считать уже достигнутым то, на что он только надеялся и к чему только стремился, и он с твердой уверенностью ждал в кратчайшем времени всеобщего восстания в Богемии. А при тогдашнем положении вещей в Германии представлялось весьма важным предотвратить всякое изолированное выступление, и вот почему Бакунин без труда убедил меня съездить в Прагу и переговорить с местными деятелями, к которым он дал мне незапечатанные письма о том, чтобы оторочить по возможности тамошнее восстание до того времени, когда идущие быстро к развязке дела в Германии позволят надеяться на то, что движение сразу примет всеобщий характер.

“Но в Праге я нашел положение совершенно отличное от того, которое было мне нарисовано. Чехи и немцы противостояли друг другу более враждебно, чем когда-либо. Падение Вены в октябре прошлого (1848) года не только не переживалось как общий удар, но даже рассматривалось чехами с известным удовлетворением как возмездие за их июньское восстание, оставленное немцами на произвол судьбы. Равным образом и великая борьба в Венгрии не встретила среди чехов того сочувствия, которым горели мы, немцы, ибо там на него

часто смотрели только как на попытку мадьяр сохранить свое владычество над славянскими народностями Венгрии...

“Вместо мощного, широко разветвленного союза, во главе которого воображал себя Бакунин и с помощью которого он мнил себя в состоянии привести в движение могучие силы, я едва нашел какую-нибудь дюжину весьма юных людей, которые при всей своей экзальтированной фантазии не могли ни на минуту обманываться насчет своего бессилия. Я беседовал с отдельными лицами, на которых они мне указывали как на склонных при удобном случае к насильственному возмущению, встречал подчас и добровольную готовность на жертву, но одновременно все больше убеждался в правильности моего первого впечатления от положения вещей. По утверждению проницательных патриотов требовались еще по меньшей мере месяцы для того, чтобы доставить настолько широкое распространение тому взгляду, что только солидарное действие германской и австрийской демократии способно поставить преграду растущей реакции, чтобы от него можно было ожидать перехода к делу. Австрийское правительство вскоре после того своим жестоким преследованием всех тех, кто во время моего кратковременного пребывания в Богемии поддерживал со мною сношения, ясно показало, сколь необеспеченным оно себя чувствовало и какой страх внушала ему даже отдаленнейшая попытка вызвать народное возмущение” (Рекель, цит. соч., стр. 144—146).

243 Рекелю не нравилась роль бакунинского агента. Отчасти поэтому, а отчасти потому, что он не считал этого нужным, он не отдал бакунинских писем, а только показывал их при нужде и увез с собою обратно в Дрезден, что впоследствии повредило как ему лично, так и всем подсудимым по пражскому делу (показания Рекеля в Кенигштейне 18 июня 1850 г; см. Чейхан, прим. 251; “Материалы”, т. II, стр. 188).

Как сообщает в своих воспоминаниях А. Рекель (стр. 200), он забыл уничтожить два письма, данные ему Бакуниным (в Праге он их не отдал адресатам, а лишь предъявлял). Когда он был 7 мая 1849 года захвачен под Дрезденом правительственными солдатами, эти письма были найдены у него при личном обыске. В бакунинских письмах никаких имен не фигурировало, но в карманной книжке Рекеля, также у него отобранной, оказались записанными имена многих известных пражан. Саксонское правительство поспешило сообщить эти сведения австрийскому. Эти записи отчасти помогли австрийскому правительству распутать известное дело о заговоре с целью вызвать революцию в Богемии. Следователь фон Гок, которому было поручено это дело, страшно раздул его. Он приезжал и в Дрезден допрашивать по этому делу Бакунина и Рекеля. Последний позже сильно раскаивался в том, что вступал в разговоры с этим инквизитором, который разумеется использовал показания, данные Рекелем в целях оправдания арестованных, для ухудшения их участи.

Сначала Рекель на допросах отрицал свои встречи с пражскими революционерами, но затем признал встречи с д-ром Бруна (Эдуард Бруна, доктор философии, был преподавателем Нейштадтского лицея.) и И. Фричем. К последнему привел его Г. Страка в день его отъезда в Дрезден, т. е. 5 мая. Интересуясь движением в Богемии, он, Рекель, поехал в Прагу для того, чтобы подготовить ожидавшуюся там революцию и обсудить со своими единомышленниками те меры, какие надлежало предпринять для успеха этой революции. Он признал, что знал об отношениях Густава Страка к Бакунину и что по прибытии в Прагу вошел в сношения с ним и его братом Адольфом, а затем и с доктором Циммером, с которым познакомился у Бакунина в Дрездене; он обращался также к д-ру Бруна, Карлу Сладховскому, И. Фричу и Э. Арнольду, особенно же старался повлиять на Бруна и Сладховского, чтобы привлечь их к участию в революции, и стремился убедить д-ра Бруна отдать на революционные цели находившиеся в его руках деньги польских легионов. Далее он признал, что посетил Сабину, передал ему поручения Бакунина и убеждал его принять активное участие в предстоящей революции, необходимые мероприятия

для успеха которой он с ним обсуждал; он настаивал также на том, чтобы начинать революцию в Праге как можно скорее. Рекель заявил наконец, что при взрыве революции Бакунин лично приехал бы в Прагу, а он, Рекель, остался бы в Праге и присоединился бы к революции, если бы она не началась раньше в Дрездене и не принудила его вернуться туда. Выехал Рекель из Праги 5 мая, а 6 приехал в Дрезден, где свиделся с Бакуниным.

По-видимому при встрече в Дрездене обоим им в обстановке восстания было не до подробных разговоров, так что Бакунин о работе Рекеля в Праге ничего особенного не узнал, но услышал от него, что в Праге все идет хорошо. Рекель при встрече с Бакуниным будто бы сказал ему: "Сегодня в Праге вспыхнет восстание". Но Бакунин заявил, что он не припоминает таких слов Рекеля. Да и сомнительно, чтобы после вынесенных из Праги неблагоприятных впечатлений, Рекель мог даже в порыве энтузиазма сказать такие слова (Чейхан, прим. 275 и 277).

244 Циммер, Карл—австрийский политический деятель; родился в Чехии, был врачом по профессии; принял активное участие в революции 1848 г.; был избран от города Тешена депутатом в австрийский учредительный рейхстаг, где сидел на левой стороне. Выдвинулся в октябрьские дни, когда поддерживал крайнюю революционную фракцию. Был также членом франкфуртского парламента. Неоднократно подвергался преследованиям. 11 мая 1849 г. накануне задуманного выступления уехал из Праги. Через Дрезден поехал во Франкфурт, где участвовал в заседаниях парламента до конца. В Берлине был арестован в марте 1850 года, выдан Австрии и приговорен по процессу Бакунина к смертной казни, замененной ему 15-летним тюремным заключением.

На допросе в Австрии Бакунин признал, что имел свидание с Циммером при проезде последнего через Дрезден в апреле 1849 года. О присутствии его в Дрездене он узнал от Оттендорфера, который и привел его к нему. Так как Циммер был родом из Богемии и принадлежал к демократам, то для Бакунина он представлял естественно значительный интерес. После беседы об общем положении Богемии Бакунин задал Циммеру вопрос, как стали бы себя держать богемские немцы в случае восстания в Праге: остались ли бы они нейтральными или, как это было в 1848 году, стали бы ему противиться? Так как Циммер выразился о чехах с величайшей антипатиею, указывая на то, что ждать от них революционных выступлений не приходится, то Бакунин пустил в ход все свое красноречие, чтобы побороть эту антипатию и склонить Циммера к примирению с чехами и к согласованной деятельности с ними. В конце концов Циммер поддался убеждениям Бакунина и заявил, что в случае чешского восстания в Богемии немецкие демократические круги также присоединятся к движению, и что он сам постарается повлиять на них в этом смысле. Показание самого Циммера, совпадая во всем существенном с вышеизложенным, отличается от него умолчанием о том, что первоначально Циммер будто бы возражал против совместных действий с чехами и согласился на них лишь после горячих убеждений Бакунина ("Материалы для биографии Бакунина", т. I, стр. 74—75 и 83—84). Пфицнер (цит. кн., стр. 183 сл.) высказывает предположение, что Циммер по собственной инициативе пришел к Бакунину, о котором в Чехии тогда столько говорили, и с которым он хотел выяснить вопрос о возможности совместных действий.

245 Явный ответ на вопрос.

246 Саксонский ландтаг был распущен 30 апреля 1849 г. министерством Гельда-Бейста, сменившим 24 февраля 1849 г. мартовское либеральное министерство Брауна-Оберлендера. Когда король отказался признать имперскую конституцию, принятую 12 апреля Франкфуртским парламентом, то и второе министерство подало в отставку. Вместо него назначено было открыто-реакционное министерство Чшинского— Бейста. (Кстати В. Полонский в томе I своих "Материалов для биографии Бакунина", приводя на стр. 403 письмо этого премьер-министра *к* графу

Нессельроде, во-первых называет его Чинским, а во-вторых объявляет его “неким доктором Чинским” (стр. 402). Это характерно для названного “исследователя” и его “научных” приемов.)

1 мая начались уличные демонстрации и волнения. Городская администрация, гражданское ополчение и рабочий союз высказались за принятие конституции, но король отверг все домогательства населения. 3 мая городские гласные избрали комитет защиты, позже превратившийся в комитет безопасности. В тот же день произошло кровавое столкновение между толпою, осаждавшею арсенал, и войсками, после чего началась постройка баррикад. Король обратился за помощью к Пруссии, но, не дожидаясь прибытия прусских солдат, бежал 4 мая из Дрездена в крепость Кенигштейн, после чего власть перешла к революционерам. Активное участие рабочих в выступлении придало ему республиканский характер.

247 На допросах в саксонской комиссии Бакунин показал, что вместе с В. Гикою и Ю. Андржейковичем собирался после роспуска саксонского сейма покинуть Дрезден, так как не чувствовал себя там в безопасности и ожидал от правительства репрессий по адресу иностранцев. Он намеревался якобы уехать в Швейцарию, а оттуда во Францию. Он не только сам не принимал участия в подготовке майского выступления, но даже его знакомые и друзья еще в четверг 3 мая не верили а какое-либо массовое движение. “Здесь я должен по правде сказать, что вообще саксонская демократия мне представлялась очень добродушной и все лейпцигские демократы мне представлялись более тщеславными, чем опасными, так как они много о себе воображали ввиду их речей в клубах и в силу презрительных воззрений на другие немецкие страны и тешились мыслью, что Саксония—весьма демократическая страна”.

Р. Вагнер в своих воспоминаниях подтверждает, что вначале Бакунин не придавал серьезного значения дрезденской сумятице. Вагнер, шатаясь по городу 3 мая, неожиданно встретил Бакунина на улице. “В черном фраке с неизбежной сигарой во рту он бродил открыто по городу среди запруженных улиц. Я был уверен, что дрезденские события должны его наполнять восторгом. Оказалось, что я ошибся. В принимаемых населением мерах защиты он видел только признаки детской беспомощности. При этом для себя лично он усматривал только одно удобство, возможность не прятаться от полиции и спокойно выбраться из Дрездена. Дело не казалось ему настолько серьезным, чтобы побудить его принять в нем личное участие”. Бакунину казалось, что дрезденцы действуют недостаточно энергично. “Он ясно видел, что пруссаки готовятся к хорошо обдуманному наступлению, и полагал, что необходимо выработать соответствующие стратегические меры, чтобы встретить их готовыми к бою. А так как восставшим саксонцам недоставало солидных воинских сведений, то он настойчиво предлагал призвать опытных польских офицеров, находившихся в Дрездене. Все с ужасом отшатнулись от этого плана. Чего-то ждали от находившегося при последнем издыхании союзного правительства во Франкфурте. Стремились идти по старому легальному пути, держаться принципов парламентаризма” (т. II, стр. 180, 1 82).

В докладе Гельтмаяа и Крыжановского, который в этом отношении является абсолютно заслуживающим доверия документом, также говорится, что 3 мая, в начале революции, первою мыслью Бакунина на совещании с ними было оставить Дрезден и на чешской границе дожидаться известий из Праги или возвращения оттуда Рекеля, так как в успешность дрезденского движения он не верил. Но поляки воспротивились отъезду на Дрездена, ожидая присоединения других немецких областей и опасаясь, что их отъезд в такой момент вызовет деморализацию в рядах демократов.

Тодт Карл Готлиб (1803—1852)—немецкий юрист и политический деятель либерального направления; был бургомистром и судьею в Адорфе (Саксония); с 1836 по 1848 год был умеренно-либеральным депутатом саксонского ландтага, лидером оппозиции до мартовской революции, саксонским королевским тайным советником, в 1848 году был доверенным лицом

либерального правительства в Союзном сейме; во время революции 1848 г. был членом Предварительного парламента. Чтобы скомпрометировать его, правительство Саксонии поручило именно ему, единственному прогрессивному сановнику, роспуск саксонского сейма 30 апреля 1849 года. Это не помешало ему через несколько дней войти в состав Временного правительства в Дрездене во время майского восстания. После подавления его бежал через Франкфурт за границу. Умер в Рисбахе, под Цюрихом. С Бакуниным был знаком еще с 1841 г., когда познакомился с ним через А. Руге.

О Чирнере см. комментарий 236.

248 Из Дрездена были разосланы во все стороны гонцы с просьбою о помощи, но последняя не была оказана восставшей столице в достаточной степени. Поскольку восставшему Дрездену была оказана действительная подмога, она исходила от рабочих, которые вообще играли главную роль в выступлении. Так из Хемница пришли отряды механиков, а также отряд горнорабочих, привезших с собою даже 4 небольшие пушки. Рабочие же дрались на баррикадах до конца.

249 О мотивах своего участие в Дрезденской революции Бакунин на допросах в Саксонии показал: "Я принял участие в саксонском восстании главным образом потому, что усматривал в нем противодействие прусскому влиянию, а вместе с тем, так как русская политика влияет на Пруссию, то и русскому влиянию. А так как моя деятельность преимущественно была направлена против России (читай: царизма.—Ю. С.), то мне казалось, что и эта революция соответствует моему стремлению уничтожить или по крайней мере ослабить влияние России на Германию. Поэтому я сочувствовал этой революции. К этому присоединилось, как я позднее подробнее изложу, и то, что многие мои знакомые принимали участие в этом восстании, а отсутствие денег препятствовало моему отъезду; равно и желание быть поближе к Богемии привязывало меня к Саксонии".

Вот как он согласно его рассказу попал в дрезденскую ратушу. Четверг 3 мая он частью провел в обществе своих знакомых: Андржейкови-ча, Гики, Крыжановского и Гельтмана (с первыми двумя в тот вечер он пил чай у графини Чесновской, своей салонной знакомой), а частью у себя на квартире. Все вышеназванные лица были якобы того мнения, что следует уехать из Дрездена на следующий день, но кроме Гики им не хватало денег. На следующее утро 4 мая, направляясь к Крыжановскому, Бакунин встретил на улице Тодта; последний был изумлен серьезным характером, который неожиданно приняло движение, и сказал, что идет в ратушу узнать о ходе дел. Через некоторое время Бакунин снова столкнулся на улице с Тодтом и обменялся с ним несколькими незначительными словами. Дальше по дороге он встретил Р. Вагнера, который направлялся в ратушу и позвал с собой Бакунина. Там он услышал, как Чирнер с балкона ратуши держал к народу, требовавшему взятия цейхгауза, речь, в которой сообщал, что сейчас ведутся переговоры с военными властями о передаче цейхгауза, что в Бреславле вспыхнуло восстание и т. п. Тогда Бакунин прошел в большой зал заседаний ратуши, где увидал Тодта, Чирнера, Кёхли (тоже старый знакомый по Дрездену в l842 г.), Вагнера, д-ра Рихтера (тоже знакомый по Дрездену 1842 г.), д-ра Минквица и Гейнце. Тодт представил ему Гейнце как главнокомандующего революционными силами. После того Бакунин несколько раз на дню заходил в ратушу, но при избрании Временного правительства не присутствовал. С Гейбнером он познакомился только на следующий день. По приглашению Чирнера Бакунин решил остаться в Дрездене и принять участие в обороне города, после чего отправился обедать к Чесновской (у графини Чесновской Бакунин бывал повидимому ежедневно). В пятницу вечером Чирнер сказал Бакунину, что необходимо занять цейхгауз, и спросил, нет ли у него знакомого поляка, который мог бы руководить атакой на цейхгауз, так как подполковником Гейнце были недовольны. Бакунин нашел поляка, но из этого ничего не вышло. Утром 5 мая

Чирнер снова обратился к Бакунину, прося его найти польских военных, способных руководить боевыми действиями повстанцев. Тогда Бакунин обратился к Гельтману и Крыжановскому, которые согласились на сделанное им предложение. Бакунин привел их с собою в ратушу к Временному правительству. "С этого момента начинается мое собственное деятельное участие в восстании и бое, которое однако меняло свой характер в каждый отдельный день" ("Красный Архив", I. с., стр. 172—176).

Судя по "Исповеди", Бакунин 4 мая играл более активную роль, чем

он показывал в комиссии.

Гельтман и Крыжановский в своем докладе Централизации также сообщают, что приглашение Временного правительства взять на себя руководство боевыми операциями было им передано через Бакунина. Через него же на следующий день они получили приглашение явиться для личных переговоров с Временным правительством в ратушу. В полдень 5 мая они приступили к работе, пригласив себе в помощь своего земляка Голембиовского, которого они считали знатоком уличного боя. Это и был тот третий польский офицер, имени которого Бакунин якобы не знал, а вернее не хотел назвать.

О Кёхли, Минквице см. том III, стр. 441 и 547, 555.

Рихтер, Герман Эбергард Фридрих (1808—1876) — немецкий ученый и политический деятель демократического направления. Закончив медицинское образование в Лейпциге, в 1833 г. переехал навсегда в Дрезден, где с 1837 г. был профессором терапии в медико-хирургической академии. В 1842 г. Бакунин встречал его у Руге. Рихтер участвовал в революции 1848 г., был членом городского совета в Дрездене; принимал участие в дрезденском восстании, был привлечен к суду и лишен профессуры, после чего занимался частной врачебной практикой и работою в области медицинской литературы.

250 О хаосе, царившем в революционных рядах, говорят многие очевидцы и участники майских событий. Рекель в своих воспоминаниях пишет по этому поводу: "Чтобы в короткое время рассеять такой хаос, внести в него порядок и превратить его в точно действующий организм, для этого требовался революционный гений, какового среди членов Временного правительства не имелось. Гейбнер, "благородный демократ", как его называла даже реакция, ясный ум и вместе с тем милосердный и совестливый судья, по своему мягкосердечию радостно отдал бы собственную жизнь за всякую жертву, какой требовала эта борьба как от той, так и другой стороны, но именно вследствие этой мягкости не мог проявить той необходимой в подобных случаях железной твердости, которая считается с человеческими жизнями столько же, как с шахматными фигурами. Тодт с первого же дня находился в страшнейшем противоречии с самим собою и оставил Дрезден уже в день моего прибытия (т. е. 6 мая. — *Ю. С.),* для Того чтобы во Франкфурте добиваться посредничества центральной власти. Наконец Чирнер, даровитый адвокат и оратор, не обладал тою способностью точно схватывать вещи и тем самоотречением, без которых даже самая способная голова не в состоянии разобраться в подобном положении. Исполненный доброй воли, ни один из этих трех людей не обладал безоглядною решимостью довести до благополучного конца это дело любою ценою, а потому они и не оказались способными добиться этого" (цит. соч.,-стр. 150—152).

251 Насчет роли, сыгранной Бакуниным в дрезденском восстании, существуют самые противоположные отзывы. Преобладают впрочем положительные. Создалась даже легенда, сильно преувеличивающая тогдашнюю деятельность Бакунина и приписывающая ему исключительную и руководящую роль, какая в действительности ему не принадлежала да и не могла принадлежать в силу его иностранного происхождения, особенно русского, малой

популярности среди незнавших его масс и т. д. Даже отзыв Маркса—Энгельса в “Революции и контр-революции в Германии” является несколько преувеличенным и придающим Бакунину больше значения в вооруженной борьбе, чем он имел на деле. В этой брошюре после указания на то, что силы инсургентов рекрутировались главным образом среди рабочих окрестных промышленных районов, сказано: “Они нашли спокойного и хладнокровного вождя в русском эмигранте Бакунине” (Маркс — “Собрание исторических работ”, Спб. 1906, стр. 388; Маркс и Энгельс— “Сочинения”, том 6, стр. 103). Напротив Стефан Борн, бывший член “Союза коммунистов” и основатель общегерманского союза “Рабочее Братство”, 8 мая сменявший Гейнце на посту главнокомандующего революционными силами, в своих воспоминаниях (“Erinnerungen eines Achtundvierzigers”, Лейпциг 1898, цитируем по третьему изданию, стр. 171—175 и 226—233) выражается о Бакунине и о его роли в Дрездене совершенно иначе. Впрочем отзывы Борна носят настолько пристрастный характер, что невольно наводят на подозрение: невидимому Борн просто сводит личные счеты с человеком, которого он не любил и не понимал никогда, и верность которого своим революционным стремлениям до конца являлась как бы живым упреком Борну, разбившему своих старых демократических идолов. Замечательно, что и Бакунин в “Исповеди” ни одним словом не упоминает о Борне и об его участии в дрезденском восстании. Думать, что Бакунин не называет Борна в силу усвоенного им принципа не выдавать никого, не приходится, ибо во-первых Борн из Германии бежал, а во-вторых об его прикосновенности к восстанию все правительства были прекрасно осведомлены. Очевидно между этими двумя людьми существовала органическая, непримиримая вражда.

Впервые Борн, вращавшийся тогда в окружении Маркса, встретился с Бакуниным в Брюсселе (1847—1848г.). “Этот страшный революционер,— пишет Борн, — основоположник нигилизма и анархизма, в сущности был шестипудовым, наивным ребенком, enfant terrible’ем, если угодно, но все же enfant... И при этом он всегда оставался человеком из хорошего общества, джентльменом. Я в течение некоторого времени сноса свиделся с ним в Берне после его побега из сибирской ссылки. Со времени наших встреч в Лейпциге и Дрездене прошло добрых 15 лет. Бакунин выглядел совершенно не изменившимся. Он сделался только несколько подвижнее, живее в движениях, беспокойнее”. Далее Борн сообщает, что в Берлине они в 1848 году встречались довольно часто (тут он между прочим рассказывает, как Бакунин в кафе варил для демократической компании пунш по русски —отрыжка московской жизни). Встретились они снова в Лейпциге, а затем в Дрездене.

Когда Борн был назначен главнокомандующим революционной армии вместо Гейнце, попавшего или сдавшегося в плен, он в ратуше встретил “Михаила Бакунина, который должен был быть повсюду, но здесь, как и во всех прочих местах, где требовались не слова, а дело, был совершенно лишним... Я только заметил, что он сильно стеснял заседавших в ратуше членов Временного правительства, так как во все вмешивался и ко всему подходил с неверной точки зрения”. Далее Борн делает впрочем верное замечание, указывающее на глубокое отличие членов Временного правительства от Бакунина, этого бродячего революционера-космополита: “это были либеральные немецкие мещане, взявшие на себя свои опасные функции наверно не без внутренней борьбы и вполне сознававшие свою ответственность; но Бакунин! Он мечтал об основании великой панславистской республики, которая от саксонской границы... простиралась бы на всю Азию” повсюду установила бы русское общинное землевладение и этим освободила. бы весь мир”. И дальше Борн пускается на прямую инсинуацию: “Этот русский, абсолютно не замечавший и не понимавший действительных. отношений, среди которых он жил в Германии, естественно не имел в Дрездене ни малейшего влияния на ход вещей. Он ел, пил и спал в ратуше — и это все... С наступлением ночи он выпил и закусил, затем улегся на заготовленный матрац и захрапел, в то время как я условливался с Гейбнером о том, что делать завтрашний день” (стр. 228). Это происходило 8 мая. А сколько ночей до этого Бакунин не спал, об этом Борн умалчивает. Даже самый арест Бакунина Борн объясняет тем, что тот

всюду лез без нужды и увязался за Гейбнером (стр. 233). Единственным оправданием этих выходок Борна могло бы служить его полное незнакомство с действительным ходом восстания в первые дни. Но годится ли здесь такое объяснение?

Напротив отзыв Маркса о роли Бакунина в Дрездене очень похвален. Допустим, что Маркс преувеличил роль Бакунина в Дрездене. Но это во всяком случае показывает, что в 1852г., когда он писал эти строки, он вовсе не относился враждебно к Бакунину и не клеветал на него, сидящего в крепости, как впоследствии думали Герцен и Бакунин (кстати, не знавшие об этих статьях Маркса, напечатанных в американском журнале. "Трибуна") и как за ними повторяли противники Маркса.

Вокруг имени Бакунина в связи с дрезденскими событиями создалась, легенда: ему приписывали самые решительные меры вроде приказа поджигать дома для защиты города и т. п. Между прочим рассказывали,. будто он советовал дрезденцам поставить на городские стены Мадонну Рафаэля и уведомить об этом прусских командиров с предупреждением,. что, стреляя по городу, они рискуют испортить бессмертное произведение искусства. Немцы дескать zu klassisch gebildet ("Получили слишком классическое воспитание") , чтобы позволить себе стрелять по Рафаэлю. Когда Бакунина русские товарищи однажды спросили, поступил ли бы он также и тогда, когда пришлось бы защищаться от русской армии, он сто рассказу З. Ралли ответил: "Ну, брат, нет! Немец — человек цивилизованный, а русский человек — дикарь, он и не в Рафаэля станет стрелять, а в самую как есть в Божию матерь, если начальство прикажет. Против русского войска с казаками грешно пользоваться такими средствами,—и народ не защитишь и Рафаэля погубишь!" Но эти шуточные слова отнюдь нельзя истолковывать а смысле подтверждения легенды.

При защите Дрездена Бакунин проявил поразительное хладнокровие и непоколебимую решимость, которые сделали его имя на долгие годы пугалом для саксонских филистеров, но в то же время способствовали преувеличению его действительной роли в дрезденском восстании.

Шинке в своей докторской диссертации "Der politische Charakter des Dresdener Maiaufstandes 1849", Halle 1917, стр. 37, называет легендою утверждение литературы о майском восстании (кроме мемуаров Борна) о том, будто члены Временного правительства были марионетками в руках Бакунина, диктаторски господствовавшего над Временным правительством, всех терроризовавшего и стремившегося к водворению всеобщей европейской республики. В этом он прав. Но он пересаливает, когда вслед за Борном силится представить роль Бакунина в восстании как совершенно ничтожную и второстепенную.

Эту слабую сторону Шинке отмечает и с нею не соглашается Курт Мейнель, автор недавно появившейся биографии Гейбнера ("Otto Leonhard Heubner", Leipzig 1928, стр. 207 сл.). На основании официальных протоколов Мейнель устанавливает, что Бакунин явился в ратушу не сам, а по приглашению Чирнера, 4 мая, приведя с собою Гельтмана и Крыжановского. 5 мая он отказался занять пост главнокомандующего взамен Гейнце, что ему предлагал Чирнер, и т. д. Но Бакунин согласился вместе с обоими названными поляками руководить общими военными операциями из ратуши. По показанию Гейбнера "с этого дня Бакунин фактически пользовался полною и неограниченною властью в деле руководства военными операциями; думаю, что наиболее подходящим было бы назвать его начальником генерального штаба. Из ратуши он руководил боем, сообщал свои решения Чирнеру, который передавал их главнокомандующему Гейнце (а позже Берну)". 5 мая он составил вместе с поляками "(Регламент) распорядка на баррикадах", подписанный Временным правительством и сообщенный начальникам баррикад. Далее он отдавал распоряжения о занятии или укреплении отдельных баррикад, распределял доставленные из Бургка пушки, распоряжался доставкой и раздачей боевых припасов и принял

меры против предполагавшейся на 6 мая атаки войск на Замковой улице. После возвращения с баррикад 6 мая, когда обнаружилось, что поляки исчезли, Бакунин взял на себя одного глазное командование. С этого момента Бакунин оказался единственным верным человеком, не оставлявшим Гейбнера вплоть до их совместного ареста в Хемнице.

Мейнель отмечает, что и Бакунин не сумел придать боевым операциям плановый характер. Он прямо признавался Р. Вагнеру в том, что не знаком с стратегиею в собственном смысле. По словам Вагнера и Борна он не придавал восстанию серьезного значения и не верил в его успех.

На допросах в саксонской комиссии Бакунин довольно подробно рассказал о своей деятельности во время майских дней. Естественно, что его рассказ, сделанный перед сыщиками, жаждавшими его крови, стремится несколько преуменьшить сыгранную им в действительности роль. Но в основном и существенном он вполне совпадает с рассказом о тех же событиях в "Исповеди", что придает ему большую достоверность. Он только богаче конкретными подробностями, которые саксонских следователей интересовали конечно сильнее, чем русского царя.

Рассказав, что с 4 мая он часто посещал ратушу, а с субботы 5 мая засел в ней безвыходно, Бакунин на допросе 14 мая 1849 г. продолжает:

"Оставался по просьбам Тодта и Чирнера, так как они рассчитывали меня использовать как бывшего артиллерийского офицера. Я однако отрицаю мое личное участие в битве. На мне лежал только высший надзор за боевыми припасами, пороховым погребом и помещением Временного правительства. Я надзирал за выдачей пороха, находившегося в ратуше в количестве 15—16 центнеров. Я отрицаю мое участие в совещаниях Временного правительства, отрицаю и участие в боевых операциях, отрицаю также, что устно или письменно возбуждал других к бою или к поджогам, отрицаю в особенности всякую свою личную вину в приказах о поджогах и грабежах и в баррикадных боях. Я ограничивал свою деятельность в ратуше исключительно вышеуказанными пределами".

На допросе 20 сентября 1849 г. Бакунин показал, что 5 мая он представил Гельтмана и Крыжановского Чирнеру. Поляки согласились помочь Временному правительству своими советами и военными познаниями на следующих условиях: 1) чтобы их деятельность сохранялась в тайне, и чтобы им отвели для работы отдельную комнату; 2) чтобы Бакунин служив посредником между ними и Чирнером, а Чирнер выполнял через Гейнце те их распоряжения, которые будут ему переданы через Бакунина;

3) чтобы в случае поражения Чирнер доставил им паспорта и деньги на отъезд. Эти условия были в общем приняты, но так как отдельной комнаты Не оказалось, то Крыжановский, Гельтман и Бакунин заняли место в комнате Временного правительства за жестяным экраном. До того, как Бакунин привел к нему Гельтмана и Крыжановского, Чирнер предложил ему принять на себя единоличное верховное командование, но Бакунин от этого отказался, так как не знал Дрездена и не доверял своим военным талантам.

Таким образом Бакунин, Гельтман и Крыжановский вместе с привлеченным последними двумя Голембиовским, которого они считали знатоком уличного боя, составили нечто вроде Реввоенсовета при Временном правительстве. Как показывал 13 августа 1849 года на допросе Гейнце, "эти господа были членами составленного Чирнером генерального штаба, к которому принадлежал также Бакунин". Прежде всего они потребовали план Дрездена, чтобы изучить расположение города и вражеских войск. Но они не могли как следует разобраться в полученном от Чирнера плане. План атаки не был до конца составлен Гельтманом и Крыжановским вследствие отсутствия подкреплений. Прежде всего они составили проект

распорядка на баррикадах, но он кажется не был доведен до сведения защитников баррикад. Этот проект переведен был на немецкий язык Крыжановским и Бакуниным. Далее деятельность Бакунина 5 мая состояла в том, что присылавшиеся Временным правительством на заключение реввоенсовета донесения, содержавшие главным образом просьбы о присылке подкреплений, обсуждались тремя советниками, а затем решение по ним сообщалось Бакуниным правительству, от которого уже и исходил приказ об их исполнении. Вечером 5 мая Бакунин с Гельтманом осмотрели приведенные горнорабочими 4 пушки, из которых три оказались трехфунтовыми, а одна четырехфунтовой, после чего Бакунин распорядился доставить необходимые для этих пушек боевые припасы. Утром 6 мая Гельтман отметил на плане место установки пушек, а Бакунин передал это распоряжение Чирнеру для исполнения.

Иногда дрезденский реввоенсовет давал повидимому непосредственные приказания главнокомандующему, но тот обыкновенно с ним не считался, ибо между ними шло глухое соперничество. Так по рассказу Бакунина утром 6 мая до реввоенсовета дошел слух о намерении королевских войск штурмовать Замковую улицу; вследствие этого Гельтман распорядился стянуть революционные силы на площадь и в ратушу и занять ими баррикады и улицу для отражения штурма; но слух этот оказался неверным.

Как увидим ниже при рассказе об обходе Гейбнером баррикад, сопровождавший его Бакунин отдавал непосредсгвенные распоряжения командирам последних. По уходе Гельтмана с Крыжановским 7 мая Бакунин оставался единственным военным консультантом Временного правительства. До вечера понедельника 7 мая его работа ограничивалась отдачею распоряжений о доставке боевых припасов и об отправке подкреплений в нужные места в тех случаях, когда Гейнце отсутствовал. В тот же вечер упадок духа дошел уже до того, что между Бакуниным, Гейбнером и Чирнером возникли разговоры о том, следует ли сдаваться или же продолжать оборону или наконец прорываться. Бакунин предлагал прорваться, и его мнение встретило сочувствие. А между тем в тот момент положение вовсе не было еще таким плохим, и главные улицы были свободны от вражеских войск.

В этот вечер согласно показанию Бакунина смятение дошло до крайних пределов, и ему захотелось внести в дело хоть некоторый порядок. Поэтому он созвал в комнату Временного правительства командиров баррикад, записал их имена и дал им инструкции насчет распорядка на баррикадах, но не давал никаких распоряжений насчет боя. Ночью его разбудил Гейнце и сообщил, что на утро предположен общий штурм со стороны неприятеля, угрожающий революционерам полной гибелью. На вопрос Гейбнера, что делать, Бакунин снова посоветовал прорваться. Гейнце также согласился с этим советом и пошел на разведку пункта, через который прорыв возможен. С этой разведки он уже не вернулся, так как попал в плен (в те времена поговаривали, что он сдался неприятелю преднамеренно). Тогда Гейбнер, Чирнер и Бакунин решили созвать командиров баррикад для обсуждения вопроса о дальнейших действиях. На этом собрании командир одной баррикады С. Борн предложил произвести общую атаку на врага и тут же единогласно был избран главнокомандующим, каковой выбор был утвержден Гейбнером и Чирнером. Все командиры баррикад утверждали, что бойцы требуют битвы и наступления. Борн выработал план генерального наступления, сводившийся к охвату противника с двух сторон, но план этот не был приведен в исполнение (в обсуждении его участвовал и Бакунин). Далее Бакунин участвовал в составлении и проведении плана отступления, о чем см. ниже.

Был ли Бакунин рядовым членом генерального штаба при Временном

правительстве или же занимал в нем руководящую роль? Последнее возможно уже хотя бы по той причине, что с большинством членов правительства он был знаком ближе, чем польские

офицеры, что последние были приглашены к работе через него, что решения штаба передавались правительству тоже через него, что и политически он был более видной фигурой и т. п. Среди актов в "Деле" Бакунина, хранящемся в саксонском государственном архиве, находятся следующий документ: "Гражданин Бакунин уполномочивается Временным правительством отдавать все признаваемые им нужными распоряжения по связанным с командою вопросам". Слева стоит печать Временного правительства, а справа подпись: "Временный уполномоченный Чирнер". Возможно конечно, что это удостоверение выдано Бакунину после отъезда польских офицеров, т. е. после 6 мая, а подписать его мог Чирнер, когда вернулся (в отличие от поляков, уже не вернувшихся). Но вряд ли Бакунин взял бы от Чирнера такое удостоверение после того, что он считал трусливым и необоснованным бегством его с поля сражения. Если же допустить, что документ имеет более раннее происхождение (а это весьма вероятно), то он подтверждал бы выдающееся место, которое Бакунин занимал в революционном штабе. И в этом отношении весьма характерно заявление, которое сделал на допросе Гейбнер и которое гласило, что Бакунин был "главою генерального штаба" (Chef des Generalstabs). См. Пфицнер, loc. cit., стр. 152—153, и Керстен, стр. 103.

Но это конечно не значит, чтобы легенда, приписывающая Бакунину главенствующую роль в дрезденском восстании, имела под собою солидную базу. Не следует думать, что происхождением своим эта легенда обязана только врагам Бакунина. Нет, и друзья его и поклонники повинны в ней не меньше, чем противники. Мы уже видели примеры этого. (Между прочим в дневнике Варнгагена фон Энзе, том VI, стр. 164 и 167, передаются слухи, что бои в Дрездене шли под главным руководством Бакунина). Вот еще один: тот же Кюрнбергер, протест которого против этой легенды мы сейчас приведем, страницею выше заявляет, что с момента своего присоединения к движению Бакунин "стал главой и душой этого правительства". Этого с русским и не могло быть. И гораздо более прав Кюрнбергер, когда объясняет легенду о засильи Бакунина в саксонской революции злобою испуганного мещанства и иностранным происхождением Бакунина. "Саксонская реакция,—пишет он (I. c. стр. 119),—развлекалась тем, что весь свой яд выливала на Бакунина. Было уже достаточно грустно, что такого рода люди, как статский советник Тодт или окружной начальник Гейбнер, всеми в стране почитаемые личности, стояли во главе революции. Их доброе имя, их большая популярность надевали намордник на пасть даже наиболее злостных клеветников. В этих условиях иностранец, чужак, русский был самой желанной мишенью для их сдерживаемой ярости. На него-то и обрушилась вся злоба бешенства реакционных доносителей. Это он совратил с пути истинного славных саксонцев, это он терроризовал благочестивых и лояльных чиновников, это он толкнул всех на нечестивое, пагубное, самое плохое. Один из моих товарищей по камере, которого однажды водили в город, рассказывал по возвращении, что город полон разговорами о новом отвратительном ужасе:

в одном небольшом домике на заднем дворе нашли гильотину, изготовленную по приказу Бакунина, и если бы спасители-пруссаки хоть на один день запоздали, то этот злодей поставил, бы ее на Старом Базаре и начал бы рубить головы всех благомыслящих граждан".

Легенда, раздувавшая роль Бакунина в майские дни, начала слагаться тогда же под влиянием паники, овладевшей терроризованным мещанством, которое боялось революции больше, чем озверелой прусской и саксонской солдатчины. Во время следствия целый ряд таких озлобленных обывателей доносил на Бакунина как на виновника поджогов, насильственных мер по отношению к лицам и т. п. В показаниях его перед следственной комиссией ему приходилось опровергать эти злостные измышления. Так 10 октября 1849 г. он по поводу показаний полицейского служителя К. Ф. Перля и портного Эренрейха отрицал, чтобы он был верховным руководителем всего дела и всем распоряжался в ратуше. Можно сомневаться в искренности Бакунина, когда он пытался опровергнуть извет некоего Наумана относительно

отданных им распоряжений реквизировать свинцовые часовые гири для литья пуль; возможно также, что он действительно произнес приписываемые ему неким Ф. А. Фелькером слова, что нужные баррикадным бойцам предметы они должны добывать "только силой". Признавая, что он требовал доставки пистонов и распоряжался их распределением, Бакунин вместе с тем отвергал донос городского гласного К. Л. Майзеля, будто он на указание, что хранение пороха в ратуше угрожает ей и соседним домам (а сохранение домов, принадлежавших им и им подобным, интересовало "либеральных" гласных больше, чем судьбы конституции и революции), ответил: "Что? Дома? Пусть взлетают на воздух!"

(Надо впрочем сказать, что произнесение этих слов приписывается Бакунину и с демократической стороны, друзьями. Так Эмма Гервег в письме к мужу из Парижа от 11 августа 1849 года сообщает, что венский журналист Гефнер, который был правою рукою Бакунина во время дрезденского восстания, весело рассказывал ей про посещение Бакунина бургомистром, просившим его пощадить дома, на что тот, спокойно попыхивая сигарою, отвечал: "Что, дома? Теперь они существуют только для того, чтобы быть подожженными" ("1848. Briefe an und von Georg Herwegh", стр. 288—289).

Бакунин объяснял, что ключ к складу пороха, находившегося в подвале ратуши, находился у него, и он распоряжался его раздачею. Узнав, что собираются переправить этот порох в другое место, он заподозрил в этом что-то неладное, тем более, что смотритель ратуши подозревался во вредительстве, и убедил Чирнера и Гейбнера оставить порох в ратуше — вот и все. Равным образом Бакунин отвергал показание какого-то Воогка, будто он отдал приказание поджечь замок смоляными факелами..

11 октября он показывал: "Я отрицаю, что давал распоряжения поджигать дома, а также и то, что знал о каких-либо прямых приказах в этом духе, а равно о лицах поджигателей и их средствах для выполнения задуманного. Мне вообще известно, что в городе сгорели лишь оперный театр и еще один дом". Тогда ему предъявили приказ Временного правительства начальникам баррикад, который разрешал им в случае нужды в применении огня в интересах обороны действовать по собственному усмотрению. Бакунин признал, что он участвовал в обсуждении этого приказа, что этот приказ был вызван ходатайством двух гласных Рихтера и Минквица спасти город от поджогов, коему Временное правительство сочувствовало, и что означенным приказом начальники баррикад побуждались к пощаде зданий, но в то же время не лишались прямым запретом крайнего средства обороны. От Временного правительства прямых приказов о поджогах не исходило; равным образом они никогда не исходили от него, Бакунина. Он слыхал, что кое-где преступлено было к таким поджогам, но не знает, кто их приказывал, какими средствами располагали их виновники и т. п.

19 октября Бакунину была дана очная ставка с гласным Майзелем. Последний, желая доказать, что Бакунин был главным действующим лицом в ратуше, заявил, что Бакунин неоднократно самовластно давал ответы на обращения городской думы, не спрашивая предварительного мнения присутствовавших тут же членов Временного правительства. (Это впрочем весьма похоже на Бакунина!) Далее он объявил, что Бакунин возлагал на думу ответственность за доставку пистэнов. Бакунин отрицал справедливость этого показания, которое Майзель подтвердил клятвой.

Что Бакунин допускал в случае необходимости и поджоги, это несомненно: для этого не требуется даже быть революционером, для этого достаточно быть просто военным, просто борцом, просто толковым человеком. Оборона с помощью огня применяется всеми военачальниками. Мысль о преграждении наступления монархических полчищ, действительно убивавших и сжигавших все на своем пути, принадлежала не одному Бакунину. О ней думал и Ракель, прибывший 6 мая в Дрезден из Драги и видевший слабость инсургентов.

На стр. 158 своих цитированных мемуаров Рекель рассказывает, что для преграждения наступления правительственных войск он придумал обложить слишком низкие баррикады повстанцев смоляными венками, которые, будучи вовремя подожжены, могли бы задержать продвижение усмирителей (эту мысль приписывали Бакунину, хотя не исключена возможность" что она возникла у них обоих

одновременно, тем более что они могли на эту тему говорить между собою и до восстания). Временное правительство согласилось было на эту меру, к осуществлению которой Рекель уже приступил, но под влиянием нескольких городских гласных, опасавшихся пожара и гибели каменных домов от смоляных венков, отменило свое распоряжение. А между тем королевское правительство, менее щепетильное в этом отношении, уже собиралось разрушить весь город бомбами (цит. соч., стр. 158—159).

Мещане стремились выставить Бакунина кровожадным человеком. В одной консервативной саксонской газете для деревни говорилось: “В последние дни ужасный Бакунин проявил признаки помешательства на насилии. Как запертый в клетке хищный зверь шагала эта долговязая фигура, облеченная в синий фрак, взад и вперед по думскому залу, и всякое противоречие своим приказаниям он отклонял с пеной на губах”. (W. Schinke— “Der politische Charakter des Dresdener Maiaufstandes 1849”, стр. 37). На самом деле при всей своей революционной страсти он был человеком весьма гуманным, и, где интерес революции допускал это, старался вызволить попавшего в беду обывателя, невинного в приписываемом ему преступлении. По этому поводу Рекель сообщает мелкий, но характерный для Бакунина факт.

Рассказав о том, что подозрительно настроенная толпа схватила какого-то коммунального гвардейца, выстрелившего со двора из ружья и уверявшего, что он стрелял по голубям, и требовала немедленной расправит с ним как с злодеем, стрелявшим в народ, Рекель прибавляет: “Здесь Бакунин показал всю свою столь охотно приписываемую ему правдолюбивыми врагами жестокость и кровожадность. Резким тоном приказал он все более запутывавшемуся обвиняемому замолчать, затем стал сзади него и начал подсказывать ему, что ему следует говорить, дабы утихомирить разгоревшиеся страсти, в то время как другие старались успокоить обвинителей. И таким образом этот полевой суд закончился немедленным освобождением испуганного человека” (цит. соч., стр. 154—155).

В общем Бакунин держался на допросах чрезвычайно мужественно и, отказываясь давать показания о третьих лицах, себя не старался выгораживать. Поэтому то, что он показывает о своей роли в дрезденском восстании, за исключением некоторых деталей может быть признано достоверным. В этом отношении представляет немалый интерес своего рода сводка его показаний по атому пункту, содержащаяся в заключительном допросе, учиненном ему в Кенигштейнской крепости незадолго до суда, а именно 20 октября 1849 года.

Выдержку из этого допроса, хранящегося в “Деле” против Бакунина в саксонском государственном архиве, том la, стр. 147 сл., приводит К. Керстен на стр. 103—104 своего немецкого перевода “Исповеди”. Мы заимствуем ее оттуда.

ВОПРОС

№ 3.

Политическая деятельность Бакунина была направлена главным образом против русского правительства.

ОТВЕТ:

Совершенно верно.

ВОПРОС

№ 4.

Поэтому Бакунин, так как он усмотрел в майской революции в Дрездене выступление против русского влияния, а вместе с тем, ввиду влияния русской политики на Пруссию, и выступление против русского влияния, и так как эта революция показалась ему отвечающею его стремлению сломить или по крайней мере ослабить русское влияние на Германию, а сверх того многие его знакомые приняли участие в восстании, примкнул и действовал в инсуррекции, имевшей место в Дрездене в мае сего года.

ОТВЕТ:

Также верно

ВОПРОС:

№ 5

Однако Бакунин отрицает, чтобы он подготовлял дрезденское восстание или знал о его подготовке.

ОТВЕТ:

Это я определенно отрицаю

ВОПРОС:

№ 10.

Бакунин ведал пороховым погребом и занимался раздачею пороха и доставкою боеприпасов.

ОТВЕТ:

Верно.

ВОПРОС:

№ 11.

Бакунин распоряжался посылкою подкреплений.

ОТВЕТ

Не всегда, а именно только в отсутствие Гейнце.

ВОПРОС

№ 12.

Бакунин посещал баррикады и инструктировал их командиров относительно способов получения припасов из ратуши.

ОТВЕТ

Один только раз.

ВОПРОС

№ 16.

Бакунин вместе с Борном составил не выполненный однако позже план собрать вое силы и атаковать войска с двух сторон.

ОТВЕТ

Я только разговаривал с Борном об атом плане, но сам его не составлял.

ВОПРОС

№ 17.

Бакунин обсуждал с Борном план отступления инсургентов.

ОТВЕТ

Это правда.

ВОПРОС

№ 20.

Бакунин причастен к решению Гейбнера перенести восстание в Хем-ниц и с этою целью поехал также вместе с Гейбнером в Хемниц, но там был задержан.

ОТВЕТ

Совершенно верно.

В связи с легендами, создавшимися тогда о Бакунине в обывательских и вдохновляемых ими полицейских кругах, небезынтересно привести несколько выдержек из относящейся к тому периоду полицейской книги, трактующей между прочим и о М. А. Бакунине.

“Бакунин Михаил вместе с Маццини и Руге составляет революционный триумвират нашего времени. Родился в Торжке в России, был императорским русским артиллерийским офицером, позднее литератором; социалист, товарищ Руге, Тодта, Кёхли; как личность, в высокой степени опасная политически, был изгнан из Франции, но тем не менее участвовал в парижской февральской революции, вступил в союз с Ледрю-Роленом, писал возмутительные воззвания к русским и австрийцам, сдружился в Берлине с Гекзамером, Рейхенбахом, Вальдеком, Дестером и Якоби, в Саксонии с Шреком, Реккелем и литератором Виттигом (теперь политический эмигрант во Франции), демократизировал и возбуждал к восстанию в союзе с польскими эмигрантами Гельтманом и Крыжановским всю Саксонию, руководил дрезденским восстанием и дрезденскими поджогами, был арестован вместе с Гейбнером, приговорен к смертной казни и помилован к пожизненному заключению и вслед затем выдан Австрии, а ею России”. Так сказано на стр. 69 книги “Anzeiger fьr die politische Polizei Deutschlands auf die Zeit vom Januar 1848 bis zur Gegenwart. Ein Handbuch fьr jeden deutschen Polizeibeamten. Herausgegeben von—г.”. (“Указатель для германской политической полиции за время с 1 января 1848 до настоящего времени. Руководство для всякого немецкого полицейского чиновника. Издал—р..). Эта книга вышла в 1854 году в Дрездене, и весьма вероятно, что автором ее был пресловутый полициант Штибер, известный по процессу Союза коммунистов 1852 года. На стр. 130 этой книги о Бакунине сказано, что “необычайно одаренный духовно и физически, он был тем более опасным противником монархии, что не отступал ни перед какими средствами для достижения своей цели — введения республики. Он руководил в особенности пражским и дрезденским

восстаниями и по подавлении последнего, бежав в Хемниц, был на дороге взят в плен и заключен в Кенигштейн, откуда выдан Австрии". На стр. 149 говорится, что "Бакунин и Либельт вождями революции были избраны на случай успеха панславистского заговора 1848 года (?) в эмиссары последнего для Богемии, Польши и Венгрии". Насколько нельзя доверять "фактам", сообщаемым в этой полицейской книге, видно например из того, что там сказано на стр. 130 о Головине и Тургеневе (по-видимому А. И.) : "Головин и Тургенев, русские эмигранты, за политические и государственные преступления приговорены к тяжким наказаниям, в апреле 1848 жили вместе с Бакуниным в Берлине (!?) и состоят в сильнейшем подозрении участия в прусско-польском восстании и венской революции". Как мы знаем, такой слух появился в тогдашних немецких и чешских газетах.

Все эти цитаты заимствованы из заметки М. Гершензона, напечатанной в "Голосе Минувшего" 1913, № 1, стр. 184—185.

После подавления дрезденского восстания вышел ряд памфлетов, в которых Бакунин изображался в виде злого гения этой революции. Перечень этой памфлетной литературы о дрезденском восстании приводится в цитированной книге В. Шинке, стр. 80.

Вот заглавия некоторых из них, приводимые в цитированной статье Б. Николаевского: 1) Майзель (городской гласный)—Die Ereignisse in Dresden von 2 bis 9 Mai 1849"; 2) dr. Edwin Bauer—"Die Demagogie in Sachsen"; 3) Karl Krause—"Die Aufruhr in Dresden"; 4) "Der Aufstand in Dresden von einem sdchsischen Offiziere und Augenzeugen". При этом Бакунин выставлялся не только в виде зачинщика и руководителя восстания, но и в виде агента-провокатора, русского шпиона, игравшего роль вредителя по отношению *к* германскому отечеству. На этот раз клевета шла не из демократического лагеря, а из среды благомыслящей и консервативной буржуазии. Варнгаген в своем дневнике (т. VI, стр. 174) с горечью констатирует, что старые берлинские друзья Бакунина вроде проф. Вердера и Людвига Тика отрекаются от него, а новые растеряны и сбиты с толку.

В ответ на мещанскую клевету против Бакунина старый друг Бакунина Л. Виттиг, успевший бежать в Швейцарию, напечатал в № 267 "Дрез-денской Газеты" от 14 ноября 1849 г. статью, которую Б. Николаевский, перепечатавший ее в своей статье "Бакунин эпохи его первой эмиграции"

-("Каторга и Ссылка" 1930, № 8—9, стр. 106—111), одно время неправильно приписывал Дестеру и автора которой так и не мог открыть. В этой статье Виттиг между прочим писал:

"Клеветническая пресса от Шпрее до ее точных отражений в Карлсруэ, как и все эти грязные брошюрки о майских событиях, которые до сих пор преимущественно были делом рук продажных борзописцев,...—все объединились в общей свистопляске против Бакунина. Это он был тайным вдохновителем революции, о которой кроме него знали лишь немногие посвященные, он захватил всю власть в свои руки, он терроризировал город и временное правительство, он был тем подстрекателем и поджигателем, который охотно не оставил бы от Дрездена камня на камне, в его лице олицетворялась красная республика и ужаснейший коммунизм, и вдобавок ко всему он — собственно русский шпион. Правда даже те, кто совершенно не был знаком с Бакуниным, не знают, как быть: должны ли они смеяться над глупостью этих листков или негодовать на их злобную подлость. Но что бы ни было состряпано против Бакунина из этих гнусных доносов, мы считаем своим долгом вступиться за него, подвергающегося столь тяжким обвинениям.

"Итак говорят, что Бакунин был застрельщиком майского восстания?.. Ведь никто не предполагал, что подготовляется революция, а Бакунин, который вообще мало интересовался немецкими делами и еще того меньше саксонскими, забавлялся, издеваясь над спокойствием распивающих пиво саксонцев, и в то же время находил, что занятая Саксонией мирная позиция оправдывается ее географическим положением. Этот славянин, так сильно опередивший свой народ, тешил себя мыслью,... что он очень близок своему народу,... и день и ночь работал над делом освобождения своего порабощенного

народа от оков рабства... Он в то время был занят тем, что писал пламенное воззвание против русской интервенции в Венгрии, и поистине не помышлял о революции в стране, которая ему совершенно чужда. Он конечно приветствовал революцию... И все же он еще 4 мая хотел покинуть Дрезден, так как совершенно не верил в успех восстания, и друзья с трудом уговорили его остаться. Кто же может удивляться тому, что на этого пламенного демократа произвели впечатление шум борьбы, всеобщее возбуждение, призывы восставших к оружию?.. Бакунин был в Дрездене, все-таки была надежда на то, что восстание может иметь успех, и ввиду этого он конечно счел себя обязанным как демократ принять участие в восстании.

“Нелепым однако является утверждение, что была установлена диктатура. Его терроризм только в том и заключался, что он настаивал на доведении до конца раз начатого дела, что в интересах победы революции он не обращал никакого внимания на жалобы и претензии отдельных лиц. Господин Майзель, член городской управы, особенно возмущен тем, что Бакунин сказал: “Что дома! Пусть взлетают на воздух!”, но Майзель не подумал, что перед штурмом нет времени на дискуссии, на обсуждение аргументов за и против... Что Бакунин не мечтал о лаврах Ростопчина и не хотел превратить Дрезден в кучу пепла, явствует из того, что это он в последний момент (5 и 6 мая) запретил взрыв дворца, и по этому поводу у него произошел даже серьезный конфликт с лицами, посланными для проведения этого плана. Если Бакунин действительно захватил всю власть, если он, этот “страшный красный”, без стеснения отдавал распоряжения этому “полному нулю Чирнеру”, где же тогда эти пирамиды голов казненных реакционеров, где же разграбленные по приказу Бакунина народом лавки, где расхищенные драгоценности?

“Но почему же Бакунин, если он не был душою революции, если он был только случайным участником ее, почему он не спасся заблаговременно, когда неизбежность поражения стала для него очевидною, а пути к бегству были открыты? О, именно эта выдержка больше всего говорит о его бескорыстии и мужестве. Он совершенно не обращал внимания на опасность, которой подвергался, он был захвачен величием поведения Гейбнера, с которым хотел разделить и горе и радость... Те, кто был ближе знаком с Бакуниным, способны ценить его чистую, преданную, готовую на всякое самопожертвование дружбу. И поистине человеку, обреченному долгие годы томиться вдали от друзей отрезанным от всего мира,.. может служить утешением сознание, что его честь и доброе имя остаются незапятнанными.

“Но его хотят лишить и этого (последнего утешения, его не только приговорят к смертной казни или пожизненному заключению, но еще хотят нелепо заклеймить позором, назвав русским шпионом. Я думаю, ни одно поражение, ни одна обманутая надежда, ничто не задело Бакунина так болезненно, таю тяжело, как это сомнение в чистоте его побуждений... Только постоянное и тесное общение его с Лелевелем и другими стоящими вне всяких подозрений польскими революционерами сняло с него это позорное клеймо, так что когда во время его пребывания в Бреславле (а не в Брюсселе, как сказано благодаря опечатке у Б. Николаевского. — *Ю. С.)* “Новая Рейнская Газета” вновь было подняла этот вопрос, Бакунин имел уже горячих защитников (Эта статья важна в том отношении, что Виттиг пишет на основании своих разговоров с самим Бакуниным. Поэтому такие его сообщения, как указание на роль близкого знакомства с Лелевелем в деле реабилитация Бакунина, заслуживают особого внимания.)...

“Время воздаст этому оклеветанному должное. Пожелаем, чтобы оно не заставило себя долго ждать”.

252 О работе в штабе Гельтман и Крыжановский в своем докладе рассказывают приблизительно то же, что Бакунин в “Исповеди” и в своих показаниях перед саксонскими следователями. Первым делом они попытались раздобыть точные сведения о наличных боевых силах, их расположении и средствах борьбы, но Временное правительство такими сведениями совершенно не располагало. Пришлось разослать патрули и одиночных разведчиков для того, чтобы собрать сведения о числе баррикад, их устройстве, количестве обороняющих их бойцов, местонахождении неприятеля и его позициях. Тут же они объяснили правительству, что борьба

на баррикадах не может быть длительной, и что нужно заблаговременно готовиться к отступлению в горы. Когда атака королевских войск усилилась и возникло опасение, что баррикадные бойцы не смогут долго против нее держаться, они предложили правительству обратиться к населению с прокламацией, вызывавшей охотников для встречной атаки неприятельских позиций; но на назначенное место никто не явился. Что касается проекта организации и обороны баррикад, выработанного штабом, то по словам доклада Бакунин и Голембиовский высказывались против дето, но Гельтман и Крыжановский настояли на своем и побудили правительство отдать распоряжение о его напечатании и выполнении.

Как видно из доклада, Гельтман и Голембиовский не питали надежд на успех и считали восстание заранее обреченным на поражение, а баррикадных бойцов неспособными выдержать длительный бой с обученными правительственными войсками. Возможно, что в этом отношении на них разлагающе подействовал разговор с польским военным специалистом Станиславом Пониньским, ж которому они как к наиболее компетентному из эмигрантов обратились сейчас же после получения ими приглашения Временного правительства. Пониньский, которого они просили взять на себя высшее начальство над революционными силами, категорически от этого отказался, объяснив, что считает дрезденское восстание случайною вспышкою, обреченною на неудачу и не могущею вызвать нигде поддержки; такой же отказ он передал Мартину, который обратился к нему непосредственно от имени Временного правительства. Такое неверие в восстание вероятно и было основною причиною их внезапного отъезда из Дрездена в разгар боя, что так глубоко возмутило Бакунина (см. ниже).

253 О Геийце см. выше, стр. 399—400.

Рекель в своих воспоминаниях несогласен с такою оценкою Гейнце, хотя этот военный специалист вряд ли вообще подходил к командованию демократическими повстанцами. Вот что пишет Рекель: “При полном отсутствии организации на стороне застигнутого совершенно врасплох народа твердое, единое руководство было просто невозможно. У главнокомандующего не было никаких средств к тому, чтобы оказывать решающее влияние на ход борьбы. Каждый действовал по собственному усмотрению, приходил и уходил, занимал или оставлял пост, когда ему было угодно. Ни в один момент подполковник Гейнце даже приблизительно не знал, каким количеством бойцов он якобы командовал, сколько их стояло в том или ином месте, подчинялись ли отдельные отряды каким-нибудь начальникам и каким именно... Собрать более значительную, необходимую для наступления силу было невозможно, и таким образом всякое продвижение вперед заранее исключалось. Приходилось ограничиваться обороною от случая к случаю, радуясь, если удавалось доставить подкрепление к тому или иному угрожаемому пункту. Не подлежит сомнению, что и при данных обстоятельствах человек большой энергии мог бы дать несравненно больше, но ничего не было более лишенного основания, чем брошенные с разных сторон против Гейнце обвинения в измене, в то время как он с величайшим самоотвержением взял на себя эту бесконечно трудную задачу, для выполнения которой никого другого не сумели найти, и сделал в этой области все, что только было в его силах” (цит.соч., стр. 149—150).

254 Об отношении Бакунина к Гейбнеру очевидец Вагнер говорит: “Бакунин заявил мне, что как бы ни были ограничены политические воззрения Гейбнера (он принадлежал к умеренно-левым в саксонском парламенте), это — благородный человек, которому он немедленно отдает себя в полное распоряжение. Он, Бакунин, пережил то, к чему стремился. Теперь он знает, что ему остается делать. Надо рискнуть головой и больше ни о чем не спрашивать. Гейбнер тоже повидимому понял необходимость энергических мер, и предложения Бакунина нисколько не пугали его. При коменданте, неспособность которого быстро выяснилась, был образован военный совет из опытных польских офицеров. Бакунин, сам ничего не понимавший в

вопросах стратегии, не покидал ратуши и Гейбнера, помогая советами и проявляя удивительное хладнокровие" ("Моя жизнь", т. II, стр. 183—184).

Ясно, что здесь речь идет не о "коменданте", как оказано в плохом русском переводе, а о главнокомандующем. Но военный совет, как мы знаем, был организован не при Гейнце, а при Временном правительстве.

255 Ясно, что это написано в угоду Николаю I.

256 Обход баррикад происходил в воскресенье 6 мая. В показании от 21 сентября 1849 г. Бакунин по этому доводу говорит: "Гейбнер сказал защитникам баррикад речь, в которой старался вдохнуть в них мужество для продолжения борьбы. Я же давал командирам баррикад наставления посылать не сразу, как имело место до тех пор, множество баррикадных бойцов в ратушу за боевыми припасами, а отдельных лиц с письменными полномочиями от баррикадных командиров, дабы таким образом не растрачивались припасы и не обнажались баррикады".

257 При этом обходе баррикад Гейбнер и Бакунин встретили депутата саксонского сейма Грунера. Он сообщил им, что Чирнер и оба поляка, получив плохие известия из Крестовой башни, быстро удалились и куда-то бесследно исчезли. В ратуше это известие подтвердилось. Все присутствующие, в том числе Иекель и Грунер, были того мнения, что Чирнер удалился из малодушия. Тодт ушел еще до них, причем причины его исчезновения были неизвестны. Бакунин с Гейбнером были очень озадачены этим исчезновением. "Однако Гейбнер вскоре заявил, что после речи, которую он держал защитникам баррикад, ему совершенно невозможно бежать, и что он должен выдержать до конца. Я поддержал Гейбнера в этом намерении и заявил ему, несмотря на его предложение дать мне денег для бегства, что я останусь и выдержу с ним до конечного исхода дела, хотя пожалуй мне приходилось более других опасаться в качестве иностранца и русского". Иекель не выказал охоты занять место Чирнера; Гейнце заявил, что если Временное правительство уйдет, то он сложит с себя полученные от него обязанности, но если оно останется, то он сохранит свой пост. Однако на Бакунина все это произвело такое впечатление, что Гейнце предпочел бы убраться подобру-поздорову. Тодт вскоре появился, но через короткое время снова исчез. Чирнер явился только в десятом часу вечера.

В докладе Гельтмана и Крыжановского этот инцидент излагается достаточно невразумительно. Прежде всего по их словам инициатива обхода баррикад членом Временного правительства принадлежала им. Если это так, то тем более странным представляется их дальнейшее поведение. С баррикад приходили неутешительные вести. Присоединение прусских полков к войскам короля саксонского ставило революционеров в невозможность защищаться. Из членов правительства присутствовал в ратуше один Чирнер; о Гейбнере и Бакунине не было "и слуху ни духу (но ведь они пошли обходить баррикады по предложению самих авторов доклада!)- Третий же член правительства Тодт, пораженный пожаром Оперы, вообще куда-то исчез. Постепенно в окружение Чирнера прокрадывалась деморализация. Сам Чирнер настолько растерялся, что начал собирать и жечь официальные документы. Деморализация дошла до того, что Голембиовский без объяснения причин собрался уходить, но был остановлен своими двумя товарищами, желавшими узнать, в чем дело. Через некоторое время Чирнер, кое-как уложив правительственные бумаги, заявил им, что дело безнадежно, сил нет, подкреплений тоже, спешившие на помощь бойцам отряди ушли, не войдя в город, и держаться больше немыслимо; боевые припасы также все исчерпаны. Тут же он поблагодарил поляков за оказанную восстанию помощь. На их вопрос, нельзя ли продолжать борьбу в другом месте, Чирнер указал на Альтенбург и там назначил им свидание. Все это происходило около часу пополудни.

“Оставив город, — эпически продолжают авторы доклада, — мы отправились в Кэтен”. Другими словами боевые руководители движения просто сбежали без всякого на то основания в разгар боя. Если бы речь шла не об известных закаленных бойцах, старых революционерах, преданных своему делу, то их поведение можно было бы объяснить только трусостью. В данном же случае не знаешь, чему его приписать, если не предположить действия непреодолимой паники, вызванной отсутствием известий, а главное веры в данное выступление. Оказалось, что беглецы решительно ошиблись: на помощь повстанцам пришли новые силы, и они удачно отбили все атаки врага, о чем Гельтман и Крыжоновский узнали на следующее утро. После того они однако двинулись не обратно в Дрезден, а в Лейпциг, но не нашли там подходящих революционных элементов. Далее они поехали в Цвикау, откуда собирались перебраться в Фрейберг, считавшийся центром революционных горняков. Но в Цвикау 10 мая они чуть не подверглись аресту и только случайно избежали его. К этому времени они узнали о поражении дрезденского выступления. Ясно было также, что и чешского восстания не будет. Тогда наши друзья из Цвикау уехали в Бадей и приняли участие в южногерманском восстании. Но в Дрезден они уже не вернулись.

258 Вагнер рассказывает, что встретив Бакунина 8 мая в ратуше, он узнал от него, что Временное правительство приняло его план, сводившийся к тому, чтобы оставить дрезденские позиции, мало пригодные для продолжительного сопротивления, и отступить в Рудные горы, куда со всех сторон стекались вооруженные отряды (т. II, стр. 187). Надо заметить, что рабочее население Рудных гор вообще играло серьезную роль в восстании и могло составить для его продолжения солидную базу. В этом предложении лишний раз сказалась политическая проницательность Бакунина и присущий ему правильный инстинкт революционера.

Вагнер рассказывает, что посреди всеобщей растерянности, царившей

в дрезденской ратуше 9 мая, “один только Бакунин сохранил ясную уверенность и полное спокойствие. Даже внешность его не изменилась ни на йоту, хотя он за все это время ни разу не сомкнул глаз. Он принял меня на одном из матрацов, разложенных в зале ратуши, с сигарой во рту”. От Бакунина Вагнер узнал, что Временное правительство оставило мысль об отступлении, опасаясь его деморализующего действия на повстанцев, тем более что последние горели желанием сражаться с наступавшими правительственными войсками. Так как пруссаки медленно, но верно приближались к ратуше, “Бакунин предложил снести в погреба ратуши наличные пороховые запасы и взорвать ее, когда приблизятся войска. Городская управа, продолжавшая заседать где-то в задней комнатке, самым решительным образом протестовала против этого. Бакунин настаивал на необходимости этой меры. Но его перехитрили, удалив из ратуши весь порох и кроме того заручившись сочувствием Гейбнера, которому Бакунин ни в чем не противился. Таким образом решено было, ввиду того, что дух восставших бодр, завтра с рассветом начать отступление в Рудные горы” (т. II. стр. 189—190).

Вагнер не совсем точен в датах. По его словам выходит, что уже 8-го решено было отступление, причем оно было принято якобы по предложению и плану Бакунина. В действительности, как увидим из следующего комментария, основанного на собственном рассказе Бакунина, дело обстояло несколько иначе.

259 Согласно показаниям Бакунина в саксонской комиссии новый главнокомандующий С. Бори сообщил Временному правительству в ночь со вторника на среду, т. е. с 8 на 9 мая, что дольше держаться революционным бойцам нельзя, так как прусские войска заняли прилегающие улицы и грозят отрезать пути. Бори с Бакуниным составили план отступления, одобренный Гейбнером и Чирнером, согласно которому надлежало пробиваться к Фрейбергу через Дипольдисвальдовскую площадь. Чирнер ушел первый и отдельно. План Временного

правительства состоял в том, чтобы засесть в Фрейберге, и Бакунин твердо обещал Гейбнеру не покидать его и помогать ему своим присутствием и советом. Он и последовал за Гейбнером в Фрейберг, а затем в Хемниц, будучи по его словам готов исполнить все, что бы Гейбнер ему ни поручил.

Руководство отступлением возложено было на Борна. Бакунин все время находился при Гейбнере, даже когда тот говорил речи бойцам, сам же Бакунин не говорил да и не мог говорить, так как совершенно охрип от своих распоряжений за последние дни. В Таранде путники натолкнулись на Чирнера, а по дороге из Таранды в Фрейберг к ним присоединился Р. Вагнер, который пустился в путь на собственный страх и риск. Вагнер уверил отступавших, что весь Фойхтланд и Хемниц стоят за революцию, хотя впечатление Бакунина было совершенно иным. Вагнер сопровождал путников до Фрейберга и только случайно не был арестован вместе с ними. Чирнер отделился от них и затем благополучно перебрался в Баден, где принял участие в тамошнем восстании.

По рассказу Р. Вагнера он встретил Бакунина на дороге во время отступления В коляске сидели Гейбнер, Бакунин и почтовый чиновник Мартин, оба последние с ружьями в руках. По словам Бакунина отступление совершилось в полном порядке. Бакунин рассказал Вагнеру, что рано утром он приказал свалить молодые деревья Максимилиановской аллеи, чтобы оградить отступавшие отряды от конной атаки с этой стороны, и с насмешкою передавал жалобы обитателей этого бульвара, оплакивавших "красивые деревья". В Фрейберге за завтраком между Бакуниным и Гейбнером, отрицательно относившимся к радикальным взглядам и стремлениям первого, произошло объяснение, несколько сумбурно изложенное у присутствовавшего при этом Вагнера. Под конец Гейбнер спросил Бакунина, стоит ли продолжать сопротивление и не лучше ли будет распустить отряды повстанцев ввиду безнадежности дальнейшей борьбы. "На это Бакунин с обычной твердостью и спокойствием ответил, что от борьбы может отказаться всякий, кто хочет, только не он, Гейбнер: как первый член Временного правительства, он призвал народ к оружию. За ним пошли, и сотни жизней принесены в жертву. Теперь распустить людей значит показать, что жизни принесены в жертву пустой иллюзии, и если бы остались только он и Гейбнер, они должны были бы стоять на своем посту. В случае поражения они обязаны отдать свою жизнь: честь их должна остаться незапятнанной, чтобы в будущем, при новом революционном призыве, народ не потерял надежду на возможность освобождения. Эти слова заставили Гейбнера решиться" ("Моя жизнь", т. II, .стр. 191—193).

260 По рассказу Бакунина в комиссии он вместе с Вагнером в Фрей-берге последовали за Гейбнером на его квартиру. Здесь они обсуждали вопрос, куда должно направиться Временное правительство (из состава которого налицо был только один Гейбнер) — в Фойхтланд или в Хем-ниц. Сообщения Вагнера, как потом оказалось, вполне фантастические, заставили их склониться в пользу Хемница. Говорилось о попытке укрепиться в Фрейберге, но на этом не остановились. Гейбнер сочинил какую-то прокламацию, содержания которой Бакунин не запомнил. Затем Бакунин заснул и от усталости проспал долго. Проснувшись, он вместе с Гейбнером стал принимать меры к дальнейшей перевозке людей и припасов. Ночью Бакунин вместе с Гейбнером и присоединившимся к ним раненым Мерком двинулись в Хемниц, причем всю дорогу в Хемниц он проспал.

261 На допросе в комиссии Бакунин показывал: "По недружелюбной встрече у ворот Хемница и по вооруженной охране, которая сопровождала наш эжипаж до гостиницы, я уже догадывался, что против нас настроены враждебно, однако не высказывался Гейбнеру по этому поводу. Я в Хемнице ничего не делал и не говорил, и только после обращения бургомистра, требовавшего нашего удаления, и отказа в этом со стороны Гейбнера я сказал: "идем спать". Воспротивиться

вскоре затем последовавшему нашему аресту и его избегнуть было совершенно невозможно при тогдашних обстоятельствах" ("Красный Архив", 1. с., стр. 179—180; "Материалы для биографин", т. II, стр. 60). Борну и Вагнеру, не пошедшим спать в гостиницу, удалось бежать. Бакунину кроме того повредила в данном случае только его бросающаяся в глаза внешность, до и то, что он держался вместе с Гейбнером, за которым жандармы и предатели-мещане особенно гнались как за членом Временного правительства.

Об обстоятельствах ареста Вагнер рассказывает так: "Гейбнер, Бакунин и вышеупомянутый Мартин прибыли к воротам Хемница в частном экипаже. Их спросили, кто они. Гейбнер с полным авторитетом назвал себя и затем велел пригласить городские власти в указанную им гостиницу. Прибыв туда, все трое свалились от усталости и заснули. Внезапно в их комнату ворвались жандармы и именем королевского правительства арестовали их. Они попросили, чтобы им дали возможность несколько часов спокойно поспать, указав на то, что в том состоянии, в каком они находятся, о бегстве не может быть и речи. Утром под сильным военным эскортом они был отвезены в Альтенбург" ("Моя жизнь", т. II, стр. 195).

262 Блюм, Роберт (1807—1848)—немецкий журналист и политический деятель демократического направления; будучи сам плебейского происхождения и принадлежа к городской бедноте, после неудачных поэтических опытов сделался в 30-х годах одним из вождей германского и в частности саксонского демократического движения. В 40-х годах издал ряд сборников и брошюр радикального направления, в которых помещались произведения виднейших представителей левого лагеря. В 1848 г. становится вождем саксонской демократии, избирается в Предварительный парламент, затем во Франкфуртский парламент, где выступает как один из самых влиятельных лидеров левой. В качестве такового поехал в Вену во главе радикальной депутации, принимал в октябрьские дни участие в обороне Вены от полчищ Виндишгреца и Елачича, по взятии города был арестован и, несмотря на свое парламентское звание, расстрелян по приговору военного суда, что вызвало сильнейшее негодование в рядах германских демократов.

263 Явный ответ на вопросы, вернее на приказ не пропускать ничего

существенного.

264 Бакунин рассчитывал своею "откровенною" исповедью умилостивить, а главное одурачить Николая I и добиться ссылки в Сибирь, откуда думал бежать за границу для продолжения революционной деятельности (см. его письма под №№ 564—566). Но это ему не удалось. Николай I без всякого к тому законного основания засадил его сначала в Петропавловскую, а затем в Шлиссельбургскую крепость, где видимо намеревался держать его до конца. И только при следующем царе, при Александре II, Бакунин купил себе свободу новым унизительным притворством.

265 Бакунин имеет в виду коменданта Петропавловской крепости На- бокова, Ивана Александровича, (1787—1852). Начал он свою службу в Семеновском полку поручиком, участвовал в сражениях при Фридлянде, Бородине и пр., дошел с русскими войсками до Парижа. В войне против поляков 1831 г. командовал 3-ей гренадерской дивизией и участвовал в штурме Варшавы. В 1832 г. получил в командование гренадерский корпус, в 1835 произведен в генералы от инфантерии, в 1844 в генерал-адъютанты. В 1849 г. назначен комендантом Петропавловской крепости. Он приходился Бакунину дальним родственником. Преемником

его был назначен генерал Мандерштерн, который по-видимому тоже относился к Бакунину недурно.

266 “Исповедь” при всех своих недостатках с точки зрения интересов сыска все-таки показалась жандармам началом раскаяния, и если не доставила автору желанной свободы, то во всяком случае привела к улучшению его положения. В частности Николай разрешил Бакунину просимое свидание с родными в присутствии коменданта крепости.

267 В начале “Исповеди” (не оригинала, которого Николай I не читал, а писарской копии) царь сделал следующую пометку; “Стоит тебе прочесть, весьма любопытно и поучительно”. Эта надпись предназначалась для наследника, позже императора Александра II. В справке, составленной впоследствии Третьим Отделением в связи с подачею матерью Бакунина мин. ин. дел Горчакову прошения о прощении ее сына, сообщается о впечатлении, произведенном на Николая “Исповедью”: “Его величество, найдя письмо Бакунина заслуживающим внимания и поучительным, изволил передавать оное для прочтения царствующему ныне государю императору и всемилостивейше разрешил Бакунину видеться с его родными” (полицейское “Дело” о Бакунине, часть II). “Исповедь” была также послана для ознакомления наместнику Царства Польского Паскевичу (явно с сыскными целями) и повидимому давалась для прочтения особо доверенным лицам из состава камарильи. Мы уже упоминали, что по приказу царя “Исповедь” была гр. Орловым дана на прочтение председателю Государственного Совета Чернышеву. В “Деле” о Бакунине (ч. II, стр. 110) имеется письмо Чернышева от 26 декабря 1851 и выражающее его впечатление от “Исповеди”. Оно написано по французски и гласит:

“Дорогой граф, я крайне смущен тем, что так долго задерживал объемистую Исповедь, которую Вы мне передали по повелению его величества. Чтение ее произвело на меня чрезвычайно тягостное впечатление. Раз заговорило самолюбие, то уж ни ум, ни способности не в состоянии удержать от самых беспорядочных, а значит и преступных увлечений воображения. Я нашел полное сходство между Исповедью и показаниями Пестеля печальной памяти, данными в 1825 году; то же самодовольное перечисление всех воззрений, враждебных всякому общественному порядку, то же тщеславное описание самых преступных и вместе с тем самых нелепых планов и проектов; но ни тени серьезного возврата к принципам верноподданного — скажу более, христианина и истинно русского человека. Мне кажется, что при таком положении вещей было бы весьма опасно предоставлять неограниченную свободу человеку, который к несчастью не лишен ни смелости, ни ловкости. Какая жалость, что он дает им подобное применение!”.

Несмотря на глубокую тайну, которою в те времена окутаны были всякие дела о политические преступлениях, слухи об аресте Бакунина и даже об его “Исповеди” как-то просочились в публику и в частности дошли до его родных. Официально последние узнали об этом в октябре 1851г., когда гр. Орлов уведомил старика Бакунина, что сын его находится в Петропавловской крепости, и что ему разрешено свидание с отцом и сестрою Татьяною. По-видимому в придворных сферах много говорили о “раскаянии” грозного революционера, а из этих кругов слухи проникали в дворянскую публику, интересовавшуюся Бакуниным. Так друг Алексея Бакунина Н. А. Елагин осенью 1851 года сообщал ему следующую выписку из письма к какой-то “Катерине Ивановне” от ее придворной кузины: “Твой прежний знакомый, брат Дьяковой, живет здесь на самом берегу Невы и пишет теперь свои записки, разумеется не для печати, но для государя. Он весьма умно поправляет свои дела, увертлив как змейка; из самых трудных обстоятельств выпутывается где насмешками над немцами, где чистосердечным раскаянием, где восторженными похвалами. Нечего сказать, умен”. С своей стороны Алексей Бакунин 23 ноября 1851 г. сообщал брату Павлу, что Михаил “писал подробно к государю о своей жизни, не компрометируя однако же никого из своих заграничных участников”. Таким образом ясно, что

не только факт написания “Исповеди”, но и довольно точное ее содержание стали тогда же известны в некоторых близких к правительству кругах.

М. А. Бакунин

ФИЛОСОФСКИЕ РАССУЖДЕНИЯ О БОЖЕСТВЕННОМ ПРИЗРАКЕ, О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ МИРЕ И О ЧЕЛОВЕКЕ

1. СИСТЕМА МИРА

Здесь не место заниматься философскими спекуляциями о природе сущего. Но так как, однако, я вынужден часто употреблять слово Природа, я полагаю необходимым объяснить здесь, что я понимаю под этим словом. Я мог бы сказать, что Природа — это сумма всех действительно существующих вещей. Но это дало бы мне совершенно мертвое понятие об этой Природе, которая, напротив, представляется вся движением и вся в жизни. Впрочем, неясно, что такое сумма вещей. Вещи, ныне существующие, завтра существовать не будут, но завтра они не будут существовать не потому, что исчезнут, но потому, что окажутся полностью превращенными. Стало быть, я намного приблизился бы к истине, говоря, что природа — это сумма действительных превращений, которые беспрерывно происходят и будут происходить в ее лоне; и для того, чтобы составить себе несколько более определенное представление о том, чем может быть эта сумма или эта тотальность, которую я называю природой, я сформулирую следующую теорему, которую, как мне кажется, можно принять за аксиому: "Все, что есть, — существа, составляющие бесконечное целое мироздания, все вещи, существующие в мире, независимо от того, какова, впрочем, их общая природа как в отношении количества, так и в отношении качества, вещи, самые различные и самые сходные, большие и малые, близкие или очень отдаленные, — необходимо и бессознательно оказывает друг на друга непосредственно и прямо либо путем косвенных передач непрерывное действие и испытывает непрерывное противодействие; все это бесконечное количество особых действий и противодействий, совокупляясь в общее и единое движение, порождает и составляет то, что мы называем жизнью, мировой взаимосвязью и причинностью, природою. Для меня неважно, назовете вы это Богом, Абсолютом, если это вам нравится, лишь бы вы не придавали этому слову Бог иного смысла, нежели тот, который я только что уточнил: речь идет о мировой, естественной, необходимой и действительной, но ни в коем случае не о предопределенной, заранее обдуманной, предусмотренной комбинации, о бесконечности особых действий и противодействий, которые непрерывно оказывают друг на друга все действительно существующие вещи. Таким образом определенная мировая взаимосвязь, Природа, рассматриваемая в смысле безграничного Мироздания, навязывается нашему уму как рациональная необходимость; но мы никогда не сможем охватить ее действительным образом, даже в своем воображении, и в еще меньшей степени можем ее распознать, ибо мы можем распознать только бесконечно малую часть Мироздания, которая проявляется при посредстве наших чувств. Что же касается всего остального, то мы его предполагаем, не имея даже возможности констатировать его действительное существование".

Разумеется, объясненная таким образом мировая взаимосвязь не может иметь характера абсолютной и первой причины; напротив, она — лишь равнодействующая*, постоянно порождаемая и заново воспроизводимая одновременным действием бесконечного числа частных причин, совокупность которых как раз составляет мировую причинность, сложное единство, постоянно воспроизводимое неопределенной совокупностью бесконечных превращений всех существующих вещей и в одно и то же время порождающее все эти вещи; при этом каждая точка воздействует на целое (в этом состоит производный характер

мироздания) и целое воздействует на каждую точку (в этом мироздание проявляет себя как производитель и творец).
* Так же как всякий человеческий индивид в любой данный момент своей жизни есть лишь равнодействующая всех причин, оказавших действие на его рождение и даже прежде его рождения, равнодействующая, которая совокупляется со всеми условиями его последующего развития, а также со всеми обстоятельствами, которые воздействуют на него в данный момент.
Дав такие объяснения, я могу теперь, не боясь никаких недоразумений, сказать, что Мировая причинность, Природа, творит отдельные миры. Именно она предопределила механическую, физическую, химическую, геологическую и географическую конфигурацию нашей Земли, и именно она, покрывши поверхность Земли всем великолепием растительной и животной жизни, продолжает творить и далее, теперь уже в человеческом мире, общество со всеми его прошлыми, настоящими и будущими проявлениями.
Когда человек начинает с настойчивым вниманием наблюдать и следить за той частью природы, которая его окружает и которую он обнаруживает в самом себе, он замечает, что все вещи подчинены законам, которые им присущи и которые в сущности и составляют их особую природу. Он замечает, что у каждой вещи есть определенный способ превращения и особого действия и что в этом превращении и в этом действии есть последовательность явлений и фактов, которые постоянно повторяются в одних и тех же данных обстоятельствах и которые под влиянием определенных новых обстоятельств изменяются также упорядоченным и определенным образом. Это постоянное воспроизведение тех же самых фактов теми же самыми способами и составляет в сущности законодательство природы: порядок в бесконечном многоразличии явлений и фактов.
Сумма всех известных и неизвестных законов, которые действуют в мироздании, составляет ее единый и высший закон. Эти законы разделяются и подразделяются на законы общие и на законы особые и специальные. Законы математические, механические, физические и химические, например, составляют общие законы, которые проявляются во всем, что есть во всех вещах, имеющих действительное существование; это законы, которые, говоря одним словом, присущи материи, то есть действительно и единственно мировому Сущему, истинному субстрату всех существующих вещей. Я спешу добавить, что материя никогда и нигде не существует как субстрат, что никто не мог ее воспринимать в этой единой и отвлеченной форме, что она существует и может всегда и везде существовать только во много более конкретной форме, как материя более или менее разнообразная и определенная.
Законы равновесия, сочетания и взаимного действия сил или механического движения, законы тяготения, теплоты, электричества, вибрации тел, света, электричества, а также законы химического синтеза и анализа непременно присущи всем существующим вещам, не исключая ни в коем случае различных проявлений чувства воли и ума. Эти три вещи, которые составляют в сущности идеальный мир человека, суть лишь абсолютно материальное действие организованной и живой материи в теле животного вообще и в теле человеческого животного в частности*. Следовательно, все эти законы суть общие законы, которым подчинены все известные и неизвестные порядки действительного существования в мире.
* Я, естественно, говорю об уме, о воле и о чувствах, которые мы познаем, о тех только, которые мы можем познать: об уме, воле и чувствах животного и человека, который — из всех животных на земле — является — с общей точки зрения, а не под углом зрения каждой отдельной способности — несомненно наиболее

совершенным. Что касается сверхчеловеческого и сверхмирового ума, сверхчеловеческой и сверхмировой воли, сверхчеловеческих и сверхмировых чувств Верховного Существа, о которых нам говорят теологи и метафизики, то я должен здесь признаться в своем неведении, так как я их никогда не встречал, и никто, насколько я знаю, не вступал с ними в прямые отношения. Но если мы будем судить о них по тому, что о них рассказывают эти господа, этот ум настолько бессвязен и туп, а эта воля и эти чувства настолько извращены, что о них стоит беспокоиться лишь для того, чтобы установить все зло, которое они, как предполагается, совершили на земле. Для того чтобы доказать непременное и прямое действие механических, физических и химических законов на идеальные способности человека, я ограничусь тем, что задам следующий вопрос: что станет с наиболее возвышенными комбинациями разума, если в момент, когда человек постигает их, разложится один лишь воздух, которым он дышит, или остановится движение Земли или если человек неожиданно окажется при температуре шестьдесят градусов выше или ниже нуля? Но есть особые законы, которые свойственны только некоторым особым порядкам явлений, фактов и вещей и которые образуют между собой отдельные системы или группы: таковы, например, система геологических законов, система законов растительного мира, система законов животного мира, наконец, законы, которые направляют идейное и социальное развитие самого совершенного животного на земле — человека. Нельзя сказать, что законы, относящиеся к одной из этих систем, непременно чужды законам, которые образуют другие системы. В природе все связано гораздо более тесно, чем об этом думают вообще и чем это хотели бы, может быть, видеть педанты науки в интересах большей точности в их классификационной работе. Но можно, однако, сказать, что какая-то система законов гораздо больше относится к такому-то порядку вещей и фактов, нежели к другому, и что, если (при соблюдении последовательности, в которой я представил законы) законы, которые доминируют в предыдущей системе, продолжают проявлять свое действие в явлениях и вещах, относящихся ко всем последующим системам, не существует обратного действия законов последующих систем на вещи и факты систем предшествующих. Следовательно, закон прогресса, который составляет существенную черту социального развития человеческого вида, совсем не проявляется в исключительно животной жизни и еще менее — в жизни исключительно растительной, тогда как все законы растительного мира и животного мира встречаются несомненно в измененном новыми обстоятельствами виде в человеческом мире.

Наконец, следует сказать, что в пределах этих больших категорий вещей, явлений и фактов, а также в пределах законов, которые им, в частности, присущи, есть классы и подклассы, демонстрирующие нам те же самые законы, которые все более партикуляризуются и специализируются, сопровождая, если можно так сказать, все более и более определенную специализацию, которая становится все более и более узкой, по мере того как она все более определяется самими существами.

Для того чтобы установить все эти общие, особенные и специальные законы, у человека нет другого средства, кроме внимательного и точного наблюдения явлений и фактов, которые происходят как вне его, так и в нем самом. Он отличает здесь то, что является случайным и изменяющимся, от того, что всегда и везде воспроизводится неизменно. Неизменный способ, посредством которого постоянно воспроизводится будь то внешнее или внутреннее естественное явление, неизменная последовательность фактов, которая его образует, составляют как раз то, что мы называем законом данного явления. Это постоянство и эта повторяемость не являются, однако, безусловными. Они всегда образуют широкое

поле для того, что мы неправильно называем аномалиями и исключениями. Этот способ выражения весьма неточен, так как факты, к которым такой способ выражения относится, доказывают лишь то, что признаваемые нами в качестве естественных законов общие правила, будучи всего лишь отвлечениями нашего ума от действительного развития вещей, не в состоянии охватить, исчерпать, объяснить все бесконечное богатство этого развития.

Образует ли это множество столь различных законов, которые наша наука подразделяет на разные категории, одну органическую и мировую систему — систему, в которой эти законы связаны друг с другом так же хорошо, как и существа, превращения и развитие которых они обнаруживают? Очень вероятно. Но то, что более чем вероятно, что является достоверным, так это факт, что мы никогда не сможем подойти не только к тому, чтобы понять, но даже только схватить эту уникальную и действительную систему природы, систему бесконечно обширную, с одной стороны, бесконечно специализированную — с другой. Изучая таким образом эту систему, мы остановимся на двух бесконечностях: на бесконечно большом и на бесконечно малом.

Их частности неисчерпаемы. Человеку всегда будет дано познать об этом лишь бесконечно малую часть. Наше звездное небо, со множеством солнц, представляет собой только неуловимую точку в безмерном пространстве, и, хотя мы охватываем его взглядом, мы не знаем о нем почти ничего. Следовательно, мы вынуждены удовлетвориться тем, что познаем лишь немного нашу солнечную систему, относительно которой мы должны полагать, что она находится в полной гармонии со всем остальным Мирозданием, так как, если бы такой гармонии не существовало, то она должна была бы установиться, или наша солнечная система должна была бы погибнуть. Мы уже познаем достаточно хорошо эту солнечную систему в механическом отношении, мы начинаем уже ее немного познавать в отношении физическом, химическом и даже геологическом. Нашему знанию далеко за эти пределы пойти трудно. Если мы хотим более конкретного знания, мы должны остановиться на нашем земном шаре. Мы знаем, что он родился во времени, и мы полагаем, что он — неизвестно через какое бесконечное число веков или миллионов веков — будет обречен на гибель, как рождается, или погибает, или же превращается все, что есть.

Как наш земной шар, представляя собой первоначально пылающую и газообразную материю, уплотнился и охладел; через какое огромное множество геологических эволюции он должен был пройти, прежде чем появилась возможность возникновения на его поверхности всего бесконечного богатства органической, растительной и животной жизни, начиная с простой клетки и кончая человеком; как земной шар проявился и продолжает проявляться в нашем историческом и социальном мире; какова цель, к которой мы идем, побуждаемые тем" высшим и фатальным законом бесконечного превращения, который в человеческом обществе называется прогрессом, — вот единственные вопросы, которые нам доступны, вопросы, которые могут и должны быть действительно охвачены, изучены и решены человеком. Будучи лишь неуловимым моментом в безграничном и неопределенном вопросе о Мироздании, эти человеческие и земные вопросы открывают тем не менее нашему уму действительно-бесконечный мир, не в божественном, то есть отвлеченном, смысле этого слова, не как Верховное Существо, созданное религиозным отвлечением, напротив, мир бесконечный в богатстве своих частностей, никакое наблюдение которых, никакое знание которых никогда не смогут исчерпать.

Для того чтобы познать этот мир, наш бесконечный мир, одного отвлечения недостаточно. Полагающееся на само себя, такое отвлечение приведет нас

неминуемо к Верховному Существу, к Богу, к Ничто, как оно уже это совершило в истории и что я вскоре объясню. Продолжая применять способность отвлечения, без которой мы не смогли бы никогда ни подняться от низшего порядка вещей к высшему порядку вещей, ни, следовательно, понять естественную иерархию существ, нужно, чтобы: наш ум в одно и то же время погрузился с уважением и любовью в тщательное изучение частностей и бесконечно малого, без чего мы никогда не сможем постичь живую действительность существ. Следовательно, только соединяя эти две способности, эти два столь различных по видимости действия ума: отвлечение и скрупулезный, внимательный и терпеливый анализ: частностей, мы сможем возвыситься до действительной концепции нашего мира. Очевидно, что если наше чувство и наше воображение могут дать нам лишь образ, более или менее ложное представление о мире, только знание сможет дать нам о нем представление ясное и точное.

Что же представляет собой настоятельная любознательность, которая побуждает человека распознавать окружающий его мир, домогаться с неукротимой страстью тайн этой природы, одной из которых является сам человек — последнее и наиболее совершенное творение на этой земле? Является ли эта любознательность простой роскошью, приятным времяпрепровождением, или это одна из основных потребностей, присущих его бытию? Без колебания скажу, что из всех потребностей, которые составляют природу человека, это — самая человеческая потребность, что человек различается действительно от животных всех других видов лишь неутомимой жаждой знания, что он становится действительно и полностью человеком только посредством пробуждения и поступательного удовлетворения-этой огромной жажды знания. Для того чтобы осуществить себя в полноте своего бытия, человек должен познать самого себя, но он познает себя полностью и действительно лишь постольку, поскольку он познает окружающую его природу, продуктом которой он является. Следовательно, если человек не хочет отказаться от своей человечности, он должен знать, он должен пронизать своей мыслью весь действительный мир, и, не надеясь когда-либо постичь сущность, он должен все более и более глубоко постигать координацию в этом действительном мире и его законы, так как такова цена его человечности. Ему необходимо распознать все сферы, стоящие ниже его, предшествующие ему и сопутствующие ему, всю механическую, физическую, геологическую, растительную и животную эволюцию, то есть все причины и все условия его собственного рождения, его существования и развития; это необходимо для того, чтобы он смог понять свою собственную природу и свое назначение на земле, свою родину и свое единственное место деятельности; для того, чтобы в этом мире слепой фатальности он смог открыть свой человеческий мир, мир свободы.

Такова задача человека: она неисчерпаема, она бесконечна, и вполне достаточна для того, чтобы удовлетворить чаяния самых горячих и самых честолюбивых умов и сердец. Будучи существом эфемерным и незаметным, затерявшимся в безбрежном океане мировых превращений, перед неведомой вечностью за собой и безграничной вечностью перед собой, человек мыслящий, человек активный, человек, сознающий свое человеческое предназначение, остается спокойным и гордым в ощущении своей свободы, которую он завоевывает, освобождая самого себя посредством труда, посредством знания и освобождая (бунтуя в случае надобности) всех окружающих людей, себе подобных, своих братьев. Если после всего этого вы спросите человека, какова его самая сокровенная мысль, каково его последнее слово о действительном единстве Мироздания, он скажет вам, что это — вечное превращение, бесконечное в частностях и многоразличное движение и по этой даже причине самоупорядоченное, но не имеющее тем не менее ни начала, ни

границ, ни конца. Следовательно, это — абсолютная противоположность Провидения: отрицание Бога.
Ясно, что в так понимаемом Мироздании не может быть речи ни о предшествующих ему идеях, ни о предвзятых и предустановленных законах. Идеи, включая идею Бога, существуют на земле лишь постольку, поскольку они порождены мозгом. Отсюда видно, что идеи возникают намного позже, нежели естественные факты, намного позже, нежели законы, которые управляют этими фактами. Они верны, когда соответствуют этим законам, они ложны, когда они им противны. Что касается законов природы, то они проявляются в идеальной или отвлеченной форме закона лишь для человеческого разума, когда, воспроизведенные нашим мозгом на основе более или менее точных наблюдений за вещами, явлениями и последовательностью фактов, они принимают форму квазиспонтанных человеческих идей. До рождения человеческого мышления никто не познавал законы как законы, и они существовали лишь в состоянии действительных способов природы, способов, которые, как я только что сказал выше, всегда детерминированы неопределенным стечением регулярно повторяющихся особых условий, влияний и причин. Следовательно, слово природа исключает всякую мистическую или метафизическую идею субстанции, конечной причины или провиденционально согласованного и направленного творения.
Но могут сказать, что, раз в природе существует порядок, там непременно должен быть распорядитель. Отнюдь нет. Распорядитель, будь им Бог, мог бы своим личным произволом лишь только задержать, стеснить естественный распорядок и логическое развитие вещей; и мы хорошо знаем, что основное свойство богов всех религий — это быть именно верховными существами, то есть противными любой естественной логике и признавать только одну логику: логику абсурда и беззакония. Ведь что такое логика, как не естественное развитие вещей, или естественный способ, посредством которого множество детерминирующих причин, присущих этим вещам, порождают новые факты?* Следовательно, я позволю себе сформулировать очень простую и в то же время решающую аксиому:
* Сказать, что Бог не противен логике, — значит утверждать, что во" всем объеме его существования он — полностью логичен; что в нем нет ничего, что было бы выше или, что одно и то же вне логики; что сам он, следовательно, есть не что иное, как логика, не что иное, как поток и естественное развитие действительных вещей; это значит сказать, что Бог не существует. Следовательно, существование Бога не может иметь иного значения, нежели значение отрицания естественных законов; отсюда следует неизбежная дилемма: Бог есть, следовательно, нет естественных законов, в природе нет порядка, мир представляет хаос; или же: мир упорядочен сам по себе, следовательно. Бог не существует.
Все, что естественно, — логично, а все, что логично, оказывается уже или осуществленным, или должно быть осуществлено в естественном мире, включая мир социальный*. Но если за коны мира естественного и мира социального** никем не созданы и никем не упорядочены, то почему и как они существуют? Что придает им неизменный характер? Вот вопрос, который я не в силах решить и на который, насколько я знаю, никто не нашел и, несомненно, никогда не найдет ответа. Я ошибаюсь: теологи и метафизики пытались ответить на него, выдвинув гипотезу верховной первопричины, Божества, творящего миры, или по крайней мере, как говорят метафизики-пантеисты, гипотезу о божественной душе или о безусловной мысли, воплощенной в мироздании и проявляющейся посредством движения и жизни всех существ, которые рождаются и умирают в ее лоне. Ни одна из этих гипотез не выдерживает ни малейшей критики. Мне было легко доказать, что гипотеза Бога, творца естественных и общественных законов, содержит в самой

себе полное отрицание этих законов и делает самое их существование, то есть их осуществление и их действенность, невозможным; что Бог, как распорядитель в мире, должен был непременно вызвать анархию, хаос; что, следовательно, одно из двух: или Бог, или законы природы — не существуют; но так как мы несомненно знаем из каждодневного опыта и из науки, которая есть не что иное, как систематизированный опыт веков, что эти законы существуют, мы должны отсюда сделать вывод, что Бог не существует.

* Отсюда отнюдь не следует, что все, что логично или естественно, является, с человеческой точки зрения, непременно полезным, хорошим или справедливым. Великие естественные катастрофы: землетрясения, извержения вулканов, наводнения, бури, заразные болезни, которые опустошают и разрушают целые города и села, представляют собой несомненно естественные факты, логически порожденные стечением естественных причин; но никто не скажет, что они благотворны для человечества. Так же обстоит дело с фактами, совершающимися в истории: самые отвратительные так называемые божественные и человеческие институты; все прошлые и настоящие преступления вождей, этих так называемых благодетелей и опекунов нашего бедного человеческого рода, безнадежная тупость народов, подчиняющихся их игу; нынешние подвиги Наполеонов III, Бисмарков, Александров III и многих других суверенов или политических и военных деятелей Европы; невероятная подлость буржуазии всех стран, которая их одобряет и поддерживает, ненавидя их до глубины души; все это представляет ряд естественных фактов, порожденных естественными причинами, и, следовательно, фактов очень логичных, что не мешает им быть исключительно пагубными для человечества.

** Я следую принятому употреблению, отделяя некоторым образом мир социальный от мира естественного. Но очевидно, что человеческое общество, рассматриваемое во всем объеме и во всей длительности его исторического развития, также является естественным и также полностью подчиненным всем законам природы, законам животного и растительного мира, например, последним и высшим выражением которого на земле оно является.

Углубляя смысл слов естественные законы, мы найдем, следовательно, что они безусловно исключают идею и даже возможность творца, распорядителя и законодателя, так как идея законодателя в свою очередь так же безусловно исключает идею присущности законов вещам; раз закон не присущ вещам, которыми он управляет, он непременно есть по отношению к этим вещам законом произвольным, то есть основывающимся не на собственной природе, но на мышлении или воле законодателя.

Следовательно, все законы, которые проистекают от законодателя, будь то человеческого, божественного, индивидуального или коллективного, даже если он избран всеобщим голосованием, суть законы деспотические, непременно чуждые и враждебные людям и вещам, которыми они должны управлять: это — не законы, а декреты, которым повинуются не по внутренней потребности и естественному стремлению, но потому, что принуждены к тому внешней силой — либо божественной, либо человеческой; это — произвольные решения, которым социальное, скорее бессознательное, нежели сознательное, лицемерие произвольно присваивает имя закона.

Закон является действительно естественным законом лишь тогда, когда он безусловно присущ вещам, которые проявляют его нашему уму; лишь тогда, когда он составляет их свойство, их более или менее определенную собственную природу, а не мировую и отвлеченную природу некой божественной субстанции или абсолютного мышления, причем субстанция и мышление являются

непременно надмировыми и сверхъестественными и иллогичными, так как, если бы они не были таковыми, они самоуничтожились бы в действительности и в естественной логике вещей. Естественные законы — это более или менее особые естественные и действительные способы, посредством которых существуют все вещи, а с теоретической точки зрения они суть единственно возможное объяснение вещей. Значит, тот, кто хочет их понять, должен отказаться раз и навсегда и от личного Бога теологов, и от безличного Божества метафизиков.

Но из того, что мы можем с полной уверенностью отрицать существование божественного законодателя, отнюдь не следует, что мы можем отдать себе отчет в том, каким образом в мире установились естественные и общественные законы. Они существуют, они неотделимы от действительного мира, от совокупности вещей и фактов, порождениями и следствиями которых являемся мы сами, с тем чтобы также стать в свою очередь причинами — но относительными — новых существ, новых вещей и новых фактов. Вот все, что мы знаем, и, я думаю, все, что мы можем знать. Впрочем, как же мы могли бы найти первопричину, когда она не существует? То, что мы назвали мировой Причинностью, сама есть Равнодействующая всех частных причин, действующих в Мироздании. Спрашивать, почему существуют естественные законы, не означало ли бы это то же самое, что спрашивать, почему существует это Мироздание, вне которого ничего нет, или спрашивать, почему есть Бог? Это абсурд.

2. ЧЕЛОВЕК. РАЗУМ. ВОЛЯ

Как я уже сказал, подчиняясь законам природы, человек ни в коей мере не раб, так как он подчиняется только тем законам, которые присущи его собственной природе, тем же условиям, посредством которых он существует и которые составляют все его существо: подчиняясь им, он подчиняется самому себе. Однако в лоне самой этой природы существует рабство, от которого человек обязан освободиться, если не хочет отказаться от своей человечности, — это рабство естественного мира, который его окружает и который обычно называют внешней природой. Это совокупность вещей, явлений и живых существ, неотступно преследующих и постоянно окружающих его со всех сторон, без которых и вне которых он, правда, не мог бы про жить ни минуты, но которые тем не менее, как кажется, плетут против него заговор, так что в любой момент своей жизни он вынужден защищать от них свое существование. Человек не может обойтись без этого внешнего мира, так как он может жить только в нем и может питаться только за его счет; и в то же самое время он должен его остерегаться, так как этот мир, как кажется, всегда стремится в свою очередь пожрать его.

Рассматриваемый с такой точки зрения естественный мир представляет нам губительную и кровавую картину ожесточенной и непрерывной борьбы, борьбы за жизнь. Не только человек вынужден бороться: все животные, все живые существа, да что там говорить, — все существующие вещи, несущие в себе, как и человек, хотя и более или менее видимым образом, зародыш своего собственного разрушения, или, если можно так сказать, своего собственного врага — ту самую естественную фатальность, которая их порождает и вместе с тем сохраняет и разрушает, — все они борются против него, причем каждая категория вещей, каждая растительная и животная разновидность живет только тем, что уничтожает все остальные; одно пожирает другое таким образом, что, как я уже сказал в другом месте, "естественный мир может рассматриваться как кровавая бойня, как мрачная трагедия, порождаемая голодом. Он представляет собой постоянное поле беспощадной и непрестанной борьбы. Мы не должны задаваться вопросом, почему так происходит, и мы ни в коей мере не несем за это ответственности. Мы находим

этот установленный порядок вещей, когда рождаемся на свет. Это наш естественный отправной пункт, и мы не должны делать ничего иного, кроме как устанавливать этот факт и убеждаться в том, что с тех пор, как мир существует, всегда было так и что, по всей вероятности, в животном мире по-иному не будет. Гармония устанавливается здесь борьбой: триумфом одних, поражением и смертью других, страданием всех... Мы не говорим вместе с христианами, что земля — это долина скорби; есть также и удовольствия, иначе живые существа не держались бы так за жизнь. Но мы должны согласиться с тем, что Природа совсем не такая нежная мать, как говорят, и что для того, чтобы жить, чтобы сохранять себя в ее лоне, эти существа нуждаются в особой энергии. Ибо в естественном мире живут сильные, а слабые погибают, и первые живут только потому, что погибают другие*. Таков верховный закон животного мира. Возможно ли, чтобы этот фатальный закон был также законом человеческого и социального мира?" * [Те, кто признает существование Бога-творца, не подозревают, какой сомнительный комплимент они делают ему, представляя его как творца этого мира. Как! Всемогущий, всемудрый, всеблагой бог не смог бы сотворить ничего другого, как подобный мир, это страшилище? Правда, у теологов есть превосходный аргумент для того, чтобы объяснить это возмутительное противоречие. Мир был создан совершенным, говорят они; сначала в нем царила абсолютная' гармония, пока человек не согрешил, и разгневанный на него Бог проклял человека и мир.

Это объяснение тем более поучительно, что оно полно нелепостей, а, как известно, в абсурде и состоит вся сила теологов. Всякая религия есть не что иное, как обожествление абсурда.

Итак, совершенный Бог сотворил совершенный мир, но вот это совершенство резко снижается и может навлечь на себя проклятие своего творца; будучи сначала абсолютным совершенством, мир становится абсолютным несовершенством. Как совершенство могло стать несовершенством? На это ответят, что так случилось потому, что мир, хотя и совершенный в момент творения, не был тем не менее абсолютным совершенством, ибо только Бог был абсолютным, совершенным в высшей степени. А мир был совершенен лишь относительно и в сравнении с тем, каков он теперь. Но зачем тогда употреблять слово "совершенство", которое совсем не подходит к относительному? Разве совершенство не является непременно абсолютным? Скажите же тогда, что Бог сотворил мир несовершенным, но лучшим, чем мир, который мы видим теперь. Но если он был только лучше нынешнего мира, если он был уже несовершенным в момент творения, он не представлял той гармонии и того абсолютного мира, рассказами о которых господа теологи прожужжали нам уши. И в таком случае мы их спросим: если вы говорите, что "бог создал все, разве не следует судить о нем по его творению, как рабочего по его работе? Творец несовершенной вещи непременно несовершенный творец; если мир был создан несовершенным, то Бог, его творец, непременно несовершенен. Ибо тот факт, что он создал несовершенный мир, не может быть объяснен только его неразумностью, или его немощью, или его злобой.

Но, скажут, мир был совершенным, но только он был менее совершенным, чем Бог. На это я отвечу, что когда речь идет о совершенстве, то нельзя говорить о большем или меньшем совершенстве; совершенство — полно, всецело, абсолютно, или же оно не существует. Следовательно, если мир был менее совершенен, чем Бог, мир был несовершенным; отсюда следует, что Бог, творец несовершенного мира, сам был несовершенным, что он остается несовершенным, что он никогда не был Богом, что Бог не существует.

Для того чтобы спасти существование Бога, господа теологи будут, следовательно, вынуждены согласиться со мной, что созданный им мир был совершенным при

творении. Но тогда я задам им два маленьких вопроса. Если, во-первых, мир был совершенным, то как два совершенства могли существовать вне друг друга? Совершенство может быть лишь единственным в своем роде; оно не терпит дуализма, так как в дуализме одно ограничивает другое и делает его непременно несовершенным. Следовательно, если мир был совершенным, то не было Бога ни над миром, ни также вне его — сам мир был Богом. Второй вопрос. Если мир был совершенным, то каким образом он мог прийти в упадок? Хорошенькое совершенство, если оно может исказиться и исчезнуть! И если признать, что совершенство может прийти в упадок, значит. Бог также может прийти в упадок! Это значит, что Бог существовал, конечно, в воображении верующих людей, но человеческий разум, все более и более торжествующий в истории, его ниспровергает.

Наконец, какой он странный, этот Бог христиан! Он сотворил человека таким образом, чтобы он мог, чтобы он должен был согрешить и пасть. Обладая в числе своих бесчисленных атрибутов всезнанием. Бог не мог не знать, что творит человека, который падет; и раз Бог это знал, человек должен был пасть; в противном случае он дерзко уличил бы во лжи божественное всезнание. Тогда зачем говорят о человеческой свободе? Здесь была фатальность! Повинуясь этому фатальному влечению, — впрочем, самый простодушный отец семейства должен был бы на месте господа Бога это предвидеть — человек падает — и вот божественное совершенство впадает в ужасный гнев, в гнев столь же смешной, сколь отвратительный; Бог проклинает не только тех, кто преступил его закон, но и все человеческое потомство в то время, когда оно еще и не существовало и, следовательно, было абсолютно невинно в грехе наших прародителей; и, не удовлетворившись этой возмутительной несправедливостью, он еще проклинает тот ни в чем не повинный гармоничный мир, который был здесь ни при чем, и превращает его во вместилище преступлений и ужасов, в постоянную бойню. Затем, оставаясь рабом своего собственного гнева и проклятия, изреченного им против людей о мире, против своего собственного творения, что делает он, вспомнив чуть позднее, что он был Богом любви? Ему недостаточно, что он своим гневом наполнил кровью мир; этот кровавый Бог проливает еще кровь своего единственного Сына; он жертвует им под предлогом примирения мира со своим божественным Величеством! И если бы еще это удалось! Но нет, естественный и человеческий мир остается так же раздираемым и окровавленным, как и до этого чудовищного искупления. Отсюда явно следует, что Бог христиан, как и все предшествующие ему боги, есть Бог столь же бессильный, сколь и жестокий, столь же нелеп, сколь и зол.

И подобные нелепости хотят навязать нашей свободе, нашему разуму! И посредством подобных чудовищных вещей стремятся нравственно, морально воспитать, гуманизировать людей! Пусть господа теологи наберутся смелости открыто отказаться от человечности, как и от разума. Недостаточно сказать вместе с Тертуллианом: "Credo quia absurdum — верю во все, что абсурд"; пусть они еще постараются навязать, если могут, нам свое христианство кнутом, как всероссийский царь, кострами, как Кальвин, Святой Инквизицией, как добропорядочные католики, насилиями, пытками и смертью, как это хотели бы также сделать священники всевозможных религий. Пусть они испытают все эти прекрасные средства, но пусть не надеются, что восторжествуют когда-нибудь другим способом.

Что касается нас, то оставим раз и навсегда эти божественные нелепости и ужасы тем, кто безумно верит в возможность еще долго эксплуатировать во имя их народ, трудящиеся массы.]

Увы! Как индивидуальная, так и социальная жизнь человека первоначально представляет собой лишь самое непосредственное продолжение животной жизни. Она есть не что иное, как та же самая животная жизнь, только осложненная новым элементом: способностью мыслить и говорить.

Человек — не единственное умное животное на земле. Более того, сравнительная психология доказывает, что не существует животного, которое бы было совершенно лишено разума, и что, чем более вид по своей организации и особенно по развитию мозга приближается к человеку, тем больше развивается и возвышается его разум. Но только в человеке он достигает того, что называют, собственно говоря, способностью мыслить, то есть сравнивать, разделять и сочетать между собой представления как о внешних, так и о внутренних предметах, которые даны нам нашими чувствами, сочетать их в группы; затем сравнивать и сочетать между собой эти группы, которые уже не являются более ни действительными существами, ни представлениями о предметах, постигаемых нашими чувствами, но отвлеченными понятиями, которые образованы и классифицированы работой нашего разума и которые, будучи удержанными нашей памятью, другой способностью мозга, становятся отправным пунктом или основанием тех выводов, которые мы называем идеи*. Все эти действия нашего мозга были бы невозможны, если бы человек не обладал другой дополнительной и неотделимой от способности мыслить способностью — способностью соединять и фиксировать вплоть до самых тонких и самых сложных вариаций и модификаций, если можно так выразиться, все эти операции ума, все эти материальные действия мозга внешними знаками; если бы, говоря одним словом, человек не обладал способностью говорить. У всех других животных также есть язык, — кто в этом сомневается? — но так же как их разум никогда не поднимается выше материальных представлений или, самое большее, выше самого элементарного сравнения или сочетания друг с другом этих представлений, так же их язык, лишенный организации и не способный проявляться, выражает только ощущения или материальные понятия, но никогда не выражает идеи. Следовательно, я могу сказать, не боясь оказаться опровергнутым, что из всех животных на земле только человек мыслит и говорит.

* Надо было обладать большой дозой теологической и метафизической экстравагантности, чтобы представить себе живую нематериальную душу, заключенную в совершенно материальное тело, тогда как совершенно ясно, что только то, что материально, может заключаться, ограничиваться, содержаться в материальной тюрьме. Надо было обладать твердой верой Тертуллиана, проявившейся в столь знаменитом лозунге: Верю во все, что абсурдно!, чтобы допустить две столь несовместимые вещи — мнимую нематериальность души и ее непосредственную зависимость от материальных изменений, патологических явлений, происходящих в теле человека. Для нас, кто не может верить в абсурд и кто совершенно не предрасположен к обожанию абсурда, человеческая душа — вся эта совокупность аффективных, интеллектуальных и волевых способностей, которые образуют идеальный или духовный мир человека, — есть не что иное, как лишь последнее и самое высшее выражение его животной жизни, совершенно материальных функций совершенно материального органа — мозга. Способность мыслить как формальная потенция, ее степень и ее особая, если можно так сказать, индивидуальная в каждом человеке природа — все это зависит прежде всего от более или менее удачного строения его мозга. Но в дальнейшем эта способность упрочивается здоровьем тела прежде всего, правильной гигиеной и хорошим питанием; затем она развивается и крепнет посредством рациональных

упражнений, воспитания, образования, применения правильных научных методов, так же как сила и мускульная сноровка человека развиваются гимнастикой.
Природа, поддерживаемая главным образом порочной организацией общества, порождает иногда, к несчастью, идиотов, очень тупых человеческих индивидов. Иногда она порождает также гениальных людей. Но как те, так и другие суть всего лишь исключения. Огромное большинство человеческих индивидов рождаются равными или примерно равными: несомненно, не одинаковыми, но равноценными в том смысле, что в каждом из них недостатки и достоинства приблизительно компенсируют друг друга так, что если рассматривать их в совокупности, то один человек оказывается равноценным другому. Только воспитание порождает огромные различия, которые нас ныне приводят в отчаяние. Отсюда я заключаю, что для того, чтобы установить равенство людей, необходимо непременно установить его в воспитании детей.
[До сих пор я говорил только о формальной способности постигать мысли. Что касается самих мыслей, которые составляют суть нашего умственного мира и которые метафизики рассматривают как спонтанные и чистые творения нашего ума, то следует сказать, что по своему происхождению они суть не что иное, как простые, сначала, естественно, очень несовершенные, установления естественных и социальных фактов, а также еще менее разумные выводы из этих фактов. Таким было начало всех человеческих представлений, воображений, галлюцинаций и идей, откуда видно, что содержание нашего мышления, будучи далеким от того, чтобы выступать, как сотворенное, совершенно спонтанным действием врожденного ума или врожденного сущего, как это утверждают еще сегодня метафизики, дано нам было с самого начала миром действительных как внешних, так и внутренних вещей и фактов. Ум человека, то есть работа, или действительная деятельность его мозга, вызванная ощущениями, которые передают ему нервы, привносит сюда только совершенно формальное действие, состоящее в том, чтобы сравнивать и сочетать эти вещи и факты в верные или ложные системы: верные, если они соответствуют действительному порядку, присущему вещам и фактам; ложные, если они ему противны. Выработанные таким образом идеи уточняются и фиксируются посредством слова в уме человека и передаются от одного человека к другому так, что индивидуальные понятия о вещах, индивидуальные идеи каждого, встречаясь друг с другом, контролируя друг друга и взаимно изменяясь, а затем смешиваясь, соединяясь друг с другом в одной системе, приходят к формированию общего самосознания, или более или менее распространенного коллективного мышления общества людей — мышления, которое постоянно изменяется и продвигается вперед новыми трудами каждого индивида; эта совокупность представлений и мыслей, передаваемая традицией от одного поколения к другому, еще больше обогащаемая и распространяемая коллективной работой веков, образует в каждую историческую эпоху в более или менее пространной социальной среде коллективное достояние всех индивидов, составляющих эту среду.
Каждое новое поколение находит в своей колыбели мир идей, представлений и чувств, которые переданы ему в форме общего наследия умственной и нравственной работой всех прошлых поколений. Сначала этот мир не представляется новорожденному в его идеальной форме как система представлений и идей, как религия, как доктрина; ребенок был бы неспособен воспринять его в такой форме; этот мир навязывается новорожденному как мир фактов, воплощенный и осуществленный в окружающих его лицах и вещах и воздействующий на его чувства посредством того, что он понимает, и того, что он видит с первых дней после своего рождения, ибо человеческие идеи и представления, которые первоначально суть лишь произведения естественных и

социальных фактов — в том смысле, что сначала они были лишь отзвуком или рефлексией в мозгу человека и, если можно так выразиться, идеальным и более или менее разумным воспроизведением этим совершенно материальным органом человеческой мысли, — приобретают позднее, после того как они вполне оформились в коллективном самосознании какого-либо общества, причем способом, который я только что объяснил, способность в свою очередь становиться производительными причинами новых, не естественных, собственно, но социальных фактов. Они изменяют человеческое существование, человеческие привычки и учреждения — одним словом, все отношения, которые существуют между людьми в обществе, и, воплотившись в самые обычные факты и вещи жизни каждого, они становятся ощутимыми и очевидными для всех, даже для детей. Таким образом, каждое новое поколение проникается ими с самого раннего своего детства; а с достижением зрелого возраста, когда начинается настоящая работа его собственной мысли, мысли закаленной, натренированной и непременно сопровождаемой новой критикой, это поколение находит как в самом себе, так и в окружающем его обществе целый мир установившихся мыслей и представлений, которые служат ему отправным пунктом и дают ему своего рода ткань или первичный материал для его собственной нравственной и умственной работы. В их числе есть традиционные и общие представления, которые метафизики ложно называют врожденными идеями, будучи введенными в заблуждение тем совершенно неощутимым и невоспринимаемым способом, которым они, придя извне, проникают в мозг детей и запечатлеваются в нем еще до того, как дети доходят до самосознания.

Но наряду с этими общими идеями, такими, как идея Бога или души, идеями абсурдными, но вместе с тем санкционированными всеобщим невежеством и тупостью веков, против которых даже сегодня еще нельзя было бы высказаться открыто и на популярном языке, не рискуя попасть под преследование буржуазного лицемерия, наряду с этими совершенно отвлеченными идеями юноша встречает в обществе, в котором он развивается, и вследствие влияния, оказываемого этим обществом на его детство, он находит в самом себе множество других идей, которые намного больше направлены на природу и на общество, — идей, которые ближе затрагивают действительную жизнь человека, его повседневное существование. Таковы мысли о справедливости, об обязанностях, об общественных обычаях, о правах каждого, о семье, о собственности, о Государстве и еще множество Других, более частных идей, которые регулируют отношения людей между собой. Все эти идеи, которые человек находит воплощенными в своем собственном уме посредством воспитания, которому он подвергся в детстве, независимо от всякого спонтанного действия этого разума, идеи, которые в момент, когда человек доходит до самосознания, представляются ему как идеи общепринятые и освященные коллективным сознанием общества, в котором он живет, — все эти идеи были произведениями, как я сказал, коллективной умственной и нравственной работы поколений. Каким образом они были произведены? Посредством установления и своеобразного признания совершившихся фактов, ибо в практических проявлениях человечества, а также в науке в собственном смысле слова совершившиеся факты всегда предшествуют идеям, что еще раз доказывает, что самое содержание человеческого мышления, действительная его суть отнюдь не есть спонтанное творение ума, но всегда дано осмысленным испытанием действительных вещей.]

Только человек одарен способностью отвлечения, которая, несомненно упрочившись и развившись в человеческом роде работой веков, последовательно возвысив его в самом себе, то есть в его мышлении, причем только посредством

абстрагирующего действия его мышления над всеми объектами, которые его окружают, и даже над самим собой в качестве индивида и вида, позволяет ему постигать или творить идею Тотальности существ, Мироздания и абсолютной Бесконечности, — идею совершенно отвлеченную, лишенную всякого содержания и, как таковую, несомненно тождественную идее Ничто, но которая тем не менее продемонстрировала всемогущество в историческом развитии человека, так как, будучи одной из основных причин его завоеваний и в то же время всех его последующих бредней, его несчастий и его преступлений, она вырвала его из мнимого блаженства животного рая, с тем чтобы бросить его в бесконечные победы и муки безграничного развития.

Благодаря этой способности отвлечения человек, возвышаясь над непосредственным давлением, которое оказывают на индивида внешние объекты, может сравнивать их друг с другом и наблюдать их взаимоотношения: вот начало анализа и экспериментальной науки. Благодаря той же самой способности человек, если можно так выразиться, раздваивается, и, отделившись от себя в себе самом, он в некотором роде возвышается над своими собственными внутренними движениями, над ощущениями, которые он испытывает, поднимающимися в нем инстинктами, позывами, желаниями, а также над аффективными стремлениями, которые он испытывает; это дает ему возможность сравнивать их друг с другом, так же как он сравнивает внешние объекты и внешние движения, и вступаться за одних против других в соответствии с идеалом справедливости и блага или в соответствии с доминирующим чувством, которое развили и упрочили в нем влияние общества и особые обстоятельства. Эта способность вступаться в пользу одной или нескольких движущих сил, которые действуют в нем в определенном направлении против других также внутренних и определенных движущих сил, называется волей.

Таким образом объясненные и понятые ум человека и его воля не представляются более как способности совершенно автономные, независимые от материального мира и способные, творя — один из мышления, другая — из спонтанных актов, разорвать фатальное сцепление действий и причин, составляющих универсальную мировую взаимосвязь миров. Напротив, и то и другое представляются как силы, независимость которых исключительно относительна, потому что точно так же, как мускульная сила человека, эти силы или способности нервов образуются в каждом индивиде стечением внешних, материальных и социальных, обстоятельств, влияний и действий, совершенно независимых и от его мышления, и от его воли. И точно так же, как мы должны отбросить возможность того, что метафизики называют спонтанными идеями, мы должны отбросить спонтанные акты воли, свободную волю и нравственную ответственность человека в теологическом, метафизическом и юридическом смысле этого слова.

Если при своем рождении и на протяжении всего своего развития, своей жизни каждый человек представляет собой лишь равнодействующую бесчисленного множества действий, обстоятельств и бесчисленных материальных и социальных условий, которые продолжают творить его, пока он жив, то откуда у него, представляющего мимолетное и едва заметное звено в мировом сцеплении всех прошлых существ, могла бы появиться способность разорвать произвольным актом эту вечную и всемогущую взаимосвязь, единственное мировое и абсолютное сущее, которое действительно существует, но которое никакое человеческое воображение не могло бы охватить? Признаем же раз и навсегда, что перед лицом этой универсальной природы, нашей матери, которая нас создает, нас растит, нас кормит, нас окружает, пронизывает нас до мозга костей и до самых интимных глубин нашего умственного и нравственного существа и которая всегда в конце

концов душит нас в своем материнском объятии, нет для нас ни независимости, ни возможности бунта.
Правда, посредством познания и сознательного применения законов природы человек постепенно освобождается, но не от этого мирового гнета, который вместе с ним испытывают все живые существа и все вещи, которые существуют, возникают и исчезают в мире; он освобождается только от грубого давления, которое оказывает на него его внешний, материальный и социальный мир, включая все окружающие его вещи и людей. Он господствует над вещами посредством науки и труда; что касается беззаконного гнета людей, то он опрокидывает его посредством революций. Таков, следовательно, единственный рациональный смысл слова свобода: это господство над внешними вещами, основанное на почтительном наблюдении законов природы; это независимость перед лицом деспотических претензий и деяний людей; это наука, труд, политический бунт; это, наконец, одновременно сознательная и свободная организация социальной среды в соответствии с естественными законами, присущими всякому человеческому обществу. Первым и последним условием этой свободы всегда остаются, следовательно, самое полное подчинение всемогуществу природы, нашей матери, а также наблюдение и самое строгое применение ее законов.
Никто не говорит о свободной воле животных. Все согласны в том, что в любой момент своей жизни и в каждом из их действий животные детерминированы причинами, независимыми от их мышления и их воли; что они фатально следуют импульсам, которые получают как от внешнего мира, так и от своей собственной внутренней природы; что, одним словом, у них нет никакой возможности прервать своими идеями и спонтанными действиями своей воли мировое течение жизни и, следовательно, для них не существует никакой, ни юридической, ни нравственной, ответственности*. Однако все животные одарены и разумом и волей. Между этими способностями животных и соответствующими способностями человека есть лишь количественное различие, различие в степени. Почему же мы объявляем человека безусловно ответственным, а животное безусловно безответственным? * Эта идея нравственной безответственности животных принимается всеми. Но она не соответствует во всех пунктах истине. Мы можем в этом убедиться на каждодневном опыте в наших отношениях с прирученными и дрессированными животными. Мы их выращиваем, не имея в виду их собственную полезность и их собственные нравственные качества, но исходя из наших интересов и наших целей; мы их приучаем сдерживать свои инстинкты, свои желания, владеть ими, то есть мы развиваем в них внутреннюю силу, которая есть не что иное, как воля. И когда они действуют вопреки навыкам, которые мы хотели им придать, мы их наказываем; следовательно, мы их рассматриваем, мы их трактуем как существа ответственные, способные понять, что они нарушили закон, который мы им навязали, и мы подводим их под своего рода домашнюю юрисдикцию. Одним словом, мы обращаемся с ними, как христианский Господь Бог обращается с людьми — с той только разницей, что мы это делаем для нашей пользы, а он — для своей славы; мы — для того, чтобы удовлетворить свой эгоизм, он — для того, чтобы удовлетворить и накормить свое безграничное тщеславие.
Я думаю, что ошибка состоит не в этой идее ответственности, которая действительно существует не только для человека, но также для всех животных без какого-либо исключения, хотя и при различной степени для каждого; она состоит в безусловном смысле, который придает человеческой ответственности наше человеческое тщеславие, поддерживаемое теологической или метафизической аберрацией. Вся ошибка — в слове безусловный. Человек не является безусловно

ответственным, а животное — безусловно безответственным. Ответственность как одного, так и другого относительна степени рефлексии, на которую они способны.
Мы можем принять в качестве общей аксиомы, что то, что не существует в животном мире, хотя бы в зародышевом состоянии, не существует и никогда не возникнет в человеческом мире, ибо человечество есть не что иное, как высшая степень развития животного состояния на земле. Следовательно, если бы не было ответственности животного, не было бы никакой человеческой ответственности, так как человек подчинен безусловному всемогуществу природы, точно так же как самое несовершенное животное на земле; таким образом, с безусловной точки зрения и животные и человек равно являются безответственными.
Но относительная ответственность несомненно существует во всех степенях животной жизни; незаметная у низших видов, она становится уже очень резко выраженной у животных, одаренных высшей организацией. Животные растят своих детей, они развивают в них на свой манер разум, то есть понимание или знание вещей и волю, то есть ту способность, ту внутреннюю силу, которая позволяет нам сдерживать наши инстинктивные движения; они даже наказывают с отеческой нежностью неповиновение своих детенышей. Следовательно, даже у животных есть начало нравственной ответственности.
Следовательно, так же как разум, воля не есть мистическая, бессмертная и божественная искра, чудесным образом упавшая с неба на землю для того, чтобы оживить части тела, трупы. Это — продукт организованного и живого тела, продукт животного организма. Самый совершенный организм — это организм человека, и, следовательно, именно в человеке находятся относительно наиболее совершенные разум и воля, особенно способные к совершенствованию, к прогрессу.
Воля, так же как разум, — это нервная способность животного организма, а особым органом ее выступает главным образом мозг, так же как физическая или собственно животная сила есть мускульная способность того же организма, и, хотя она распространена по всему телу, ее активными органами выступают главным образом ноги и руки. Нервная деятельность, которая составляет в сущности разум и волю и которая материально отличается как по своей особой организации, так и по своему объекту от мускульной деятельности животного организма, так же, однако, материальна, как и последняя. Мускульная, или физическая, сила и нервная сила, или сила разума и сила воли, имеют то общее, что, во-первых, каждая из них зависит прежде всего от организации животного, организации, которую оно приносит с собой при рождении и которая есть, таким образом, продукт множества обстоятельств и причин, которые по отношению к животному суть не только даже внешние, но и предшествующие, и что, во-вторых, все они способны развиваться гимнастикой или воспитанием, а это нам их еще раз представляет как продукты, внешних влияний и действий.
Ясно, что, будучи как по своей сущности, так и по своей интенсивности не чем иным, как продуктами совершенно независимых от них причин, все эти силы обладают лишь совершенно относительной независимостью в лоне той мировой причинности, которая составляет и охватывает миры. Что такое мускульная сила? Это материальная способность какой-нибудь интенсивности, которая образуется в животном стечением предшествующих влияний или причин и которая позволяет ему в данный момент противопоставить давлению внешних сил какое-нибудь не безусловное, а относительное сопротивление.
Безусловно так же обстоит дело с нравственной силой, которую мы называем силой воли. Все виды животных одарены ею в различной степени, причем это различие определяется в первую очередь особенной природой их организма. Среди всех животных на земле человеческий вид одарен ею в высшей степени. Но в самом этом

виде все индивиды не обладают при рождении равной волевой способностью, так как более или менее развитая способность желать предопределена в каждом индивиде здоровьем и нормальным развитием его тела, и особенно более или менее удачным строением его мозга. Следовательно, здесь с самого начала есть различие, за которое человек ни в коей мере не является ответственным. Виновен ли я, если природа одарила меня внутренней способностью желать? Самые ярые теологи и метафизики не смеют сказать, что то, что они называют душами, то есть совокупностью аффективных, умственных и волевых способностей, которые каждый индивид приносит с собой при рождении, равно.

Правда, способность желать, равно как и все другие способности человека, может быть развита воспитанием и подходящей для него гимнастикой. Эта гимнастика понемногу приучает детей сначала не проявлять немедленно наималейшие из своих впечатлений или более или менее сдерживать реактивные движения своих мускулов, когда они возбуждены как внешними, так и внутренними ощущениями, которые передаются им нервами; позднее, когда в ребенке образуется определенная степень рефлексии, развитая также подходящим для него воспитанием, та же гимнастика, приобретя в свою очередь более или менее обдуманный характер, призвав на помощь рождающийся разум ребенка и основываясь на определенной степени развившейся в нем силы воли, приучает его подавлять непосредственное проявление своих чувств и желаний и, наконец, подчинять все произвольные движения своего тела, а также то, что называют его душой, самое его мышление, его слова и его действия преобладающей благой или дурной цели.

Развитая таким образом и натренированная воля человека есть, очевидно, снова не что иное, как продукт внешних по отношению к ней и воздействующих на нее влияний, которые определяют и формируют ее независимо от ее собственных решений. Можно ли человека представить ответственным за хорошее или плохое, достаточное или недостаточное воспитание, которое ему дали? Правда, когда в юноше или молодом человеке выработается привычка думать или желать, выработается благодаря воспитанию, которое он получил извне, благодаря определенной степени развития, благодаря тому, что до некоторой степени оформилась внутренняя сила, тождественная отныне его существу, он может сам продолжить свое образование и даже нравственное воспитание посредством, если можно так выразиться, спонтанной гимнастики своего мышления и даже своей воли, равно как и своей мускульной силы — спонтанной в том смысле, что она уже больше не направляется и не определяется только внешними желаниями и действиями, но направляется и определяется также внутренней силой мысли и воли, которая, сформировавшись и упрочившись в нем посредством прошлого действия этих внешних причин, в свою очередь становится более или менее активной и мощной движущей силой, в некоторой степени творцом, независимым от вещей, идей, желаний и действий, которые непосредственно его окружают.

Человек может таким образом стать до определенной степени своим собственным воспитателем, своим собственным инструктором и как бы творцом самого себя. Но очевидно, что тем самым он завоевывает лишь совершенно относительную независимость, которая ни в коей мере не избавляет его от фатальной зависимости, или, если хотите, безусловной мировой взаимосвязи, посредством которой он, как существующее и живое существо, бесповоротно включен в цепь естественного и социального мира, продуктом которого он есть и в котором он, как и все, что существует, раз став следствием и всегда им оставаясь, в свою очередь становится относительной причиной относительно новых продуктов.

Позднее у меня будет случай доказать, что самый развитый в отношении разума и воли человек оказывается по отношению ко всем своим чувствам, своим идеям и своим желаниям в квазибезусловной зависимости от естественного и социального мира, который его окружает и который в любой момент его существования определяет условия его жизни. Но даже сейчас, в момент, в котором мы оказались, ясно, что нет места для человеческой ответственности в том виде, как ее понимают теологи, метафизики и юристы.

Мы видели, что человек ни в коей мере не ответствен ни за степень умственных способностей, которые он приносит с собой при рождении, ни за уровень хорошего или плохого воспитания, который эти способности приобрели до возраста возмужания или по крайней мере до брачного возраста. Но вот теперь мы оказались в момент, когда человек, сознающий самого себя и оснащенный благодаря воспитанию, полученному им совне, уже обстрелянными умственными и нравственными способностями, становится некоторым образом дворцом самого себя, могущим, очевидно, развивать, распространять и упрочивать свой разум и свою волю. Виноват ли тот, кто, находя эту возможность в самом себе, не воспользовался ею? И как он мог бы сделать это? Очевидно, что в момент, когда он должен и может принять решение работать над собой, он не начал еще эту спонтанную внутреннюю работу, которая сделает из него в некоторой степени творца самого себя и продукт своего собственного воздействия на себя, в этот момент он есть еще не что иное, как лишь продукт действий другого или внешних влияний, которые подвели его к этому моменту; следовательно, решение, которое он примет, будет зависеть не от силы мысли и воли, которая придается ему самому, так как его собственная работа еще не началась, но от силы мысли и воли, которая ему будет придана как посредством его природы, так и посредством воспитания, независимо от его собственных решений; и какое бы решение он ни принял, хорошее или плохое, оно будет еще лишь следствием или непосредственным продуктом этого воспитания и этой природы, за которые он ни в коей мере не несет ответственности; отсюда следует, что это решение совершенно не может подразумевать ответственности индивида, который его принимает*.

* Представим себе двух молодых людей, обладающих разными натурами, получивших разное воспитание, или только две разные натуры, получившие одинаковое воспитание. Один принимает мужественное решение, если воспользоваться любимым выражением г. Гамбетты; другой не принимает никакого решения или принимает плохое решение. Есть ли в этом, в юридическом смысле этих слов, заслуга со стороны первого и ошибка со стороны второго? Да, если вы согласитесь со мной, что эта заслуга и эта ошибка в равной степени непроизвольны, в равной степени суть продукты комбинированного и фатального действия природы и воспитания и что они, следовательно, составляют: одно — не заслугу в собственном смысле слова, а другое — не ошибку в том же смысле, но два факта, два различных результата, один из которых соответствует тому, что в данный момент истории мы называем истинным, справедливым и добрым, а другой соответствует тому, что в данный исторический момент считается ложью, несправедливостью и злом. Продолжим этот анализ дальше. Возьмем двух молодых людей, одаренных примерно равными природами и получивших одно и то же воспитание. Предположим, что, находясь также в примерно равном общественном положении, они оба приняли хорошее решение. Один удерживается и развивается все более и более в направлении, которое он сам себе наметил. Другой отворачивается от него и терпит неудачу. Почему? Каков смысл этого различия в исходе дела? Его нужно искать либо в различии их природы и их темпераментов, каким бы неуловимым это различие ни могло сначала показаться; либо в

неравенстве, которое уже существовало между степенью умственной и нравственной силы, приобретенной каждым из них в момент, когда оба они начали свое свободное существование; либо, наконец, в различии их социальных условий и обстоятельств, которые повлияли позднее на существование и на развитие каждого из них; так как у всякого следствия есть причина, отсюда ясно следует, что в любой момент своей жизни, что в каждой из своих мыслей, в каждом из своих поступков человек со своим сознанием, своим разумом и своей волей всегда определен множеством как внешних, так и внутренних, но в равной мере независимых от него действий и причин, которые приобретают над ним фатальное, неумолимое господство. Где же тогда его ответственность? У человека нет воли; от этого ему становится стыдно и ему говорят, что он должен иметь ее, что он должен дать себе волю. Но как он даст ее? Актом своей воли? Это значит, что у него должна быть воля иметь волю; это образует несомненно порочный круг, абсурд.

Но, скажут, отрицая принцип ответственности человека или же устанавливая факт человеческой безответственности, не разрушаете ли вы основы всякой нравственности? Это опасение и этот упрек совершенно справедливы, если речь идет о теологической и метафизической нравственности, о той божественной нравственности, которая служит если не основой, то по крайней мере освящением и объяснением юридического права. (Позднее мы увидим, что экономические факты составляют единственные действительные основы этого права) Эти опасения и упреки несправедливы, если речь идет о чисто человеческой и общественной нравственности. Эти две нравственности, как мы увидим позднее, исключают друг друга; первая в идеале есть не что иное, как фикция, а в действительности — отрицание второй, а последняя может восторжествовать лишь посредством радикального разрушения первой. Следовательно, будучи далеким от страха разрушить теологическую и метафизическую нравственность, которую я рассматриваю как исторически естественную, а равно и фатальную ложь, я, напротив, призываю к этому разрушению всеми своими желаниями, и у меня есть глубокое убеждение в необходимости всячески содействовать этому по мере своих сил.

Скажут еще, что, нападая на принцип человеческой ответственности, я подрываю первооснову человеческого достоинства. Это было бы совершенно справедливо, если бы это достоинство состояло в исполнении невозможных, сверхчеловеческих ловких штучек, а не в полном теоретическом и практическом развитии всех наших способностей, а также в полном и возможном осуществлении назначения, которое нам намечено и, если можно так выразиться, нам навязано нашей природой. Человеческое достоинство и личная свобода, как их понимают теологи, метафизики и юристы, достоинство и свобода, основанные на внешне столь надменном отрицании природы и всякой естественной зависимости, приводят нас логически и прямо к установлению божественного деспотизма, отца всех человеческих деспотизмов; теологическая, метафизическая и юридическая фикция человеческого достоинства и человеческой свободы имеет своим фатальным следствием действительное рабство и действительное падение людей на земле. Наоборот, материалисты, принимая за отправной пункт фатальную зависимость людей от природы и ее законов и, следовательно, естественную безответственность, непременно приходят к ниспровержению всякого божественного авторитета, всякой человеческой опеки и, следовательно, к установлению действительной и полной свободы для каждого и для всех. В этом состоит причина, почему все реакционеры, начиная с самых деспотических суверенов и кончая по видимости самыми революционными буржуазными республиканцами, оказываются ныне столь горячими сторонниками

теологического, метафизического и юридического идеализма и почему сознательные и искренние социалисты-революционеры подняли знамя материализма.

Но ваша теория, скажут нам, объясняет, оправдывает, узаконивает и поощряет все пороки, все преступления. Да, она их объясняет; она их узаконивает в том смысле, что она показывает, как преступления и пороки выступают естественными следствиями естественных причин. Но она их совершенно не поощряет; напротив, только самым широким приложением этой теории к организации человеческого общества можно будет их побороть и искоренить, нападая не столько на затронутых ими индивидов, сколько на естественные причины, естественными и фатальными продуктами которых являются эти пороки и преступления.

А вот, скажут, два человека: у одного полно достоинств, у другого полно недостатков; первый — честный, умный, справедливый, очень внимательный наблюдатель всех человеческих дел, уважающий все права; второй — вор, бандит, наглый лжец, циничный нарушитель всего, что свято для людей; и в политической жизни один — республиканец, а другой — Наполеон III, Муравьев или Бисмарк. Можете ли высказать, что между ними нет никакой разницы? Нет, я этого не скажу. Но эту разницу я вижу уже в своих обыденных отношениях с животным миром. Есть животные исключительно отвратительные, вредные, другие — очень полезные и очень благородные. У меня антипатия и явное отвращение к одним и большая симпатия к другим. И однако, я хорошо знаю, что не вина жабы, если она — жаба; не вина ядовитой змеи, что она — ядовитая змея; не вина свиньи, если она находит огромное удовольствие в том, чтобы валяться в грязи; но также не собственная заслуга лошади в произвольном значении этого слова, если это — хорошая лошадь; не заслуга собаки, если это умное и преданное животное; но это совершенно не мешает мне раздавить пресмыкающегося и загонять свинью в грязь, ни любить, ни очень ценить лошадь и собаку.

Скажут, что я не прав? Отнюдь нет. Я признаю, что одни, если их рассматривать с точки зрения природы или мировой причинности также невиновны в том, что я называю их недостатками, равно как другие неответственны за их достоинства. В естественном мире нет ни достоинств, ни недостатков в нравственном смысле этого слова, но есть лишь более или менее хорошо или плохо развитые естественные свойства у различных животных видов и разновидностей, а также у каждого индивида в отдельности. Заслуга животного индивида состоит единственно в том, что он — вполне удачный экземпляр, полностью развитый в своем виде и в своей разновидности; и единственная заслуга двух последних состоит в принадлежности к относительно высокому порядку организации. У животного индивида недостаток тогда, когда оно есть малоудачный, не полностью развитый экземпляр; а для разновидности и вида это значит принадлежать к низшему порядку. Если змея, относящаяся к исключительно ядовитому классу, была бы малоядовитой — это был бы, следовательно, недостаток; если бы она была более ядовитой — это было бы достоинство.

Устанавливая между животными различных видов своего рода юридическое различие, объявляя одних отвратительными, антипатичными и злыми, а других — хорошими, симпатичными и полезными, а я не сужу о них, следовательно, с безусловной естественной точки зрения, с точки зрения относительной, сугубо человеческой, с точки зрения их отношений со мной. Я признаю, что одни мне неприятны, вредны и что, напротив, другие мне приятны, полезны. Но не делают ли все в действительности то же самое в суждениях, которые каждый высказывает о людях? Человек, относящийся к социальной разновидности, которую называют бандитами, ворами, провозгласит себя Мандарином и Троппманнсом как первым

человеком мира; дипломаты и защитники палаша вне себя от радости, говоря о Наполеоне III или о Бисмарке; священники обожают Лайолу; идеалом буржуа выступает либо Ротшильд, либо Тьер. Потом есть еще смешанные разновидности, которые своих героев ищут в людях сомнительных с менее резко очерченным характером: Оливье, Жюль Фавр. Одним словом, каждая социальная разновидность обладает нравственной меркой, которая ей присуща и которую она прилагает ко всем людям, когда судит о них. Что касается мировой человеческой мерки, то она пока существует для всех лишь как банальная фраза, и притом никто не думает ее применять действительным и серьезным образом.

Но существует ли в действительности этот общий закон человеческой нравственности? Да, он несомненно существует. Он основывается на самой природе человека, но не как исключительно индивидуального существа, а как существа общественного; он составляет в сущности природу и, следовательно, также истинную цель всего развития человеческого общества, и он существенно отличается от теологической, метафизической и юридической нравственности тем, что он ни в коей мере не есть мораль личная, но мораль общественная. Я вернусь еще к этому, когда буду говорить об обществе.

Очевидно, что идея человеческой ответственности, идея совершенно относительная, неприложима к человеку, взятому отдельно и рассматриваемому в качестве естественного индивида вне коллективного развития общества. Рассматриваемый как таковой перед лицом мировой причинности, в лоне которой все, что существует, есть одновременно следствие и причина, творец и продукт, каждый человек в любой момент своей жизни представляется нам как существо безусловно определенное, неспособное разорвать или только прервать мировое течение жизни, и, следовательно, как существо, стоящее вне всякой юридической ответственности. Человек со всем этим самосознанием, которое порождает в нем мираж мнимой спонтанности, несмотря на разум и волю, которые суть необходимые условия его свободы по отношению к внешнему миру, включая окружающих его людей, этот человек, как и все животные на земле, остается тем не менее безусловно подчиненным мировой фатальности, царящей в природе.

Как я уже сказал, способность мыслить и способность желать суть совершенно формальные способности, которые не подразумевают непременно и всегда одна — истину, а другая — благо. История дает нам пример многих очень сильных мыслителей, которые говорили вздор. В их число и сегодня еще входят все теологи, метафизики, юристы, экономисты, спиритуалисты и идеалисты всех мастей прошлого и настоящего. Всякий раз, когда какой-нибудь мыслитель, каким бы сильным он ни был, будет рассуждать, опираясь на ложные основания, он обязательно придет к ложным выводам, и эти выводы станут тем более чудовищными, чем больше у него будет силы для того, чтобы развивать их.

Что такое истина? Это правильное определение вещей и фактов, их развития или их естественной логики, которая проявляется в них. Это по возможности более строгое соответствие движения мысли движению действительного мира, который есть единственный предмет мысли. Следовательно, всякий раз, когда человек будет рассуждать о вещах и фактах, не интересуясь их действительными отношениями или действительными условиями их развития и их существования, или когда он будет строить свои теоретические спекуляции относительно вещей, которые никогда не существовали, о фактах, которые никогда не могли случиться и которые имеют совершенно вымышленное, совершенно фиктивное существование в невежестве и в исторической тупости прошлых поколений, он непременно будет молоть вздор, каким бы сильным мыслителем он ни был.

Так же обстоит дело с волей. Опыт доказывает нам, что сила воли далеко не всегда бывает силой блага: самые преступные, в высшей степени зловредные люди иногда бывают одарены наивысшей силой воли; но, с другой стороны, мы, увы, достаточно часто видим людей превосходных, хороших, справедливых, полных доброжелательных чувств, но лишенных этой способности. А это доказывает, что способность желать есть совершенно формальная способность, которая сама по себе не подразумевает ни блага, ни зла. — Что такое Добро? и что такое Зло? В момент, в котором мы оказались, продолжая рассматривать человека вне общества, как животное, целиком естественное, но более совершенно организованное, чем животные других разновидностей, и способное господствовать над ними благодаря неоспоримому превосходству своего разума и своей воли, наиболее общим и в то же время наиболее распространенным определением Добра и Зла мне представляется следующее:

Для человека, но только для человека, а не для пожираемого им животного, все, что соответствует потребностям человека, а также условиям его развития и его полного существования, — это Добро. Все, что ему противно, — это Зло*.

* Позднее мы увидим, но уже и сейчас мы знаем, что это определение добра и зла еще и ныне рассматривается всеми привилегированными классами перед лицом эксплуатируемого ими пролетариата как единственно действительное, как единственно серьезное и приемлемое определение.

Если считать доказанным, что воля животного, включая волю человека, — это целиком формальная способность, которая, как мы увидим позже, может посредством знания, приобретаемого человеком из законов природы и только строго подчиняясь им в своих действиях, изменять до известной степени как отношения человека с окружающими его вещами, так и отношения этих вещей между собой, но не порождать их и не творить самую суть животной жизни; если считать доказанным, что как только совершенно относительная сила воли окажется перед лицом единственно существующей безусловной силы, силы мировой причинности, она тотчас представится как безусловное бессилие или как относительная причина относительно новых определенных и порожденных той же самой причинностью относительных действий, то, очевидно, не в этой силе и не в воле животного, но в мировой и фатальной взаимосвязи вещей и существ мы должны искать мощную движущую силу, которая творит животный и человеческий мир.

Эту движущую силу мы не называем ни разумом, ни волей, так как в действительности у нее не было и не могло быть никакого самосознания, никакой детерминации, ни собственного решения и сама она не есть даже единственное в своем роде, невидимое, субстанциональное сущее, как его представляют себе метафизики, но сам продукт и, как я уже говорил, вечно воспроизводимая Равнодействующая всех превращений существ и вещей в Мироздании. Одним словом, это — не идея, но мировой факт, по ту сторону которого мы ничего не можем постичь; этот факт ни в коем случае не есть неизменное Сущее, но, напротив, это вечное движение, проявляющееся, формирующееся бесконечностью относительных действий и противодействий: механических, физических, химических, геологических, растительных, животных и человеческих, социальных. В качестве постоянной равнодействующей этого сочетания бесчисленных относительных движений эта мировая движущая сила столь же всемогуща, сколь и бессознательна, фатальна и слепа.

Она творит миры и в то же самое время всегда она — их продукт. В каждом царстве нашей земной природы она проявляется посредством особых законов или особых способов развития. Так, в неорганическом мире, в геологической формации

земного шара она представляется как действие и непрерывное противодействие механических, физических и химических законов, которые, по-видимому, сводятся к одному основному закону: закону тяготения, или движения, или материального тяготения, по отношению к которому все остальные законы представляются лишь как различные проявления или различные превращения. Как я уже заметил выше, эти законы суть общие законы в том смысле, что они охватывают все происходящие на земле явления и направляют как отношения и развитие органической, растительной, животной и социальной жизни, так и отношения неорганической совокупности вещей.

В органическом мире та же самая мировая движущая сила проявляется посредством нового закона, который основывается на совокупности этих общих законов и который, несомненно, есть не что иное, как новое превращение, тайна которого до сих пор от нас ускользает, но который есть особый закон в том смысле, что он проявляется только в живых существах: растениях и животных, включая человека. Это закон питания, который состоит, если воспользоваться собственными выражениями Огюста Конта: "I) во внутреннем поглощении питательных материалов, почерпнутых из окружающей системы, и их постепенной ассимиляции; 2) в выделении вовне молекул, как только они станут инородными, которые непременно дезассимилируются по мере того, как происходит это питание"*.

* Comte Auguste. Cours de philosophic positive, t. Ill, p. 464.

Этот закон — особый закон в том смысле, как я уже сказал, что он неприменим к вещам неорганического мира, но он есть общий и основной закон для всех живых существ. Именно вопрос о питании, великий вопрос общественной экономии, составляет действительную основу всего последующего развития человечества**.

** "Бесспорно, что у громадного большинства существ, живущих животной жизнью, эта жизнь состоит лишь в простом дополнительном совершенствовании, в надстройке, если можно так выразиться, органической (растительной) или основной жизни; она пригодна лишь для того, чтобы либо добывать на жизнь посредством неосознанной, реакции, на внешний мир, либо для того даже, чтобы подготавливать или облегчать свои действия (пищеварение, поиск и выбор пищи) посредством ощущений, различных передвижении и иннервации, либо, наконец, для того, чтобы наилучшим образом предотвращать неблагоприятные влияния. Самые развитые животные, и особенно человек, суть единственные в своем роде, у кого эта общая реакция может до некоторой степени казаться испытывающей полную инверсию и у кого растительная жизнь должна казаться, напротив, предназначенной по существу для поддержания животной жизни, ставшей по видимости главной целью и преимущественной чертой органического существования. Но в самом человеке эта странная инверсия общего порядка живого мира начинает становиться понятной лишь с помощью очень заметного развития разума и общительности, которая имеет тенденцию все более и более искусственно превращать (в теории Огюста Конта — очень аристократично в том смысле, что небольшое число привилегированных интеллектов, которых, естественно, поддерживает и кормит мускульный труд масс, должно управлять, по его мнению, остальной частью человечества) вид в один огромный и вечный индивид, одаренный способностью к постоянно прогрессивному воздействию на внешнюю природу. Только с этой точки зрения можно правомерно рассматривать это свободное и систематическое подчинение растительной жизни жизни животной как идеальный тип, к которому непрерывно стремится цивилизованное человечество, хотя он никогда не должен быть полностью осуществлен... Основы и начало существенных свойств человечества должны, бесспорно, быть

заимствованы социальной наукой из биологической науки..." "Даже по отношению к человеку биология, ограниченная исключительным изучением индивида, должна строго придерживаться первоначального понятия животной жизни, подчиненной жизни растительной, как общего закона органического царства, единственное видимое исключение из которого составляет специальный предмет совершенно другой основной науки (социологии). В этой связи нужно, наконец, добавить, что а высших организмах только органическая жизнь, кроме того, что она составляет одновременно их основу и цель, остается еще целиком общей всем различным, клеткам, из которых эти организмы состоят, и в то же самое время только она осуществляется непременно непрерывным образом, тогда как животная жизнь, напротив, является по существу прерывистой" {Auguste Comte. Cours de philosophic positive, t. Ill, pp. 207-209).

В собственно животном мире та же самая мировая движущая сила воспроизводит этот родовой закон питания, присущий всему организованному на земле, в особой и новой форме, сочетая его с двумя свойствами, которые отличают всех животных от всех растений: свойствами чувствительности и раздражимости, являющимися с очевидностью материальными способностями, по отношению " которым так называемые идеальные способности — способность чувства, называемая нравственностью, а также способность разума и воли, — очевидно, суть не что иное, как наивысшее их выражение или их последнее превращение. Эти два свойства, чувствительность и раздражимость, встречаются только у животных; у растений они не встречаются: в сочетании с общим для тех и других основным законом всякого живого организма, законом питания, они образуют посредством этого сочетания особый родовой закон всего животного мира. Для пояснения этого сюжета я процитирую еще несколько высказываний Огюста Конта: "Никогда не следует терять из виду двойной глубокой связи животной жизни с жизнью органической (растительной), которая постоянно составляет для нее предварительную необходимую основу и в то же время ее общую, не менее необходимую цель. Ныне нет нужды настаивать на первом пункте, который вполне выявлен здравым физиологическим анализом; сейчас признано, что для того, чтобы питаться и чувствовать, животное должно сначала жить в самом простом значении этого слова, то есть произрастать, и что всякое полное прекращение этой растительной жизни с необходимостью имеет своим следствием одновременное прекращение жизни животной. Что касается второго аспекта, который до сих пор гораздо менее выяснен, то каждый может легко признать — либо применительно к явлениям раздражимости, либо применительно к явлениям чувствительности, — что они по сути дела на любом уровне животной шкалы направляются общими потребностями органической жизни, основной образ действия которой они совершенствуют, либо тем, что обеспечивают для нее лучшие материалы, либо тем, что предвидят или устраняют неблагоприятные влияния: сами умственные и нравственные функции не имеют обычно никакого другого первоначального назначения. Если бы раздражимость не имела такого общего предназначения, она непременно выродилась бы в беспорядочное возбуждение, а чувствительность — в смутное созерцание: и тогда либо одно, либо другое разрушило бы вскоре организм посредством чрезмерного его упражнения или же они спонтанно атрофировались бы из-за отсутствия надлежащей стимуляции. Только в человеческом роде, причем достигшем высокой степени цивилизации, возможно постигнуть своеобразную инверсию этого основного порядка, если представить себе вегетативную жизнь как по сути дела подчиненную животной жизни, которая единственно и предназначена для того, чтобы вызывать развитие, что, как мне кажется, составляет самое благородное понятие, которое могло бы образоваться о человечности в

собственном смысле слова, отличном от животного состояния: такое превращение становится возможным, если мы не хотим впасть в очень опасный, мистицизм, лишь постольку, поскольку посредством успешного отвлечения на род в целом или по крайней мере на общество переносят первоначальную цель (цель питания и самосохранения), которая применительно к животным ограничивается индивидом или распространяется по крайней мере в настоящее время на род"*.

* Auguste Comte. Cours de philosophic positive, t. Ill, pp. 493-494.

В заметке, которая следует сразу же за этим пассажем, Огюст Конт добавляет: "В наше время философ метафизическо-теологической школы претендовал на характеристику человека посредством такой звонкой формулы: Разум, пользующийся органами... Обратное определение было бы, очевидно, намного истиннее, особенно применительно к первобытному человеку, не усовершенствованному очень развитым общественным состоянием... Какой бы стадии ни достигла цивилизация, всегда только у небольшого числа избранных людей разум сможет добиться, в целом организме, достаточно явного преобладания, с тем чтобы действительно стать существенной целью всякого человеческого существования, вместо того чтобы служить простым инструментом, основным средством для наилучшего удовлетворения главных органических потребностей; а это, если отвлечься от всяких пустых декламации, как раз то, что несомненно характеризует самый ординарный случай"*.

* Очевидно, что этими словами Огюст Конт подготавливает основы для своей социологической и политической системы, которая, как известно, увенчивается идеей управления массами — фатально приговоренными, по его мнению, к тому, чтобы никогда не выйти из ненадежного состояния пролетариата, — посредством своего рода теократии, состоящей из жрецов, — не религии, но науки, или посредством того небольшого числа избранных людей, столь удачно организованных, что полное подчинение материальных интересов жизни идеальным или трансцендентным занятиям ума, выступающего pium desiderium осуществления невозможного для массы людей, становится у них действительностью. Этот практический вывод Огюста Конта покоится на очень ложном наблюдении. Совершенно неправильно утверждать, что в любую историческую эпоху массы заняты исключительно своими материальными интересами. Их можно было бы, напротив, упрекнуть в том, что они до сих пор ими слишком пренебрегали, слишком легко посвящали себя платонически идеальным тенденциям, отвлеченным и фиктивным интересам, которые всегда рекомендовались их вере теми избранными людьми, которым Огюст Конт столь великодушно дарует исключительное управление человечеством. Такими были тенденции и интересы религиозные, патриотические, национальные и политические, включая интересы исключительно политической свободы — очень реальные для привилегированных классов и всегда полные иллюзий и разочарований для масс. Несомненно огорчительно, что массы всегда тупо доверялись всем официальным и официозным шарлатанам, которые с очень корыстной в большинстве случаев целью убеждали их пожертвовать их материальными интересами. Но эта тупость объясняется их невежеством, и кто сомневается в том, что массы еще и сегодня исключительно невежественны? Но что неверно утверждать, так это то, что массы менее способны стать выше своих материальных забот, чем другие классы общества, чем ученые, например. Разве то, что мы видим ныне во Франции, не дает нам доказательство противного? Где вы найдете в этот час истинный патриотизм, способный на любую жертву? Конечно, его не будет в буржуазной ученой среде, он есть только в пролетариате городов; но,

однако, родина — добрая мать только для буржуазии, а для рабочего она всегда была мачехой.
Без всякого преувеличения я могу сказать, что гораздо больше действительного идеализма, в смысле бескорыстия и самопожертвования, имеется в народных массах, чем в каком-либо другом классе общества. То, что этот идеализм чаще всего принимает странные формы, что он сопровождается большой слепотой и прискорбной тупостью, этому не стоит удивляться. Благодаря правлению избранных народ повсюду погружен в крайнее невежество. Буржуа очень презирают народ за его религиозные верования; они должны были бы презирать его также за его политические верования, ибо глупость в одном отношении стоит глупости в другом отношении, а буржуа используют и то и другое. Но вот что буржуа не понимают: то, что народ, который из-за отсутствия науки и сносного существования продолжает верить в догмы теологии и упиваться религиозными иллюзиями, проявляет себя тем самым более идеалистическим и если не более умным, то более разумным, чем буржуа, которые, ни во что не веря, ни на что не надеясь, довольствуются своим обыденным, исключительно жалким и ограниченным существованием. Религия, как и теология, есть несомненно большая глупость, но как чувство и как стремление она есть дополнение и своего рода компенсация — несомненно очень иллюзорная — убожества угнетенного существования, а также очень действительный протест против этого повседневного угнетения. Следовательно, она есть доказательство естественного, умственного и нравственного богатства человека и необъятности его инстинктивных желаний. Прудон был прав, когда говорил, что социализм не ставит другой задачи, кроме как рационально и действительно реализовать на земле иллюзорные и мистические обещания, осуществление которых отослано религией на небо. Эти обещания сводятся к следующему: благосостояние, полное развитие всех человеческих способностей, свобода в равенстве и в мировом братстве. Буржуа же, который, утратив религиозную веру, не становится социалистом (а за немногими исключениями, это относится ко всем буржуа), тем самым приговаривает себя на жалкую умственную и нравственную посредственность; и во имя этой посредственности буржуазия требует управления массами, которые, несмотря на свое прискорбное невежество, так бесспорно превосходят ее инстинктивным благородством ума и сердца!
Что касается ученых, этих привилегированных блаженных Огюста Конта, то я должен сказать, что нельзя было бы вообразить себе ничего более прискорбного, нежели судьба общества, управление которым было бы передано в их руки; это объясняется многими причинами, о которых у меня будет повод сказать ниже и которые я здесь только перечислю: 1) достаточно обеспечить ученому, одаренному наибольшим талантом, привилегированную позицию, чтобы парализовать или по крайней мере понизить и извратить его ум, сделав его практически со-заинтересованным в поддержании как политической, так и социальной лжи. Достаточно принять во внимание поистине жалкую роль, которую играет в настоящее время огромное большинство ученых в Европе во всех политических и социальных вопросах, которые волнуют общественное мнение, чтобы убедиться: привилегированная и патентованная наука превращается почти всегда в патентованные глупости и низости, и это происходит потому, что ученые совершенно неотделимы от своих материальных интересов и жалких забот о своем личном тщеславии. Видя то, что происходит ежедневно в мире ученых, можно даже утверждать, что из всех человеческих занятий наука обладает особой привилегией развивать в людях самый утонченный эгоизм и наиболее свирепое тщеславие; 2) из очень небольшого числа ученых, которые действительно отделены от всех

преходящих забот и всякого преходящего тщеславия, немногие, очень немногие не запятнаны большим пороком, который может уравновесить все другие достоинства; этот порок — надменность разума и глубокое, скрытое или открытое, презрение ко всему тому, что не столь же учено, как они. Общество, которое управлялось бы учеными, было бы поэтому правлением презрения, то есть наиболее подавляющим деспотизмом и наиболее унизительным рабством, которое человеческое общество могло бы выдержать. Это было бы также непременно правлением глупости, так как нет ничего более тупого, чем гордящийся самим собой ум. Одним словом, это было бы вторым изданием правления жрецов. И кроме того, как практически установить правление ученых? Кто их будет назначать? Это будет народ? Но он — невежествен, а невежество не может стать судьей науки ученых. Значит, это будут академии? Тогда можно быть уверенным, что будет правление ученой посредственности, ибо не было еще ни одного примера, чтобы академия сумела оценить гениального человека и отдала ему справедливость при его жизни. Академии ученых, как церковные соборы и конклавы, канонизируют своих святых лишь после их смерти; и когда они делают исключение для живого, будьте уверены, что этот живой — великий грешник, то есть дерзкий интриган или глупец.

Будем же любить науку, уважать искренних и серьезных ученых, выслушивать с большой признательностью наставления и советы, которые они с высоты своего трансцендентного знания желают нам дать; будем, однако, принимать их только при условии, что они вновь и вновь будут пропускаться через нашу собственную критику. Но во имя спасения общества, во имя нашего достоинства и нашей свободы, а также ради спасения их собственного ума никогда не предоставим им среди нас ни привилегированного положения, ни привилегированных прав. Для того чтобы их влияние на нас было полезным и истинно благотворным, нужно, чтобы это влияние не имело иного оружия, кроме равным образом свободной для всех пропаганды, а также нравственного убеждения, основанного на научной аргументации.

К этому размышлению добавляется другое очень важное размышление. Различные функции, которые мы называем способностями животных, ни в коей мере не таковы по природе, чтобы для животного было необязательно упражнять их или совсем не упражнять; все эти способности суть существенные свойства, необходимости, присущие организации животного. Различные виды, роды и классы животных отличаются друг от друга либо полным отсутствием какой-либо способности, либо преобладающим развитием одной или нескольких способностей в ущерб всем остальным. Даже внутри каждого вида, рода и класса животных все индивиды не в равной степени удачны. Совершенный экземпляр — это экземпляр, в котором все отличительные органы разряда, к которому индивид относится, оказываются гармонически развитыми. Отсутствие или слабость одного из этих органов составляют недостаток, и, когда это — существенный орган, индивид является уродом. Уродство или совершенство, достоинства или недостатки — все это дано индивиду природой, он получает все это при рождении. Но с момента, когда эта способность существует, она должна упражняться, и, пока животное не достигло возраста своего естественного нисхождения, она непременно стремится развиваться и упрочиваться посредством того повторяемого упражнения, которое составляет привычку, основу всякого животного развития; и чем больше она развивается и упражняется, тем больше она становится в животном непреодолимой силой, которой оно должно повиноваться.

Иногда случается, что болезнь или внешние обстоятельства, более сильные, чем это фатальное стремление индивида, мешают упражнению и развитию одной или

нескольких из его способностей. Тогда соответствующие органы атрофируются, и весь организм оказывается пораженным большим или меньшим страданием в зависимости от значения этих способностей и их соответствующих органов. Индивид может от этого умереть, но, пока он живет, пока у него еще остаются способности, он должен их упражнять под угрозой смерти. Следовательно, он ни в коей степени не хозяин всего, он, напротив, его невольный агент, раб. Именно универсальная движущая сила, или комбинация причин, которые определяют и производят индивида, включая его способности, действует в нем и посредством него. Именно самая эта мировая бессознательная, фатальная и слепая Причинность, эта совокупность механических, физических, химических, органических, животных и социальных законов, побуждает всех животных, включая человека, к действию и является истинным, единственным творцом животного и человеческого мира. Являясь во всех органических и живых существах как совокупность способностей или свойств, из которых одни присущи всем, а другие — только отдельным видам, родам или классам, она составляет в действительности основной закон жизни, и навязывает каждому животному, включая человека, фатальную тенденцию к осуществлению ради самого себя всех жизненных условий своего собственного вида, т.е. тенденцию к удовлетворению всех своих потребностей. Как живой организм, одаренный двойным свойством — чувствительности и раздражимости — и как таковой испытывающий то страдание, то удовольствие, всякое животное, включая человека, вынуждено своей собственной природой прежде всего есть и, пить, а также приводить себя в движение как ради поиска для себя пищи, так и для того, чтобы повиноваться высшей потребности своих мускулов; оно вынуждено беречь свое здоровье, укрываться, защищаться от всего, что ему угрожает в его питании, в его здоровье, во всех условиях его жизни; оно вынуждено любить, совокупляться и размножаться; оно вынуждено размышлять в меру своих умственных способностей при условиях своего сохранения и своего существования; оно вынуждено желать для самого себя все эти условия; направляемое своеобразным предвидением, основанным на опыте, предвидением, которого не лишено совершенно ни одно животное, оно вынуждено работать в меру своего разума и своей мускульной силы, с тем чтобы застраховать себя на более или менее отдаленное будущее.

Фатальная и непреодолимая во всех животных, не исключая самого цивилизованного человека, эта настоятельная и основная тенденция жизни составляет основу даже всех животных и человеческих страстей: инстинктивная, можно сказать почти что механическая в самых низших организмах, более осмысленная в высших видах, она достигает полного самосознания только в человеке, так как только человек, одаренный в высшей степени столь драгоценной способностью сочетать, группировать и полностью выражать свои мысли, только человек, способный ж отвлечению в своем мышлении от внешнего мира и даже от своего собственного внутреннего мира, способен возвыситься до всеобщности вещей и существ и с высоты этого отвлечения, рассматривая самого себя как объект своего собственного мышления, он может сравнивать, критиковать, упорядочивать и подчинять свои собственные потребности, никогда не имея, естественно, возможности выйти за пределы жизненных условий своего собственного существования; это позволяет ему, несомненно в очень ограниченных пределах и не имея возможности ничего изменить в мировом и фатальном течении действий и причин, определять отвлеченно-рассудочным образом свои собственные деяния и дает ему по отношению к природе ложную видимость совершенной спонтанности и совершенной независимости. Освещенный наукой и направляемый отвлеченно-рассудочной волей человека,

животный труд, или же активность, фатально навязанная всем живым существам как основное условие их жизни, — активность, которая направлена на изменение внешнего мира в соответствии с потребностями каждого и которая проявляется в человеке с той же фатальностью, что и в последнем животном на земле, — превращается тем не менее для сознания человека в искусный и свободный труд.

3. ЖИВОТНОЕ СОСТОЯНИЕ. ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Каковы потребности человека и каковы условия его существования? Изучая самым ближайшим образом этот вопрос, мы найдем, что, несмотря на бесконечную дистанцию, которая, как нам кажется, отделяет человеческий мир от животного мира, в сущности главные пункты самого утонченного человеческого существования и наименее развитого животного существования тождественны: родиться, развиться и вырасти, работать, чтобы есть, чтобы укрываться и защищаться, поддерживать свое индивидуальное существование в социальной среде вида, любить, воспроизводиться и затем умереть. К этим пунктам добавляется для человека только один новый: думать и познавать — способность и потребность, которые несомненно встречаются в низшей, хотя и достаточно заметной, степени у животных, наиболее приближающихся по своей организации к человеку, но которые только в человеке достигают столь повелительной и постоянно господствующей силы, что они преобразуют всю его жизнь. Как очень хорошо заметил один из наиболее отважных мыслителей наших дней, Людвиг Фейербах, человек делает все то, что делают животные, но только он призван это делать — и благодаря столь обширной способности мыслить, благодаря силе отвлечения, которая отличает его от животных и от всех других существ, он вынужден это делать — все более и более человечно. В этом все различие, но оно огромно. Оно содержит в зародыше всю нашу цивилизацию со всеми чудесами индустрии, науки и искусств, со всеми религиозными, философскими, эстетическими, политическими, экономическими и социальными проявлениями — одним словом, весь мир истории.

Все, что живет, сказал я, побуждаемое фатальностью, которая ему присуща и которая проявляется в каждом существе как совокупность способностей или свойств, стремится осуществиться в полноте своего бытия. Человек, существо одновременно мыслящее и живое, должен, для того чтобы осуществиться в этой полноте, познать самого себя. Вот причина огромного отставания, которое мы находим в его развитии и которое приводит к тому, что для того, чтобы прийти к нынешнему состоянию цивилизации в самых передовых странах, к состоянию, еще столь мало соответствующему идеалу, к которому мы ныне стремимся, человеку понадобилось я не знаю сколько десятков или сотен веков. Можно было бы сказать, что в своем поиске самого себя, через все свои исторические странствия и преобразования, он должен был сначала исчерпать все возможные зверства, беззакония и несчастия для того, чтобы только осуществить так мало разума и справедливости, которые ныне царят в мире.

Человек, постоянно побуждаемый той же фатальностью, которая составляет основной закон жизни, создает свой человеческий мир, свой исторический мир, отвоевывая шаг за шагом у внешнего мира и у своей собственной животности свою свободу и свое человеческое достоинство. Он отвоевывает их посредством науки и труда.

Все животные вынуждены работать, чтобы жить; все они, не опасаясь этого и не осознавая это ни в малейшей степени, участвуют в меру своих потребностей, своего разума и своей силы в столь неторопливом деле, как превращение поверхности нашего земного шара в место, благоприятное для животной жизни. Но этот труд

становится трудом собственно человеческим лишь тогда, когда он начинает служить удовлетворению не только постоянных и фатально предписанных потребностей животной жизни, но еще и потребностей социального, мыслящего и говорящего существа, которое стремится завоевать и полностью осуществить свою свободу.

Выполнение этой огромной задачи, которую особая природа человека навязывает ему как необходимость, присущую его существованию (человек вынужден завоевывать свою свободу), не является только умственным и нравственным делом; во временном порядке, а также под углом зрения нашего разумного развития это прежде всего материальное освобождение. Человек становится действительно человеком, завоевывает возможность своего внутреннего освобождения лишь в той мере, в какой он добивается разрыва цепей рабства, которыми внешняя природа отягощает все живые существа. Эти цепи, начиная с наиболее грубых и наиболее очевидных, суть: лишения всякого рода, непрерывное воздействие времен года и климата, голод, холод, жара, влажность, засуха и многие другие материальные влияния, которые прямо воздействуют на животную жизнь и поддерживают живое существо в квазибезусловной зависимости от внешнего мира; это постоянные опасности, которые угрожают живому существу, угнетают его со всех сторон в форме всякого рода естественных явлений, тем более что сам он, будучи естественным существом и лишь продуктом той самой природы, которая давит на него, окружает и пронизывает его, он несет в себе, если можно так выразиться, врага в самом себе, и у него нет никакого средства от него избавиться. Из этого рождается тот постоянный страх, который его охватывает и который составляет основу всякого животного существования, страх, который, как я докажу позднее, составляет первооснову всякой религии. Отсюда для животного вытекает также необходимость бороться на протяжении всей своей жизни против опасностей, которые угрожают ему совне, необходимость поддерживать свое собственное существование как индивида и свое общественное существование как вида за счет всего того, что его окружает: вещей, живых и органических существ. Отсюда для животных всех видов вытекает необходимость труда.

Всякое животное работает и живет, лишь работая. И человек как живое существо не освобожден от этой необходимости, которая есть верховный закон жизни. Чтобы поддерживать свое существование, чтобы развиваться во всей полноте своего существа, он должен работать. Однако между трудом человека и трудом животных всех видов имеется огромное различие: труд животных — застойный труд, так как их разум застоен; напротив, труд человека существенно прогрессивен, так как его разум прогрессивен в более высокой степени.

Ничто не доказывает лучше очень низкий уровень всех других видов животных по сравнению с человеком, как тот несомненный и безусловный факт, что методы, а также произведения как коллективного, так и индивидуального труда всех других животных, которые зачастую настолько искусны, что можно подумать, что они направляются и изготавливаются научно развитым разумом, почти не изменяются и не совершенствуются. Муравьи, пчелы, бобры, другие животные, которые живут в сообществах, нынче делают точно то же, что они делали три тысячи лет тому назад, а это доказывает, что в их разуме нет прогресса. Они столь же умны и столь же глупы сейчас, как и тридцать и сорок столетий назад. В животном мире происходит, правда, прогрессивное движение. Но медленно превращаются только сами виды, семейства и классы, которых побуждает борьба за жизнь, тот верховный закон животного мира, вследствие которого наиболее разумные и наиболее энергичные организации постепенно замещают более низкие организации, неспособные постоянно поддерживать борьбу против них. В этом отношении, но только в этом

отношении, в животном мире, бесспорно, есть движение и прогресс. Но внутри самих видов, семейств и классов животных их нет или почти нет. Труд человека, рассматриваемый как с точки зрения методов, так и с точки зрения продуктов труда, так же способен к совершенствованию и развитию, как и его ум. Сочетая деятельность своего мозга и своей нервной системы со своей мускульной деятельностью, свой развитый наукой разум со своей физической силой, применяя свое развивающееся мышление к своему труду, который, бывши сначала исключительно животным, инстинктивным и почти машинальным и слепым, становится затем все более и более осмысленным, человек творит свой человеческий мир. Для того чтобы представить себе огромный путь, пройденный человеком, и огромный прогресс его индустрии, пусть сравнят только хижины дикарей с роскошными дворцами Парижа, которые, как мнят прусские дикари, провиденциально предназначены для уничтожения; и пусть сравнят жалкое оружие первобытных народов с теми страшными орудиями разрушения, которые, кажется, стали последним словом германской цивилизации.

Только человек делает то, что не могут делать все другие виды животных, вместе взятые. Он действительно преобразовал большую часть поверхности земного шара; он превратил ее в место, благоприятное для существования, для человеческой цивилизации. Он победил и подчинил себе природу. Он превратил этого врага, этого первоначально страшного деспота в полезного слугу или по крайней мере в союзника, столь же мощного, как и преданного.

Однако следует отдавать себе полный отчет в подлинном смысле выражений: победить природу, подчинить природу. Есть риск впасть в очень досадное недоразумение, тем более легкое, что всякого рода теологи, метафизики и идеалисты никогда не пропускали случая, чтобы воспользоваться им для доказательства превосходства человека-ума над природой-материей. Они утверждают, что вне материи существует некий ум, и они, естественно, подчиняют материю уму. Не довольствуясь этим подчинением, они выводят материю из ума, представляя последний как творца первой. Мы не оставили камня на камне от этой бессмыслицы, и теперь мы не будем больше ею заниматься. Мы не знаем и не признаем никакого другого ума, кроме ума животного, рассматриваемого в его наивысшем выражении, как человеческий ум. И мы знаем, что этот ум ни в коей мере не есть отдельное сущее вне материального мира, но что он есть именно функционирование этой организованной и живой материи, материи оживотворенной, и специально мозга.

Для того чтобы подчинить природу в смысле метафизиков, ум должен был бы на самом деле существовать совершенно вне материи. Но никакой идеалист еще не смог ответить на такой вопрос: если материя не имеет предела ни в длину, ни в ширину, ни в глубину и если предположить, что ум находится вне материи, которая занимает всю бесконечность пространства во всех возможных направлениях, то каким же тогда может быть место ума? Или он должен занимать то же место, что и материя, строго распространяться повсюду, как материя, вместе с ней быть неотделимым от материи, или же он не может существовать. Но если чистый ум неотделим от материи, тогда он исчезает в материи, и он существует только как материя; а это значило бы еще раз сказать, что только материя существует.

Или же было бы нужно предположить, что, будучи неотделимым от материи, ум остается вне ее. Но тогда где, если материя занимает все пространство? Если ум находится вне материи, он должен быть ею ограничен. Но как нематериальное, бесконечное могло бы либо ограничиваться материальным, либо быть содержимым материального, конечного? Если ум совершенно чужд материи и независим от нее, то не очевидно ли, что он не должен и не может оказывать на нее

ни малейшего воздействия, не может подчинять ее? Ведь только то, что материально, может воздействовать на материальные вещи.
Отсюда видно, что, как бы ни был поставлен этот вопрос, непременно приходишь к чудовищной нелепости. Если упорно настаивать на том, что вместе живут столь несовместимые вещи, как чистый ум и материя, то приходишь к отрицанию того и другого, к ничто. Для того чтобы существование материи было возможно, нужно, чтобы она была, — будучи Сущим по преимуществу, единственным в своем роде Сущим, одним словом, всем, что есть, — была единственной основой любой существующей вещи, основанием ума. А для того, чтобы ум был действительно прочным, нужно, чтобы он вел начало от материи, чтобы он выступал как ее проявление, ее функционирование, продукт. Чистый ум, как я докажу позднее, есть лишь безусловное отвлечение. Ничто.
Но раз уж ум является продуктом материи, то каким образом он может изменять материю? Так как человеческий ум есть не что иное, как функционирование человеческого организма, а этот организм есть совершенно материальный продукт той бесконечной совокупности действий и причин, той мировой причинности, которую мы называем природой, то где он берет силу, необходимую для преобразования природы? Условимся: человек не может ни остановить, ни изменить этот мировой ход действий и причин; он не способен изменить никакой закон природы, так как он сам существует и действует, сознательно или бессознательно, в силу этих законов. Возьмем, например, бушующий и уничтожающий все на своем пути ураган, который подгоняется силой, которая, как нам кажется, ему присуща. Если бы он мог иметь самосознание, он мог бы сказать: "Это я своим действием и своей спонтанной волей уничтожаю то, что создала природа". И он бы впал в ошибку. Он, несомненно, причина разрушения, но причина относительная, следствие множества других причин; он есть не что иное, как лишь феномен, фатально определенный мировой причинностью, той совокупностью непрерывных действий и противодействий, которая составляет природу. Так же обстоит дело со всеми действиями, которые могут совершаться всеми организованными, одушевленными и разумными существами. В момент, когда они рождаются, они первоначально суть лишь продукты; но как только они родились, и оставаясь вплоть до своей смерти производимыми и воспроизводимыми той самой природой, которая их сотворила, они в свою очередь становятся относительно деятельными причинами — одни с сознанием и ощущением того, что они делают, как все животные, включая человека, другие без сознания, как все растения. Но что бы они ни делали, и те и другие суть не что иное, как лишь относительные причины, действующие в лоне природы в соответствии с законами природы, но никогда против нее. Каждый действует в соответствии со способностями, или свойствами, или законами, которые в данный момент ему присущи, которые составляют все его существо, но которые не связаны бесповоротно с его существованием; в доказательство: когда он умирает, эти способности, эти свойства, эти законы не умирают; они, соединяясь с новыми существами и не имея никакого существования вне этой современности и этой последовательности действительных существ, переживают его таким образом, что сами они не составляют какого-либо нематериального или отдельного существа, оставаясь вечно соединенными с преобразованиями неорганической, органической и животной материи или, скорее, представляя собой лишь эти упорядоченные преобразования единственно сущего, материи, каждое существо которого, даже самое разумное и по видимости самое своевольное, самое свободное в любой момент своей жизни, что бы оно ни думало, что бы ни предпринимало, что бы ни

делало, есть лишь представитель, функционер, орган, невольно и фатально определенный мировым ходом действий и причин.
Воздействие человека на природу, так же фатально определенное законами природы, как и всякое другое действие в мире, есть продолжение, несомненно очень непрямое, механического, физического и химического действия всех сложных и простых неорганических сущих; это — более прямое продолжение воздействия растений на свою естественную среду и ближайшее продолжение все более и более развитого и самосознающего действия всех видов животных. Оно в самом деле есть не что иное, как животное действие, но направленное развивающимся разумом, наукой; впрочем, развивающийся интеллект и эта наука сами представляют собой лишь новое превращение материи в человеке. Отсюда следует, что когда человек действует на природу — это еще природа, которая воздействует на самое себя. Как видно, никакой бунт человека против природы невозможен.
Значит, человек никогда не может бороться против природы; следовательно, он не может ее ни победить, ни подчинить; даже тогда, как я сказал, когда он предпринимает и совершает действия, которые по видимости в наибольшей степени противны природе, он подчиняется законам природы. Ничто не может освободить его от нее, он — ее совершенный раб. Но это рабство не единственное, так как всякое рабство предполагает два существа, существующие одно вне другого, причем одно подчинено другому. Человек не находится вне природы, ибо сам есть не что иное, как природа; значит, он не может быть ее рабом. Каково же тогда значение слов: бороться с природой, подчинить природу? Здесь есть вечное недоразумение, которое объясняется двойным смыслом, обычно придаваемым слову природа. В одном случае ее рассматривают как всеобщую мировую совокупность вещей и существ, а также естественных законов; против так понимаемой природы, как я сказал, никакая борьба невозможна; так как природа охватывает и содержит все, она является абсолютным всемогуществом, единственным сущим. В другом случае под словом природа понимают более или менее ограниченную совокупность явлений, вещей и существ, которые окружают человека, — одним словом, его внешний мир. Против этой внешней природы борьба не только возможна — она фатально необходима, фатально навязана мировой природой всему, что живет, всему, что существует; ибо всякое существующее и живое существо, как я уже заметил, несет в себе следующий двойной естественный закон: 1) оно не имеет возможности жить вне своей естественной среды или своего внешнего мира; 2) оно может поддерживать себя, лишь существуя, лишь живя в ущерб этой среде, этому миру, постоянно борясь против этой среды, этого мира. Значит, этот мир или эту внешнюю природу человек, оснащенный способностями и свойствами, которыми его одарила всеобщая природа, может и должен победить, может и должен побороть; рожденный в первоначальной квазисовершенной зависимости от внешней природы, он должен в свою очередь покорить ее и отвоевать у нее свою собственную свободу и свою человечность.
До всякой цивилизации и до всякой истории, в исключительно отдаленную эпоху и в течение периода времени, который мог длиться неизвестное число тысяч лет, человек сначала был лишь диким животным среди многих других диких животных — может быть, как горилла или очень близкий к горилле сородич. Он, как плотоядное или скорее всеядное животное, был несомненно более прожорлив, более свиреп, более жесток, чем его родня из других видов. Он вел, как и они, разрушительную войну, и, как они, он работал. Таким было девственное состояние, как его превозносят всевозможные религии, идеальное состояние, столь

расхваленное Жаном Жаком Руссо. Кто вырвал человека из этого животного рая? Его развивающийся интеллект, естественно, непременно и последовательно прилагающийся к его животному труду. Но в чем состоит прогресс человеческого разума? С формальной точки зрения он особенно состоит в наибольшей привычке мыслить, которая приобретается упражнением мышления, а также во все более точном и чистом сознании своей собственной деятельности. Но все, что формально, становится какой-либо действительностью, лишь соотносясь со своим объектом: но каков объект той формальной деятельности, которую мы называем мышление? Это действительный мир. Человеческий разум развивается, прогрессирует лишь посредством познания действительных вещей и фактов, посредством сознательного наблюдения и посредством все более и более точного и подробного установления существующих между ними отношений и упорядоченной последовательности естественных явлений, различных порядков их развития, или, одним словом, всех присущих им законов. В момент, когда человек приобрел знание законов, которым подчинены все действительные существования, включая его собственное, он научается сначала предвидеть некоторые явления, что позволяет ему их предупредить или гарантировать себя от тех из их последствий, которые могли бы стать для него пагубными и вредными. Кроме того, это знание законов, направляющих развитие естественных явлений, примененное к его мускульному, первоначально чисто инстинктивному или животному труду, позволяет ему постоянно извлекать пользу из этих же самых естественных явлений и всех вещей, совокупность которых составляет внешний мир, который первоначально был столь враждебен ему, но который затем благодаря этой научной краже в конечном счете мощно способствует осуществлению его цели.

Если привести очень простой пример, то так происходит с ветром, который сначала давил человека деревьями, вырванными с корнем его силой, или опрокидывал его дикую хижину, а позднее вынужден был молоть его хлеб. Так происходит с одним из наиболее разрушительных элементов — огнем, который, когда его должным образом приспособили, дал человеку благодатное тепло и менее дикую, более человеческую пищу. Заметим, что наиболее разумные обезьяны знали, что можно прийти погреться, как только разжигали огонь, но ни одна из них не могла сама разжечь его, ни даже поддерживать его, подбрасывая в него новый хворост. Несомненно также, что прошло много веков, прежде чем человек, дикий и столь же мало разумный, как обезьяны, научился этому ныне столь рудиментарному, столь тривиальному и в то же время столь ценному искусству разжигать огонь в печи и умело пользоваться огнем для своего собственного употребления. Вот почему древние мифологи не преминули обожествить человека или, скорее, людей, которые сумели первыми извлечь из этого пользу. И вообще мы должны предположить, что самые простые искусства, которые в это время составляли основы домашнего хозяйства наименее цивилизованных народов, стоили первым человеческим поколениям огромных изобретательных усилий. Это объясняет приводящую в отчаяние медлительность человеческого развития на протяжении первых веков истории по сравнению с быстрым развитием наших дней.

Таков, значит, способ, которым человек преобразовал и продолжает преобразовывать, побеждать и подчинять свою среду, внешнюю природу. Разве он это делает посредством бунта против законов той мировой природы, которая, охватывая все, что есть, составляет также его собственную природу? Напротив, именно посредством познания, самого почтительного и самого скрупулезного наблюдения этих законов ему не только удается постепенно освободиться от ига внешней природы, но в свою очередь еще и покорить ее, по крайней мере частично.

Но человек не довольствуется этим воздействием на собственно внешнюю природу. Поскольку есть разум, способный отвлечься от своего собственного тела и своей собственной личности и рассматривать ее как внешний объект, человек, постоянно побуждаемый присущей его существу потребностью, применяет тот же способ, тот же метод для изменения, для исправления, для совершенствования своей собственной природы. Он представляет собой естественное внутреннее иго, которое человек также должен сбросить. Это иго представляется ему сначала в форме его несовершенств и слабостей или даже его индивидуальных как телесных, так и умственных и нравственных болезней; затем в более общей форме своей дикости или своей животности перед лицом своей человечности, поскольку последнее осуществляется в нем поступательно посредством коллективного развития его социальной среды.

Чтобы победить это внутреннее рабство, у человека нет также никакого иного средства, кроме науки о естественных законах, которая направляет его индивидуальное и его коллективное развитие, а также приложение этой науки как к его индивидуальному воспитанию (гигиеной, гимнастикой своего тела, своих чувств, своего ума и своей воли и посредством разумного образования), так и к постепенному преобразованию социального порядка. Ибо не только он сам, рассматриваемый как индивид, но и его социальная среда, то человеческое общество, ближайшим продуктом которого он есть, в свою очередь есть продукт мировой и всемогущей природы в том же качестве и таким же образом, каким им выступают муравейники, ульи, общности бобров и всех других видов животных ассоциаций; и так же, как эти ассоциации, бесспорно, образованы и живут доныне в соответствии с естественными свойственными им законами, человеческое общество во всех фазах своего исторического развития подчиняется, хотя само оно в этом сомневается большую часть времени, законам, которые естественны, как и законы, которые управляют животными ассоциациями, но по крайней мере часть которых ему исключительно присуща. По своей как внешней, так и внутренней природе человек есть не что иное, как животное, которое благодаря сравнительно более совершенной организации своего мозга одарено только большей дозой разума и аффективных сил, нежели животные других видов. Поскольку, следовательно, базис человека, рассматриваемого как индивид, представляется, таким образом, полностью животным, базис человеческого общества также не мог бы быть иным, как животным. Но так как разум человека-индивида — это прогрессирующий разум, организация этого общества также должна быть прогрессивной. Прогресс есть, строго говоря, естественный основной и присущий исключительно человеческому обществу закон.

Воздействуя на самого себя и на социальную среду, ближайшим продуктом которой, как я только что сказал, он есть, человек — и не будем забывать об этом никогда — не делает ничего другого, кроме как подчиняется естественным, ему свойственным законам, которые действуют в нем с неумолимой и непреодолимой фатальностью. Будучи последним продуктом природы на земле, человек продолжает, если можно так сказать, посредством своего индивидуального и социального развития ее дело, творение, движение и жизнь. Самые разумные, самые отвлеченные и как таковые самые удаленные от того, что называют обычно природой, его мысли и его действия суть не что иное, как ее новые творения или проявления. Значит, с этой мировой природой у человека не может быть никакого внешнего отношения, ни рабства, ни борьбы, так как он носит эту природу в самом себе и ничего собой не представляет вне ее. Но, изучая эти законы, отожествляя себя некоторым образом с ними, преобразуя их психологическим способом, свойственным его мозгу, в человеческие идеи и человеческие убеждения, он

освобождается от тройного ига, которое ему навязывают сначала внешняя природа, затем его собственная природа и, наконец, общество, продуктом которого он является.
После всего того, что я только что сказал, мне кажется очевидным, что никакой бунт против того, что я называю причинностью или мировой природой, невозможен для человека: она его окружает, она его пронизывает, она и вне его, и в нем самом, она составляет все его бытие. Бунтуя против нее, он бунтовал бы против самого себя. Очевидно, что для человека невозможно признать только слабость попытки и нужды в подобном бунте, так как, не существуя вне мировой природы и нося ее в самом себе, находясь в любой момент своей жизни в полном тожестве с ней, он не может ни рассматривать себя, ни чувствовать себя перед ней в качестве раба. Напротив, только изучая и присваивая себе, если можно так выразиться, посредством мысли вечные законы этой природы, — законы, которые проявляются равным образом и во всем том, что составляет его внешний мир, и в его собственном индивидуальном развитии: телесном, умственном и нравственном, — он добивается постепенно сбрасывания ига внешней природы, ига своих собственных естественных несовершенств и, как мы увидим позднее, ига авторитарно установленной социальной организации.
Но как тогда могла возникнуть в уме человека эта историческая мысль о разделении ума и материи? Как можно было понять беспомощную, смешную, но также историческую попытку бунта против природы? Эта мысль и эта попытка современны историческому творению идеи бога; они были ее необходимым следствием. Сначала под словом "природа" человек подразумевал только то, что мы называем внешней природой, включая его собственное тело; а то, что мы называем мировой природой, он назвал Богом; с тех пор законы природы стали не законами, присущими природе, но проявлениями божественной воли, заповедями Бога, навязанными свыше как природе, так и человеку. После этого человек, вступившись за этого созданного им самим Бога против природы и против самого себя, взбунтовался против нее и создал свое собственное политическое и социальное рабство.
Таким стало историческое дело всех религиозных догм и культов.

4. РЕЛИГИЯ

Ни одно большое политическое и социальное преобразование не совершилось в мире без сопровождения часто предшествующего аналогичного движения в религиозных и философских идеях, направляющих сознание как индивидов, так и общества.
Разве, впрочем, не доказывает нам история, что священники всех религий, за исключением преследуемых культов, всегда были союзниками тирании? И разве даже эти последние, борясь с противными им властями и проклиная их, не дисциплинировали своих собственных верующих во имя новой тирании? У умственного рабства, каким бы оно ни было по природе, всегда неизбежным следствием будет политическое и социальное рабство. В настоящее время христианство во всех его различных формах, а вместе с ним и та доктринерская деистическая и пантеистическая метафизика, которая есть не что иное, как плохо загримированная теология, образуют огромное препятствие на пути освобождения общества. И это доказывается тем фактом, что все правительства, все государственные люди, все, кто считает себя официально или официозно пастырями народа и огромное большинство которых в настоящее время не являются несомненно ни христианами, ни даже деистами, но вольнодумцами, такими, как г. Бисмарк, покойный граф Кавур, покойный Муравьев-вешатель и

павший император Наполеон III, не верящими ни в Бога, ни в Дьявола, с явным интересом оказывают тем не менее покровительство всем религиям, лишь бы эти религии учили, как, впрочем, они все это делают, смирению, терпению и подчинению.
Этот единодушный интерес правителей всех стран к поддержанию религиозного культа доказывает, насколько необходимо в интересах народа, чтобы он был опровергнут и опрокинут.
Наряду с одновременно негативным и позитивным вопросом об освобождении и организации труда на основах экономического равенства, наряду с исключительно негативным вопросом об уничтожении политической власти и ликвидации Государства вопрос об уничтожении религиозных идей и религиозных культов есть один из наиболее неотложных, ибо, пока религиозные идеи не будут радикально искоренены из представлений народов, полная эмансипация народа останется невозможной.
Для человека, разум которого вознесся на современную высоту науки, единство Вселенной или действительного Сущего есть отныне усвоенный факт. Но невозможно отрицать тот факт, который для нас представляется настолько очевидным, что мы не можем даже понять, что его можно не знать, находится в явном противоречии со всемирным сознанием человечества, которое, если отвлечься от различий форм, в которых оно проявлялось в истории, всегда единогласно высказывалось за существование двух различных миров: мира духовного и мира материального, мира божественного и мира действительного. Начиная с грубых фетишистов, которые обожают в окружающей их среде действие сверхъестественной силы, воплощенной в каком-нибудь материальном предмете, и кончая самыми утонченными и наиболее трансцендентальными метафизиками, огромное большинство людей, все народы верили и верят еще и ныне в существование какого-нибудь надмирового божества.
Мне кажется поэтому срочным полное решение следующего вопроса:
Если человек, образует вместе с мировой природой одно целое и если он есть лишь материальный продукт стечения бесконечных материальных причин, то как могла возникнуть, установиться и так глубоко укорениться в человеческом сознании идея этого дуализма, предположение о существовании двух противостоящих миров, из которых один — духовный, а другой — материальный, один — божественный, а другой — естественный? Действие и беспрестанное противодействие Целого на каждую точку и каждой точки на Целое составляют, как я уже сказал, общий, верховный закон и даже действительность этого единственного в своем роде Сущего, которое мы называем Мирозданием и которое всегда есть производитель и продукт. Вечно активная, всемогущая, источник и вечная равнодействующая всего, что есть, что рождается, действует и противодействует, а затем умирает в ее недрах, эта всемирная взаимосвязь, эта взаимная причинность, этот вечный процесс действительных, как всеобщих, так и бесконечно дробных превращений, совершающихся в бесконечном пространстве, природа создала среди бесконечного числа других миров нашу землю со всей лествицей ее существ, начиная с простейших химических элементов, с первичных образований материи со всеми ее механическими и химическими свойствами и кончая человеком. Она их постоянно воспроизводит, развивает, питает, сохраняет, а затем, когда приходит их срок, а часто даже до того, как он пришел, она их разрушает или, скорее, превращает в новые существа. Она, следовательно, есть Всемогущество, от которого нет ни независимости, ни возможной автономии, она — верховное сущее, которое заключает в себе и пронизывает своим непреодолимым действием все существование существ; и среди живых существ нет

ни одного, которое не несло бы в себе несомненно более или менее развитого чувства или ощущения этого верховного влияния и этой безусловной зависимости. И это ощущение и это чувство составляют самое основу всякой религии.
Как видно, религия, как и все остальное у человека, имеет свой первоисточник в животной жизни. Нельзя сказать, что у какого-либо животного, исключая человека, есть определенная религия, так как самая грубая религия предполагает уже определенную степень рефлексии, до которой ни одно животное, кроме человека, не поднялось. Но нельзя также отрицать, что в существовании всех животных без всякого исключения имеются все, если можно так выразиться, материальные или инстинктивные элементы, составные части религии, за исключением ее собственно идеальной стороны, той даже стороны, которая должна ее рано или поздно разрушить, — мышления. В самом деле, каково действительное существо всякой религии? Это как раз чувство безусловной зависимости обычного индивида перед лицом вечной и всемогущей природы.
Нам трудно наблюдать это чувство и анализировать все его проявления у животных низших видов; однако мы можем сказать, что инстинкт сохранения, который обнаруживается даже в самых бедных организациях, несомненно в меньшей степени, чем в высших, представляет собой лишь обычное послушание, образующееся в каждом животном под влиянием этого чувства, которое есть не что иное, как первое основание религиозного чувства. У животных, одаренных более полной организацией и которые ближе к человеку, оно проявляется гораздо более ощутимым для нас образом, например в инстинктивном и паническом страхе, который охватывает их при приближении какой-нибудь большой естественной катастрофы, такой, как землетрясение, лесной пожар или сильная буря, или же при приближении какого-нибудь свирепого хищного животного, какого-нибудь лесного прусака". И вообще можно сказать, что страх — это одно из господствующих чувств в животной жизни. Все животные, живущие на свободе, — пугливы, что доказывает, что они живут в непрерывном инстинктивном страхе, что у них всегда есть чувство опасности, то есть чувство всемогущего влияния, которое их всегда и везде преследует, пронизывает, окружает. Эта боязнь, боязнь Бога, сказали бы теологи, есть начало послушания, то есть религии. Но у животных она не становится религией, так как им не хватает той силы рефлексии, которая фиксирует чувство и определяет его объект и которая превращает это чувство в отвлеченное понятие, 'которое можно выразить словами. Значит, было основание утверждать, что человек религиозен по природе, он им является, как и все другие животные; но только у него на земле есть сознание своей религии.
Говорят, что религия — это первое пробуждение разума. Да, но в форме неразумия. Религия, как я только что сказал, начинается со страха. И в самом деле, пробуждаясь при первых лучах того внутреннего солнца, которое называется самосознанием, медленно, шаг за шагом выходя из гипнотического полусна, из того совершенно инстинктивного существования, которое он вел, когда находился еще в состоянии чистой девственности, то есть в животном состоянии; родившись, между прочим, как всякое животное, в страхе перед тем внешним миром, который его породил и который его уничтожает, — у человека первым объектом его рождающейся рефлексии неизбежно должен был быть сам этот страх. Можно даже допустить, что у первобытного человека при пробуждении его интеллекта этот инстинктивный ужас должен был быть более сильным, чем у других животных, прежде всего потому, что он рождается гораздо менее вооруженным, чем другие, и его детство длится дольше; затем потому, что, едва зародившись и еще не достигнув достаточной степени зрелости и силы для того, чтобы познавать и использовать внешние предметы, эта самая рефлексия сразу же должна была

вырвать человека из союза, из инстинктивной гармонии, в которой он, как сородич гориллы, и до того, как его мысль пробудилась, должен был находиться вместе с остальной частью природы. Первая рефлексия изолировала его некоторым образом в том внешнем мире, который, став ему чуждым, должен был ему представляться сквозь призму его детского, возбужденного и усиленного самим действием этой начинающейся рефлексии, воображения как мрачная и таинственная сила, бесконечно более враждебная и более угрожающая, чем она была в действительности.

Нам исключительно трудно, если не сказать невозможно, отдать себе точный отчет в первых религиозных ощущениях и представлениях дикого человека. В своих подробностях они должны были быть так же разнообразны, как разнообразна была собственная природа первобытных народов, которые их испытывали и постигали, как разнообразны были климат, природа местностей и другие определяющие обстоятельства, в которых они развивались. Но так как это были прежде всего человеческие ощущения и представления, они должны были, несмотря на это большое разнообразие в подробностях, сводиться в несколько простых тожественных моментов общего характера, которые не слишком сложно зафиксировать. Каким бы ни было происхождение различных человеческих групп; какой бы ни была причина анатомических различий, существующих между человеческими расами; пусть у людей в качестве предка будут единственный Адам-горилла, или сородич гориллы, или, что более возможно, они произошли от нескольких предков, которых природа создала независимо друг от друга в различных точках земного шара и в различные эпохи, способность, которая составляет и создает собственно человеческое в человеке, — рефлексия, сила отвлечения, разум, то есть способность сочетать идеи, — всегда и везде остается одной и той же, так же как законы, которые определяют ее различные проявления таким образом что ни какое человеческое развитие не могло бы совершиться вопреки этим законам. Это дает нам право думать, что главные стадии, наблюдавшиеся на первом этапе религиозного развития одного народа, должны были воспроизводиться на первом этапе развития всех других первобытных народов на земле.

Если судить по единодушным сообщениям путешественников, которые начиная с прошлого столетия посещали острова Океании, а также тех, кто в наши дни проник в глубь Африки, фетишизм должен быть первой религией, религией всех диких народов, наименее удаленных от природного состояния. Но фетишизм есть не что иное, как религия страха. Он есть первое человеческое выражение того ощущения безусловной зависимости, смешанное с инстинктивным ужасом, которое мы находим в основе всякой животной жизни и которое, как я уже заметил, составляет религиозное отношение со всемогуществом природы индивидов, относящихся даже к самым низкоразвитым видам. Кто не знает о влиянии, которое оказывают, и впечатлении, которое производят на все живые существа такие великие явления природы, как восход и заход солнца, полнолуние, смена времен года, чередование холода и жары или же естественные катастрофы, а также столь разнообразные и взаимно разрушительные отношения животных видов между собой и с различными растительными видами? Для каждого животного все это составляет совокупность условий существования, характер, природу, и у меня было уже почти искушение сказать — особый культ; ибо у животных, всех живых существ вы обнаружите своего рода обожание природы, смешанное со страхом и радостью, надеждой и беспокойством — радостью жить и боязнью перестать жить, и оно как чувство очень похоже на человеческую религию. Не преминут наличествовать здесь также мольба и даже молитва. Понаблюдайте за прирученной собакой,

вымаливающей ласку, взгляд своего хозяина: разве это не образ человека, преклоненного перед своим Богом? Разве собака посредством своего воображения и посредством начальной рефлексии, развитой в ней опытом, не переносит естественное всемогущество, во власти которого она находится, на своего хозяина, так же как верующий человек переносит его на своего Бога? В чем тогда различие между религиозным чувством собаки и религиозным чувством человека? Это даже не рефлексия, это степень рефлексии или даже скорее это способность ее фиксировать и постигать ее как отвлеченную мысль, ее обобщать, называя ее; человеческая речь имеет ту особенность, что, будучи неспособной называть действительные вещи, вещи, которые непосредственно воздействуют на наши чувства, она выражает лишь понятие о них или их отвлеченную общность; и так как речь и мышление — это две различные, но неразделимые формы одного и того же акта человеческой рефлексии, эта последняя, фиксируя объект животного ужаса и обожания или первого культа человека, обобщает его, превращает его, если можно так выразиться, в абстрактное сущее, стремясь назвать его по имени. Предмет, действительно обожаемый тем или тем индивидом, всегда остается этим: этот камень, этот кусок дерева, этот лоскут, а не другой; но как только он обозначен словом, он становится отвлеченной общей вещью: камень, кусок дерева, лоскут. Именно так вместе с первым пробуждением проявляющейся посредством речи мысли начинается исключительно человеческий мир, мир абстракций.

Эта способность отвлечения, источник всех наших знаний и всех наших идей, есть несомненно единственное основание всех человеческих освободительных дел. Но первое пробуждение в человеке этой способности не порождает непосредственно свободы.

Когда она начинает формироваться, медленно высвобождаясь из пеленок животной инстинктивности, она проявляется сначала не в форме осмысленной рефлексии, имеющей сознание и знание о своей собственной деятельности, но в форме воображающей рефлексии, не сознающей того, что она делает, и по этой причине всегда принимающей даже свои собственные продукты за действительные сущие, которым она наивно приписывает независимое существование, предшествующее всякому человеческому знанию, а себе приписывает только ту заслугу, что открыла эти продукты вне самой себя. Этим способом воображающая рефлексия человека заселяет свой внешний мир фантомами, которые ему кажутся более опасными, более сильными, более ужасными, чем действительные окружающие его существа; она освобождает человека от естественного рабства, во власти которого он находится, лишь для того, чтобы тотчас снова бросить его под иго в тысячу раз более тяжелого и еще более ужасного рабства — под иго религии.

Именно воображающая рефлексия человека превращает естественный культ, элементы и следы которого мы обнаружили у всех животных, в человеческий культ в элементарной форме фетишизма. Мы видели животных, инстинктивно обожающих великие явления природы, которые действительно оказывают на их существование прямое и сильное действие; но мы никогда не слышали о животных, которые обожают безвредный кусок дерева, тряпку, кость или камень, тогда как мы обнаруживаем этот культ в первобытных религиях дикарей и даже в католицизме. Как объяснить эту аномалию, по крайней мере по видимости столь странную, что с точки зрения здравого смысла и чувства реальности вещей демонстрирует нам человека как более низкое по сравнению с самыми скромными животными? Эта нелепость есть продукт воображающей рефлексии дикого человека. Он не только чувствует, как другие животные, всемогущество природы, он делает из него объект своей постоянной рефлексии, он его фиксирует, он

пытается его локализовать и в то же время он обобщает его, давая ему какое-нибудь имя; он превращает его в центр, вокруг которого группируются все его детские представления. Еще неспособный охватить своей мыслью мироздание, даже земной шар, даже столь ограниченную среду, в которой он родился и живет, он ищет повсюду, где же находится та всемогущая сила, чувство которой, отныне продуманное и закрепленное, неотступно следует за ним? И игрой, искажением своей невежественной фантазии, которую ныне нам было бы трудно объяснить, он приписывает это всемогущество куску дерева, тряпке, камню. Это — чистый, самый религиозный фетишизм, то есть самый нелепый из религий.

За фетишизмом, а часто рядом с ним идет культ колдунов. Это культ если не гораздо более рациональный, то по крайней мере более естественный, который нас меньше удивит, чем фетишизм. Мы к нему более привыкли, так как еще и ныне, даже в лоне той цивилизации, которой мы так гордимся, нас окружают колдуны: разве спириты, медиумы, ясновидцы со своим гипнотизмом, священники католической, греческой и римской Церкви, которые претендуют на то, что с помощью нескольких таинственных формул могут заставить господа Бога нисходить на воду и могут увидеть даже, как он превращается в хлеб и вино, все эти насильники над подчиненным их волшебству Божеством не такие же колдуны? Правда, божество, обожаемое и вызываемое нашими современными колдунами, обогащенное несколькими тысячами лет человеческой экстравагантности, намного сложнее, чем Бог первобытного колдовства, так как у последнего в качестве объекта сначала было только, несомненно уже закрепленное, но еще малоопределенное, представление о материальном Всемогуществе, у которого не было никакого другого атрибута, будь то умственного или нравственного. Различие добра и зла, справедливости и несправедливости тут еще неизвестно. Не знали о том, что Всемогущество любит, что оно ненавидит, что оно желает, чего оно не желает: оно — не доброе и не злое, оно — лишь Всемогущество. Однако божественный характер начинает уже вырисовываться: оно — эгоистично, тщеславно, оно любит похвалу, коленопреклонение, смирение и жертвоприношения людей, их обожание и их жертвы, и оно преследует и жестоко наказывает тех, "то не хочет подчиняться: бунтовщиков, гордецов, безбожников. Это, как известно, — главное основание божественной природы у всех древних и современных богов, созданных человеческим неразумием. Разве было когда-либо в мире существо более чудовищно завистливое, тщеславное, эгоистическое, мстительное, чем Иегова евреев, ставший позднее Богом-отцом христиан? В культе первобытного колдовства Бог, или неопределенное в умственном и нравственном отношении Всемогущество, появляется сначала неотделимым от личности колдуна: он сам есть Бог, как фетиш. Но со временем для действительного человека, особенно для дикаря, который, не имея никакого средства для того, чтобы укрыться от нескромного любопытства своих верующих, остается с утра до вечера открытым для их наблюдения, роль сверхъестественного человека, человека-Бога, становится невозможной. Здравый смысл, практический ум дикого племени, который развивается, правда, медленно, но постоянно опытом жизни, несмотря на все религиозные отклонения, приводит к тому, что доказывает ему практическую невозможность положения, при котором подверженный всем человеческим слабостям и недугам человек был бы Богом. И тогда колдун остается для диких верующих существом сверхъестественным, но только на время, пока он управляем*. Но кем управляем? Всемогуществом, Богом. Значит, обычно Божество находится вне колдуна. Где его искать? Фетиш, Бог-вещь — преодолен; колдун, человек-Бог — тоже. В первобытные времена все эти превращения совершались несомненно веками. Дикий, но уже продвинувшийся вперед, немного развитый и

обогащенный традицией нескольких веков человек ищет теперь Божество довольно далеко от себя, но все еще среди действительно существующих существ: в лесу, на горе, в реке, а позднее на солнце, на луне, на небе. Религиозная мысль начинает уже охватывать Мироздание.

* Так же как католический священник, который выступает действительно святым лишь тогда, когда он выполняет свои кабалистические таинства; так же как папа, который непогрешим, пока он, вдохновленный Святым Духом, определяет догматы веры.

Я уже сказал, что этого момента человек мог достичь лишь по истечении многих веков. Его способности отвлечения, его разум уже упрочились и развились практическим знанием вещей и наблюдением за их отношениями или их взаимной причинностью, а правильное чередование одних и тех же явлений дало ему первое понятие о некоторых естественных законах. Он начинает интересоваться совокупностью фактов и их причин. В то же время он начинает познавать самого себя и благодаря этому — ту силу отвлечения, которая позволяет ему рассматривать себя как объект; он отделяет свое внешнее и живое сущее от своего думающего сущего, свое внешнее от своего внутреннего, свое тело от своей души; и так как у него нет ни малейшего представления о естественных законах и так как он не ведает даже по названию эти науки, к тому же совершенно современные, называющиеся психологией и антропологией, он совершенно ослепляется этим открытием в самом себе своего собственного ума и, естественно, по необходимости воображает себе, что его душа, этот продукт его тела, напротив, есть его начало и причина. Но как только он различил в самом себе Внутреннее и Внешнее, духовное и материальное, он так же по необходимости переносит это различие на своего Бога: он начинает искать невидимую душу в видимой Вселенной. Таким образом должен был родиться религиозный пантеизм индийцев.

На этом пункте мы должны остановиться, так как именно здесь начинается собственно религия в полном значении этого слова, а вместе с нею также теология и метафизика. До этого момента религиозное воображение человека, находящегося во власти закрепленного представления о неопределенном и неуловимом Всемогуществе, естественно, протекало при его поиске путем экспериментального наблюдения, сначала в наиболее близких объектах, в фетишах, затем в колдунах, а еще позднее — в великих явлениях природы и, наконец, в звездах, но при этом оно всегда связывалось с каким-либо действительным и видимым объектом, каким бы удаленным он ни был. Теперь человек поднимается до идеи Бога-Вселенной, до абстракции. До сих пор все его Боги были отдельными и ограниченными Существами, находящимися среди многих других не божественных, не всемогущих, но тем не менее действительно существующих существ. Теперь он впервые ставит вопрос о всемирном Божестве: о Существе существ, субстанции, творящей все ограниченные и отдельные существа, о мировой душе, о Великом Целом. Вот здесь и начинается настоящий Бог, а вместе с ним и настоящая Религия.

5. ФИЛОСОФИЯ. НАУКА

Теперь мы должны изучить способ, посредством которого человек пришел к этому результату, с тем чтобы распознать по его историческому происхождению истинную природу Божества. И сначала первый вопрос, который представляется следующим образом: не является ли Великое Целое пантеистической религии абсолютно тем же, что и единое Сущее, которое мы назвали Мировой Природой? И да и нет. Да, ибо две системы — система пантеистической религии и научная, позитивистская система — охватывают ту же самую Вселенную. Нет, ибо они охватывают ее совершенно различным образом.

Что такое научный метод? Это реалистический метод по преимуществу. Он идет от подробностей к совокупности, от установления, изучения фактов к их сравнению, к идеям; при этом идеи суть лишь точное изложение отношений координации, последовательности и действия или взаимной причинности, которые действительно существуют между действительными вещами и действительными явлениями; их логика есть не что иное, как логика вещей. Так как в историческом развитии человеческого ума положительная наука появляется после теологии и после метафизики, человек приходит к науке уже подготовленным и значительно испорченным своего рода отвлеченным воспитанием. Значит, он привносит много отвлеченных идей, выработанных как теологией, так и метафизикой, — идей, которые для первой были предметами слепой веры, для второй — предметами трансцендентных спекуляций и игры более или менее искусных слов, объяснений и доказательств, которые, безусловно, ничего не объясняют и не доказывают, потому что они образовались вне какого-либо действительного экспериментирования и потому что у метафизики нет никакой другой гарантии для самого существования объектов, над которыми она размышляет, кроме заверений или императивного мандата теологии.

Человек, который прежде был теологом и метафизиком, но устал и от теологии и от метафизики по причине бесплодности их результатов в теории, а также по причине их столь пагубных последствий на практике, естественно, привносит эти идеи в науку; но он привносит их не как определенные принципы, которые как таковые должны служить ему отправным пунктом; он привносит их как вопросы, которые наука должна решить. Он приходит к науке только потому, что сам он начал их как раз ставить под сомнение. И он сомневается в них, так как длительный опыт теологии и метафизики, которые создали эти идеи, доказал ему, что ни та ни другая не дают никакой серьезной гарантии действительности их творений. То, в чем он сомневается и что он в первую очередь отбрасывает, — это не столько эти творения, эти идеи, сколько методы, пути и средства, которыми теология и метафизика их создала. Он отбрасывает систему откровения и верование теологов в абсурд, потому что это абсурд* и он не хочет больше поддаваться деспотизму священников и кострам Инквизиции. Он отбрасывает метафизику главным образом потому, что она, приняв без какой-либо критики или с иллюзорной, слишком снисходительной, легкой критикой идеи творения, основные идеи теологии: идеи Мироздания, Бога, души или ума, отделенного от материи, — построила на этих данных свои системы, и, приняв нелепость за отправную точку, она по необходимости и всегда приходила к нелепости. Значит, то, что человек ищет прежде всего, выйдя из теологии и метафизики, это — истинно научный метод, метод, который дает ему полную уверенность в действительности вещей, над которыми он размышляет.

*Credo quia absurdum (Тертуллиан).

Но для человека нет никакого другого средства, чтобы убедиться в несомненной действительности вещи, явления или факта, кроме как действительная встреча с ними, их установление, познание в их собственной целостности, без какой-либо примеси фантазий, предположений и прибавлений человеческого разума. Значит, опыт становится основой науки. В данном случае речь идет не только об опыте одного человека. Никакой человек, сколь бы умным, сколь бы любознательным, сколь бы счастливо одаренным он ни был во всех отношениях, не может все видеть, все встретить, все лично испытать. Если бы знание каждого ограничивалось бы своим собственным личным опытом, было бы столько наук, сколько есть людей, и каждая наука умирала бы вместе с каждым человеком. И не было бы науки.

Значит, основой для науки является коллективный опыт не только всех современных людей, но также и всех прошлых поколений. Но наука не принимает никакого свидетельства без критики. Прежде чем принять свидетельство современника или того, кто им уже не является, я должен, если только я не хочу ошибиться, сначала осведомиться о характере и природе, а также о состоянии разума этого человека, о его методе. Я должен прежде всего удостовериться, что этот человек был честным человеком, отвергающим ложь, с добрыми намерениями и со рвением ищущим истину; что он не был ни фантазером, ни поэтом, ни метафизиком, ни юристом, ни тем, кого называют человеком политическим, заинтересованным в политической лжи, и что таковым его считало громадное большинство его современников. Есть люди, например, которые очень умны, очень просвещенны, свободны от всяких предрассудков и всяких фантастических предубеждений, у которых, одним словом, реалистический ум, но которые, будучи слишком ленивыми для того, чтобы потрудиться над установлением существования и действительной природы вещей, предполагают их, изобретают их. Так делают статистики в России. Естественно, что свидетельство этих людей ничего не стоит. Иначе обстоит дело с людьми также очень умными и слишком честными для того, чтобы лгать и уверять о вещах, в которых они не уверены, но ум которых находится под игом либо метафизики, либо религии, либо какого-нибудь идеалистического предубеждения. Свидетельство этих людей, по крайней мере относящееся к предметам, которые близко касаются их навязчивой идеи, также должно быть отброшено, так как они имеют несчастье всегда попадать пальцем в небо. Но если человек соединит с большим реалистическим разумом, развитым и настоящим образом подготовленным наукой, преимущество в одно и то же время скрупулезного и усердного исследователя действительности вещей, его свидетельство становится ценным.

И еще: не должен ли я всегда принимать его свидетельство критично? И в чем состоит эта критика? В сравнении вещей, которые он мне обрисовывает, с результатами моего собственного личного опыта. Если его свидетельство гармонирует с ним, у меня нет никаких оснований отбрасывать это свидетельство, и я принимаю его как новое подтверждение того, что я признал сам; но если это свидетельство противно моему опыту, то должен ли я отбросить его, не осведомляясь о том, кто из нас двоих прав, он или я? Отнюдь нет. Я знаю по опыту, что мой эксперимент с вещами может быть ошибочным. Значит, я должен сравнить его результаты с моими и подвергнуть их новым наблюдениям и экспериментам. При необходимости я прибегаю к посредничеству и экспериментам третьего и многих других наблюдателей, серьезный научный характер которых внушает мне доверие, и я прихожу посредством модификаций либо моих, либо его результатов, иногда не без большого труда, к общему убеждению. Но в чем состоит опыт каждого? В свидетельстве его чувств, направляемых его разумом. Самостоятельно я не принимаю ничего, чего бы я материально не встретил, не увидел, не услышал и при необходимости не потрогал пальцами. Для меня лично это — единственное средство удостовериться в действительности вещи. И я верю только в свидетельства тех, кто действует непременно таким же образом.

Из этого следует, что наука основана прежде всего на координации массы современных и прошлых личных опытов, постоянно подвергаемых строгой взаимной критике. Нельзя представить себе более демократической основы, чем эта. Это определяющая и первая основа, и всякое человеческое познание, которое в конечном счете на ней не покоится, должно быть исключено, как лишенное всякой достоверности и всякой научной ценности. Однако наука не может остановиться на этой основе, которая дает ей сначала лишь бесчисленное множество фактов самой

различной природы, должным образом установленных бесчисленным количеством личных наблюдений и экспериментов. Наука в собственном смысле начинается лишь с понимания вещей, явлений и фактов. Понять вещь, действительность которой сначала была должным образом установлена (что всегда забывали делать теологи и метафизики), — значит открыть, распознать и установить этим эмпирическим способом, которым пользовались для того, чтобы удостовериться сначала в ее действительном существовании, все ее свойства, то есть все ее как прямые, так и косвенные отношения со всеми другими существующими вещами, что значит определить различные способы ее действительного воздействия на все то, что остается вне ее. Понять явление или факт — значит открыть и установить последовательные фазы его действительного развития, то есть распознать его естественный закон.

Эти установления свойств и эти открытия естественных законов также имеют сначала своим единственным источником наблюдения и эксперименты, действительно проведенные тем или другим лицом или даже многими лицами одновременно. Но сколь бы значительным ни было их число, пусть все они будут знаменитыми учеными, наука принимает их свидетельство лишь при том главном условии, что в то же самое время, когда они объявляют результаты своих исследований, они должны также представить исключительно подробный и точный отчет о методе, которым они пользовались, а также о наблюдениях и экспериментах, которые они провели, чтобы прийти к ним; все это необходимо сделать так, чтобы все люди, которые интересуются наукой, могли бы самостоятельно повторить, следуя тому же методу, эти же наблюдения и эти же эксперименты; лишь тогда, когда новые результаты будут таким образом проверены и получены многими новыми наблюдателями и экспериментаторами, они обычно рассматриваются как окончательные завоевания науки. При этом часто случается, что новые наблюдения и эксперименты, проведенные другим методом и под иным углом зрения, ниспровергают или существенно изменяют эти первые результаты. Нет ничего так же антипатичного для науки, как вера, и только критика всегда имеет в ней последнее слово. Только она, представительница великого принципа бунта в науке, есть строгая и неподкупная хранительница истины.

Так последовательно, трудом столетий, понемногу устанавливается в науке система истин, или всеобщепризнанных естественных законов. Раз установленная и постоянно сопровождаемая самым подробным изложением методов, наблюдений и экспериментов, а также историей исследований и проявлений, с помощью которых она была установлена, так чтобы всегда имелась возможность подвергнуть новому контролю и новой критике, эта система становится отныне вторым основанием науки. Она служит отправным пунктом для новых исследований, которые по необходимости развивают ее и обогащают новыми методами.

Мир, несмотря на бесконечное разнообразие входящих в него сущих, — един. Человеческий ум, принимающий его за объект и стремящийся распознать и понять его, также един или тожественен, несмотря на бесчисленное множество различных, настоящих и бывших человеческих существ, которыми он представлен. Это тожество доказывается тем бесспорным фактом, что если только человек думает, то, какой бы ни была его среда, его природа, его раса, его социальное положение и степень его умственного и нравственного развития, даже тогда, когда он несет бред и вздор, его мысль всегда развивается по одним и тем же законам; и именно в этом, несмотря на огромное разнообразие возрастов, климатов, рас, наций, социальных положений и индивидуальных особенностей природы, состоит

великое единство человеческого рода. Следовательно, наука, которая есть не что иное, как познание и понимание мира человеческим умом, также должна быть единой.
Она, бесспорно, едина. Но, огромная, как мир, она превышает умственные способности одного человека, будь он самым умным из всех. Никто не способен охватить ее одновременно в ее всеобщности, а также в ее бесконечных, хотя и по-разному, частностях. Тот, кто хотел бы остановиться только на общности, игнорируя частности, впал бы тем самым в метафизику и в теологию, ибо научная общность отличается как раз от метафизических и теологических общностей тем, что она устанавливается не отвлечением от всех частностей, как делают две последние, но, напротив, только путем координации частностей. Это великое научное Единство конкретно: это единство в бесконечном разнообразии; теологическое и метафизическое Единство — отвлеченно: это единство в пустоте. Чтобы охватить научное Единство во всей его бесконечной действительности, нужно было бы иметь возможность познать в частностях все сущие, прямые и косвенные естественные отношения которых образуют Мироздание, что, очевидно, превосходит способности человека, поколения, человечества в целом.
Желая охватить всеобщность науки, человек останавливается, раздавленный бесконечно великим. Но, отказываясь от частностей в науке, он встречается с другим пределом, а именно с бесконечно малым. Впрочем, действительно он может распознать только то, действительное существование которого засвидетельствовано ему его чувствами, а его чувства могут постигнуть лишь бесконечно малую часть бесконечного Мироздания: земной шар, солнечную систему, самое большее ту часть небесного свода, которая видна с земли. Все это составляет в бесконечном пространстве лишь незаметную точку.
Теологи и метафизики тотчас предусмотрели бы из этого вынужденного и по необходимости вечного незнания рекомендации для своих бредней или снов. Но наука гнушается этого тривиального утешения, она ненавидит эти иллюзии, сколь смешные, столь и опасные. Когда она вынуждена остановить свои исследования за отсутствием средств для их продолжения, она предпочитает сказать: "Я не знаю", нежели представлять как истины гипотезы, поверка которых невозможна. Наука сделала даже больше: она с безукоризненной уверенностью поднялась до доказательства нелепости и ничтожества всех теологических и метафизических концепций; но она их разрушила не для того, чтобы заменить их новыми нелепостями. Дойдя до своего предела, она честно скажет: "Я не знаю", но никогда не будет делать никакого вывода из того, чего не будет знать.
Мировая наука есть, следовательно, идеал, который человек никогда не сможет осуществить. Человек всегда будет вынужден довольствоваться наукой о его мире, распространяя последнюю самое большее на звезды, которые он может видеть, и всегда он будет знать из этого довольно мало. Действительная наука охватывает лишь солнечную систему, особенно наш земной шар и все то, что рождается и происходит на нем. Но даже в этих границах наука слишком огромна, чтобы ее могли охватить один человек или даже одно поколение, тем более что, как я уже заметил, частности этого мира теряются в бесконечно малом, а его разнообразие не имеет точно определимых границ.
Эта невозможность охватить одним взглядом огромную совокупность и бесконечные частности видимого мира дала основание для деления единой и неделимой, или общей, науки на множество частных наук; это деление тем более естественное и необходимое, что оно соответствует различным порядкам, которые действительно существуют в мире, а также различным точкам зрения, под которыми человеческий ум вынужден, если так можно выразиться, рассматривать

их: Математика, Механика, Астрономия, Физика, Химия, Геология, Биология и Социология, включая историю развития человеческого вида, — таковы главные деления, которые установились в науке, если можно так выразиться, сами по себе. Каждая из этих частных наук в своем историческом развитии создала и принесла с собой метод исследования и установления вещей и фактов, метод дедукций и заключений, которые ей присущи если не всегда исключительно, то по крайней мере в частности. Но все эти различные методы имеют одно, и даже первое, основание, сводящееся в конечном счете к личному и действительному установлению чувствами вещей и фактов, и все они, в пределах человеческих способностей, имеют целью построение мировой науки, понимание единства, действительной всеобщности миров, научное воссоздание великого Целого, Мироздания.

Но не находится ли эта цель, которую я только что назвал, в вопиющем противоречии с очевидной невозможностью для человека смочь когда-либо осуществить ее? Да, несомненно, но, однако, человек не может от нее отказаться и никогда от нее не откажется. Огюст Конт и его ученики напрасно проповедовали нам кротость и покорность. Человек никогда не станет кротким и не покорится. Это противоречие находится в природе человека, и особенно в природе нашего ума: вооруженный огромной силой отвлечения, он не признаёт и никогда не признает никаких пределов для своей властной, страстной любознательности, алчущей все узнать и все охватить. Ему достаточно сказать: "Ты не пойдешь по ту сторону", чтобы он со всей силой этой любознательности, раздраженной препятствием, устремился по ту сторону. В этом отношении господь Бог Библии оказался намного предусмотрительнее, чем г. Огюст Конт и его ученики-позитивисты; высказав несомненное пожелание, чтобы человек съел запретный плод, он запретил ему его есть. Эта неумеренность, это неповиновение, этот бунт человеческого ума против всякого навязанного предела либо во имя господа Бога, либо во имя науки составляют его честь, тайну его силы и его свободы. Именно домогаясь невозможного, человек всегда осуществлял и распознавал возможное, а те, которые благоразумно ограничились тем, что казалось им возможным, никогда не продвинулись вперед ни на один шаг. Впрочем, перед лицом огромной карьеры, проделанной человеческим умом в течение примерно трех тысяч лет, известных истории, кто осмелился сказать, что через три, пять, десять тысяч последующих лет станет возможным и невозможным.

Эта тенденция к вечно неизвестному столь в человеке непреодолима, она столь глубоко присуща нашему уму, что, если вы закроете ему научный путь, он, чтобы удовлетворить его, откроет себе новый путь, путь мистический. И надо ли приводить другие примеры, чем пример знаменитого основателя позитивной философии, самого Огюста Конта, который закончил, как известно, свою великую философскую карьеру тем, что выработал систему очень мистической "позитивной" политики. Я очень хорошо знаю, что некоторые из его учеников приписывают это последнее творение выдающегося ума, который можно рассматривать, после Гегеля или скорее рядом с ним, как самого крупного философа нашего столетия, досадной аберрацией, обусловленной большими несчастиями, и особенно скрытым и беспощадным преследованием патентованных ученых и академиков, естественных врагов всякой новой инициативы и всякого великого научного открытия*.

* Можно было бы сказать, что ученые хотели ему доказать a posteriori, как мало способны представители науки управлять миром и что только наука, а не ученые, ее жрецы, призваны управлять им.

Но, оставляя в стороне эти случайные причины, от которых — увы! — не избавлены самые великие гении, можно доказать, что система позитивной философии Огюста Конта открывает дверь мистицизму.

Позитивная философия никогда еще не утверждала себя открыто как атеистическая. Я очень хорошо знаю, что атеизм — во всей ее системе; что эта система, система действительной науки, покоясь по сути дела на имманентности естественных законов, исключает возможность существования Бога, как существование Бога исключало бы возможность этой науки. Но никто из признанных представителей позитивной философии, начиная с ее основателя Огюста Конта, никогда не пожелал сказать это открыто. Знают ли они это сами, или же они еще не были уверены в этом пункте? Мне кажется, очень трудно допустить их незнание в пункте столь решающего значения для всей позиции науки в мире, тем более что в каждой строчке, которую они писали, чувствуется, как проявляется отрицание Бога, атеизм. Я думаю, что было бы, следовательно, более справедливым обвинять их добрую волю или, если говорить более вежливо, объяснять их молчание их политическим, одновременно консервативным инстинктом. С одной стороны, они не хотят ссориться ни с правительствами, ни с лицемерным идеализмом правящих классов, которые с большим основанием рассматривают атеизм и материализм как мощные орудия революционного разрушения, очень опасные для современного порядка вещей. Может быть, именно благодаря этому осторожному молчанию и этой двусмысленной позиции, занятой позитивной философией, она смогла внедриться в Англию — страну, где религиозное лицемерие продолжает еще оставаться социальной силой и где атеизм еще ныне рассматривается как общественное преступление*. Известно, что в этой стране политической свободы социальный деспотизм огромен. Разве в первой половине этого века великий поэт Шелли, друг Байрона, не вынужден был эмигрировать и не был лишен своего ребенка только из-за этого атеистического преступления! Нужно ли после этого удивляться, что такие выдающиеся люди, как Бокль, г-н Стюарт Милль, г-н Герберт Спенсер, с радостью воспользовались возможностью, предоставленной им позитивной философией, для того, чтобы примирить свои научные исследования с религиозным ханжеством, деспотически навязываемым английским общественным мнением всякому, кто составляет часть этого общества!

* Джентльменом там выступают только при условии посещения церкви. Воскресенье в Англии — это истинный день публичного лицемерия. Будучи в Лондоне, я испытал истинное отвращение, видя, как много людей, ни в коей мере не беспокоясь о Господе Боге, важно шествуют в церковь со своими prayer-books в руках, силясь спрятать глубокую скуку под видом смирения и раскаяния. В их оправдание нужно сказать, что, если бы они не ходили в церковь и посмели бы признать свое безразличие к религии, они были бы не только очень плохо приняты в аристократическом и буржуазном обществе, но и еще рисковали бы быть покинутыми их слугами. Одна горничная взяла расчет у одной моей знакомой русской семьи в Лондоне по такому двойному основанию: "Потому что мсье и мадам никогда не ходили в церковь и потому что кухарка не носила кринолина". Только рабочие в Англии, к великому отчаянию правящих классов и их проповедников, осмеливаются открыто, публично отбрасывать божественный культ. Они рассматривают этот культ как аристократический и буржуазный институт, противный делу освобождения пролетариата. Я не сомневаюсь, что в основе исключительного рвения, которое ныне начинают проявлять правящие классы к делу народного образования, лежит тайная надежда протащить контрабандой в массу пролетариата некоторые из этих лживых религиозных измышлений, усыпляющих народы и обеспечивающих их спокойную

эксплуатацию. Напрасные расчеты! Народ приобретет образование, но он оставит религию тем, кто будет в ней нуждаться для того, чтобы утешать себя перед лицом своего неминуемого поражения. У народа есть своя религия-это религия будущего триумфа всеобщей справедливости, всеобщей свободы, всеобщего равенства, всеобщей солидарности на земле посредством всеобщей и социальной революции.
Правда, французские позитивисты с гораздо меньшей покорностью и меньшим терпением переносят это навязанное им иго, и они совсем не обольщаются, когда видят, что их так компрометируют их собратья английские позитивисты. Поэтому они не упускают возможности время от времени протестовать, причем достаточно энергично, против союза, который английские позитивисты предлагают заключить во имя положительной науки с безобидными, недогматическими, но неопределенными и очень смутными религиозными стремлениями, каковы ныне обычно суть всякие теоретические стремления привилегированных классов, утомленных и изнуренных слишком долгим наслаждением своими привилегиями. Французские позитивисты энергично протестуют против любого взаимодействия с теологическим умом, — взаимодействия, которое они отвергают как бесчестие. Но если они рассматривают как оскорбление подозрение в том, что они могли бы заключить с теологическим умом полюбовное соглашение, то почему они продолжают провоцировать это подозрение своими недомолвками? Им было бы очень легко покончить со всеми этими двусмысленностями, открыто провозгласив себя тем, кем они являются в действительности, то есть материалистами и атеистами. До сих пор они не соизволили сделать это, и, так как они боялись обрисовать свою настоящую позицию точнейшим и яснейшим образом, они по-прежнему предпочитали объяснять свое мышление, быть может, гораздо более научными, но гораздо менее ясными, чем эти простые слова, разглагольствованиями. Но именно этой пугающей их ясности они не хотят любой ценой. И объясняется это двойной причиной.
Конечно, никто не будет ставить под сомнение ни нравственное мужество, ни личную добросовестность выдающихся умов, представляющих ныне во Франции позитивизм. Но позитивизм — это не только свободно исповедуемая теория; в то же время это — политическая и вместе с тем священническая секта. Стоит только внимательно прочитать "Курс положительной философии" Огюста Конта, и особенно конец третьего тома, а также три последних тома, чтение которых г-н Литтре в своем предисловии особенно рекомендует рабочим*, как можно обнаружить, что главная политическая забота знаменитого основателя позитивизма состояла в создании нового, на этот раз не религиозного, но научного духовенства, призванного отныне, по его мнению, управлять миром. Огромное большинство людей, считает Огюст Конт, не способно к самоуправлению. Почти все, говорит он, непригодны для умственного труда, не потому, что они невежественны и что их повседневные заботы помешали им приобрести навык к мышлению, но потому, что так их создала природа: у большинства индивидов задняя часть мозга, соответствующая, согласно системе Галла, наиболее общим, но вместе с тем наиболее грубым инстинктам животной жизни, гораздо более развита, чем передняя часть, в которой находятся собственно умственные органы. Отсюда следует, во-первых, что презренное большинство совершенно не призвано пользоваться свободой, так как эта свобода должна по необходимости всегда приводить к достойной сожаления духовной анархии, и, во-вторых, это большинство всегда испытывает, к большому счастью для общества, инстинктивную потребность к подчинению. К большому также счастью, всегда находятся несколько человек, которые получили от природы задание командовать этой массой и подчинять ее спасительной как духовной, так и мирской дисциплине.

Некогда, до необходимой, но достойной сожаления революции, которая вот уже три столетия изводит человеческое общество, этот долг верховного командования лежал на клерикальном духовенстве, к которому Огюст Конт испытывает почтение, искренность которого представляется мне достойной исключительного уважения. На другой день после той самой революции этот долг будет возложен на научное духовенство, на академии ученых, которые установят для наивысшего блага человечества новую дисциплину и очень крепкую власть.

* "Предисловие ученика". "Курс положительной философии Огюста Конта", изд. 2-е, с. XLIX14.

Таково политическое и социальное кредо, которое Огюст Конт завещал своим ученикам. Из него для них следует необходимость подготовиться для достойного выполнения столь высокой миссии. Как у людей, знающих о том, что рано или поздно они будут призваны управлять, у них есть инстинкт сохранения и почтения ко всем существующим правлениям; для них это тем более легко делать, что, будучи по-своему фаталистами, они рассматривают все, даже самые негодные, правления в качестве не только необходимых, но еще и спасительных переходных стадий в историческом развитии человечества*. Как видно, позитивисты — это люди комильфо, а не скандалисты. Они ненавидят революции и революционеров. Они не хотят ничего разрушать, и, будучи уверены, что их час придет, они спокойно ждут, что противные им вещи и люди разрушатся сами собой. В ожидании они mezza voce ведут настойчивую пропаганду, притягивая к ней более или менее доктринерские и антиреволюционные натуры, которые они находят среди учащейся молодежи Политехнической школы и Медицинской школы, не гнушаясь иногда снизойти также до "промышленных мастерских", с тем чтобы посеять там ненависть к "смутным, метафизическим и революционным взглядам" и, естественно, более или менее слепую веру в политическую и социальную систему, выдвигаемую положительной философией. Но они очень остерегаются того, чтобы возбудить против них консервативные инстинкты правящих классов и в то же время пробудить слишком откровенной пропагандой своего атеизма и материализма разрушительные страсти масс. Они говорят об этом во всех своих сочинениях, но так, чтобы их могли услышать только немногие из их избранников.

* Я также рассматриваю все, что произошло, и все, что происходит в действительности как в естественном, так и в социальном мире, как необходимое следствие естественных причин. Но я далек от мысли о том, что все, что необходимо или фатально, есть добро. Порыв ветра только что вырвал с корнем дерево. Это — необходимо, но совершенно не есть добро. Политика Бисмарка по видимости восторжествовала на протяжении некоторого времени в Германии и в Европе. Этот триумф — необходим, так как он есть фатальное следствие многих действительных причин, но он ни в коей мере не спасителен ни для Европы, ни для Германии.

Я же, не будучи ни позитивистом, ни кандидатом в какое-либо правительство, но являясь франк-революционером-социалистом, не нуждаюсь в том, чтобы останавливаться перед такими соображениями. Значит, я буду бить стекла и постараюсь поставить все точки над "i".

Позитивисты никогда прямо не отрицали возможность существования Бога; они никогда не говорили вместе с материалистами, опасную и революционную солидарность с которыми они отвергают: Бога нет, и его существование совершенно невозможно, так как оно несовместимо с нравственной точки зрения с имманентностью, или, говоря еще более ясно, с самим даже существованием справедливости, а с материальной точки зрения — с имманентностью, или

существованием естественных законов или каким-либо порядком в мире; оно несовместимо даже с самим существованием мира.
Эта столь очевидная, столь простая истина, которую, как я полагаю, достаточно развернул в данном сочинении, составляет отправной пункт научного материализма. Сначала это только негативная истина. Она еще ничего не утверждает, она представляет собой лишь необходимое, окончательное и мощное отрицание того пагубного исторического призрака, который создало воображение первобытных людей и который уже четыре или пять тысяч лет давит на науку, на свободу, на человечность, на жизнь. Вооруженные этим непреодолимым и неопровержимым отрицанием, материалисты застрахованы от возврата всех, старых и новых, божественных призраков, и никакой английский философ не придет к ним с предложением о союзе с каким-либо религиозным непознаваемым*.
А французские позитивисты убеждены в этой негативной истине, да или нет? Несомненно, они убеждены, и так же энергично, как и сами материалисты. Если бы это было не так, они должны были бы отказаться от самой возможности науки, так как они лучше, чем кто-либо, знают, что согласование между естественным и сверхъестественным совершенно невозможно и что та имманентность сил и законов, на которой они основывают всю свою систему, в самой себе прямо содержит отрицание Бога. Почему же ни в одном из их сочинений не находят открытого и простого выражения этой истины, такого выражения, чтобы каждый мог знать, на чем с ними остановиться? А! Это потому, что они — политические и осторожные консерваторы, философы, готовящиеся взять в свои руки власть над презренным и невежественным большинством. И вот как они выражают ту же самую истину:
* Выражение г-на Герберта Спенсера.
Бог не встречается в сфере науки; поскольку Бог, согласно определению теологов и метафизиков, есть абсолют, а наука имеет своим предметом то, что относительно, ей нечего делать с Богом, который для нее может быть лишь не поддающейся поверке гипотезой.
Лаплас говорил то же самое в более откровенных выражениях: "Для построения моей системы миров я не нуждался в этой гипотезе". Позитивисты не добавляют, что допущение этой гипотезы привело бы по необходимости к отрицанию, ликвидации науки и мира. Нет, они не довольствуются утверждением о том, что наука бессильна осуществить поверку этой гипотезы и что, следовательно, они не могут принять ее как научную истину.
Заметьте, что теологи — не метафизики, а истинные теологи — говорят совершенно то же самое: "Так как Бог есть существо бесконечное, всемогущее, безусловное, вечное, человеческий ум, наука человека не способны возвыситься до него". Отсюда вытекает необходимость особого откровения, предопределенного божественной благодатью; и эта откровенная истина, которая как таковая непостижима для анализа мирского ума, становится основанием теологической науки.
Гипотеза есть, строго говоря, гипотеза не только потому, что она еще не была поверена. Наука различает два вида гипотез: гипотеза, поверка которой кажется возможной, вероятной, и гипотеза, поверка которой совершенно невозможна никогда. Божественная гипотеза со всеми ее различными модификациями: Бог-творец, Бог — душа мира, или то, что называют божественной имманентностью, первопричиной и конечными причинами, внутренней сущностью вещей, бессмертной душой, спонтанной волей и т. д. и т. д., — все это по необходимости попадает в эту последнюю категорию. Все это, поскольку оно носит безусловный характер, совершенно не поддается поверке с точки зрения науки, которая может

распознать только действительность вещей, существование которых обнаруживается нашими чувствами, следовательно, определенных и конечных вещей, которыми наука, не претендуя на углубление во внутреннюю их сущность, должна ограничиться, изучая их внешние отношения и законы. Но является ли тем самым все, что не поддается поверке с научной точки зрения, по необходимости ничтожным под углом зрения действительности? Совсем нет, и вот доказательство: Вселенная не ограничивается нашей солнечной системой, которая есть лишь незаметная точка в бесконечном пространстве, и, как мы знаем, как видим, точка, окруженная миллионами других солнечных систем. Но сам наш небесный свод, со всеми его миллионами систем, в свою очередь есть не что иное, как незаметная точка в бесконечности пространства, и очень возможно, что она окружена миллиардами и миллиардами миллиардов других солнечных систем. Одним словом, природа нашего ума вынуждает нас вообразить пространство бесконечным и заполненным бесконечностью неведомых миров. Вот гипотеза, которая настоятельно представляется человеческому уму сегодня и которая, однако, останется для нас вечно не поддающейся поверке. Теперь вообразим себе — это мы также вынуждены думать, — что любое это бесконечное множество вечно неведомых миров подчинено тем же естественным законам, что у них дважды два так же четыре, как и у нас, когда в это не вмешивается теология. Вот еще одна гипотеза, которую наука никогда не сможет подвергнуть поверке. Наконец, самый простой закон аналогии обязывает, если можно так выразиться, думать, что многие из этих миров, если не все, заселены организованными и разумными существами, живущими и думающими в соответствии с той же действительной логикой, которая проявляется в нашей жизни и в нашем мышлении. Вот третья гипотеза, несомненно менее настоятельная, чем две первые, но которая, исключая то, что теология заполнила земным эгоизмом и тщеславием, представляется по необходимости уму каждого. Она так же не поддается поверке, как и две другие. Но скажут ли позитивисты, что все эти гипотезы ничтожны и что их предметы лишены всякой действительности? На это выдающийся современный и повсеместно признанный глава позитивизма во Франции г-н Литтре отвечает столь красноречивыми и прекрасными словами, что я не могу отказать себе в удовольствии процитировать их: "Я также пытался наметить под названием безмерность философский характер того, что г-н Спенсер называет непознаваемое; то, что находится по ту сторону положительного знания, будь то материально — сущность бескрайнего пространства, будь то умственно — ряд бесконечных причин, — недоступно человеческому уму. Но сказать "недоступное" — не значит сказать "ничтожное" или "несуществующее". Как материальная, так и умственная безмерность тесными узами связана с нашими знаниями и посредством этого союза становится идеей положительной и идеей одного и того же порядка; я хочу сказать, что, затрагивая эти знания и вступая с ними в контакт, эта безмерность проявляет свой двойной характер — действительности и недоступности. Это океан, который бьется о наш берег и для которого у нас ни лодки, ни паруса, но ясное видение которого так же спасительно, как потрясающе"*.

* Cours de Philosophic positive d'Auguste Comte, tome I: Preface d'un disciple, pages XLIV-XLV.

Мы должны быть несомненно довольны этим прекрасным объяснением, так как мы его подразумеваем в нашем смысле, который несомненно будет и смыслом знаменитого главы позитивизма. Но к несчастию, теологи им также будут восхищены до такой степени, что для того, чтобы доказать свою признательность знаменитому академику за это прекрасное заявление в пользу их собственного принципа, они окажутся способными предложить ему даром тот парус и ту лодку,

которых ему не хватает, по его собственному признанию, и которые, в чем они уверены, они имеют в своем исключительном владении, чтобы совершить действительную экспедицию, исследовательскую поездку в этот неведомый океан, предупреждая, однако, его, что, как только он покинет границы видимого мира, он должен будет сменить метод, научный метод, который, как он, впрочем, сам хорошо знает, неприложим к вещам вечным и божественным.

И в самом деле, как теологи могли бы быть недовольны заявлением г-на Литтре? Он заявляет, что безмерность недоступна человеческому уму; они никогда другого не говорили. Затем он добавляет, что ее недоступность ни в коей мере не исключает ее действительности. И это все, чего они требуют. Безмерность, Бог, есть действительное Сущее, и оно недоступно для науки; но это совсем не значит, что оно недоступно для веры. Раз уж оно есть одновременно безмерность и действительное Сущее, то есть Всемогущество, оно, если пожелает, может найти средство дать о себе знать человеку помимо и под носом науки; и это средство известно; в истории оно всегда называлось непосредственным откровением. Вы скажете, что это — малонаучное средство. Несомненно, и именно поэтому это — хорошее средство. Вы скажете, что это — нелепость; нет ничего лучше, это как раз для того, что божественно: Credo quia absurdum.

Вы, скажет теолог, меня совершенно успокоили, утверждая меня под углом зрения вашей научной точки зрения в том, что моя вера побуждала меня всегда смутно предполагать и предчувствовать: действительное существование Бога. Как только я убедился в этом факте, я больше не нуждаюсь в вашей науке. Действительный бог сводит ее к ничто. Она имела смысл существования, пока она его не знала, пока она его отрицала. Как только она признала его существование, она должна раболепствовать вместе с нами и самоуничтожиться перед ним.

В заявлении г-на Литтре есть, однако, несколько слов, которые, если их понять надлежащим образом, могли бы замутить головы теологов и метафизиков. "Как материальная, так и умственная безмерность, — говорит он, — тесными узами связана с нашими знаниями, и посредством этого союза она становится идеей положительной и идеей одного и того же порядка". Последние слова или не значат ничего, или значат вот что: Безмерный, бесконечный регион, начинающийся по ту сторону нашего видимого мира, недоступен для нас не потому, что он имеет другую природу и подчиняется законам, противным законам, которые управляют нашим естественным и социальным миром*, но исключительно потому, что явления и вещи, заполняющие эти неведомые миры и составляющие их действительность, находятся вне сферы действия наших чувств. Мы не можем понять вещи, действительное существование которых мы не можем даже определить, установить. Только таков характер этой недоступности. Но, не имея возможности образовать малейшее представление о формах и условиях существования вещей и существ, заполняющих эти миры, мы прекрасно знаем, что там нет места для животного, которое называется Абсолют; уже на том простом основании, что, будучи исключенным из видимого мира, сколь бы незаметную точку ни представлял последний в безмерности пространства, он был бы абсолютом ограниченным, то есть не-абсолютом, если бы только он существовал там таким же образом, как у нас: если бы только он был, так же как у нас, Сущим, совершенно невидимым и неощущаемым. Но в таком случае перед нами снова появляется по крайней мере кусочек, а по этому кусочку мы можем судить об остальном. После того как мы исследовали, внимательно рассмотрели и изучили Абсолют в его историческом происхождении, мы пришли к убеждению, что Абсолют есть существо совершенно ничтожное, чистый призрак, созданный детским воображением первобытных людей и раскрашенный теологами и метафизиками;

он есть не что иное, как мираж человеческого ума, который искал самого себя на протяжении своего исторического развития. Ничтожен Абсолют на земле, ничтожным он должен быть также в безмерности пространств. Одним словом, Абсолют, Бог, не существует и не может существовать.
* Признаться, я всегда испытываю отвращение, употребляя слова: "Естественные законы, которые управляют миром". Естественная наука позаимствовала слово закон у юридической науки и юридической практики, которые, естественно, предшествовали ей в истории человеческого общества. Известно, что все первобытные законодательства носили сначала религиозный и божественный характер; юриспруденция есть так же дочь теологии, как и политика. Следовательно, законы представляли собой не что иное, как божественные распоряжения, навязанные человеческому обществу, и они имели своей задачей управлять. Перенесенное позднее в естественные науки слово законы, надолго сохранило здесь свой первобытный смысл, причем на большом основании, так как на протяжении длительного периода своего детства и своей юности естественные науки, еще подчиненные внушениям теологии, сами рассматривали природу как подчиненную божественному законодательству и божественному правлению. Но как только мы пришли к отрицанию существования божественного законодателя, мы не можем больше говорить ни об управляемой природе, ни о законах, которые ею управляют. В природе нет никакого правления, и то, что мы называем естественными законами, есть не что иное, как различные упорядоченные способы развития явлении и вещей, которые протекают неведомым нам образом в недрах мировой причинности.
Но как только божественный призрак исчезает и с момента, как он не может больше выступать посредником между нами и неведомыми регионами безмерности, совершенно неведомыми, как они для нас суть, как они останутся перед нами навсегда, эти регионы не представляют для нас ничего чуждого; ибо, не зная форму вещей, существ и явлений, рождающихся в безмерности, мы знаем, что они не могут быть ничем иным, как материальными продуктами материальных причин, и что, если там есть разум, этот разум, как и у нас, всегда и повсюду будет следствием, но никогда первопричиной. По-моему, только такой смысл можно придать утверждению г-на Литтре о том, что безмерность посредством союза с нашим известным миром становится идеей положительной и идеей одного и того же порядка.
Тем не менее в том же самом заявлении имеется выражение, которое представляется мне неудачным и которое могло бы принести радость теологам и метафизикам. "То, что находится за пределами знания, — говорит он, — будь то материально, сущность безграничного пространства, будь то умственно, цепь бесконечных причин, — недоступно". Почему эта цепь бесконечных причин кажется г-ну Литтре более умственной, чем сущность бесконечного пространства? Поскольку все причины, действующие в известных и неизвестных мирах, как в бесконечных регионах пространства, так и на нашем земном шаре, материальны*, то г-н Литтре, как кажется, говорит и думает, что цепь этих причин не такова. И если поставить вопрос наоборот, то почему идея сущности безграничного пространства не есть также умственная идея, как и идея цепи бесконечных причин, коль скоро умственное есть для нас не что иное, как идеальное воспроизведение нашим мозгом объективного и действительного порядка, или же материальной последовательности материальных явлений? * Животный разум, проявляясь в своем наивысшем выражении как человеческий ум, как ум есть единственное умственное сущее, существование которого было действительно установлено, единственный разум, который мы знаем; он существует только на земле. Мы

должны, несомненно, рассматривать его как одну из прямо действующих в нашем собственном мире причин; но как я уже доказал, его действие не есть совершенно спонтанное действие; не будучи причиной безусловной, он, напротив, есть по сути причина относительная в том смысле, что прежде, чем в свою очередь стать причиной относительных следствий, он сам был следствием материальных причин, которые породили человеческий организм, одной из функций которого он есть; в таком случае и несмотря на то, что он действует как причина новых следствий во внешнем мире, он продолжает еще оставаться сущим, производным от материального действия материального органа — мозга. Значит, он, так же как органическая жизнь растения, — жизнь, которая, будучи производной от материальных причин, оказывает естественное и необходимое действие на свою среду, — есть причина совершенно материальная. Мы называем ее умственной только для того, чтобы различить ее особое действие, состоящее в выработке тех отвлечении, которые мы называем мыслями, и в. сознательном определении воли — особого действия животной жизни, состоящего в явлениях чувствительности, раздражимости и произвольного движения, а также особого действия растительной жизни, состоящего в явлениях питания. Но все эти три действия, равно как механическое, физическое и химическое действия неорганических тел, также суть материальные действия; каждое из них есть в одно и то же время материальное следствие и материальная причина. Ни в нашем собственном мире, ни в безмерности нет других следствий и других причин. Существует только материальное, а духовное есть его продукт. К несчастью, слова материя, материальное сформировались в эпоху, когда спиритуализм доминировал не только в теологии и в метафизике, но и в самой науке, что привело к тому, что под названием материи сформировалась отвлеченная и совершенно ложная идея чего-то, что было не только чуждо, но и совершенно противоположно уму; и именно такой нелепый способ понимать материю еще сегодня превалирует не только у спиритуалистов, но даже у многих материалистов. Вот почему многие современные умы с отвращением отбрасывают ту бесспорную, однако, истину, что ум есть не что иное, как один из продуктов, одно из проявлений того, что мы называем материей. И в самом деле, материя, взятая в таком отвлечении, как мертвое и пассивное сущее, не могла бы произвести ничего, даже растительного мира, не говоря о мире животном и умственном. Для нас же материя — совсем не такой инертный substratum, произведенный человеческой отвлеченностью. Это действительная совокупность всего, что есть, всех действительно существующих вещей, в том числе ощущений, ума и воли животных и людей. Родовым именем таким образом понимаемой материи было бы Бытие, действительное Бытие, которое в то же самое время есть становление: то есть движение, всегда и вечно проистекающее из бесконечной суммы всех отдельных движений вплоть до бесконечно малых, тотальная совокупность действий и взаимодействий и непрерывных преобразований, которые возникают и которые поочередно исчезают, вечное произведение и воспроизведение Целого каждой точкой и каждой точки Целым, взаимная и мировая причинность.

Вне пределов этой идеи, которая есть одновременно и положительная и отвлеченная, мы ничего не можем понять, потому что вне ее не остается ничего для понимания. Так как она охватывает все, в ней нет внешнего, в ней есть лишь безмерно, бесконечно внутреннее, что мы должны по мере своих сил попытаться понять. И с самого начала действительной науки мы находим драгоценную истину, открытую мировым опытом и установленную рефлексией, то есть посредством генерализации этого опыта; эта истина состоит в том, что все действительно существующие вещи и существа, какие бы ни были их взаимные отличия, имеют

общие свойства, свойства математические, механические, физические и химические, которые составляют, собственно, всю их сущность. Все вещи, все тела занимают прежде всего пространство; у всех у них есть свойства тяжести, теплоты, света, электричества, и все они испытывают химические превращения. Ни одно из действительных сущих не существует вне этих условий, ни одно не может существовать без существенных свойств, которые составляют его движение, его действие, его бесконечные преобразования. Но, скажут, ведь умственные вещи, религиозные, политические и социальные институты, идеи, наконец, существуют вне этих условии. Отнюдь нет. У всего этого есть действительность только во внешнем мире, только в отношениях людей между собой, и все это существует только при явно материальных географических, климатологических, этнографических и экономических условиях. Все это — комбинированный продукт материальных обстоятельств и проявления чувств, человеческих потребностей, человеческих стремлений и человеческого мышления. Но любое из этих проявлений, как я уже многократно повторял и доказывал, — это продукт нашего мозга, являющегося совершенно материальным органом человеческого тела. Самые отвлеченные идеи имеют действительное существование только для людей, в людях и посредством людей. Записанные или напечатанные в книге, они суть лишь материальные знаки, набор материальных и видимых букв, начертанных или напечатанных на каких-то листках бумаги. Они становятся идеями лишь тогда, когда какой-нибудь человек, лишь бы он был телесным существом, их читает, понимает и воспроизводит в своем собственном уме; следовательно, исключительно умственный характер идей — это большая иллюзия; идеи материальны по-другому, но они так же материальны, как все самые грубые материальные существа. Одним словом, все, что называют духовным, божественным и человеческим миром, сводится к комбинированному действию внешнего мира и человеческого тела, которое представляет собой самую сложную и самую полную организацию из всех существующих на земле вещей. Но человеческое тело представляет собой те же математические, механические и физические свойства и так же подлежит химическому действию, как и все другие существующие тела. Более того, каждое сложное тело: животное, растение или неорганическое тело — может быть разложено путем химического анализа на определенное число элементарных или простых тел, которые принимаются за таковые, так как еще не пришли к разложению на еще более простые тела. Вот каковы истинные составные элементы действительного мира, в том числе мира человеческого, индивидуального и общественного, умственного и божественного. Это не та однообразная, бесформенная и отвлеченная материя, о которой говорят нам положительная философия и метафизические материалисты; это — бесконечный набор элементов или простых тел, каждый из которых обладает всеми математическими, механическими и физическими свойствами и каждый из которых отличается особыми для него химическими действиями. Распознать все действительные элементы или простые тела, различные комбинации которых составляют все сложные органические и неорганические тела, заполняющие мироздание; воспроизвести мыслью и в мысли, с помощью всех свойств или действий, присущих каждому телу, и никогда не принимая никакой теории, которая не подлежала бы строгой поверке и не была бы подтверждена самым строгим наблюдением и самым строгим экспериментированием, воспроизвести, как я сказал, или мысленно реконструировать все мироздание с бесконечным разнообразием его астрономических, геологических, биологических и социальных проявлений — такова идеальная и высшая цель науки, цель, которую, несомненно, никакой человек, никакое поколение никогда не осуществят, но которая, оставаясь

тем не менее предметом непреодолимого стремления человеческого ума, придает науке, рассматриваемой в ее наивысшем выражении, своего рода религиозный, но ни в коей мере не мистический и не сверхъестественный характер — характер совершенно реалистический и рациональный, но в то же время действующий на тех, кто способен ощутить все возбуждающее действие бесконечных стремлений.

Это приводит нас к другому неприемлемому заключению, которое позитивисты обычно противопоставляют слишком нетерпеливой жажде знаний как метафизиков, так и материалистов. Я хочу поговорить о проблемах первопричины и конечных причинах, а также о глубинной сущности вещей, постановка которых так отличается от постановки того же вопроса о существовании или несуществовании Бога.

Как известно, метафизики — всегда в поиске Первопричины, то есть Бога — творца мира. Материалисты говорят, что эта причина никогда не существовала. Всегда преданные своей системе двусмысленных недомолвок и сомнительных утверждений, позитивисты довольствуются утверждением, что Первопричина не может быть предметом науки, что это — гипотеза, которую наука не может подвергнуть поверке. Кто прав, материалисты или позитивисты? Несомненно, первые.

Что делает положительная философия, отказываясь высказаться по вопросу о Первопричине? Отрицает ли она ее существование? Ни в коей мере. Она ее только исключает из научной сферы, объявляя ее не подлежащей научной поверке; на простом человеческом языке это означает, что эта Первопричина, может быть, существует, но человеческий ум не способен ее постичь. Метафизики будут недовольны таким заявлением, потому что в отличие от теологов они воображают, что познали ее с помощью трансцендентных спекуляций чистого мышления. Но теологи будут этим очень довольны, так как они всегда провозглашали, что чистое мышление ничего не может сделать без помощи Бога и что для того, чтобы постичь Первопричину, акт божественного творения, нужно получить божественную благодать.

Таким образом позитивисты открывают дверь теологам и могут оставаться их друзьями в общественной жизни, продолжая развивать научный атеизм в своих книгах. Они действуют как осторожные политические консерваторы.

Материалисты — революционеры. Они отрицают Бога, они отрицают Первопричину. Они не довольствуются ее отрицанием, они доказывают ее нелепость и невозможность.

Что такое Первопричина? Это причина природы, совершенно отличной от природы бесчисленного множества действительных, относительных, материальных причин, взаимодействие которых составляет самое действительность Мироздания. Она разрывает, по крайней мере в прошлом, ту вечную цепь причин, не имеющих ни начала ни конца, о которых сам г-н Литтре говорит как о достоверном, что должно было бы заставить его, как мне кажется, также сказать, что Первопричина, которая по необходимости была бы отрицанием, есть нелепость. Но он этого не говорит. Он говорит много прекрасных вещей, но не хочет сказать те простые слова, которые сделали бы отныне всякое недоразумение невозможным: Первопричина никогда не существовала, никогда не могла существовать. Первопричина — это причина, которая сама не имеет причины или которая есть причина самой себя. Это Абсолют, творящий Мироздание, чистый ум, творящий материю, это — бессмыслица.

Я не буду повторять аргументы, которыми, я думаю, достаточно доказал, что предположение о Боге-творце подразумевает отрицание распорядка и даже существования Мироздания. Но для того чтобы доказать, что я не оклеветал позитивистов, я процитирую собственные слова г-на Литтре. Вот что он говорит в

своем "Предисловии ученика" (Курс положительной философии Огюста Конта, издание 2-е, том 1-й): "Мир образован материей и силами материи: материи, происхождение и сущность которой для нас недоступны; силами, которые имманентны материи. Вне этих двух терминов, материи и силы, положительная наука не знает ничего" (стр. IX).
Вот заявление весьма откровенно материалистическое, не правда ли? И все-таки в нем имеется несколько слов, которые, кажется, вновь открывают дверь самому необузданному, ненаучному, но религиозному спиритуализму.
Что значат такие, например, слова: "Происхождение и сущность материи для нас недоступны"? Вы, следовательно, допускаете возможность того, что то, что вы называете материей, могло иметь происхождение, то есть начало во времени или по крайней мере в идее, как об этом мистически говорят пантеисты; возможность того, что она могла быть произведена чем-то или кем-то, кто не был материей? Вы допускаете возможность Бога? Для материалистов материя, или, лучше оказать, мировая совокупность прошлых, настоящих и будущих вещей*, не имеет происхождения ни во времени, ни в пантеистической идее, ни в каком-либо другом роде абсолюта.
* Позитивисты сильно и с большим основанием выступают против метафизических абстракции или против сущностей, которые представляют лишь имена, а не вещи. И, однако, они сами пользуются некоторыми метафизическими сущностями к большому вреду для позитивности своей науки. Что значит, например, слово материя, представляющая собой нечто безусловное, однообразное и единое, разновидность мирового substratum всех определенных, относительных и действительно существующих вещей? Но кто когда-либо видел эту безусловную, однообразную и единую материю? Насколько я знаю, никто. То, что все видели и видят в любой момент жизни, — это множество материальных, сложных или простых, различно определенных тел. Что понимать под словами материальные тела? Тела, действительно существующие в пространстве, которые, несмотря на все свое разнообразие, обладают в целом всеми физическими свойствами. Эти общие свойства составляют их общую материальную природу, и именно этой общей природе путем отвлечения от всех вещей, в которых эта природа проявляется, дают безусловное, или метафизическое, имя материи. Но общая природа, общий характер не существует в себе, через себя вне различных и действительных вещей и тел, с которыми он оказывается связанным. Следовательно, безусловная, однообразная и единая материя, о которой говорит г-н Литтре, есть не что иное, как абстракция, метафизическая сущность, которая существует только в нашем уме. То, что действительно существует, что будет существовать, — это различные, сложные или простые, тела; если предположить все существующие органические и неорганические, разложимые на их простые элементы тела, тогда это будут простые тела, которые все также имеют все физические свойства различных степеней, а также химически дифференцированные свойства в том смысле, что по свойственному им закону сродства каждое из них, сочетаясь в определенной пропорции с некоторыми другими телами, может составить вместе с ними новые, более сложные тела, давая повод для различных явлений, присущих каждой особой комбинации. Следовательно, если бы мы могли познать все химические элементы или простые тела и все способы их взаимных комбинаций, мы могли бы сказать, что мы знаем субстанцию материи, или — скорее — все материальные вещи, образующие Вселенную.
Вселенная, то есть совокупность всех этих вещей со всеми их свойствами, которые, будучи присущи им и составляя, собственно, их сущность, определяют законы их движения и развития и выступают поочередно следствиями и причинами этого

бесконечного множества отдельных действий и противодействий, тотальность которых составляет мировое действие, мировую связь и мировую причинность; эта вселенная, это вечное и всеобщее превращение, постоянно воспроизводимое бесконечностью отдельных превращений, происходящих в ее недрах, это безусловное и единое сущее, не может иметь ни начала, ни конца. Все актуально существующие вещи, включая известные и неизвестные миры со всем тем, что может проявиться в их недрах, суть продукты взаимного и взаимосвязанного действия бесконечного множества других вещей, часть которых, несомненно бесконечно большая, не существует больше в их первоначальных формах, поскольку их элементы соединились в новые вещи: в течение всего времени их существования последние производились и сохранялись таким же образом, как сегодня производятся и сохраняются нынешние вещи и как завтра будут производиться и сохраняться будущие вещи.

Чтобы не впадать снова в метафизическую абстракцию, нужно отдавать себе полный отчет в том, что понимают под словами "деятельные и производящие причины" или "деятельные и производящие силы". Нужно хорошо понимать, что причины не имеют отдельного, идеального существования, что они отнюдь не находятся вне действительных вещей, что они суть не что иное, как эти вещи. Вещи отнюдь не подчиняются общим законам, как нравится говорить позитивистам, чье доктринерское преклонение перед системами правления находит, естественно, поддержку в этом ложном выражении. Вещи, рассматриваемые в своей совокупности, не подчиняются этим законам, так как вне вещей нет никого и ничего, кто мог бы им их диктовать и навязывать. Вне вещей эти законы не существуют даже как абстракция, как идея, и поскольку все идеи есть не что иное, как установление и объяснение существующего факта, для того чтобы появилась идея какого-нибудь закона, нужно, чтобы сначала существовал факт. К тому же мы знаем, что все идеи, в том числе идеи естественных законов, возникают и существуют на земле как идеи лишь в человеческом мозгу.

Если, следовательно, законы как причины, как естественные силы не имеют никакого существования вне вещей, они должны, если только они существуют — а мы по опыту знаем, что они существуют, — они должны, говорю я, существовать в совокупности вещей, образуя их собственную природу; не в каждой отдельно взятой вещи, но в мировой совокупности, охватывающей все прошлые, настоящие и будущие вещи. Но мы видели, что эта совокупность, которую мы называем Вселенной или Мировой Причинностью, есть не что иное, как Равнодействующая, вечно воспроизводимая бесконечностью действий и противодействий, естественно осуществляемых бесконечным множеством вещей, которые рождаются, существуют, а затем исчезают в ее лоне. Поскольку вселенная сама есть лишь бесконечно вновь воспроизводимая Равнодействующая, она не может рассматриваться ни как диктатор, ни как законодатель. Она сама есть ничто вне вещей, которые живут и которые умирают в ее лоне, она есть только посредством них, благодаря им. Она не может навязывать им законы. Отсюда следует, что каждая вещь несет в самой себе свой закон, то есть способ своего проявления, своего существования и своего отдельного действия. Закон, отдельное действие, та деятельная сила вещи, которая превращает ее в причину новой вещи, — три различных понятия для выражения одной и той же идеи — все это определено тем, что мы называем свойствами или подлинной сущностью этой вещи, из всего этого образуется собственно природа.

Нет ничего более иррационального, более антипозитивистского, более метафизического и, я бы сказал, более мистического, более теологического, чем высказывать фразы, подобные следующим: "Происхождение и сущность материи

нам недоступны" (стр. IX) — или же: "Физик, отныне мудро убежденный в том, что глубинные связи вещей для него закрыты" (стр. XXV).
Это можно было сказать, вернее, простительно было сказать специалистам-физикам, которые для того, чтобы избавиться от всех своих врагов, способных обвинить их в навязчивых идеях метафизиков и теологов, отвечали им таким неприятием жалобы и имели некоторое право сделать это, потому что все вопросы высокой философии их интересовали в действительности очень мало и только мешали им выполнять их столь полезную миссию, которая состояла в изучении только действительных явлений и фактов. Но со стороны философа-позитивиста, который отдается задаче построить всю систему человеческого знания на непоколебимых основаниях и определить раз навсегда ее непреодолимые границы, со стороны столь явного врага всех метафизических теорий подобный ответ, заявление, в высшей степени позаимствованное из метафизического ума, — непростительны.
Я не хочу говорить о недоступной субстанции материи, так как сама материя, взятая в такой отвлеченной общности, есть призрак, созданный человеческим умом, как и многие другие призраки, например призрак мирового ума, который не более и не менее действителен, не более и не менее рационален, чем мировая материя. Если под материей вообще г-н Литтре понимает тотальность существующих вещей, тогда я ему скажу, что субстанция этой материи состоит как раз из всех этих вещей, или, если он хочет их разложить на тела простые, известные и неизвестные, я скажу ему, что субстанция материи состоит из тотальной совокупности этих первоначальных химических элементов и всех их возможных сочетаний. Но мы, возможно, знаем лишь малейшую часть простых тел, составляющих материю, или материальную совокупность нашей планеты; возможно также, что многие элементы, которые мы рассматриваем как простые тела, делятся на новые, нам еще не известные элементы. Наконец, мы всегда не будем знать бесконечность других простых элементов, которые, возможно, образуют материальную совокупность той бесконечности миров, которые навечно нам неведомы и которые заполняют безграничность пространства. Вот естественная граница, перед которой останавливаются исследования человеческой науки. Это — не метафизическая, не теологическая, но действительная граница и, как я сказал, совершенно естественная граница, которая не представляет для нашего ума ничего оскорбительного, ничего нелепого. Мы можем знать только то, что подпадает по крайней мере под одно из наших чувств, только то, действительное существование которого мы можем установить и материально испытать. Дайте нам лишь наималейшую вещь, происходящую из этих невидимых миров, и мы посредством терпения и науки реконструируем эти миры, по крайней мере частично, как Кювье с помощью нескольких найденных в земле разрозненных костей допотопных животных реконструировал весь их организм, как с помощью иероглифов, найденных на египетских и ассирийских памятниках, реконструировали языки, которые, как казалось, были утрачены навсегда; я видел в Бостоне и в Стокгольме двух индивидов, рожденных слепыми, глухими и немыми, которые, не обладая другими чувствами, кроме осязания, запаха и вкуса, чудом упорного терпения и с помощью лишь первого из этих чувств могли понимать то, что им говорили знаками, проводимыми на их ладони, а также выражать свои мысли о множестве вещей, которых нельзя было бы понять, не обладая уже достаточно развитым разумом. Но понять то, чего ни одно из наших чувств не может хотя бы слегка коснуться, и то, что на самом деле не существует для нас как действительное сущее, — вот что действительно невозможно и против чего было бы смешно и бесполезно бунтовать.

Но может быть, категорически скажут, что для нас эти миры не существуют никоим образом? Если не говорить о постоянной навязчивой идее, что эта безмерность неизвестных миров воздействует на наш ум, то есть о признанном и столь красноречиво выраженном самим гном Литтре действии, которое, несомненно, составляет действительное отношение, поскольку ум человека, как продукт, проявление или функция человеческого тела, сам является реальным сущим, то можем ли мы допустить, что наше видимое мироздание, эти миллионы звезд, блистающих на нашем небесном своде, остается вне всякой взаимосвязи и всякого взаимодействия с безмерной и для нас невидимой вселенной? В этом случае мы должны были бы рассматривать наше мироздание как ограниченное и носящее в самом себе свою причину, как абсолют; но абсолютное и ограниченное одновременно — это противоречие, слишком очевидный нонсенс для того, чтобы мы могли хоть на мгновение остановиться на нем. Очевидно, что наше видимое мироздание, каким бы огромным оно нам ни казалось, есть не что иное, как материальная совокупность тел, очень ограниченных сравнительно с бесконечным количеством других подобных мирозданий; оно есть, следовательно, сущее определенное, конечное, относительное и, как таковое, сущее, находящееся в необходимом отношении действия и противодействия со всеми этими невидимыми мирозданиями; будучи продуктом этой взаимосвязи, или этой бесконечной мировой причинности, оно содержит в себе в форме своих собственных естественных законов и, в частности, присущих ему свойств все свое влияние, характер, природу, всю свою сущность. Таким образом, распознавая природу нашего видимого мироздания, мы имплицитно, косвенно изучаем природу бесконечного Мироздания, и мы знаем, что в этой невидимой безмерности несомненно имеется бесконечное множество миров и вещей, которые мы никогда не познаем, но мы знаем также, что никакой из этих миров, никакая из этих вещей не может представлять ничего, что было бы противно тому, что мы называем законами нашего Мироздания. В этом отношении во всей безмерности должно существовать сходство и даже абсолютное тожество природы, ибо в противном случае наш собственный мир не мог бы существовать. Он может существовать лишь в непрерывном соответствии с безмерностью, включающей в себя все неведомые Мироздания.

Но, скажут нам, мы не знаем также и никогда не сможем познать наше видимое мироздание. В самом деле, очень мало вероятно, что человеческая наука придет когда-либо к сколько-нибудь удовлетворительному знанию явлений, происходящих на одной из тех бесчисленных звезд, самая близкая из которых почти в двести семьдесят пять тысяч раз дальше от Земли, чем наше Солнце. Все, что до сих пор смогло установить научное наблюдение, — это то, что все эти звезды суть солнца различных планетных систем и что эти солнца, включая наше" находятся во взаимодействии друг с другом, более или менее точное определение которого останется, возможно, еще долгое время, если не всегда, за пределами научной мощи человека, Вот что говорит Огюст Конт по этому поводу: "Философские умы, которым чуждо углубленное изучение астрономии, и даже сами астрономы до сих пор не различали достаточным образом в совокупности наших исследований о небе точку зрения, которую я называю солярной, и точку зрения, которая действительно заслуживает названия мировой. Это различие мне кажется тем не менее необходимым для того, чтобы строго отделить часть науки, которая находится в полной завершенности, от той части, которая по своей природе, не будучи несомненно чисто гадательной, представляется тем не менее все еще остающейся почти в детстве, по крайней мере по сравнению с первой. Рассмотрение солярной системы, часть которой мы составляем, дает нам, очевидно,

очень ограниченный предмет, который поддается полному изучению и должен привести нас к самым удовлетворительным познаниям. Напротив, мысль о том, что мы называем мирозданием, по необходимости представляется в самой себе неопределенной, так что, сколь бы обширными ни предположить применительно к будущему наши действительные знания в этом роде, мы никогда не сможем подняться до истинной концепции совокупности небесных светил*. В настоящее время разница — исключительно разительная, так как рядом с высоким совершенством, достигнутым солярной астрономией за два последних века, в звездной астрономии мы не имеем даже еще первого и простейшего элемента всякого положительного исследования — определения звездных интервалов. Несомненно, мы имеем все основания предполагать, что эти расстояния вскоре могут быть исчислены по крайней мере в определенных границах по отношению к многим звездам, что, следовательно, мы узнаем применительно к тем же самым небесным светилам, другие различные и важные элементы и что теория уже совершенно готова для того, чтобы вывести из этих первых основных данных такие данные, как их масса и т. д. Но выше установленное важное различение отнюдь не будет тем самым затронуто. Даже если однажды нам удастся полностью изучить относительные движения некоторых сложных звезд, это познание, которое было бы, впрочем, очень ценным, особенно если оно могло относиться к группе, часть которой, возможно, составляет наше Солнце, мы, очевидно, остались бы очень далеки от настоящего знания о мироздании, которое неизбежно должно всегда от нас ускользать.

* Вот ограничение, против которого невозможно протестовать, так как оно ни в коей мере не произвольно, не абсолютно и не навязывает уму запрет проникать в безмерные и неведомые регионы. Оно вытекает из ограниченной природы самого предмета и содержит то простое предостережение, что, сколь бы далеко ни смог проникнуть ум, он никогда не сможет ни исчерпать этот предмет, ни достигнуть границы или конца безмерности на том простом основании, что эта граница и этот конец не существуют. "Во всех разделах наших исследований и во всех значительных отношениях существует постоянная и необходимая гармония между объемом наших умственных потребностей и действительным, настоящим и будущим, пределом наших действительных знаний"*. Эта гармония, что я должен отметить применительно ко всем явлениям, отнюдь не представляется, как пытались это утверждать вульгарные философы, результатом и признаком конечной причины**. Она вытекает просто из очевидной необходимости: мы жаждем знать только то, что может действовать на нас более или менее прямо***; а с другой стороны уже потому, что такое влияние существует, оно рано или поздно становится для нас достоверным средством познания****. В настоящем случае это отношение проверяется замечательным образом. Самое совершенное, насколько это возможно, изучение солнечной системы, часть которой мы составляем, представляет для нас капитальный интерес, и поэтому мы стремились придать ему замечательную точность. Если, напротив, точное познание мироздания представляется для нас по необходимости запретным, то очевидно, что оно не дает нам ничего, кроме того, что оно дает нашей неутолимой любознательности в полном смысле этого слова*****. Повседневное применение астрономии доказывает, что внутренние явления каждой солнечной системы, которые только и могут затрагивать ее обитателей, по сути дела независимы от более общих явлений, относящихся ко взаимодействию солнц, подобно тому как наши метеорологические явления соотносятся с планетарными явлениями******. Наши таблицы небесных событий, составленные намного вперед, не принимающие во внимание во вселенной никакого другого мира, кроме нашего, до сих пор строго

согласуются с прямыми наблюдениями при некоторых небольших уточнениях, которые мы вносим в них сегодня. Эта столь явная независимость оказывается, впрочем, вполне объяснимой безмерной диспропорцией, которая, как мы знаем, несомненно существует между расстояниями от солнц до солнц и небольшими расстояниями между нашими планетами*******. Если планеты, лишенные атмосферы, такие, как Меркурий, Венера, Юпитер и т. д., на самом деле обитаемы, что весьма правдоподобно, мы можем рассматривать их обитателей как своего рода наших сограждан, так как из такого рода общей родины по необходимости должна вытекать некоторая общность мыслей и даже интересов********, тогда как обитатели других солнечных систем должны нам представляться совершенно чуждыми*********.

* Но так как объем умственных потребностей человека, рассматриваемого не в качестве отдельного индивида, ни даже в качестве нынешнего поколения, но в качестве прошлого, настоящего и будущего человечества, безграничен, действительный предел человеческих знаний в бесконечном будущем также безграничен.

** Вот одна из тех оплеух господу Богу, которыми полна книга Огюста Конта.

*** Это значит, что мы жаждем знать всё. Число вещей, действующих прямо на "я", всегда очень мало. Но те вещи, которые представляются по отношению ко мне действующими прямо, существуют и, следовательно, также действуют на "я" лишь потому, что они сами подчинены прямому действию других вещей, которые действуют прямо на них и через них косвенно на "я". Я жажду познать вещи, оказывающие на "я" прямое действие; но для того, чтобы познать их, у меня должно появиться желание познать вещи, действующие на них, и так далее до бесконечности. Отсюда следует, что я должен знать всё.

**** Отсюда я делаю логический вывод о том, что никакой мир, каким бы удаленным и невидимым он ни был, не закрыт совершенно для знаний человека.

***** Возможно, Огюст Конт хочет тем самым сказать, что это знание не имеет для нас прямого практического значения и что оно может оказывать влияние лишь очень косвенно и очень слабо на устройство нашего материального существования на земле; ибо эта неутолимая любознательность человеческого разума есть нравственная сила, которой человек отличается от остального животного мира, может быть, больше, чем-либо другим, и, следовательно, ее удовлетворение представляется очень важным для триумфа человечности.

****** Но эта независимость далека от того, чтобы быть безусловной; ибо достаточно того, чтобы наша планета немного изменила свое положение по отношению к нашему Солнцу, чтобы все метеорологические явления на Земле значительно изменились; это произошло бы несомненно так и с нашей планетарной системой, если бы наше Солнце заняло новое положение по отношению к другим солнцам.

******* Но поскольку эта диспропорция не абсолютна, а лишь относительна, из этого следует, что независимость нашей солнечной системы по отношению к другим солнцам также лишь относительна. Это значит, что, если мы возьмем для измерения времени жизнь одного поколения или даже несколько веков, ощутимый эффект определенной зависимости, в которой наша солнечная система находится по отношению ко вселенной, окажется абсолютно ничтожным.

******** Общность мыслей всегда подразумевает общность интересов.

********* Опять в относительном смысле слова: более чуждыми, но не совершенно чуждыми. Признаем, что как одни, так и другие, если они только существуют, примерно одинаково чужды нам, так как мы не знаем, а возможно, никогда не сможем вполне удостовериться в том, существуют ли они.

Нужно, следовательно, более глубоко, чем это обычно привыкли делать, отделять солярную точку зрения и общемировую точку зрения, идею мира (включающую исключительно первую точку зрения) и идею вселенной; первая точка зрения — это самая высокая точка, которой мы могли бы достичь, и поэтому она — единственная, которая по-настоящему нас интересует. Вот почему, не отказываясь полностью от надежды получить некоторые звездные познания, следует считать, что положительная астрономия заключается по существу в геометрическом и механическом знании о небольшом числе небесных тел, составляющих мир, часть которого мы составляем"*.

* Auguste Comte. Cours de philosophic positive, 2-e ed., t. II, pp. 10-12.

Но если положительная наука, то есть серьезная наука, единственно достойная такого названия и основанная на наблюдении действительных фактов, а не на воображении об иллюзорных фактах, должна отказаться от действительного или более или менее удовлетворительного знания о вселенной с астрономической точки зрения, то на гораздо большем основании она должна от этого отказаться под углом зрения физических, химических и органических отношений. "Наше искусство наблюдения, — говорит далее Огюст Конт, — включает в общем три различных способа: 1) наблюдение в собственном смысле слова, то есть прямое изучение явления таким, как оно естественно представляется; 2) эксперимент, то есть созерцание явления, более или менее измененного искусственными обстоятельствами, которые мы создаем только с целью более совершенного исследования; 3) сравнение, то есть постепенное рассмотрение ряда аналогичных случаев, в которых явления все более и более упрощаются. Наука об организованных телах, изучающая явления на более трудной доступности, есть единственная наука, которая позволяет по-настоящему объединить эти три средства.

Астрономия, напротив, по необходимости ограничена первым средством. Эксперимент здесь, очевидно, невозможен; а что касается сравнения, то оно могло бы существовать лишь в случае, если бы мы могли прямо наблюдать несколько солнечных систем, что невозможно. Остается, значит, простое наблюдение малейшего возможного объема, так как оно может относиться лишь к одному из наших чувств (к зрению). Измерение углов и подсчет истекшего времени — таковы единственные средства, с которыми наш разум может приступить к открытию законов, которые управляют небесными явлениями" (том II, стр. 13-14).

Очевидно, что для нас будет всегда невозможно не только проводить эксперименты на физических, химических, геологических и органических явлениях, происходящих на различных планетах нашей солнечной системы, не говоря уже о других системах, и проводить сравнения их соответствующих проявлений, но также наблюдать их и устанавливать их действительное существование, что означает, что мы должны отказаться от того, чтобы получить о них знание, которое лишь несколько приближается к знанию, "которому мы можем и должны прийти применительно к явлениям нашего земного шара. Недоступность вселенной для нас — не абсолютна; но ее доступность по сравнению с доступностью нашей солнечной системы и еще более по сравнению с доступностью нашего земного шара — столь мала, что она почти походит на абсолютную недоступность.

С практической точки зрения нам кажется, что мы выигрываем очень мало от того, что вселенная не представляется абсолютно недоступной. Но с точки зрения теории выигрыш огромен. А если он безмерен для теории, то, как следствие, он становится безмерным также для социальной практики человечества, так как всякая теория рано или поздно претворяется в человеческие учреждения и

человеческие факты. В чем же в таком случае заключается интерес и теоретическая выгода от идеи не-недоступности Вселенной? В том, что господь Бог, Абсолют так же изгнан из Вселенной, как он изгнан с нашего земного шара.
Раз Вселенная для нас немного доступна, хотя бы даже в бесконечно малой мере, она должна иметь природу, подобную природе нашего известного мира. Ее недоступность отнюдь не обусловлена различием в природе, но исключительной материальной удаленностью этих миров, что делает невозможным наблюдение за их явлениями. Материально удаленные от нашего земного шара, эти миры так же представляются исключительно материальными, как и земной шар. Материальные и материально ограниченные нашей солнечной системой, эти бесконечные неизвестные миры по необходимости находятся в непрерывных отношениях действия и взаимного противодействия между собой и с солнечной системой. Они рождаются, они существуют, они погибают и поочередно преобразуются в лоне бесконечной мировой Причинности так же, как родится, существует и рано или поздно несомненно погибнет наш солярный мир, и основные законы этого происхождения или этого материального превращения должны быть одинаковыми, но несомненно измененными в соответствии с бесконечными обстоятельствами, которые, возможно, дифференцируют развитие каждого отдельно взятого мира. Но природа этих законов и их проявления должна быть одинаковой по причине того действия и постоянного противодействия, которое вечно происходит между ними. Таким образом, не имея нужды в пересечении непересекаемых пространств, мы можем изучать всеобщие законы миров в нашей солнечной системе, которая, будучи продуктом, должна содержать их все в самой себе и — еще ближе — на нашей собственной планете, на земном шаре, который есть ближайший продукт нашей солнечной системы. Значит, изучая и распознавая законы Земли, мы можем быть уверены в том, что одновременно изучаем и распознаем законы вселенной. Теперь мы можем перейти прямо к частностям: наблюдать их, экспериментировать с ними и сравнивать их. Сколь бы ограниченным по сравнению со Вселенной ни был наш земной шар, он также представляется бесконечным миром. В этом отношении можно сказать, что наш мир в самом узком смысле этого слова, наша Земля, так же недоступна, то есть неисчерпаема. Никогда наука не дойдет до последней границы и не скажет своего последнего слова. Должно ли это нас приводить в отчаяние? Напротив, если бы задача была ограниченной, она скоро расхолодила бы ум человека, который, что бы мы ни говорили и что бы ни делали, всегда чувствует себя счастливым лишь тогда, когда он может нарушить и пересечь границу. И к большому счастью для него, наука о природе такова, что чем более ум пересекает в ней границы, тем более он приближается к новым границам, которые провоцируют его неутолимую любознательность.
Есть одна граница, которую научный ум никогда не сможет пересечь полностью, — это как раз то, что г-н Литтре называет сокровенной природой или сокровенной сущностью вещей и что метафизики школы Канта называют вещь сама по себе (das Ding an sich). Я уже сказал, что это выражение столь же ложно, как и опасно, так как, исключая по видимости из сферы науки абсолют, оно восстанавливает его, подтверждает его как действительное сущее. Когда я говорю, что во всех существующих, самых обыкновенных, самых известных, включая самого себя, вещах есть внутренняя, недоступная, вечно неизвестная сущность, которая как таковая остается по необходимости вне и абсолютно независимой от их феноменального существования и от многочисленных связей относительных причин и относительных следствий, которые определяют и координируют все существующие вещи, устанавливая между ними своего рода постоянно

воспроизводимое единство, я тем самым утверждаю, что весь этот феноменальный мир, мир видимый, чувственный, известный, — это своего рода внешняя оболочка, скорлупа, внутри которой скрывается, как ядро, безотносительная, недетерминированная сущность, Абсолют. Как видно, г-н Литтре, вероятно даже по причине своего глубокого презрения к метафизике, сам остается в сфере метафизики, подобной метафизике Канта, которая, как известно, теряется в тех антиномиях, или противоречиях, которые она полагает непримиримыми и неразрешимыми: противоречиями конечного и бесконечного, внешнего и внутреннего, относительного и абсолютного и т. д. Ясно, что, изучая мир, опираясь на идефикс о неразрешимости этих категорий, которые кажутся, с одной стороны, абсолютно противоположными, а с другой — столь тесно, столь абсолютно связанными, что нельзя думать об одной, не думая в то же время о другой, — ясно, как я сказал, что, подходя к существующему миру с таким метафизическим предрассудком в голове, мы всегда окажемся неспособными понять что-либо в природе вещей. Если бы французские позитивисты захотели познакомиться с драгоценной критикой, которой Гегель в его Логике, представляющей несомненно одну из самых глубоких книг, написанных в нашем столетии, подверг все эти кантовские антиномии, они разуверились бы в этой мнимой невозможности познать внутреннюю природу вещей. Они поняли бы, что во внутреннем любой вещи действительно не может быть природы, которая не проявлялась бы в ее внешнем, или, как сказал Гёте, отвечая какому-то немецкому поэту, утверждавшему, что "никакой сотворенный ум не мог проникнуть во внутреннее Природы" (In's Innere der Natur dringt kein erschaffner Geist):

Вот уже двадцать лет я слышу, как это повторяют, И как я на это ругаюсь, но тайно.
Природа не имеет ни ядра, ни скорлупы; Она есть все это одновременно.
Schon zwanzig Jahre hor' ich's wiederholen, Und fluche drauf, aber verstohlen.
Natur hat weder Kern noch Schale; Alles 1st sie auf einem Male.

Я прошу читателя извинить меня за эту длинную диссертацию о природе вещей. Но речь идет об интересе высшего порядка, о заинтересованности в действительном и полном исключении, конечном уничтожении абсолюта, который уже не довольствуется только тем, что прогуливается, как жалкий призрак, по краю нашего видимого мира, в бесконечной безмерности пространства, но который, одобряемый совершенно кантианской метафизикой позитивистов, стремится исподтишка внедриться в сущность всех известных вещей, в нас самих и водрузить свое знамя даже в лоне нашего земного мира.
Сокровенное внутреннее вещей, говорят позитивисты, нам недоступно. Что они понимают под словами сокровенное внутреннее вещей? Чтобы для нас была ясность в этом пункте, процитирую фразу г-на Литтре полностью: "Физик, мудро убежденный отныне в том, что сокровенное внутреннее вещей для него закрыто, не отвлекает свое внимание на того, кто спрашивает, почему тела теплые или тяжелые; он понапрасну этого не искал и не будет его больше искать. Таким же образом в сфере биологии нет места для вопроса, почему живая субстанция образуется в формах, при которых система ее органов с большей или меньшей точностью приведена в соответствие с целью, с функцией. Такая юстировка — одно из имманентных свойств этой субстанции, как питание, сокращение, ощущение, мышление. Этот взгляд, распространенный на все пертурбации, без труда все их обнимает; и ум, который перестал стремиться к невозможному примирению фатализма с финализмом, не находит более ничего, что было бы

неинтеллигибельного, то есть противоречивого, в том, что для него отдельно от мира (стр. XXV-XXVI).
Перед нами несомненно этот очень удобный способ философствования и верное средство избежать всех возможных противоречий. Вас спрашивают о явлении: почему это так? И вы отвечаете: потому что это так. После этого не остается ничего, кроме только одного: установить действительность явления и его порядок сосуществования или последовательности относительно других более или менее связанных с ним явлений; удостовериться путем наблюдения и эксперимента, что это сосуществование и эта последовательность воспроизводятся в одинаковых обстоятельствах всегда и везде и, убедившись в этом, обратить их в общий закон. Я полагаю, что ученые-специалисты должны поступать таким образом; если они поступают по-другому, если они включают свои собственные идеи в порядок фактов, положительная философия очень рисковала бы иметь в качестве основы для суждений лишь более или менее искусные фантазии, но не факты. Но я не думаю, что философ, желающий понять порядок фактов, мог бы удовлетвориться столь малым. Я знаю, что понять — очень трудно, но это необходимо, если мы хотим развивать серьезную философию.
Человеку, который спросил бы меня: каковы происхождение и субстанция материи вообще, или, лучше сказать, совокупности материальных вещей, Вселенной, я не мог бы ответить доктринерски и таким двусмысленным образом, что он мог бы заподозрить меня в теологизме: происхождение и сущность материи для нас недоступны. Я его сначала спросил бы, о какой материи он хочет говорить. Только о совокупности сложных или простых материальных вещей, составляющих наш земной шар и нашу солнечную систему в ее наибольшем объеме, или же о всех известных и неизвестных телах, бесконечная и неопределенная совокупность которых образует Вселенную? Если речь идет о первом, то я сказал бы ему, что материя нашего земного шара несомненно имеет происхождение, так как была столь отдаленная эпоха, что ни он, ни я не можем высказать о ней какую-либо мысль, но была определенная эпоха, когда наша планета не существовала. Я сказал бы ему, что она родилась во времени и что нужно искать происхождение нашей планетной материи в материи нашей солнечной системы. Но я сказал бы, что сама наша солнечная система, не будучи ни абсолютным, ни бесконечным, но очень ограниченным, описанным миром, который, следовательно, существует лишь посредством своих бесконечных и действительных отношений действия и взаимного противодействия с бесконечностью подобных миров, не может быть вечным миром. Несомненно, что, разделяя судьбу всего того, что обладает определенным и действительным существованием, эта система должна будет однажды, может быть через несколько миллионов миллионов веков, исчезнуть и что, как и наша планета, но несомненно до нее, она должна была иметь начало во времени; отсюда следует, что происхождение солнечной материи нужно искать в мировой материи.
А если теперь меня спросят, каково происхождение мировой материи, материи той бесконечной совокупности миров, которую мы называем бесконечной вселенной, я ответил бы, что в этом вопросе содержится бессмыслица, что этот вопрос побуждает меня дать, если так можно выразиться, нелепый ответ, который хотели бы услышать от меня. Этот вопрос сводится к следующему: было ли время, когда мировая материя, бесконечная вселенная, абсолютное и единое Сущее не были? Когда была лишь идея, по необходимости божественная идея, Бог, который, будучи на протяжении бесконечной в прошлом вечности Богом праздным, или Богом бессильным, Богом незаконченным, по странному капризу подумал вдруг и почувствовал в какой-то данный момент, в определенную во времени эпоху, силу и

волю создать Вселенную? Когда существовал Бог, который, будучи на протяжении вечности Богом не-творцом, стал неизвестно по какому чуду внутреннего развития Богом-творцом? Все это по необходимости содержится в вопросе о происхождении мировой материи. Даже допуская на мгновение нелепость Бога-творца, мы поневоле придем к признанию вечности Вселенной. Бог — есть Бог только потому, что он предполагает быть абсолютно совершенным; но абсолютное совершенство исключает всякую идею, всякую возможность развития. Бог есть Бог только потому, что его природа неизменна. То, что он есть сегодня, тем он был вчера и тем будет завтра. Он — бог-творец и всемогущий бог сегодня, значит, он таким был испокон веков; значит, не в определенную эпоху, а испокон веков он сотворил миры, Вселенную. Значит, Вселенная — вечна. Но, будучи вечной, она не была сотворена, и, значит, не было никогда Бога-творца.

В идее Бога-творца противоречие состоит в том, что всякое творение, всякая заимствованная из человеческого опыта идея и факт предполагают эпоху, определенную во времени, тогда как идея Бога подразумевает вечность; отсюда вытекает очевидная нелепость. Такое же рассуждение приложимо также к нелепости Бога-распорядителя и законодателя миров. Одним словом, идея Бога не выдерживает ни малейшей критики. Но если Бог падает, что остается? Вечность бесконечной вселенной.

Вот истина, относящаяся к абсолюту и носящая тем не менее характер абсолютной достоверности: Вселенная — вечна и никогда не была никем сотворена. Эта истина очень важна для нас, так как она раз и навсегда сводит к ничто вопрос о происхождении мировой материи, который г-н Литтре находит столь трудным для решения, и в тоже время в корне уничтожает идею абсолютного духовного, пред существующего или сосуществующего, бытия, идею Бога.

В познании абсолюта мы можем сделать шаг вперед, вполне сохраняя гарантию абсолютной достоверности.

Напомним, что есть истинная вечность, вечность существования мира. Нам очень трудно это вообразить, настолько самая отвлеченная идея вечности с трудом укладывается в наших бедных, увы, столь кратковременно существующих головах. Тем не менее несомненно, что это — неопровержимая истина, которая навязывается с абсолютной необходимостью нашему уму. Ничто не позволяет нам не принять ее. Но если господь Бог откладывается про запас, перед нами возникает второй вопрос: существовала ли в предшествующей настоящему моменту зияющей и бесконечной вечности определенная во времени эпоха, когда впервые началась организация мировой материи, или Сущего, в отдельные и организованные миры? Было ли время, когда вся мировая материя могла остаться в состоянии материи, способной к организации, но еще не организованной? Предположим, что прежде, чем мировая материя смогла спонтанно организоваться в отдельные миры, она должна была пройти огромное, неизвестное множество предварительных превращений, о чем мы никогда не смогли бы составить какую-либо даже самую смутную идею. Эти превращения могли занять время, которое своей относительной безмерностью превышает все, что мы можем вообразить. Но так как в данном случае речь идет о материальных проявлениях, а не о проявлениях неизменного абсолюта, это время, каким бы необъятным оно ни было, по необходимости было определенным временем и как таковое бесконечно меньшим, чем вечность. Назовем X время, которое истекло с предполагаемого первого формирования во вселенной миров и до настоящего времени; назовем у все время, в течение которого длились предварительные проявления мировой материи, прежде чем она смогла сорганизоваться в отдельные миры; х+у представляют период времени, которое, каким бы относительно безмерным оно ни было, есть тем

не менее определенная величина и, следовательно, бесконечно меньшая вечности. Назовем z их сумму (x+y=z); значит, позади z остается еще вечность. Расширьте X и y, насколько вам захочется, умножьте и то и другое на самые большие цифры, которые вы могли бы представить или написать своим самым убористым почерком на такой длинной линии, как расстояние от Земли до самой удаленной видимой звезды; вы увеличите z в той же пропорции, но чтобы вы ни делали, для того чтобы увеличить z, каким бы безмерным ни становилось это значение, оно всегда будет меньше, чем вечность, оно всегда будет иметь позади себя вечность. К какому выводу это вас подтолкнет? К выводу о том, что на протяжении вечности мировая материя — та материя, лишь спонтанное действие которой могло сотворить, организовать миры, поскольку, как мы видели, исчез божественный призрак, творец и распорядитель, — оставалась инертной, без движения, без предварительного проявления, без действия и что затем, в какой-то данный и определенный момент, она, оставаясь в вечности, вдруг, без всякого основания, не побуждаемая никем извне ее, ни самой собой, начала приходить в движение, проявляться, действовать без какой-либо будь то внешней или внутренней причины. Это была бы столь же очевидная бессмыслица, как и бессмыслица Бога-творца. Но вы вынуждены принять эту бессмыслицу, если предположите, что организация миров во Вселенной имела какое-либо определенное начало, каким бы безмерно отдаленным ни представлялось вами в данный момент это начало. Отсюда с безусловной очевидностью следует, что организация Вселенной, или мировой материи, в отдельные миры так же вечна, как ее бытие.

А вот и вторая абсолютная истина, представляющая полные гарантии совершенной достоверности. Вселенная — вечна, и ее организация — также вечна. И в этой бесконечной вселенной нет ни малейшего места для господа Бога! Это уже много, не правда ли? Но посмотрим, не сможем ли мы сделать вперед еще и третий шаг.

Вселенная вечно организована в бесконечность отдельных миров, остающихся вне друг друга, но вместе с тем сохраняющих необходимые и постоянные отношения друг с другом. Это то, что Огюст Конт называет взаимодействием солнц, взаимодействием, которое никто не сможет подвергнуть опыту и которое можно только наблюдать; но сам знаменитый основатель положительной философии, столь строгий по отношению ко всему, что носит характер неповеряемой гипотезы, говорит об этом тем не менее как о положительном факте, который не может быть предметом какого-либо сомнения. И он говорит так об этом потому, что этот факт настоятельно, сам и с абсолютной необходимостью навязывается человеческому уму, как только этот ум освободился от отупляющего ига божественного призрака.

Взаимодействие солнц по необходимости вытекает из их отдельного существования. Сколь бы безмерными они ни могли быть, даже если предположить, что действительная безмерность самых больших из них превышает все, что мы можем представить в качестве протяженности и величины, все они представляются не менее определенными, относительными, конечными сущими, и как таковые все они не могут нести исключительно в самих себе причину и основу их собственного существования, каждая из них существует и может существовать лишь посредством их постоянных связей или их прямых или косвенных взаимных действий или противодействий со всеми остальными солнцами. Это бесконечное сцепление постоянных действий и противодействий составляет действительное единство бесконечной Вселенной.

Но это мировое единство не существует в своей бесконечной полноте как конкретное и действительное единство, которое на самом деле содержит все безграничное количество миров с неисчерпаемым богатством их проявлений; оно не существует, говорю я, и не проявляется как таковое ни для кого. Оно не может

существовать для Вселенной, которая, будучи сама лишь собирательным единством, вечно слагающимся из взаимодействия отдельных миров в безграничной безмерности пространства, не имеет никакого органа для его понимания; и оно не может существовать ни для кого вне Вселенной, так как вне Вселенной нет ничего. Как одновременно необходимая и отвлеченная идея оно существует лишь в сознании человека.

Эта идея — последняя степень положительного знания, момент, в котором сходятся положительность и абсолютная отвлеченность. Еще один шаг в этом направлении, и вы впадете в метафизическую и религиозную фантасмагорию. Следовательно, под страхом бессмыслицы запрещается основывать что-либо на этой идее. Как конечная граница человеческого знания, она не может служить ему основанием.

Важное и последнее определение, вытекающее не из этой идеи, но из факта существования бесконечного множества отдельных миров, постоянно оказывающих друг на друга взаимное действие, которое, собственно, и образует существование каждого из них, состоит в том, что ни один из этих миров не вечен, что все они имели начало и у всех у них будет конец, сколь бы отдаленным ни было одно и сколь бы отдаленным ни должно быть другое. В лоне этой мировой причинности, которая составляет вечное и единое сущее, вселенную, миры рождаются, формируются, существуют, оказывают действие, соответствующее своему бытию, затем дезорганизуются, умирают или превращаются, как это происходит с самыми малыми из вещей на Земле. Значит, повсюду — один и тот же закон, один и тот же порядок, одна и та же природа. Мы никогда не сможем ничего узнать за этими пределами. Несметное число превращений, которые совершались в вечном прошлом, несметное число других превращений, которые совершаются даже в данный момент в безмерности пространства, вечно останутся для нас неизвестными. Но мы знаем, что повсюду — одна и та же природа, одно и то же сущее. Пусть этого будет для нас достаточно!

Значит, мы не будем больше задаваться вопросом, каково происхождение мировой материи, или, лучше сказать, Вселенной, рассматриваемой как тотальность бесконечного числа отдельных более или менее организованных миров, так как этот вопрос предполагает нонсенс, творение и так как мы знаем, что Вселенная вечна. Но мы могли бы спросить, каково происхождение нашего солярного мира, так как мы с уверенностью знаем, что он рожден, что он сформировался в определенную эпоху, во времени. Но как только мы поставим этот вопрос, мы тотчас должны будем признать, что у него нет для нас возможного решения. Распознать происхождение вещи — значит распознать все причины или же все вещи, одновременное и последовательное, прямое и косвенное действие которых породило ее. Очевидно, что для того, чтобы определить происхождение нашей солнечной системы, мы должны были бы знать до конца не только все бесконечное число миров, которые существовали в эпоху ее рождения и собирательное, прямое или косвенное, действие которых породило ее, но также все прошлые миры и все мировые действия, которыми были порождены сами эти миры. Достаточно сказать, что происхождение нашей солнечной системы теряется в бесконечном пространстве, вечной в прошлом цепи причин и действий, и что, следовательно, каким бы действительным или материальным ни было это происхождение, мы никогда не сможем его определить.

Но если для нас невозможно распознать совершившееся в вечном прошлом и в безграничной безмерности пространства происхождение нашей солнечной системы или же неопределенную сумму причин, комбинированное действие которых породило ее и будет продолжать ее всегда воспроизводить до тех пор,

пока она в свою очередь не исчезнет, мы можем исследовать это происхождение или эти причины в их действии, то есть в. наличной действительности нашей солнечной системы, которая занимает в бесконечном пространстве ограниченный и, следовательно, определимый, если еще не определенный, объем. Ибо заметьте, что причина есть причина, лишь пока она осуществляется в своем действии. Причина, которая не могла бы претвориться в действительный продукт, была бы причиной воображаемой, не-сущей; отсюда следует, что всякая вещь, поскольку она по необходимости порождена неопределенной суммой причин, содержит в самой себе действительное сочетание' всех этих причин и в действительности есть не что иное, как действительное сочетание всех породивших ее причин. Это сочетание — это все ее действительное бытие, ее сокровенная сущность, ее субстанция.

Вопрос относительно субстанции мировой материи, или Вселенной, заключает в себе, следовательно, нелепое предположение: предположение о происхождении, о первопричине миров, или о Творении. Так как всякая субстанция есть не что иное, как эффективное осуществление неопределенного числа причин, сочетающихся в одном общем действии, то для того, чтобы объяснить субстанцию Вселенной, нужно было бы искать ее происхождение или ее причины, а Вселенная их не имеет, потому что она вечна. Всеобщий мир есть — абсолютное, единое и верховное Сущее, вне которого ничто не могло бы существовать; но как в таком случае дедуцировать это Сущее из чего-то? Мысль о том, чтобы подняться над единым Сущим или стать вне его, подразумевает Ничто, и нужно было бы иметь возможность сделать это для того, чтобы вывести начальную субстанцию, которая не была бы в нем, которая не была бы им самим. Все, что мы можем сделать, — это установить сначала это единое и верховное Сущее, которое навязывается нам с абсолютной необходимостью, затем изучить его действия в мире, который нам действительно доступен; сначала в нашей солнечной системе, но затем и особенно на нашем земном шаре.

Раз субстанция вещи есть не что иное, как действительное сочетание или осуществление всех причин, которые ее породили, то очевидно, что, если бы мы могли распознать субстанцию нашего солярного мира, мы распознали бы сразу все его причины, то есть всю бесчисленность миров, комбинированное, прямое или косвенное действие которых осуществилось в ее творении, — мы познали бы Вселенную.

Но тут мы вступаем в порочный круг: для того, чтобы распознать всеобщие причины солярного мира, мы должны распознать их субстанцию, а для того, чтобы распознать последнюю, мы должны были бы распознать все эти причины. Из этой трудности, которая на первый взгляд кажется неразрешимой, есть, однако, выход, и вот какой: сокровенная природа, или субстанция, вещи не распознается только по сумме или сочетанию всех породивших ее причин, она распознается равным образом по сумме ее различных проявлений или всех действий, которые она оказывает вовне.

Любая вещь существует лишь тогда, когда она делает: ее дело, ее внешнее проявление, ее постоянное и многократное действие на все вещи, которые находятся вне ее, — это полная экспозиция ее природы, ее субстанции, или того, что метафизики и г-н Литтре вместе с ними называют ее сокровенным сущим. Она не может иметь ничего в том, что называют внутренним, что не проявилось бы в ее внешнем, одним словом, ее действие и ее бытие суть одно.

Можно было бы удивляться тому, что я говорю о действии всех вещей, даже самых инертных по видимости, если привыкнуть связывать смысл этого слова только с актами, которые сопровождаются видимым, несомненным волнением, внешними движениями и особенно движениями животного или человеческого сознания того,

кто действует. Но собственно говоря, в природе нет ни одной точки, которая была бы когда-либо в покое, так как каждая из них в каждый момент находится в бесконечно малом соучастии со всякой другой точкой и возбуждается постоянными действиями и противодействиями. То, что мы называем неподвижностью, покоем, есть лишь грубая видимость, совершенно относительные понятия. В природе все есть движение и действие: быть не означает ничего иного, как делать. Все, что мы называем свойствами вещей, свойствами механическими, физическими, химическими, органическими, животными, человеческими — суть не что иное, как различные способы действия. Любая вещь есть определенная и действительная вещь лишь при посредстве свойств, которыми она обладает; а она обладает ими лишь постольку, поскольку она их проявляет, так как эти свойства определяют ее отношения с внешним миром, то есть ее различные способы действия на внешний мир; отсюда следует, что каждая вещь действительна лишь постольку, поскольку она проявляется, действует. Сумма ее различных действий — в этом все ее бытие*.

* Это — всеобщая истина, которая не допускает никаких исключений и которая прилагается также к неорганическим, по видимости самым инертным вещам, к самым простым телам, а также к самым сложным организациям: к камню, к простому химическому телу, а также к гениальному человеку и всем умственным и общественным вещам. У человека в его внутреннем мире действительно есть лишь то, что каким-то образом проявляется в его внешнем. Эти так называемые непризнанные гении, эти надменные и самовлюбленные умы, которые вечно жалуются на то, что им никогда не удается продемонстрировать сокровища, которые, как им кажется, они несут в себе, на самом деле всегда суть самые жалкие по отношению к своему сокровенному бытию индивиды: ничего подобного в самих себе они не несут. Возьмем, к примеру, гениального человека, который умрет в момент вступления в возраст полной возмужалости и который унесет в могилу, как обычно говорят, самые возвышенные, навсегда потерянные для человечества концепции. Это пример, который, как кажется, доказывает всю противоположность этой истины; это — очень реальное, очень серьезное сокровенное бытие, которое совсем не могло бы проявиться. Но присмотримся поближе к этому примеру, и мы увидим, что в нем содержатся лишь преувеличения или совершенно ложные суждения.

Во-первых, что такое гениальный человек? Это индивидуальная природа, которая в одном или нескольких отношениях, с человеческой, умственной и нравственной точек зрения, гораздо лучше организована, чем у заурядных людей; это высшая организация, сравнительно намного более совершенный инструмент.

Мы не оставили камня на камне от врожденных идей. Никто из людей при рождении не приносит с собой никакой идеи. Все, что человек приносит, — это более или менее значительная естественная и формальная способность постигать идеи, которые он находит готовыми либо в собственной социальной среде, либо в чуждой среде, которая, однако, тем или другим образом вступает с нею в связь; сначала — постигать, затем — воспроизводить их посредством совершенно формальной работы его собственного мозга и иногда придавать им посредством этой внутренней работы новое развитие, новую форму и новый объем. Только в этом заключается творчество самых великих гениев. Следовательно, никто не приносит с собой сокровенного клада. Ум и сердце самых великих гениальных людей рождаются ничтожными, как их тела нагими. То, что рождается с ними, — это прекрасный инструмент, несвоевременная потеря которого есть несомненно большое несчастье; ведь очень хорошие инструменты особенно в современной социальной организации, в организации с современной гигиеной, — очень редки.

Но то, что человечество теряет вместе с ними, — это не какое-либо действительное содержание, это их возможность сотворить нечто.
Для того чтобы судить о том, чем могут быть эти мнимые врожденные сокровища и сокровенное бытие природы гения, представьте, что эту природу с самого раннего детства поместили на необитаемый остров. Если предположить, что она не погибнет, то чем он станет? Диким животным, которое ходит поочередно то на своих нижних конечностях, то на четырех лапах, как обезьяны, которое живет жизнью и мыслью обезьян, которое, как и они, выражается не словами, а звуками, которое, следовательно, оказывается неспособным мыслить и даже глупее последней из обезьян: ведь эти последние, живя в обществе, до некоторой степени развиваются, тогда как наша гениальная натура, поскольку она не поддерживает никаких отношений с себе подобными существами, по необходимости осталась бы идиотской.
Возьмите ту же самую гениальную натуру в двадцатилетнем возрасте, когда она уже значительно развилась благодаря социальным сокровищам, которые она заимствовала из своей среды и которые она выработала и воспроизвела в самой себе вместе с той способностью или той совершенно формальной силой, которой одарила ее природа. Перенесите ее в пустыню и заставьте ее жить там в течение двадцати или тридцати лет вне всяких человеческих отношений. Чем станет она? Безумцем, мистическим дикарем, возможно, основателем какой-нибудь новой религии; но не одной из тех великих религий, которые в прошлом обладали мощью глубоко волновать народы и двигать их вперед в соответствии с методом, присущим религиозному духу. Нет, он изобретет какую-то уединенную, мономанную и в то же время бессильную и смешную религию.
Что это значит? Это значит, ни у кого из людей, даже у самого могучего гения, нет в сущности никаких собственных сокровищ; но что все то, что он распространяет с широкой щедростью, было им заимствовано у того самого общества, которому он их по видимости позднее отдает. Можно даже сказать, что в этом отношении гениальные люди — это как раз те люди, которые больше берут от общества и которые, следовательно, должны ему больше.
Самый счастливо одаренный природой ребенок довольно долго остается, не оформив в себе видимость того, что можно было бы назвать его сокровенным бытием. Известно, что всякое умственное бытие детей сначала направлено исключительно вовне; сначала они — целиком во впечатлении и наблюдении; лишь только тогда, когда в них рождается начало рефлексии и самообладания, то есть воли, они начинают овладевать внутренним миром, сокровенным бытием. Для большинства людей этой эпохой датируется воспоминание о самих себе. Но со своего рождения это сокровенное бытие никогда не остается исключительно внутренним; по мере того как оно развивается, оно полностью проявляется вовне и выражается поступательными изменениями всех отношений ребенка с окружающими его людьми и вещами. Эти многочисленные, часто неуловимые отношения, которые по большей части проходят незамеченными, суть действия, которыми рождающаяся и возрастающая относительная автономия ребенка воздействует на внешний мир; это — хотя и незамедленные, но очень реальные действия, тотальность которых выражает в любой момент жизни ребенка все его сокровенное бытие; они теряются в массе человеческих отношений, которые все вместе составляют действительность социальной жизни, оставляя на этих отношениях свои хотя бы слабые следы или свое влияние.
То, что я сказал о ребенке, верно также в отношении юноши. Его отношения умножаются по мере того, как развивается его сокровенное бытие, то есть инстинкты и движения животной жизни, а также его человеческие мысли и

чувства, и всегда все его сокровенное бытие проявляется в тотальности его отношений с внешним миром либо в положительной форме, например в форме притяжения и сотрудничества, либо отрицательно, в виде бунта и отталкивания. Ничто из действительно существующего не может остаться, если оно не проявилось полностью из себя вовне, как у людей, так и в самых инертных и наименее демонстративных вещах. Примером может служить история цирюльника царя Мидаса: не смея сообщить никому свой страшный секрет, он доверил его земле, а земля его разгласила, и, как только это произошло, стало известно, что у царя Мидаса ослиные уши. Для людей, как и для всего того, что существует, действительно существовать — значит только проявляться.

А теперь доведем до конца дело с предложенным примером: молодой гениальный человек умирает в двадцатилетнем возрасте, в момент, когда он совершал какое-то великое деяние или возвещал миру какую-то возвышенную концепцию. Взял ли он что-то с собой в могилу? Да, большую возможность, но не действительность. Поскольку эта возможность осуществилась в нем самом при становлении его сокровенного бытия, то будьте уверены, что тем или другим способом эта возможность уже проявилась в ее отношениях с внешним миром. Гениальные концепции, а также великие героические деяния, которые открывают новое направление для жизни народов, отнюдь не рождаются спонтанно ни в гениальном человеке, ни даже в социальной среде, которая его окружает, кормит, вдохновляет, будь то положительно или даже отрицательно. То, что гениальный человек изобретает или делает, уже с давних пор находится в состоянии элементов, которые развиваются и все более стремятся сконцентрироваться и оформиться в том самом обществе, которому он несет либо свое изобретение, либо свое деяние. И в самом гениальном человеке изобретение, возвышенная концепция или героическое деяние не рождаются непосредственно; они всегда — продукт длительной внутренней подготовки, которая по мере своего развития никогда не преминет проявиться тем или иным образом.

Предположим же, что гениальный человек умирает в тот момент, когда он собирался завершить эту долгую внутреннюю работу и возвестить о ней удивленный мир. Поскольку эта работа не завершена, она не действительна. Но как подготовка она, напротив, очень действительна, и как таковая, будьте уверены, она полностью проявилась либо в деяниях, либо в трудах, либо в разговорах этого человека. Ведь если человек совершенно ничего не делает и вместе с тем ничего не пишет и ничего не говорит, то, будьте уверены, он также ничего не изобретет, и в нем не совершается никакая внутренняя подготовка; значит, он может спокойно умереть, не оставив после себя сожаления о какой-либо крупной утраченной концепции.

В молодости у меня был очень дорогой друг — Николай Станкевич (1813-1840). Это была истинно гениальная натура: великий разум сочетался у него с великим сердцем. И однако, этот человек ничего не сделал, ничего не написал, что могло бы сохранить его имя в истории. Значит, в таком случае сокровенное бытие должно было бы утратиться без проявления и без следа? Отнюдь нет. Несмотря на то — или, быть может, именно потому, — что Станкевич был существом наименее претенциозным и наименее амбициозным из всех, он стал в Москве живым центром группы молодых людей, которые в течение нескольких лет прожили, если можно так выразиться, свой разум, свои мысли, свою душу. Я был в их числе, и я рассматриваю его в некотором роде как своего творца. Он сотворил таким же образом другого человека, имя которого останется немеркнущим в литературе и в истории умственного и нравственного развития России: мой покойный друг Виссарион Белинский (февраль 1810) — самый энергичный борец за дело

освобождения народа при императоре Николае. Он умер в страданиях в 1848 г. (26 мая старого стиля), в самый момент, когда тайная полиция выдала ордер на арест; он умер, благословляя республику, которая была только что провозглашена во Франции.

Возвращаюсь к Станкевичу. Его сокровенное бытие полностью проявилось прежде всего в отношениях с друзьями, а затем со всеми теми, кто имел счастье сблизиться с ним — истинное счастье, ибо было невозможно жить рядом с ним, не чувствуя себя в некотором роде улучшенным и облагороженным. В его присутствии казались невозможными никакая подлая или тривиальная мысль, никакой дурной инстинкт; самые ординарные люди переставали ими быть под его влиянием. Станкевич принадлежал к той категории одновременно богатых и изысканных натур, которых г-н Давид Штраус столь удачно охарактеризовал более тридцати лет назад в брошюре, озаглавленной, кажется, "Религиозный гений" (Ueber das religiose Genie). Есть люди, одаренные великим гением, говорит он, которые не проявляют его никаким великим историческим деянием, никаким будь то научным, артистическим, промышленным творением; они никогда ничего не предприняли, ничего не сделали, ничего не написали, и все их действие сосредоточилось в их личной жизни и сводилось к ней, но которые тем не менее оставили после себя своим действием глубокий, правда исключительно личный, но тем очень мощный отпечаток на своем ближайшем окружении, на своих учениках. Сначала это действие распространяется и упрочивается посредством устной традиции, а позднее либо посредством писаных трудов, либо посредством исторических деяний их учеников или учеников их учеников.

Как мне кажется, д-р Штраус с большим основанием утверждает, что Иисус как исторический и действительный персонаж был одним из наиболее великих представителей, одним из великолепных образцов этой совершенно особенной категории сокровенных гениев. Станкевич также был им, хотя несомненно в гораздо меньшей мере, чем Иисус.

Мне думается, что я сказал, достаточно для того, чтобы доказать, что нет сокровенного бытия, которое не проявилось бы полностью в полной сумме всех его внешних отношений или его воздействий на внешний мир. Но раз уже это очевидно по отношению к человеку, одаренному величайшим гением, это тем более так в отношении всех остальных действительных сущих: животных, растении, неорганических вещей и простых тел. Все животные-функции, гармоническое сочетание которых образует животное единство, жизнь, душу, животное я, суть не что иное, как непрерывное отношение действия и противодействия с внешним миром, следовательно, постоянное проявление, независимо от которого никакое сокровенное животное бытие не могло бы существовать, так как животное живет, пока функционирует его организм. Так же происходит с растениями. Попробуйте исследовать, анатомировать животное. Вы найдете различные системы органов: нервы, мускулы, кости, затем различные материальные, видимые и поддающиеся химическому разложению соединения. Это же вы увидите в растениях, в органических клетках, а если продолжить анализ — в простых химических телах. Вот в чем состоит их сокровенное бытие: оно полностью внешнее и вне его нет ничего, И все эти материальные части, — а их совокупность, упорядоченная определенным, свойственным им образом, образует животное, и каждая из этих частей полностью проявляется посредством своего собственного механического, физического, химического и органического действия в течение жизни животного и посредством лишь механического, физического и химического действия после его смерти, — все они находятся в непрерывном движении беспрестанных действий и противодействий, и это движение составляет все их бытие.

Так же обстоит дело со всеми органическими телами, включая простые тела. Возьмите металл или камень: есть ли что-либо по видимости более инертное и менее экспансивное? И тем не менее все это приходит в движение, действует, изливается, бесконечно проявляется, и все это существует, лишь пока совершая это. Камень и металл обладают всеми физическими свойствами, и как простые или сложные химические тела они включены в процесс, иногда очень медленный, но непрерывный процесс молекулярного соединения и разложения. Я уже сказал, что эти свойства суть также способы действия и проявления вовне. Но отнимите у камня все его свойства, что от него останется? Абстракция вещи, ничего. Из всего этого с неопровержимой очевидностью следует, что сокровенное Бытие вещей, вымышленное метафизиками к большому удовлетворению теологов и объявленное действительным самой позитивной философией, есть Не-Бытие, равно как сокровенное Бытие Вселенной, Бог, есть также Не-Бытие; все, что имеет действительное существование, проявляется целостно и всегда в его свойствах, его отношениях или его деяниях.

Что же значат слова: "Физик, отныне мудро убежденный в. том, что сокровенная сущность вещей закрыта для него" и т.д.? Вещи только что и делают, как проявляют себя наивно, полно, во всей целостности своего бытия, к которому нужно только присматриваться просто, без предрассудков и без метафизических и теологических идефикс; а физик позитивистской школы, который ищет, как говорят, вчерашний день и не понимает ничего в этой наивной простоте действительных вещей, естественных вещей, будет важно заявлять, что в их лоне есть сокровенное бытие, которое они тайно хранят для самих себя, а метафизики и теологи, очарованные этим открытием, которое они ему, впрочем, подсказали, ухватятся за эту сокровенность, за эту вещь б себе для того, чтобы поместить туда своего господа Бога.

Любая вещь, любое сущее, существующее в мире, какова бы ни была его) природа, имеет такой общий характер: быть ближайшим результатом комбинации всех причин, которые способствовали либо прямо, либо косвенно его рождению; а это предполагает — на шути постепенных переходов — действие всех прошлых и настоящих причин в бесконечной Вселенной, каким бы отдаленным или отсроченным оно ни было; и так как все причины или действия, рождающиеся в мире, суть проявления действительно существующих вещей; и так как всякая вещь действительно существует лишь в проявлении своего сущего, каждая из них передает, если так можно выразиться, свое собственное бытие вещи, особое действие которой способствует рождению, — отсюда следует, что каждая вещь, рассматриваемая как определенное бытие, рожденное в пространстве и во времени, или как продукт, в (самой себе несет оттиск, отпечаток, природу всех вещей, которые существовали и которые в настоящее время существуют во Вселенной, что по необходимости подразумевает тожество материи и мирового Сущего.

Так как каждая вещь во всей целостности своего бытия есть не что иное, как продукт, ее свойства и ее различные способы действия на внешний мир, составляющий, как мы это видели, все ее сущее, также по необходимости суть продукты. Как таковые они отнюдь не представляются автономными свойствами, происходящими лишь из собственной природы вещи независимо от всякой внешней причинности. В природе или в действительном мире нет ни независимого сущего, ни независимого свойства. Напротив, все взаимозависимо. Следовательно, происходя от этой внешней причинности, свойства вещи навязываются ей; они, рассматриваемые все вместе, составляют ее вынужденный образ действия, ее закон. С другой стороны, нельзя в сущности сказать, что этот закон навязан вещи,

так как это выражение предполагало бы существование вещи, предшествующей закону или отдельной от нее, тогда как закон, действие, свойство составляют самое сущее вещи. Отсюда следует, что все действительные вещи в своем развитии и во всех своих проявлениях фатально управляются их законами, но что эти законы им навязаны в очень малой степени, но, напротив, составляют все их сущее*.

* Во всех вещах действительно существует сторона или, если хотите, своего рода сокровенное бытие, которое отнюдь не-недоступно, но которое неуловимо для науки. Это отнюдь не сокровенное бытие, о котором говорит г-н Литтре саз всеми метафизиками и которое должно было бы составлять, согласно их точке зрения, в себе вещей и причину явлений; напротив, эта сторона — наименее существенное, менее всего внутреннее, наиболее внешнее и вместе с тем наиболее действительное и наиболее мимолетное, наиболее образное у вещей и существ: это их непосредственная материальность, их действительная индивидуальность, как она представляется только нашим чувствам и которую не могла бы удержать никакая рефлексия ума и не могло бы выразить никакое слово. Повторяя очень любопытное наблюдение, которое впервые сделал, как я думаю, Гегель, я уже говорил об особенности человеческого слова, которое может выражать лишь общие определения, но не непосредственное существование вещей в той реалистической грубости, непосредственное впечатление о которой дается нам нашими чувствами. Все, что вы сможете сказать о вещи для того, чтобы определить ее, все свойства, которые вы ей придадите или найдете в ней, будут общими определениями, приложимыми в различной степени и в бесчисленном числе различных комбинаций ко многим другим вещам. Самые подробные, самые сокровенные, самые материальные определения или описания, которые вы сможете им дать, суть еще только общие, но ни в коей степени не индивидуальные определения. Индивидуальность вещи не выражается. Для того чтобы указать ее, вы должны или же привести своего собеседника в контакт с ней, дать ему возможность ее увидеть, услышать или ощупать; или же вы должны определить ее место и ее время, а также ее отношения с другими уже определенными и известными вещами. Она убегает, ускользает от всех других определений. Но она убегает, она ускользает также от самой себя, так как она сама есть не что иное, как непрерывное превращение: она есть, она была, ее больше нет, или же есть другая вещь. Ее неизменная действительность — исчезать или превращаться. Но эта неизменная действительность — это ее общая сторона, ее закон, предмет науки. Этот закон, взятый и рассматриваемый отдельно, есть лишь абстракция, лишенная всякого действительного свойства, всякого действительного существования. Он действительно не существует, он является фактическим законом лишь в действительном и живом процессе непосредственных, образных, неуловимых и невыразимых превращений. Такова двойная природа, противоречивая природа вещей: действительно существовать в том, что постоянно перестает быть, и не существовать действительно в тон, что остается общим и неизменным между их непрерывными превращениями.

Законы остаются, но вещи гибнут, что означает, что они перестают быть этими вещами и становятся новыми вещами. И тем не менее это вещи существующие и действительные, тогда как их законы имеют фактическое существование лишь постольку, поскольку они теряются в вещах, будучи на самом деле не чем иным, как действительным способом действительного существования вещей, так что, рассматриваемые отдельно, вне этого существования, законы становятся неподвижными и инертными абстракциями, не-сущими.

Наука, которая имеет дело лишь с тем, что выразимо и неизменно, то есть с более или менее развитыми и определенными общими положениями, становится в тупик

и спускает флаг перед жизнью, которая только и находится в связи с живой и чувственной, но неуловимой и невыразимой стороной вещей. Такова действительная и, можно сказать, единственная граница науки, граница истинно непреодолимая. Возьмем, к примеру, натуралиста, который анатомирует кролика и сам есть действительное и живое существо; этот кролик есть также реальное существо, и он был, по крайней мере несколькими часами раньше, живой индивидуальностью. После анатомирования натуралист описывает его, и кролик, который выходит из его описания, — это кролик вообще, похожий на всех кроликов, лишенный всякой индивидуальности, у которой, следовательно, никогда не будет силы существовать, который вечно останется инертным и неживым существом, даже существом нетелесным, но абстракцией, фиксированной тенью живого существа. Наука имеет дело лишь с подобными тенями. Живая действительность от нее ускользает, она дается только жизни, которая, сама будучи образной и скоротечной, может схватить и на самом деле схватывает все, что живет, то есть все то, что проходит, или то, что бежит.

Пример с кроликом, пожертвованным для науки, нас мало касается, потому что обычно мы очень мало интересуемся индивидуальной жизнью кроликов. Не так обстоит дело с индивидуальной жизнью людей, которую наука и люди науки, привыкшие жить среди абстракций, то есть всегда жертвовать образными и живыми реальностями ради их неизменных теней, были бы так же способны, если бы только им дали это сделать, принести их в жертву или по меньшей мере подчинить их пользе своих отвлеченных общих положений.

Человеческая индивидуальность, так же как индивидуальность самых инертных вещей, тоже неуловима, и, если можно так выразиться, она не существует для науки. Вот почему живые индивиды должны предохранять себя от науки и остерегаться ее, чтобы она не принесла их в жертву, как кроликов, в пользу какой-нибудь абстракции, подобно тому как они должны одновременно предохранять себя от теологии, от политики и от юриспруденции, которые все вместе, также имея отношение к отвлеченному характеру науки, имеют фатальную тенденцию жертвовать индивидами в пользу той же абстракции, каждая из которых только называется разными именами: первая — истиной божественной, вторая — общественной, третья — справедливой.

Я очень далек от того, чтобы сравнивать благотворные абстракции науки с вредными абстракциями теологии, политики и юриспруденции. Последние должны перестать править, должны быть радикально искоренены из человеческого общества — такова цена его спасения, его освобождения, его окончательной гуманизации, — тогда как научные абстракции, напротив, должны занять свое место не для того, чтобы править, в соответствии с губительной для свободы мечтой философов-позитивистов, но для того, чтобы освещать его спонтанное и живое развитие. Наука может хорошо прилагаться к жизни, но никогда не может воплощаться в жизнь, так как жизнь-это прямое и живое действие, одновременно спонтанное и фатальное движение живых индивидуальностей. Наука — это лишь всегда неполная и несовершенная абстракция этого движения. Если бы она стремилась навязать себя ему как отвлеченная доктрина, как правительственная власть, она бы его обеднила, извратила и парализовала. Наука не может выйти из абстракций, это — ее царство. Но абстракции и их прямые представители, какого бы рода они ни были: священники, политики, юристы, экономисты и ученые, должны перестать управлять народными массами. Весь прогресс будущего — здесь. Это жизнь и движение жизни, индивидуальное и социальное действие людей, которым дана полная свобода. Это абсолютное затухание самого принципа власти. А каким

образом? Посредством самой широкой пропаганды в народе свободной науки. Таким образом у социальной массы не будет больше вне ее так называемой абсолютной истины, которая ее направляет и ею правит, будучи представленной индивидами, очень заинтересованными в том, чтобы сохранить науку исключительно в своих руках, потому что она дает им могущество, а с могуществом — богатство, возможность жить трудом народной массы. Но у этой массы в самой себе будет истина, истина всегда относительная, но действительная, внутренний светоч, который осветит ее непосредственное движение и сделает бесполезными всякую власть и всякое внешнее управление.

Возьмите любую общественную науку, какую хотите: историю, например, которая, если ее рассматривать в ее наиболее широком объеме, включает в себя все остальные. Правда, можно сказать, что до сих пор история как наука еще не существует. Самые выдающиеся историки, пытавшиеся очертить общую картину исторической эволюции человеческого общества, всегда вдохновлялись до сих пор исключительно идеальной точкой зрения, рассматривая историю либо под углом зрения религиозных, эстетических или философских проявлений, либо под углом зрения политики, или рождения и упадка Государств, либо, наконец, под юридическим углом зрения, который, впрочем, неотделим от последнего и составляет внутреннюю политику государств в собственном смысле слова. Все они почти равным образом не принимали в расчет или даже игнорировали антропологическую точку зрения и экономическую точку зрения, которые, однако, составляют действительный базис всякого человеческого развития. В своем прекрасном "Введении" к "Истории цивилизации в Англии", несущем на себе печать настоящего гения, Бокль изложил истинные принципы исторической науки; к сожалению, он не смог закончить это "Введение", и его преждевременная смерть помешала ему написать объявленный труд. С другой стороны, задолго до Бокля г-н Карл Маркс высказал великую, справедливую и плодотворную идею: что все умственные и политические проявления общества суть не что иное, как идеальное выражение его материальных или экономических проявлений. Но насколько я знаю, он еще не написал исторический труд, в котором эта прекрасная идея получила хотя бы начало какого-либо осуществления. Одним словом, история как наука еще не существует.

Она займет в жизни место, которое контрапункт должен занимать, согласно Бетховену, в музыкальных сочинениях. Кому-то, кто спросил его, нужно ли знать контрапункт для того, чтобы сочинять хорошую музыку, он ответил: "Несомненно, совершенно необходимо знать контрапункт, но так же необходимо забыть его, после того как вы его выучили, если вы хотите сочинить что-нибудь хорошее". Контрапункт образует до некоторой степени; правильный, но совершенно неуклюжий и безжизненный каркас музыкального произведения, и как таковой он должен совершенно исчезнуть по спонтанной и живой благодати художественного творения. Так же как контрапункт, наука не есть цель, она лишь одно из самых нужных и самых прекрасных средств другого, в тысячу раз более возвышенного, чем все художественные сочинения, творения — жизни, непосредственных и спонтанных действий человеческих индивидов в обществе.

Такова природа того сокровенного бытия, которое действительно всегда остается закрытым от науки. Это непосредственное и действительное бытие как индивидов, так и вещей: это проходящее постоянство, это образные действительности вечного и всеобщего превращения, действительности, которые существуют, поскольку они перестают быть, и которые не могут перестать быть, потому что они суть; это, наконец, осязаемые, но невыразимые индивидуальности вещей. Чтобы иметь возможность их определить, нужно было бы знать все причины, следствиями

которых они суть, и все следствия, причинами которых они суть, уловить все их отношения естественного действия и естественного противодействия со всеми вещами, которые существуют и существовали в мире. Как живые существа мы в любой момент, чаще всего безотчетно, улавливаем, чувствуем эту действительность, она нас охватывает, мы ее терпим и сами на нее воздействуем. Как существа думающие мы поневоле ее абстрагируем, так как самое наше мышление начинается лишь с абстракции и посредством абстракции. Это основное противоречие между нашим действительным существом и нашим думающим существом есть источник всех наших исторических проявлений, начиная с нашего предка гориллы до нашего современника Бисмарка; это — причина всех трагедий, которые окровавили человеческую историю, но также и всех комедий, которые ее веселили; оно сотворило религию, искусство, индустрию. Государства, которые заполнили мир страшными противоречиями, осудившими людей на ужасные страдания, — страдания, которые смогут закончиться лишь посредством возвращения в жизнь всех абстракций, созданных ими в своем историческом развитии и ныне окончательно резюмировавшихся в науке, а также посредством возвращения этой науки в жизнь.

Открыть, скоординировать и понять свойства или способы действия или законы всех существующих в действительном мире вещей и — такова, следовательно, истинная и единственная цель науки.

До какой степени осуществима для человека эта программа? Вселенная для нас на самом деле недоступна. Но мы уверены теперь в том, что нашли ее повсеместно тожественную природу и ее основные законы в нашей солнечной системе, которая есть их продукт. Мы не можем также докопаться до происхождения, то есть до производительных причин нашей солнечной системы, так как эти причины теряются в бесконечности пространства и вечного прошлого. Но мы можем изучать природу этой системы в ее собственных проявлениях. И еще встречаем мы здесь границу, которую мы никогда не сможем пересечь. Мы никогда не сможем ни наблюдать, ни, следовательно, распознавать действие нашего солярного мира на бесконечное множество миров, заполняющих Вселенную. Самое большее, что мы сможем когда-либо распознать, причем в исключительно несовершенном виде, — это некоторые отношения, существующие между нашим Солнцем и каким-нибудь из бесчисленных солнц, блистающих на нашем небосводе. Но несовершенные знания, по необходимости смешанные с едва ли проверяемыми гипотезами, никогда не смогут составить серьезную науку. Значит, мы вынуждены будем всегда довольствоваться более или менее совершенным и подробным знанием внутренних отношений нашей солнечной системы. Но даже и в данном случае наша наука, заслуживающая этого имени лишь постольку, поскольку она основывается на наблюдении фактов, и прежде всего на действительном установлении их существования, а также действительных способов их проявления и их развития, встречается с новой границей, которая, как кажется, должна навсегда остаться непереходимой, — это невозможность устанавливать и, следовательно, также наблюдать физические, химические, органические, умственные и социальные факты, совершающиеся на какой-либо из планет, составляющих нашу солнечную систему, за исключением Земли, которая открыта для наших исследований.

Астрономии удалось определить направления движения каждой из планет нашей системы вокруг Солнца, скорость их парного движения, их объем, форму, вес. Это огромное достижение. С другой стороны, по указанным выше причинам для нас несомненно, что образующие их субстанции должны обладать всеми физическими свойствами наших земных субстанций. Но мы почти ничего не знаем об их геологическом формировании, еще меньше знаем об их растительной и животной

организации, которая, возможно, навсегда останется недоступной для любознательности человека. Основываясь на отныне бесспорной для нас истине о том, что мировая материя везде и всегда по существу тожественна, мы должны по необходимости заключить, что всегда и везде, как в мирах, бесконечно удаленных, так и в мирах, наиболее близких ко Вселенной, все существа представляют собой материальные тела, обладающие свойствами веса, теплоты, света, электричества, и что везде они разлагаются на химические простые тела и элементы и что, следовательно, там, где встречаются если не тожественные, то по крайней мере сходные условия существования, должны иметь место сходные явления. Этой уверенности для нас достаточно, чтобы убедиться в том, что нигде не могут совершиться явления и факты, противные тому, что мы знаем о законах природы; но эта уверенность не способна дать нам ни малейшей идеи о существах, существах по необходимости материальных, которые могут быть в других мирах и даже на планетах нашей собственной солнечной системы. В этих условиях научное знание об этих мирах невозможно, и мы должны отказаться от него раз и навсегда.

Если верно, как предполагает Лаплас (гипотеза которого еще не принята в достаточной степени и повсеместно), что все планеты нашей системы образовались из солнечной материи, то очевидно, что должно существовать гораздо более значительное тожество между явлениями всех планет этой системы и между явлениями нашего земного шара. Но эта очевидность не может еще создать истинной науки, так как наука — это как святой Фома: она должна осязать или видеть для того, чтобы принять явление или факт; конструкции a priori, самые рациональные гипотезы, имеют для него ценность лишь тогда, когда позднее они поверяются доказательствами a posteriori. Все эти причины вновь возвращают нас к полному и конкретному знанию на земле.

Изучая природу нашего земного шара, мы изучаем в то же время всеобщую природу — не в бесконечном разнообразии ее явлений, которые навсегда останутся для нас неизвестными, — а в ее субстанции и в ее основных, всегда и везде тожественных законах. Вот что должно и что может утешить нас в нашем вынужденном незнании о бесчисленных проявлениях бесчисленных миров (о которых у нас никогда не будет никакого представления) и в то же время обезопасить себя от всякого божественного призрака, который, если дело обстояло бы иным образом, мог бы возвратиться с другого света.

Только на земле наука может стоять на твердых ногах. Здесь она — у себя и развивается в полной действительности, имея в своих руках, перед глазами, если так можно выразиться, все явления, имея возможность их устанавливать, осязать. Даже прошлые, как материальные, так и умственные, проявления нашего земного шара открыты для наших научных исследований, несмотря на то что феномены, сопутствовавшие им, исчезли. Феноменов, которые следовали за ними, также больше нет. Но их видимые и отчетливые следы остались — таковы следы прошлых проявлений человеческих обществ, как и следы органических и геологических проявлений нашего земного шара. Изучая эти следы, мы можем до некоторой степени восстановить свое прошлое.

Что касается первоначального формирования нашей планеты, то я предпочитаю в данном случае предоставить слово столь глубокому и научно развитому гению, как Огюст Конт, по отношению к которому я сам очень горячо признаю свою собственную недостаточность во всем, что касается естественных наук: "Теперь я должен перейти к общему исследованию того, что имеет некоторый характер позитивности в космогонических гипотезах. Было бы несомненно излишним выдвигать специально в этой связи необходимое предварительное положение о том, что любая идея творения в собственном смысле этого слова должна быть при

этом радикально устранена, так как она по своей природе совершенно неуловима*, и что только разумное исследование, если оно действительно доступно, должно касаться исключительно постепенных превращений неба, причем ограничиваясь, по крайней мере сначала, тем, что могло прямо породить его актуальное состояние... Значит, действительный вопрос состоит в том, чтобы решить, дает ли настоящее состояние неба какие-либо ощутимые указания на более простое предшествующее состояние, общий характер которого мог бы поддаться для определения. В этом отношении основное разграничение, которым я так много занимался и которое твердо провел между по необходимости недоступным исследованием вселенной и по необходимости очень позитивным исследованием нашего (солярного) мира, естественно, вводит глубокое различие, которое намного сужает поле эффективных изысканий. Понятно, в самом деле, что мы могли бы с некоторой надеждой на успех строить предположения о формировании солнечной системы, часть которой мы составляем...".

* Вот одно из тех двусмысленных, если не сказать лицемерных, выражений, которые я ненавижу у философов-позитивистов. Разве Огюст Конт не знал, что идея творения и творца не только неуловима, но и нелепа, смешна, невозможна? Можно было бы быть почти убежденным в том, что сам он в этом не был уверен, что доказывает его вторичное падение в мистицизм, который проявился у него в конце его карьеры и намек на который я сделал выше. Но его ученики, по крайней мере знающие об этом падении своего учителя, должны были бы наконец понять всю опасность, которая должна остаться, или остаться по крайней мере в публике, в этой неуверенности в вопросе, решение которого, будь то утвердительное, будь то негативное, должно оказать столь большое влияние на все будущее человечества.

Текст приводится по изданию:
М. А. Бакунин. Избранные философские сочинения и письма. М., "Мысль", 1987, с.344-445 Конец формы